

Избранная
проза

Ирина
ОДОЕВЦЕВА
ЗЕРКАЛО

Ирина
ОДОЕВЦЕВА
ЗЕРКАЛО



Ирина
ОДОЕВЦЕВА

ЗЕРКАЛО

Избранная проза



Р
РУССКИЙ
П
ПУТЬ

Людмила Владимировна,
Игорь Иванович,
Мамочка и папа.

Но конечно, вы об этом
ничего не знаете - я боюсь
Вам не писать и не звонить.

Все же все чаще пишу
под редакцией Ю. Г. Гусева
и вы будете получать
интересные материалы.

Много говорю с
обедом с Тимом в ми-
Ранном ресторане, но
без присутствия - разо-

Прималгошева.

Ирина
ОДОЕВЦЕВА

ЗЕРКАЛО

Избранная проза

РУССКИЙ ПУТЬ
МОСКВА 2011

УДК 882
ББК 84(2Рос)6
О 442

Вступительная статья, составление и комментарии
Марии Рубинс

Оформление
Антонины Иващенко

Тексты воспроизводятся по первым публикациям

ISBN 978-5-85887-376-1

© Одоевцева И.В. (Гейнике И.Г.; наследники), 2011
© Рубинс М.О., вступительная статья,
составление, комментарии, 2011
© Русский путь, 2011

Парижская проза Ирины Одоевцевой

Петербург нередко становился центральным образом, средой, героем, а порой и навязчивой идеей в творчестве писателей, в этом городе не родившихся. Возможно, требуется несколько отстраненный взгляд, чтобы в полной мере почувствовать его обаяние, странность и энергетический вампиризм, но многие хрестоматийные произведения, в которых создавался петербургский миф, от «Медного всадника» А.С. Пушкина и «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя до романов Ф.М. Достоевского и «Петербурга» А. Белого, были созданы непетербуржцами по рождению. В этом ряду Ирина Одоевцева не составляет исключения. Тема Петербурга проходит через всю ее поэзию, а драма изгнания выразилась для нее, прежде всего, в необходимости расстаться с любимым городом. «Нет, я чувствую, я знаю, такой счастливой, как здесь, на берегах Невы, я уже никогда и нигде не буду», — так заканчивает Одоевцева книгу мемуаров о Серебряном веке. В литературе российской эмиграции этот город-призрак, вскоре после революции потерявший не только свой столичный статус, но даже имя, оказался емким символом невосполнимых утрат — родины, молодости, надежд. Ностальгическая мечта о возвращении в Петербург и горечь от осознания невозможности ее реализовать определяют тональность многочисленных произведений писателей и поэтов русского зарубежья. Тем уникальней кажется судьба Ирины Одоевцевой, ведь практически единственная из своего поколения она смогла вернуться на берега Невы не только «стихами».

Родилась Одоевцева 27 июля 1895 года в Риге, в семье состоятельного адвоката, выходца из балтийских немцев. Свое подлинное имя и отчество, Ираида Густавовна, она впоследствии русифицирует, а фамилию отца, Гейнике, изменит на фамилию матери. В детстве она любила бывать в Петербурге с отцом, который вел дела, подлежащие рассмотрению в Сенате. Окончательно семья переехала в столицу в начале Первой мировой войны и поселилась на улице Бассейной (ныне Некрасова). Через некоторое время Одоевцева выходит замуж за своего кузена, Сергея Попова. Брак, о котором она впоследствии редко упоминала по просьбе своего второго мужа Георгия Иванова, распался, когда она стала посещать открывшийся вскоре после революции Институт живого слова и вошла в круг

Николая Гумилева. Ухаживания мэтра за очаровательной и способной ученицей вызвали безумную ревность ее мужа. В посвященном ей стихотворении «Лес» Гумилев создает причудливый, романтический образ «женщины с кошачьей головой» и в конце несколькими штрихами набрасывает условный портрет Одоевцевой:

*Я придумал это, глядя на твою
Косы — кольца огневющей змеи,*

*На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.*

Именно Гумилев представил свое открытие, «маленькую поэтессу с огромным бантом», Г. Иванову. Произошло это 30 апреля 1920 года на вечере, устроенном в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. К тому времени Одоевцева уже прославилась своей «Балладой о толченом стекле» (1919), и первое, что она услышала из уст своего будущего мужа, был показавшийся ей издевательским вопрос: «Этого вы написали? Действительно вы? Вы сами?»¹ Последующие два года были полны для нее самыми интенсивными переживаниями: первые литературные успехи, незабываемые прогулки по Летнему саду с Г. Ивановым, смерть матери, трагическое известие о гибели Гумилева, голод и бытовая неустроенность, знакомство с поэтами, которые навсегда останутся ее кумирами, богемная жизнь с Г. Ивановым и Георгием Адамовичем в квартире на Почтамтской и, наконец, отъезд за границу. Отец Одоевцевой решил вернуться в Ригу в 1921 году, а они с Г. Ивановым последовали за ним зимой 1922 года, ни на минуту не сомневаясь, что вскоре вновь окажутся на берегах Невы.

Однако возвращение состоялось лишь для нее одной и только через 65 лет. Многие, наверно, помнят кадры, снятые тележурналистами в аэропорту Пулково, на которых запечатлена девяностодвухлетняя женщина в инвалидной коляске, и ощущение некоторой нереальности этого события. В ее лице неожиданно обрела плоть и кровь легендарная первая волна русской эмиграции. Без колебаний приняв приглашение советского правительства вернуться на родину, Одоевцева прожила оставшиеся ей три года жизни в квартире на Невском. После десятилетий забвения на склоне лет она вдруг оказалась в центре внимания. У нее берут интервью. В журналах и газетах публикуются ее стихи и отрывки из мемуарных книг «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Подумывает она и о том, чтобы написать третий том воспоминаний — «На берегах Леты». Редакторы обсуждают с ней планы издания ее книг. Ее приглашают на лето в Переделкино. Так что вполне можно сказать, что к моменту своей смерти, 15 октября

¹ *Одоевцева И. На берегах Сены // Одоевцева И. Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены / сост., подгот. текста, вступ. ст. Е.В. Витковского; послесл. А.П. Колоницкой. М.: Согласие, 1998. С. 293.*

1990 года, Одоевцева хотя бы отчасти вкусила славы, о которой, по воспоминаниям тех, кто окружал ее в последние годы, она не переставала мечтать. И похоронена она была с подобающими почестями на Волковом кладбище.

Несколько петербургских лет обрамляют начало и конец ее литературной жизни, и наверно это отвечает внутренней логике ее судьбы. Все же эти годы кажутся очень кратким периодом по сравнению с 65 годами, проведенными Одоевцевой во Франции. Практически вплоть до Второй мировой войны она продолжала жить на широкую ногу, особенно на фоне бедственного положения большинства эмигрантов, так как материально ее поддерживал отец, владевший в Риге доходным домом. После месяца, проведенного в Латвии, она оказалась в Берлине, городе, бывшем до середины 1920-х эпицентром русской культуры в зарубежье. Там она, по собственному признанию, вела светскую, беззаботную жизнь: «Я, как полагается, с утра бегаю по магазинам, обедаю в ресторанах “Медведь” или “Ферстер”, а по вечерам бываю в разных кафе, сборных пунктах беженцев»¹. Она берет уроки модных танцев, посещает балы, приглашает к себе на чай заезжих знаменитостей. Но еще более яркая литературная жизнь ждала ее в Париже, куда, увлеченные мощным эмигрантским потоком, они с Г. Ивановым вскоре переезжают. Правда, поначалу Париж произвел на Одоевцеву довольно удручающее впечатление: «Мы приехали с отцом и поселились очень неудачно, в огромном мрачном отеле без лифта. Знакомая моего отца говорила, что это один из лучших отелей. Но мне, привыкшей к берлинским элегантным пансионам, такая жизнь показалась совсем невозможной. Обедать мы ходили в огромный ресторан, неудобный и тусклый. Я обычно обедала в лучших ресторанах. Мы гуляли по бульварам. В 11 часов все уже было закрыто. На улицах было темно... Шум на улицах не давал нам спать. Все было не так, как мы ожидали»². Однако вскоре французская жизнь наладилась, и Одоевцева почувствовала очарование Парижа. Впрочем, они часто покидали его, чтобы провести несколько недель на Лазурном берегу или навестить ее отца в Риге. После его смерти в 1932 году Одоевцева получила солидное наследство, что позволило ей купить дом в Биаррице.

Как подчеркивает Одоевцева в книге «На берегах Сены», самым главным в парижской жизни межвоенных десятилетий была для нее удивительно насыщенная интеллектуальная жизнь русской диаспоры. Недаром Довид Кнут называл Париж «столицей русской литературы». В эпицентре этой «столицы» находились Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Каждое воскресенье они устраивали в своей квартире на улице Колоннель Бонне журфиксы, собиравшие весь цвет русского зарубежья. Между четырьмя и семью часами домашний секретарь

¹ Одоевцева И. На берегах Сены. С. 572.

² Там же. С. 603–604.

Мережковских Владимир Злобин разливал чай гостям, которые вели вокруг стола жаркие беседы на самые разнообразные темы — от метафизики и философии до эстетики и политики. Эти домашние встречи, быть приглашенным на которые почиталось за особую честь, послужили основой для создания более открытого литературного общества «Зеленая лампа». Его заседания проходили в специально арендованном зале в среднем раз в месяц между 1927-м и 1939 годами. Название «Зеленая лампа» было призвано напомнить об одноименном обществе, собиравшемся в 1819–1820 годах в Петербурге в салоне Н.В. и А.В. Всеволожских, которое посещали А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг и Н.И. Гнедич. Тем самым особо подчеркивалась связь с Золотым веком русской литературы. Георгий Иванов был избран председателем общества, он неизменно восседал в президиуме рядом с Гиппиус, которая, вопреки своей обычной капризно-надменной манере, была к нему на редкость благосклонна. Мережковский и Гиппиус предлагали темы для обсуждения, приглашали выступающих и рассылали особые приглашения. Одоевцева была частым посетителем как журфиксов на квартире Мережковских, так и заседаний «Зеленой лампы», но в дискуссиях участия не принимала.

Она вообще избегала публичных выступлений, хотя и посещала многие культурные мероприятия. Например, судя по сохранившимся стенограммам¹, она была на нескольких заседаниях Франко-русской студии, созданной на рубеже 1930-х годов как форум для сближения русской и французской интеллигенции. В рамках студии с апреля 1929-го по апрель 1931 года состоялось 14 заседаний, на которых на заранее согласованную литературную или философскую тему выступали два докладчика, один с французской, другой с русской стороны. Доклады затем дебатировались всеми участниками. В отличие от Нины Берберовой, Георгия Адамовича, Бориса Вышеславцева, Надежды Городецкой и многих других писателей эмиграции, которые прочитали пространные доклады о русской культуре, Одоевцева никогда не участвовала даже в прениях.

Лишь однажды, в 1928 году, ее уговорил взять на себя роль конферансье на своем вечере популярнейший поэт-сатирик Дон Аминадо (А.П. Шполянский). Вечер проходил в известном концертном зале «Плейель», и задача Одоевцевой заключалась в том, чтобы в начале концерта выйти на сцену, достать пудреницу, сдуть пудру в зрительный зал, полюбоваться на свое очаровательное отражение в зеркальце и лишь затем объявить имена участников. Такая роль, очевидно, казалась для нее вполне подходящей. Одоевцева многим запомнилась своей женственностью, элегантностью, тем, как очаровательно она картавила. Нина Берберова, которая не питала особых симпатий к

¹ См.: Le Studio Franco-Russe, 1929–1931 / Textes réunis et présentés par L. Livak; sous la redaction de G. Tassis. Toronto, 2005.

своей литературной соратнице и, кстати, не сочла нужным позвонить ей во время своего посещения Ленинграда в конце 1980-х, тем не менее не могла не отдать должное ее внешности в одном из своих последних интервью: «...Ирину Владимировну не видела, не удивляйтесь, с тридцать девятого года, помню ее тонкой, изящной блондинкой...»¹ На всю жизнь запомнил зеленоватые «русалочки» глаза познакомившийся с ней в 1933 году поэт Игорь Чиннов. В своей статье, написанной в связи с кончиной Одоевцевой, он создает удивительный словесный портрет: «В первые годы “маленькая поэтесса с огромным бантом”, как она себя называла, поэтесса, любившая носить в руках цветы, походила на женщин “ар нуво”, “югендстиля”: овальное лицо в копне ниспадающих волос и какое-то впечатление водяных лилий и водорослей. А в эпоху “ар деко” мы видим ее с прической средневекового пажа, “буби-копф”, в шляпке без полей, с лицом “бледным и порочным”, танцующую канкан или чарльстон в духе Марлен Дитрих...»². Не исключено, что именно из-за того, что она была хрупкой, хорошенькой модницей, современники часто недоценивали ее литературные способности. Злые языки даже поговаривали, что стихи за нее пишет Г. Иванов, провозглашенный после публикации своего сборника «Розы» лучшим поэтом эмиграции³. Сама же Одоевцева, втихомолку мечтающая о славе, не стремилась оказаться в центре внимания, предпочитая наблюдать за другими, и эти наблюдения послужили через много лет основой ее воспоминаний.

Вторая мировая война и последовавшая оккупация Франции нанесла непоправимый урон культурной жизни русской диаспоры. Один за другим закрылись русскоязычные журналы и газеты, издательства перестали выпускать русские книги, многие эмигранты, проживающие по нансеновским паспортам, попали под подозрение, были арестованы или вынуждены были эмигрировать. К концу войны ряды русской интеллигенции во Франции изрядно поредели. К тому же в русской колонии началась травля тех, кто, по фактам или просто по слухам, сотрудничал с оккупационными властями. Обвинения были предъявлены многим, включая Берберову, а посмертно и Мережковскому с Гиппиус. Не избежали этой участи и Одоевцева с Г. Ивановым, причем источником компрометирующей информации

¹ Цит. по: «Мой успех в Москве — это чудо»: Провожая Нину Берберову в Америку: [интервью Н. Берберовой Ф. Медведеву] // Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 2001. С. 263.

² Чиннов И. Вот и Одоевцева умерла // Новый журнал. 1991. Кн. 184/185. С. 604.

³ Даже в ее написанных уже после смерти Г. Иванова мемуарах некоторые склонны были видеть не самостоятельные произведения, а лишь версию его «Петербургских зим» и «Китайских теней» (см.: Витковский Е. «Мне нравятся неправильности речи...» // Одоевцева И. Избранное. С. 6–7).

оказался их старинный друг Адамович. Как впоследствии неоднократно разъясняла сама Одоевцева, во время войны они жили в Биаррице и до прихода немцев устраивали у себя дома благотворительные балы. Однажды в гости был приглашен даже английский адмирал. Объявления об этих вечерах помещались в местной газете; одно из них попало на глаза Юрию Фельзену (Н.Б. Фрейденштейну), и он послал его служившему в составе Иностранного легиона Адамовичу. Письмо Фельзена дошло с опозданием, Биарриц к тому времени уже был оккупирован, и, по словам Одоевцевой, «Адамович решил, что я принимаю немецких генералов, и с присущим ему талантом расписал всем друзьям, как я верхом катаюсь с немцами»¹. Хотя отношения с Адамовичем со временем были восстановлены, репутации Одоевцевой и Г. Иванова сильно пострадали. Да и вся их жизнь резко изменилась еще и потому, что в их дом попала американская бомба (сами они в этот момент находились в Париже). Ограблена была и парижская квартира. После войны у них не осталось ни денег, ни имущества, и вся эмиграция отвернулась от них как от коллаборационистов.

Одоевцева пыталась зарабатывать переводами. Переводить сценарии на французский ей помогал ее давний друг, известный французский писатель Жорж Батай. В конце концов супруги решили: для того чтобы выжить, им нужно устроиться в дом для престарелых. В 1955 году их поместили в дом, находящийся в городке Йер на юге Франции. Здесь они оказались совершенно лишены привычной интеллектуальной среды. Большинство обитателей были испанцы, сражавшиеся с Франко и впоследствии нашедшие убежище во Франции. Жалуясь на культурный вакуум, Г. Иванов в письмах постоянно просил знакомых прислать им русские журналы и книги. Навестить их приезжал в Йер Адамович. Помимо тоски губительное влияние на здоровье Г. Иванова оказал южный климат, и он скончался три года спустя.

После смерти Г. Иванова, тело которого было перевезено в Париж и похоронено в русском некрополе Сент-Женевьев-де-Буа, произошло примирение Одоевцевой с русской диаспорой. Она смогла устроиться в дом для престарелых в Ганьи под Парижем, где собралась целая колония русских писателей и где она прожила около 20 лет. Там она была особенно дружна с Юрием Терапиано, который и убедил ее начать писать мемуары, снова сделавшие имя Одоевцевой известным. Она даже была приглашена издателем Виктором Камкиным в Америку на презентацию книги «На берегах Невы». Впоследствии она ездила в США еще пару раз, выступала перед читателями и студентами. Уже в очень почтенном возрасте Одоевцева вышла замуж в третий раз за своего давнего поклонника, писателя Якова Горбова, который еще в 1930-х годах зачитывался ее романом «Изольда» и даже взял его с

¹ В творческой мастерской. Беседа с Ириной Одоевцевой // Вопросы литературы. 1988. № 12. С. 120.

собой на фронт, где был ранен, причем кровь залила находившуюся в нагрудном кармане книгу. Хотя его отец в Петербурге был миллионером, в эмиграции Горбову, подобно многим его соотечественникам, пришлось работать таксистом. В свободные от работы часы он писал романы на французском языке и сам переводил их на русский. Один из них, «Осужденные», даже выдвигался на Гонкуровскую премию. Когда Горбов познакомился с Одоевцевой, его жена находилась в сумасшедшем доме, и пожениться они смогли только после ее смерти, в 1978 году. Тогда Одоевцева переехала в его квартиру на улице Касабланка, а по Парижу начала разъезжать в подаренном Яковом автомобиле.

За смертью Горбова в 1981 году последовала череда несчастий, болезни, одиночество. Одоевцева сломала бедро, перенесла шесть неудачных операций, оказалась прикованной к постели. Неожиданное предложение вернуться в Россию, что стало возможным благодаря энергичным усилиям Анны Колоницкой и парижского корреспондента «Литературной газеты» Александра Сабова, ознаменовало еще один неожиданный поворот в судьбе писательницы, даже в девяностолетнем возрасте оставшейся «легкой на подъем», сохранившей оптимизм, интерес к жизни и парижский лоск.

Благодаря своему возвращению Ирина Одоевцева оказалась ближе российскому читателю, чем иные писатели первой волны эмиграции. Однако до сих пор ценят ее прежде всего как автора семи сборников стихов и двух томов мемуаров. Тот факт, что она писала и художественную прозу, пока остается менее известным. А ведь ее романы и рассказы внесли совершенно особую интонацию в литературу русского зарубежья. Кроме того, в большей степени, чем стихи, проза Одоевцевой вобрала в себя иностранный опыт русских эмигрантов, их быт, надежды, впечатления от окружающей французской культуры, специфику воспоминаний о России. Наконец, любопытны эти произведения Одоевцевой и с точки зрения тех откликов, которые они вызвали у ее современников.

Одоевцева начала печатать рассказы в середине 1920-х, находясь уже в Париже. Правда, вначале, гордясь своей репутацией поэта, о переходе к прозе она и не помышляла. В своих воспоминаниях она рассказывает о том, как в 1922 году, сразу после прибытия из Петрограда в Ригу, она отправилась к редактору влиятельной русскоязычной газеты «Сегодня» М. Мильруду, чтобы познакомиться и подарить ему свои стихи. Мильруду, однако, имя Ирины Одоевцевой оказалось неизвестным, и он прямо сказал, что такого «товару», как стихи, у них в редакции и так хоть отбавляй, предложив ей вместо этого попробовать написать «коротенький, фабульный рассказик». В ответ возмущенная поэтесса заявила: «Я — Ирина Одоевцева и рассказов не пишу. Я — поэт Ирина Одоевцева»¹ — и

¹ Одоевцева И. На берегах Сены. С. 643.

гордо покинула редакцию, на прощанье порекомендовав Мильруде получше знать имена русских поэтов. Однако совету незадачливого редактора она все же последовала, и довольно скоро, осознав, что Серебряный век — век поэзии — окончательно завершился. Несмотря на то что в зарубежье расцвел талант целого ряда поэтов, в целом условия существования русской литературы в изгнании были более благоприятны для создания прозаических произведений.

Первые опыты Одоевцевой в области прозы были весьма удачными. Ее ранний рассказ «Падучая звезда» вызвал лестный отклик И. Бунина, который высказал его в открытке на имя главного редактора «Последних новостей», добавив о самой писательнице: «Говорят, она прелесть какая хорошенькая». Рассказы, печатавшиеся в различных эмигрантских периодических изданиях — газетах «Сегодня», «Иллюстрированная Россия», «Последние новости», журналах «Звено», «Числа» и др., — были своего рода творческой лабораторией для романов Одоевцевой: не только мотивы, но и определенные сюжетные ситуации и герои нередко свободно мигрируют из одного текста в другой.

Проза Одоевцевой отличалась «фабульностью», что было в целом несвойственно молодому поколению писателей, которые начали публиковать свои произведения лишь в конце 1920-х годов, но к которым ее нередко причисляли, несмотря на успех, пришедший к ней еще в России. В эмиграции существовали иные, более жесткие представления об иерархии. Как позже писала Одоевцева: «...для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в “молоденькую поэтессу” и “молодую романистку”, как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем дико — я так и оставалась “молодой поэтессой” и “молодой романисткой” бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны»¹.

Но если Борис Поплавский, Василий Яновский, Гайто Газданов, Юрий Фельзен, Екатерина Бакунина и другие «молодые» авторы, находясь под определенным влиянием современной западной литературы, в которой господствовала тенденция к документальности, писали бессюжетную, полуавтобиографическую прозу, то Одоевцева не стремилась отказаться от традиционной художественности, выстраивая четкий сюжет, фоном для которого обычно является хорошо знакомый ее зарубежному читателю эмигрантский быт. Однако за вроде бы обыденными, житейскими ситуациями у Одоевцевой неизменно проступает неумолимый рок, за неустроенностью быта — абсурдность бытия как такового. Через все без исключения прозаические произведения писательницы проходит одна и та же мысль — «как жестока жизнь, как несчастны люди»², —

¹ Одоевцева И. На берегах Сены. С. 626–627.

² Там же. С. 602.

которая, очевидно, постоянно посещала ее и в действительности. Не случайно в ее мемуарах эта фраза станет рефреном, что бы она ни описывала, будь то буйные загулы Сергея Есенина или эгоцентричное поведение Игоря Северянина. В ее рассказах и романах неуловимость счастья, как правило, связана с невозможностью вовремя распознать его, угадать свою судьбу. Большинство героев и героинь Одоевцевой как будто заколдованы, они живут вслепую, проходя мимо своего предназначения. Нередко героини Одоевцевой, неудовлетворенные скромным эмигрантским существованием, начинают преследовать иллюзорные цели, принося в жертву богатству или славе самое главное. Из текста в текст писательница настойчиво акцентирует эфемерность границы между счастьем и горем, жизнью и смертью, счастливым случаем и неудачей.

Любопытен в этом отношении «Жасминовый остров», опубликованный в первом номере журнала «Числа» (1930) с подзаголовком «Из романа», хотя продолжения так и не последовало. Читается он как вполне самостоятельное произведение и не имеет ничего общего с более ранним рассказом под тем же названием, опубликованным в 1926 году в «Звене». В «Жасминовом острове» Одоевцева как бы вступает в диалог с Л.Н. Толстым, создавая своеобразную вариацию к его рассказу «Дьявол» (1889). Социальной и интеллектуальной пропасти между помещиком Евгением Иртеневым и крестьянкой Степанидой соответствует у Одоевцевой столь же непреодолимый разрыв между русским эмигрантом, бывшим офицером царской армии бароном Таубе и предметом его «дьявольского» искушения — французской крестьянкой Розиней.

Отчужденность русских эмигрантов от западной среды, в которой они оказались по стечению обстоятельств, часто показана через мотив психологической и эмоциональной несовместимости русских с англичанами или американцами — именно они, а не французы оказываются у Одоевцевой маркированными «иностранцами» («У моря», «Эпилог», «Изоolda»). Англичанам у Одоевцевой свойственна уравновешенность, отменное здоровье и чрезмерная рассудочность. При общении с ними у русских неизбежно возникает ощущение дисгармонии. Так, в рассказе «У моря», название которого вызывает в памяти поэму Анны Ахматовой «У самого моря», миссис Робертс, бывшая Аничка Вакурина, говорит на «вы» не только с мужем-англичанином, но и с их маленьким сыном. Море, как и у Ахматовой, символизирует противоположную рассудку стихию — чувственность, эмоциональность, мечтательность. Имя героини отсылает и к сложному выбору между женским счастьем и материнским долгом Анны Карениной, и к Анне Сергеевне из «Дамы с собачкой», позволяя автору разыграть чеховский сценарий «курортного романа» на берегу Средиземного моря.

Прозу Одоевцевой по праву можно определить как прозу поэта — так богата она скрытым ритмом, стихотворными цитатами,

поэтическими образами, отсылками к культурным реалиям Серебряного века. Главный герой рассказа «Сердце Марии», восторженный молодой эмигрант Павел Ремнев встречается с очаровательной французской девушкой, но не может примириться с ее «прозаической» натурой и решает расстаться с ней. Ему кажется, что он способен любить только Прекрасную Даму, появление которой он предчувствовал годами, любуясь закатами и сочиняя стихи. Но постепенно этот возвышенный образ снижается, превращаясь в пародию, и Ремнев осознает, что его счастье не в поэтических грезах, а в любви к реальной женщине.

В отличие от Ремнева герою рассказа «Дом на песке» Мише Лишневному мысли о его возлюбленной Елене не позволяют ответить взаимностью на чувство юной француженки Ивонны. Образ Елены связан с воспоминаниями о Петербурге, где однажды он увидел ее на улице Бассейной (на этой улице жила до эмиграции и сама Одоевцева). Одетая в синее платье, с белым веером в руках, Елена прочитала ему при той встрече «китайские стихи». И имя Елена, и синий цвет платья (цвет звезд и неба), и веер, и стихотворение-китаеска вызывают ассоциации с творчеством мэтра Одоевцевой Гумилева, который посвятил своей возлюбленной Елене Дюбуше цикл «К синей звезде», а также переводил китайские стихи по французским подстрочникам (они вошли в сборник «Фарфоровый павильон»). При всей своей значимости поэтические видения прошлого оказываются для Миши Лишневного препятствием к настоящему и будущему. В эмиграции, как пытается убедить нас молодая писательница, жить одним прошлым, эстетикой Серебряного века невозможно. Если герой «Сердца Марии» осознает это и преодолевает свой идеализм, то герой «Дома на песке» терпит поражение в новой жизни из-за того, что остается верен Прекрасной Даме из прошлого.

Первый роман Одоевцевой, «Ангел смерти», печатавшийся в газете «Дни», а в 1928 году опубликованный отдельной книгой, сразу привлек внимание к начинающей романистке. Довольно быстро он был переведен на несколько иностранных языков, а английский перевод Доньи Начшен (Donia Nachshen) был отмечен литературной премией. О восторженной реакции англоязычных читателей и критиков свидетельствуют выдержки из откликов в английской и американской прессе, подобранные журналом «Числа». Рецензент газеты «Манчестер гардиан» даже сравнивал произведение Одоевцевой с прозой популярной английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд. Сам факт перевода романа молодого эмигрантского автора на иностранные языки был исключительным: до 1933 года, когда И. Бунин стал нобелевским лауреатом, одержав победу над кандидатом от советского лагеря М. Горьким, зарубежная русская литература отчаянно отстаивала свое право на существование в соперничестве с советской литературой, которая привлекала к себе гораздо большее

внимание широких кругов прокоммунистически настроенной французской интеллигенции. Интерес со стороны западных издательств к тому, что появлялось в русской диаспоре, был довольно ограниченным и распространялся, главным образом, на маститых писателей. В этом контексте успех Одоевцевой, казалось, предвещал ей завидное литературное будущее.

Как и в большинстве произведений русского зарубежья тех лет, фоном в романе служит изгнание, однако превратности эмигрантской судьбы Одоевцева решает проследить на примере живущей в Париже русской девочки. Хотя повествование ведется от третьего лица, все события подаются в восприятии юной Люки. Еще не вполне сформировавшееся сознание подростка определяет и доминирующую в романе наивную точку зрения. В выборе главной героини, покинувшей Россию в слишком раннем возрасте, сказался оригинальный подход Одоевцевой к теме эмиграции: за исключением нескольких обрывочных полувоспоминаний-полуфантазий Люки о петербургском периоде ее жизни, в книге нет ностальгически окрашенных картин прошлого. Метафорой драмы изгнания становится сам переходный возраст Люки: полурбенок-полуженщина, полуфранцуженка-полурусская, маргинал в социальном отношении, она лишена твердой почвы, четких культурных ориентиров, полноценной семьи.

Эмигрантское детство не соответствовало утвердившимся в классической русской культуре идиллическим представлениям. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений»¹, — восклицал сентиментальный повествователь из «Детства» Л.Н. Толстого, формулируя тем самым один из самых значительных русских социально-культурных мифов. Как отмечает Эндрю Вахтель в своей книге «Борьба за детство: Создание русского мифа»², большинство последующих авторов, обращавшихся к этой теме, создавали вариации все того же архетипного толстовского сюжета. Хотя изредка появлялись тексты, в которых детство было показано как несчастливый период, но и для них Толстой оставался главной точкой отсчета — они писались как бы «вопреки» утвердившемуся архетипу. Позднее в своей трилогии Максим Горький предложил иную модель детства, которая была взята на вооружение советской литературой, но ей так и не удалось окончательно перечеркнуть толстовский миф. Что касается эмигрантской словесности, то как многочисленные мемуары, так и произведения художественной литературы на все лады повторяли формулу о «золотом детстве», которая в условиях

¹ Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Л.: Детская литература, 1978. С. 59.

² См.: Wachtel A.B. The battle for the childhood: Creation of a Russian myth. Stanford: Stanford univ. press, 1990.

изгнания оказалась как никогда актуальной: воспоминания о детстве сливались с воспоминаниями о России, превращаясь в воображении изгнанников в «потерянный рай». Именно так предстает детство, например, в романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» или в произведениях В.В. Набокова¹.

На фоне столь мощной традиции не могут не обратить на себя внимания слова Люки в самом начале романа «Ангел смерти»: «Значит, кончено детство. Что ж, и слава Богу. Не жалко. Это все выдумки про “золотое детство”».

В любом произведении о ребенке или подростке в определенной степени проявляются те или иные жанровые признаки романа воспитания. В традиционном романе воспитания, корни которого восходят к середине XVIII века, инициация во взрослую жизнь совершается через ряд испытаний, в результате которых ребенок приобретает опыт, навыки социального общения, моральные устои, четкие представления о мире. В классических образцах этого жанра (Ж.-Ж. Руссо, Х.-М. Виланд, И.-В. Гёте, Р. Тетпфер и др.) процесс постепенного взросления, как правило под руководством мудрого учителя, осмысливается положительно, как залог успеха всей последующей жизни. На русской почве вопрос о взрослении решался неоднозначно из-за чрезмерной идеализации детства. О том, что подобное отношение влекло за собой незрелость русского общества в целом, предупреждали многие, от И.А. Гончарова, создавшего в образе Обломова незабываемый портрет «большого ребенка», до А.П. Чехова, сделавшего главным предметом сентиментальных излияний не менее инфантильных героев «Вишневого сада» именно детскую.

При очевидном отсутствии каких-либо попыток идеализации детства роман «Ангел смерти» отличается и от традиционной схемы романа воспитания. Правда, Люка проходит через ряд испытаний, включая физиологические признаки взросления, первую влюбленность, смерть сестры (смерть матери, напомним, обозначила конец «счастливого детства» Николеньки Иртенева). Однако происходит ли при этом, как того требовал жанровый канон, подлинная инициация, качественный скачок, приобретение бесценного опыта, пусть и сопряженного с утратами, но необходимого для вступления во взрослую жизнь? Повествовательная манера Одоевцевой делает затруднительным ответ на этот вопрос именно из-за того, что до самой последней страницы практически все происходящее подается с

¹ О своем собственном детстве Одоевцева говорила следующее: «Ну что там интересного, детство... Ну, было и было. Меня в детстве дрессировали, хотели сделать идеальной барышней, а я этому не поддавалась. Поэтому счастливой по-настоящему я стала, только когда почувствовала себя взрослой и поэтом» (Цит. по: Колоницкая А. «Все чисто для чистого возраста...»: (Беседы с Ириной Одоевцевой). М.: Воскресение, 2001. С. 27).

точки зрения Люки. В отличие, скажем, от повести Толстого, детское сознание не корректируется у Одоевцевой голосом взрослого рассказчика. В то же время Одоевцева по-модернистски «инвертирует» представления о детстве как о времени чистоты и невинности, насыщая повествование латентной эротикой. Недаром Г. Адамович счел необходимым сделать в своей рецензии следующее замечание: «Можно было бы указать, что такие лукаво-беспечные, наивно-жестокие, невинно-порочные подростки еще не знакомы нашей литературе и что это новая в ней тема, достойная пристального внимания...»¹.

Лейтмотивом романа являются ночные видения Люки, связанные с ее смутными эротическими переживаниями: ей является огромный «ангел смерти», о котором она читала в поэме Лермонтова. Лермонтовская тема, заявленная прямо в заглавии, как рефрен проходит через весь роман. Столь декларативная ориентация Одоевцевой на поэта-романтика предвосхитила дебаты о родословной литературы русского зарубежья. «Патриархи» русской диаспоры вполне предсказуемо объявили Пушкина символом «вывезенной» за границу русской культуры и залогом ее грядущего возрождения в посткоммунистической России. Ежегодно день рождения поэта отмечался во всех центрах диаспоры как День русской культуры. Разумеется, в сталинской России культ Пушкина творился не менее активно, а некоторые особенно рьяные «мифотворцы» едва не объявляли поэта предтечей русской революции. Апогея эти процессы достигли в юбилейный 1937 год², но идеологизация Пушкина в обоих лагерях началась практически сразу после революции. Не принимая столь массивной сакрализации Пушкина, многие молодые авторы первой волны эмиграции обратились к Лермонтову, в котором видели обреченного на поражение индивидуалиста. Лермонтовское стихотворение «Дума» стало программным текстом для молодых авторов русского зарубежья, которые воспринимали себя как такое же поколение «безвременья», что и генерация 1830-х годов. Особенно явно подобная переключка с Лермонтовым на поколенческом уровне возникает в эпистолярном романе Юрия Фельзена «Письма о Лермонтове».

Лермонтов оказался близок авторам эмиграции и как основоположник русской психологической прозы. Молодые парижские писатели, вошедшие в историю как «незамеченное поколение» (по

¹ Адамович Г. Литературные беседы. Шмелев — Ирина Одоевцева — Довид Кнут // Звено. 1928. № 6. С. 294.

² См.: Перельмутер В. «Нам целый мир чужбина...»: Три взгляда на Пушкинские торжества 1937 года в Русском Зарубежье // Пушкин в эмиграции. 1937 / сост., коммент., вступ. очерк В. Перельмутера. М.: Прогресс-Традиция, 1999; Филин М. «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин / сост. М. Филин. М.: Русский мир; Рыбинское подворье, 1998.

формулировке Владимира Варшавского¹), стремились проникнуть в бездны внутреннего мира, отвергая литературность ради создания интроспективных «человеческих документов», разного рода исповедей, свидетельств, дневников. Главной же причиной предпочтения Лермонтова Пушкину было ощущение младоэмиграции, что после пережитого ею метафизического и экзистенциального кризиса пушкинская гармония, красота и легкость ушли безвозвратно, оказались иллюзией. Недаром рефреном через «Распад атома» Г. Иванова пройдет: «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?»² И тем ближе «детям эмиграции» станет мятежный и трагический гений Лермонтова. Находясь в несколько привилегированном положении благодаря своему статусу любимой ученицы Николая Гумилева, тому, что известность пришла к ней еще до эмиграции, а также замужеству (через Георгия Иванова двери во все литературные салоны русского Парижа были для нее широко открыты), Одоевцева была достаточно далека от «незамеченного поколения», долгое время находившегося на периферии организованной культурной диаспоры. Тем не менее уже в своем первом романе она улавливает тенденцию молодой парижской литературы, актуализируя наследие Лермонтова, и даже позволяет своей героине сделать игривое замечание в адрес Пушкина (в ответ на заявление сестры Веры по поводу не очень выигрышной внешности ее жениха, который кажется ей похожим на барана, Люка восклицает: «Велика беда. Пушкин тоже был похож на овцу»). Эта полная иронии ассоциация между «солнцем русской поэзии» и самым прозаическим персонажем романа создает еще больший контраст с возвышенно-поэтическим образом Лермонтова.

Второй роман Одоевцевой, «Изольда» (1929), во многом тематически перекликается с первым. В центре повествования опять находится девочка-подросток из эмигрантской семьи. Хотя и ровесница Люки из «Ангела смерти», Лиза совсем не угловатый ребенок, а очаровательная молодая женщина, умеющая использовать свой шарм для покорения сердец. Неизменной остается и нейтральная авторская позиция, и романтическое сопряжение любви и смерти, и лаконизм повествовательной манеры, и разнообразные отсылки к мифологии (например, к мифу о Тристане и Изольде) и русской классике. Там, где присутствуют элементы детектива, Одоевцева открыто ориентируется на Достоевского. Лиза перечитывает роман «Бесы», восхищаясь мастерством писателя. Ее семья носит черты

¹ См.: *Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956. (В самом этом определении содержится отсылка не только к западному понятию «потерянного поколения», но и к горьким раздумьям Лермонтова о бесславном уделе своих современников: «Толпой угрюмою и скоро позабытой // Над миром мы пройдем без шума и следа...»)

² *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2: Проза. С. 32.

«случайного семейства». Мать, чтобы казаться моложе, заставляет детей называть ее исключительно по имени, выдавая их за своих кузенов, а дочь она даже ревнует к своему любовнику. В контексте русской литературы подобная трактовка материнства противоречила толстовскому же образу идеальной, ангелоподобной «маменьки», который перешел со страниц «Детства» в иные произведения, став неизменной частью мифа о счастливом детстве. Подобно Люке из «Ангела смерти», Лиза отказывается видеть детство в идиллических тонах: «Я все думаю, как должно быть тяжело и отвратительно жить, если детство самое лучшее. А дальше будет еще хуже».

Присутствует в романе и эмигрантский мотив возвращения в Россию: Лиза наивно верит рассказам брата Николая о планируемом нелегальном переходе советской границы, представляя себе, что они собираются на «подвиг» (через три года появится роман Сирина под тем же названием, в котором юный герой отправится в СССР, преисполненный теми же идеалами). Многое в трагедии этих подростков объясняется их статусом эмигрантов, не имеющих прочной связи ни с Россией, которую они покинули слишком маленькими, ни с враждебным окружающим миром. Не случайно в Лизиных фантазиях в заснеженной Москве растут пальмы и бегают страусы, а Париж, город, где она провела большую часть сознательной жизни, в определенный момент предстает «чужим, странным, необычайным городом», по улицам которого бродят призраки. Отсутствие у этой русско-французской девочки четких представлений о собственном «я» подчеркивается и постоянной сменой имени: англичанин Кромуэль называет ее Изольдой, а его кузен Лесли меняет ее имя на Бетси.

Кромуэль и его семья воплощают целый комплекс несколько стереотипных представлений об Англии и англичанах. Главный «атрибут» внешности Кромуэля — его «белые зубы», а при первом же знакомстве с Николаем он перечисляет разнообразные виды спорта и разочаровывается, узнав, что его новый знакомый не занимается ни одним из них. Именно эту деталь предпочел язвительно высмеять в своей рецензии знаток английского этикета Владимир Набоков, надолго закрепив за Одоевцевой незаслуженную репутацию неудавшегося прозаика: «Кромуэль знакомится и с братом Лизы, причем с бухты-баракты спрашивает его, играет ли он в поло, теннис, футбол, крикет. Такой англичанин пахнет клюквой. К тому же он итонец, а у итонцев спортивный наскок считается моветоном»¹. Еще более карикатурен кузен Кромуэля Лесли, владеющий вполне традиционным «английским» охотничьим поместьем в Нормандии. Вся его жизнь строго регламентирована: за завтраком полагается говорить об охоте, а за обедом — о будущем. Идеалом является для него респектабельность: хотя он планирует жениться на Лизе, он предпочитает превратить ее в типичную англичанку, называет ее Бетси,

¹ Сирин [В. Набоков]. Ирина Одоевцева. Изольда. Изд. «Москва» // Руть. 1929. 30 окт.

мечтает, чтобы она поскорее забыла свое прошлое, происхождение и язык. Английский менталитет, основанный на вере в превосходство английской цивилизации, при всей своей клишированности метко подмечен Одоевцевой. Надо отметить, что многие черты английского образа жизни проникают на страницы «Изольды» из английской литературы, в частности из модного и к тому же скандально известного романа тех лет «Любовник леди Чаттерлей» Д.Г. Лоуренса.

Помимо издевательской рецензии Набокова роман «Изольда» вызвал и другие критически-недоуменные отклики. П.Н. Милоков, например, прямо заявил: «Пора сказать талантливой молодой писательнице, что дальше — тупик». Признавая одаренность Одоевцевой, М.Л. Слоним тем не менее отметил, что она «никак не может удержаться на линии, отделяющей бульварную литературу от просто литературы. С бойкостью, в меру приправленной “половой пикантностью” и дешевой сентиментальностью, Одоевцева описывает в своих романах “пробуждение весны” у парижско-русских подростков-девочек»¹. Многих роман шокировал, видимо, открытым обсуждением табуированных в «высокой русской литературе» вопросов. По мнению Э.И. Бобровой, критическое отношение к прозе Одоевцевой объясняется тем, что писательница опередила свое время, так как «в те годы еще не принято было останавливаться столь подробно на психологии полудетей и болезнях роста подростков»². Дон Аминадо остроумно прокомментировал «оскорбление», нанесенное романом Одоевцевой пуританской морали ее современников, в пародии, вошедшей в его книжку «Всем сестрам по серьгам»³:

*И та, которая в «Изольде»
Такой расшила диалог,
Что в шарф свой, купленный на сольде⁴,
Заплакал Кнорринг⁵, педагог,
И час откачивал Арнольди⁶
Нашатырем Палеолог⁷.*

¹ Цит. по: Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10. С. 100–118.

² Боброва Э.И. Ирина Одоевцева // Новый журнал. 1982. № 146 (март). С. 95.

³ Дон Аминадо. Всем сестрам по серьгам: Юбилейная шутка. Париж, 1931.

⁴ От фр. *solde* — распродажа.

⁵ Кнорринг Николай Николаевич (1880–1967) — педагог, историк и критик; член Союза русских писателей и журналистов, член правления Тургеневской библиотеки. После войны вернулся в СССР.

⁶ Видимо, речь идет о следующем персонаже русской диаспоры во Франции: Арнольди Георгий Михайлович (1888–1944) — доктор-правовед, член Республиканского демократического объединения.

⁷ Палеолог Александр Константинович — потомок византийских императоров, бывший лейтенант Российского флота; член РДО, участник Сопро-

Однако в кругах молодых парижских писателей творчество Одоевцевой пользовалось успехом. Например, в рецензии, опубликованной в журнале «Числа», В.С. Варшавский отмечал, что «до сих пор была в литературе только женщина, увиденная глазами мужчины, и не было жизни и мира, увиденных таинственными глазами женщины». Завершается рецензия утверждением новаторства писательницы: «Своими романами “Изольда” и “Ангел смерти” Ирина Одоевцева открывает какое-то новое направление в женской литературе»¹.

Третий ее роман, «Зеркало», появился лишь в 1939 году. В нем воспроизведены многие характерные черты культуры и эстетики межвоенных десятилетий, получивших название «века джаза» или «безумных лет» (*les années folles*). Экстравагантный стиль этой эпохи стал своеобразной реакцией на вызванный Первой мировой войной кризис всех традиционных философских, моральных и эстетических представлений. В глазах пережившего войну молодого поколения ценности «отцов» были окончательно дискредитированы; молодежь стремилась забыть о пережитых ужасах, о массовом и бессмысленном кровопролитии, предаваясь роскоши, танцам, светским развлечениям и путешествиям. Те, кто провел раннюю молодость в окопах, вернувшись, пытались наверстать упущенное. Скорость становится отличительным признаком «безумных» 1920-х — не случайно предметом изобразительного искусства нередко оказываются океанские лайнеры, автомобили и самолеты. Стилиевые предпочтения этого периода, много лет спустя обозначенного термином «ар деко» (*art déco*), выражаются в подчеркнутой декоративности, эклектичности, искусственности. Основным фоном на картинах, афишах, киноэкранах становится освещенное всполохами неоновой рекламы пространство ночного города, жизнь которого сосредоточена в дансингах, где до утра танцуют модные танцы (фокстрот, шимми, танго), в мюзик-холлах, где каждый вечер, переливаясь стразами и покачивая страусовыми перьями, на сцену выходят полуобнаженные артистки знаменитых ревю — музыкальных представлений с танцами и пением, — среди которых царит повергшая к своим ногам весь Париж афроамериканка Жозефин Бейкер, и, конечно, в знаменитых парижских синема. Именно кинематограф становится определяющим элементом массовой культуры 1920-х годов. Легендарный французский режиссер Марсель Лербье, среди шедевров которого можно назвать фильмы «Деньги» и «Бесчеловечная», создает своего рода архетипную модель, по которой снимаются десятки кинокартин. Стратегия успеха предполагает мелодраматический сюжет,

тивления, узник фашистских лагерей, член президиума Союза советских патриотов во Франции. Выслан из Франции в 1947 г., в начале 1970-х гг. вернулся в Париж.

¹ В.В. [Вл. Варшавский]. И. Одоевцева. Изольда. Роман. Изд-во Москва. Париж, 1930 // Числа. 1930. № 2/3. С. 248–251.

включение в фильм изощренного музыкального номера, эпизода бешеной езды на автомобиле Бугатти и использование костюмов и интерьеров, выдержанных в духе ар деко. В центре как фильмов, так и вообще изобразительного искусства тех лет находится новый тип роковой женщины, прозванной «гарсонн» (девочка-мальчик) по названию сенсационного романа Виктора Маргеритта, опубликованного в 1922 году. Гарсонн — это эмансипированная модница с фигурой подростка, подчеркнута ярким макияжем, короткой стрижкой, в шапочке «клош», нередко с сигаретой. Иногда она изображена за рулем автомобиля или на горнолыжном курорте (например, на полотнах Тамары де Лемпицка или Сони Делоне).

Именно о такой гламурной жизни мечтает героиня романа «Зеркало». Это все та же Люка, знакомая читателям по роману «Ангел смерти», но повзрослевшая на шесть лет. В отличие от предыдущих романов Одоевцевой происхождение героини, ее эмигрантский статус не играют в «Зеркале» особой сюжетобразующей роли. Главным объектом изображения становится фривольный дух и стиль Западной Европы межвоенных десятилетий.

Ориентация романа на самое современное искусство — кинематограф — находит отражение и в его своеобразной «кинопоэтике», и в использовании коротких, рубленых фраз, напоминающих язык киносценария (на эту особенность обратил внимание в своей рецензии Гайто Газданов, отметив, что «все глаголы... поставлены в настоящем времени»¹). Судьба Люки поначалу складывается по образцу распространенных мелодраматических киносюжетов. Ее серая, скучная жизнь внезапно меняется, когда она случайно знакомится со знаменитым режиссером Тъери Ривуаром, обещающим сделать из Люки звезду. Ривуара привлекают в ней не какие-либо актерские способности, а ее «молодое, совсем новое, как из магазина, лицо. Еще не помятое, не запачканное жизнью и воспоминаниями». Именно такое нейтральное, лишенное признаков индивидуальности лицо как раз и подходит для создания глянцевого внешнего вида.

Сам Ривуар является носителем современной эстетики. Его кабинет в киностудии оформлен как типичный интерьер ар деко — белые стены, белые кожаные кресла, лампа с плоским стеклянным диском, которая «зажигается желтоватым туманом», и т.п. Его большой черный автомобиль, в котором он катается с Люкой по Булонскому лесу (без такой поездки не обходится в те годы ни одна романтическая история ни в литературе, ни на экране), имеет обтекаемую форму, он «похож сразу на водолаза и на акулу». Постоянный эпитет, который использует Одоевцева при описании Ривуара — «электрический»: у него электрическая улыбка, когда он просыпается, то из сна он мгновенно переходит в активное состояние, как включенный в

¹ Газданов Г. Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Брюссель. 1939 // Русские записки. 1939. № 15. С. 196.

сеть электроприбор. Постепенно становится ясно, что Ривуар лишен жизненной силы, оригинальных творческих импульсов, что он вампирически нуждается в энергии других людей.

Встреча с Ривуаром открывает перед Люкой новый, сказочный мир, внушает ей ранее неведомые амбиции. Вернувшись домой, она, как герои Стендаля, начинает мечтать о завоевании Парижа, «который скоро будет поклоняться ей». Люка быстро превращается в знаменитую актрису и независимую, современную женщину, а символом ее эмансипации становится собственный автомобиль. Однако Ривуар оказывается неудачным режиссером как Люкиной, так и своей собственной судьбы. Трагедией заканчивается и сценарий всей фривольной эпохи — «безумные годы» привели к всемирному кризису и новой мировой войне. И здесь проявилась особая «эмигрантская» интуиция писательницы. Если западной аудитории «гламурный» стиль давал возможность отвлечься от воспоминаний о трагедиях прошедшей войны и от беспокойства, связанного с предчувствием войны грядущей, то эмигранты, пережившие еще и травму изгнания и оказавшиеся в Европе аутсайдерами, не могли не воспринимать окружающую жизнь с изрядной долей скептицизма. При наложении на контекст эмиграции принципы, формировавшие западную массовую культуру и массовое сознание, обнаруживали свою обманчивую природу. Иллюзорность, безжизненность, искусственность окружающего мира передана в романе через метафору зеркала. Как писал в своей рецензии Василий Яновский: «Все, что происходит в романе, происходит как в зеркале... Обычный путь искусства: нашу аперцепцию, то, что преломляет наш “кристаллик”, повторить, воспроизвести в книге, полотне, музыке, перенести туда жизнь (или один из ее аспектов). И. Одоевцева проделывает как раз обратное; она выкачивает весь жизненный воздух, истребляет всякое наследие реальности из своего произведения, она строит “Зеркало”, где в одном плане, вдвойне удаленные от нас, движутся, скользят, страдают силуэты, залитые “электрическим сиянием”. Подчас эти искусственные, стеклянные улыбки, цвета и запахи даже удручают, но это сделано искусно, автор сам назвал свое произведение “Зеркалом”: он именно этого хотел»¹. Почти в унисон звучит и рецензия одного из идеологов движения младороссов Кирилла Елиты-Вильчковского: «“Зеркало” — книга о тщете, о бренности, о пустоте. Блестящий, ультрасовременный, так сказать “аэродинамический” мир, в котором живет Люка, лишь по первому взгляду кажется реальным. В самом деле — он призрачен: ухватиться в нем не за что. Все ускользает, растворяется, исчезает»².

¹ В. Мирный. [В. Яновский]. Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Изд. Petropolis (Bruxelles) // Современные записки. 1939. № 69. С. 390–391.

² Елита-Вильчковский К. Ирина Одоевцева. «Зеркало» // Бодрость! 1939. 18 июня. № 230. С. 3.

Думается, у «блестящей потусторонности зеркального мира» романа есть один вполне конкретный источник: романы Льюиса Кэрролла. Неоднократно в «Зеркале» возникает тема заколдованного леса, в котором, как чудится Люке, ее преследуют чудовища. Она воображает, что умеет оживлять изображенных на обоях птиц, а также «заклинать и деревья, и молнию, и зверей, чтобы они не делали зла», и постоянно придумывает сказочные сюжеты, которые на время заменяют для нее действительность. Мир кинематографа Люка воспринимает как «страну чудес», полную самыми неожиданными видениями и развлечениями. Писательница делает еще более прозрачный намек: когда Люка ужинает с Ривуаром в похожем на сказочный замок загородном ресторане, с играющим на флейте поваром, она говорит своему спутнику, любуясь его сияющей улыбкой: «Знаете, я в детстве читала такую английскую сказку про улыбающегося кота. Он улыбался и весь сиял. Его видно не было за сиянием. Он удирал, а сияние все еще оставалось. Вот как вы улыбаетесь». Этот кот из «английской сказки» — не кто иной, как Чеширский кот, который обладал способностью полностью растворяться в воздухе, при этом последней исчезала его улыбка. Чуть позже в тот же вечер Люка оказывается в «зазеркалье»: «она видит свое отражение, отражение Ривуара, и кровати, и люстры... Видит, но ничего не чувствует».

В свой «кинематографический» роман из западной жизни Одоевцева искусно вплетает толстовские мотивы. Отголоски «Крейцеровой сонаты» слышатся в сцене знакомства Люки и Ривуара: их сближению способствует «сладостная», «соблазнительная» музыка. В конце романа, когда Люка бесцельно ездит по Парижу, заходит в кафе и магазины, машинально делает покупки и обменивается репликами с окружающими, весь мир предстает ей в искаженном виде, в бессмысленных фрагментах. Эти описания напоминают «поток сознания», использованный Толстым для передачи ощущения Анны Карениной в день самоубийства. Люку окружает «опереточный» Париж, он становится не просто фоном, а отражением ее безысходного горя, он похож на разбитое зеркало¹. Эти сцены контрастируют с восприятием Люкой Парижа в начале романа, когда город казался ей «солнечным пятном».

После войны Одоевцева написала еще два романа. В одном из них, под названием «Год жизни» (1953), вышедшем в «Новом журнале» и «Возрождении», писательница продолжает создавать новые вариации на свои излюбленные темы: женского соперничества, ревности, предательства. Как и в первом романе, в центре

¹ Ирина Одоевцева вспоминала, что в первый же вечер, который она провела в Париже по приезде из Берлина, в гостиничном номере треснуло каминное зеркало, что потрясло суверенного Георгия Иванова (*Одоевцева И. На берегах Сены. С. 604*).

повествования опять находятся две сестры, Кира и Ася, влюбленные в одного мужчину и постепенно превращающиеся во враждующих двойников. В другом романе, «Оставь надежду навсегда», создавшемся в 1945–1946 годах, Одоевцева, против обыкновения, делает главными героями не женщин или подростков, но двух взрослых мужчин, братьев, оказавшихся в сталинской России по разные стороны идеологического водораздела. Главная тема романа — трагедия российской интеллигенции, оставшейся на родине после революции. Этот роман — интересная попытка эмигрантского автора проникнуть за «железный занавес» и попытаться изобразить репрессии, постоянное психологическое давление на людей со стороны НКВД, коммунальный быт. Роман «Оставь надежду навсегда» был также переведен на испанский язык. Хотя он вызвал неоднозначные отклики критики, Одоевцева гордилась своей творческой интуицией. Много лет спустя она говорила в интервью: «В моей писательской биографии есть и политический роман “Оставь надежду навсегда” (1949)¹, в котором среди прочего я описала смерть Сталина и реакцию народа на это событие. Март 53-го года подтвердил мои прогнозы»².

Пять романов и десятки рассказов — довольно обширное наследие. Тем не менее до сих пор проза Одоевцевой практически не привлекала внимания специалистов. Довоенные романы, публикуемые в данном сборнике, пользовались успехом у читателей и вызвали резонанс в критике, однако после войны они не переиздавались и, превратившись в библиографическую редкость, оказались постепенно забыты. Редкие упоминания об Одоевцевой в обзорах эмигрантской литературы были на удивление поверхностными и не свидетельствовали о близком знакомстве с ее текстами. Характерен, например, отзыв о ее прозе Глеба Струве, который посвящает ей ровно полстраницы в своей знаменитой книге «Русская литература в изгнании», ставшей первым исследованием литературного наследия русского зарубежья. О романах «Ангел смерти», «Изоolda» и «Зеркало» (к тому же приписывая Одоевцевой и несуществующий роман «Наследие») Струве сообщает лишь, что написаны они «легко и бойко», направлены на изображение «верхнего слоя французской буржуазии» и вообще «привольной жизни» и не отличаются «бытовым реализмом»³. С тех пор ситуация мало изменилась. Элла Бобро-

¹ Роман впервые был опубликован во французском переводе («Laisse toute espérance») в 1948 году, затем в английском («All Hope Abandoned») в 1949-м, русское издание увидело свет лишь в 1954 году.

² Цит. по: Колоницкая А. «Все чисто для чистого взора...»: (Беседы с Ириной Одоевцевой). С. 140–141.

³ Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 313.

ва, например, обращаясь к ее романам, ограничивается подробнейшим пересказом их содержания, объясняя это недоступностью текстов¹. Краткий разбор романа «Изольда» с точки зрения литературы о девочках-подростках дан в монографии Кс. Сребрянски-Харвелл². Этим, пожалуй, и ограничивается на сегодняшний день изучение прозаических произведений писательницы.

Исторические условия в XX веке привели к тому, что русская культура вышла за пределы России, превратившись в международную. В каждом центре диаспоры сформировались свои традиции, свой стиль и поэтика, отличные от аналогичных явлений в метрополии. В поздний советский период активно обсуждался вопрос, одина ли разделенная на два русла русская литература, и в порыве к преодолению семидесятилетнего противостояния решался он, как правило, положительно. Однако единство истоков не исключает своеобразия. Произведения, которые создавались русскими авторами во Франции, отмечены особой, неповторимой тональностью и по сути принадлежат иному культурному пространству. В их ряду проза Одоевцевой оказывается одновременно и отражением уже навсегда ушедшего мира русского Парижа, и неотъемлемой частью его литературного и эстетического наследия.

Мария Рубинс,
доктор филологических наук,
доцент кафедры русской литературы
факультета славяноведения Лондонского университета

¹ Боброва Э.И. Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист. Литературный портрет. М.: Наследие, 1995.

² См.: *Srebrianski-Harwell X. The female adolescent in Exile in works by Irina Odoevtseva, Nina Berberova, Irmgard Keun, and Ilse Tielsch.* N. Y.: Peter Lang, 2000. P. 21–41.

Муралгоошуба.

РАССКАЗЫ

СЕРДЦЕ МАРИИ

— Ты понимаешь, Мария? Когда я хожу здесь, по Версалию, я ни о чем не жалею. Ни о России, ни о прежней жизни. Ведь это так прекрасно. Подумай: то, что мы сейчас видим, может быть, самое прекрасное, что есть на свете. Ты понимаешь, Мария?

Она посмотрела на него голубыми, детскими глазами.

— Да, конечно. Но здесь так печально. У нас в Лионе тоже прекрасный городской сад и по воскресеньям играет музыка.

Ремнев перебил ее.

— Подумай, в такой же осенний день Мария-Антуанетта шла по этой аллее, ведя дофина за руку. Она плакала. Принцесса Ламбаль...

— Ах, Поль, посмотри, какое визоновое манто на этой даме. Мне никогда не иметь такого. Ведь оно стоит тридцать тысяч.

Ремнев круто повернул и пошел к выходу.

— Поль, куда ты?

Но он быстро шагал мимо цветников и фонтанов, не слушая ее. Ему казалось, что ее глупая болтовня оскорбляет здесь все. Он стыдился ее. Нет, никогда больше не приведет он ее сюда.

Они шли теперь по неровному мощеному двору. Мария еле попевала за ним, спотыкаясь на высоких каблуках. Она прижала руку к груди.

— Мое сердце. Ах, мое сердце!

...Узкая, белая комната. Ситцевая занавеска бьется перед окном. Мария сидит на краю кровати:

— Ты целуешься слишком сильно. Мое сердце. Мое бедное сердце. Мне кажется, вот я вздохну, и оно улетит.

Он обнимает ее голые плечи:

— А разве твое сердце птица, чтобы улететь? Голубь?

— Да, Поль, голубь. И когда я буду умирать, я пришлю его к тебе прощаться...

Это было их первое свидание. Три месяца тому назад.

Ремнев улыбнулся, вспоминая его: «И что я злюсь? Ведь она не виновата, что только приказчица».

Он взял ее под руку.

— Держи, держи свое сердце, чтобы не улетело.

Она благодарно взглянула на него.

— Хочешь, пойдем на ярмарку. Там веселее, чем в твоём парке.

Ремнев жил в Латинском квартале. Внизу была типография, и в его комнату доносился легкий, заглушенный шум ротационных машин. Вначале этот шум раздражал его, но постепенно он привык. Иногда ему казалось, что это шумит Атлантический океан. Иногда, что он слышит вращение Земли, полет звезд, разрушение миров. Иногда, что это шум сталкивающихся враждебных мыслей — ведь комната его полна книг.

Ремнев сидел дома. Он писал стихи.

*Не опустив вуаль,
Трагически и нежно,
Она глядела в гаснущую даль,
На море темное, шумевшее мятежно,
На дом, куда ее звала печаль.*

Шаги в коридоре. Он поднял голову. Вот сейчас откроется дверь. Высокая тонкая женщина легко подойдет к его креслу, шурша черным шелковым платьем, и, наклонившись над ним, прочтет стихи. Она улыбнется. Она поймет, что это о ней. Она все поймет. Потом они вместе подойдут к окну и будут смотреть на бледный, удивительный парижский закат.

Он уже давно ждет ее. Очень давно. В Авиньоне в прошлом году он был почти уверен, что она стоит рядом с ним: так в тот день розовело легкое небо, так блестели деревья на солнце и так он был взволнован.

Но теперь напрасно ее ждать. Теперь он с Марией. Разве она может прийти теперь?

В воскресенье Ремнев, как всегда, поехал в Версаль.

Мария весело сутилась у плиты.

— Нет, ты еще не ел такого вкусного кролика. Подумай, я влила в него пол-литра шабли.

— Я привез тебе стихи, Мария. Хочешь, я прочитаю?

— Ах, пожалуйста. Я очень люблю стихи. Подожди минутку, а то пригорит. Это любовные стихи?

— Да.

— Тогда буду думать, что они о нас с тобой.

Она села в кресло, сложив руки на коленях.

— Вот. Читай, Поль.

«Какая хорошенькая», — подумал он и сейчас же поморщился.

— Ведь я просил тебя не завиваться бараном.

— Это модно. У нас все так завиваются.

Она обиженно теребила угол передника.

Он погладил ее темные стриженные волосы.

— Ну, ну, не сердись. Слушай.

Стихи не понравились ей. Какие неприличные. Лицо ее стало скучающим и обиженным.

*...Et je verrai comment
Quand je dormais ma main sur ton ventre
Tu changeais d'amants.*

Мария вскочила возмущенная.

— Неправда. Честная женщина и во сне не изменяет. Не смей читать эту гадость!

Она схватила книгу и бросила ее на пол. Ремнев встал, сильно толкнув столик.

— Ты? Что ты понимаешь?

Он еле сдерживался. Лучше уйти.

— Прощай. Ешь сама своего кролика.

И хлопнул дверью.

Она побежала за ним.

— Поль, Поль!

Но он уже быстро шел к вокзалу, колотя палкой по мостовой.

— Довольно. Нет, довольно с меня. Хватит.

Вместе с записной книжкой из кармана выпал длинный разорванный конверт. Ремнев получил его еще утром, но он проработал весь день в Национальной библиотеке и только сейчас собрался прочесть письмо: «Значит, ты ушел? Я ничего не понимаю. Если ты сердишься за стихи, то я выучу всю книжку наизусть, только не сердись. Я все время плачу. Приезжай непременно сегодня же».

«Непременно» было подчеркнуто трижды.

Ремнев скомкал письмо.

Вечером он сидел у своего друга Волкова.

— Мне все-таки не ясно, почему ты ее бросил?

Волков передвинул на столе маску Пушкина. Он был на четыре года старше Ремнева. 26 лет не то что 22 года, и он считал себя вправе давать советы Ремневу.

— Она хорошенькая и милая. Такой не найдешь.

Ремнев бросил папиросу.

— Она глупа.

— Любить можно только глупых женщин. Умные всегда не-
сносны.

— Я не хочу любить женщину. Я хочу любить Прекрасную Даму.

— Я давно знал, что у тебя голова набита соломой.

Ремнев проснулся от стука. На подоконнике сидел серый голубь и стучал клювом в окно. Было девять часов. Ремнев встал, открыл окно и накрошил на подоконник остатки вчерашней булки. Голубь внимательно посмотрел на него, но крошки клевать не стал.

— Какой глупый! Ну же, ешь!

Ремнев протянул к нему руку с куском булки. Голубь, не испугавшись, спокойно отошел на край подоконника, все так же внимательно глядя на него.

Ремневу стало как-то не по себе.

— Ну, что смотришь? И чего тебе надо, раз ты не голоден?

И вдруг неожиданно вспомнил: «Мое сердце — голубь, и я при-
шлю его прощаться с тобой, когда буду умирать».

— Сердце Марии, — сказал он громко. И в ту же минуту голубь
взмахнул крыльями и улетел.

Ремнев высунулся из окна, но голубя уже не было видно.

«Какая чушь! Мало ли в Париже голубей?»

Но неприятное чувство не проходило.

День тянулся бессмысленно и тоскливо. Он не пошел ни в библиотечку, ни на урок. Почему? И сам поймал себя на мысли: «А вдруг он прилетит?» Вздор. Неврастения.

Но все-таки ждал. И только когда совсем стемнело, пошел в «Ротонду».

В «Ротонде» он был только в несчастные дни, когда так плохо, хоть вешайся. И сейчас, сидя за столиком перед стаканом кофе, он с отвращением смотрел на нахального жерана, на унылых или слишком развязных русских, сидевших кругом, на намазанных женщин и на молодых людей «под англичанина» в широких, как юбка, штанах, переходивших из «Дома» в «Ротонду» и обратно.

— Какая тоска. Господи, какая тоска. Напиться, что ли?

Он встал и подошел к стойке. У стойки дешевле и веселее.

Ремнев спал. Ему снилось, что он едет в автомобиле с шведским королем и Пикассо. Король ругает за что-то шофера, но это относится и к Пикассо. «Первый раз я связался с темными сила-

ми, — кричит король, вбрасывая монокль в глаз, — и очень жалею об этом». Шофер хохочет, открыв огромный зубастый рот: «Ха-ха-ха! А кого я в прошлую пятницу возил на шабаш?»

Стук в дверь. Ремнев идет открывать. Это консьержка дома, в котором живет Мария.

— Вот, Мария просила вам передать.

Ремнев берет блюдо с кроликом. Но это не кролик, а стихи. Черные перья на шляпе консьержки колышутся. У нее воскресный вид и толстая золотая цепочка вокруг шеи. «Мария была такая хорошенькая в гробу». — «Как? Она умерла? Я сейчас поеду к ней».

Консьержка смеется, лицо ее расплывается: «Опоздали, опоздали! Она уже на кладбище!»

Ремнев проснулся, сел на кровати и посмотрел в окно — нет ли голубя? Голубя не было. Он встал, накинул на плечи старое пальто и зашагал из угла в угол. Потом, не одеваясь, сел за стол. Воскресенье. Обыкновенно он ездил на весь день в Версаль. А теперь что же делать? И еще этот глупый сон. Он, зевая, развернул вчерашний «Intransigent» — пошлую французскую газету. На первой странице была напечатана фотография нового сенатора и американки, потерявшей жемчуг в дансинге. «Фу, пошлость, пошлость». И внизу: «Самоубийство в Версальском парке».

«Молодая девушка, — у него потемнело в глазах. — Синий костюм... Голубая шляпа...»

Ремнев вскочил: «Это Мария, это Мария. Ведь я еще вчера знал, что она умерла, только притворялся, что не знаю. И это я, я убил ее».

Он, спеша, одевался. Бриться? Нет, можно и не бриться. Теперь все равно. Сапоги? Где сапоги? Босиком ведь не пойдешь. Наконец он готов.

Он бежит вниз по лестнице, потом по улице до трамвая. Но трамвая нет. Никогда нет нужного трамвая. Он берет такси. Должно быть, впервые за этот год, но разве теперь можно думать об этом? Мария, Мария. Она умерла.

Наконец он в поезде. Бесконечная дорога... Целых тридцать пять минут... Туннель... Она была совсем девочка, всего семнадцать лет, и такая трогательная. Как я мог?.. Вирофлэ. Когда же, наконец, Версаль? Ведь я ее любил... В голубой шляпе, которую я подарил ей. Она прыгала от радости. Мария...

Пассажиры выходят из поезда. Чему они смеются? Лучше всего завязать себе руки и спрыгнуть с моста. Тогда, наверное, и не выплывешь.

Дом Марии. Окно ее комнаты. Занавеска опущена. Ремнев при-
слонился к забору. Колени его дрожали.

«Надо войти. Узнать».

По улице пробежала белая собака консьержки.

«Вот собака жива. А Мария? Надо позвонить... Узнать...»

И вдруг в конце улицы он увидел ее. Нет, не увидел, он был бли-
зорук, а почувствовал, что это она. Она узнала его издали и подбе-
жала к нему, прижимая к груди свертки.

— Мария! — Он встал на колени в пыль и обнял ее ноги. — Ма-
рия, это ты?

Она нагнулась к нему, поднимая его.

— Поль, что с тобой? Встань. Стыдно, на улице, люди видят.

Он послушно вошел с ней в дом. В ее комнате он сел на диван и
заплакал. Она обняла его. Его слезы падали на ее лицо.

— Мария, Мария. Я так люблю тебя. Я бы умер без тебя, Ма-
рия.

— Поль, что с тобой?

Она тоже плакала.

Они снова гуляли по Версальскому парку. Он шел мимо тех же
фонтанов и статуй.

— Да, конечно, все это прекрасно. Только...

— Я была уверена, что ты приедешь. Ведь сегодня воскресне-
нье. Но я думала, позже. В одиннадцать, как всегда.

Он прижал ее локоть к себе. Это она, Мария.

— Мария, чье сердце голубь, — сказал громко по-русски.

— Что ты говоришь, Поль? Я не понимаю.

— Я говорю, что я счастлив.

ЭПИЛОГ

— А в России теперь снег...

Татьяна Александровна пожала плечами.

— Ну да. Конечно. В России теперь снег, а в Америке теперь ночь. Удивительно интересные вещи ты говоришь.

— Пожалуй... Но я вспомнил, как когда-то я прятался у нас в Сосновке. Как меня искали большевики и грозили спалить дом. Как мы сидели ночью в темноте, боясь зажечь свечу, и волки выли в парке, а за окном все было бело от снега. Помнишь, как мы мечтали бежать, спастись. Тогда Париж, Ницца казались нам раем. А теперь мы видим, что все это жалко и скучно. Знаешь, Таня, может быть, в России мы были бы счастливее...

Она снова пожала плечами.

— Может быть. Не знаю. Мы нищие, а нищим всюду плохо.

— Да. Но все эти американцы и англичане богаты. А мне кажется, что и они...

— Ах, перестань, пожалуйста. Что ты знаешь о жизни богатых?

Они шли по Променад дез'Аngle, с трудом пробираясь сквозь толпу гуляющих. Встречные смотрели на Татьяну Александровну, и это беспокоило ее. Отчего смотрят? Оттого ли, что она так красива, или оттого, что она хоть старательно, но бедно одета.

Она достала из сумки зеркало.

— Как неприятно. Шляпа совсем выгорела.

— Ты здесь самая хорошенькая. Разве тебе этого мало?

Она прищурилась на море.

— К чему мне это? Лучше бы у меня были бриллианты.

Мимо проезжал автомобиль, и в нем немолодая рыжая женщина.

— Вот, как у этой. И такой автомобиль.

Он взял ее под руку.

— Но ведь она стара и смешна, а ты...

Она выдернула руку.

— Сколько раз я тебе говорила. Здесь не принято ходить под руку. Как лавочники.

Они молча дошли до своего отеля.

— Сережа, купи булку к завтраку.

В бюро сидела толстая, надутая хозяйка, не кланявшаяся первой. «Оттого, что мы русские и ты шофер», — жаловалась мужу Татьяна Александровна.

У себя в комнате она сняла платье и повесила его в шкаф: «Когда еще сошьешь новое?» И, надев халат, принялась жарить бифштекс на спиртовке: «Господи, и это моя жизнь».

Ее муж вошел, неся булку. Большой апельсин оттопыривал карман его пиджака.

— Ну, давай завтракать, Танечка. Я страшно проголодался.

Она поставила перед ним тарелку с бифштексом и села напротив.

— А ты?

— Я не хочу. Я не голодна.

— Нет, нельзя. Надо есть. Ты и так худенькая. Долго ли заболеть?

— Ах, не все ли равно. Заболею, умру. И слава Богу.

— Что ты говоришь, Таня?

— Что я говорю? Только то, что я предпочитаю умереть, чем так жить.

— Но, Таня, я не понимаю...

— Не понимаешь? Ты, конечно, думаешь, что я вполне счастлива. Муж обожает, работать не заставляет. Даже балует — вот апельсины носит. Что же мне еще нужно?

Он растерянно стоял перед ней.

— Но в Петербурге, помнишь? У нас ничего не было, и ты никогда не жаловалась.

— Да. И ты бы хотел, чтобы я всю жизнь продолжала штопать твои носки и радоваться, когда ты мне принесешь апельсин? Но там все голодали. А здесь... Здесь я не могу.

— Но, Танечка, если тебе тяжело, я возьму ночную работу. Берг предлагал... Это совсем не трудно. Тогда я буду зарабатывать гораздо больше и...

— И тогда ты купишь мне новую шляпу и фальшивый жемчуг. Спасибо, но мне этого не нужно.

— Но, Танечка...

— Вот Джонсон предлагал мне все, что я захочу. Но я честная женщина. Я твоя жена. Я не буду тебе изменять. Нет. Я лучше умру с горя.

Он взял ее за руку.

— Скажи... Ты... Ты любишь его?

— Люблю? Ты с ума сошел. Какая там любовь! Но мне уже двадцать семь лет. Я скоро постарею, подурнею. Это, может быть, мой последний шанс в жизни.

Она положила голову на стол и громко заплакала. Он осторожно погладил ее волосы.

— Не плачь, не плачь, Танечка. Ты просто разнервничалась. Все пройдет, все будет опять хорошо. И ведь ты... любишь меня немножко?

Она выпрямилась.

— Нет. Я давно не люблю тебя. Без тебя я была бы богата и счастлива.

— Ах, вот как. Жаль, что ты так поздно сказала.

Он замолчал. Она продолжала всхлипывать. Он принес ей воды.

— Выпей, успокойся.

Она вытерла глаза.

— Спасибо. Теперь ничего не переменишь. Ты не сердись, Сережа.

— Я не сержусь.

Она подошла к умывальнику и стала прикладывать мокрое полотенце к лицу.

— Я, Таня, прилягу немного. Я сегодня должен раньше выехать.

— Хорошо. Тогда я пойду погулять, чтобы не мешать тебе.

Стоя перед зеркалом, она пудрилась и подкрашивала ресницы. И по тому, как старательно она это делала, он видел, что она идет на свидание к Джонсону.

Она пригладила щеткой темные короткие волосы и надела шляпу.

— Скажи, не видно, что я плакала?

— Нет, совсем не видно.

Она взяла перчатки.

— Ну, до свидания, Сережа. Смотри, будь осторожен.

— Танечка...

— Что?

— Ты так уходишь. Не поцеловав меня?

— Я думала, ты сердисься. Я вела себя отвратительно, и мне стыдно.

Он обнял ее.

— Таня...

Она присела на край кровати, виновато глядя на него.

— Прости меня, Сережа... Забудь глупости, которые я тебе говорила... Поешь перед отъездом и свари себе чаю. Ну, я пойду... а то ты не успеешь выспаться.

Она хотела встать, но он удержал ее за руку.

— Подожди. Дай мне посмотреть на тебя еще минутку...

— Что с тобой, Сережа?

— Ничего. Иди теперь...

Она снова поцеловала его.

— Так будь осторожен. Когда ты приедешь? К двенадцати?

— Я люблю тебя, Таня.

— Ну конечно. Я тоже люблю тебя. До свиданья.

И, рассеянно улыбнувшись ему, она быстро, чтобы он не задерживал ее больше, вышла из комнаты.

Татьяна Александровна взглянула на часы:

— Без четверти десять. Мне надо ехать домой.

— Куда вам спешить? Ведь вашего мужа еще нет.

Она упрямо покачала головой.

— Надо.

Татьяна Александровна разделяла все в жизни на «можно» и «нельзя».

Ездить кататься с Джонсоном, пить с ним чай и обедать — можно. Но возвращаться домой после десяти — нельзя. Это неприлично. Она никогда не делала того, что неприлично.

Они вышли из ресторана и сели в автомобиль.

— Неужели мы сейчас расстанемся? Я не хочу вас отпускать.

Она молчала, глядя в окно.

— Послушайте. Мне надоела эта игра. Ваша неприступность очень мила — каждая женщина кокетничает по-своему. Но это тянется слишком долго. Будем говорить откровенно. Если вы поедете со мной, я завтра подарю вам тот широкий браслет.

«Тот браслет?..» Она никогда не могла пройти мимо витрины, где он был выставлен, чтобы не полюбоваться им. Ей казалось, что в этой сияющей широкой бриллиантовой полосе заключено все недоступное ей счастье. Он даже снился ей.

— Вы подарите мне тот браслет? Правда? — она вздохнула. — Нет, все-таки я не поеду с вами... Не могу поехать...

— Как хотите... — он видимо сердился. — Как хотите. Я советовал бы вам подумать. Я буду ждать до двенадцати. Позвоните мне по телефону, если передумаете.

Автомобиль остановился.

— Спокойной ночи. Я не позвоню вам.

— Я все-таки буду ждать. А если вы не позвоните, я завтра утром уеду в Лондон.

— Очень жаль. — Она постаралась улыбнуться. — Тогда прощайте.

Татьяна Александровна поднялась по лестнице: «Вот и конец». Конечно, она знала, что это не может долго продолжаться. Но так неожиданно...

Она отперла дверь, вошла в свою комнату и зажгла свет. Кровать была аккуратно застлана. Сергей прибрал перед уходом — ведь она не любит беспорядка. Все было как всегда, и вещи стояли на своих местах. Но она сразу почувствовала, что что-то случилось. Что? Она беспокойно огляделась.

На комод лежал лист бумаги. Только две строки: «Я не хочу тебе мешать. Ты свободна. Прощай. Будь счастлива».

Как? Он уехал? Не может быть... Она открыла шкаф. Ни его серого костюма, ни пальто. Чемодана тоже не было. Значит, Сергей уехал...

Она села на кровать. Слезы текли по ее лицу. Сережа... Что же теперь будет со мною? Сережа уехал, Джонсон уедет... Она бросила шляпу на пол и заплакала, уткнувшись головой в подушку.

Потом встала и снова перечла записку: «Будь счастлива...» Она всхлипнула: «Хорошо мое счастье!» — «Ты свободна». Свободна? И еще не совсем понимая, почувствовала, как быстро забилося сердце.

«Свободна? Я свободна. Тогда Джонсон не уедет, и я буду счастлива. Ах, Господи!» Она села на стул, прижимая записку к груди: «Я свободна, свободна».

И вдруг вспомнила Чаплина в «La guêe vers l'ог», как он выпускает пух из подушки, прыгает и кувыркается от радости. Жаль, что ей нельзя так. Но Джонсон... Ждет ли он?.. И она побежала к телефону.

— Алло, алло, это вы?

— Да, это я. Я знал, что вы позвоните.

— Нет. Вы ничего не знали. Мой муж уехал. Понимаете?.. Совсем...

— Это хорошо, не так ли?

— Очень хорошо. Я теперь свободна. Приезжайте за мной скорее. Ах, я так счастлива, так счастлива. А вы?

Она повесила трубку и побежала наверх, перепрыгивая через три ступеньки.

Одеваясь, Татьяна Александровна представляла себе, как завтра ей будет прислуживать камеристка: «Вот, барыня, ваши чулки».

Она натянула на ноги единственную пару шелковых чулок: «Мари, выбросьте эти чулки или возьмите их себе. И туфли тоже». — «Спасибо, барыня».

Да, так будет говорить камеристка.

Она надела простое белое платье. Какое смешное и милое. Она чувствовала себя королевой, играющей в пастушку. Ведь это очень весело.

«Если даже в таких тряпочках вы очаровательны, какая же вы будете в настоящих платьях! Вы теперь счастливая женщина, Татьяна Александровна».

Она улыбнулась себе в зеркале и поглядела на свою руку: «Завтра у меня будет браслет, и я уже не буду жить здесь».

В зеркале отражался апельсин, все еще лежавший на столе. Она потрогала его. Жаль, что нельзя его сохранить на память. Все-таки последний подарок мужа.

Письма от Сергея были редки и сухи.

«...Позавчера я приехал в Лондон и как-то сразу успокоился. В Берлине я чувствовал себя тревожно. Там шел снег и была оттепель. И это слишком напоминало Петербург. А здесь... Ты представить себе не можешь, какое движение в Сити. Надо ждать четверть часа, чтобы перейти улицу. Здесь чувствуешь, что твердо стоишь на земле, и это отлично действует на меня. Дела мои устраиваются...»

Это было его третье письмо.

«Милый Сережа, — писала Татьяна Александровна. — Прости, что раньше не ответила. Я очень рада, что ты не очень скучаешь по мне. Как умно, что ты уехал. Мы только напрасно мучили друг друга. А теперь я живу в “Негреско”, в той угловой комнате с желтыми шторами, на которую мы часто смотрели. Сейчас карнавал, и я очень веселюсь...»

Потом пришло еще письмо.

«...Вот уже три месяца, как я уехал. Три месяца — большой срок. Вчера ночью я сидел в ресторане со случайным знакомым, тоже русским и тоже бывшим офицером. Мы много пили. Вспоминали Россию и большевиков. Вдруг он посмотрел на меня шалыми глазами. “А знаете ли вы, — сказал он, — что ни России, ни большевиков нет. Ничего нет. Мы сами все это выдумали”. Я рассмеялся. Но

я сам был пьян. «Может быть, — подумал я, — и Тани нет, и нашей жизни с ней не было?» Мне стало легко и весело. Мы пили и смеялись. И сегодня я проснулся веселый...

...Амстердам мне очень нравится. Это самый чистый город в мире. Его целый день без отдыха скребут и чистят.

...Я вошел в кондитерскую. Напротив меня сидели две барышни. Одна из них была очень хорошенькая. У нее были светлые глаза, светлые волосы и на щеках веснушки. Я смотрел на нее и удивлялся, как это я заметил, что она хорошенькая. Ведь за семь лет нашей жизни я так привык не замечать ни одной женщины. Я вышел, купил букет фиалок у уличной продавщицы и велел отнести ей в кондитерскую. Она взяла цветы и улыбнулась. Я смотрел на нее через окно. Потом поклонился ей и пошел домой.

Видишь, вот и у меня флирт...»

Прочитав это письмо, Татьяна Александровна поморщилась и провела рукой по лбу.

— У вас какие-нибудь неприятности? — спросил Джонсон.

— Разве у меня могут быть неприятности с тех пор, как вы со мной?

Он благодарно поцеловал ей руку.

— Но как мы проведем день? Хотите ехать в Монте-Карло, дорогая?

— Нет, я боюсь, что у меня будет мигрень. Но вы непременно поезжайте, ведь вы любите играть. А мне лучше отдохнуть.

Джонсон уехал. Татьяна Александровна долго смотрела в окно на серое море и мокрую от дождя набережную. Потом надела непромокаемое пальто и вышла.

Рыбаки вытаскивали лодку на берег. С зонтиков прохожих бежала вода.

«Какой дождь, значит, надолго». Дойдя до горы, она постояла в нерешительности: «Может быть, вернуться?» Потом стала медленно подниматься по ступенькам: «Какой крутой подъем!»

Дождь стучал по листьям. Из-за тумана почти не было видно моря. Земля размякла и стала скользкой. Наверху в парке было пустынно и тихо. Мокрые серые пинии, мокрые серые камни. В большой клетке сидел нахохлившийся орел. Он посмотрел на нее равнодушными злыми глазами и, раскрыв крылья, шумно взлетел на свой обрубок.

У мраморного белого кладбища Татьяна Александровна остановилась. «Сколько памятников, сколько крестов. Вот я хожу здесь,

а могла умереть давно и лежать, как они...» Она прижала руки к груди и снова опустила их. «Что же мне делать? Жизнь все равно уходит, а счастья у меня нет...»

С горы она спускалась другой дорогой, через итальянский квартал.

«Прежде мне все-таки было легче. Прежде я думала, что деньги такое счастье. А теперь мне даже не о чем мечтать».

Улицы были кривые, грязные и очень узкие. На веревках болталось намокшее белье. Почти все ставни были закрыты. «Что же они делают, неужели спят? Ах да, ведь сегодня воскресенье».

Она завернула за угол, прошла до следующего угла и снова вернула.

«Я, кажется, заблудилась!» Стало почти темно, но фонарей не зажигали. Из-за ставен кое-где блеснул свет. Мысли ее были смутны и тревожны. Вдруг где-то сзади хлопнула дверь. Высокий человек в кожаном шоферском пальто обогнал ее, быстро и широко шагая.

«Господи, ведь это же Сергей!»

— Сережа! — крикнула она, задыхаясь от волнения и радости.

Человек в кожаном пальто обернулся — чужое, смуглое, удивленное лицо.

Она остановилась: «Я сумасшедшая — Сергей в Амстердаме. А если бы и он, не все ли мне равно? Ведь мы теперь чужие... И он так быстро утешился...»

Наконец улицы стали шире и оживленнее. Она села в проезжавшее такси. Ей было холодно и неприятно. «Ничего, ведь я сейчас дома. Дома?»

Она представила себе большое белое здание отеля с бронзовыми нелепыми фигурами. «Разве такой бывает у людей дом?»

Горничная суетилась около Татьяны Александровны, растирая ей ноги одеколоном.

— Мадам простудится. Мадам надо сейчас же лечь. В городе столько больных гриппом.

— Хорошо. Идите. Я разденусь сама.

Вот ее комната... Вот ее драгоценности и платья, о которых она так мечтала когда-то. Зачем они ей? Толстый ковер на полу, но такое чувство, будто под ногами камни и сырая земля этой томительной, бесконечной прогулки... Камин ярко горит, но ей холодно, точно кругом все еще туман и дождь. «Я, кажется, простудилась... Ах, не все ли равно...»

Она встала и зажгла все лампы. «Ведь и у меня была собственная жизнь и муж... А теперь, что же это такое? Ничего нет. И ничем нельзя помочь. Я сама виновата».

Лампы ярко горели. На набережной шумели автомобили. «Поздно? Нет, нет, никогда не поздно... Никогда не поздно... Никогда не поздно, если любишь».

Не отрываясь, без помарок она написала письмо. «Кажется, так? Все равно, он поймет...» И позвонила:

— Отправьте сейчас же.

В дверь постучали.

— Это я. Мне сказали, что вы больны.

— Нет. У меня просто болит голова. К утру все пройдет, не беспокойтесь. Жаль, что я не могу вас впустить — я уже в кровати. А вы удачно играли?

— Очень. Я ставил на число ваших лет и два раза выиграл. Вы приносите мне счастье, дорогая.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Просыпайтесь здоровой.

Татьяна Александровна разделась и легла. «Сегодня четвертое. Восьмого он получит письмо... Девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое... Да, двенадцатого он уже может быть здесь». Она заложила руки за голову. «Сережа, милый. Приезжай скорей... И ничего мне не надо. Только быть с тобой».

Татьяна Александровна вышла из телеграфа. Джонсон ждал ее.

— Куда мы пойдем завтракать? Хотите в тот маленький ресторан над морем?

— Мне все равно.

В ресторане, сидя напротив Джонсона, она думала: «Какой противный, пестрый галстук. И эта наглая жемчужина».

— Что с вами? — участливо спросил Джонсон.

Она посмотрела на него рассеянными глазами.

— Со мной? Ничего.

— Но у вас такой странный вид. Уж не влюблены ли вы?

— А если влюблена?

Это звучало как вызов, и он стал серьезен.

— Видите ли... Я на многое готов закрыть глаза... Все зависело бы от того, в кого бы влюбилась.

Она поправила гвоздики в вазе.

— Я влюблена в своего мужа, — сказала она мечтательно.

— В вашего мужа? — Джонсон расхохотался. — О, пожалуйста! Он не опасен.

— Не опасен? Почему?

— Потому что у него нет ни гроша.

— А вы думаете, что опасны только богатые?

— Конечно!

Она покраснела.

— Мне не нужно ваших денег.

— Может быть. Но вам нужно то, что на них покупают.

— Вы думаете? — она расстегнула браслет. — Вот, я сейчас брошу его в море.

— Не делайте этого. Придется искать, нанимать водолазов. Лучше на эти деньги купим вам сейчас какой-нибудь пустяк — хотите?

— Нет. Я ничего не хочу. Оставьте меня в покое.

— Я терпеть не могу русских национальных черт — тоски и сумасбродства. Вы были всегда такая веселая, совсем не похожая на русскую.

— Да? Но я все-таки русская. И я терпеть не могу американцев.

— О, — обиженно протянул он, но сейчас же смягчился. — Дорогая моя, вы, должно быть, больны. Это началось неделю назад с вашей мигрени. Надо сегодня же позвать доктора.

Прошло десять дней. Ни на письма, ни на телеграммы ответа не было.

«Отлично! Сердится? Влюбился в ту, с веснушками? Уехал?»

В конторе отеля кланялись: «Нет, писем для мадам нет. Пусть мадам не беспокоится. Если будет, сейчас же принесут».

И все-таки она спрашивала по несколько раз в день.

«На людях легче... Музыка мешает думать... Когда танцуешь, почти не чувствуешь тревоги, — Татьяна Александровна смотрит на бесцветные глаза американца, друга Джонсона. — А дома, может быть, ждет письмо...»

— В этом году — чудный сезон, не так ли?

Она кивает головой.

— Вы хорошо танцуете. В особенности для неамериканки.

Она молчит.

— Вы были на теннисных состязаниях?

— Да.

— Интересно, не так ли?

- Да.
- Теннис — благородная игра.
- Да. — «Письмо, наверное, пришло».
- Сколько вы делаете в час?
- Сколько я делаю?
- Ну да. Я про автомобиль.
- Ах вот вы о чем... Я не считала...

Музыка обрывается. И снова: «Вы любите гольф?»

В автомобиле Джонсон целует ей руку.

— Я давно не видел вас такой веселой. Теперь, надеюсь, все будет хорошо, дорогая?

— Да, теперь все будет хорошо.

Лакей подает ей конверт.

— Вот вам письмо, мадам.

«Какое толстое письмо! И отчего адрес написан чужим почерком?»

Татьяна Александровна бежит к себе: «Ведь я знала».

— Не забудьте, что мы едем в Оперу и должны раньше пообедать, — говорит Джонсон.

— Да, да, — и она захлопывает дверь.

Она читает, не понимая. По-французски... На пишущей машинке... Ярро-лиловый шрифто прыгает у ней в глазах: «Poste privée. Корреспонденция из всех стран. Гарантия тайны».

«...Наш клиент... распорядился... пять писем... Из указанных им городов... Препровождаем последнее... Полученные от вас... Согласно его указанию...»

Из конверта вывалились ее нераспечатанные телеграммы и письма и лист бумаги, криво исписанный рукой Сергея.

«...Дорогая Таня. Я думаю, теперь твоя новая жизнь вполне наладилась и ты можешь узнать правду. Я доехал до Марселя и дальше никуда не поеду. Здесь я написал тебе несколько фантастических писем, которые тебе перешлют. Из всего, что я писал, только одно не выдуманно: я встретил знакомого, и мы пили всю ночь, и теперь, хоть уже день, пьем. Ты не любишь этого, ну, не сердись, теперь все равно. Случай такой не был бы со мной, если бы не зонтик дождевой!.. Прощайте, госпожа Пирпонт Морган!»

Внизу было приписано:

«Ангел мой, если бы ты знала, как мне не хочется умирать».

ДОМ НА ПЕСКЕ

Лишневский смотрел из окна вагона на Париж. Дома, автобусы, трамваи, фабрики... Неужели он больше никогда не увидит всего этого? Неужели он уже не вернется сюда? Он сжал руки. Нет, я должен жить. Я не хочу умереть.

В окнах замелькали зеленые луга и деревья. Он устало закрыл глаза.

Да. Он не может умереть. Ведь если он умрет, его зароют на французском кладбище, во французскую землю. А он должен лежать в Петербурге, в Александро-Невской лавре, рядом с отцом и братом. Ведь это — последнее, что у него осталось.

Он давно решил так. Может быть, это сознание и хранило его до сих пор.

...И все-таки — воды Сены текли так успокоительно, что было трудно не броситься с моста, в магазинах продавались револьверы, а в аптеках можно достать веронал...

Он должен жить! Поэтому он и едет сейчас в Бретань. Там не то, что в Париже, там, он уверен, будет легче. Лишневский открыл глаза и закурил.

В сущности, самое страшное уже прошло. Теперь надо только не распускаться.

Лишневский поселился в пансионе Бо-Сежур, чистом белом доме под красной крышей, с аккуратным садом и тенистой площадкой.

Пансион был ветхозаветный.

Обедали вместе за длинным столом. Уже за жарким соседка Лишневского спрашивала его:

— А в теннис вы играете? Ах, как хорошо. У нас не хватает партнера. Как? И плаваете? Ивонна, Маргарита, слушайте — вот кто нас научит плавать.

Его новые знакомые — две сестры и их подруга — были жизнерадостные и милые.

Лишнеvский поводил с ними все время, играл в теннис, купался и гулял.

Через несколько дней отношения уже выяснились. Одна из сестер стала смотреть на него слишком пристально и неизвестно от чего краснеть. Ее звали Ивонна, ей было семнадцать лет.

Они вчетвером возвращались с прогулки.

— Который час?

Лишнеvский посмотрел на часы.

— Десять.

— Господи, как поздно. Пойдем дорогой мимо кладбища. Она короче.

— Слышите, соловей.

— Какой это соловей — это лягушка. Здесь нет соловьев.

Был теплый, темный, сырой вечер. Серп нового месяца блестел на правой стороне неба. За поворотом среди полей показались чугунные кресты и могильные холмы. Кладбище большое и бедное, огороженное только колючей проволокой.

— Я боюсь, — сказала Ивонна.

Лишнеvский взял ее за руку.

— Не надо бояться. Ведь я с вами.

Сзади раздался смех, и два светлых платья, шурша, пробежали мимо них.

— Ах, страшно, — крикнула Ивонна и, вырвав руку, бросилась в сторону.

Он нагнал ее. Она стояла у изгороди кладбища и тихо смеялась, выжидательно глядя на него.

Он поцеловал ее в щеку.

— Осторожно, не наткнитесь на проволоку, — сказала она, все еще смеясь.

Он неловко обнял ее. Она прижалась к нему.

— Вам больше не страшно, Ивонна?

— Нет.

Чугунные кресты были совсем близко. Стоило протянуть руку, чтобы дотронуться до них.

Она слегка отодвинулась.

— Идемте, а то поздно, — и посмотрела на него сбоку. — Какой вы странный. Я еще никогда не встречала русского. Вы очень забавный.

— Забавный? Я думаю, это не то слово. Но мы, русские, на своем месте только в России, за границей нам тяжело.

— Мне кажется, одинокому молодому человеку всюду тяжело.

Он промолчал.

— Скажите, кто ведет ваше хозяйство?

— У меня нет хозяйства. Я живу в отеле и обедаю в ресторане.

— А кто смотрит за вашим бельем?

Он рассмеялся.

— Никто не смотрит. Когда оно рвется, я его выбрасываю и покупаю новое.

— Ах, это ужасно. Мне очень жаль вас, — она протянула ему руку. — Хотя я француженка, но понимаю вас.

В пансионе их ждала новость. С последним поездом приехали два молодых англичанина. Не желая терять времени, они уже танцевали с сестрой Ивонны и ее подружкой под граммофон.

Ивонна смотрела на Лишневского влюбленно и танцевала только с ним.

Когда наконец стали прощаться, она побежала на террасу за книгой. Лишневский пошел за ней. Ее руки обхватили его шею, и она поцеловала его в губы.

— Встаньте завтра в шесть. Мы одни уйдем купаться.

Они поднялись по лестнице.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Лишневский вошел в свою комнату.

«Какая прелесть эта Ивонна».

Он стал раздеваться.

«Нет, право, она прелесть. Кто смотрит за вашим бельем?»

Он улыбнулся. «Я, наверное, буду спать как убитый. Ведь я так устал. Всего семнадцать лет, и такая хорошенькая. Что она еще говорила?»

Он вытер лицо полотенцем. «Как приятно здесь. Вот бы влюбиться, тогда... Непременно встану завтра в шесть».

Он зевнул. «Я сейчас засну. Ведь я так устал. Я непременно засну». Он лег и потушил свет.

Ему показалось, что он засыпает, ни о чем не думая. Вернее, стараясь ни о чем не думать. Он почти засыпал. Но вдруг почувствовал, что опять, как всегда, воспоминания тут, а сна нет. Лишневский повернулся к стене и застонал.

...Всю эту весну его чувства были как бы раздвоены. Он уверял себя — все хорошо, все по-прежнему, ничего не изменилось. Она — его Лена — так же нежна, даже еще нежнее. Ничего не изменилось...

И все яснее с каждым днем сознавал — все изменилось. Он искал внешних признаков этой перемены, но не находил. И пытался успокоить себя. Глупости. Все идет по-прежнему.

...Да. Она нежна... Как будто еще нежнее. Но это какая-то «формальная нежность». Он так и думал — «формальная». И, едва успокоившись, едва уговорив себя, что она — та же, чувствовал — в ее улыбке, движении, взгляде — нет, не то, не то...

...Было жарко и душно. Начало июня в Париже. Трамваи, переполненные воскресной публикой.

Он пришел к ней, как всегда, в три часа. И все было как всегда.

— Хочешь чаю?

— Пожалуйста. Сегодня так жарко.

— Ах да! Я очень рада, что мы уедем послезавтра. Здесь становится невыносимо.

— Ты рада? Правда?

Она удивленно посмотрела на него.

— А ты сомневаешься?

— Да... Мне все кажется... — Он поднял ее за плечи. — Слушай, поклянись мне, что ты не бросишь меня...

— Зачем? Я никогда не клянусь.

— Нет, поклянись, поклянись. Я прошу тебя.

Она пожала плечами.

— Ну, хорошо. Клянусь.

Он снова обнял ее.

— Ты вся моя жизнь, — сказал он грустно. — Я так тебя люблю.

Улыбаясь, она высвободилась из его рук.

— Какой ты смешной!

Потом достала из картонки большую соломенную шляпу.

— Послушай, — в ее голосе была робость, — ты не будешь сердиться? Я обещала поехать пить чай с Львовым.

— Опять! — он встал. — Ты опять уходишь? Когда же конец этому?

— Но ведь мы уезжаем послезавтра. Мне надо проститься.

— Разве ты не можешь написать? И ведь ты видела его вчера.

Он опустила глаза.

— Это последний раз. Если ты хочешь, конечно, я не поеду, но...

— Нет, поезжай, пожалуйста. Не могу же я тебя держать взаперти.

Он думал, что она откажется. Но она стала быстро одеваться.

— Знаешь, там будет Арбузова. Она еще не видела моего нового платья. Пусть позавидует. Если бы не она, я бы не поехала. Мне с тобой гораздо веселее. Ну не сердись... Надень мне туфли.

...В половине восьмого Лишнеvский постучал в ее комнату. Ответа нет — еще не вернулась. Он ждет. Полчаса, час. Зачем он отпустил ее? Надо было не пускать. Хотя скандал сделать, но не пускать. Она была так рассеянна сегодня. О чем она думала? Глупости, она сейчас вернется — она вечно опаздывает.

Но она не возвращается. Он сидит в ресторане у окна и смотрит на улицу. Он уже не сердится. Разве он может на нее сердиться? Только бы скорее она приехала...

— Кофе? Нет, не надо.

Он снова стоит на улице. Она сейчас приедет. Не успеет он сосчитать до пятнадцати, как увидит ее. Раз, два, три, четыре... Из-за угла показывается автомобиль. Это она, ведь он знал, знал... Но автомобиль проезжает мимо.

Проходит еще полчаса. Зачем он отпустил ее? Где она? И что теперь делать? Ждать? Или ехать ее искать? Может быть, она там, в этом мерзком дансинге?..

...Он толкает дверь и прямо с улицы попадает в комнату, забитую танцующими. Грохот джаз-банда, табачный дым. Какая-то американка машет ему — подсаживайтесь. Лены нет. Он стоит и смотрит. Еще в пятницу они были здесь вместе. С тем длинным блондином она танцевала. Но где же она? Может быть, дома?

...Ее окно по-прежнему полуоткрыто и не освещено. Господи, что же это? Он ходит взад и вперед перед отелем. От фонаря до угла. — Ему кажется, что он обошел весь город...

И опять это отвратительное чувство раздвоенности. Глупости. Поехала ужинать или кататься... Нет — это конец.

Он садится в кафе на углу. Отсюда видно ее окно. Сонный гарсон приносит ему стакан теплого пива. Кафе пусто. Уже половина второго. В два часа кафе закрывается. Опять улица, закрытый отель, желтый фонарь...

...Светает. Он идет домой. От выпитого вина кружится голова. Неужели это Париж? Неужели это он, Лишнеvский, шагает по этим пустым, серым улицам? А Лена так и не вернулась...

На плас Пигаль сидит знакомый инженер с русской, накрашенной и не совсем молодой дамой.

— Что с тобой? Ты похож на мертвеца?

Дама протягивает ему руку.

— Не стоит так убиваться из-за любви. Я тоже не знаю, где мой муж, а вот не скучаю. Садитесь к нам. Мы вспоминаем наш Петербург... Давайте говорить о нашем Парадизе... — читает она нараспев...

...Он хотел встать в восемь часов, но старый будильник не позвонил, и он проснулся в полдень с тяжелой головой.

И снова ее отель, лестница, дверь в ее комнату. Он стучит. Ответа нет. Тогда он толкает дверь. В комнате беспорядок. На полу бумаги, пустой шкаф, с кровати снято одеяло. Ни сундука, ни чемодана... На столе вынуты из воды цветы..

Хозяин в бюро любезно улыбается:

— Да, мадам только что приезжала за вещами... Уехала, да... нет, не оставила ни адреса, ни письма...

...Он бежит по улице, держа шляпу в руке... Но ведь все равно — конец... Нет, все еще можно поправить. Он скажет ей. Она поймет. Только бы найти ее...

...Муж Арбузовой, ее подруги, открывает ему дверь.

— Да, Елена Сергеевна ночевала у нас. Ушла куда-то с женой... А я работаю. Хотите посмотреть мою фабрику? Я делаю батики. Вот так — беру кусок шелка, натягиваю...

...Снова он на улице. И сразу встречает ее. Она идет с подругой. Вдруг замечает его и краснеет. Протягивает руку — «здравствуй, Миша». И еще больше краснеет. Машинально он целует ее белую перчатку.

— Прости, что я не написала тебе... Я не знала, что написать... Я думала, ты сам поймешь...

Он смотрит на нее и видит как-то особенно отчетливо ее волосы, платье, угловатые плечи.

— Лена, ты клялась мне...

И самое невыносимое воспоминание — ее жалкие бездушные глаза, ее растерянные, ничего не значащие слова:

— Простимся... Я не могу так... Я хочу жить... Останемся друзьями...

Лишнеvский снова застонал и снова, как всегда, вспомнил Петербург. Он шел по грязной Бассейной. Это было лето 19-го года. Около рынка сновали мальчишки-папиросники. Бабы предлагали лепешки и пирожки. Какая-то старушка в шляпе, поднявшись на носки, таинственно шепнула ему в ухо:

— Старорежимные карандаши, — и, оглянувшись испуганно, прибавила: — продаю.

Лишнеvский перешел на другую сторону. Там, выстроившись в ряд и повесив вещи на решетку сквера, стояли торговки. Большинство из них были дамы, бабы продавали на той стороне, около

рынка. По тротуару ходили покупатели, прицениваясь к вещам. Лишнеvский торопился и с трудом пробирался скvозь толпу. Вдруг он увидел Елену Сергеевну. Она стояла в голубом ситцевом платье, прислоняясь к решетке, с большим белым веером в руках. Она покраснела. Ей было неприятно, что он видит ее здесь. Он не знал, кланяться ли ей или сделать вид, что не заметил ее. Но она улыбнулась и протянула ему руку.

— Здравствуйте. Как мы давно не виделись. А я торгую.

Она отставила правую ногу, должно быть, желая ее спрятать. Он невольно взглянул вниз — на ней были черные, сильно залатанные туфельки.

Он тоже покраснел.

— И хорошо идет торговля? — спросил он как можно естественнее.

— Нет, не очень. Еще ничего не купили сегодня. Я вот продаю свой веер. Мне его страшно жаль.

Она раскрыла веер и стала им медленно обмахиваться. Белые легкие перья заколыхались в пыльном воздухе.

— Я где-то читала стихи. Кажется, перевод с китайского:

*Мой белый веер так тихо веял
Нежней жасминовых ветвей.
Мой белый веер, печальный веер,
Который был душой моей.*

И она смотрела на Лишнеvского поверх дрожащих страусовых перьев. Лицо ее стало мечтательным и грустным.

— Я очень люблю балы, — сказала она.

Мимо них два раза прошел матрос, пристально глядя на веер, потом спросил:

— Сколько хотите, гражданка?

— Тысячу.

— Дороговато. А нельзя ли уступить?

— Нет. Настоящая слоновая кость.

Она улыбнулась Лишнеvскому:

— Идите, вы мешаете мне торговать. Не забывайте нас. Мы живем по-прежнему на Кирочной. И всегда дома по вечерам.

Лишнеvский поклонился. На углу он оглянулся. Она стояла, все так же обмахиваясь веером, глядя поверх людей и домов в небо. Матрос в нерешительности топтался перед ней.

И потом уже Лишнеvский никак не мог забыть, как она стояла на грязной улице в ситцевом платье, в залатанных туфлях, с белым

веером. И ему казалось, что если бы он не видел ее в то утро и если бы не так колыхались белые перья, он не мучился бы сейчас.

Он поднялся на локте и зажег свет: все равно не заснуть.

Она вошла не постучав.

— Здравствуй, Миша. Одевайся скорее. Чудная погода. Идем гулять.

— Лена, — мог он только сказать, задыхаясь. — Ты?.. Когда ты приехала?

Она поцеловала его.

— Только что.

— Отчего... — начал он, но она закрыла ему рот ладонью.

— Нет, нет. Об этом потом. Теперь одевайся. Ну же, скорей.

Они вышли в сад. На теннисной площадке стояла Ивонна, удивленно глядя на них. Он не поклонился ей. Он даже не помнил, знаком ли он с ней.

Лена взяла его под руку.

— Мы к морю?

— Да, — он открыл калитку. — Вот по этой улице.

Она покачала головой:

— Нет, сюда. Разве ты не знаешь этой дороги?

Она вывела его через сосновый лес к морю. Он еще никогда не был здесь, и море показалось ему совсем новым. Это и не было море, а только бухта. Вода зеленела, спокойная и глубокая. Берег был песчаный, а на дюнах стояли сосны. Совсем как в Балтийском заливе.

От ветра ее широкое голубое платье трепалось, как флаг. Короткие светлые волосы стали сиянием вокруг ее лица.

— Лена... Какая ты... Еще гораздо лучше, чем я думал.

— Я люблю тебя, Миша.

— Любишь?

— Люблю.

— Навсегда?

— Навсегда.

Он на минуту закрыл глаза. Голова его кружилась.

— Но как ты могла?

— Нет, нет, потом. Я все расскажу тебе. Ты поймешь.

— Навсегда?

— Навсегда.

Солнце поднялось выше. Вода стала еще зеленее.

— Лена, я так счастлив. Слишком счастлив. Вот взмахну рука-ми и улечу.

— Ах, нет. Не надо. Кто знает, как там в небе, а здесь на земле так хорошо.

Она подняла валявшуюся на песке детскую лопатку.

— Давай строить себе дом.

Он помогал ей, и они выстроили из песка маленький дом и устроили сад из морских водорослей.

— Теперь смотри, — сказала она серьезно. — Это наш дом. Мы живем в Версале. Ты вернулся со службы домой иходишь в наш сад. Видишь, какие у нас цветы? Это я ухаживаю за ними. Слышишь, как шумят липы? Тыходишь сюда, в прихожую, я бегу тебе навстречу. Потом идем сюда, в гостиную, и садимся тут, у окна. Комната маленькая, но солнечная, мебель белая. Мы ее купили на выплату, и она нам очень нравится. О чем ты говоришь? Ты очень скучал весь день без меня. Но ведь теперь мы вместе. А в кухне на плите у меня кипит суп.

Он смотрел на дом и видел все, о чем она говорила. Но она вдруг ударила лопаткой по крышке дома и рассмеялась.

— Зачем ты разрушила наш дом, Лена?

— Не надо строить дома на песке.

Она снова улеглась возле него и стала смотреть в небо.

— Навсегда?

— Навсегда.

— Лена, ты еще не знаешь...

Она подняла голову и пристально посмотрела на него.

— Я все знаю.

Потом, помолчав, потянулась.

— Послушай, Миша, я голодна. Тут есть маленький ресторан. Пойдем завтракать.

Ресторан был похож на рыбацью хижину, но внутри было светло и нарядно. Лакей подал лангуста. Он не замечал вкуса еды, даже не почувствовал холода мороженого. Как будто глотал воздух. «Это от волнения», — подумал он.

Они снова бродили у моря. Стало уже смеркаться. Как быстро день прошел. Когда они вернулись, окна пансиона были освещены, а в саду тихо и пусто.

Она взяла его за руку.

— Подожди. Не надо еще домой. Пойдем в цветник.

— Но здесь нет цветника.

— Как нет? А это?

Цветник был большой и пестрый. Цветы росли широкими полосами: розовые гвоздики, лиловые левкой, красные розы. Посередине был фонтан.

Она вошла в цветник и стала рвать цветы, потом села возле него на скамейку.

— Посидим тут.

На прозрачном синем небе медленно поднималась круглая желтая луна.

— Слышишь, Миша, соловей?

— Нет, это лягушки. Здесь нет соловьев.

Она подняла руку и показала на дерево над их головами. На ветке сидел маленький серый соловей. Горлышко его надувалось и трепетало.

— Видишь?

Наконец они вернулись в дом. Они никого не встретили. Она отперла дверь. Он запомнил номер двери — 25.

В открытое окно светила луна. Широкая белая полоса ложилась на пол. В саду все еще пел соловей.

— Навсегда?

— Навсегда.

В окно по-прежнему падал лунный свет. Она приподнялась и села. Рубашка сползла с ее плеча.

— Теперь я расскажу тебе.

— Нет, не надо. Потом. Завтра...

Он обнял ее, и голова ее снова опустилась на подушку. Он глубоко вздохнул и на мгновение открыл глаза. Лицо ее было бледно и измучено. И ему показалось, что над ней, совсем как когда-то на Бассейной, колышались белые страусовые перья.

Рассвет... В открытое окно тянуло холодом.

— Иди к себе.

Он нагнулся и поцеловал ее волосы. Губы ее зашевелились, но он ничего не услышал.

«Спит».

Он осторожно спустился к себе, лег в кровать и сейчас же с наслаждением почувствовал, что засыпает.

Он проснулся поздно. Лена, должно быть, встала. Бреясь, он выглянул в окно — не мелькнет ли в саду ее голубое платье. Нет, должно быть, еще спит.

Он вышел на веранду и сел, ожидая ее. Он был спокоен и счастлив. Ведь теперь все хорошо. Навсегда.

Вышла горничная.

— Monsieur еще не пил кофе? Принести сюда?

— Нет, я жду. Скажите, дама из № 25 еще не выходила?

— Я не понимаю. Какая дама?

— Та, что приехала вчера.

— Monsieur ошибается. Вчера приехали только два англичанина.

— Но дама из № 25?

— Нет, monsieur... Никакой дамы... И № 25 нет. У нас всего девятнадцать.

Лишнеvский провел рукой по лбу.

— Ах так... — проговорил он с усилием. — Значит... Значит, я ошибся.

...Он сошел в сад. К нему подбежала Ивонна с простыней.

— Я вас жду с шести часов. Где же вы были? Идем купаться?

— Нет. Я сейчас не могу. Извините.

И он прошел мимо.

Она удивленно и обиженно смотрела ему вслед. Что с ним? С ума сошел?

Лишнеvский шел по дороге. Проехала тележка. Прошумел автомобиль. Маленький пастух гнал овец, играл на дудке. Ветер дул в лицо. Какой свежий — с моря.

Лишнеvский остановился перед оградой кладбища.

— Ах вот я куда пришел!

Он вошел на кладбище и сел на могильный камень. Камень был сухой и горячий. Ивы легко шумели. По небу бежали облака-барашки. «Совсем как в России!» — подумал он. Прилетела ворона и, сев на дерево, глухо каркнула. «Совсем русская ворона и так же каркает! — он улыбнулся. — В сущности, не все ли равно, где лежать? Все это выдумки людей, которым еще рано умирать...»

ЖАСМИНОВЫЙ ОСТРОВ

— Ася, Ася, — позвала Мика.

С подушки поднялась растрепанная стриженная голова.

— Ну что тебе? Выспаться не дашь.

Мика уселась поудобнее на кровати.

— Скажи, Ася. Только ты не засыпай, пожалуйста. Скажи, если целый день думаешь о ком-нибудь и он ночью снится, это значит, что влюблена?

— А тебе зачем знать? Уж не ты ли влюблена?

— Да, Ася, — Мика покраснела. — Мне кажется, что я влюблена.

— Ты? Ты с ума сошла. В четырнадцать лет. Вот я запрю тебя в комнате на целый день, тогда узнаешь у меня, как влюбляться.

— Ты всегда так. Тебе ничего сказать нельзя. Сейчас сердисься. А ведь я, — Мика всхлипнула, — а ведь я сиротка, — и, уткнувшись головой в подушку, громко заплакала.

Ася встала и подошла к кровати сестры.

— Мика, не плачь! Не надо. Я не сержусь. Ну, улыбнись. Слушай, вот я выйду замуж, и мы проживем. У тебя все будет, что захочешь. И сенбернара тебе куплю.

— А Жасминовый остров? — Мика уже смеялась.

— И Жасминовый остров будет.

— Правда, Ася?

— Правда. Ну, поцелуй меня.

Но лицо Мики снова стало грустным.

— Да... Но, может быть, ты не выйдешь замуж...

Ася встала.

— Может быть... Одевайся скорее. Уже восемь часов.

Мика мылась, расплескивая воду. Ася смотрела в открытое окно. Она напрасно приехала сюда. Здесь дорого, а денег осталось мало. Робертс не обращает на нее внимания. Досс, тот, кажется, влюбился, но ведь французы не женятся без приданого.

Внизу под окном старик-садовник подрезал большими ножницами кусты белых роз. Между деревьями блестело озеро, а дальше были горы.

Да, она думала, что в маленьком пансионе в горах ей повезет. Но здесь никого нет. Лучше уехать... Она вздохнула. Ведь выходят же другие замуж. Каждый день столько свадеб. Отчего же она не может?

— Ты еще долго будешь возиться?

Мика старательно завивала короткие волосы. В зеркале отражалось ее озабоченное, лукавое, почти уже женское лицо.

— Это еще что такое? — Ася схватила щетку и, обмакнув ее в воду, разгладила завитки. — Если я еще раз увижу, обстригу тебя под машинку, как арестанта. И кушак мой сними сейчас же.

С Микиных мокрых волос капала вода.

— А теперь иди вниз и скажи, чтобы без меня не играли. Я приду через минуту.

— Хорошо.

Мика взяла ракетку и послушно вышла. Но дверь снова отворилась.

— Старая дева! — крикнула Мика и, захлопнув дверь, побежала по коридору.

На перилах лестницы сидел Поль, тринадцатилетний рыжий сын лионского коммерсанта.

— А вот вы можете так? — крикнул он ей, съезжая по перилам.

— Прекрасно могу.

Она перебросила ногу через перила и тоже съехала вниз.

— Это ничего не значит, — Поль презрительно пожал плечами. — Все-таки вы девчонка.

Она сжала кулаки.

— Хотя я девчонка, но когда-нибудь поколочу вас.

— Мики, — позвал Робертс с балкона, — ваша сестра скоро? Я жду ее.

— Что же вы? Струсили? — кричал Поль, наступая на нее.

— Я сказала: когда-нибудь, а не сейчас.

Стараясь ступать как можно грациознее, Мика вышла на балкон и подошла к Робертсу.

— Моя сестра пишет письма. Она просила вас не ждать, а играть пока со мной.

— Отлично. Идемте.

Поль уцепился за его плечо и повис на нем.

Мика прижала ракетку к груди, с восхищением глядя на Робертса.

— Какой вы большой и сильный...

Белое платье мелькнуло за деревьями.

— Вот уже Ася, — разочарованно сказала Мика.

Ася быстро подошла к играющим и протянула Робертсу руку.

— Почему вы меня не подождали?

Она враждебно оглянулась на сестру и поджала губы.

— Мика, у тебя грязные уши. Поди сейчас же вымой.

Супруги Старк завтракали в вагоне-ресторане.

— Единственное, что еще нравится мне, — говорил он, глядя в широкое окно, — это вот так путешествовать. Спать ночью в вагоне, а утром пить кофе и смотреть в окно. И чтобы ты была рядом. Да, непременно, чтобы ты была со мной. Но ведь я больше не люблю тебя, Ингрид.

Она размешивала сахар в чашке.

— Ну да. Конечно. Я давно все это знаю.

Ее светлые рассеянные глаза смотрели тоже в окно.

— Но я все думаю о тебе. Может быть, ты была бы счастлива с другим. Тебе тяжело со мной.

— Ах, нет, — она постаралась улыбнуться. — Мне совсем не тяжело. И разве бывают счастливые люди? Это все выдумки. Если бы только ты не заводил всегда этих разговоров. Мне с тобой хорошо, и ты мой муж.

— Да. Но я не умею забыть. Если бы тогда...

— Перестань. — Она провела рукой по лбу. — У меня, кажется, опять начинается мигрень.

— Не сердись. Я больше не буду. Ты отдохнешь в горах. Там озеро и сосны. И так тихо.

Она снова улыбнулась.

— Спасибо. Какой ты милый, что едешь из-за меня в эту глушь. Тебе будет скучно.

Он наклонился к ней через стол.

— Мы никогда не расстанемся, Ингрид.

После завтрака сидели на террасе. Ася расправила юбку так, чтобы были видны колени в розовых чулках. Рядом с ней Робертс набивал трубку. Она не переносила табачного дыма. Но если хочешь выйти замуж...

— Мы сегодня взберемся на ту гору.

— Хорошо, — она кивнула. — Только пойдем без Мики. С ней так утомительно.

Подниматься на гору Асе не хотелось. В последний раз она поврала платье и всю ночь не могла спать от усталости. Все-таки она пойдет.

— Ах, смотрите, — крикнула Мика. — Новые едут.

Длинный синий автомобиль остановился перед домом. Шофер отворил дверцу. Старк помог жене выйти. На ней было светлое пальто до полу. На шляпе развевалась сиреневая вуаль. Хозяйка пансиона с поклонами бежала им навстречу.

— Какая она странная, — сказала Мика, — я таких еще не видела. Как с картинки. Я ее боюсь.

Вечером все познакомились. Ася танцевала со Старком.

— Вы первая русская, которую я встречаю. Вы такая же северянка, как мы. Только богаче, в вас есть восток. И это все меняет. Как будто смотришься в бегущую воду, узнаешь и не узнаешь свое лицо и вдруг видишь, что оно чужое. В этом для меня ваше главное очарование.

Ася удивленно посмотрела на него.

— Вы, кажется, ухаживаете за мной? А ведь вы женаты.

— Ах, это не имеет значения. Я почти что не женат.

— Как так?

Он помолчал, усердно отстукивая па.

— Вы хорошо танцуете.

Мика бродила грустная по саду.

Завтра Робертс уезжает. Он сказал об этом так неожиданно за столом, что Мика поперхнулась. Ася хлопала ее по спине:

— Не ешь так жадно, никто не отнимет.

Больше об отъезде Робертса не говорили. Он уезжает завтра утром.

Навстречу шла жена Старка. На плечах ее развевался сиреневый шарф. Она, как всегда, держалась очень прямо. Неужели это прическа так оттягивает ей голову?

— Мика, — позвала она.

Мика остановилась и неловко присела.

— Где ваша сестра? Мой муж ищет ее, чтобы ехать кататься.

— Она у себя. Я сейчас скажу ей, — и Мика побежала к дому.

Ася подбирала крючком спустившиеся петли чулка.

Мика хлопнула дверью.

— Ася!

— Ну что тебе опять? Не мешай.

— Старк зовет тебя кататься.

Ася встала. Чулки упали на пол.

— Правда? Ты не сочиняешь? Помоги мне одеться. Достань шелковое платье. Нет, не это. Розовое.

Мика суежилась около сестры.

— Какая ты красивая, Ася. У тебя блестят глаза. Ты стала совсем другой. Отчего?

— Оттого. Поддай мне шляпу. Ну, до свиданья.

— Ася, — Мика в нерешительности поджала одну ногу. — А мне можно сегодня позже лечь?

— Можно.

— А играть с Робертсом в теннис?

— Ах, играй, пожалуйста, с кем хочешь.

— Но ведь раньше ты не позволяла.

— Мало ли что было раньше.

Внизу затрубил автомобиль.

— Я сейчас, — крикнула Ася Старку в окно.

Робертс нашел записку под дверью: «Ждите сегодня в 10 часов на скамейке около озера».

Он повертел записку в руках.

«Кто бы это мог быть? Ася уехала кататься. Неужели жена Старка?.. Или мать Поля?.. Но раз просит, почему бы не пойти?»

В саду громко квакали лягушки. Деревья шумели. Луна быстро летела сквозь тучи, как земной детский воздушный шар.

Маленькая тень встала со скамейки.

— Мики. Что вы здесь делаете?

— Это я писала вам, — волнуясь, сказала она.

— Зачем? Вам пора спать. Уже поздно.

Она потянула его за рукав.

— Я хотела с вами проститься. Садитесь.

Он нехотя сел.

— Вам пора спать.

— Нет, нет, — Мика прижала худые руки к груди. — Я не могу спать. Вы не понимаете... Я люблю вас.

— Ну, да... — Робертс похлопал ее по плечу. — Вы молодец. Из вас выйдет чемпион. Вы и теперь отлично играете в теннис.

— Посадите меня на колени, — попросила она тихо.

— На колени? Такую большую девочку?

— Мой брат всегда сажал меня на колени.

— Ваш брат? Где же он теперь?

— Мой брат, — она запнулась, — он... его расстреляли большевики.

Это была неправда. Она сейчас только выдумала этого расстрелянного брата.

Робертс погладил ее волосы.

— Бедная Мики, бедная девочка.

Она уткнулась головой в его плечо и вдруг, сама не зная отчего, заплакала.

— Не надо плакать, Мики, — повторял он, не находя, что сказать. Слезы всегда расстраивали его.

— Он был так похож на вас, — всхлипнула Мика. — И он всегда брал меня на колени.

Робертс осторожно посадил ее на колени.

— Теперь мне хорошо, — прошептала она счастливым голосом. — Поцелуйте меня.

Он поцеловал ее мертвую щеку.

— Нет, не так, — она подняла голову и неумело поцеловала его в губы.

— Мики, — хотел он возмутиться.

Она обняла его шею и вздохнула.

— Мой брат всегда...

— А вам все-таки пора спать.

— Сейчас... Еще минутку. Мне так хорошо. Скажите, только не смейтесь. Если бы мне было шестнадцать лет, вы бы женились на мне?

— Не знаю. Я не думал об этом.

— Нет, скажите.

Луна освещала ее взволнованное лицо. Какая она прелестная. И почти взрослая... Как он раньше не замечал?

— Может быть... — он снова посмотрел на нее. — Даже наверное женился бы.

Она еще крепче обняла его.

— Через два года мне будет шестнадцать. Два года — это так мало. Мы можем подождать. Хотите?

— Какой вы ребенок.

Он покачал головой.

— Обещайте писать мне, а то я опять заплачу.

— Писать? Хорошо, я буду посылать вам открытки. А теперь идите спать.

— Если вы понесете меня до террасы. Мой брат всегда носил меня.

Робертс поднял ее. Она увидела черные ветки деревьев, небо, луну. Ей казалось, что она летит, что она умирает... Но он уже поставил ее на землю.

— Спокойной ночи, маленькая Мики.

— Спокойной ночи, — вытянувшись на носках, она поцеловала его еще раз и побежала наверх. Но не так, как всегда, перепрыгивая через две ступеньки, а по-новому, осторожно, боясь споткнуться. Такой легкой и хрупкой чувствовала она себя теперь. Упадет — разобьется на куски.

У себя она раскрыла окно, посмотрела на небо, вздохнула и стала раздеваться. Как быстро все случилось. Вот она уже невеста.

Она легла, прижалась щекой к подушке и заплакала. Слезы текли быстро-быстро, их нельзя было остановить. Она будет плакать так, пока не изойдет от слез и не умрет от любви, счастья, нежности и жалости к себе. Высоко подтянув ноги, она стала целовать собственные колени, повторяя, как Робертс: «Бедная Микки, бедная девочка!..»

Дверь тихо отворилась.

— Ты не спишь?

Ася подошла, не зажигая света, и поцеловала сестру.

— Ты плачешь, Мика? Что с тобой?

— Это во сне. Я видела дурной сон.

— Наверно, ты опять слишком долго играла в теннис. Я привезла тебе грушу. Вот, возьми.

— Спасибо. Посиди со мной, Ася.

— Подожди.

Мика слышала шуршание шелка. Платье светлым кругом легло на ковер. Стукнули о пол туфли, и Ася босиком подошла к кровати.

— Подвинься.

Мика отодвинулась на самый край.

— Ася, как давно ты не ложились со мной!

Ася легла и обняла ее.

— Знаешь, Мика, ты только молчи, у нас, может быть, скоро будет Жасминовый остров.

— Разве ты выходишь замуж? Но за кого? Не за Робертса?

— Ах, при чем тут Робертс?

— За кого же? Я не понимаю.

— Ты еще маленькая. Тебе рано понимать.

— Ты помни, Ася, что обещала подарить мне сенбернара.

Слезы все еще текли по Микиным щекам, их никак нельзя было остановить, и груша казалась соленой. Мике очень хотелось рассказать, что и она теперь невеста, но она не решилась из осторожности.

Она только сильнее прижалась к сестре и счастливо вздохнула.

— Тебе хорошо, Ася?

Ася ответила таким же легким, счастливым вздохом.

— Да, спи, Мика.

Было семь часов, когда Мика вышла на террасу. Робертс пил кофе. Напротив него сидел Поль. Увидев Поля, Мика покраснела. «Теперь все погибло».

— А, и вы встали, — весело сказал Робертс. — Позавтракайте со мной в последний раз.

Мика взглянула на жующего Поля и покачала головой. Как можно есть в такую минуту?

— Американские футболисты лучшие в мире, — говорил Робертс.

В сад въехал автомобиль.

— Это за мной, — Робертс встал. — Идемте.

Прислуга укладывала чемодан в автомобиль.

— Хотите, я подвезу вас до ворот парка?

Поль вскочил в автомобиль. Мика с достоинством отказалась.

Робертс протянул ей руку.

— До свидания, Мики. Привет сестре. Помните, главное — срежьте мячи и держите ракетку...

Она перебила его.

— Вы обещали мне писать...

— Да-да. Я помню. Открытки.

Автомобиль тронулся. Мика хотела помахать вслед, но платка в кармане не оказалось. Разве так уезжают женихи?..

...Ася уже встала и с недовольным, озабоченным лицом терла пятно на розовом шелке платья.

— Ты не знаешь, чем выводят красное вино?

— Ася, скажи, он будет писать?

— Кто, Робертс? Нет, не будет, — голос Аси звучал резко. — Они всегда обещают и никогда не пишут.

Мика и раньше знала, что взрослые часто ошибаются. На четвертый день пришла открытка от Робертса. Вид Женевы. Крупным

почерком было написано только два слова: «Отличная поездка». И подпись. Но Мика была счастлива. Он помнит о ней. Она спрятала открытку за вырез платья, на сердце, и вышла в сад. Она была одна. Ася опять уехала со Старком.

Мика тихо шла вокруг озера. Был туманный ветренный день. На желтый песок дорожки выползла большая черная улитка. Мика подняла ее и положила в траву. Тут ее не раздавят. Вот улитка ползет себе, и ни о чем не думает, и не знает, как трудно быть женщиной.

На террасе сидела жена Старка. Мика хотела незаметно пройти, но она позвала ее.

— Посидите со мной. Расскажите мне о России.

Мика села.

— Я ничего не помню о России.

— Но все-таки. Вы ведь русская.

— Я была маленькая, когда уехала. Я помню только, что зимой холодно и много снега, а летом жарко.

— А еще? Меня так интересует ваша страна.

Но Мика упрямо молчала.

Жена Старка покачала головой.

— Что же? Идите, капризная девочка, если вы не хотите рассказывать.

Мика чувствовала себя обиженной. Она прошла вглубь сада и села под ель.

В самом деле, что она помнит о России? Только свою детскую с кошками и утятами на обоях. И свою злую француженку, надевавшую ей на голову колпак с ослиными ушами, когда она шалила. И как они с мамой ездили в институт в гости к Асе. Ася носила белую пелеринку, ей возили конфеты, и Мика ей завидовала.

Да. Она ничего не помнит. Вот только Жасминовый остров. Но ведь этого нельзя рассказывать.

Как это было? Она проснулась рано в день своих именин. Француженка еще спала. Рядом на столике лежали подарки. Но куклы не понравились ей. Кухня тоже была не такая, как надо. Еще книжка. За нее она взялась уже без всякого интереса. Наверно, тоже противная. Она открыла ее наугад и сейчас же захлопнула. Стало трудно дышать, и сердце громко застучало. Такое непонятное, чудесное и страшное было в ней нарисовано. Мика долго сидела на кровати, прижимая книжку к груди, не решаясь снова увидеть картинку. Потом понемногу открыла ее. Ничего страшного не было в картинке. Только синее небо над синим мо-

рем. В синем небе белые чайки, а в синем море красные скалы и белый остров. Но краски были так яркие, бумага так необычайно блестяла. Внизу стояла подпись «Ile de Jasmin». Никогда Мика не видела ничего волшебнее.

Мика забросила все игрушки, целыми днями просиживая над книгой. Ночью, проснувшись, она доставала ее из-под подушки и рассматривала все ту же картинку. При свете лампадки она казалась еще чудесней и таинственней. Мика долго смотрела, пока птицы не начинали махать крыльями, воздух — пахнуть жасмином, а море — громко шуметь. Тогда глаза сами зажмурились и сердце точно останавливалось... Утром она не помнила сна, но знала, что ей снился Жасминовый остров.

При бегстве из России книжка пропала. Много тогда пропадало вещей и поважней. Мика даже не очень огорчилась. Но слова «жасмин» и «остров» навсегда остались волшебными. Сердце начинало быстро стучать. Жасминовый остров... Все счастье, все мечты — Жасминовый остров...

Еловая шишка больно ударила Мику в плечо.

— Вот вы где, — рыжий Поль громко смеялся, трясая головой. — Когда же вы поколотите меня? — и вторая шишка полетела в нее.

Мика вскочила и со всех ног побежала к дому.

— Хвастунья! Трусиха! — хохотал Поль, нагоняя ее.

Мика взбежала на террасу, достала открытку из-за выреза платья и спрятала ее в ящик стола. Ведь она может пострадать от драки.

— А! Я хвастунья? Я трусиха? — кричала она, бросаясь на Поля.

Ася, улыбаясь, положила голову на подушку и закрыла глаза.

— Я люблю вас, дорогая.

Старк стоял перед ней на коленях.

— Не бойтесь. Я ничего вам не сделаю.

От выпитого вина стучало в ушах. Чего ей бояться? И как не хочется говорить. Так хорошо лежать молча.

Она снова улыбнулась.

— Я не боюсь. Ведь вы женитесь на мне.

Конечно, можно было не говорить. И так все понятно. И она поудобнее вытянулась на диване.

Но Старк молчал. Она удивленно открыла глаза. Она была так уверена в ответе.

— Нет, — он поцеловал ее руку. — Я не хочу вас обманывать. Я не могу жениться на вас.

— Не можете? — она приподнялась, придерживая на груди расстегнутое платье.

Они молча вышли из ресторана и сели в автомобиль.

— Послушайте.

Она, не отвечая, глядела в сторону.

— Послушайте. Ведь это же ребячество. Потом вам самой будет смешно. И зачем вам это? Я не люблю мою жену, но все же она моя жена.

— Ах, молчите, пожалуйста. Мне нет дела ни до вас, ни до вашей жены. Вы мне отвратительны.

— Отвратителен? — он рассмеялся. — Как вам будет угодно. По мне, очень жаль, что все так глупо вышло.

На перекрестке камьонетка пересекла им дорогу. Она летела во всю. Старк едва успел затормозить.

— Не соблюдают правила езды, — проворчал он. — Скажите, — они въезжали в ворота парка, — а две тысячи вас не устроят?

Автомобиль остановился. Ася прыгнула на землю и, не прощаясь, стала подниматься по лестнице.

— Мика, — она с шумом открыла дверь. — Мика, мы уезжаем завтра.

Мика протирала глаза.

— Уезжаем? Зачем? — и быстро отвернулась, чтобы Ася не заметила царапины на ее лице. Конечно, она поколотила Поля. Будет он ее помнить. Но ведь Ася не поймет, что это было необходимо.

— Вставай, помоги мне укладываться.

Ася, как была в шляпе и пальто, нагнулась над чемоданом.

— Достань белье. Да поворачивайся.

— Чулки, рубашки, носовые платки, — взволнованно и быстро говорила она, укладывая вещи.

Сонная Мика возилась у шкафа, стараясь отцепить платья. Ася сердится. Что с ней?

Деревянная картонка вдруг с грохотом полетела вниз.

— Весь дом разбудишь. Ничего не умеешь! — Ася захлопнула чемодан. — Ложись! Завтра кончим.

Испуганная Мика тихо забралась в кровать. Она ничего не понимала, но спать так хотелось.

Ася потушила свет. Мика слышала, как она беспокойно ворочалась.

— Ася, что с тобой? Ася?

Молчание.

— Ася. Дать тебе воды? Ты плачешь?

— Убирайся к черту! Я не ты, чтобы реветь, — и, отвернувшись к стене, Ася громко всхлипнула.

Мика натянула одеяло на голову, стараясь не слушать. Ей было жаль сестру, но спать так хотелось.

Они были одни в купе. Ася сидела в углу, расстроенная и подурневшая.

— Ася, когда мы приедем?

— Завтра в час.

— А там жарко?

— Да, да... Не приставай. Иди в коридор.

Мика смотрела в окно на горы. «Когда с ними увидишься? До свидания! До свидания! А я еду в Канны. И буду купаться в Средиземном море». Прислонившись к косяку окна, она стала слушать колеса. Колеса, совершенно, как когда-то в России, серьезно и степенно спрашивали: «Вы куда? Вы куда?» На что гайки, тормоза и оси скороговоркой отвечали тонкими голосами: «Едем, едем, не доедем. Едем, едем, не доедем...»

Стало темнеть. В коридоре зажгли свет.

— Мика, иди спать.

Мика снова в купе.

— Ася, я так рада.

— Чему ты так радуешься, глупая?

— Как же не радоваться? Ведь мы едем в Канны.

Ася посмотрела на нее сердито.

— Ты не маленькая. Пора бы тебе понять. У нас нет больше денег. Я продала последнее кольцо, чтобы приехать сюда. Если я не выйду замуж до осени, мне нечем будет платить за тебя в пансионе. Ты должна будешь начать служить и останешься недоучкой. А теперь спи. Вот тебе подушка. И пожалуйста, не болтай. У меня болит голова.

Мика проснулась с горьким вкусом во рту. Ее укачало. Вагон трясло и подбрасывало.

— Ася, мне дурно.

Ася протянула ей полотенце и мыло.

— Пойди, помойся.

Мика увидела в зеркале свое бледное запачканное лицо. Умывальник был грязный. Из крана текла желтоватая струйка воды. Ей стало противно. Она вернулась в коридор. Какое яркое солнце,

какое синее небо! Поезд пролетел черный короткий туннель, и открылось море. Оно было такое же яркое, гладко-синее, как небо. Огромное море, огромное небо, кирпично-красные скалы и повсюду крошечные оливы с пыльной листвой. И вдруг за поворотом в синем море остров в белой пене.

— Ile de Jasmin! — прошептала Мика, — Ile de Jasmin!

Ей казалось, что сердце ее сейчас разорвется от счастья.

Море открывалось все шире, небо становилось все ярче. Но сердце билось ровно, как всегда, и никакого счастья не было. Пыль и копоть летели в окно. Ее снова начало мутить.

— Ile de Jasmin...

Мика долго стояла у окна. Потом, прикусив губы, стараясь не замечать грязь, помылась и пошла в купе.

Ася сидела все так же, сложив руки на коленях, глядя перед собой.

Мика тронула сестру за локоть.

— Ася.

— Ну?

— Ася, я не знаю, как сказать. Это, может, смешно... Но ты пойми, Ася. Я сейчас стала взрослой.

— Взрослой?

— Да. Я поняла, что никакого Жасминового острова нет.

РУМЫНКА

Михновский был очень обыкновенный, одинокий человек. Жил он в Париже так: днем работал на «Рено», вечером обедал в дешевом ресторане и, вернувшись домой, полежав полчаса, принимался за перевод.

Переводил он «Мадам Бовари». Переходя как-то раз по набережной Сены, он купил за франк растрепанную книгу. Принес домой, прочитал и попробовал от скуки перевести страницу. Занятие ему понравилось. Теперь каждый вечер он сидел часа два, согнувшись над Флобером.

Он знал, что «Мадам Бовари» давно переведена. Но ведь он только так, для души, для утешения, как он сам говорил.

Михновский аккуратно разложил рукопись на столе, аккуратно обмакнул перо в чернильницу и зажмурился, представляя себе, что вот он уже кончил весь перевод, переписал его четким красивым почерком в черные блестящие клеенчатые тетради. Эти тетради стоят на полках, и от них как будто в комнате светлее.

Только скоро ли это будет? Он стал подсчитывать, сколько еще недель и дней ему придется работать. Но чем дольше он считал, тем скучнее ему становилось.

«Ну и кончу. Перепишу. А дальше что? Кому это нужно?»

Он встал и зашагал из угла в угол.

«Я, должно быть, очень несчастен, — подумал он вдруг и остановился, так его поразила эта мысль. — Да, да, очень несчастен... Но раз мне так плохо, зачем я живу? Ведь так просто... Нет, умереть всегда успеешь».

Он почувствовал, как в нем где-то там, очень далеко, вздрогнула маленькая надежда. Совсем маленькая и слабая, но он все-таки улыбнулся и махнул рукой.

«Мы еще повоюем».

Он никогда не выходил вечером, но сейчас торопливо надел пальто, почистил старую шляпу и старательно завязал шарф перед зеркалом.

«А ведь я еще недурен, — подумал он, глядя на свое молодое утомленное лицо. — И в глазах что-то такое трагическое, — определение понравилось ему, он улыбнулся. — И зубы какие! В меня еще влюбиться можно».

Он вышел на улицу, плотнее запахнул легкое пальто. Было холодно. Ему захотелось зайти в кафе. Но тогда не хватит завтра на обед. Он шел быстро, широко ступая длинными ногами в стоптанных сапогах. Вот и бульвары. От шума, света и толпы стало как будто теплее на минуту.

«Зайду в кафе. Черт с ним. Завтра поголодаю».

Кто-то дернул его за рукав.

— Михновский! — на него смотрели светлые внимательные глаза Орлова.

— Ты? Я думал, ты в Берлине.

— Как живешь? — Орлов оглядел его. — Плохо?

— Одно слово, служу на «Рено».

Орлов взял его под руку.

— Зайдем в кафе, потолкуем.

Михновский пил пиво и ел круто сваренные яйца.

— Да, вот как тебе повезло, брат. Не то что мне. Ну, рассказывай. На чем ты разбогател?

Орлов расстегнул меховой воротник пальто и, улыбаясь, как-то особенно любовно и нараспев проговорил:

— Шарикоподшипники.

— Шарикоподшипники? — переспросил Михновский.

— Да. Хорошее дело. Ты сам увидишь, — Орлов потер руки. — Вот что. Брось-ка ты свой «Рено» и переходи на службу ко мне. Ты ведь по-французски хорошо и бумагу составить можешь, а я двух слов связать не умею. Так вот, вроде секретаря будешь. Переезжай ко мне. Тысяча франков, на всем готовом.

После шума машин и приводных ремней на «Рено» сидеть в кабинете в Пасси было так упоительно, почти блаженно. Горничная в белом переднике подала на подносе письма и, тихо ступая по мягкому ковру, вышла, осторожно закрыв дверь.

Михновский прочитал письма, отложил их в сторону и, вытянув перед собой длинные ноги, стал любоваться новыми рыжими туфлями на белой толстой подошве.

Вот этими самыми ногами в рыжих туфлях он войдет в приятную, мягкую, обеспеченную жизнь. Теперь это уже ясно. Он закрыл глаза и, улыбаясь, произнес нежно и нараспев:

— Шарикоподшипники.

Перевод «Мадам Бовари» валялся вместе с старым костюмом в чемодане. Теперь, спеша по делам, Михновский не задумываясь брал такси. По вечерам ходил с Орловым в театры и рестораны. Делал все то, о чем так долго мечтал. В действительности это было менее чудесно, но все-таки очень хорошо.

Михновский и Орлов смотрели ревю.

По сцене ходили женщины, разодетые райскими птицами, певец в оранжевом фраке пел высоким голосом, сверкал бриллиантовый занавес, колыхались страусовые перья. Потом какие-то герл в трико ныряли вместе с моржами в огромный аквариум.

Орлов толкнул Михновского.

— Сейчас самое интересное. Румынка.

В пустых до сих пор ложах устраивались дамы. Стало как-то особенно тихо.

— Она шпионка, — сказал кто-то за спиной Михновского.

— Нет, что вы, английский принц чуть не застрелился из-за нее.

Розовый занавес раздвинулся. На сцену быстро вышла очень высокая, очень худая женщина с угловатыми плечами и маленькой головой. Ее черные волосы казались лакированными. На ней было ярко-зеленое платье. Она подошла к самой рампе и, широко разведя худые руки, запела модную песенку.

У нее был глухой и гортанный голос. Она, плохо выговаривая, машинально произносила французские легкомысленные слова. Лицо ее оставалось холодным и спокойным.

Допев песенку, она вдруг резко взмахнула руками, как птица, собирающаяся лететь, и подняла глаза. И эти огромные черные глаза на худом лице казались слишком сияющими, слишком смелыми; они как будто подступали близко-близко, смотрели в самые зрачки зрителей. В их взгляде трепетала такая смелая, веселая, гордая жизнь, что становилось страшно и сердце начинало громко стучать.

И хотя она теперь кружилась по сцене, высоко поднимая худые ноги с острыми коленями, глаза ее ни на мгновение не отрывались от глаз зрителей. Михновскому стало как-то неприятно. Скорей бы она кончила.

Она резко поклонилась, словно клюнула, и убежала за кулисы. Раздались аплодисменты, свистки. Кто-то крикнул:

— Шпионка!

Но она снова появилась, и все стихло. Теперь на ней было широкое, легкое красное платье. Она запела. Движения ее были лег-

ки и угловаты. Это не был танец, а какие-то резкие, странные прыжки. Красное платье металось по сцене. Пение перешло почти в крик. Казалось, она изображает пожар. Одновременно и огонь, и гибнущую в огне...

Кричали, аплодировали, свистели. Скомканная программа полетела на сцену. Толстый лысый господин, стоя в первом ряду, надрываясь, кричал: «Позор! Позор!» Какой-то молодой человек бросил красные розы на сцену из ложи. Но ее уже не было. Она, не поклонившись, убежала со сцены. Занавес упал.

Орлов рассмеялся.

— Вот так скандальчик. Подстроено, должно быть, для рекламы. Про эту румынку черт знает что рассказывают. Врут, конечно. Голоса никакого, но темперамент бешеный.

Михновский поморщился:

— Противная она, — и стал смотреть на сцену, где теперь мирно кувыркались китайцы с бумажными зонтиками.

Но программа не доставляла ему больше удовольствия.

Опять голые женщины, опять цветы и перья. Нет, довольно. Надолго.

У бокового подъезда стояла толпа, ожидавшая артисток. В ту минуту, когда Михновский и Орлов проходили мимо нее, дверь отворилась, и быстро вышла румынка. Казалось, что от ее золотого мантио, от ее бриллиантов, черных волос и огромных глаз исходит сияние. За ней в цилиндре и в накидке, распахнутой над белой грудью фрака, шел молодой человек, бросивший розы.

Она остановилась, посмотрела на толпу и улыбнулась.

— Это вы меня ждете? — сказала она, с трудом подбирая слова. — Спасибо. Спокойной ночи.

Шофер открыл дверцу автомобиля. Мотор зашумел, блеснули фонари.

Михновскому, как и каждому в толпе, показалось, что она улыбнулась только ему и только ему пожелала спокойной ночи.

Он закурил.

— Ничего в ней нет. Одна реклама.

— Да, конечно, — согласился Орлов. — Но все-таки...

— Ничего нет, — рассердился Михновский. — Не спорь, пожалуйста.

Все шло по-прежнему. Михновский по-прежнему работал, ездил на заводы, обедал, гулял. Все шло хорошо, даже очень хорошо, но он был грустен и рассеян. А в тот день, когда он купил себе пальто

на шелковой подкладке (лучшее даже, чем у Орлова) и не почувствовал радости, он забеспокоился.

«Я, должно быть, болен. Надо пойти к доктору, — решил он, глядя на весеннее парижское небо. — Это малокровие. Весной всегда развивается малокровие».

Ночью он долго ворочался с боку на бок, все стараясь понять что-то. Но мысли были тревожны и расплывчаты.

«Я болен, больше ничего. Надо пойти к доктору», — подумал он, засыпая.

...Волково кладбище. Он идет по дорожке, шуршащей от желтых сухих листьев. Памятники, могилы. Как хорошо, что он снова в России, в Петербурге. Но почему он на кладбище? Холодно. Голые березы гнутся, раскачиваются. На тонких ветвях большие, черные вороны гнезда. Сколько ворон! Вороны сидят на березах, на могилах, кружатся над его головой. Карканье, тяжелое хлопанье крыльев. Небо темнеет, кладбище пусто... Только далеко у часовни стоит старуха нищая в черном платке. Ему тоскливо и страшно. Зачем он здесь? Старуха, прихрамывая, медленно идет к нему. Он хочет бежать и не может. Старуха подходит совсем близко.

Он видит огромные, черные, веселые, гордые глаза...

— Румынка, — крикнул он и проснулся. — Румынка, — повторил он, садясь на постель. — Румынка.

И от этого трижды произнесенного слова все сразу стало ясно...

— Вот оно что, — ошеломленно проговорил он. — А я думал, малокровие. Вот оно что...

Все шло по-прежнему. Но теперь Михновский уже постоянно думал о румынке, не мог не думать о ней. Он мучительно старался вспомнить ее лицо, подбородок, рот. Ведь он помнил только ее глаза. Он старался представить себе, как она ходит по улице, смеется, разговаривает, спит.

Он вздрагивал при мысли, что она вот сейчас, может быть, открывает какую-то дверь, входит в какую-то залитую солнцем комнату. Она садится в кресло, ее шелковое платье шуршит. Она поднимает руку, наливает чай. Ее губы касаются края чашки...

Он закрывал глаза от волнения.

Адрес... Узнать ее адрес. Как он раньше не догадался? Он знал, что она больше не выступает, но адрес ее должно быть известен в театре.

Служащий в потертом черном пиджаке покачал головой.

— Нет, monsieur, мы не имеем права.

— Но все-таки. Мне необходимо...

— Ничего не могу сделать, — повторил служащий, но голос его звучал менее твердо.

Михновский вынул бумажник.

— Я вам буду очень благодарен.

Глаза служащего стали хитрыми и круглыми...

Михновский остановился перед подъездом. Никогда еще он не бывал в таком отеле. Ему стало страшно. Глупости, он одет прилично. Не надо смущаться. Он только спросит, живет ли она еще здесь. Больше ничего.

Он толкнул вертящуюся дверь. Швейцар низко поклонился.

— Мадам принимает.

...Все произошло так быстро. Мальчик в голубой куртке распахнул дверь лифта. Михновский хотел объяснить, что это недоразумение, что он зайдет в другой раз, но лифт уже остановился. Но лакей, ждавший в коридоре, уже подводил его к лакированной двери.

Из-за двери донесся знакомый гортанный голос:

— Ах так... Я тебе этого не прощу!.. Войдите.

Дверь как-то слишком широко распахнулась. Огромная комната. Всюду цветы. На одном из окон опущены шторы. Бледный дневной свет странно и неприятно смешивается со светом хрустальной люстры. У камина, глядя в огонь, стоит молодой человек, бросивший в тот вечер цветы на сцену. Теперь он в форме французского офицера.

На диване, среди подушек, румынка. На ней широкое желтое платье. Она поднимает на Михновского подведенные веселые глаза. Молча смотрит на него, словно что-то соображает. Вдруг протягивает руки вперед знакомым движением, как птица, собирающаяся лететь, вскакивает, почти бежит к нему навстречу.

— Вы! Наконец-то!

Как во сне целует он ее протянутую узкую руку. Он близок к обмороку.

— Я позволил себе... Простите...

Но она перебивает его.

— Как я рада, что вы пришли. Я так давно вас жду.

«Это недоразумение. Она принимает меня за другого. Надо объяснить...»

— Садитесь сюда, на диван. Поближе.

Она устраивается среди пестрых подушек, подбирает тонкие ноги в желтых чулках.

— Ах, как я рада.

Она, покачиваясь, заглядывает ему в лицо.

Он видит совсем близко ее глаза и снова, как тогда в театре, этот взгляд подступает к его сердцу, и ему трудно дышать. Она протягивает ему портсигар, сама зажигает спичку.

— Мне холодно. Дайте мне шаль.

Он встает, берет с кресла шелковую шаль, пахнущую сладко и душно, и накидывает ей на плечи. Она поднимает длинные накрашенные ресницы, смотрит на него снизу вверх.

— Какой вы большой. Вы, должно быть, очень сильный.

Офицер вдруг отходит от камина.

— Надо велеть принести еще дров, — говорит он.

Она оглядывается.

— Как? Вы все еще здесь? Простите, я думала, что вы ушли. Вы, кажется, незнакомы?

Михновский жмет руку офицеру.

— Вы русский?

— Да.

— И офицер?

— Да, я служил...

— Ах, нет. Пожалуйста, без военных разговоров.

Она холодно через плечо смотрит на офицера.

— Ведь вы, кажется, их тоже не любите, — подчеркнуто говорит она, потом, улыбаясь, переводит взгляд на Михновского. — Посмотрите, Марсель. Он гораздо выше вас.

— Вы правы, — соглашается офицер.

Михновский снова сидит рядом с ней.

— Я видел вас на сцене...

Она кладет свою узкую ладонь на его руку.

— Оставьте. Я прежде всего женщина, а не артистка. И я так рада, что вы пришли. Так мы обедаем сегодня вместе? Приезжайте за мной в восемь. Я свободна весь вечер. Мы покутим... Весной так хочется безумств, — полунасмешливо, полумечтательно говорит она.

Надо благодарить или нет? Ища помощи, он оглядывается на офицера. У офицера бледное, расстроенное лицо.

«Что с ним? — смутно думает Михновский, — ведь все так хорошо».

— Теперь идите. Я знаю, у вас дела. Приезжайте в восемь.

Она доводит его до двери. Он снова целует ее пальцы, вдыхая душный запах ее духов.

— Но помните, вы обещаете вести себя...

— Да, да разве я могу посметь...

Она смеется возбужденно, заглушая его слова, поднимается на ноги, шепчет ему на ухо.

— Да идите же, наконец! — и снова смеется, качая головой. — До вечера.

Дома его ждал Орлов.

— Ну как? Ты был на заводе?

— Ах, нет. Я не ездил. Послушай, одолжи мне смокинг. Я обедаю с одной дамой. Как ты думаешь, пятисот франков хватит? Посоветуй, куда ее везти?

Смокинг оказался ему не по росту — короткий и узкий в плечах. Длинные руки Михновского вылезали из рукавов.

— Нет, сними, в пиджаке приличнее. Скажешь, что не успел переодеться. Оставь, очень хорошо. Она не заметит. И это все пустяки.

В половине восьмого Михновский сидел уже в такси. Кажется, надо привезти цветы? А может быть, не надо? Нет, с цветами как-то удобнее.

Кокетливая продавщица грациозно вынимала из хрустальной вазы свежие красные розы. Глядя на розы, Михновский вдруг почему-то ясно вспомнил тот вечер, когда он бросил перевод, и то, как он думал о смерти и как почувствовал, что умирать еще рано, что что-то еще будет в его жизни. Это «что-то» и есть то, что произойдет сейчас. Да, только для этого он жил все эти годы.

...Открыла горничная.

— Мадам уехала.

— Как?.. Куда?..

Горничная чуть-чуть улыбнулась.

— Я не знаю. Мадам никогда не говорит мне, куда едет.

В автомобиле он вспомнил, что надо было оставить розы. Оставить? Зачем? Не все ли равно.

Автомобиль остановился. Михновский долго смотрел на счетчик, не понимая, сколько платить. Он все еще держал розы в руках. Они мешали ему, и он бросил их на мостовую.

Орлов удивленно поднял глаза от газеты.

— Что так скоро? Видно, и смокинг не помог...

Михновский только молча махнул рукой.

Девять часов утра... Половина десятого... Десять... Михновский доходит до угла и поворачивает обратно. Еще рано, она еще спит. Половина одиннадцатого... Одиннадцать. Теперь можно. Наверно, встала.

Он стучит в знакомую полированную дверь.

— Войдите.

Она сидит у окна перед зеркалом.

— Ах, это вы. А я думала, маникюрша.

Лицо ее желто и устало. Стриженные волосы топорщатся во все стороны.

Михновский молча смотрит на нее. Господи, да ведь она некрасива. Сколько ей лет? Сорок?..

В открытую дверь белеет широкая неприбранная кровать.

— Вы вчера приезжали за мной? Я забыла сказать, что не надо. Я думала, вы сами поймете...

Она поднимает брови.

— Я должна вас поблагодарить. Вы мне очень помогли. Да. Вы пришли так кстати. У меня дело, — она хмурится, — очень важное. И все устроилось, благодаря вам.

Она встает.

— Кто вы? Зачем вы приходили?

— Я...

— Вы влюблены в меня? Влюблены, да?

Он кивает головой.

— Ну конечно. Всегда одно и то же, — она коротко и зло смеется. — Вы русский? Бывший офицер? И нищий, конечно? Ах, я знаю, знаю.

Она подходит совсем близко и нежно кладет ему руку на плечо.

— Простите меня, но ведь это глупо. Бросьте думать обо мне, бросьте. Женитесь на какой-нибудь русской, здесь их так много. Женитесь, непременно женитесь.

Она гладит его волосы. Ее широкий душистый рукав закрывает ему глаза.

— Мне вас очень жаль, но что же я могу? Не приходите ко мне больше, пожалуйста. Не надо. И главное, не вздумайте стреляться. Ведь все это такие глупости, такие глупости... Вы забудете...

В дверь снова стучат. Входит маникюрша.

— Как досадно, что я занята. Я бы еще поболтала с вами...

Она садится за маленький стол, кладет руки в чашку с водой. От воды идет пар.

Он смотрит на ее голые ноги в красных туфлях.

Завод Рено. «Мадам Бовари»... Как он был счастлив тогда и не понимал.

Она протягивает ему мокрую, пахнущую мылом руку.

— Прощайте, мой друг. Помните, вы обещали мне...

Он идет к двери.

— Пойдите!

Она порывисто вскакивает, чашка опрокидывается, вода течет на ковер.

— Я забыла. Вот, я приготовила для вас, — она протягивает ему серый конверт...

...Только перейдя площадь Этуаль, Михновский вспомнил о конверте.

В нем лежала ее фотография в профиль. Непохожая, должно быть, давно снятая. Внизу надпись угловатым почерком: «Неприятному другу с благодарностью».

Пять тысячефранковых билетов веером упали на тротуар.

ПУТАНИЦА

В дешевом русском ресторане за круглым столом сидел грузный бородатый человек и, чавкая, ел борщ с кашей. Окончив, он отодвинул тарелку, запахнул енотовую шубу и, поставив локти на стол, стал ждать второго блюда.

— Ах, Жозетка, — вполголоса проговорил он, глядя по сторонам, — не сидел бы я здесь, если бы нашел Жозетку.

Худощавый господин, бедно, но старательно одетый, чрезвычайно изящно евший пирожное при помощи вилки и ножа, с интересом взглянул на бородатого человека. Поколебавшись с минуту, он вдруг привстал и, приподнимая котелок, обратился к нему:

— Извините за беспокойство, но не будете ли вы так любезны повторить имя?

Бородатый человек мрачно и изумленно уставился на него.

— А вам на что?

— Видите ли, — приличный человек вежливо улыбнулся, — услышав имя Жозетка, я подумал, что не о Жозетте ли де Ришвиль, выступавшей в Петербурге в «Аквариуме» зимой шестнадцатого года, вы изволите говорить. Ведь ее звали Жозетка.

Бородатый человек закивал головой.

— Ну да, да, конечно же о ней. А вы ее разве знаете?

— Как не знать? И даже очень хорошо знаю. Из-за нее мой брат повесился. Растратил наличные деньги и повесился. Замечательная была женщина. Помните, как она пела «Les Pommes vertes» и делала ножкой вот так.

Он поднял вилку, показывая, как именно она делала ножкой, и засмеялся.

— Повесился, говорите? Странно. Тут что-то не так. Добрая она была, даже очень. А где теперь она? Не слышали? Вот это мне необходимо знать.

— Нет, я с тех пор потерял ее из виду.

— А мне необходимо до зарезу, — бородатый человек говорил теперь громко, на весь ресторан. Необходимо. Перед бегством из

Петербурга я ей сорок тысяч долларов дал, чтобы она их вывезла. Ведь ей можно было, француженка, артистка. А здесь найти ее не могу. Восьмой год ишу. Все афиши читаю, по всем театрам бегаю. Нигде нет. Как в воду канула. А мне деньги нужны. Дело свое начать хочу, ничего не осталось. Вот только что кольцо, — он протянул руку. — Бриллиант хорош, а продавать боюсь, последнее...

Приличный господин вытянул тонкую шею.

— Сорок тысяч долларов? Такой капитал. Как же вы решились ей отдать?

— Ей-то? Да я ей не только сорок тысяч, я ей все до последней рубашки отдал бы. Честная она, благородная. Даром что певичка, а второй такой не найдешь. Конечно, деньги деньгами, их получить хотелось бы. Но главное — ее увидеть. Знаете, если бы мне кто ее адрес сказал, я бы ничего не пожалел. Я бы тысячу франков, копейка в копейку, заплатил и еще поблагодарил бы. Да.

И он, точно сам удивляясь своей щедрости, гордо посмотрел на приличного господина.

Дама, пившая чай у окна, прислушивалась с самого начала этого разговора, то принимаясь нервнo мешать ложкой в уже пустой чашке, то надевая и снимая перчатки. Ее большие, серые, сумрачные глаза блестели от волнения.

Человек в шоферском пальто, завтракавший за соседним столиком, не отрываясь смотрел на нее. Но она не замечала его. Казалось, она что-то хочет спросить, сказать. Вдруг она порывисто встала и, высоко подняв голову, быстро, немного даже спотыкаясь от волнения, пошла к выходу.

Человек в шоферском пальто вскочил с места, не доев котлеты, расплатился и пошел к бородатому человеку.

— Простите, — начал он, кланяясь, — но вы сейчас говорили вот в присутствии, — и он сделал жест по направлению господина, — что готовы дать тысячу франков за адрес госпожи Жозетты де Ришвиль. Так выкладывайте деньги, пожалуйста. Я знаю ее адрес. Только поскорее, я очень тороплюсь.

— Знаете адрес? — ошеломленно вытаращил глаза бородатый человек. — Где же она, в Париже?

— Да, да. Вот я записал вам тут. Давайте же деньги.

— А почему я знаю, что вы не врете? Деньги-то возьмете, а Жозетки там и нет.

— Вот, — человек в шоферском пальто выхватил из кармана и бросил на стол карт-д-идантите. — Возьмите. Потом пришлете.

Бородатый человек повертел карту в руках.

— Mihailoff, — прочел он, — Nicolas. А ты не врешь, Михайлов? Как вы думаете, — обратился он к приличному господину, — не врет?

Тот оживился.

— Нет, нет, по лицу видно, что правда.

— Ну что ж, твое счастье. Давай адрес, — бородатый человек вынул бумажник, — а семьсот пятьдесят не довольноно?

— Тысячу. И скорее, мне некогда. Да что тут с вами торговаться? — Михайлов сделал шаг к выходу. — Прощайте.

— Подожди, подожди, — испугался бородатый человек. — Ишь, какой быстрый. Вот деньги. Получай. Давай адрес и карту свою забирай.

Михайлов протянул ему клочок бумаги: «M-me Joséphine, F-rg St. Nonogé», схватил деньги не считая и выбежал из ресторана.

Дама шла уже далеко впереди, легко и уверенно ставя маленькие ноги в коричневых стоптанных туфлях. Ее угловатые плечи резко обозначились под узким черным платьем. Михайлов догнал ее. Она безучастно и растерянно смотрела перед собой, по щекам ее текли слезы. Он удивился, что она плачет — так не шли слезы к ее веселой легкой походке.

— Послушайте, — он остановился, задыхаясь от бега и жалости к ней. — Не плачьте, ради Бога, не плачьте...

— Что? Что вам надо? — не поворачивая головы, раздраженно проговорила она. — Как не стыдно приставать? Еще к русской...

— Нет, нет, — он шел теперь рядом с ней, стараясь заглянуть ей в лицо. — Я не пристаю к вам, нет. Ах, не плачьте, пожалуйста. Я помогу вам...

— Поможете? — переспросила она. — Вы не можете мне помочь.

— Нет, могу. Только не плачьте, — он наклонился к ней. — Жозетта... Жозетта де Ришвиль...

Она быстро взглянула на него.

— Ну и?

— Я знаю ее адрес.

— Ее адрес?

Она остановилась и схватила его за руку.

— Вы знаете ее адрес? Тогда идемте, идемте к ней, сейчас же.

— Это тут, совсем близко, — обрадовался он. — На St. Nonogé. Но она покачала головой и взглянула на свои нитяные заштопанные перчатки.

— Нет. Я не могу идти. Я не могу показаться ей в таком виде. И шляпа, как воронье гнездо. Я умру со стыда. Дайте мне адрес.

— Это ничего не значит, — заторопился он. — Перчатки можно купить, и шляпу, и всё. У меня есть деньги. Вот! — он вытащил из кармана только что полученную тысячу франков. — Мы поедem, купим. Зачем откладывать.

Он остановил такси. Она, как будто не понимая, села в него. Она больше не плакала. Она глядела прямо перед собой, о чем-то думая.

— Как ваше имя, отчество? — спросил он робко.

— Татьяна Александровна.

— Я вам друг, Татьяна Александровна.

Она ничего не ответила, не удивилась. Он все еще держал ее руку в своей.

— Жозетта де Ришвиль, — начал он.

— Ах, не произносите этого имени, — крикнула она, вырывая руку. — Я ее ненавижу, ненавижу!

Подбородок ее задрожал, и слезы снова побежали по ее щекам.

— Простите, простите, — взволновался он. — Я не знал... Если бы я знал... Простите...

— Это ничего. Ничего. Уже прошло.

Она вытерла глаза платком и постаралась улыбнуться. Улыбка вышла жалкой и растерянной. Но все-таки это была ее первая улыбка.

— Ах, как он медленно едет, — она нетерпеливо постучала ногой. — Мы бы скорей дошли.

— Теперь уже скоро, сейчас, — успокаивал он.

— Конечно, я его любила... Или нет, не любила... Даже не знала, что такое любовь, — заговорила она быстро и отрывисто. — Я была обыкновенной женой. Но я была счастлива, — она остановилась. — Ах, я так бессвязно рассказываю, вы ничего не поймете. Двенадцатого ноября, во вторник, да, во вторник, я помню, мы поехали в «Аквариум». Сергей не хотел, но я упростила его. Мне хотелось посмотреть эту, — лицо ее стало холодным и злым, — вы знаете кого. Про нее тогда много говорили. Но мне она не понравилась. Она была худая, с громадными перьями на голове и так глупо кривлялась. Я засмеялась: «Вот так урод». И он кивнул. Только он очень пристально смотрел на нее и, когда ей подали корзину сирени и она послала поцелуй кому-то, он недовольно поморщился... А я смеялась... Мне было весело... Я еще ничего не знала. Ах, я была такая дура...

Михайлов сидел, наклонившись, глядя снизу вверх в ее блестящие сумрачные глаза.

— Уже на следующий день это началось, — продолжала она так же быстро. — Но я еще долго не замечала, не верила. Главное — обида. Как больно. Ужасно. Я даже не думала, что я такая гордая. Потом он сказал, что жить со мной больше не может, холодно сказал, даже прощения не просил и уехал. И только тогда я узнала, что такое любовь. Я часами ждала у его подъезда. А он выйдет, поклонится насмешливо, сядет в сани и громко кучеру ее адрес крикнет... Добрый он и слабый человек был. Откуда у него эта злость взялась? Верно, от нее... Потом одиночество, большевики, голод, Константинополь... Сколько лет его не видела. Жив ли он? У нее хочу узнать. Сама к ней поеду. И еще перчатки за ваш счет куплю. Вы не удивляйтесь. Мне давно все безразлично. Вам смешно?..

— Ах, нет. Ведь это теперь и мое горе, — сказал он, краснея.

Она подняла брови.

— Вам-то что?

Автомобиль остановился перед магазином.

Покупали лихорадочно и быстро.

От вида цветов, перчаток, духов и кружев и оттого, что все это покупали для нее, Татьяны Александровны, Михайлов пришел в восторженное настроение.

— Идет мне? — спрашивала Татьяна Александровна, примеряя маленькую розовую шляпу.

— Да, да. Страшно идет. Непременно возьмите ее. И шарф надо в цвет. Непременно.

Она не спорила.

— И вот эти перчатки, — советовал он, — с золотой вышивкой. Они вам счастье принесут, я знаю.

Она протянула маленькую руку приказчику.

— Эти? Хорошо. Только скорее.

В модной шляпе, светлых перчатках, с легким шарфом она казалась обыкновенной элегантной молодой дамой. Быть может, только немного красивей обыкновенного, но уже не той несчастной, строгой и прекрасной женщиной, так поразившей его в ресторане. И все-таки она нравилась ему так еще больше. В особенности трогал его розовый шарф, так нежно обнимавший ее шею, и концы его, трепетавшие, как крылья, за плечами.

Они подошли к высокому серому дому.

— Тут, — сказал Михайлов.

Она остановилась, прижала руку к груди, вздохнула, решительно вошла в подъезд и, не оглядываясь, стала подниматься по лестнице. Он постоял минуту внизу и догнал ее.

— Я лучше пойду с вами. Я могу понадобиться.

— Хорошо, — рассеянно ответила она.

На дверях блестела большая медная доска: «Joséphine. Haute couture».

Мальчик в куртке с золотыми пуговицами распахнул дверь. Изящный молодой человек в визитке низко поклонился.

— Я хотела бы видеть мадам Жозефин, — голос Татьяны Александровны дрожал.

Молодой человек снова поклонился.

Мальчик провел их в небольшую жилую гостиную.

Мадам Жозефин величественно поднялась с кресла. Да, это была мадам Жозефин, а не прежняя Жозетта де Ришпиль. Все в ней было буржуазно и достойно. Волосы ее из огненно-рыжих стали черными. Ее когда-то такое «парижское» лицо с большим ртом и горбатым носом отяжелело.

Она любезно наклонила голову.

— Мадам желает видеть весенние модели?

— Нет, нет, — Татьяна Александровна теребила перчатку, с ненавистью глядя на мадам Жозефин. — Нет, — она запнулась. — Сергей...

Любезная улыбка сошла с лица мадам Жозефин. Она холодно оглядела Татьяну Александровну.

— Вы меня беспокоите напрасно. Если вы пришли к служащему, то надо было подняться с черного хода. Только он сейчас вышел. Можете подождать в прихожей, — и она повернулась к ним спиной.

Татьяна Александровна и Михайлов сели. Теперь мальчик в куртке, видя, что это не господа, уже не вытягивался перед ними, а, сидя на табуретке, болтал ногами и напевал что-то себе под нос.

Татьяна Александровна молчала, она забыла о Михайлове.

Звонок. Мальчик спрыгнул с табурета, но дверь сама открылась. Вошел бородатый человек в своей нелепой шубе, чуть не сбив мальчика с ног.

— Жозетта, — громко крикнул он, не останавливаясь. — Жозетта. Где ты?

Бархатная портьера поднялась, из-за нее выбежала мадам Жозефин.

— Василь! — крикнула она пронзительно. — Василь! — и протянула ему обе руки.

Но он обнял ее, прижал к груди и поцеловал в губы.

Она вырвалась от него.

— Василь, здесь нельзя. Здесь посторонние, — зашебетала она по-русски, кокетливо поправляя волосы и как-то сразу становясь прежней Жозеттой де Ришвиль.

— Жозетка, Жозетка! — иступленно кричал бородатый человек. — Наконец-то. Дай на тебя посмотреть, — он отступил на шаг. — Да ты, никак, подурнела, — испуганно проговорил он. — И потолстела. Совсем не та.

Она быстро схватила лежащую на диване парчовую золотую накидку и, накинув ее на плечи, завертелась перед ним.

— Нет, нет, тебе показалось. Посмотри, посмотри. Тебе показалось. Я очень красива. Еще лучше.

— Ну-ну, — он успокоительно похлопал ее по плечу. — Может быть. Да и не в том дело. Главное, тебя нашел. Заживем же мы теперь с тобой, Жозетка.

— Как я рада, Василь, голубчик. Все ждала, каждую ночь тебя снила. Как я рада, — говорила она, улыбаясь и хлопая накрашенными ресницами. Но глаза ее не только не выражали радости, но, напротив, были пуганными и злыми.

— Василь, пойдем, пойдем ко мне, — она потянула его за рукав, — что, как бедные, в вестибюль стоять.

— Идем, Жозетка, идем, куда хочешь. Скажи, а деньги целы?

Она выпустила его рукав.

— Какие деньги?

— Как какие? Да сорок тысяч долларов, что я тебе в Петербурге на сохранение дал.

— Сорок тысяч долларов? Мне дал? — с изумлением и ужасом переспросила она. — Мне?

— Ну да, да. Ты еще в лифчик зашила. Вспомни. Перед отъездом, на Каменноостровском...

— Я жила на Каменноостровском, да. Но никаких денег от вас не получала, — вдруг резко и зло вскрикнула она. — И не знаю, о чем вы говорите.

— Как не получала? Как? Да быть того не может, чтобы ты забыла. Ведь сорок тысяч. Ты вспомни, — убеждал он, размахивая руками.

— Никаких денег не браля, не виделя. Вы говорите — я украла, воровка! — кричала она. — Я буду звать полис!

— Да что ты, Жозетка? Что ты? Кто говорит — украла? Ты только вспомни. Ведь...

— Я буду звать полис, — кричала она все громче. — Уходите из мой дом, — и она величественно указала на дверь.

Теперь это была не Жозетка, а мадам Жозефин во всем сознании своего достоинства.

Мальчик в куртке открыл дверь.

Бородатый человек удивленно и недоуменно смотрел на нее и вдруг, что-то сообразив, весь затрясся.

— Как? Меня гнать? Меня, Сквородкина? Да знаешь ли ты, — он задыхался, захлебываясь. — Деньги... Да ты бы просто сказала, что истратила. Что мне деньги? Топчу деньги! Я, болван, тебя видеть хотел! А ты — деньги... Вот они, деньги, — он выхватил пачку стофранковых билетов и бросил их на пол. — Последние! Бери, бери. Мне не жаль, все, все...

Он высыпал из кармана мелочь. Франки покатались по полу.

— Все! — и, сорвав с пальца кольцо, бросил ей под ноги. — Все бери!

— Ай-ай-ай, — завизжала она, втягивая голову в плечи, словно ожидая удара. — Нельзя, нельзя! — и, присев на пол, стала собирать деньги. Металлические франки закатились далеко, она ползала за ними на четвереньках. — Ой, ой, нехорошо!

Он, как-то сразу успокоившись, насмешливо смотрел на нее сверху вниз.

Она обшарила все углы и, встав с колен, протянула ему деньги.

— Пересчитай. Кажется, все. Мне чужих не надо. Я онэт.

Он сунул деньги в карман шубы.

— Ну и черт с тобой! Прощай! — и пошел к дверям.

— А кольцо? — не выдержал Михайлов. — Ведь вы бросили кольцо.

— А тебе что? — грозно уставился на него бородатый человек. — Твое, что ли?

— Кольцо! — всполошилась мадам Жозефин. Лицо ее покраснело — красными пятнами. — Кольцо! Мари, Жан, Ивон! — позвала она, и в комнату вбежали три девочки.

— Ищите кольцо, monsieur потерял, — объяснила она по-французски.

Девочки засуетились. Мадам Жозефин снова поползла по полу. Бородатый человек еще с минуту смотрел на нее, потом с омерзением выругался и вышел, хлопнув дверью.

Мадам Жозефин встала.

— Вы видали, — обратилась она к Михайлову. — Я не виновата. Вы томуэн.

Она вышла, почти столкнувшись с высоким рассыльным, несшим картонку.

— Серж, — сказала она сердитым голосом. — Там тебя ждет какая-то. Ты знаешь, я не ревную. Но чтобы в последний раз. Я не хочу грязи в своем доме.

— Ко мне? — удивился он и, поставив картонку на пол, снял шапку с золотым галуном и поправил волосы.

Татьяна Александровна встала со стула. По лицу ее прошла судорога.

— Сережа...

Он внимательно смотрел на нее, не узнавая, потом вдруг как-то неестественно высоко поднял руки, для чего-то еще раз пригладил волосы и, подойдя к ней, опустил на колени.

— Сережа, Сережа, что ты делаешь? — испугалась она. — Встань, встань.

Но он целовал ее новые лакированные туфли, прижимаясь к ним лицом.

— Нет, нет, — бессвязно бормотал он. — Позволь мне, позволь. Я только об этом думал, все эти годы, чтобы ноги твои поцеловать, выпросить прощение. Только для этого жил.

Она подняла его.

— Сережа, я все простила. Давно...

— Простила?

— Да, да. Только уйдем отсюда скорее.

Они вышли. Татьяна Александровна даже не обернулась на Михайлова.

Михайлов нерешительно встал, двинулся к выходу, потом, круто повернувшись, распахнул портьеру в приемную. Мадам Жозефин стояла у окна и, прищурившись, разглядывала бриллиант в кольце. Увидев Михайлова, она спрятала кольцо за спину.

— Что? Что вам надо? — испугалась она.

— А, воровка, — крикнул Михайлов. — Подожди, сядешь в тюрьму! — и, пригрозив ей кулаком, выбежал на лестницу.

Татьяна Александровна и Сергей шли, все еще держась за руки, как дети. Михайлов обогнал их, взглянул ей в лицо и встретил ее счастливый, ничего не видящий взгляд. Он снова пропустил их вперед.

С Этуаль они свернули на Клебер, потом на какую-то узкую улицу. Михайлов видел, как они вошли в подъезд небольшого белого отеля. В одном из окон во втором этаже зажегся свет. «В ее комнате», — подумал Михайлов. Он стал ждать, но время шло, а окно все так же желтело. Вдруг оно отворилось. Татьяна Александровна высунулась из него и медленно закрыла ставни. Ждать больше было нечего. Михайлов вздохнул и зашагал домой.

На следующий день было воскресенье.

Уже с раннего утра Михайлов стоял перед белым отелем и смотрел на закрытое ставнями окно Татьяны Александровны.

В одиннадцать чья-то голая рука толкнула окно и открыла ставни. Окно так и осталось открытым.

Очень скоро, не дальше чем через полчаса, из подъезда вышли Татьяна Александровна и Сергей. На ней была новая розовая шляпа. Глаза ее подпухли от слез.

— Ну, конечно, конечно, — говорил он раздраженно. — Я так и знал. Ты опять жертва, опять. И ты очень рада этому. Я подлец перед тобой. Еще больший, чем раньше. А ты все же простишь меня. Простишь, чтобы гордиться своей добротой и меня мучить.

— Но зачем тебе уходить, Сережа?

— Зачем? Надо. Не мучь меня, пожалуйста. Ведь я вернусь. Сегодня вечером. Самое позднее, завтра. Что же ты молчишь? Пойми, мне надо идти. Ну, до свиданья.

Он нагнулся, поцеловал ее в щеку и, побежав за автомобилем, на ходу вспрыгнул в него.

Она протянула руку, точно желая удержать его.

— Сережа, — слабо вскрикнула она.

Совсем таким же голосом когда-то в лазарете на койке рядом с Михайловым просил пить умирающий. Михайлов тронул ее за локоть.

— Татьяна Александровна!

Она быстро обернулась.

— Вы? Опять вы?.. Что вам от меня надо?

Михайлов растерялся.

— Я хотел... Не сердитесь... Простите...

— Оставьте меня, — она махнула рукой и пошла вперед, но вдруг остановилась. — Послушайте! Я не хотела вас обидеть. Напротив. Только я ужасно несчастная. И злая.

— Нет, нет, вы не злая. И позвольте мне не уходить.

— Как хотите, мне все равно, — она взглянула на свои руки и усмехнулась. — Вот и ваши перчатки не помогли.

Он пошел рядом с ней.

— И все-таки я не понимаю, — начала она вдруг. — Почему вы?.. Что же это такое?

— То есть что?

— Ну, — она нетерпеливо пожала плечами, — то, что вы ходите за мной, покупаете мне шляпы, стоите под окном. Не понимаю.

— Это так просто, так просто. Это оттого, что я... люблю вас, — с усилием выговорил он.

— Как любите? С каких пор?

— Всегда. Да, да. Я всегда любил вас, хотя только вчера увидел. Ах, я не знаю, как вам это объяснить. Я любил вас еще в России...

Но она уже не слушала.

— Вы не знаете, где здесь аптека?

— Зачем вам?

Ее брови нахмурились.

— Надо.

— Господи, неужели вы хотите...

— Что? — холодно и насмешливо спросила она.

— Ничего. Я так...

— Подождите меня, — она одна вошла в аптеку.

Михайлов видел в окно, как аптекарь качал головой, как она в чем-то убеждала его и как, наконец, аптекарь протянул ей белую коробочку и она спрятала ее в сумке.

Из аптеки она вышла с каким-то особенным — спокойным и решительным лицом.

— Теперь проводите меня домой.

— Вы не хотите позавтракать? — робко предложил он.

— Позавтракать? — изумилась она. — Нет, не хочу.

Они вышли в Булонский лес.

— Посмотрите, — она слегка улыбнулась, — деревья, они совсем зеленые.

— Хотите, посидим здесь или поедем кататься.

Она прижала к груди сумку.

— Нет, мне надо домой.

У подъезда отеля она остановилась.

— Десять лет, — сказала она задумчиво, как бы про себя. — Десять лет...

Она подняла голову и посмотрела на синее, прозрачное апрельское небо.

«Так смотрят только в последний раз, последним взглядом», — подумал Михайлов, и сердце его сжалось.

Она протянула руку.

— Прощайте... — и, словно вспомнив что-то, прибавила: — Спасибо... Вы добрый.

— Татьяна Александровна, — крикнул он вдруг. — Татьяна Александровна, ради Бога...

Она высвободила руку.

— Оставьте меня...

И, вбежав в подъезд, захлопнула дверь.

«...Надо было не пускать, отнять сумку — ведь там яд, надо было... — он в отчаянии махнул рукой. — Нет, ничего нельзя, все напрасно. И ничего нельзя сделать, ничего! Пойти к ней? Она прогонит, не станет слушать. Нет...»

Он смотрел на ее окно. Оно было такое же, как вчера, как всегда. Может быть, уже? Стало темнеть. На улице вспыхнули фонари.

Вдруг в ее комнате зажегся свет. Михайлов почувствовал, как сердце забилось. «Значит, она еще жива. Хоть минуту еще, а все-таки жива...»

Он стал ходить взад и вперед перед отелем. Ставни так и остались открытыми — до ставней ли ей? Михайлов уже ни на что не надеялся. Теперь кончено. Завтра постучат к ней в дверь, побегут, закричат, позовут полицию... Он будет здесь, он пойдет, увидит ее еще раз.

Отравилась... Он представил себе ее на кровати, с высоко поднятыми коленями и запрокинутым, посиневшим лицом. Он видел так ясно смятое одеяло, распутившиеся волосы, лакированные туфли, которые они вчера вместе покупали... Видел ее перекошенный посиневший рот и почему-то на ночном столике букет фиалок в стакане...

Понемногу стало светать. Потухли фонари. Кое-где открылись ставни. Слуга выбежал из подъезда ее отеля. За полицией... Вот сейчас, сейчас. Но слуга уже возвращался с желтой пачкой папирос. Значит, еще не знают. Значит, еще ждать...

Дверь снова отворилась. Михайлов увидел бледное лицо и большие сумрачные глаза.

«Галлюцинация», — подумал он и в изнеможении прислонился к стене.

Серые сумрачные глаза остановились на нем и засияли. За плечами, словно крылья, сиял розовый шарф.

Михайлов порывисто и легко вздохнул.

— Я умираю...

Он услышал легкий шорох, почувствовал теплое дыхание на щеке.

— Я так боялась, что вы уйдете. Что с вами? Вам дурно?

— Это вы? — слабо сказал Михайлов, вглядываясь в ее лицо.

— Ну да, да. Кто же еще? — она слегка закинула голову, тихо засмеялась и протянула ему руку.

Он крепко сжал ее теплую маленькую ладонь.

— Это вы...

— Слушайте, — ее губы сморщились как будто от сдержанного смеха. — Вы думали, что я... Нет, вы меня не знаете. Разве я могу? Ведь я веселая. Я так люблю жизнь, я как кошка. Я еще вчера знала, когда веронал покупала, что не отравлюсь. Еще в аптеке... А вам нарочно не сказала. Из злости. Ведь я мучилась, так пусть и другой хоть немножко...

— Я так боялся за вас. Я...

Она заглянула ему в глаза.

— Не сердитесь. Я ночью на вас из окна смотрела. Вы вот так стояли, — она подняла плечи и засунула руки в карманы, — ужасно грустный и милый. Мне вас очень жалко стало. Право...

Она помолчала минуту.

— А теперь идемте.

— Куда?

— Кофе пить.

— Кофе? — растерянно переспросил он.

— Ну да. С круасанами. А там посмотрим...

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

1. Открыватели новых стран, авантюристы, пираты

Было двенадцать часов. Высокое розовое солнце стояло над Марселем. Около входов в портовые рестораны толпились посетители, изучающие меню. Пахло морскими ежами. Рослая женщина с копной черных волос ловко открывала устрицы, прищелкивая языком, и бросала раковины под ноги прохожим. Дальше завтракали за столами, прямо на мостовой. Среди толчеи, трубя, медленно двигались автомобили. На синих тихих волнах качались яхты и лодки. Чайки с криком кружились над ними.

Аня остановилась, глядя на море, — в этих кабаках пьянствовали и влюблялись, в это синее море уплывали открыватели новых стран, авантюристы, пираты...

Она вдохнула соленый, тревожный воздух.

Открыватели новых стран, авантюристы, пираты... Она чувствовала себя сродни им, такой же, как они...

«Ехать, ехать! Завтра же».

— Аня, что так долго? Я уже начала беспокоиться. И бифштекс совсем сгорел.

— Ну и пусть.

Аня бросила на стул пальто и шляпу и прошла в столовую.

— Мама, я завтра еду в Париж.

— В Париж! Ты шутишь?

— Ах, не спорь, пожалуйста. Я все равно поеду.

Елизавета Сергеевна растерянно смотрела на дочь.

— Ничего не понимаю. Зачем?

— Ты никогда ничего не понимаешь, мама. Андрей женится на Люське через месяц. Я утром получила от нее письмо.

— Ну и?..

— Я не хочу, чтобы он женился. Не хочу. Люська будет жить барыней, а я здесь мучиться в мастерской? Нет!

- Ты хочешь расстроить чужое счастье?
- Какое мне дело до чужого счастья! Я тоже хочу жить.
- Елизавета Львовна вытерла глаза.
- Ах, Аня... И где же ты там остановишься?
- У тети Кати. Она меня еще в прошлом году приглашала.

Аня укладывала чемодан. Вошел отец. В руках у него была газета. Он сказал деланно-спокойно:

- Говорят, ты завтра в Париж?
 - Да, папа.
 - Что же... Самостоятельность — это хорошо. Хвалю.
- Она подняла голову.

— Не всем же выжидать без конца. Так всю жизнь прождешь.
— Правильно, правильно. Сам знаю, что нерешителен. Да отчего и не прокатиться, раз деньги есть.

- Я сама заработала, у тебя не просила.
- Вот-вот... Я это и говорю...
- Папа, перестань. Дай хоть последний вечер...

Александр Павлович развернул газету.

— Прости, прости. Я молчу. Только знаешь... Я всегда говорил твоей матери, когда в Турции нам плохо было: «Подожди, вырастет Аня, наше утешение». Вот и дождались...

Аня заперла чемодан на ключ и встала.

— Может быть, папа, ты и был хорошим адмиралом, но характер у тебя тяжелый...

Аня надела шляпу с длинными лентами на затылке, похожую на шапочку шотландских стрелков, и застегнула пальто. Наконец-то!..

— Будь осторожна... В Париже такое движение... Дай я тебя еще раз перекрещу... И проводить не могу — заказчица сейчас придет на примерку.

Александр Павлович поднял чемодан:

— И очень хорошо, что не можешь. Дальние проводы — лишние слезы. А чего плакать, кажется? Сама едешь, никто не гонит.

Он широко распахнул дверь на лестницу.

— До свиданья, мамочка. — Аня обняла мать. — Да не плачь, ты ведь меня не хоронишь.

Елизавета Львовна постаралась улыбнуться.

— Будь счастлива, Анечка, будь счастлива...

— Слава Богу. Из дома выбрались.

...Вокзал. Бесконечная белая лестница. Как будто нарочно, назло — чтобы опоздать на поезд. Перед кассой очередь. Какой-то марокканец никак не может объяснить, куда ему билет. Все как будто нарочно, назло...

Наконец Аня в вагоне. Чемодан на полке, билет за перчаткой. Слава Богу, теперь все.

Александр Павлович стоит перед окном.

— Удобно устроилась?

— Да, да. Спасибо, папа.

— Слушай, Аня... — лицо его дергается. Таким, совсем таким Аня видела его только раз — когда к нему пришли с обыском матросы. — Аня, Аня, не уезжай, прошу тебя...

Его вставная челюсть прыгает. Он с шумом закрывает рот, как собака, ловящая мух.

— Не уезжай, не уезжай. Ты все хотела белое пальто. Я куплю тебе... Сейчас же пойдем покупать. Только не уезжай!

Аня соскакивает на перрон. Вот оно, чего она боялась!

— Папа, папочка... Я ведь только на две недели... И билет уже взят. Ну, хочешь, я вернусь через неделю? Через неделю, честное слово...

— Не уезжай, Аня! — глаза его краснеют.

Проводник кричит: «En voiture!» Надо садиться. Аня быстро целует большую худую руку отца. И от этого оба смущаются.

— Ну, Господь с тобой, поезжай, — говорит Александр Павлович, как-то сразу успокаиваясь. — Если уж нельзя иначе. И вот, — он достает три десятифранковых бумажки, роется в карманах, собирая мелочь. — Еще два франка было. Где же они?..

— Не надо, папочка, не надо...

— Бери. Тебе там нужнее...

— Хоть на папиросы себе оставь...

— Садись скорее.

Паровоз свистит.

— До свиданья! — Аня машет платком.

Александр Павлович бежит рядом с вагоном.

— Сейчас же телеграфируй, не забудь!..

Аня еще помахала платком. Потом вытерла глаза. В купе уже устраивалась толстая простолюдника. Поезд дернул. С полки упала корзина. Из корзины понеслось кудахтанье.

— Вот в подарок сыну везу. Разве они в Париже знают, что такое настоящая курица? Посмотрите, какая красавица!

— Да, очень хороша.

— Нет, вы пощупайте, какая у нее грудка.

Аня отвернулась к окну.

— Я ее маисом откармливала, — пыталась заинтересовать ее хозяйка курицы.

Аня, не отвечая, смотрела на голубое Средиземное море.

Вечером она будет в Париже. Париж... Андрей... Как-то Андрей ее встретит? Может быть, совсем забыл. А когда-то...

По вечерам она ждала его в длинном темном коридоре. Они жили в одной гостинице. Ей было пятнадцать лет. Андрей приходил с работы. Он всегда приносил ей что-нибудь сладкое, чаще всего халву. Они садились на большой пыльный сундук напротив окна. Андрей целовал ее ноги в коротких детских чулках. Аня ложилась на сундук, набив рот халвой. В окно блестела луна и чернели мачты над Золотым Рогом. С набережной доносился гул, пахло морем, пылью и керосином. Было таинственно и страшно. Аня лежала, заложив руки под голову: они плывут на большом корабле... нет, они в замке, в подземелье...

— Когда ты вырастешь, Аинька, я женюсь на тебе.

— Разбогатеи сначала, — смеялась Аня.

«...А теперь он разбогател... и женится на Люське. Разве это справедливо?»

Она достала из сумки письма.

«...Андрей обожает меня. Я объедаюсь конфетами и купаюсь в духах. Через месяц наша свадьба...»

«Проклятая Люська! Ну это еще посмотрим!...»

Курица громко кудахтала, прыгая по полу связанными ногами.

2. Париж

На серой стене черными большими буквами «Paris». Так просто. И кругом так просто — рельсы, фонари, дома, люди... А ей казалось, что в Париже все особенное, чудесное. И люди особенные — ведь они парижане.

Аня вышла с вокзала. Нет, это все-таки Париж! Воздух веселый, и фонари горят как-то торжественно...

Носильщик уложил ее чемодан в такси. Ей стало страшно. Может быть, лучше ехать к тете? Но она уже сказала шоферу адрес Андрея.

«...Что-то будет? Ах, все равно. Теперь ничего не изменишь, — Автомобиль круто завернул. — Выскочить бы потихоньку и спрятаться там в углу за выступом дома...»

Лохматая голова консержки высунулась из-за стеклянной двери.

— В такой час в гости?

— Я с поезда...

— Третий этаж налево.

Аня стала быстро подниматься по лестнице. Свет погас. Не ошибиться бы этажом.

— Кто там? — спросил Андрей по-французски.

— Открой. Это я.

— Кто я?

— Я, Аня...

Андрей стоял в освещенном четырехугольнике раскрытой двери. Волосы его были растрепаны, как у консержки, и лицо такое же сонное и недовольное.

— Ты, Аинька? — и он, подняв руки, быстро приподнял волосы. — Да входи же. Когда ты приехала? — он наконец улыбнулся.

— Только что. Мой чемодан в такси.

— Сейчас я принесу, — засуетился он, запахивая домашнюю куртку.

Аня осталась одна в чужой прихожей. Перед ней — зеркало, за спиной открытая на лестницу дверь...

«Зачем я приехала! Ничего не выйдет. Он недоволен. Он меня совсем забыл».

Андрей принес чемодан.

— Ну, рассказывай...

— ...Я телеграфировала тете... Она меня не встретила... — Аня растерянно ежилась. — Я забыла ее адрес... Тогда приехала к тебе... Ты сердисься?

— И отлично сделала. Но, — он наморщил лоб, — как теперь быть? Зачем я отпустил такси! Тут не найдешь, а пешком далеко. Ты очень устала?

— Очень... — она запнулась. — Скажи... Нельзя ли у тебя переночевать?

— И прекрасно! Куда тебе, в самом деле, тащиться ночью? Раздавайся же.

Он помог ей снять пальто.

— Вот уж не ждал... Как ты выросла! Дай же на тебя посмотреть.

Аня закрыла лицо руками.

— Нет, не смотри. Я вся перемазана как трубочист. Нельзя ли помыться?

— Прости, я не сообразил. Вот сюда, направо.

Андрей щелкнул выключателем в ванной.

— Ну, ты мойся, а я пока приготовлю чай.

3. Ванна. Чай. Сны

Аня разделась и медленно, чтобы не обжечься, села в горячую воду. Ой, как горячо. Ноги сразу покраснели; от этого, как всегда, сделалось весело. Она намылила губку и стала тереть шею.

«...Какой Андрей хозяйственный! Сколько губок, и щетки какие-то с ручками». Она тихо рассмеялась. От яркого света, пара, блеска никелированных кранов, усталости, горячей воды и оттого, что Андрей, звеня чашками, ходит так близко и даже дверь не заперта, было тоже весело. Весело и страшно...

— Андрей, — крикнула она. — Нет, нет не входи — я в ванне. Ты только скажи, ты не сердись?

— Глупости. Я очень рад. Вылезай скорей.

— Сейчас.

Она нарочно громко плескалась, пусть слышит.

Купальный халат Андрея висел на крючке. Аня закуталась в него. Что-то хрустнуло в кармане.

«Письмо? От Люськи?»

Но это был только счет за электричество. Она скомкала и бросила его на пол.

Какая нарядная ванная. И как не похожа на ту, в которой дома купалась Аня. Сразу видно, что это мужское царство. На столике пестрые картинки. Аня не рассматривала — что-то неприличное. На стеклянной полке бритвы, кисточки, какие-то невиданные флаконы. Она поочередно их перенюхала.

— Андрей, для чего у тебя это красное, в темной бутылке?

— Выходи скорее. Чай на столе.

Аня вытерла запотевшее зеркало и расчесала волосы, внимательно глядя на себя. Вот такой он увидит ее сейчас. Такой сероглазой, такой прелестной...

Она подкрасила губы, надушила волосы духами Андрея. Жаль, что нет своих. Ну, все равно.

Как весело! Как страшно! И совсем особенно. Не так, как всегда. Не так, как в обыкновенной жизни. Главное, страшно...

Андрей разливал чай. Теперь он был гладко причесан и выглядел любезным хозяином. Только глаза смотрели по-новому, равнодушно и рассеянно.

Вот он какой. А она и не знала.

— Ты прости, Аинька, у меня, кроме конфет, ничего нет.

— Ты совсем не изменился, Андрей.

— А ты очень. Выросла. Похорошела. Такая беленькая, тоненькая.

— Разве я прежде черненькой была?

— Прежде ты была девочкой, а теперь барышня.

Аня села на диван.

— Что же, это лучше или хуже?

Он ничего не ответил.

— Какая у тебя хорошая квартира.

— А у вас в Марселе разве плохая?

Аня погладила шелковую подушку.

— Ну... Можно ли сравнивать? У нас совсем бедно и обставлено всякой дрянью. А у тебя так красиво.

Они помолчали. Снова стало томительно и неловко. От сладкого чая и конфет Аню слегка мутило.

— Ты устала. Тебе надо лечь. Пойдем, я устрою тебя в спальне.

— А ты где?

— Тут на диване. У меня ведь только две комнаты.

«Она напрасно приехала. Напрасно.

Кровать холодная, большая, белая.

Он будет в ней с Люськой спать.

Такая широкая, что можно поперек лечь. Такая мягкая... А вдруг войдет Андрей... Кричи не кричи — никто не услышит...» Она закрыла глаза.

В ухе стук — это сердце. Надо лечь на правый бок, чтобы не мешало. Нет, все равно стучит. И чего оно так громко? Неужели от страха? Так устала, а не заснуть...

— Вам страшно? — спрашивает хриплый голос.

— Еще бы, — отвечает другой. — Здесь стенки в пять сантиметров и крысы без зубов.

— Да, скверный дом...

Аня вздрагивает и открывает глаза. Никого нет. Все тихо. Под дверью полоска света.

Страшно... Она высоко подгибает колени и слушает, как стучит сердце. Нет... не заснуть...

Но уже опять — свистит паровоз, звенят колеса. Аня смотрит из окна вагона на сосны в снегу. Поезд останавливается. Кондуктор в шапке с золотым галуном громко кричит: «Шварцвальд!»

...Сквозь неплотно задернутые шторы слабо светил уличный фонарь. В темноте предметы казались огромными и угловатыми. Зеркало тускло блестело.

Аня приподнялась на локте и, вытянув шею, огляделась. Куда она попала? Она ехала на поезде. Потом что-то случилось, все репуталось. Где же она?

Она ощущала свое лицо, волосы, подушку и села, сбросив одеяло. Зеленый свет фонаря падал на ее свесившиеся с кровати белые ноги.

И, как всегда ночью, в темноте она вспомнила о смерти. «Я умру, я скоро умру...»

Ей стало так грустно, что горло сжалось. «Я скоро умру...»

Она вытянула вперед ноги, пошевелила пальцами. Зеленый свет фонаря падал прямо на них.

«Мои ножки. Мои бедные ножки. Я буду лежать в земле, и черви будут есть мои белые ножки... — она нежно погладила свои колени и вдруг заплакала: — Я умру... Может быть, я уже умерла?»

Она всматривалась в окно, в кровать, в зеркало, стараясь понять, вспомнить...

«... Поезд... Шварцвальд. Ах нет, не Шварцвальд, Париж...»

— Андрей, — сказала она шепотом.

И сейчас же тихо скрипнула дверь и вошел кто-то белый и высокий, как привидение. Но она не испугалась, она протянула к нему руки. Он опустился на пол у кровати. Теперь зеленый свет фонаря падал на него. Он обнял и целовал ее голые колени. Совсем как когда-то в Константинополе... И свет фонаря, как лунный свет...

Она гладила его волосы. Слезы все еще текли по ее щекам.

— Андрей, скажи, это во сне?

— Да, во сне...

— А мы не умерли?

— Нет, нет...

— Андрей, мне страшно... Оставь...

— Не бойся. Я ничего тебе не сделаю...

— Как в Константинополе?..

— Да... Как в Константинополе...

Аня лежала притихшая и бледная.

— Ты любишь меня?

— Люблю...

Андрей наклонился над ней.

Уже шесть часов.

— Спи, Аинька... — и осторожно вышел.

... Теперь сердце стучало совсем неслышно, легко, легко. И в душе холод легкой. И прохладная, легкая кровь медленно и блаженно расходится по телу...

«Открыватели новых стран, пираты, авантюристы...»

Аня открыла глаза, вздохнула, улыбнулась, встала с постели. Осторожно, на носках обошла всю комнату, потом отдернула занавесь и открыла окно.

Совсем светло. Утренний холодный ветер... Она смотрела на пустую улицу, на деревья, зеленевшие из-за крыш.

«Это Париж. Это Елисейские поля, — она снова улыбнулась. — Это Париж, это ее жизнь, ее счастье...»

Она взмахнула руками и закружилась по комнате.

«Да. Это Париж, это ее жизнь, ее счастье, ее любовь».

Она вертелась все скорее. Голова кружилась. Цветы на обоях и стулья танцевали вместе с ней. Она схватилась за раму зеркала, чтобы не упасть.

Из зеркала смотрело бледное, почти прозрачное лицо с блестящими серыми глазами.

Она покачала головой.

«Ах, я счастлива, счастлива, счастлива... Ах, я устала, устала, устала...»

4. Валентино

Дверь открыла сама тетя Катя.

— Аня?.. Вот сюрприз. Мы думали, завтра... Что же ты не телеграфировала?

Аня поцеловала ее.

— Столько возни, не успела.

В прихожую вбежала длинноногая стриженная девочка и с визгом бросилась Ане на шею.

— Валя, пусти, пусти. Задушишь.

— Аня, Аня! Наконец-то. И такая красавица. Совсем Мэри Пикфорд.

— Да пусти же. Задушишь.

Валя отскочила на шаг, держа Аню за руку.

— Нет, ты больше похожа на Перл Уайт. Только еще лучше. А вещи твои где?

— Внизу.

— Я сейчас притащу.

— Чемодан тяжелый. Тетя, скажи ей. Она надорвется.

— Пусть тащит. Ее не удержишь. Ну, раздевайся. Рассказывай. Зачем приехала? Что мама, папа?

— Меня моя мадам Мари прислала модели покупать.

— Не могла тоже кого постарше выбрать.

— Мне уже восемнадцать лет. У нас все молодые. И вас мне хотелось увидеть.

— Что же? Я очень рада. Отлично сделала, что приехала. Давно не виделись. А ты и правда какая красивая стала.

Валя, запыхавшись, волокла чемодан.

— Быстро, а? Он совсем легкий. Я бы два таких снесла. Мы с тобой здесь повеселимся, Аня. Каждый вечер в кинематограф ходить будем.

— Вот обрадовала. Ты спрости, любит ли она кинематограф.

Валя пожала плечами.

— Кто же не любит кинематографа?

— Не приставай. Сведи Аню к себе. Я пока на стол накрою. Сейчас завтракать будем.

В Валиной тесной комнате стены были сплошь увешаны портретами кинематографических звезд.

— Много, а? — Валя гордо подняла голову. — И с подписями почти все.

Она села на стол, болтая ногами.

— Я ошиблась. Ты похожа на Мэй Мурэй. Вот на кого.

Она рассмеялась.

— А ты, как прежде, похожа на обезьяну. Но какая большая стала. Куда ты так растешь?

— Это хорошо, что расту. Да, ты и не знаешь. Во-первых, я теперь скаут. А во-вторых, я больше не Валя и не Валентина, а Валентино. В честь Рудольфо Валентино. Так меня и зови.

— Валентино? Оно?..

В пять часов приехал Андрей. Валя с видом заговорщика ввела его в столовую.

— Смотрите. Вот кто у нас.

Андрей сделал удивленное лицо.

— Аня! Ты? Когда приехала?

Аня робко улыбалась, опустив глаза.

— Только что. Сегодня утром.

— Да, вот приехала, а мы ее даже не встретили, бедняжечку. Правда, какая прелесть стала.

— Да, Аня... Простите, Анна Александровна...

Тетя Катя замахала на него руками.

— Глупости, глупости. Какая там Анна Александровна? Зовите ее по-прежнему Аня и ты. Ведь вы ей почти брат.

Аня кивнула.

— Конечно, почти брат. Садись рядом и рассказывай. Ну, как твоя невеста? Все также похожа на овцу?

— Аня, как можно? — остановила тетя Катя.

— Что же, тетя? Я не виновата, если правда. Так и кажется, что она сейчас заблеет, его Люся.

— Перестань. Ты взрослая, а хуже Вали.

— Вот я ей сейчас позвоню. Пусть приедет. Тогда вы сами увидите.

— Люся. Не узнаешь? Неужели?

— Нет. Кто говорит?

— Я. Я, Аня.

— Аня?..

В телефонной трубке что-то щелкнуло. Люсин голос дрогнул.

— Что же ты не рада?

Короткое молчание. Потом:

— Нет, напротив.

— Вот что, приезжай сейчас к тете Кате. И увидишь здесь кое-кого. Догадываешься?

— Нет... Я не знаю?.. Кого?..

Аня хохочет.

— Ах, какая недогадливая. Ну, конечно, Андрея.

— Почему конечно?..

— Так я жду. Приезжай сейчас же.

Аня повесила трубку.

— Здравствуй, невеста!

Они целуются.

Аня внимательно осматривает подругу. Костюм шелковый... Лисица... Шляпа не дешевле трехсот франков... А на ней, Ане, платье с распродажи и фильдекосовые чулочки. Ведь все заметит, дрянь...

Но из-под трехсотфранковой шляпы глаза Люси смотрят только на Андрея, боязливо и влюбленно.

Аня берет ее под руку.

— Пойдем ко мне.

Они садятся на кретоновый диван в Валиной комнате.

Люся краснеет.

— Аня, скажи, мы по-прежнему друзья?

— Ну конечно. Ты выходишь замуж за моего друга детства. Мы теперь двойные друзья.

— Но ведь Андрей, кажется, был влюблен в тебя? Ты сама мне рассказывала.

Аня качает головой.

— Какой вздор. Я хвастала. Разве влюбляются в девчонок? И потом, это было так давно...

Люся облегченно вздыхает.

— Да, конечно. А я боялась, что ты сердишься.

— Ты счастлива, Люся?

— Очень...

Люся, улыбаясь, снимает шляпу.

— У тебя длинные волосы? Почему ты не острижешь?

— Андрей не хочет.

— Странно, он сказал мне, что ему нравятся стриженные.

— Часто то, что нравится в посторонних, неприятно в жене.

Аня смеется.

— А ты все-таки остриглась бы. У тебя голова как пивной котел. И как ты растолстела.

Люся с удовольствием приглаживает юбку на боках.

— Андрей любит полных. Я принимаю мышьяк.

— Ах, какая ты! Андрей не любит, Андрей любит... А ты-то сама что любишь?

— Я люблю Андрея, — серьезно говорит Люся. — Ты этого понять не можешь.

Ане становится как-то не по себе. Она пересаживается к зеркалу и начинает пудриться.

— Ты больше не вышиваешь? — она смотрит на Люсю через плечо, сдувая пудру с пуховки.

— Нет. Зачем? Андрей достаточно богат. У меня даже будет прислуга. А ты, бедная, все у своей мадам Мари?

— Нет, я тоже бросила. Ты только не говори никому, Люся. Это пока секрет. Я тоже замуж выхожу.

— Правда?
Люся подбегает к ней и обнимает ее.
— Правда, правда? Аня, милая, как я рада! За кого?
— Скоро узнаешь. Первая узнаешь.
Они целуются. Люся сияет.
— Ах, как я рада, Аня. Как я рада за тебя, — она задумывается.
— И за себя.
— За себя? Почему?
— Потом как-нибудь расскажу. Когда мы обе будем замужем, — они снова целуются. — Хорошо бы нам, Аня, венчаться в один день.
Аня улыбается.
— Ну, это вряд ли удастся.

5. Телефон

Андрей потушил электричество, в комнате стало почти темно. Зеленый свет фонаря падал узкой полоской на кровать.

Аня поправила подушку.

— Тетя думает, что я ночую у подруги в Версале...

Андрей поцеловал ее.

— Ты прелесть. Я люблю тебя.

— Любишь? Да, сейчас — меня. Месяц тому назад — Люську, а через год какую-нибудь Муську...

— Нет, нет. Тебя одну, на всю жизнь...

Аня недоверчиво покачала головой.

— Мне казалось, что я забыл тебя, Аинька...

— А теперь вспомнил?

— Да, все сразу вспомнил. И знаешь когда? Когда я поцеловал тебя и услышал запах твоей кожи. Сразу вспомнил все: и Константинополь, и раньше...

— Раньше? Царское...

— Да... Царское... Тебе было шесть лет. Ты шла по дорожке сада в розовом платье и нюхала цветы. И вдруг споткнулась, упала и заплакала. Я взял тебя на руки и стал утешать, а ты посмотрела на меня мокрыми глазами, улыбнулась и погладила меня по щеке. Мне стало вдруг отчего-то стыдно. Я покраснел, поставил тебя на землю и убежал, а ты снова расплакалась. С того дня я и люблю тебя...

В прихожей резко, точно будильник, зазвонил телефон.

Аня схватила Андрея за руку.

— Кто может звонить так поздно? Это Люська, конечно Люська! Нет, нет, не отвечай ей. Пусть мучается. Как она мучается, должно быть. Ведь догадывается, хоть и глупа. Вчера у нее глаза были совсем как у овцы на бойне. Звонит, старается. Звони, звони! Ах, как хорошо, как весело! Знаешь, Андрей, я тебя еще больше люблю из-за нее, из-за Люськи.

— Какая ты злая!

— Злая? Ах, нет, я не злая, — Анин голос теперь звучит грустно. — Я несчастная. Ты говоришь, что любишь меня... но ты все-таки женишься на Люське, а я уеду в Марсель. Господи, что я буду делать? Я не могу больше жить без тебя, спать, дышать...

— Аинька, не плачь... А тоже не могу без тебя жить... И ты знаешь, что этого не будет...

— Чего не будет?

— Я не женюсь на Люсе.

— Как не женишься?

— Так, не женюсь. Я люблю тебя.

Он обнял ее. Но она оттолкнула его.

— Пусти, пусти. Не хочу. Ты меня нарочно обманываешь, чтобы... Ты женишься на Люське. Пусти, не смей меня трогать.

Зеленый свет фонаря падает на кровать. Свет фонаря — как лунный свет. Только это не Константинополь.

Там он любил ее. А здесь... в Париже...

Аня легко вздохнула, чувствуя головокружение и слабость. Она закрыла глаза.

— Зачем бороться — все равно все погибло, все напрасно.

— Тебе дурно? — Андрей наклонился над ней. — Аинька, Аинька, что с тобой? Ты опять плачешь? Не плачь, не плачь. Слушай... — он запнулся. — Я брошу Люсю. Я... Я женюсь на тебе.

Аня в темноте близко взглянула в его растерянное лицо и тихо, торжественно засмеялась — как легко, как просто. А она уже отчаивалась...

— Женишься на мне?

Он взял ее за плечо.

— Почему ты смеешься? Ты не хочешь?

Она прижалась к нему.

— Не хочу? Нет, нет, хочу, хочу. Только смешно — предложения делают во фраке, в перчатках, а мы...

Телефон снова зазвонил.

— Опять! Пойдем. Тише, не зажигай света. Молчи. Садись сюда на ковер. Нет, сюда, у самого телефона. Все еще звонит! Это Люсь-

ка по твою душу. Но ты не бойся, я тебя не отдам. Обними меня крепче. Еще, еще. Ах, как я счастлива. Я умру от счастья, — она до боли сжала его шею. — Если бы теперь ты даже сам хотел уйти — кончено. Не пущу. Попался, который кусался!

6. Люська отравилась

Тетя Катя внесла большой букет белых роз.

— Тебе. От жениха.

Весь вчерашний день тетя Катя волновалась, возмущалась, сердилась, плакала: «Чужой жених... разве можно...» Но к вечеру устала, смирилась: «Что ж, значит, судьба...»

И теперь, вспоминая, должно быть, свою молодость, относилась к Ане с умиленной нежностью.

Аня положила розы перед собой на стол и поцеловала их — первые цветы от Андрея.

— Знаешь, тетя, мне всегда казалось, что в доме, где невеста, должно быть много цветов. И еще музыка. Сыграй что-нибудь на рояле, чтобы я чувствовала себя совсем невестой.

— Мне котлеты жарить надо, а тебе музыку подавай. Что же тебе сыграть?

В передней звонок. Должно быть, Андрей.

Но это не Андрей. Это Люся.

Она бледна, веки и нос подпухли — плакала. Челка не подвита — до челки ли? Правильно сказано — горе не красит.

Аня смотрит на нее чуть-чуть насмешливо.

— Здравствуй, невеста. Гуляешь, приданое закупаешь? Какое солнце сегодня. Знаешь, есть такие стихи:

*Какая погода райская,
Любите меня, мой друг.*

Впрочем, к тебе это не относится — невесту всегда любят. Ну, садись, рассказывай...

Люся устало и беспомощно опускается на диван.

— Аня, — хрипло говорит она. — Аня, ты не знаешь, что такое с Андреем?

— А что?

— Он уже три дня не был у меня... Дома его тоже нет. Я боюсь...

— Что под трамвай попал? Успокойся. Жив и здоров. Вчера еще к нам заходил, с тетей насчет своей свадьбы советовался...

— Аня! Не лги, не скрывай...

Аня брезгливо отнимает руку.

— У тебя холодные пальцы! Стану я тебе лгать. На что мне? — она пожала плечами.

Веки Люси начинают моргать. Аня хлопает ее по спине.

— Ну, ну, не раскисай. Все устроится. Выпей воды. Да не плачь ты, ради Бога, не могу видеть слез. Сейчас сама зареву, и нос распухнет, как твой. А я хочу быть хорошенькой. Посмотри лучше...

Люся поднимает заплаканные глаза.

— Посмотри, какие на мне чулки, — Аня вытягивает ногу, — вчера купила. Сто франков — сумасшедшие деньги, зато какой шик! На тебе тоже шелковые? Жених подарил? Напрасно каждый день таскаешь — штопаные уже не то... А когда еще такие получишь? И шляпу тоже — голубая, выгорит. Тебе надо учиться беречь вещи...

Люся не слушает.

— Если Андрей меня бросит, я отравлюсь. И на твоей совести грех.

— Перестань, Люська, ломаться. Не отравишься. И какие там грехи? Каждый сам за себя. И зачем Андрею бросать тебя, ты же говорила, что он тебя обожает. Хочешь посмотреть мои новые рубашки? Я себе тоже приданое закупаю, не ты одна.

Люся встает.

— Прощай, Аня. Может быть, мы больше не увидимся.

— Уже уходишь? Позавтракала бы с нами.

— Прощай, Аня.

— У нас как раз котлеты, ведь ты любишь. Ну, иди, если хочешь. Может, тебя дома Андрей ждет, — Аня лукаво подмигивает, — или письмо от Андрея. У меня предчувствие. Только нос припудри — блестит.

Люся быстро, не оборачиваясь, идет в прихожую.

— Прощай.

— До свиданья, Люся, веселись!

Дверь хлопает, Аня бежит на кухню.

— Тетя, тетя, что же вы к Люське не вышли? Она такая смешная, вся важность сошла. Невеста, ходит по гостям, а дома письмо от жениха ждет. С отказом. Утром вместе в ящик бросили...

Тетя Катя раздраженно трясет головой.

— Делай как знаешь. Я не мешаю. Только меня, пожалуйста, от этого безобразия избавь.

Снова звонок. Валя открывает. Голос Андрея. Сейчас он войдет. Но Андрей громко говорит в передней с тетей Катей. О чем это они?

— Аня, Аня, иди сюда...

Аня не спеша оправляет белое пышное платье: невеста должна носить только белое.

Она делает перед зеркалом реверанс:

— Пожалуйста, mademoiselle, жених вас ждет...

В столовой стоит Андрей, как-то странно втянув голову в плечи. У тети испуганное, бледное лицо.

— Здравствуй, Андрей.

Андрей быстро оборачивается к ней.

— Люся отравилась. Только что. Опиумом. Я прямо оттуда.

Аня, шурша шелком, садится на диван и грациозно нагибает голову.

— Умерла?.. — спрашивает она.

7. Утюг

Они выходят из магазина.

— Кажется, ничего не забыли?

Андрей вынимает список.

— Нет. Все.

Они идут по rue Royale на Конкорд. Аня внимательно оглядывает встречных женщин.

— Послушай. Только отвечай правду. Ты счастлив?

— Ну конечно. А разве ты нет?

— Ах, я не о себе говорю. Совсем, совсем счастлив?

Андрей смеется.

— Совсем.

— И тебе не кажется, что это слишком мало, слишком просто? Ну вот, любим, женимся. Не хочется тебе чего-нибудь невозможного, страшного?

— Что за фантазии, Аинька! А тебе разве?..

— Ах, я не о себе. Я о тебе говорю.

— Ты нервничаешь. Должно быть, о Люсе думаешь.

— О Люське?.. Ну вот еще! Какое мне до нее дело? Если бы она хоть умерла. Я бы ей тогда цветы на могилу носила — так романтично. Любовь, смерть... А то и отравиться не сумела. Впрочем, Бог с ней. Пусть себе живет на здоровье. Нет, я не Люське думала, я о нас.

— Ты не устала?

— Ни чуточки. Я стала теперь такой легкой-легкой, точно не иду, а лечу, — она смотрит на Андрея сбоку. — Это потому, что я влюблена. Да. У влюбленных крылья за плечами, как у ангелов. Я теперь ангел, — она берет его за руку. — Подумай, еще месяц тому назад мне было так скучно, так безнадежно. Я целые дни шила в мастерской, ночью плакала. А теперь... Теперь я ангел и лечу по елисейским полям. И ты со мной. И тоже ангел.

*Та, кого любишь ты много,
Уведет рукой блаженной
В елисейские поля... —*

это про нас сказано.

Андрей смеется.

— Ну уж и про нас. И какой ты ангел — ты злюка.

— А ты думаешь, ангелы — добрые, сахарные? Это на них клеветают. Ты не верь.

Она вдруг останавливается.

— А утюг? Утюг-то и забыли!..

8. Советы

На пестрой скатерти сухарница с мятными пряниками и вазочка с вареньем. Самовар шумит, заглушая канарейку. Тетя Катя наливает Ане чай.

— И все-таки вы, теперешние, не умеете любить. Вот, я помню, у нас штабс-капитан был. Нестоящий человек, пьяница, картежник. Только у него и было хорошего, что жена. Все она ему прощала и как любила. Раз как-то уехала гостить в имение к сестре, а он остался. Сидит она там, и сердце не на месте, все о нем думает. Вдруг получает письмо, что он захворал. Сейчас же собралась и домой. Подъезжает, а к ней навстречу денщик: «Кончается их благородие». Она ничего не ответила. К мужу прошла, даже накидки не сняла. А он уже хрипит. Она легла с ним рядом на кровать, обняла его и так уж больше не вставала. Вместе с ним умерла. От разрыва сердца, должно быть.

Аня смеется.

— Тетя, вы пугаете. Это вы в опере видели. «Тристан и Изольда» называется.

Тетя Катя краснеет.

— Может быть. Тебе лучше знать. Мне немудрено путать. Поживи с мое, и сама путать будешь.

— Тетя, тетечка, не сердитесь. Я ведь только так. Смешно стало, — она целует тетку в шею за ухом. — Помните, как я вас в детстве называла: тетя Душка, тетя Мышка, тетя Соловей. Милый вы мой Соловей.

Тетя Катя уже улыбается.

— Ну-ну. Я же не сержусь. Завтра мама приезжает. Ты рада?

— Очень, — равнодушно отвечает Аня.

— Какая ты, Аня, право. Ласковая, а настоящего сердца в тебе нет. Как кошка, хоть кошек терпеть не можешь.

Аня вздыхает.

— Ах, тетя. Мне тяжело. Мне грустно. Я все плачу.

Тетя Катя гладит ее по светлым волосам.

— Всегда так. Замуж выйдешь — все пройдет.

Аня трясет головой.

— Нет, у меня не так. Я больна... Я умру... — она прячет лицо на груди тетки. — Ах, тетя, как я счастлива. Скажите... Это очень...

— Глупости, глупости. Что еще выдумаешь?

— А я боюсь...

Аня поднимает голову.

— Глупости.

— Тетя Соловей, а он меня всегда любить будет?

Глаза тети Кати становятся круглыми и хитрыми.

— Слушай, я тебя научу, — шепчет она. — Когда ляжете в первый раз, ты сейчас же три раза через него перепрыгни.

— Как перепрыгнуть?

— Да очень просто. Три раза.

— Да как же я прыгать стану?

Аня хохочет.

— Ну, не прыгай. Как желаешь. Да и без того он тебя любить будет. Таких ласковых и бессердечных мужья всегда обожают.

В коридоре Валя подбегает к Ане.

— Аня, иди сюда.

— Что?.. Кажется, подслушивало, Валентино?

Валя сжимает кулаки.

— Я? Я подслушивала? Скаутское слово, если бы это не ты сказала...

Аня берет ее за плечи.

— А если бы и подслушивала? Что же тут дурного, раз интересно?

Валя сбита с толку.

— Я не подслушивала, но я слышала. И, — шепчет она, — если ты его боишься, я тебя научу. Чуть что, хватай его за руку. Видишь, вот так и так. Поняла? Это прием джиу-джитсу. Ничего, что он сильный. Сразу пощады запросит. И еще вот так. Я знаю, как надо. Я все знаю. Я даже утопленников оживлять умею.

Аня снова хохочет.

— Спасибо, Валентино.

9. Елисейские поля

Аня в первый раз в жизни в ночном ресторане.

Лакеи разносят шампанское.

На эстраде толстые набеленные женщины в пестрых шалях. А цыганки должны быть смуглые и худые.

*...Дни за днями катятся,
Сердце болью тратится,
Обрывая тоненькую нить...*

— Как они смешно поют. Андрей, налей мне еще.

Аня пьет. В голове шумит.

— Андрей, слушай, Андрей... — она смеется, закидывая голову.

Андрей наклоняется к ней через стол.

— Не смейся так громко. На нас смотря.

Она презрительно щурится.

— Кто? Эти?

— Аинька, тише.

*...Пусть туман колышется,
Пусть гитара слышится.
Не мешай мне сегодня жить...*

— Не мешай мне сегодня жить... — повторяет Аня и снова смеется. — Какие глупые слова. Разве могут мешать? Налей еще.

— Ты слишком много пьешь.

— Налей. Я хочу, — она проливает вино на скатерть. — Открыватели новых стран, пираты, авантюристы... Скажи, Андрей, ты кто?

— Я? — удивляется он.

— Да, ты. Я не знаю. А мне надо знать. Скажи, ты авантюрист? Андрей высоко поднимает брови.

— Авантюрист? Ну нет.

— Я так и думала. И не пират? И не открыватель новых стран?.. Нет?.. Знаешь, — она смотрит на него светлыми пьяными глазами. — Знаешь, ты, пожалуй, был бы счастливее с Люськой. Она такая же, как ты. И обожает тебя. А я...

— А ты?..

— Разве такие, как я, умеют любить? У меня все только так, как они поют:

*Пусть туман колышется,
Пусть гитара слышится.*

Андрей морщится.

— Тебе неприятно? Я напрасно говорю. Я, кажется, пьяна. И это неправда. Я тебя люблю. Ужасно люблю. Ах, как они поют...

Напротив в стене зеркало. Она смотрит в него, качая головой.

— Как я плохо выгляжу. Круги под глазами. Я тебе не нравлюсь больше? Люська лучше? Ты жалеешь о ней? Ах, как мне грустно.

— Едем домой, Аинька. Тебе надо лечь.

— Нет. Подожди. Здесь так странно. Мне нравится. Я еще никогда не чувствовала себя так. Знаешь, сейчас мне кажется, что моя жизнь — стеклянный дом на высокой горе. Он весь сверкает на солнце. Кругом золотые цветы и деревья. Но подует ветер, и дом со звоном разобьется. А его было так трудно строить, — она печально улыбается. — Знаешь, мне очень жаль себя. И тебя тоже, — она вздыхает. — Очень жаль.

Барышня в красном платье с подбритыми бровями предлагает им кукол.

Аня всматривается в нее.

— Женя, ты?

— Аня? Вот не думала встретить! — она неуверенно протягивает руку.

— А ты здесь служишь? Посиди с нами. Хочешь вина? Мой жених...

Барышня в красном платье в упор смотрит на Андрея.

— У тебя хороший вкус.

Аня злится.

— Ты много зарабатываешь, Женя?

— Ничего себе.

Аня насмешливо кривит рот.

— Танцами?

Глаза Жени суживаются.

— И танцами.

Она поворачивается к Андрею.

— Какой вы паинька при невесте.

Аня краснеет от злости.

— А вы разве знакомы?

Андрей смущается.

— Кажется... Как-то раз я был здесь...

Женя пожимает голыми плечами.

— Ну, положим, не раз, а гораздо чаще. Помните, как на Новый год кутили? Впрочем, молчу, молчу. Угостите, по крайней мере, папироской. Куклы теперь уже у меня не купите...

Андрей достает бумажник.

— Напротив. С удовольствием.

— Тогда купите эту черненькую... Она на меня похожа. Не правда ли?

Аня вскакивает.

— Не смей покупать! А ты, Женька, убирайся, слышишь?

— Аинька, успокойся... Простите, ради Бога.

Женя продолжает равнодушно курить.

— Она пьяна. Уймите ее.

— Убирайся, слышишь?! — кричит Аня.

Любопытные взгляды, насмешливые улыбки. Андрей торопливо расплачивается.

...В такси Аня плачет.

— Я тебя люблю... А ты... Ты мог...

— Ничего не случилось, Аинька. Завтра ты проснешься веселой и все забудешь.

— Нет, нет. Ничего не забуду. Никогда не забуду...

На воздухе голова начинает еще сильнее кружиться. Автомобиль подбрасывает. Аня прижимается лбом к холодному, мутному стеклу.

— Ах, как я несчастна.

— Аинька, Аинька...

— Как я несчастна... Даже Люська счастливей меня... Я несчастна оттого, что я такая злая. И ты будешь со мной несчастен. Но разве я виновата?..

Автомобиль заворачивает на широкую, блестящую от дождя улицу. Мелькают дома, фонари, деревья. Какая длинная улица, какая отвратительная.

— Андрей, где мы?

— Разве ты не узнаешь? Это Елисейские поля...

ЖИЗНЬ МАДАМ ДЮКЛО

...Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.

Бунин

В первую же зиму по окончании института Манечка Литвинова вышла замуж за monsieur Дюкло. Манечка была сирота и воспитывалась на средства тетки. Тетка привозила ей конфеты на прием. Манечка грациозно приседала.

— Вы ангел, ma tante. Мерси.

Жизнь на воле была прелестная, розовая и пустая. Тетка — ангел, Павловск — рай.

И когда однажды утром тетка вошла в ее белую комнату с портретами институтских подруг по стенам и, потрепав ее по щечке, проговорила:

— Вот что, душа моя. Я нашла тебе мужа, француза, богатого. Собственный дом в Париже иметь будешь. Что, довольна?

Манечка присела так же грациозно:

— Вы ангел, ma tante. Мерси.

Свадьба состоялась через месяц. Мсье Дюкло было пятьдесят лет, Манечке семнадцать. В Россию он приезжал по делам всего на шесть недель. Он увидел Манечку на балете и влюбился.

Манечка была горда. Все подружки завидовали ей. Выйти замуж за француза, жить в Париже....

«Собственный дом» оказался огромным, серым и мрачным.

Дюкло был не злым человеком. После завтрака он пускал сигарный дым ей в лицо. Манечка сгибала шейку и кашляла, стараясь все-таки улыбаться. Ведь муж шутил с ней.

— У-у, моя дикарочка, — говорил он, целуя ее в затылок.

Манечка очень быстро изучила правила приличия — они были здесь совсем другие, чем в Петербурге — и сумела заставить уважать себя жильцов, консьержку и даже булочника с угла.

По воскресеньям они с мужем гуляли в Булонском лесу, по четвергам к ним собирались гости. Всегда одни и те же: фабрикант Рафф с женой, длинный и худой адвокат и богатый виноторговец Ланэ. К нему Дюкло относился с особым уважением.

Мужчины играли в карты. Дамы беседовали о хозяйстве, о прислугах, о туалетах. Мадам Рафф осуждала эксцентричные моды и безумные траты.

— Берите пример с меня, — советовала она Манечке. — Главное, умело организовать свой гардероб...

Изредка Дюкло водил жену в театр, в *Comédie Française*.

— Нет, все-таки, — говорил он полгода спустя, — я не уверен, что поступил бы так же на месте Родриго.

Так жила Манечка, без огорчений, без радостей, спокойно, уютно. Годы проходили пустые, одинаковые, легко и просто, и ей казалось, что они стопкой ложатся друг на друга, так же аккуратно, как белье в ее зеркальном шкафу.

Так жила Манечка. Впрочем, теперь она уже не была Манечкой, а мадам Гастон Дюкло. В Россию она больше не возвращалась и даже думать стала по-французски.

Она жила безвыездно в Париже. Нет, не в Париже, а в картье Еуроге, где стоял их огромный «собственный дом».

Началась русская революция, мсье Дюкло возмущался.

— Это предательство, — говорил он, накладывая себе на тарелку жигу. — Это предательство. Они наши союзники. Они должны воевать до конца.

— А затем, — подхватывал мсье Ланэ сердито, глядя на мадам Дюкло, — русские бумаги. Заплатят ли они вам?..

Мадам Дюкло виновато улыбалась и успокаивала.

— Они заплатят. Непременно заплатят....

Случилось это так.

В одно февральское утро они, как всегда, проснулись рядом с широкой медной кровати. Было воскресенье. И, как всегда в воскресенье, одеваться не спешили, а, сонно потягиваясь, переговаривались о предстоящих удовольствиях.

— На завтрак будет утка с каштанами и ананасный крем.

— И потом пойдем в Булонский лес. И вечером в кинематограф.

Мсье Дюкло обнял жену за плечи.

— Ты довольна, моя дикарочка?

— Только бы не было дождя.

Она встала, отдернула шелковые шторы, открыла ставни. За окном голубело небо.

Она улыбнулась и пошла в ванную.

— Вели почистить мой новый костюм, — крикнул он ей вдогонку.

Она долго и основательно мылась, потом в кухне сама поставила на серебряный поднос хрустальную вазочку с печеньем и большие дымящиеся чашки шоколада. У них было три прислуги, но по воскресеньям она всегда сама носила мужу завтрак.

Она толкнула дверь в спальню.

— Знаешь, Гастон, мы сегодня... — и не кончила.

Мсье Дюкло лежал поперек кровати. Лицо было синее и перекошенное. Одна рука вцепилась в одеяло. Худые, волосатые ноги свесились с кровати.

Мадам Дюкло уронила поднос. «Шоколадные пятна не выходят», — мелькнуло в голове. Но она даже не взглянула на розовый бобрин, она открыла рот и крикнула: «Гастон!»

Крикнула так громко, что крик услышали этажом ниже, в квартире доктора. И когда через минуту перепуганная горничная выбежала за помощью на лестницу, сам доктор уже поднимался к домовладельцу узнать, не случилось ли у него несчастья.

Мадам Дюкло была прекрасной женой и хозяйкой. После смерти мсье Дюкло она стала еще и образцовой вдовой. С этим соглашались все в картье.

Она не снимала траурного вуаля, носила только черные платья, почти нигде не бывала. В квартире все осталось как при покойном Дюкло. Она сама убирала его письменный стол. В спальне все еще висел его пестрый халат, его ярко-желтые утренние туфли стояли у кровати. И всюду висели его портреты в креповых рамках.

Мадам Дюкло как будто даже гордилась своим вдовством. Движения ее стали медленнее. Лицо ее было печально. Она почти никогда не улыбалась.

Но очень скоро она поняла, что жизнь ее, в сущности, ничем не изменилась. Разве только стала еще немного скучнее.

И снова побежали годы, одинаковые, пустые, быстрые, стопкой ложившиеся друг на друга, как белье в ее зеркальном шкафу...

Был июнь. Мадам Дюкло сидела за столом в маленькой гостиной и проверяла счета. В передней позвонили. Верно, управляющий. Но горничная доложила:

— Monsieur Ланэ.

Мсье Ланэ иногда навещал ее, и они вместе вспоминали «доброе, старое время».

Она аккуратно сложила счета, придавила их бронзовым пуделем, поправила высокую прическу и вышла в зал.

Мсье Ланэ ждал ее стоя. Он церемонно поцеловал ей руку. Прежде он никогда не делал этого. Он был одет торжественно, в визитку. На руках белые перчатки.

Они сели на золоченый диван.

— Как это мило, дорогой друг, что вы навестили меня.

Голос ее немного дрожал. У нее уже не было прежней свободы обращения, ведь гости теперь бывали так редко.

— Как ваше здоровье? Как дела?

— Жаловаться на здоровье, слава Богу, не могу, — начал он обстоятельно. — Дела тоже недурны. Кроме моих прежних магазинов на улице Нотр-Дам, на улице Бланш и на улице...

Мадам Дюкло уже вполне овладела собой. Она, не слушая, кивала от времени до времени и улыбалась любезно и внимательно.

Бедный, как он растолстел.

— На двести бочек больше, чем в прошлом году, — закончил он. — Ну а ваши дела, дорогая мадам Дюкло?

— Благодарю вас, мои дела тоже не плохи.

Мсье Ланэ уперся руками в колени.

— Далеко не плохи. Если правда, что вы получаете сто тысяч дохода с дома и бумаг...

— Откуда вы знаете?

Он самодовольно улыбнулся.

— О, в Париже все известно. Я навел свои справки!

— Но зачем?..

— Видите ли, мадам Дюкло, — он слегка откашлялся. — Мне придется начать издали. Я всегда чрезвычайно высоко ценил вас. Еще при жизни покойного Дюкло вы внушили мне живейшее уважение. Теперь, когда прошло уже четыре года с тяжелого для вас дня... И так как нас с покойником Дюкло связывала тесная дружба...

Она рассеянно слушала. Он, должно быть, предложит ей вступить компаньоном в какое-нибудь дело. Она была осторожна и боязлива и заранее придумывала вежливый отказ. Он вдруг выпрямился и вытянул короткую шею.

— Я имею честь просить вашей руки.

Громкий звук его голоса заставил ее вздрогнуть.

— Что? Что такое?

— Надеюсь, что вы согласитесь сделать меня счастливым.

Она удивленно смотрела на него.

— Что? Что такое? — повторила она.

— Я прошу вас стать моей женой.

— Вашей женой? Вы, мсье Ланэ... Вы это серьезно?

— Совершенно серьезно. Я совсем не расположен шутить такими вещами.

От волнения нижняя губа его отвисла. На лысом лбу заблестел пот.

Она все еще удивленно смотрела на него.

— Как вы могли? Как вы посмели? И вы были его другом... — она вдруг сдвинула брови и покраснела. — Я прошу вас уйти сейчас же и никогда больше не приходите ко мне.

Он тоже покраснел.

— Но позвольте, мадам Дюкло, кажется...

Она быстро встала и топнула ногой.

— Уходите, слышите, уходите! — и позвонила. — Амели, проводите мсье.

Он развел руками.

— Это возмутительно. Стать моей женой было бы честью для вас.

И, пожав плечами, с достоинством вышел.

Она прошла в спальню, выпила воды, расстегнула высокий воротник платья. Надо успокоиться.

Села в свое любимое кресло у окна, взяла вышивание. Как он посмел?.. И он был другом мсье Дюкло... Руки дрожали. Острая иголка уколола палец. На белой коже оказалась красная капля. Она взглянула на нее, тихо ахнула; опустила голову на рабочий столик и заплакала. Ножницы со звоном полетели на пол.

Она плакала горько и долго, пока не ослабела от слез. Теплый ветер пробежал по ее волосам и мокрому лицу. Она подняла голову, вытерла глаза, взглянула в открытое окно на розовое закатное небо. И чего она так оскорбилась? Тысячи вдов выходят замуж...

И вдруг рассмеялась, не своим обычным смехом, сухим, похожим на кашель, а весело и раскатисто, так, как смеялась когда-то Манечка Литвинова.

От слез осталась в груди какая-то особенная легкость. Вот взмахнуть руками и полететь в высокое розовое небо над домами. И не быть мадам Дюкло, к которой сватается виноторговец Ланэ.

Улететь... Но взмахнуть руками было лень. Руки лежали на коленях, нежно обнявшись, как сестры, белые, тонкие, беспомощные. По телу вместе с легкостью разливалась слабость. Она смотрела на ножницы, блестящие на полу, на мокрый платок, на уличные фонари. Ветер шевелил волосы, воротник платья так и остался расстегнутым, холодок пробежал по шее и вниз по спине.

Мадам Дюкло ни о чем не думала. Она чувствовала себя блаженно и смутно, прислушивалась к легкому стуку сердца.

Так сидела она долго, пока прислуга не пришла звать ее обедать.

— Я не буду обедать. Вы мне больше не нужны сегодня.

Голос ее звучал тихо, и прислуга встревожилась,

— Мадам нездорова? Пойти за доктором?

Но мадам Дюкло нетерпеливо сдвинула брови.

— Я вам сказала: можете идти.

Горничная осторожно закрыла дверь и побежала на кухню рассказывать о невероятном событии: «Мадам не будет обедать».

Кухарка и судомойка долго охали и качали головами, потом на носках подошли к дверям спальни и поочередно прикладывали глаз к замочной скважине, стараясь рассмотреть, что там происходит.

Но в спальне ничего особенного не происходило. Розовый вечерний свет широко освещал комнату. Мадам Дюкло продолжала сидеть в кресле у окна. Руки ее были все так же сложены. Губы все так же улыбались.

Небо начало тускнеть. Стало почти темно. Из-за крыши черного дома медленно-медленно выползла огромная зеленоватая луна и неподвижно повисла над черной трубой. Белые, перистые облака, как стая лебедей, налетели на нее, совсем закрыли ее на минуту и понеслись дальше.

Мадам Дюкло вздохнула, медленно встала и покачала головой.

— Ах, как я устала...

Она разделась, не зажигая света. Черное платье печально упало на ковер. Черные чулки покорно легли рядом с ним. Она откинула одеяло, опустила голову на подушку и закрыла глаза. Холодные простыни зашуршали. Длинные волосы рассыпались по плечам, обвилились вокруг шеи.

Пусть... Все равно. Вставать, причесываться... Окно осталось открытым. Лунный свет ложился узкой полосой на ковер, освещая туфли мсье Дюкло. Медная кровать тускло поблескивала.

Мадам Дюкло открыла глаза, взглянула в окно. Луна показалась ей круглым, зеленым лесным озером и свет ее — влажным. Ей вдруг мучительно захотелось пить.

— Ах, как мне грустно, — вздохнула она. — Никогда еще не было такой странной луны, никогда еще не было такой печальной ночи....

...Она проснулась. Окно открыто. На полу валяется платье. И даже волосы не заплетены. Что с ней было вчера? Но воспоминания вчерашнего вечера путались со смутными ощущениями сна. И ничего нельзя было ни вспомнить, ни понять. Солнце падало на красное шелковое одеяло. И только одно было ясно, только одно — жить, жить, жить.

Она соскочила с постели и, ступая босиком по ковру, подошла к туалету. В зеркале отразилось бледное лицо с серыми глазами, прямым носом и маленьким красным ртом. Темные спутанные волосы падали на лоб и на плечи. Это ее лицо, такое молодое, такое страстное. Да, именно страстное. Бледное и страстное, как у героинь Жорж Санд.

Тридцати четырех лет ей дать нельзя. Только у рта тонкие морщинки, почти незаметные.

Она улыбнулась. Жить, жить, жить. Еще не поздно, еще можно.

Но отчего она так долго ждала? Ведь она свободна, свободна и богата.

Она села на кровать, натягивая чулки. Какие у нее прелестные ноги, а чулки черные, бумажные. И туфли черные, тяжелые. Кто ее заставляет их покупать?

Она застегнула высокий воротник и снова подошла к зеркалу.

В черном неуклюжем платье, с пышной высокой прической она выглядела провинциалкой. И лицо уже не казалось страстным и необычайным. Просто немного поблекшее, вдовье лицо.

Кто ее заставляет так уродовать себя? Точно нарочно. «Главное, умело организовать свой гардероб», — вспомнила она. Да, советы мадам Рафф пошли ей на пользу.

Она рассмеялась, торопливо надела траурную шляпу, взяла черные перчатки. Сердце быстро забилося. Она свободна, она богата, она в Париже. Она как будто только сегодня приехала в Париж и сейчас впервые увидит его.

Она вышла из дому с чувством радостного освобождения, с тем самым давно забытым чувством, с которым она когда-то покидала институт.

На улице она остановилась, глубоко вдыхая веселый парижский воздух.

Жить, жить, жить....

В шляпном магазине на рю Рояль приказчица развела руками.

— К сожалению, у нас ничего не найдется для мадам.

— Но почему?

— О, я вижу, что нужно мадам. Мадам не придерживается моды.

— Покажите мне, пожалуйста, самые модные шляпы.

Продавщица чуть презрительно подняла брови, что значило: ведь все равно не купишь.

— Если мадам желает. Но с прической мадам...

Мадам Дюкло торопливо распустила волосы. Шпильки упали на ковер.

— Я сегодня же остригу волосы. Я так примерю.

Продавщица недоверчиво смотрела на нее.

— Я беру эту и вот эту. А покажите ту, серую.

И продавщица уже улыбалась подобострастно.

— Серое мало кому идет. Но с цветом лица мадам...

Мадам Дюкло шла по улице и смеялась. Ей было весело, весело, весело. Как она прежде не знала, что так приятно покупать?

Мимо проходили элегантные женщины. Вот и она будет такой же. Она снова рассмеялась. Как в сказке о Золушке. Сейчас замарашка, а будет принцессой...

Мадам Дюкло вбежала в подъезд. Короткое платье шуршало, маленькая шляпа плотно обхватывала голову, в руках новая сумочка и большой букет красных роз. Раньше она возила цветы только на могилу мсье Дюкло.

Высокие каблочки застучали о ступеньки. Их сухой стук отдавался в сердце.

Ах, как весело, весело, весело.

Наверху хлопнула дверь. Кто-то спускался. Молодой человек в серой шляпе поравнялся с ней.

Она подняла голову и, все еще улыбаясь, посмотрела на него. Он остановился у окна, пропуская ее, и приподнял шляпу. Солнечный косой луч упал на его светлые волосы. Его большие зеленоватые глаза, такие блестящие, что казались влажными, смотрели на нее пристально и удивленно.

Их взгляд почему-то напомнил вчерашний влажный лунный свет, и на минуту снова, как ночью, мучительно захотелось пить.

Она прошла, прижимая розы к груди.

Он растерянно извинился и, дернув плечом, побежал вниз.

Кто он такой? Пришел в гости или новый жилец? Надо будет спросить у управляющего.

Она открыла дверь своим ключом. Полутемная прихожая была заставлена картонками.

— Столько пакетов принесли, я не знала, должна ли я их принять. И в спальне все полно... — горничная щелкнула выключателем. — О, мадам, — испуганно вскрикнула она. Темная краска стыда залила ее щеки. — Что мадам с собой сделала? Мадам узнать нельзя.

Мадам Дюкло бросила розы ей на руки.

— Поставьте в воду и несите все пакеты ко мне.

Крышки картонок глухо падали на ковер. Шелковая бумага жалобно свистела.

Платья, розовые рубашки, чулки, кружева, искусственные цветы легкой горой легли на кровать.

Мадам Дюкло, взволнованная, счастливая, примеряла туфли, платья, шляпы. Смотрела на свою маленькую круглую голову, на свои длинные подведенные глаза и впервые подкрашенные губы.

Неужели это она?

В дверях спальни молчаливым упреком стояла прислуга. Она служила в доме уже пятнадцать лет.

— Я всегда это предвидела, — говорила толстая кухарка, вернувшись в кухню. — В мадам всегда было что-то такое развратное, — кухарка прищурила левый глаз. — Она плохо кончит. Вот увидите.

Похожая на лошадь горничная кивнула:

— Она плохо кончит.

И судомойка юлила:

— Да. Она плохо кончит...

Лампы ярко горели перед большим зеркалом. Пахло духами. Коробка пудры просыпалась на ковер.

Мадам Дюкло, усталая и побледневшая, стояла в одной рубашке среди платьев, цветов и кружев и улыбалась.

Вот он — ее первый день в Париже. Вот он — первый день ее жизни, а впереди еще много дней. Таких же веселых...

Она легла, потушила свет.

Ставни были закрыты, шторы плотно задернуты, и луна никак не могла пробраться к ней. Без луны лучше, спокойнее. Она погладила свой стриженный затылок. И волосы не мешают. Как хорошо, как легко. Как все теперь легко и хорошо.

Стало тихо-тихо. Из темноты медленно выплыло молодое лицо с большими, зеленоватыми, влажными глазами.

«На кого он похож? Ах, да. На Лидочку Петровскую. Она совсем так же дергала плечом».

Зеленоватые глаза пристально смотрели на нее. В горле опять защекотало от жажды.

— Пить, пожалуйста, — прошептала она, засыпая.

На подносе вместе с утренним кофе лежало письмо. Писал брат мсье Дюкло, кузен Жак: «Надеюсь, дорогая кузина, что хоть на этот раз согласитесь приехать к нам. Сейчас у нас чудесно. Цветут розы. Наша маленькая Жанна, если вы еще помните ее, стала невестой. Ее жених...»

Мадам Дюкло представила себе кузена Жана, большого, шумного, и Терезу, его добродушную, завитую, как болонка, жену. Они приезжали в Париж еще при жизни мсье Дюкло и никак не могли усидеть дома. Им все надо было на бульвары, в рестораны, в театры.

А Жанна уже невеста, маленькая плакса Жанна. «Ждем непременно. Напишите, когда Вас встречать».

«Непреренно» было подчеркнито.

Цветут розы, и Жанна невеста. Мадам Дюкло улыбнулась, отложила письмо и налила себе кофе.

Цветут розы. Белые, красные, желтые кусты, и над ними кружатся бабочки.

Как давно она не была в деревенском саду. В последний раз еще институткой, в теткинском имении.

... Над прудом низко сгибались ивы. В пруду плавали большие круглоглазые караси. Березы поднимались к небу, как белые свечи. Утром трава была мокрая от росы; как весело и холодно было бегать по ней босиком....

Она размешала сахар в чашке. В Париже скоро станет жарко. Почему бы и не поехать к ним в Нормандию. В сущности, они милые.

Поехать — это значит бегать по магазинам и покупать, покупать, покупать. Полотняные платья, соломенные шляпы, чемоданы, сундук.

Мысль о черном лакированном сундуке-шкафе заставила ее решиться. Такой поместительный, с вешалками и отделениями для туфель.

Если не ехать, нельзя будет его купить.

Она встала с постели, написала ответ. В субботу она уже будет в Нормандии.

Всего пять дней осталось. Надо спешить. И позвонила.

— Скорей ванну и одеваться.

Вечером, возвращаясь, она снова встретила на лестнице молодого человека в серой шляпе. Теперь она разглядела его.

Высокий, одет в потертый синий костюм и совсем молодой.

Она прошла очень близко, хотя лестница и была широкая. Хвост ее чернубурой лисицы задел его по плечу. Его светлые ресницы вздрогнули. Кажется, он покраснел. Зеленоватые глаза все так же пристально смотрели на нее.

Она дошла до двери, чувствуя на себе его взгляд, и незаметно обернулась.

Что ему надо? Чего он так смотрит? Он стоял все на той же ступеньке. Ничего особенного не было в выражении его лица и в том, как он смотрел на нее снизу вверх, немного закинув голову. Но сердце ее вдруг тревожно застучало. Она быстро отперла и захлопнула за собою дверь.

В прихожей было прохладно и пусто. Она села в кресло, сняла шляпу.

— Я устала, — прошептала она, закрывая глаза. — Эти магазины так утомляют.

Но сердце билось тревожно и радостно, как от предчувствия какого-то огромного, томительного счастья.

Кажется, все куплено. Да, все. И билет взят.

Мадам Дюкло вошла в кондитерскую на рю де Риволи и села за стол, стараясь казаться спокойной и самоуверенной.

Как много нарядных женщин. Но она не хуже, она, может быть, даже лучше большинства из них. Глупо робеть.

Она поправила белый цветок на плече.

На нее смотрят. И пусть. Ей это только приятно.

Барышня в кружевном передничке принесла ей чай.

У большинства женщин спутники такие же веселые, такие же нарядные, как они.

Но раз у нее нет спутника, можно его вообразить. Она сняла перчатки и, наклонив голову, налила себе чай.

— Два куска сахару, — тихо говорит она воображаемому спутнику, сидящему за ее столом. — Побольше воды. Нет, сливок не надо, — она улыбается ему, размешивая чай. — Я завтра утром уезжаю в Нормандию.

И он, ее воображаемый спутник, спрашивает:

— Вы любите путешествовать?

— Очень. Хотя я семнадцать лет не выезжала из Парижа. Ах, не смейтесь, пожалуйста. Я правда очень люблю путешествовать. Хотите, я расскажу вам про Петербург...

Она возвращалась в такси. Знакомые улицы, знакомые фонари. Стало немного грустно. Завтра она уезжает. Правда, через месяц она вернется. Но все-таки...

Она медленно вошла в дом, в котором прожила столько лет, нежно положила руку на перила.

Дубовая лестница, натертая воском, блестела холодным блеском. Красный ковер чопорно покрывал ступени. Электрические лампы в виде декадентских лилий были уже зажжены, хотя солнце еще ударяло в большие пестрые окна.

Наверху хлопнула дверь. Колени ее сразу ослабели, но она продолжала подниматься. Только сердце испуганно застучало. Это был он. Он медленно спускался, так же медленно, как она поднималась. На площадке она остановилась. Он тоже остановился. В голубоватом, неверном освещении лицо его казалось бледным и печальным.

«Что я тут делаю? — смутно подумала она. — Надо открыть дверь».

Он смотрел на нее не отрываясь. Губы его шевелились, словно он что-то хотел сказать.

Она стала рыться в сумочке, но пальцы дрожали и не могли схватить ключ. Тогда она протянула руку и, будто ища спасения, нажала кнопку звонка. Дверь сейчас же открылась. Она вошла, опустив голову, не смея обернуться. Похожая на лошадь горничная сняла с нее пальто.

— Мадам, принесли сундук.

— Сундук? — мадам Дюкло провела рукой по лбу.

«Почему он так смотрит? Что он хотел ей сказать?»

— Сундук? Ах, да, конечно. Пойдемте, помогите мне уложить-ся, Амели.

На вокзал выехали встречать кузен Жак с женой.

Дамы поцеловались. Кузен Жак тряс ее руки.

— Я прямо глазам не верю. Неужели это вы? Совсем другая.

Тереза вздохнула.

— Какая вы молодая. Вот что значит не иметь детей. И я.... Ведь я только на три года старше вас.

— О, дорогая Тереза. Вы отлично выглядите.

В автомобиле они снова поцеловались.

— Я так рада, Мари. Столько лет ждали.

Тереза была круглой и красной, ее жидкие волосы были гладко зализаны.

— Вы совсем модная, Мари. А мне нельзя. Ведь у меня дочь невеста. В провинции так строго...

Мадам Дюкло смотрела на желтеющие поля, на зеленые деревья, на соломенные крыши.

— Как у вас хорошо, Тереза, — она вздохнула. — Как хорошо.

И снова, как тогда в прихожей, в груди тревожно и радостно зашевелилось предчувствие чего-то.

— Так Жанна выходит замуж?

— Да. Очень хорошая партия. Он сын...

Она не слушала. Сердце стучало легко и взволнованно. Уже скоро... Уже скоро... Но что? Что? Что?..

В саду у калитки ждала Жанна и ее жених.

Жанне было шестнадцать лет. Белое платье в талию доходило до щиколоток. Волосы были завиты болонкой, совсем как у Терезы когда-то.

Значит, через двадцать лет она будет такая же, как мать.

— Тант Мари, — крикнула она, бросаясь на шею мадам Дюкло. — А вот это Пьер, мой жених.

Жених натянуто поклонился. Он показался ей милым, а главное, здоровым.

Тереза права. Он будет хорошим мужем...

Ужинали на террасе. Белые ночные бабочки кружились вокруг лампы и падали на скатерть. Кузен Жак положил себе на тарелку гуся с яблоками.

— Как бедный Гастон любил это блюдо. Вот бы ему хоть кусочек кушать.

Тереза печально опустила глаза.

— Ваш бедный муж...

На минуту все замолчали. Мадам Дюкло смотрела в сад. От бледных цветочных клумб поднимался туман. В разорванных облаках блестели звезды, как серебристые рыбки в рыбацких сетях.

Кузен Жак тронул ее за локоть.

— Простите. Я огорчил вас, напомнил... — он указал на Жанну и жениха, сидевших напротив. — Не надо думать о смерти, когда перед вами жизнь.

Мадам Дюкло повернула к нему улыбающееся лицо.

— Да. Счастливая жизнь, — сказала она медленно...

На стене, выкрашенной белой масляной краской, картина «Наполеон под Ватерлоо». Кровать застлана пикейным одеялом. На чистом полу маленький пестрый коврик. В глиняной вазе розы.

Все такое дешевенькое, простое. Как хорошо, что она приехала сюда.

Мадам Дюкло сняла платье через голову. Налила в умывательную чашку воды из большого кувшина. Дверь открылась без стука, вбежала Жанна.

— Я думала, вы еще внизу. Я хотела вам сделать сюрприз. Вам понравилось варенье, я принесла вам еще. Очень вкусно перед сном.

Она поставила блюдечко на ночной столик.

— Ах, какое на вас чудное белье. Шелковое. Можно потрогать? Вы мне дадите на фасон? А мне шьют длинные рубашки из полотна. Скажите, пожалуйста, маме, что таких уже не носят.

Она вдруг высоко подняла платье.

— Вот смотрите. Это секрет. Но вам можно, вы милая, — над острыми коленями врезались круглые красные подвязки с огромными бантами и фарфоровыми кошачьими мордами. — Пьер потихоньку подарил мне. Если бы мама узнала... А отчего у вас не такие?

— Я еще не видела таких красивых. Теперь непременно куплю.

Жанна засмеялась от удовольствия. Мадам Дюкло легла. Жанна подоткнула одеяло, поправила подушку.

— Хорошо так?

Мадам Дюкло увидела совсем близко завитые волосы, веселые черные глаза и веснушки на носу. Ей на минуту показалось, что она снова в институте и это ее подруга Лиза Галкина. Жанна утеслась на кровать, накрахмаленные юбки зашумели.

— Чем это вы душитесь, Жанна?..

— Мятным маслом. Мама запрещает покупать духи.

Она прижала худые руки к груди.

— Тант Мари, я хотела вас спросить. Маму нельзя, она рассердится, и она старая, наверно, уже забыла. А вы такая красивая, такая молодая. Скажите, это... Это... Очень страшно? Очень хорошо?..

Мадам Дюкло покачала головой.

— Милая Жанна, я ничего не могу вам сказать. Спросите лучше у мамы. Она, наверно, знает больше меня.

Жанна надулась.

— Вы не хотите сказать, считаете меня девочкой. Но ведь я уже невеста.

— Не обижайтесь. Я правда не знаю.

Но Жанна уже смеялась, теребя розовую ленту на шее.

— Мне все подруги ужасно завидуют. Пьер лучший жених на весь Руан. Я страшно влюблена. Свадьба только в ноябре. Конечно, ждать можно, ждать даже приятно. Но все-таки, — лицо ее стало грустным, она вздохнула, — лучше бы уж поскорее...

И совсем неожиданно для Жанны мадам Дюкло ответила вздохом на ее вздох.

— Да, лучше бы поскорее...

Жанна кормила кур в птичнике.

— Всё.

Она бросила последнюю горсть ячменя и взяла мадам Дюкло под руку.

— А теперь идемте кататься на лодке. Или нет, подождите, — глаза ее лукаво сузились, — я вам что-то покажу.

Она открыла дверь в хлев. Свиньи, лениво хрюкая, стояли у корыта.

— Видите ту жирную с черным пятном?

— Вижу, ну?

Жанна поднялась на носки и зашептала в самое ухо мадам Дюкло, будто боясь, что свинья услышит.

— Ее сегодня ночью зарежут.

Мадам Дюкло отшатнулась.

— Зарежут? Зачем?

— Как зачем? А окорока?..

Молодой белозубый работник громко захохотал.

— Зачем свинью резать? Видно, что мадам из Парижа.

Было так жарко, что окна на ночь остались открытыми. Душный ветер шумел деревьями. Белые занавески взлетали, как два больших белых крыла, и, долетев до середины комнаты, безжизненно повисали перед окном.

Мадам Дюкло спала, заложив руку за голову. Ей снились запутанные, веселые сны. Она во сне чувствовала, что спит, и улыбалась.

«Как приятно спать, а завтра опять будет веселый день. Как приятно».

И вдруг сквозь легкий шум деревьев, сквозь ночь и веселый сон понесся ужасный, предсмертный визг. Она села, сбросила одеяло.

— Что это? Что!

Визг становился все громче, все ужаснее. И только одно было ясно, что это перед смертью.

Она рванулась с постели.

— Убивают! Помогите!

И вспомнила — свинья. Режут свинью... Она зажала уши, уткнулась головой в подушку. Но визг продолжался,

Потом как-то сразу стало тихо, слишком тихо...

Она зажгла свет, взглянула на белые занавески, бившиеся в окне, потянулась за стаканом. Руки не слушались, зубы стучали.

«Убили...»

Она выпила воды, расплескивая ее на коврик. Встала с постели, ступила теплыми босыми ногами на крашеный пол.

«Надо успокоиться».

Ощущение холода прошло по ноге, поднялось выше, подкатилось в самому сердцу. Ей вдруг показалось, что сердце перестало биться.

— Смерть, — прошептала она. — Смерть! — с трудом дошла до постели, легла. — Умираю...

Но сердце отчетливо и громко стучало в левом ухе. Она лежала, долго прислушиваясь к его стуку.

«Это мое сердце стучит. Я еще жива».

Она потушила свет.

«Какая тоска. Ах, какая тоска! Как страшно умирать. Как страшно жить. И зачем я здесь, у этих чужих людей?»

Я хочу домой, домой...»

Утром она вышла бледная.

— Плохо спали? — забеспокоился кузен Жак. — Вас тоже проклятая свинья разбудила? Сколько раз говорил этим болванам, чтобы, когда режут свинью, рыло тряпками затыкали.

— Ах, ужасно, — Тереза прижала пухлую руку к голове, — у меня мигрень.

Кофе стыл в большой чашке перед мадам Дюкло.

— Мне очень жаль, — сказала она. — Но мне придется съездить дня на три домой. Там сейчас ремонт.

— Как досадно. А ваш управляющий?

— Я привыкла все сама. Досадно. Но ведь только три дня. Я поеду с часовым поездом.

— Оставайтесь хоть до завтра, тант Мари, пожалуйста... — Жанна чуть не плакала.

— Хоть пообедайте с нами. У нас сегодня кровяная колбаса. — Кузен Жак потер руки от удовольствия. — Из этой самой крикуньи...

В Париже ее никто не встретил. Да и кто мог ее встретить?
Она вбежала по пустой лестнице, открыла дверь. Горничная бросилась ей навстречу.

— Мадам? Но мы не ждали мадам. Мадам писала, что вернется через две недели.

Мадам Дюкло рассмеялась.

— Так вы недовольны, что я уже вернулась?

— Ах нет, мадам. Но мы не успели убрать квартиру...

В зале ставни закрыты. Стулья в полосатых чехлах похожи на каторжников, пригнулись, ждут, когда отвернешься, чтобы прыгнуть с ножом на шею.

Она вошла в спальню, закрыла дверь в зал. Там каторжники.

Вот ее комната.

Она села в кресло, погладила его спинку.

— Здравствуй. Ну, как ты тут, без меня? Скучно было?

Но кресло враждебно топорщилось под ней.

— Ну-ну, не сердись. Больше не уеду.

И прислушалась. Было тихо, как бывает только в годами пустующих квартирах. И все вещи казались чужими, враждебными.

— Злитесь? Не любите меня? Ну, хорошо. И не надо. А я ехала к вам, торопилась....

Она оделась и вышла. Побродила по улицам, зашла в магазин, купила коробку пудры.

Беспокойство все росло. Что же это такое? Ведь она в Париже, она дома. Чего же ей еще надо?

Она снова поднималась по лестнице. Медленно, словно ожидая чего-то. Наверху хлопнула дверь. Сердце оборвалось и полетело вниз. Она схватилась за перила.

С лестницы, подпрыгивая на каждой ступеньке, шла маленькая девочка в красном пальто. Поравнявшись с мадам Дюкло, она остановилась и присела.

— Здравствуйте, госпожа домовладелица. С приездом.

Обыкновенно мадам Дюкло гладила ее по головке и разговаривала с ней. Но сегодня она только сухо ответила: «Здравствуй» — и прислонилась к стене...

Полосатые арестантские куртки валялись на полу. Прислуги расстилали ковры, передвигали мебель. Мадам Дюкло уселась в кабинете.

— Амели, попросите ко мне управляющего.

Управляющий пришел через четверть часа.

— Простите, что я так поздно потревожила вас. Но я только что приехала и беспокоюсь, всё ли в доме...

Управляющий посмотрел на нее честными, злыми глазами.

— Всё, всё в порядке. Нечего вам беспокоиться, мадам Дюкло.

— Никто из квартирантов не отказался, не выехал?

— Я бы вам написал, мадам Дюкло.

— А жильцы?.. — она запнулась. — Жильцы, снимающие меблированные комнаты... Тоже новых нет? И старые все живут?

Он удивленно наморщил лоб.

— Жильцы? Право, не знаю. Кажется, новых нет. Только у Левек уехал жилец.

— У Левек? — голос ее дрогнул. — Такой высокий? Очень молодой?

— Да, русский. Вчера уехал. Видите, всё в порядке, как я уже имел честь вам докладывать. И беспокоиться вам решительно нечего. Что касается до книг, то...

Мадам Дюкло встала.

— Благодарю вас. Книгами займемся завтра, — и кивнула. — Добрый вечер.

Управляющий ушел. Она осталась стоять у письменного стола.

Уехал... Уехал. И он русский. Надо узнать. Поздно сегодня, лучше завтра. Нет, нет. Сейчас...

Мадам Левек открыла сама. Глаза ее испуганно забегали.

— Мадам Дюкло, какая честь. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Сюда, на диван.

Мадам Дюкло смотрела на птичье лицо мадам Левек, на вязаные салфеточки и золотые рамочки.

— Скажите, пожалуйста, у вас был русский жилец. Как его звали?

— Николай Савельев, — с трудом выговорила мадам Левек. — Он уехал только вчера вечером. Адреса не оставил. Но не позволяйте ли предложить вам чашечку кофе?

— Нет, спасибо. Отчего же он уехал?

— Кто их разберет, этих русских. Верно, денег нет или место потерял, — лицо ее вдруг стало хитрым. — Вы не обидитесь, мадам Дюкло? — прежде она ни за что не решилась бы сказать это домовладелице, но с тех пор, как домовладелица остриглась и стала носить юбки до колен... — Простите меня, мадам, но он, — она захихикала, — он был влюблен в вас, мадам.

— Влюблен?.. В меня?.. Что за вздор.

— Да еще как. Господи! — мадам Левек всплеснула руками. — Он целыми днями простаивал в прихожей, выбегал на лестницу,

когда вы возвращались. И смеялись же мы над ним. Отъезд откладывал, все вас ждал. Спрашивал, когда вы вернетесь...

— Он, может, просто хотел попросить меня о помощи, как соотечественницу.

— Как — соотечественницу? Но разве вы, мадам, русская?

— Конечно. А вы не знали?

Мадам Левек обиженно покачала головой.

— Десять лет живу в вашем доме и в первый раз слышу...

Мадам Дюкло уже шла к двери.

— Как у вас уютно. А это ваш маленький сын? И ваша кошка. Какие они милые... Спокойной ночи.

Мадам Левек проводила ее до лестницы.

— Благодарю за честь. Мой муж будет очень жалеть. Спокойной ночи.

Мадам Дюкло прошла прямо в спальню, постояла перед открытым окном, глядя на крыши и трубы в облачном небе.

Потом опустилась на колени, положила голову на кресло. Шелковая обивка ласково зашуршала. Мадам Дюкло плакала.

Вот оно. Вот то, что она ждала...

Она тихо встала, разделась, легла в постель.

Простыни нежным холодом коснулись ее груди и колен.

Вот то, что она ждала. Любовь...

Темное небо в окне вдруг осветилось. Из-за черной тучи медленно выплыла огромная, зеленая луна. И как будто только ее, этой зеленой луны не хватало для полной тишины, полного покоя, полного блаженства.

Мадам Дюкло закинула голову и неподвижно вытянулась под холодными простынями...

Приказчик поднимает стеклянный колпак. На тарелке что-то красное, влажное, по нему ползают мухи.

— Это ваша печень, мадам.

Приказчик хихикает и вынимает из ящика два маленьких кружка, похожих на сушеные яблоки.

— А это ваши уши, мадам.

По прилавку прыгает, ударяясь о стекло, что-то сморщенное, уродливое, похожее на стручок красного перца.

— А это ваше сердце, мадам. Видите: оно танцует. Оно очень счастливо, ваше сердце, — приказчик хохочет.

Мадам Дюкло вскрикивает и просыпается.

Надо все обдумать. Надо быть практичной. Она недаром прожила семнадцать лет во Франции.

Она ищет в газете объявление, едет по указанному адресу, входит в серый дом.

На дверях табличка: «Частный сыщик».

Молодой человек с зеркальным пробором и сверлящим взглядом преувеличенно вежливо встречает ее.

Она садится в кожаное кресло.

— Мне нужен адрес. Русского. Николая Савельева. Как можно скорее.

— Адрес у вас будет. Соболаговолите только ответить на... Опишите его, пожалуйста. Сколько ему лет?

— Позавчера он еще жил на рю Константинополь.

— Опишите его, пожалуйста. Сколько ему лет?

— Я не знаю. Не больше двадцати трех... Очень высокий. Худой. У него зеленоватые глаза...

Она краснеет. Тербит перчатку.

— Простите, мадам. Надо быть вполне откровенной со мной. Как на исповеди... Деньги или драгоценности... Это так часто бывает...

Она выпрямляется.

— Как вы смеете? Он сын моей подруги. Я сама русская.

Зеркальный пробор почтительно наклоняется.

— О, мадам, простите. Я не мог знать. Это так часто бывает. Через три дня вы получите адрес мсье Савельева. Плата вперед.

Мадам Дюкло никуда не выходит. Она сидит у окна и ждет.

«Ждать даже приятно, но все-таки лучше бы уже поскорее».

Она еще может ждать. Не очень долго, но может... Обещанное письмо пришло на третий день. Адрес Савельева: Марсель, Отель Зеленого слона.

— Амели, — мадам Дюкло еще держала письмо в руке. — Путеводитель. Укладывайте чемодан. Я еду сейчас.

Спального места не удалось получить. Но разве это важно? Соседи по купе с удивлением смотрели на красивую даму, ни на минуту не переставшую улыбаться.

Темно. Поезд останавливается. Лион...

Мадам Дюкло поправляет твердую подушку под головой. «Я поймала тебя, поймала. И не выпущу. Ты спишь, ты ничего не предчувствуешь. А я еду к тебе, еду, еду. И завтра...»

В окнах солнце, круглые холмы, низкие деревья Прованса.

И вот уже море, синее, сияющее. И вот уже Марсель.
Она выходит из вагона. Как странно, что она идет, а не летит.
Вот он, Марсель, город света, город счастья.

Высокая, белая лестница сверкает. Она жмурится от блеска.
Носильщик укладывает чемодан в такси.

Прямо к нему? Но как же она приедет к нему грязная, в измятом платье, с вещами? И зачем теперь торопиться? Ведь впереди вся жизнь. Она столько ждала, может и еще полчаса подождать.

В отеле слуга показывает комнату.

— Я могу предложить еще большую. Этажом выше. Из нее чудный вид на море.

Вид? Какое ей дело до вида.

— Все равно. Я беру эту комнату. Велите принести мой чемодан.

Она натягивает чулки. Ноги еще влажные после ванны. Надо вытереть. Она берет полотенце, смотрит на свои колени и вдруг краснеет. Полотенце падает на пол.

Как здесь жарко. Даже трудно дышать.

Целую ночь не спала. Веки, должно быть, опухли. Жаль, что он увидит ее такой.

Она подходит к зеркалу.

Нет, лицо взволнованное, счастливое. Только под глазами круги.

Голова кружится от усталости, волнения и счастья.

...Она тихо постучит, войдет и станет на пороге. Он будет читать у окна. Он повернет голову, не успеет встать.

— Здравствуй, — скажет она по-русски. Она видит в зеркале, как шевелятся ее губы, произнося забытое русское слово.

— Здравствуй.

Она ближе наклоняется к зеркалу.

— Коля...

И, совсем касаясь холодного стекла, шепчет:

— Я люблю тебя. Я люблю тебя.

Надо спешить. Ведь он может уйти... Нет, он никуда не уйдет. Он ждет ее. И все будет хорошо. Не может не быть хорошо.

Толстый хозяин в подтяжках сонно говорит:

— Третий этаж. Комната сорок два.

Мадам Дюкло поднимается по узкой лестнице. Только одно может теперь помешать — если сердце разорвется от счастья.

№ 42. Она стучит. Ответа нет. Она ждет, потом стучит громче. И опять нет ответа. Она нажимает ручку. Дверь поддается.

Почти пустая, ободранная комната. У стены неприбранная кровать. На столе бутылка и кусок хлеба, груда газет на кирпичном полу, и в окне синее, южное небо.

— Нет дома. Вышел.

Что же. Она подождет здесь. По коридору идет гарсон с ворохом грязного белья.

— Мсье Савельев скоро вернется?

— Савельев? — гарсон тихо свистит. — Нет Савельева. Уехал.

— Как уехал? Куда?

— В Россию. На пароходе. Только что. Если мадам очень поспешит, она еще захватит его в порту....

Мадам Дюкло выбегает на улицу.

— Такси, такси. Ради Бога, — говорит она, — скорее в порт. Если успеем к пароходу....

Бегут дома. Зеленая вывеска прыгает. Шляпа сбилась на бок, волосы свисают на лоб. Мадам Дюкло ничего не видит, ни о чем не думает. Только бы успеть.

Она не отрываясь смотрит в затылок шофера. И всей своей волей, всей своей кровью, биением своего сердца старается заставить мотор работать скорей.

Только бы успеть...

Автомобиль несется по людным улицам, мимо магазинов, кафе, полицейских и круто сворачивает в порт.

...По синим, блестящим волнам медленно и торжественно уплывает большой белый пароход. Он еще совсем близко.

— До свиданья, до свиданья! — кричат провожающие и машут платками.

— До свидания, до свидания! — несется с парохода.

Синее, сияющее небо, синие, сияющие волны и белый пароход, как снежная гора. Французский трехцветный флаг широко развевается, черный дым уходит вверх.

Она выскакивает из автомобиля.

Подбегает к самому краю набережной.

— Пароход... Это пароход в Россию?

Вот уплывает ее счастье, вот уходит ее жизнь. Медленно, медленно в сияющее море, в горячем ветре, под сияющим небом.

Еще видно, еще можно дышать. Белые трубы, флаг, дым...

И уже нет ничего. Ни парохода, ни счастья, ни жизни.

СУХАЯ СОЛОМА

Вика сидит на кровати, свесив босые ноги, и грустно смотрит на нарисованную на обоях кошку. Няня уже два раза приходила одевать его, но Вика отталкивает ее. Оставь! Уходи! И должно быть, дура. Вика и живых не любит, а эта дохлая. А что у нее бант розовый, так ведь не настоящий, только так, для обоев. И все-таки Вика всегда смотрит на нее по утрам, когда грустно. А грустно бывает часто. Так грустно, что ничего не хочется, даже на лодке кататься. Оттого, что ночью снятся дурные сны, а вспомнить их нельзя. Противная кошка! Это она виновата. Не сидела бы тут — все было бы хорошо.

Дверь открывается. В детскую входит мама в нижней юбке с вышивкой в дырочки. Волосы ее заплетены в две косы, плечи голые.

Мама делает строгое лицо.

— Няня говорит, что ты опять капризничаешь. Смотри у меня. Но Вика не верит. Он утыкается головой в мамину юбку.

— Мама, мне скучно, мне скучно.

Юбка в дырочки шуршит. От нее пахнет розой и еще чем-то неопределенным и нежным — мамой. Во рту становится сухо, подбородок начинает дрожать; Вика громко плачет.

— Скучно!

Мама опускается на колени, обнимает Вику, целует его мокрые щеки.

— Вика, не плачь. Стыдно. Ты маму обижаешь, ты Бога обижаешь.

Но Вика всхлипывает.

— Скучно.

Мама гладит Викины светлые волосы. У нее такое же, как у Вики, маленькое, круглое грустное лицо.

— А ты думаешь, мне не скучно?

Вика от удивления перестает плакать.

— Тебе скучно? Но ведь ты — мама.

Мама — это что-то вроде феи. Только еще лучше. Разве мама может скучать? Мама смеется.

— Ну конечно. Я пошутила. Давай-ка одеваться.

Вика тоже смеется и спрыгивает с кровати.

— А где твой ангел? Я тебе его пришилила к стенке, чтобы ты хорошие сны видел. Где же он?

— Он, мамочка, улетел под кровать.

Мама нагибается и достает из-под кровати картинку белокурого ангела с белыми крыльями.

— Вот мы его сюда над изголовьем повесим, тогда нам и весело будет.

Мама прикалывает ангела к обоям, как раз на противную кошку. Ангел закрывает кошку. И сразу становится весело.

— Ты его, мама, — советует Вика, — пришили за крылышко, чтобы он улететь не мог.

Вика осторожно открывает дверь зала. В зал он ходить не любит. В зале страшно, он такой большой, стулья стоят в белых чехах, и никого там никогда нет. Но сейчас перед длинным черным роялем сидит мама и поет. По обе стороны горят свечи. Окна открыты. В окна виден черный сад, белые кусты жасмина и на небе луна. Паркет блестит, блестят зеркала и хрустальные подвески на люстрах. Вика стоит у двери. Как хорошо и непонятно поет мама. Дядя Коля говорит: «Как ангел». Но Вика знает, что ангелы без голоса. Так — вроде рыб...

Мамины руки быстро бегают по клавишам, голова наклоняется то вперед, то назад, а складки белого платья лежат на полу так спокойно, сами по себе, как будто им и дела нет до того, что мама поет.

Вике хорошо, и грустно, и плакать хочется. Вот она какая, его мама. Только бы она пела. Но мама вдруг умолкает. Черная крышка рояля хлопывается над белыми клавишами, как будто негр закрыл рот. Мама оборачивается.

— Вика!

Вика подбегает к ней.

— Мамочка, спой. Спой еще. Спой это:

*Идет коза рогатая
На молоко богатая,
Глаза выпучила,
Морда глиняная.*

Мама обнимает его.

— Вика, Вижочка, только для тебя я здесь живу. Только из-за тебя все переносу. Если бы не ты...

У Вики мокрые щеки. Что это? Мама плачет. Дверь открывает-ся. Входит отец.

— Ты могла бы не устраивать сцен мальчику.

Отец всегда говорит «мальчик», «ребенок», а не Вика — и это очень обидно. Он берет Вику за плечо.

— Уже десять часов. Марш спать.

В коридоре Вика слышит мамины слова:

— Так я даже не смею поцеловать собственного сына?

Няня подтыкает одеяло, тушит свечу и уходит.

— Спи с Богом!

Вика жмурится. От лампадки идут длинные синие, острые лучи. Вика прижимается к холодной подушке.

«Вот вырасту, — думает он, засыпая, — папу убью, а маме куплю шляпу, большую, как дом».

— Мама, я устроил музей!

Вика, задыхаясь, взбегает на террасу.

Мама сидит в кресле и читает письмо. Она вздрагивает и быстро закрывает письмо книгой.

— Ах, Вика, ты меня испугал.

— Я устроил чудный музей. Идем, посмотри.

— Музей? — удивляется она. — Ну хорошо, хорошо, подожди.

Мама снова читает письмо. Вика от волнения переступает с ноги на ногу, но мама не замечает. Она, улыбаясь, целует письмо и прячет его за вырез платья.

— Где же твой музей, Вика?

Вика тянет ее за руку.

— Идем, идем скорее.

Они спускаются в сад, идут мимо жасминовых кустов. Мама держит Викину руку в своей. Ее маленькие ноги в красных туфлях, как две мышки, то осторожно высовывают мордочки, то снова прячутся в белые юбки.

Солнце розовое, небо совсем голубое, а трава зеленая. Пахнет жасмином и майскими жуками.

— Как хорошо, — говорит мама, улыбаясь.

— Я устроил музей, — повторяет Вика дрожащим от гордости голосом и подводит маму к цветочной клумбе.

— Вот, смотри!

На длинных белых палках, поддерживающих левкой, посажены живые, корчащиеся и дрыгающие лапами лягушки. На самой высокой палке извивается ящерица.

Вика захлебывается от восторга.

— Вот мой музей!

— Ай! — испуганно вскрикивает мама и, вырвав руку из Викиных пальцев, не оборачиваясь бежит к дому.

От толчка Вика падает, но мама даже не останавливается. Он встает, трет ушибленное колено и бежит за ней, громко плача от обиды и боли.

По краю дороги росли ивы. Глядя на них, Вика всегда вспоминал детство, свое последнее лето в Студенке. Дальше вспоминать он не любил. Дальше шло неприятное — революция, Киев, Константинополь...

Вика шагал по широкой белой нормандской дороге. Сейчас поворот. За поворотом распятие, потом сад и голуби, кружащиеся над крышей дома Наталии Николаевны. Каждое утро и каждый вечер Вика ходил за шесть километров к Наталии Николаевне только для того, чтобы сказать ей «С добрым утром» или «Спокойной ночи». Больше ему ничего не нужно было. Но все-таки если бы хоть раз застать ее одну!..

Вика остановился перед калиткой, вытер запыленные сапоги носовым платком, пригладил волосы, переложил васильки из правой руки в левую — так удобнее — и вошел в сад.

Только бы не покраснеть... Но сердце громко застучало, щеки залились краской, а ноги стали чужими и тяжелыми.

Сад был небольшой. В конце обсаженной розами дорожки белел дом. Наталия Николаевна пила кофе на веранде. И конечно, у нее уже сидели гости. Справа француз, черный, в круглых очках, слева толстый офицер-врангелевец.

Француз рассказывал что-то. Стекла его очков блестели.

Наталия Николаевна слушала, шурясь от солнца и тихо смеясь. Вика поднялся на веранду. Он чувствовал робость и злость. Она смеется... Значит, ей нравится...

Наталия Николаевна посмотрела на него, все еще шурясь, и протянула ему загорелую, голую до плеча руку. Вика торопливо поцеловал воздух, не успев коснуться губами ее пальцев.

— Здравствуйте, Наталия Николаевна! — он неловко протянул ей васильки и еще больше покраснел.

Она, улыбаясь, взяла цветы.

— Сами собирали? Как это мило. Мама здорова? Хотите кофе, Вика?

Но Вика торопился уйти.

— Нет, спасибо. Мне надо домой.

— Уроки готовить? — насмешливо усмехнулся офицер.

Вика дернулся.

— Какие уроки? Теперь каникулы. До свидания, Наталия Николаевна.

И поклонившись ей, только ей, он повернулся и вышел.

Офицер засмеялся ему вслед.

— Тоже поклонник.

— Перестаньте, — крикнула Наталия Николаевна. — Он милый, ужасно милый и...

Калитка скрипнула. Вика не слышал, что дальше. Но ему и этого довольно. Она сказала: он милый, ужасно милый...

Стало заметно жарче. Теперь солнце стояло прямо над головой и от деревьев на белую пыльную дорогу ложились короткие, совсем черные тени.

Посреди скошенного поля желтела большая золотистая скирда, кругом валялась солома. Вика подошел к ней, лег на солому и, запрокинув голову, стал смотреть в голубое небо на одинокое, белое, ленивое облако.

Какое солнце... Как пахнет разогретой землей. Как жарко... Нет, это не землю пахнет, а духами Наталии Николаевны. И не облако это, а ее белое платье. Вот оно вздрогнуло, как бабочка, срывающаяся с цветка, и медленно, плавно полетело вниз.

На мгновенье сердце Вики остановилось. Какое-то невыразимое блаженство подкатило к горлу и медленно, томительно, сладко расплзлось по всему телу. Белое платье, шурша и благоухая, покрыло всего легким, прозрачным шелком...

...Вика все еще лежал, глядя на небо. Во рту пересохло, голова кружилась.

Белое облако опять плыло высоко в пустом раскаленном небе, но оно уже совсем не походило на платье Наталии Николаевны.

На террасе, завешенной белым полотном, мама ждала его с завтраком.

— Что с тобой, Вика? Ты такой бледный. И синяки под глазами. Не надо ходить по жаре.

Вика нехотя ел крошку, нагнувшись над тарелкой.

— Я получила письмо от отца. Он, может быть, приедет навес-
тить тебя через неделю. Ты рад?

— Очень рад, — ответил он равнодушно и посмотрел на нее.

Такое же белое, короткое платье, такие же голые загорелые
руки, и волосы так же подстрижены, только у Наталии Николаев-
ны светлее.

— Какая ты красивая, мама.

Она слегка покраснела от удовольствия и отвернулась. Вика
тоже покраснел. Ведь он сейчас сказал то, что так давно хотел и не
смел сказать Наталии Николаевне.

Как приятно было бы идти и мечтать о ней, если бы не так сту-
чало сердце и горло не сжималось от волнения.

Ласточки летают низко. Коровы возвращаются с пастбища,
позванивая колокольчиками. У дороги лежит большой серый ка-
мень.

Счастливым камень. Лежит себе и ничего не думает, ничего не
чувствует, никого не любит...

Тихо, прохладно и почти темно... Вика проходит по маленько-
му саду, поднимается на веранду.

Наталия Николаевна сидит в кресле около большой желтой
лампы. Она закрывает книгу и улыбается Вике.

— Как хорошо, что вы пришли. Я сегодня одна. Мне очень скуч-
но. Поболтайте со мной.

Вика садится на стул, краснеет и молчит.

— Сколько вам лет, Вика?

— Скоро семнадцать. А что?

— Скоро? Когда?

— В августе.

Наталия Николаевна смеется.

— Какой вы еще маленький. Уже поздно. Вам, должно быть,
уже пора спать.

— Я никогда не ложусь раньше двенадцати.

— Неужели? И мама позволяет?

Наталия Николаевна протягивает ему коробку конфет. Вика
берет помадку, кладет ее в рот и, давась, с трудом и отвращением
проглатывает.

— Возьмите еще. Вы, наверно, любите сладкое.

Она поднимает голые, тонкие руки, поправляет волосы и, скло-
нив голову набок, выжидательно, как-то по-птичьему смотрит на
него.

— Ну что же вы? Мы так и будем молчать? Вам со мной скучно? Пойдемте лучше кролика смотреть. У меня кролик. Беленький, пушистый. Сегодня только принесли. Он в клетке сидит.

Она встает, берет Вику под руку.

— Я в темноте ужасно неуклюжая. Не уроните меня.

Вика боится споткнуться от волнения.

Они проходят под тихими темными деревьями, останавливаются у клетки.

— Ничего не видно, — разочарованно говорит Наталия Николаевна. — Кролик спит. Подождите, я позову его. Только как его звать? Цып, цып, цып? Поймет ли он по-цыплячьи!

Она закидывает голову и смеется. Ее глаза и зубы блестят.

— Кроличек, маленький, беленький, выходи. Не хочешь? Ну и не надо. Плакать не будем. Спи себе.

Они снова сидят на веранде.

Наталия Николаевна вставляет папиросу в длинный хрустальный мундштук и закуривает.

— А вам все-таки пора спать.

Вика встает.

— Если я вам мешаю...

— Нет, нет. Но я не хочу, чтобы вы поздно ложились из-за меня. Это вредно. Какие вы, должно быть, забавные сны видите. Верно, слонов, крокодилов... Расскажите мне...

Он снова садится.

— Я никогда не вижу ни слонов, ни крокодилов.

— Ну тогда вам снятся автомобили и аэропланы.

— Нет.

Она заглядывает ему в глаза.

— Какие у вас длинные ресницы. Как у девочки. Уж не снятся ли вам куклы? Нет, право, что же вам снится?

Вика долго молчит, потом вдруг решается.

— Вы!..

Но Наталия Николаевна не слышит. Она протягивает ему конфеты.

— Что же вы не берете? Вы, должно быть, лакомка. Чего вы хотите, чаю, варенья, пирожных?

— Если разрешите, папиросу.

— Как? Вы курите? Мне в голову не пришло предложить вам. Так вы совсем взрослый? Может быть, вы вместо чая хотите коньяку?

— Пожалуйста.

Наталия Николаевна достает из буфета бутылку и две рюмки.
— Я думала, маленький, а он взрослый, — она произносит это как-то странно, растягивая слова и улыбаясь.

Ее широкое белое платье касается его колен. Он вздыхает и закрывает глаза.

— Пейте же.

Он проглатывает коньяк.

— Ах, какой вы забавный, — смеется она. — Как мой кролик.

Она наливает ему вторую рюмку.

— Можно вас погладить? Совсем мой кролик, и такой же пушистый.

Ее пахнувшие духами пальцы перебирают его волосы.

— Пейте же.

Вика пьет. В голове начинает шуметь.

— Я лежал в поле на соломе, — говорит он неуверенно. — И думал о вас.

— Лежали на соломе? И наверно курили. Осторожно... Это очень опасно. Если бросить спичку в сухую солому — пожар.

Он смотрит на нее. В голове шумит все сильнее.

— У вас волосы совсем как солома.

Она высоко поднимает брови и наклоняется к нему.

— Сухая солома. Осторожно. Если бросить спичку — пожар...

Она проводит ладонью по его горячей щеке от уха ко рту. Он чувствует ее холодные пальцы на своих губах. Ему становится как-то тоскливо и страшно. Уйти бы скорее.

— Так это правда, что вам не крокодилы и автомобили снятся, а я. Отчего?..

Он смотрит на ее голую загорелую шею, не смея пошевелиться. Она наклоняется еще ближе.

— Отчего?..

— Оттого, что я люблю вас, — задыхаясь, в отчаянии говорит он.

— Любите?.. — ее лицо вдруг становится грустным. — Любите... Ах, Вика!

Он закрывает глаза руками.

— Господи, что я сделал. Вы сердитесь? Я обидел вас.

— Нет, нет. Но мне вас очень жаль. Вы еще совсем маленький...

Она грустно улыбается, притягивает его голову к себе и медленно целует в губы.

Деревья шумят, белая дорога блестит.

Сначала Вике хочется кричать, петь, летать. И он точно летит, так быстро несут его ставшие легкими-легкими ноги... И — как во сне — стоит только шире взмахнуть руками, и, отделившись от земли, понесешься в небо.

Потом ноги тяжелеют, руки опускаются. Он уже не летит, он идет по земле. Прямо перед ним вчерашняя скирда. Теперь она кажется огромной и черной.

Вика подходит к ней. Трогает солому. Такая же сухая...

«...Сухая солома. Осторожно. Бросить спичку — пожар».

Желтые волосы Наталии Николаевны, их сухой соломенный вкус... Запах ее духов... Дрожь проходит по его телу... Голова неприятно кружится. В груди тяжелая, томительная слабость.

«...Сухая солома. Осторожно».

Он достает папиросу, зажигает спичку, затягивается горьким дымом... Рот его кривится. Светящаяся точка папиросы, как светляк, падает в солому.

Вика пристально смотрит на быстро карабкающиеся по скирде огоньки. И вдруг почему-то удивительно ясно вспоминает «музей», устроенный им когда-то в детстве: лягушку, выпучившую круглые, глупые глаза, тонкую ящерицу, извивающуюся на жердочке.

СЧАСТЬЕ УЛИТЫ

Ее звали Улитой, и она была старой девой. В этом не было ничего удивительного. Разве можно было выйти замуж с нелепым именем Улита, Улитка?

Если бы она еще была красивой, но она была худая и длинная, бесцветная и близорукая и носила круглые роговые очки. К тому же ей летом исполнилось сорок лет. Она не возмущалась, не сердилась на судьбу. Она знала, на таких, на Улитках, не женятся. Так уж устроен мир, люди делятся на счастливых и несчастных. Она была несчастна.

Она работала и ни на что не надеялась. Надеяться, действительно, было не на что. Ничего радостного уже не могло случиться в ее одинокой, пустой и ненужной жизни.

Время шло быстро, и всегда надо было торопиться. Скорей, скорей, а то опоздаешь, не успеешь сшить платья, потеряешь заказчицу.

Швейная машина стучала с утра до ночи, и стук ее отдавался в сердце Улиты, от него становилось еще тревожнее, еще грустнее. Столько стука, столько шума и для чего? Чтобы жить впроголодь и даже не сметь ни на что надеяться.

С годами она начала плохо слышать. Но от этого не стало тяжелей. Теперь жизнь не казалась больше такой оглушительной, стук швейной машины не так тревожил. Стало спокойнее и еще более одиноко. Она плохо разбирала, что ей говорят, и в ответ неопределенно покачивала головой. Это могло значить и «да» и «нет». Только заказчиц она слушала внимательно и напряженно, подставляя правое ухо и переспрашивая. И все-таки иногда получались недоумения.

— Я вам сто раз говорила, рукава буфами, буфами, а вы что сделали? — кричала заказчица, бросая блузку на пол.

Улита испуганно поднимала блузку.

— Простите. Я не расслышала. Я перешью.

На переделку уходило целое утро, но заказчица все же была недовольна.

«Больше не придет», — тоскливо думала Улита, и заказчица, действительно, больше ничего не заказывала ей.

К весне не стало совсем работы, и Улита плакала по ночам. Она не жаловалась, да и кому пожаловаться? Она искала место, и ей наконец удалось поступить в русскую мастерскую. Зарабатывала она мало, и ей было немного стыдно, что она, старая, опытная портниха, вдруг превратилась в мастерицу. Но ведь надо жить, надо есть. Остальные мастерицы все были молодые и хорошенькие. Они мало обращали внимания на Улиту и быстро привыкли к ней, и она тоже привыкла к ним.

Они жили непонятной и веселой жизнью. Смеясь, писали какие-то письма, смеясь, читали какие-то объявления в журналах. Улита никогда не думала, что можно столько смеяться.

«Молодой ястреб, заброшенный в дебри Африки, тоскует по ласке и любви, — читали они. — Ах, бедненький, надо ему написать».

Улита недоумевала, что это за ястреб и почему он объявляет о своей тоске?

Но однажды во время перерыва на завтрак к ней подбежали мастерицы с открытым журналом в руках. Их хорошенькие лица лукаво улыбались.

— Вот, — крикнула одна из них в самое ухо Улиты, — тут объявление для вас.

Улита удивленно смотрела на них.

— А? Что? Какое объявление?

— Для вас. Вот тут, читайте.

И Улита прочла: «Ищу прекрасную душу. Возраст и внешность не имеют значения».

— Почему же это для меня? — краснея, спросила она.

— А то для кого же? Прекрасная душа — это вы. Он вас, именно вас ищет, — закричали они.

— Меня?

— Ну да, да, — теперь все мастерицы столпились вокруг Улиты. — Это вы — прекрасная душа, — перебивали они друг друга. — И возраст, и внешность, все подходит. Вы должны ему написать.

Улита стояла красная и испуганная.

— Написать ему?

— Конечно. Сегодня же. Не пропускайте свое счастье, — уговаривали они.

В этот день вся мастерская говорила только об «Улитином объявлении». Так горячо и так много, что к вечеру Улита заколебалась: а может быть, правда, написать?

Она возвращалась домой растерянная и оглушенная. Может быть, написать? Нет, это смешно. Он не ответит даже. И все-таки она вошла в магазин и купила блок голубой бумаги.

— И конверт, пожалуйста, — попросила она.

— Сколько конвертов? — спросила продавщица.

Улита покраснела.

— Мне, собственно, нужен только один.

Продавщица насмешливо прищурилась.

— Меньше двадцати пяти не продаем.

— Хорошо.

Улита поспешно заплатила и вышла.

Теперь уже было ясно, что надо написать, ведь она истратила целых шестнадцать франков.

Дома она сейчас же принялась за письмо, даже не пообедав. Есть не хотелось, она была слишком взволнована. Она рвала страницу за страницей, снова писала и снова рвала. Часы пробили одиннадцать, потом двенадцать, письмо все еще не было готово. Наконец в третьем часу ночи она надела конверт. «Я успела бы сшить юбку за это время, — подумала она, заклеивая его. — Но зато здесь всё».

Да, в этом письме было все. Вся ее одинокая неудачная жизнь, все ее огорчения и все мечты. Конечно, он не ответит. Но утром, опуская письмо в почтовый ящик, руки ее дрожали. Ведь <нет> ничего невероятного на свете. Ведь бывают чудеса. А вдруг?

Теперь жизнь ее превратилась в полет, в вихрь, в ураган. Внешне все оставалось по-прежнему: мастерская, швейная машина, платья и блузки. Но сердцу ее не было дела до всего этого. Ее сердце трепетало и сжималось. Прежде перед глазами была черная гладкая стена. Можно было только сломать себе голову об эту стену, больше ничего. Но теперь в черной стене появилась щель, и сквозь щель эту проникал слабый луч надежды. Совсем узкая щель, совсем слабый луч. Но это все-таки была надежда. Ведь бывают чудеса...

И чудо случилось. Утром, когда она уходила на работу, консьержка протянула ей письмо. Это был ответ. Не тот, о котором она мечтала, не тот, что снился ей по ночам, а настоящий ответ, написанный на настоящей бумаге, проштемпелеванный на настоящей почте, с настоящей пятидесятисантиметровой маркой. И слова этого ответа не были романтическими и воздушными, это были настоящие слова.

«Милостивая Государыня, Улита Ивановна!

Спешу вас уведомить, что мной, в ответ на мое объявление от 15 февраля сего года, получено 21 письмо, из коих Ваше безусловно достойнейшее.

Краткие сведения обо мне. Мне тридцать шесть лет, живу в Марселе, служу в первом классе колбасного заведения. Зарабатываю довольно, имею небольшой достаток, который хотел бы разделить с подругой жизни. Пока же трагически одинок.

Прошу выслать Вашу фотографию».

Улите захотелось закричать, сесть тут же на лестнице, кубарем скатиться вниз по ступенькам, броситься на шею консьержке, только бы как-нибудь выразить свой восторг. Но вместо всего этого она тихо ахнула, поправила сбившуюся на бок шляпу и вышла на улицу. Надо было спешить на работу. Хозяйка мастерской ни с какими чудесами не считается.

Улита шла бодрой веселой походкой, как она еще никогда не ходила. Она держала письмо в руке. Пусть все смотрят на нее, пусть все видят. Она женщина, с которой случилось чудо, женщина, которая ждала только старости и смерти и которую неожиданно вернули к жизни и любви. Как странно, что прохожие не оборачиваются на нее. Неужели они не понимают, что с ней случилось чудо?

У большого цветочного магазина она остановилась. Прежде она никогда не смотрела на цветы. Цветы для богатых, для счастливых, от их вида ей становилось еще грустней, еще безнадежней. Но сейчас она, улыбаясь, разглядывала нежные красные розы, огромные кусты азалии, белую пушистую сирень. Как красиво, как райский сад. Вот и моя жизнь такая. И ей показалось, что жизнь ее состоит не из обид, слез и огорчений, а из роз, счастья и сирени.

В мастерской Улита показала письмо, и мастерицы с хохотом обнимали, целовали и поздравляли ее. «Невеста, невеста», — кричали они. И Улита действительно чувствовала себя невестой.

Она была счастлива. Счастлива, как бывают только в шестнадцать лет. Нет, сильнее, острее, так, как не бывают даже в шестнадцать лет. Ведь она столько плакала, столько ждала. Одно только омрачило ее счастье — карточка. Понравится ли ему карточка?

Она пошла к фотографу во время завтрака.

— Мне нужна фотография для близкого человека. Нельзя ли покрасивее? — робко сказала она.

Он осмотрел ее равнодушным понимающим взглядом.

— А он давно вас видел?

— Никогда не видел, — краснея, созналась она.

Он кивнул.

— Тогда, пожалуй, можно. Снимите-ка очки.

— Уж вы постарайтесь, пожалуйста, — попросила она.

И фотограф постарался. Через два дня он подал ей ее карточку.

— Работы много с нею было, зато останетесь довольны.

— О! — могла только благодарно простонать Улита.

Она унесла карточку домой и весь вечер разглядывала ее. Так вот она, Улита, какая. Она думала — жалкая, некрасивая, старая. А оказывается, она прелесть. Прелесть, другого слова не найти. И совсем еще молодая. Конечно, уговаривала она себя, я такая и есть. Ведь аппарат лгать не может. Какая есть, такая и выйдешь. Я близорукая, мне плохо видно в зеркало, и зеркало у меня косое и зеленое. А я вот какая. Она осторожно поцеловала карточку.

«Душенька моя. И он тоже поцелует тебя. Поцелует».

От этой мысли ладони вдруг стали влажными и колени ослабели.

Ответ пришел очень быстро.

«Голубь мой, Улиточка, — писал он. — Хотя важна душа, а не внешность, но и внешность ваша подходящая. Вот взгляните, какков я. В надежде вам понравиться».

Ваш Иван, или Ваня».

На фотографии был изображен мужчина лет тридцати пяти, коренастый и крепкий. Темные волосы пышным чубом спускались на его лоб. На нем был крахмальный воротник и галстук бабочкой. Он держал котелок и белые перчатки в руке.

— Какой красавец! — почти испуганно вскрикнула Улита. — И руки, и ноги, все цело. И даже шрама нет.

Ей почему-то казалось, что он инвалид, потерявший руку или ногу на войне или, по меньшей мере, изуродованный. Даже и такого она была готова любить. Но он оказался молодым, здоровым, настоящим мужчиной. И это уже было слишком, это было трудно перенести.

— Господи, за что? За что такое счастье?

Она крепко прижала фотографию к сердцу, все поплыло перед глазами, цветы на обоях сплелись в огромный венчик, занавески на окнах высоко взметнулись. Стало трудно дышать. Острый угол фотографии больно впился в ее грудь, и ей показалось, что сердце ее открылось, и он, Ваня-Ваничка, со своим чубом и галстуком-бабочкой вошел в него.

Фотография взволновала всю мастерскую.

— Нет, каков, — кричали все мастерицы. — Не мужчина, а сахар. Вот мне бы такого.

— Ему бы парикмахером быть с такой прической, а не колбасником.

— Или кондитером. Он похож на сдобный крендель.

Улита вырвала карточку из рук мастериц. Злые дуры! Завидуют чужому счастью. Лучше молчать, скрывать, а то еще сглазят.

Теперь письма приходили каждый день. Все было решено. Он пришлет ей денег. Она поедет к нему в Марсель, и там они повенчаются. И тогда начнется счастье на всю жизнь. До самой смерти.

А пока Улита шила приданое: розовые и голубые халатики, обшитые пухом, шелковые рубашки с бантиками, ночные чепчики. Все, что, по ее мнению, необходимо счастливой женщине, все то, чего у нее раньше никогда не было.

Она покупала пудру, кремы, румяна. Счастливая, любимая женщина должна быть красивой. Он, Ваня-Ваничка, должен гордиться своей женой.

«Все мечтаю о тебе, радость моя, Улиточка, как будешь сидеть в кресле у окна и вышивать мне рубашку, а я буду играть на гитаре. Купил тебе канареечку. Как прикажешь ее назвать?»

И она отвечала.

«Назови канареечку Соней, в память моей умершей сестры».

Деньги на отъезд пришли раньше, чем она ждала. Целый день сумасшедшей беготни по магазинам, и к вечеру она уже сидела в вагоне со всеми своими картонками, чемоданами и пакетами. Это уже не были мечты, это была жизнь, самая реальная жизнь. Завтра она увидит его, Ваню. Завтра. Она закрыла глаза, и ей на минуту стало страшно. Но только на минуту. Разве можно бояться счастья? Она доверчиво улыбнулась. Как Ваня, должно быть, хлопочет, устраивая их комнату.

— Милый, милый, я еду к тебе, — сказала она громко, и соседка с удивлением обернулась к ней. Но Улита уже рылась в чемоданчике. Не забыла ли она самого главного — кремов, духи, пудру? Убедившись, что все на месте, она прислонилась затылком к твердой стене. Надо уснуть. Только одна ночь отделяет ее от счастья. Только одна ночь.

Утром она проснулась от солнца и радости. В окнах мелькали круглые холмы и низкие деревья Прованса. Небо было ослепительно голубое, восхитительно, блаженно, не небо, а голубая радость.

И в этой голубой радости медленно вставало южное, огненное солнце. Но Улите некогда было смотреть в окно. Надо было приготовиться, чтобы встретить счастье. Пламя спиртовки качалось и подпрыгивало, грея щипцы. Улита завилась перед кривым зеркалом уборной. Запахло палеными волосами. Ничего, ничего. Она потеряла обожженное ухо, морщась от боли. — Pour être belle...

Пассажиры шумно и суетливо собирали вещи, толпились в коридоре вагона. Улита села к самому окну, так, чтобы ее сразу было видно. Она осторожно расправила рюшки и бантики розовой блузки, сдвинула шляпку немного на бок, взяла в руки искусственную красную розу. Так было условлено. Она не выйдет из поезда, пока он не придет за ней. Перед глазами как в тумане поплыли лица встречающих. Где-то среди них был он, Ваня-Ваничка, но ее близорукие глаза не могли его отыскать. Купе опустело, Улита осталась одна. Отчего, отчего он так долго не идет? Разве он не видит ее?

Кто-то заглянул в дверь и прошел дальше. Ждать становилось все труднее. Почти никого уже не было на перроне. Надо выходить, а то отвезут на запасной путь.

Кто-то снова заглянул в дверь, и, хотя Улита не могла разглядеть его лица, она вдруг почувствовала, что это он, Ваня-Ваничка. Она рванулась к нему, высоко поднимая руки.

Он подошел к ней вплотную.

— Так это вы? — спросил он глуховатым голосом. — Ну что же, если это вы... Здравствуйте. С приездом.

— Ваня, Ваничка, — она захлебнулась от волнения. Она хотела обнять его, но он уже деловито снимал ее чемоданы с полки.

— Многовато у вас вещей. Но я сильный, без носильщика справлюсь. Пожалуйста, — и он отстранился, пропуская ее вперед.

Она пошла, неуверенно ступая. Он помог ей выйти из вагона, она испуганно вцепилась в его руку.

— Чего это вы как по льду ходите? — спросил он. — Не видите?

— А? Что? — переспросила она.

— Не слышите? Не видите? — крикнул он ей в ухо.

Она покраснела и затрясла головой.

— Это от усталости, с дороги. Обыкновенно я хорошо...

— Да, бывает, — перебил он, крепко беря ее под руку и сводя вниз по белой, сияющей, бесконечной лестнице. — Гостиница здесь недалеко, только площадь перейти.

Это был он, Ваня-Ваничка, и он вел ее к себе.

Небо было все такое же голубое, но теперь оно почему-то казалось ей жестоким и насмешливым.

Она шла молча, думая только о том, чтобы не споткнуться, не упасть.

— Вот и пришли.

Он ввел ее в подъезд гостиницы. Гостиница была старая и запущенная, пахло плесенью и капустой. И от этого противного запаха Улите вдруг стало грустно. Уже нельзя было притворяться. Ей было грустно, радости не было. Она не об этом мечтала. Но что же это такое?

Он толкнул дверь своей комнаты.

— Добро пожаловать, — сказал он мрачно.

Она робко вошла. Нет, все было совсем не так, как она мечтала. И комната не та. Она думала, маленькая с обоями в цветочки, но комната была длинная и узкая и обои рыжие.

— О, Господи, — вздохнула Улита.

— Что, устали? Ничего, сейчас чайку выпьем с колбасными изделиями, усталость как рукой снимет. А пока вымойтесь хорошенько, а то вы как клоун перемазаны.

Он вышел в коридор, чтобы не мешать ей.

— Как клоун, — прошептала она и закрыла лицо руками. Вместо «красавица», вместо «солнышко» — «клоун».

Ей захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь в черную нору, ни о чем не помнить, ничего не чувствовать. Но нельзя было. Он ждал в коридоре. Она вздохнула и отвернула кран. Холодная вода потекла по шее, затопляя Улиту чувством гибели и отчаяния, покрывая розовую блузку. Все равно, теперь все равно. Она крепко вытерла лицо полотенцем, сняла шляпу и, не глядя в зеркало, поправила волосы.

«Но ведь он ничего еще не сказал, ничего непоправимого еще не произошло, — мелькнуло в ее голове. — Может быть, все еще будет хорошо».

— Можно, — крикнула она, и он сейчас же вошел.

— А так-то лучше. Ну-с, Улита Ивановна, давайте чаек пить. Садитесь.

Она послушно подошла к столу и вдруг заметила клетку с канарейкой. И клетка и канарейка были совсем такие, как она мечтала. Только одна канарейка не обманула ее.

— Сонечка, — Улита протянула к ней руку, — Сонечка.

— Пенка, Пенка ее зовут, а не Соня, — перебил он ее. — Где это видано, чтобы пичуге христианское имя давали!

Улита молча опустила голову. Даже канарейка не та.

— Кушайте, кушайте, — уговаривал он. — Ветчина, колбаса, все первосортное, нашего производства.

Но Улита не могла есть. Говорить она тоже не могла. Она сидела, грустно и бессмысленно разглядывая узор скатерти.

— Вот что, — вдруг громко начал он. — Пора и объясниться. — Он поправил чуб у себя на лбу. — Тут произошла ошибка, так называемое недоразумение. Конечно, я писал — внешность безразлична. Но существует граница, так сказать. Вы сами понимаете, — он вдруг запнулся и тяжело задышал носом.

— Я понимаю, — тихо проговорила она.

Он обрадованно закивал.

— Вот и отлично. Деньги на билет я вам раздобуду и завтра же с Богом в путь-дорожку. А пока прошу почувствовать себя полной хозяйкой у меня. Я у приятеля переночую.

Он встал и церемонно поклонился.

— Боюсь надоест вам, да и в колбасную пора. До приятного. А вы вздремнули бы.

Он взял с вешалки шляпу, надвинул ее на чуб и, кивнув Улите, вышел.

Улита осталась одна. Теперь все было ясно и уже не было надежды. Как быстро, как просто все произошло. Она подошла к окну, взглянула на голубое небо. Скорей бы стемнело. Тогда можно будет незаметно уйти из отеля, пробраться в порт. Это был единственный, неизбежный, спасительный выход. Она вздрогнула, представляя себе холодные, тяжелые волны. Только бы не мучиться, только бы скорей конец.

Она не подумала даже, что может вернуться в Париж, в мастерскую, в прежнюю жизнь. Нет, впереди не было ничего, кроме смерти.

И все-таки надо было еще жить, еще ждать, пока стемнеет. Она отвернулась от окна, и взгляд ее упал на широкую постель. Если бы можно было уснуть. Она так устала. Она легла на пикейное одеяло. «Надо снять одеяло, помню», — подумала она. Но голова уже тяжело опустилась на подушку, и веки закрылись. Стало совсем темно, совсем тихо. Ей показалось, что она проваливается куда-то, что она лежит не в отдельной комнате на белой постели, а на твердом морском дне и большие рыбы медленно проплывают в зеленоватой воде, задевая ее мягкими, скользкими плавниками.

Вот и конец. И не страшно, не больно.

Дверь бесшумно отворилась, и кто-то вошел в зеленоватую воду. Рыбы испуганно отплыли в сторону, и Улита увидела смутно белевшее лицо, странно похожее на лицо Вани-Ванички. Но этого не может быть.

— Нет, нет, — простонала она.

— Улиточка, — смутно донесся до нее голос. — Как мог я тебя обидеть, такую бедную, жалкую?

Она закрыла глаза. Как странно. Разве мертвым снятся сны?

Голос перешел в глухой гул. Ну да, это шумит море. Но в этот шум врываются какие-то слова.

— Я так боялся, что ты ушла. Бедная моя, слепенькая, глухенькая.

И снова морской шум и ощущение мокрых рыбных плавников на лице и руках.

Она проснулась. В комнате было совсем темно. Кто-то стоял на коленях перед кроватью, лицо его уткнулось в подушку, его широкие плечи вздрагивали.

— Что, что с вами? — испуганно вскрикнула Улита. — Что?

И он, Ваня-Ваничка, поднял к ней заплаканное лицо.

— Улиточка, родная моя, — всхлипнул он. — Ты спала, и мне тебя так жалко, так жалко... И я все понял.

— Что? Что? — переспросила она.

— Я только сейчас понял, как я несчастен, — быстро говорил он. — Как я несчастен, как ты несчастна. Нам нельзя расставаться. Скажи, что ты простила меня?

Это было невероятно, невозможно. Но теперь ничто уже не могло удивить ее. Новая жизнь началась, и счастье пришло. Оно опоздало только на несколько часов.

Она наклонилась к нему и поцеловала его в губы, и ей показалось, что всего этого тяжелого, страшного дня не было. Она только что приехала, и это первая минута их встречи.

— Здравствуй, Ваничка-Ваня, — сказала она радостно.

У МОРЯ

Миссис Робертс сидела одна за столиком в большой столовой пансиона «Атлантик». Муж ее уехал по делам в Лондон. Рой, ее четырехлетний сын, завтракал наверху с бонной.

Миссис Робертс было скучно. Она уже неделю жила здесь, и Биарриц надоел ей. Все то же море, те же автомобили, те же лица.

Ее столик стоял у открытого окна. По тротуару прошли две загорелые женщины. Они смеялись, размахивая руками.

«И чему они так?.. Какие глупые, какие противные».

Миссис Робертс положила себе на тарелку кусок рыбы.

По тому, как старательно и изящно она ела, было сейчас же видно, что она англичанка.

— Не может быть, — вдруг крикнул женский голос по-русски. — Не может быть, Миша...

— Тише, Нина. Не скандаль...

Миссис Робертс повернула голову и прислушалась.

«Русские?.. Где?..»

Но ничего нельзя было разобрать в сдержанном гуле разговоров. Около нее сидят испанцы, дальше виноторговец из Бордо. У стены американцы, она знакома с ними. Где же русские? Должно быть, та седая дама с барышней и молодым человеком у соседнего окна. Она их раньше не видела.

Русские. Они русские. Сердце громко застучало. Миссис Робертс закрыла глаза и увидела широкие белые улицы Петербурга, грязные стены домов, голубое морозное небо. И себя, Анечку Вакурину, идущую по сверкающему снегу, в синей шубке, перетянутой кушаком на талии, такую тоненькую, что, кажется, подует ветер, и она сломается пополам...

Завтрак кончился. Миссис Робертс аккуратно сложила салфетку и вышла в холл ждать русских.

«Седая дама, наверное, мать Миши и Нины», — подумала она. Русские тоже вошли в холл.

— Надо спросить у швейцара, идет ли трамвай в Байонну.

— Да, да, — быстро сказала миссис Робертс, — в Байонну идет трамвай.

Седая дама улыбнулась.

— Вы русская? Как я рада.

— И я тоже очень рада.

Из пансиона вышли вместе.

— Вас Бог мне послал за мои молитвы, — говорила седая дама. — Вы только подумайте. Я одна, и не с кем слово сказать. Нина все с Михаилом Андреевичем. Ничего не поделаешь — жених и невеста. Но теперь я вас поймала и уже не выпущу.

Миссис Робертс надела перчатки. «Значит, Миша жених, а не брат. Не очень хороший вкус у этого Миши».

— Я и не думаю вырваться, — сказала она. — Мой муж англичанин, и все наши друзья англичане. Я давно уже не говорила по-русски...

Вернулись поздно перед самым обедом. Рой сидел в саду на траве и с деловым видом бил красной лопаткой по камню.

Миссис Робертс подбежала к нему и взяла его на руки. Как нехорошо. Она оставила ребенка <на> целый день одного.

— Вы скучали без меня, милый Рой? — спросила она по-английски.

Ребенок серьезно покачал белокурой головой.

— Нет,нисколько.

Она рассмеялась и поцеловала его в щеку.

— Вот он какой, мой сын.

Нина осторожно погладила его вьющиеся волосы.

— Он очаровательный. Посмотри, Миша, какая прелесть.

Миссис Робертс благодарно улыбнулась ей.

— Да, он славный. Бог даст, и у вас скоро будет такой же.

— Нет, не такой. Он прелестный, но это маленький англичанин. А наш будет русский.

Брови миссис Робертс поднялись. Она холодно посмотрела на Нину.

— Я еще должна переодеться к обеду... — И пошла к дому унося ребенка.

— Какая вы счастливая, Нина, что выходите замуж за русского...

Зеленые волны высоко взлетали и падали, разбиваясь белой пеной, на теплый серый песок. Купающиеся прыгали, держась за веревку. По берегу ходил усатый фотограф. Из казино доносилась музыка.

Они лежали на песке. Миссис Робертс посередине, слева Нина, справа Михаил Андреевич.

— Подумайте, вы говорите по-русски на ты. Вы можете сказать: я люблю тебя.

Он пристально посмотрел на губы миссис Робертс.

— А вы разве никогда не говорили этого по-русски?

Она вытянулась, подставляя солнцу белые колени.

— Нет. Никогда. Только по-английски, и это совсем не то.

— Оттого вы так удивительно и говорите. Повторите еще раз, пожалуйста.

— Я люблю тебя... — сказала она снова медленно и нараспев.

Нина покраснела.

— Какая вы сентиментальная. Совсем обангличанились, — она встала.

— Пойдемте лучше купаться.

Миссис Робертс вбежала в воду и, взмахнув руками, поплыла.

Нина схватилась за веревку.

— Миша, держи меня, я боюсь.

Но он уже плыл за миссис Робертс.

— Держись крепче за веревку, Нина. Я сейчас вернусь.

Миссис Робертс легла на спину, раскинула руки и смотрела сквозь ресницы в горячее, синее небо.

Он подплыл к ней.

— Хорошо вам? — спросил он тихо, заглядывая ей в лицо.

— Хорошо, — ответила она так же тихо и улыбнулась.

Миссис Робертс писала письмо мужу: «Мне здесь очень весело. Я подружилась с русскими, они премилые».

Она задумалась на минуту. Не обидится ли он? И приписала: «Но все-таки возвращайтесь скорей, дорогой Джон».

— Анна Николаевна, — позвали снизу.

Она высунулась в окно.

В саду около клумбы левкоев стоял Михаил Андреевич. Нина шла к калитке.

— А Нина говорила, что вы спите. Спускайтесь скорее. Мы вас подождем, — крикнул он.

— Сейчас.

Она торопливо надела шляпку, попудрилась, взяла зонтик. Письмо к мужу так и осталось недописанным.

В холле сидела Александра Ивановна, мать Нины.

— Вы опять уходите? Посидели бы со мной.

— Не могу, я иду гулять с вашими.

Александра Ивановна поджала губы.

— В Англии, должно быть, никогда не оставляют жениха и невесту одних?

Миссис Робертс рассмеялась.

— О, нет. Напротив, — и вышла в сад.

Нина и Михаил Андреевич стояли у калитки и тихо ссорились.

— Я с ней не поеду...

— А я тебе говорю...

Миссис Робертс подошла к ним.

— Куда мы едем?

Нина пожала плечами.

— Никуда. Или куда хотите. Мне безразлично.

— Пожалуйста, не капризничай, Нина, — прервал он ее. — Мы собирались в Сен-Жан-де-Люз.

— Отлично. Я еще не была там.

Они вышли на улицу. Нина вдруг остановилась.

— Вот что. Поезжайте одни. Я останусь дома.

Михаил Андреевич усмехнулся.

— Как хочешь, нам и без тебя не будет скучно. Ну так как же? Останешься?

Нина закусила губу.

— Нет, поеду...

Миссис Робертс взбежала по лестнице, открыла дверь, зажгла свет. Как весело было! Как он хорошо танцует. А эта утка ревнует, кажется. Она рассмеялась, сбросила накидку, сняла через голову белое кружевное платье и подошла к зеркалу.

— Я сегодня хорошенькая.

В зеркале отразилась кровать и ваза с розами. На красном бобрике около двери лежал маленький голубой квадратик.

— Телеграмма.

Она быстро обернулась. Сердце застучало громко. Пальцы дрожали и не могли разорвать бумагу. Она с детства боялась телеграмм.

«Завтра. Десять утра. Джон».

Она вздохнула. Слава Богу. Она так испугалась. Джон едет. Надо рано встать, встретить. Как Рой обрадуется... Она торопливо разделась.

Как Рой обрадуется... А она? Разве она не рада? Ну конечно. Очень...

Широкая кровать. Такая широкая, что можно лечь поперек. Завтра уже не будет столько места. Завтра рядом ляжет Джон. И ставни придется закрыть. Джон не переносит лунного света.

Конечно, она очень рада...

Рой, хлопая в ладоши, прыгал вокруг игрушечного броненосца.

— Посмотрите, какие пушки!

Джон нагнулся над чемоданом.

— Я привез вам кружево, дорогая. Сейчас достану.

— Потом, потом. Идемте купаться. И Рою, наверное, страшно хочется поскорей спустить свой корабль на воду.

На пляже встретили Михаила Андреевича и Нину.

— Мой муж, — представила миссис Робертс. — Он только сейчас приехал.

Михаил Андреевич немного поморщился. Или ей так показалось? Джон, улыбаясь, блестя белыми зубами, крепко потряс ему руку.

— Очень рад познакомиться с вами. Как поживаете?

Михаил Андреевич немного говорил по-английски. Джон любезно и старательно коверкал французские слова.

— Чудная погода. Не так ли?

— Да.

— И море чудное. Не так ли?

— Да, конечно.

— Отличное будет купанье. В поезде было жарко...

Нина запахла пестрый купальный халат.

— Я очень рада за вас, Анна Николаевна. Теперь вы уже не будете такой одинокой.

В тот же вечер уехали гостить к Гиббсам в имение. Ей очень не хотелось ехать. Но отложить нельзя было — Гиббсы праздновали пятилетие свадьбы.

— Я не люблю оставлять Роя на бонну.

— Можно взять его с собой, если это вас беспокоит.

Она пожалала плечами.

— Ехать на два дня и тащить с собой ребенка. Просто смешно...

У Гиббсов было чудное имение, но эти три дня показались ей бесконечными. Никогда в жизни она не испытывала такой тоски и тревоги.

Миссис Гиббс упрашивала остаться еще.

— Спасибо. Но я не могу. Я беспокоюсь за Роя. Вы сами мать, миссис Гиббс. Вы понимаете, — глаза миссис Гиббс стали круглыми от сочувствия.

— О да. Я понимаю вас, миссис Робертс.

Дома все было в порядке. Рой, веселый и загорелый, бросился с криком к отцу. Потом вежливо поцеловал матери руку.

— Здравствуйте, дорогая.

Совсем как отец. Как они похожи. Будто два Джона. Оба голубоглазые, здоровые, рассудительные. Один большой, другой маленький.

— Мама, не целуйте меня так сильно, пожалуйста. Мне больно. Она прижала его к груди.

— Потерпите, милый Рой. Что же мне делать, если я вас люблю?..

Рой серьезно кивнул:

— Хорошо, целуйте, я потерплю...

Когда они сошли вниз, Нина с матерью уже сидели за своим столиком в столовой. Одни, без Михаила Андреевича. У Нины были красивые глаза.

Миссис Робертс ничего не ела. Тревога все не проходила. Но отчего? Ведь Рой здоров и Джон с нею. Чего же ей еще?

— Вы бледны, дорогая, может быть, океан плохо действует на вас?

— Ах нет, мне здесь очень хорошо.

— Не скучно ли вам? Сходите к Пуаре, закажите себе платье. Это развлечет вас.

Она постаралась улыбнуться.

— Вы очень добры, Джон. Но мне не скучно, и платьев у меня довольно.

После обеда она пошла к Нине.

— Здравствуйте. Как поживаете? Куда делся Михаил Андреевич?..

Нинины заплаканные глаза посмотрели на нее с ненавистью.

— Почему я знаю?.. Что вам от меня надо?

Нина вскочила со стула и побежала в сад.

Александра Ивановна шумно вздохнула.

— Как Нина разнервничалась. Уж простите ее. С женихом посорилась. Пустяки — милые бранятся...

Нина потушила свет, сбросила туфли и в темноте в одних чулках, чтобы не мешать матери, не останавливаясь зашагала из угла в угол.

«Неужели он бросил ее? Неужели?..»

Она осторожно задела за стул.

— А, что? Что? — послышался из-за двери сонный голос Александры Ивановны. — Воры? Разбойники?..

— Спи, мама, это я.

«Не может быть... Ведь еще десять дней тому назад он был так влюблен. Ведь через месяц их свадьба. Зачем она не осталась в Париже?.. А теперь, теперь... И все эта Анна...»

— Анна, — с отвращением прошептала Нина. Она всегда ненавидела это имя. Даже Анны Карениной не любила из-за него. Как будто предчувствовала, что какая-то Анна разобьет ее жизнь...

Надо лечь, уснуть. Ах, как ей тяжело.

Она легла, прижалась к холодной подушке щекой. Слезы быстро потекли из глаз.

От усталости и от слез голова стала тяжелой и камнем пошла на самое дно сна.

«А вдруг он завтра придет, и все опять будет хорошо», — подумала она, засыпая...

— Нина, Нина, да Нина же!

У кровати стояла Александра Ивановна. Красные пятна горели на ее щеках, лицо было злое и взволнованное.

— Вот. Дождалась. На, читай, — сунула она Нине письмо в руку. — Да читай же.

Нина наклонилась над листком, исписанным знакомым почерком. Что это значит? Что?..

«...К моему большому сожалению... Несходство характеров... Ошибка... Было бы преступление сделать Вашу дочь несчастной...»

А, вот оно что. Листок упал на красное одеяло. Нина снова положила голову на подушку и закрыла глаза. Стало совсем тихо на душе... Так лучше, гораздо лучше. Теперь, по крайней мере, все ясно. Ни страха, ни надежд...

— Что же ты молчишь, Нина?..

— Оставь, мама. — Нина прижала руку к груди. — Оставь, мама, мне больно.

— Больно? Сердце болит? А у меня сердце не болит, думаешь? Впрочем, хорошо, что умер отец. Как бы ему такой поворот перенести...

Нина заткнула уши.

— Мама, прошу тебя...

— Я говорила, <ты> меня не слушала. Все сама лучше знала. Бегала к нему. Вот и добегалась. Биарриц тебе нужен был, вот тебе теперь и Биарриц. Радуйся!

Нина лежала, уткнувшись головой в подушку. Только бы не слышать этого злого крика, только бы мать ушла. Как болит сердце...

— Да ты слышишь или нет? Вставай скорей, поезд отходит в два. Надо еще уложиться. Завтра же пойдешь к Жан в мастерскую проситься обратно на место...

Нина встала, умылась и подошла к туалету.

Она не чувствовала ни горя, ни тоски и ни о чем не думала. Все стало безразличным. И беспокоила только мать. Зачем она так грубо кричит?

Надо торопиться. Уложить чемодан...

Она расчесала короткие волосы. В зеркале как-то немного скошенно отразилось бледное, грустное, опухшее от слез лицо.

Все кончено... Недолго оно продолжалось, ее счастье...

Она представила себе Мишину квартиру. Столовую с большой лампой над круглым столом, желтую солнечную спальню с огромной медной кроватью, почтительную горничную в кружевном переднике. И себя, Нину, входящую в переднюю в беличьей шубке, которую Миша обещал ей подарить в день свадьбы. Такую хорошенькую, нарядную и счастливую...

Она положила голову на туалет и заплакала. Потом встала, открыла шкаф, порылась в аптеке, нашла опиум. Его весной прописали матери. Хорошо, что остался. Понюхала, пахнет противно. Взглянула в зеркало.

«Я сейчас умру. Такая молодая. Жаль, что веки красные и губы опухли от слез. Лучше бы умереть красивой. Ах, все равно...»

Она поднесла стакан ко рту. Нет, нет, она не может... И все-таки выпила все до дна.

«Вот и конец. Вот и конец всему...»

Она медленно подошла к постели и легла на спину. И сразу стало легко и тихо. Она закрыла глаза. Где-то совсем близко зазвела музыка... Розовые гвоздики в вазе. Лакей поставил перед ней блюдечко с шоколадным мороженым. Ах да, это казино. Танцующие медленно кружатся. Миша сидит с ней рядом. Он, улыбаясь, целует ее руку. И все вокруг звенит, звенит и кружится. Как приятно. Как легко. Как спокойно...

«Надо сказать маме, — вдруг вспомнила она и с трудом села на постели. — Надо проститься с мамой».

Она тяжело встала и, шатаясь, подошла к двери. Дверная ручка скользкая и круглая. Как трудно отворить дверь.

Александра Ивановна стояла на коленях перед чемоданом. Она сердито взглянула на дочь.

— Наконец-то. А вещи твои готовы?.. Вот, полюбуйся, какой счет подали...

— Мама, — тихо сказала Нина, — мама, прощай, я отравилась... Она села на стул у стены. Голова беспомощно свесилась на грудь.

— Прощай, мама...

Александра Ивановна быстро встала.

— Что?.. Что ты говоришь, Нина?

Нина слабо покачала головой.

Комната вдруг наполнилась влажным белым туманом. И все опять закружилось и зазвенело...

— Я отравилась. Прощай. Позови Мишу...

— Ниночка, Ниночка. Ради бога... Нина.

Александра Ивановна трясла дочь за плечо.

Но Нина уже ничего не слышала, ничего не видела.

— Спать, — прошептала она.

За окнами серело небо. Деревья гнулись и шумели. Свежий ветер трепал занавески.

Миссис Робертс положила салфетку на стол.

— Идите купаться, Джон. Я догоню вас на пляже. Только переоденусь. Мне холодно в этом платье.

Джон посмотрел на нее.

— Я лучше подожду вас здесь.

Она нетерпеливо подняла брови.

— Нет, нет. Идите.

— Хорошо, дорогая.

Он поцеловал жену в щеку и вышел. Он привык не спорить с ней. Миссис Робертс осталась одна. Она смотрела в окно на холодное облачное небо, на дрожащие листья. Роса еще блестела на траве.

Все казалось таким свежим, холодным и чистым. Ничего особенного не было. Обыкновенный сад, обыкновенное утро. Но она съезжилась, сжала руки, и сердце забилося еще тревожнее.

«Какой жестокий, какой безжалостный вид!»

Она отвернулась от окна, взяла белую фарфоровую чашку со стола и, наклонившись, стала внимательно рассматривать ее золотой ободок. Потом вдруг разжала пальцы. Чашка со звоном ударилась о пол.

Миссис Робертс посмотрела на осколки, белевшие у ее ног, и провела рукой по лбу.

«Что со мной такое?..»

Она встала, прошла по комнате. Беспокойство все росло. Она вышла в коридор, поднялась по лестнице во второй этаж.

«Куда я? К Нине? Но ведь она надерзила мне вчера. Нельзя первой».

Она уже хотела повернуть, как вдруг услышала крик в Нининой комнате.

«Что там происходит?..»

Она тихо постучалась, никто не ответил. Тогда она толкнула незапертую дверь и вошла.

Шторы на окне были спущены. Было почти темно. Пахло нашатырным спиртом. На кровати лежала Нина. Платье ее было растегнуто. Одна нога в сером шелковом чулке беспомощно свешивалась на пол. Ее широко открытые глаза испуганно и удивленно смотрели на Михаила Андреевича.

— Миша, не уходи. Я умираю, — простила Нина.

Он пожал плечами.

— Но ведь доктор говорит, что никакой опасности нет.

Александра Ивановна наклонилась над дочерью.

— Не волнуйся, Ниночка, вредно, — она повернулась к Михаилу Андреевичу. — Вы... — начала она и вдруг заметила миссис Робертс.

Голова ее старчески задрожала, рот перекосился.

— Вон! — проговорила она свистящим от ненависти голосом. — Убирайтесь вон. Оба...

Миссис Робертс испуганно оглядывалась.

— Что?.. Что вы говорите?..

Михаил Андреевич взял ее за руки. Она покорно дала себя увести. В коридоре она остановилась и заплакала.

— За что она меня выгнала?.. За что?..

Он вытер ее глаза своим носовым платком и, наклонившись к ней, сказал протяжно и нараспев:

— Что? Что такое?.. Я люблю тебя, — так же повторил он, старательно складывая губы. — Я люблю тебя...

Она сквозь слезы растерянно смотрела на него и вдруг догадалась, что он передразнил ее.

— Зачем это вы?..

— Я люблю тебя...

— Зачем? Что это значит?.. Вы серьезно?..

Он обнял ее.

— Да, да, да. Я люблю тебя, — говорил он быстро, целуя ее губы, щеки и волосы. — Я теперь свободен, едем со мной.

Она испуганно отбивалась.

— Оставьте меня.

Но он еще сильнее обнял ее.

— Едем, едем. На автомобиле до Сан-Себастьяна, а там...

Ей наконец удалось вырваться, она толкнула его и побежала по коридору, но он снова схватил ее за руку.

— Ведь ты тоже любишь меня. Твой муж даст развод...

В конце коридора показалась горничная с подносом. Он выпустил ее руку. Она снова побежала. Горничная удивленно посмотрела ей вслед.

Она вбежала к себе и заперла дверь.

«Что это?.. Что это все значило?..»

Она бросилась на кровать, уткнулась лицом в подушку. Она плакала долго и горько от обиды, непонимания и жалости к себе.

Потом встала, вымыла лицо холодной водой и, чувствуя себя как-то совсем особенно слабой, легкой и несчастной, осторожно ступая, прошла к сыну.

Рой сидел на корточках перед паровозом.

В открытом окне был тот же знакомый, холодный и безжалостный вид.

Она нагнулась к Рою. Горло перехватило от нежности и любви. Вот ее жизнь, ее счастье.

Она взяла ребенка на руки, села в кресло и, покачивая его, тихо заплакала:

*У коты воркота,
Была мачеха лиха,
Она била его, приговаривала...*

Стало тихо-тихо. И тревога прошла, и не было грусти. Она пела, прижимая к себе теплого ребенка. Ей казалось, что это не она сидит здесь и поет. Нет. Это ее мать. Это ее мать держит ее на руках. Ее, маленькую Анечку. И она, Анечка, слушает, зажмурившись. Как хорошо. Как тепло. Только бы мама пела...

У коты воркота...

Но ребенок вдруг поднял голову и взглянул на нее голубыми рассудительными глазами.

— Мама, перестаньте, пожалуйста. Мне скучно. Давайте паровоз пускать.

ПРАЗДНИК

Оля услышала шаги матери в коридоре и подбежала к двери.

— Мамочка.

Анна Николаевна вошла, усталая и бледная. Потертая шубка из поддельного котика упала на пол, шляпа полетела на кровать.

— Мамочка.

Анна Николаевна нагнулась, взяла дочь на руки, прижала ее к груди и стала жадно и страстно целовать ее.

— Олечка, радость моя.

Оля обхватила материнскую шею руками и тихо жмурилась под поцелуями. Что-то холодное, мокрое, как капля дождя, вдруг упало на ее теплую щеку. Оля открыла удивленно глаза.

— Мамочка, ты плачешь? Отчего?

Анна Николаевна быстро вытерла ресницы и виновато улыбнулась.

— Я не плачу, Олечка. Тебе показалось.

Она прижала палец к губам.

— Не говори папе, — и опустила Олю на пол.

Дверь снова отворилась. Вошел Олин отец. Он положил на стол длинный хлеб и стал вынимать из карманов пальто покупки.

— Что ты так поздно? Где ты пропадаешь? Уже половина девятого.

Анна Николаевна пожала плечами.

— Вечно допросы. Надоело.

— Надоело? Скучно?

Анна Николаевна покачала головой.

— Я не жалею. Не приставай только.

Он снял фуражку и пальто, сел к столу и сердито закурил. Она зажгла спиртовку и принялась жарить бифштексы. Оля испуганно смотрела на них. Отчего они сердятся?

Чад пригоревшего масла наполнил комнату. Мясо шипело и подпрыгивало на сковороде.

Анна Николаевна накрыла на стол.

— Мои ноги, мои бедные ноги, — вдруг вздохнула она. — Целый день стоять. Ах, как я устала.

Она закрыла глаза и прислонилась к стене.

— Я больше не могу так жить.

Оля села на корточки рядом с ней и погладила ее ноги. Такие красивые ножки в таких красивых туфельках на каблучках. Разве они могут болеть?

— Я больше не могу так, — повторила Анна Николаевна.

Отец бросил папиросу на пол.

— Ведь ты только что говорила, что не жалуешься?

Она поставила блюдо с бифштексами на стол.

— Давай обедать.

Оля взобралась на высокий стул. Анна Николаевна старательно резала для нее мясо маленькими кусочками.

— Жуй хорошенько, деточка.

Отец отодвинул тарелку.

— Опять пережарила. Ничего не умеешь. Есть нельзя.

Она ничего не ответила, она внимательно следила за дочерью.

— Не держи вилку в кулачке, Олечка.

— Скажешь ли ты мне, наконец, где пропадала? — вдруг почти крикнул он и толкнул стол. Тарелки и стаканы жалобно задребезжали. Оля уронила вилку.

Анна Николаевна обняла дочь.

— Не пугайся, папа шутит. Вот он нам сейчас козу сделает. Ну?

И отец сейчас же протянул к Оле руку.

— Идет коза рогатая. У-у-у, забодает, — сказал он еще срывающимся от волнения голосом.

Оля не смеялась, она недоверчиво смотрела на него. Анна Николаевна взяла ее к себе на колени.

— Как не стыдно пугать ребенка. Разве нельзя после?

Он встал, шумно отодвинул стул.

— Уложи ее спать. Нам надо объясниться.

Анна Николаевна раздела и вымыла Олю. Обыкновенно Оля капризничала, просила еще дать ей поиграть, но сегодня она только молча и испуганно прижималась к матери.

Уже лежа в своей маленькой кроватке, она не выпускала ее руки.

— Мамочка, не уходи. Расскажи мне сказку.

Анна Николаевна нагнулась, перекрестила и поцеловала дочь. Потом взбила подушку, поправила одеяло.

— Спи, деточка. Я спую тебе песенку.

Она села на стул рядом и, улыбаясь, тихо запела:

*Ангел с неба прилетит,
Ангел нежно усыпит,
Будешь спать ты сладким сном
Под сияющим крылом.*

Ее легкий, трогательный голос поднимался под самый потолок. И потолок вдруг раздвинулся. Оля увидела кусок ночного звездного неба и облако, плывущее по небу. Нет, это не облако, это ангел. Он, как птица, влетел в комнату через дырку потолка. Он розовый, сияющий. Вот он спустился на пол и босыми розовыми ногами тихо подходит к кровати. И вот уже не мама сидит на стуле, а розовый ангел. И не мамины руки поправляют подушку, а розовые, сияющие крылья широко простираются над головой. И сразу становится совсем тихо, и веки тяжело закрываются. И только откуда-то далеко, снизу, с улицы доносится голос отца.

— Долго ли ты будешь там сидеть? Ведь она уже спит.

И снова тихо, и сияющие ангельские крылья над головой...

Оля открывает глаза. Отец стоит посреди комнаты без пиджака и размахивает руками.

Мама сидит на постели в одной рубашке, свесив голые ноги на пол. Растрепанные волосы падают ей на лоб, по щекам текут слезы. Она протягивает руки к отцу.

— Отдай мне ее, — просит она.

Отец топает ногой.

— Можешь убраться ко всем чертям. Но если Олю возьмешь, убью как собаку.

О чем они? Оля хочет спросить, позвать маму, но веки уже снова закрываются, и она засыпает.

Оля проснулась рано утром, вспомнила слова, слышанные во сне — «убью как собаку». На рассвете ангел улетает, унося с собой ночные сны. Должно быть, он нечаянно обронил один кусочек сна, оттого Оля и помнит — «убью как собаку».

Утро было такое же, как всегда. Отец ушел на завод. Анна Николаевна одела Олю, расчесала ее мягкие, светлые волосы, долго целовала ее.

— Птенчик мой маленький, любишь ли ты меня?

Оля обняла ее за шею, сжала изо всех сил.

— Мамочка, вот как люблю.

Анна Николаевна напоила ее молоком, потом стала играть с ней в куклы.

— Мамочка, разве сегодня праздник?

Анна Николаевна грустно покачала головой.

— Ах нет, деточка. Сегодня совсем не праздник. Сегодня самый страшный день нашей жизни.

Оля не поняла.

— Отчего? Отчего, мама?

Но мама не ответила. Она взяла Олю на руки и быстро закружилась с ней по комнате.

— Хорошо так?

Оля забила в ладоши.

— Еще, еще потанцуем, пожалуйста. Как весело!

— Нельзя, деточка. Мне пора идти.

— В магазин?

— Нет, — Анна Николаевна прижала дочь к груди. — Нет, не в магазин.

— Возьми меня с собой, мамочка.

— Я не могу, — сказала мама тихо и заплакала.

Потом торопливо, не глядя в зеркало, надела шляпу и потертую шубку.

— До свиданья, Олечка.

И дверь закрылась за ней.

Оля осталась одна. В этом еще не было ничего необычайного. Мама каждое утро уходила на работу. Она вернется к завтраку. Оля села на коврик перед кроватью и занялась куклами.

Но к завтраку мама не пришла. И вечером тоже не пришла. Отец ходил по комнате от стола до шкафа, бледный и злой. Оля стояла на стуле у окна и, прижавшись лицом к стеклу, смотрела на улицу — не идет ли мама. Но мамы нигде не было видно.

В этот вечер не обедали. Когда часы пробили одиннадцать, отец вспомнил об Оле. Она все еще стояла у окна, сплуснув нос и щеки о холодное стекло.

— Оля, спать.

— А мама?

— Мама нас бросила, — плечи отца вдруг задрожали, голова упала на стол, и он зарыдал, закрыв лицо руками. — Мама больше не придет.

С того дня началась новая, странная и печальная жизнь. Мамы не было. Мама не возвращалась. Отец даже запрещал вспоминать о ней.

— Она нас забыла, и мы ее забудем, — говорил он, целуя Олю. — Ты увидишь, как мы будем счастливы с тобой. Она нам совсем не нужна. Она скверная.

Оля молча и недоверчиво слушала отца.

Нет, мама не могла ее забыть. Нет, мама хорошая. Ах, если бы можно было убежать к ней.

Сердобольная соседка по комнате одевала и кормила теперь Олю. Она даже старалась рассказывать ей сказки. Но Оля не слушала. Она целыми днями стояла на стуле, прилипнув к холодному стеклу, — а вдруг она увидит маму.

В сочельник соседка с утра забрала Олю в свою комнату.

— Подожди, подожди, Олечка, — говорила она, глядя ее по голове. — Вот увидишь, что вечером будет.

— Что будет?

— Уж такое, такое, — соседка развела руками, — что и описать нельзя.

Олино сердце громко стукнуло в груди. Оля поняла: мама вернется. Она больше ни о чем не спрашивала. Она села в угол и молча, не двигаясь стала ждать вечера.

Когда уже совсем стемнело и зажгли лампы, соседка надела на Олю новое красное платье и причесала ее. Наконец кто-то три раза тихо постучал в дверь.

— Идем, — соседка как-то таинственно смотрела на Олю и взяла ее за руку.

Оля вся дрожала. От волнения ноги не слушались, и было трудно идти. Сейчас, сейчас она увидит маму.

Они молча прошли по длинному, плохо освещенному коридору. Дверь широко распахнулась перед ними. Посреди комнаты, сияя огнями и золотыми украшениями, стояла большая елка. Рядом с ней на столе сидел белый плюшевый медведь. Тут же стояла тарелка со сладостями, ваза с апельсинами. Новые шерстяные чулки свешивались со стола.

Оля остановилась на пороге, растерянно оглядываясь.

Соседка легко толкнула ее.

— Это все тебе. Иди, благодари папочку. Совсем ошалела от радости.

Отец вышел из-за елки, улыбаясь, и протянул руки.

— Олечка, ну же?..

Но Оля даже не взглянула ни на него, ни на елку, ни на медведя.

— Где? где? где? — она вбежала в комнату, обогнула елку, заглянула за шкаф.

— Что ты ищешь, Олечка?

— Где мама? — крикнула Оля. — Где мама, где?

Отец взял ее за руку.

— Кто тебе сказал, что мама здесь? Не думай о ней. Вот смотри, какой мишка красавец.

Но Оля вырвала свою руку из пальцев отца.

— Мама! Где мама? Куда ее спрятали?

Отец рассердился и топнул ногой.

— Да перестанешь ли ты, гадкая девчонка?!

Оля снова обежала всю комнату, заглянула под стол и за шкаф.

— Мама, мама, — звала она.

Смущенная соседка старалась ее успокоить.

— Олечка, это тебе чулочки. Видишь, какая елка, а наверху звезда.

Оля вдруг поняла, что мамы нет. Она упала на пол и, забившись, закричала и заплакала.

Соседка подняла ее и стала быстро укладывать в постель. Оля затихла и только всхлипывала.

Отец тушил свечи на елке.

— Вот полюбитесь. Обрадовал дочку. Из-за этой проклятой елки, из-за этого медведя я две ночи сверхурочно работал.

Соседка сокрушенно и сочувствующе кивала:

— Не огорчайтесь так. Она еще маленькая. Она забудет. Через год и не вспомнит о матери.

Но Оля не забывала. Она ждала, она знала — мама вернется. Она мечтала, стоя у холодного окна: вот, как в сказке, в серебряных санях, запряженных белыми, длинногривыми лошадьми, подъедет мама. Она выйдет из саней в сверкающем серебряном платье, в белой шубе с развевающимися перьями. Она быстро взойдет по лестнице. Оля побежит к ней навстречу, мама поднимет ее на руки, распахнув шубу, прижав ее к груди, к холодному, сверкающему платью, и будет целовать ее холодными, красными губами. Они сядут в сани, лошади дернут, снег взвоется из-под копыт. От холода, от ветра, от счастья станет трудно дышать. Мамины руки будут крепко держать ее. Мамины губы будут нежно целовать ее. И они понесутся по белому, серебряному, широкому снегу все быстрее и быстрее, все дальше и дальше. В Россию, в Москву.

Оля вздохнула и широко открытыми глазами стала внимательно смотреть вниз, не едет ли уже мама в серебряных санях. Но внизу на улице проехало только такси. Торговка толкала с трудом нагруженную зеленую тележку. Из подворотни шмыгнула черная кошка. Нет, сейчас мама и не могла приехать. Мама приедет в особенный день, в праздник.

И этот праздник настал. В сущности, день был совсем обыкновенный, серый, туманный и среда. Но это все-таки был праздник.

Отец уже ушел на завод. Соседка еще не приходила одевать Олю, и Оля спала, подложив кулачок под щеку.

— Олечка, — тихо раздалось над самым ее ухом.

От звука этого тихого, нежного голоса Оля сразу открыла глаза. Перед нею стояла мама. Такая, как в сказке, такая, как она мечтала. Она стояла, наклонившись к Оле. Только шуба на ней была не белая, а золотистая, и перья не свешивались со шляпы. Но так было еще красивее. И на груди, на золотистом шелку, сверкали белые ледяные камни.

— Олечка, — мама опустилась на колени и стала жадно целовать Олины плечи, руки и ноги. — Деточка моя, наконец. Как ты похудела, побледнела. Ты скучала по мне?

Оля обхватила ее шею.

— Я ждала тебя, мамочка.

Мама, смеясь и плача, вынула ее из постели.

— Теперь уже никогда не расстанемся.

Она торопливо надела на нее красное платье.

«Какое безобразное, сейчас же другое купим». Дрожащими пальцами зашнуровывала Олины сапожки и, закутав ее в свою шубу, понесла вниз по лестнице.

Внизу стояла хозяйка отеля, загораживая им дорогу.

— Мадам, я не могу позволить унести ребенка.

Веки Анны Николаевны забились, как крылья бабочки, по щекам побежали слезы.

— Ради Бога, умоляю вас, ради Бога, — она протянула хозяйке свою сумочку. — Возьмите. Я пришлю вам еще завтра. Только позвольте.

Хозяйка громко высморкалась.

— Хорошо, идите, мадам. Я не имею права. Но я сама мать.

Дверь распахнулась перед ними. Но не серебряные сани, а длинный черный автомобиль стоял перед подъездом. Значит, так и надо. Так еще лучше, смутно мелькнуло в Олиной голове. Шофер помог им сесть. Дома и улицы побежали перед глазами. Мамины руки крепко обнимали Олю, мамины губы нежно целовали ее. Все было так, как она мечтала. Только не было ни холода, ни снега.

Автомобиль остановился. Анна Николаевна ввела Олю в магазин.

Улыбающиеся приказчицы поставили Олю на прилавок, как куклу, и стали быстро снимать с нее старое серое пальтишко, вяза-

ный капор, безобразное красное платье. Через минуту Оля стояла на прилавке в розовом легком платье, в розовой шубке с горностаевым воротником, в розовой шляпе. И в зеркале отражалась прелестная, нарядная девочка.

Оля взглянула на мать.

Анна Николаевна рассмеялась и поставила Олю на пол.

— Да. Ты была замарашкой, а теперь будешь принцессой. Дай ручку, маленькая моя Золушка. Идем.

Несколько шагов влево, три ступеньки наверх и вот уже не магазин, а рай.

Оля остановилась, зажмурилась и прижалась к маминым коленям.

Да, это — рай. Прямо с потолка на зеленом шнурке свешивается большая обезьяна в красной феске. На полках рядами сидят куклы. На полу грудами лежат автомобили и аэропланы и рядом с ними львы, собаки и барашки.

— Ну, Олечка, выбирай. Что тебе нравится?

Оля недоверчиво смотрит на маму.

— Неужели можно все, что захочу?

— Ну конечно, деточка.

Оля тычет пальцем в куклу и в аэроплан, в белого барашка.

— Вот это и это еще, — она задумывается. — И еще живого крокодила.

Анна Николаевна и приказчик смеются.

— Живого крокодила нельзя. Можно картонного.

Оля кивает.

— Хорошо. Пусть картонный. И еще бы я хотела, но тоже нельзя. Я хотела бы золотую рыбку. Живую. Но пусть дадут картонную.

— Нет, золотую рыбку можно живую.

Оля крепко сжимает мамины пальцы.

— Ту, из сказки. Чтобы ей желания говорить.

Анна Николаевна целует ее.

— Да, Олечка. Ту самую. Только желания говорить надо будет не рыбке, а мне. А ей я уже передам. И сразу все будет исполняться. Вот увидишь.

Приказчики вносят большие пакеты в автомобиль. Для мамы и Оли осталось совсем мало места. Оля ощупывает пакеты.

— Это баран. Это поезд. И все мое. Правда, мамочка?

Анна Николаевна обнимает ее.

— Все твое, а ты моя.

Оля трется щекой о мамину шубу.

— Куда мы теперь едем?

— Домой.

— Это где?

— Сейчас увидишь.

Автомобиль снова останавливается. Какой большой подъезд. И зеркала во всю стену.

Мама открывает дверцу в стеклянный ящик, входит в него с Олей, и ящик начинает медленно подниматься.

— Мамочка, куда мы? На небо?

— Лучше, чем на небо. Домой, к нам.

Ящик останавливается. Горничная в белой наколке открывает дверь, вносит Олю в квартиру, снимает с нее шубку.

— О, какой ангелочек, — говорит она.

Оля осматривается.

— Как красиво. Мамочка, ведь это дворец? Ты теперь царица?

Лицо Анны Николаевны на минуту темнеет.

— Нет, я совсем не царица, — она берет дочь за руку. — Ну, пойдём осматривать наш домик.

Да, это праздник. Веселый, волшебный, бесконечный. От восторга, и смеха, и маминых поцелуев все путается в Олиной голове. За завтраком было столько вкусных блюд, столько пирожных и шоколадных конфет. А потом играли в куклы и в поезд, и Оля просила золотую рыбку:

— Чтобы всегда было так.

Золотая рыбка плавала в круглой стеклянной вазе и даже не взглянула на Олю, но мама сказала, что она слышала.

Да, это волшебный праздник. Но от всего этого счастья и веселья Олины глаза слипались и усталые руки роняли игрушки на ковер.

Анна Николаевна уложила ее на широкую кровать.

— Поспи немного, птенчик.

Но Оля испуганно покачала головой.

— Нельзя. А вдруг проснусь, и все как вчера, и тебя нет.

— А ты держи меня за руку. Вот так. Я и не смогу уйти.

Оля положила голову на подушку.

— Все-таки лучше не спать, мамочка, — прошептала она и сейчас же уснула.

Когда она проснулась, было уже темно, и в столовой накрывали на стол.

Мама лежала рядом с ней и в темноте, близко наклонившись к ней, не отврываясь, смотрела на нее, и по щекам ее текли слезы.

— Мамочка, отчего ты плачешь?

Мама прижала ее к себе.

— От радости.

Обедали вдвоем, и снова подавали очень вкусные блюда. Анна Николаевна кормила дочь с маленькой вилки, подносила стакан к ее губам, вытирала ей рот салфеткой.

— Вкусно, деточка?

— Ах, как вкусно. Еще мороженого, пожалуйста.

И Анна Николаевна послушно накладывала еще мороженого на Олину тарелку. Оля была счастлива, совсем счастлива, так, что счастливее и быть нельзя. И когда мама спросила после обеда:

— Что ты теперь, Олечка, хочешь? — Оля нахмурила лоб и долго думала, что бы пожелать. Желаний больше не было.

Но Оля все-таки придумала, она подняла на маму веселые блестящие глаза.

— Я хочу в цирк.

И мама радостно закивала.

— Вот и отлично. Поедем в цирк. Я ведь уже в прошлом году хотела тебя свести, все денег не было. Помнишь, как мы афиши на стенах рассматривали?

Оля волновалась.

— А собак дрессированных покажут? А львов?

Мама успокаивала ее.

— Все, все покажут. Давай одеваться скорее.

В цирке гремела музыка. Высоко под самым потолком летали по трапециям акробаты, белые лошади с длинными хвостами и султанами из перьев на спине мерно кружились по арене, фокусник вытаскивал живого котенка из собственного уха, клоуны дрались и кувыркались.

Оля аплодировала, захлебываясь от смеха и восторга.

— Мамочка, смотри, смотри, собачка на передних лапках стоит, — громко кричала она.

И, глядя на Олю, Анна Николаевна смеялась таким же, как она, безудержным, счастливым смехом.

— Весело тебе, птенчик?

— Ах, весело, весело. Смотри, мама, карлик.

Но к концу первого действия, когда на арену выбежали китайцы с длинными косами и пестрые зонтики и веера замелькали в воздухе, Оля вдруг затихла, положила голову на борт ложи и закрыла глаза.

— Олечка, в кроватку пора.

Мама встала, взяла Олю на руки и понесла ее к выходу. Холодный ветер пахнул Оле в лицо. Она открыла рот, вдохнула холодный воздух, холод пробежал по ее маленькому телу.

— Мамочка, — прошептала она, прижимаясь к матери. Вот сейчас, сейчас. Они сядут в серебряные сани, и белые лошади помчат их по снегу. В Россию. В Москву. Как холодно, как хорошо.

Оля подняла веки.

Нет, белые лошади были в цирке. Мама несла ее к автомобилю. Шофер уже открыл дверцу. И вдруг мама заметалась по тротуару и, протянув руки, быстро передала Олю шоферу. И в эту самую минуту Оля увидела отца. Он шел прямо на маму, держа руку в кармане. Подойдя совсем близко, он вынул руку, и в ней блеснул револьвер. Раздался выстрел. Мама упала на тротуар и, как рыба о лед, стала биться о серый асфальт. Потом резко вытянулась и застыла.

Отец стоял над ней, держа револьвер в руке.

— Я сказал, что убью, и убил, — громко сказал он и вдруг, вскрикнув, упал на колени и стал судорожно целовать ее мертвое лицо.

Но кто-то схватил его за плечи, оттащил его. Со всех сторон бежали люди.

VALENTINE

Матери своей Валя не помнила, мать ее умерла, когда она была совсем маленькой. А когда Вале исполнилось восемь лет, отец ее однажды вернулся домой довольный и улыбающийся.

— Скоро у нас будет весело, — сказал он, глядя Валю по голове, — и тебе, чижик, будет хорошо. Я женюсь, у тебя будет новая мама.

Валя оттолкнула руку отца и громко заплакала.

— Не хочу, не хочу новой мамы!

Она знала, что она сиротка и что «новая мама» значит мачеха.

Она была умная девочка, ей из сказок было давно известно, как эти мачехи обращаются с сиротками.

— Не хочу, — плакала Валя.

Но ее никто не слушал, никто не спрашивал о ее желании.

И вот в один летний день к ним в дом приехала мачеха, и ее большими сундуками заставили всю прихожую.

В этих сундуках, Валя знала, были заперты летучие мыши, мертвые, слепые котятка и жабы. Это было естественно. Таким и должен был быть багаж мачехи. Но сама мачеха поразила Валю.

Она была совсем молодая, почти девочка. И очень веселая, и очень красивая. Валя недоверчиво присматривалась к ней целый день, а к вечеру решила: это она прикидывается. Ведь в сказках ведьмы всегда прикидываются красавицами. Даже добрыми прикидываются.

Но мачеха не давала себе труда прикидываться доброй. Но и злой она не была. Она пела и смеялась, переодевалась из платья в платье и часами смотрелась в зеркало.

На Валю она почти не обращала внимания. Она не целовала, но и не била ее. Только иногда вздыхала: «Ах, какая капризная, противная девчонка» — и снова поправляла волосы перед зеркалом и мечтательно улыбалась.

Каждый вечер перед сном Валя тихонько шептала на ухо отцу: — Папочка, прогони ее. Она ведьма. Я хочу жить с тобой вдвоем. И отец строго грозил ей пальцем:

— Молчи! Пойди, поцелуй мамочку.

Валя опускала голову и упрямо сдвигала брови.

— Будешь ты слушаться?

Рука отца тянулась к Валиному уху. И Валя, сдерживая слезы, тыкалась губами в розовую, надушенную щечку мачехи.

— Спокойной ночи, деточка, — рассеянно говорила мачеха и вытирала щеку кружевным платком.

К осени мачеха как-то странно притихла. Она уже не пела, не смеялась и не меняла платьев. Она бродила по дому хмурая, полуодетая, раздражалась, сердилась и за обедом ничего не хотела есть. Даже лицо ее изменилось, оно больше не было розовым и улыбающимся. Оно осунулось, под глазами темнели круги, на скулах появились коричневые пятна, рот распух. Валя знала, что с мачехи мало-помалу слезало притворство — притворная красота, притворная доброта. И с каждым днем в ней все яснее проступала ведьма.

Валя удивлялась. Неужели отец не видит? Чего он ждет, чтобы прогнать ее?

Но отец, казалось, ничего не замечал. Он даже стал еще нежнее к мачехе, еще заботливее.

— Не утомляйся. Тебе вредно так много ходить. Не поднимай стул, тебе вредно. Не пей вина, тебе вредно, — повторял он с утра до вечера.

Как будто мачеха вдруг превратилась в маленькую, слабую девочку, которой все вредно и ничего нельзя.

А мачеха, грустно склонив подурневшее лицо над работой, шила маленькие кукольные рубашечки.

Валя насмешливо смотрела на нее. Неужели она собирается играть в куклы? И отчего она так толстеет? Ведь ведьме полагается быть худой.

Однажды, перед самым Рождеством, когда дети обыкновенно думают только о подарках, о елке, у дверей позвонили, и посыльный внес голубую колыбель и поставил ее в спальне. Колыбель была вся в оборочках и лентах и очень понравилась Вале. Но мачеха не позволила ей потрогать голубую кисею.

— Это не для тебя, — сказала она резко и оттолкнула Валу. Валя громко заплакала и схватилась рукой за колыбель.

Она была уверена, что это ей подарок от отца.

— Оставь, дрянная девчонка! Пусти, слышишь, пусти! — кричала мачеха, стараясь отодрать Валу от колыбели.

Но Валя крепко уцепилась, голубая кисея рвалась под ее пальцами.

— Мое! Не отдам!

— Пусти! Слышишь, пусти, — кричала мачеха и вдруг сильно ударила Валю по щеке.

Валя сразу разжала руки и, сжав кулаки, бросилась на мачеху, защищая и себя, и колыбель.

— Ведьма!

— Миша! — отчаянно вскрикнула мачеха, как будто ее убивают.

В спальню быстро вошел отец. Он ни о чем не спросил. Он взял Валю за руку, отвел в детскую и запер на ключ. Валя села на свою кровать и долго плакала, пока не уснула.

Разбудил ее отец. Он стоял перед ней, растерянный и грустный.

— Козлик мой, вот нам и приходится расстаться с тобой. Раз ты не можешь ужиться с мамой, я отвезу тебя в пансион.

Он взял Валю на руки, прижал ее к груди.

— Козлик мой, какой худенький, бледненький, бедненький!

Валя обхватила шею отца и молча прижалась к его плечу.

Она не плакала, не просила оставить ее дома. Она знала, что отец бессилён ей помочь. Победила ведьма.

Через два дня, в самый сочельник, отец отвез ее в пансион мадам Боно. Впрочем, это не был настоящий пансион, с классами и дортуарами, с длинными коридорами и сотнями учениц.

Учениц было всего шесть, вместе с дочерью мадам Боно, Жаклиной. Мадам Боно, разбогатевшая фермерша, считала, что маленькие пансионерки совсем не такая бездоходная статья, не хуже кроликов или кур.

Учительница была только одна, зато она обучала всем предметам. Звали ее Корнбиш.

Валя с отцом подъехали к воротам фермы, когда уже стемнело. Их встретил рабочий с фонарем.

— Подождите меня, — сказал отец деревенскому извозчику и вместе с Валею пошел к дому. Рабочий, подхватив Валин сундучок, побежал вперед.

Мадам Боно ждала их на крыльце. Она любезно улыбалась.

— Вы можете быть совсем спокойны за свою дочь. Я вижу, ей необходимо поздороветь. Деревенский воздух, деревенское молоко, прогулки. И немного дичок, не так ли. Это тоже пройдет. У нее будут прелестные подруги — все из честных буржуазных семей. Даже одна аристократка, — мадам Боно подняла палец, — Жизель де Бельвиль.

Она говорила быстро, Валя не все понимала.

— Я как мать забочусь о моих девочках. Может быть, желае-
те осмотреть дом?

Отец долго целовал Валу на прощание, Валя сжала губы, что-
бы не расплакаться. Плакать перед этими чужими людьми было
стыдно.

— Тебе будет хорошо, тебе будет весело, — говорил отец со-
всем как тогда, когда он объявил ей о своей женитьбе. — Я буду
часто приезжать к тебе, козличек.

Валя ухватила за рукав отца и не отрываясь смотрела ему в
лицо.

— Еще минуточку, папочка!

Но отец торопился на поезд.

Дверь глухо захлопнулась за ним. Мадам Боно взяла Валу за руку.

— Пойдем, я познакомлю тебя с моей дочкой.

Валя послушно пошла за ней в спальню. Шесть маленьких по-
стелей вытянулись рядами вдоль белых стен.

Жаклин была занята очень серьезной работой, она расставля-
ла свои туфли в камине.

— Это твоя новая подруга, — сказала ей мать. — Поиграй с ней
до обеда.

И она вышла, оставив их одних. Жаклин подошла к Вале.

— Видишь, сколько я туфель в камин поставила — шесть пар.
Чтобы было куда подарки класть. А тебе свои туфли не стоит ста-
вить, тебе все равно ничего не подарят.

— Я и не поставлю.

— Ты, должно быть, очень злая, раз тебя привезли сюда в со-
чельник.

Валя покачала головой.

— Нет, я не злая.

— Отчего же тогда? На Рождество все девочки уезжают домой.

— У меня мачеха, — объяснила Валя.

И Жаклин сейчас же приняла объяснение.

— Мачеха! Это плохо!

Ее круглое, румяное лицо на минуту потемнело. Ей стало жаль
Валу.

— Бедная ты! Они злые, мачехи.

Еще минута — и они обнялись бы. Еще минута — и они стали
бы друзьями.

Но Жаклин спросила:

— Как тебя зовут?

— Валя.

— Валя, — Жаклин оттопырила губы. — Такого имени нет.

— Valentine, — поправилась Валя.

— Valentine? — глаза Жаклин вдруг насмешливо прищурились, руки уперлись в бока, и она громко и фальшиво запела песню Шевалье, бог знает кем привезенную на нормандскую ферму.

Elle avait de tout petits petons

Valentine, Valentine...

Валя, красная от обиды, заткнула себе уши пальцами. В открытую дверь просунулась голова мадемуазель Корнбиш.

— Жаклин, как вам не стыдно дразнить новенькую.

Жаклин оборвала пение.

— Стыдно? Это ей должно быть стыдно. Подумайте, мадемуазель. Ее зовут Valentine! — и Жаклин захлебнулась от хохота.

— Перестаньте! Это такое же христианское имя, как и все остальные. И ничего смешного тут нет.

К концу недели стали съезжаться ученицы. Каждой из них Жаклин сейчас же рассказывала:

— У нас новенькая! Русская! Совсем дикая!

— Как дикая? Кусается?

— Нет. Но она почти не умеет говорить. По-своему, как лягушка квакает. И зовут ее Valentine.

Ученицы по-разному отнеслись к Вале. Жанна и Ивонна, толстые дочери булочника, не обратили на нее никакого внимания. Маленькая Бланш сейчас же заинтересовалась вопросом, хорошо ли Валя прыгает через веревочку, и, получив ответ, что нет, — равнодушно отвернулась от нее. Аристократка Жизель де Бельвиль — гордость пансиона мадам Боно — почувствовала к Вале симпатию.

— Какие у тебя красивые локоны! И платье красивое. Ты богатая?

Валя покачала головой.

— Нет!

Это понравилось Жизель. Она сама происходила из совершенно разорившейся семьи.

— Мой отец был офицером, — сказала она самодовольно. — А твой?

— И мой тоже.

Это уже было хуже. Жизель гордилась тем, что ее отец офицер.

— Мой дед был полковник, — голос ее задрожал от обиды. — А твой?

— Мой дед был генералом.

Этого уже не могла перенести Жизель.

— Неправда! Твой отец свинопас. Ты врешь! — закричала она. Но Валя не сдавалась.

— Должно быть, ты сама врунья.

В спор вмешалась мадам Боно.

— Valentine говорит правду. Ее дед действительно был генералом. Но ведь она русская! Русский генерал — это совсем не то, что французский.

— Это то же самое, что французский свинопас, — обрадовалась Жизель.

— Ну зачем же свинопас, — уклончиво ответила мадам Боно.

Так и с Жизель не вышло никакой дружбы.

Но Валина жизнь в пансионе мадам Боно все-таки наладилась и даже потекла довольно гладко.

Валя прилежно училась. Мадемуазель Корнбиш ставила ее в пример дочерям булочника и даже самой Жизель.

— Смотрите, русская, а умнее вас. Удивительно способная девочка.

И хотя дружба с ученицами не удалась, зато удалась дружба с деревьями, с травой, с облаками.

Валя впервые жила в деревне, и все кругом казалось ей прелестным и таинственным. И сад, и пруд, и высокие темные ели у пруда.

Она тихо бродила по светлым дорожкам, садилась на белый большой камень под ель и, глядя на блестящую, неподвижную воду пруда, ждала. Вот сейчас выйдет из воды Царевна-лягушка в золотой короне. Сердце замирало от восторга и страха. Вот сейчас! Но минуты проходили, и в небе проплывали белые, прозрачные облака, и ветер студил руки, а Царевна-лягушка все не показывалась. И Валя шла домой. Только раз она увидела на берегу пруда большую коричневую жабу. Жаба посмотрела на Валю круглым, злым глазом и тяжело шлепнулась в воду.

Надо было взять жабу на руки, прижать ее к сердцу, поцеловать жабий рот. Но Валя испугалась, Валя убежала.

Весной на деревьях появились нежные, пушистые листья, небо стало выше и голубее и ветер теплым. Валя каждое утро обходила весь сад, заглядывала под кусты и деревья — нет ли чего нового. И новое всегда было.

Куст сирени протягивал к ней ветки.

— Обратите, пожалуйста, внимание на мои почки. Приходите посмотреть на меня через два дня и увидите, что из этого выйдет. А пока до свиданья, — вежливо говорил он.

Через два дня Валя прыгала от восторга вокруг куста. Он весь покрывался легкими лиловыми цветами.

— Спасибо, что вы так красиво расцвели, — говорила Валя.

— Очень рад, что нравлюсь вам.

Белые бабочки кружились вокруг розовых яблонь. Яблук было так много, что все было розовым, куда ни взглянуть. Цветы яблонь срывались с веток и, как розовые бабочки, кружились в солнечном воздухе. И Валя уже не знала, которые настоящие — розовые или белые бабочки.

Валя была счастлива, она играла с деревьями, с цветами, с птицами.

Так прошла весна и наступило лето. Отец писал из Парижа: «В сентябре я приеду к тебе, моя милая деточка. Я очень устал за эту зиму. Приходится много работать. Я так рад, что скоро отдохну. Заберу тебя, и вдвоем поедem к морю. Будем целыми днями вместе. Я научу тебя плавать. Как весело будет, Козличек».

— Скоро папа приедет, — сообщила Валя мадемуазель Корнбиш. Непременно надо было поделиться с кем-нибудь своей радостью.

— И отлично, — сказала мадемуазель Корнбиш. — Он будет очень доволен вашими успехами. Он может гордиться такой дочерью.

Мадам Боно кивнула.

— Да, Valentine, вы выросли и поздоровели. А каким заморышем приехали. Совсем другой стали. Ваш отец будет очень доволен, когда вас увидит.

Но отцу не пришлось увидеть Валю.

Однажды, во время урока географии, в классную комнату неожиданно вошла мадам Боно. Она была взволнована и держала письмо в руках.

— Valentine, дитя мое, — сказала она слащавым голосом. — Бедное мое дитя, ваш отец умер.

Валя подняла голову, рассеянно посмотрела на мадам Боно.

— Valentine, ваш отец умер. Разве вы не понимаете?

Нет, Валя поняла. Кто-то умер. Но она думала не о том.

Она сейчас бегала с папой по берегу глубокого моря, и теплый серебристый песок скрипел под ее босыми ногами.

— Ваш отец умер, — повторила мадам Боно.

И вдруг пестрая карта Европы отделилась от стены и, кружась и качаясь, полетела по комнате. И белые кусты роз в окне закачались и закружились. И деревья, и ученицы, и стулья — все закачалось, закружилось.

— Папа! — вскрикнула Валя. — Папа! — Голова ее больно ударилась о парту. И сразу стало совсем тихо, совсем темно.

За обедом Валя ничего не ела. Никто и не заставлял ее есть сегодня. Все были с ней очень добры, очень ласковы.

— Бедная девочка, — шепотом говорила мадам Боно мадемуазель Корнбиш. — Мачеха отказывается платить за нее. Она сама осталась без средств, с грудным ребенком. И пишет, что отказывается принять.

Валя сидела над тарелкой нетронутого супа. Слезы текли по ее щекам.

— Бедная девочка, — зашептала мадемуазель Корнбиш, — такая способная, такая прилежная. Что с нею будет теперь...

Мадам Боно подняла голову.

— Подождите. Как вы думаете, если...

Губы мадам Боно приблизились к самому уху мадемуазель Корнбиш.

— Вы ангел! — громко вскрикнула мадемуазель Корнбиш. — Бог наградит вас за вашу доброту.

Эту ночь Валя провела в слезах. Уснула она только под утро, а в восемь часов уже надо было вставать.

Когда Валя вместе с другими девочками хотела идти в классную, мадемуазель Корнбиш ласково положила ей руку на плечо.

— Нет, деточка, вы больше не будете учиться.

— Не буду учиться? — удивилась Валя.

— К сожалению, не будете. За вас больше не платят, и мачеха отказывается от вас. И вот мадам Боно, о, она ангел доброты. Она не даст вам погибнуть, она оставит вас жить на кухне с тем, чтобы вы помогли по хозяйству. Это большое счастье для вас, Valentine.

Валя молча смотрела на нее.

— И я тоже не оставлю вас, — голос мадемуазель Корнбиш задрожал, — я буду давать вам уроки по воскресеньям, жертвуя часами заслуженного отдыха.

Валя все еще молчала.

— Что же вы, — уже строго сказала учительница. — Идите благодарить мадам Боно. Неужели у вас бесчувственное сердце, не способное ценить доброту?

Валя сделала реверанс мадам Боно.

— Мерси, — прошептала она.

Мадам Боно погладила ее по голове.

— Идите вниз, на кухню, дитя мое. Я очень рада, что могла вам помочь. Кстати, оставьте мне ваше белое платье. Вам теперь не

нужны такие нарядные платья. Его будет надевать Жаклин в церковь. Ну, идите.

Валя еще раз присела.

На кухне работник, тот самый, что нес когда-то ее сундучок, встретил ее с улыбкой:

— А, мадемуазель Valentine! Добро пожаловать.

Толстая кухарка Мари подвязала Вале длинный передник и сунула ей ножик в руку.

— Садись картошку чистить. И нет здесь никаких мадемуазель, — заворчала она. — Valentine, и всё тут. Будешь хорошо работать, буду тебя сытно кормить.

Валя чистила картошку, потом вытирала посуду, потом кормила кур и кроликов.

Поздно вечером, когда она от усталости еле держалась на ногах, Мари уложила ее спать в темный чуланчик около кухни. Тюфяк положили прямо на пол, подушка была тверда как камень.

— Ничего, привыкай. Больше не барышня, — ворчала Мари.

Так началась Валина жизнь на кухне.

В первые дни ученицы прибежали к ней, ужасались и жалели.

— Ты теперь как Золушка, — утешала Валю Жизель. — Вот возьми, я принесла тебе конфету.

Но Валя трясла головой и не брала конфет.

— Оставьте меня в покое. Напрасно вы ходите. Мне надо полмыть.

И она выливала целое ведро воды на кирпичный пол кухни.

Ученицы убегали с криком, боясь промочить туфли.

Скоро они совсем перестали заглядывать к ней на кухню.

Валя теперь стыдилась прежних подруг и была довольна, когда они забыли о ней.

Кухарка будила ее в пять часов утра. Было еще совсем темно. Валя, ежась от холода, надевала деревянные сабо, брала фонарь, корм для кроликов и шла во двор.

Работы было так много, что она едва успевала справиться с ней. С каждым днем кухарка наваливала на нее все новые дела.

Валя не жаловалась. Да и кому могла бы она пожаловаться.

Валя ни на что не надеялась, ничего не ждала.

Мадемуазель Корнбиш перестала давать ей уроки по воскресеньям.

— Удивительно быстро поглупела Valentine, — вздыхала она. — Учить ее напрасная трата времени. А жаль. Она казалась такой способной.

С наступлением зимы работать стало еще труднее. Валя постоянно кашляла, руки ее потрескались и болели. Но Мари не обращала на это внимания.

— Лентяйка, дармоедка, — упрекала она Валю.

Как-то в ноябре Валя шла по двору, осторожно неся ведро воды. Сабо ее скользили по замерзшей земле. Ветер трепал концы завязанного крест-накрест платка.

Дверь открылась, из дому со смехом выбежали девочки. Валя хотела спрятаться, но они уже увидели ее. Они окружили Валю и, взявшись за руки, закружились вокруг нее.

Elle avait de tout petits petons
Valentine, Valentine... —

громко запели они.

Валя поставила ведро на землю и, затыкая уши, побежала к кухне. Девочки бросились к ней.

Elle était frisée comme un mouton
Valentine... —

пели они, дергая Валю за развевающиеся волосы и за концы платка.

Валя вбежала в свой чуланчик, закрыла дверь на крючок и, сев на пол, громко заплакала.

Кухарка постучалась к ней.

— Это еще что за новости — среди дня плакать, бездельничать. Подумайте, велика важность, что маленькие барышни посмеялись над тобой. Иди мыть посуду. Живо.

Среди ночи Валя неожиданно проснулась. В узкое окно светила луна. Валя провела рукой по щекам. Щеки были мокрые. Значит, она плакала во сне. Но сна она не помнила, и ей не было грустно. Напротив, ей давно уже не было так легко, так покойно, почти весело.

Она подняла голову и стала смотреть на зеленый лунный луч. Спать совсем не хотелось.

«А луна, наверно, круглая, большая сегодня, и на деревьях иней, — подумала Валя. — Пойду посмотрю».

Она тихо встала, закуталась в платок и, взяв сабо в руки, прошла на носках через кухню. Ключ слабо щелкнул, дверь скрипнула. Валя стояла на крыльце. Холодный ветер ударил ее в лицо.

Она зажмурилась от яркого лунного света и глубоко вздохнула.

— Как хорошо, как тихо, как светло.

Огромная, тяжелая луна медленно и тяжело плыла сквозь тучи. Белые зимние звезды как крупная соль рассыпались по темному небу.

Голые деревья тихо вздыхали: на черных ветках как звездный свет блеснул иней. Промерзшая земля хрустела под ногами.

— Как хорошо, как легко.

Валя шла, улыбаясь, прижимая холодные руки к груди.

Она ни о чем не думала. Она уже не чувствовала себя нищей служанкой, она была счастливой девочкой, гулявшей в таинственном лунном саду.

Вот белый камень под елью, на котором она сидела весной.

Она села на него.

Большие белые звезды отражались в темной, неподвижной воде пруда.

Валя крепче прижала руки к груди. Она смотрела прямо перед собой. По щекам ее все еще текли слезы, но она не замечала их. Губы ее улыбались.

— Как хорошо, как легко.

Луна пробилась сквозь тучи. Отражение луны упало с неба в воду, круглое, дрожащее, сияющее. И от этого стало совсем светло. Светло и тихо.

И вдруг посреди пруда встал отец. Он стоял на воде, но это уже была не вода, а синий сверкающий лед. Отец был таким, как на фотографии, висевшей у нее над постелью, — таким, каким она никогда не видала его. Молодой, красивый, в полной парадной форме, с саблей на боку и Георгиевским крестом на груди. Луна светила прямо на него, кивер его ярко блеснул, погоны сияли.

Он протянул к Вале руки.

— Козлик, — позвал он. — Иди ко мне, не бойся.

— Папочка! — крикнула Валя счастливым голосом. — Папа! — и бросилась к отцу.

По пруду пошли большие круги. Прозрачная зеленая вода закрылась над Валиной головой. Сквозь прозрачную зеленую воду Валя увидела совсем близко улыбающееся лицо отца.

— Папа! — крикнула она, и вода хлынула ей в рот.

ЖАСМИНОВЫЙ ОСТРОВ

Из романа

I

Мария открыла дверь и, держась за перила, спустилась в сад.

Весенний, теплый ветер пробежал по ее волосам.

— Вот как все красиво, — сказала она громко и рассмеялась.

Она шла, уверенно ставя маленькие ноги, гордо подняв голову.

Небо было совсем голубое, зеленая трава блестела, колючие, угловатые ели топорщились всеми своими ветвями. Мария прошла вглубь сада, туда, где были яблони.

Но яблонь почти не было видно, ни веток, ни листьев, одни розовые цветы.

— Как клумбы на ножках, — подумала Мария.

Белые бабочки кружились вокруг яблонь, розовые цветы срывались с веток и как бабочки носились по ветру. И нельзя было разобрать, где цветы, где бабочки. Все кружилось и трепетало в солнечном воздухе.

Мария погрозила яблоням:

— Вот как вы теперь послушно стоите, — сказала она строго. — Аккуратно, рядком. А ночью-то что вы делали?

Ночью Мария проснулась. От луны было почти светло в комнате. Мария подняла голову с подушки и взглянула в окно, в сад.

А в саду творилось что-то невообразимое. Луна ярко светила, и все было видно как днем. Яблони бегали вперегонку по дорожкам, быстро перебирая длинными корнями. И не только яблони, но и все деревья, все кусты ходили по саду. Даже огромный, столетний дуб тяжело шел, качая ветвями. Можжевельник, как еж, катался колючим шариком взад и вперед по лужайке, а елки танцевали. Их колючие верхушки подпрыгивали в звездном небе.

Вдруг на дорожку медленно выползла громадная круглая, как подушка, жаба. Она подползла к самому дому, встала на задние лапы, уперлась передними в оконную раму и стала смотреть злыми, круглыми, блестящими глазами в спальню, прямо на постель, прямо на Марию. Потом медленно и широко открыла длинный, хищный, зубастый рот.

Мария ахнула и натянула одеяло на голову.

Когда она снова открыла глаза, утро уже навело порядок в саду.

Да, если бы Мария не видела сама безобразия, творившегося ночью, она бы не поверила: так чинно, так строго стояли теперь деревья и кусты.

Но ведь Мария видела.

— Притворяйтесь, сколько хотите, а я вам не верю, — и она дернула яблоню за ветку.

Яблоня только обиженно зашелестела цветами в ответ. Мария пошла дальше. Надо было все осмотреть. Была весна, а весной в саду каждый день случается что-нибудь новое. Она подошла к сиреневому кусту.

Вчера еще он был совсем зеленый, и Мария упрекнула его.

— Как вам не стыдно быть таким зеленым, когда все кругом розовое?

И куст ответил:

— А вы приходите взглянуть на меня завтра.

Сегодня куст был весь белый, как гора сбитых сливок, от него шел сладкий, щемящий, ванильный запах.

Мария запрыгала вокруг него.

— Ах, какой вы красавец и как вы вкусно пахнете.

Куст протянул к ней свои белые, душистые ветви.

— Это я для вас, — сказал он галантно.

Мария низко присела перед ним, как ее учила приседать экономка Жанна.

— Спасибо вам.

— Поиграйте со мной немножко, — попросил куст.

Но она покачала головой.

— Простите, но я не могу. У меня еще много дел. Спасибо и до свидания.

И она пошла дальше.

В пруду вода была прозрачной и глубокой и уже начинала журчать по-летнему.

Мария села на белый холодный камень и погладила его.

— А, и вы на своем месте? А ночью, верно, тоже бегали?

Но камень притворился, что не слышит.

Ивы тихо шелестели, в голубом небе пролетали белые облака. Облака отражались в воде. Но это уже не были облака. Это были белые гуси, плавающие в пруду.

Что-то тихо захрустело в траве. Из-под прошлогоднего, сухого листа медленно выползла коричневая жаба.

Мария наклонилась к ней. Круглый, выпученный глаз посмотрел ей в лицо, скользкий, холодный взгляд уколол ее в сердце.

Она хотела вскочить, убежать, но нельзя показывать жабе, что она боится.

Она подняла сучок, валявшийся на земле, и осторожно повернула жабу белым, круглым брюшком вверх.

Жаба неуклюже и беспомощно задергала лапами.

— А теперь ты вот какая? Ничего сделать не можешь? А ночью съест меня хотела?

Она подняла сучок. Ткнуть жабу? Нет, лучше не надо. А то она так рассердится, что ночью выломает стекло в спальне.

— Дрянь, — крикнула она жабе на прощанье и побежала прочь.

От встречи с жабой, от ее скользкого, злого взгляда стало тревожно и скучно.

Но деревья вежливо кланялись, солнце светило, и кузнечики трещали в траве.

На зеленой лужайке сидел большой белый голубь, распустив веером хвост.

— Куру-у, куру-у, — проворковала Мария.

Голубь испуганно забегал взад и вперед.

— Что же ты меня боишься? — крикнула ему Мария. — Ведь я тоже голубь. Ведь я тоже голубок.

Но голубь, не слушая, шумно захлопал крыльями и улетел.

Мария развела руками.

— Чего ты испугался? Ведь я тоже голубь, как ты. Таубе — это по-немецки голубь.

Дома в четырехугольной светлой кухне уже ждала Жанна. Она нагнулась к Марии и поцеловала ее.

— Не озябли, маленькая барышня? Садитесь скорее шоколад пить.

Мария постояла перед топившейся плитой.

Из-под резного нормандского шкафа вдруг высунулась голова карлика в красном остроконечном колпаке.

— Не надо ли что-нибудь сработать? — спросил он свистящим шепотом.

Мария покачала головой.

— Ничего не надо.

— А то, если передничек постирать или чулки заштопать, ты только позови. Мы мигом, — и карлик, как мышь, шмыгнул обратно за шкаф.

Жанна поставила на стол чашку шоколада и кусок хлеба с ветчиной.

— Пейте, маленькая барышня, пока горячий.

Мария уселась на свой стул с пестрой подушкой.

— Знаешь, Жанна, теленок жаловался, что его невкусно кормят.

— Чего же он хочет?

— Он хочет тоже шоколаду.

— И ветчины?

— Нет, Жанна. Ветчину он не любит. Он просил еще абрикосового варенья.

— Хорошо, завтра угощу его шоколадом и абрикосовым вареньем. А может быть, вы тоже хотите абрикосового варенья?

— Да, пожалуйста. Если хватит и теленку и мне.

Жанна улыбнулась.

— Хватит. Всем хватит.

Мария допила шоколад и вытерла губы салфеткой.

— А папа где?

— Не знаю. Верно, по делам в деревню пошел.

— А почему папа такой грустный?

Жанна немного смутилась.

— Он совсем не грустный. Вам показалось.

— Нет, он грустный. Скажи, Жанна, он, может быть, хочет улететь на небо и стать ангелом, как мама?

Жанна ласково погладила Марию по голове.

— Не думаю, деточка. Вряд ли он этого хочет.

Мария что-то соображала, приоткрыв рот.

— А со мной ведь ничего дурного не может случиться, раз мама ангел и молится за меня?

— Конечно, не может. Мама молится за вас на небе, а здесь, на земле, мы с папой не дадим вас в обиду.

Мария молча кивнула.

«А главное, карлики. Они за меня горой», — подумала она.

II

Отец Марии, полковник Таубе, быстро шел по дороге.

Он шел, опустив голову и сжимая челюсти. Его длинные руки были глубоко засунуты в карманы, его длинные ноги широко ступали. Влажные волосы прилипли к его лбу.

— Неужели я пропаду? — сказал он вдруг громко. — Неужели все пойдет прахом?

Все. И ферма. Ферма, которой он так долго добивался и которую наконец купил с таким трудом.

Ему показалось, что вся его прочная, разумная жизнь хозяйственного фермера вдруг, как столб пыли, взлетела из-под его ног, закружилась и рассыпалась перед ним. И ничего не осталось от нее.

Он вытер вспотевший лоб рукой. Сердце его глухо стучало.

Неужели впереди только смерть и гибель? Смерть и гибель, как тогда. Но ведь тогда был Ледяной поход. Тогда было отчаяние, героизм, самопожертвование. Тогда он погибал с целой страной.

И все-таки ведь он не погиб. Страна погибла — а он выкарабкался. Он устроил себе новую жизнь. У него хватило сил. Прочную, разумную жизнь. Он все хорошо устроил для Марии и для себя.

А теперь все опять должно было рухнуть. Как тогда. Хуже, чем тогда. Позорно рухнуть.

— Из-за девки, — хрипло крикнул он и сжал кулаки. — Из-за деревенской девки.

Он представил себе ее ненавистное и прелестное лицо, ее жесткие, вьющиеся волосы, красную ленточку на ее смуглой шее и острый, приторно-сладкий запах ее дешевых духов.

— Убить ее, убить, — прошептал он, чувствуя, что от одного воспоминания о ней сердце его уже начинает дрожать знакомой рабской дрожью. — Розина, — прошептал он и сморщился от боли, страсти и отвращения. — Розина, — и имя такое же, как ее духи, приторно-сладкое и противное. Какая гадость.

И он с омерзением плюнул на дорогу.

Что же делать? Продать ферму? Уехать. Нет, он не может жить без нее, без Розины.

Что же тогда? Жить среди позора и гнусности. С каждым днем все больше запускать дела — до хозяйства ли ему теперь, — ревновать ее к мужикам, к своим собственным работникам, становиться с ними в очередь перед ее дверью? Пока все не пойдет прахом, пока ферму не продадут с молотка, пока сам он не повесится.

В памяти вдруг, как из тумана, выплыло бледное, почти белое лицо Государя с широко открытыми, голубыми, пустыми, страшными глазами. Лицо Государя, каким он видел его после отречения в Ставке.

— Господи, — простонал Таубе. — Почему, почему я не умер тогда? Почему меня не расстреляли?

Между деревьев показались крыши, высокая колокольня церкви и у самого входа в деревню черный крест, весь обвешанный вен-

ками увядших цветов — недавно поставленный памятник павшим на войне.

Таубе вышел на маленькую деревенскую площадь и остановился.

Площадь была совсем пуста. И дома вокруг казались пустыми. Только в бакалейной лавке с вывеской «Epicerie Parisienne mademoiselle Mariage», в окне, заставленном банками с леденцами, мелькала голова самой mademoiselle Марьяж.

Но Таубе не видел ее. Он смотрел на угловой низкий домик с квадратными окнами и зелеными ставнями.

«Не пойду, — подумал он. — В четыре придут насчет молотилки. Надо сейчас же вернуться, а то опоздаю».

Но рука его уже толкнула калитку. И вдруг сзади раздался хриплый, протяжный, тревожный звонок.

Таубе испуганно обернулся и увидел, как женщина с мешком открыла дверь в лавку.

Он ясно видел ее и понимал, что звонок звонит оттого, что дверь отворена. Но от звука этого протяжного, тревожного звонка стало холодно в крови.

Будто звонок доносился к нему не из лавки mademoiselle Марьяж, а из таинственного, невидимого мира. Будто из того мира хрипло, тревожно и предостерегающе звонили ему.

«Предостережение», — смутно подумал он и вошел на крыльцо.

А звонок все продолжал звонить. Покупательница стояла на пороге лавки. Mademoiselle Марьяж подбежала к ней.

— У Розины почтальон. Уже полчаса, — крикнула она, вытягивая шею. — А сейчас вошел русский. Ах, что будет, что будет?

— Дайте же мне закрыть дверь, — покупательница даже немного толкнула mademoiselle Марьяж, — а то этот звонок...

— Входите, входите, — заторопилась mademoiselle Марьяж. — Идите сюда, к окну. Русский влюблен в Розину.

Mademoiselle Марьяж дрожала мелкой дрожью. Глаза ее восторженно блестели.

Покупательница положила мешок на стул.

— Дайте мне, пожалуйста, бутылку уксусу и кило сахара.

Но mademoiselle Марьяж отмахнулась от нее и, как улитка, прилипла к окну.

— Вы не понимаете? Я вам говорю, будет несчастье.

Покупательница тоже придвинулась к окну. Волнение и любопытство передались и ей.

— Может быть, предупредить полицию?

— Нет, оставьте. Это так интересно, так страшно.

— Но ведь нельзя позволить, чтобы русский убил француза.

Mademoiselle Марьяж не то поперхнулась, не то всхлипнула.

— Это драма ревности. И зачем же непременно убить? Может быть, он только ранит его. Или убьет ее. Такие женщины должны быть готовы ко всему, — и она потерла ладонью оконное стекло, запотевшее от ее дыханья.

Лицо покупательницы стало кирпичным от волнения. Она плюснула нос о стекло.

— Боже мой, Боже мой. Что будет? А вдруг русский опьянеет от вида крови, вбежит сюда и убьет нас? Не запереть ли дверь? Как вы думаете?

— Заприте, — коротко ответила mademoiselle Марьяж, не отрываясь от окна.

Таубе вошел в маленькую комнату. На стене висело распятие и зеркало в золоченой рамке. Каменный пол был чисто вымыт. На столе, на вязаной скатерти, стояла зеленая ваза с бумажными цветами.

— Розина, — позвал Таубе.

— Кто там? — крикнул женский голос.

— Я, барон Таубе, — быстро, по привычке ответил он и покраснел от стыда. Так комично прозвучало слово «барон» в этой нищенской комнате, так комично определяло оно гостя, влюбленного в деревенскую проститутку.

За дверью послышалась возня, скрипнула кровать, и мужской голос тихо и недовольно сказал:

— Он может подождать.

Но женский голос перебил его:

— Нет, нет. Уходи.

— Но ведь я дал тебе десять франков.

— Приходи вечером. А сейчаспусти меня. Пустите же.

Кровь громко застучала в ушах, мешая слушать голоса за дверью. Таубе сжал кулаки.

— Розина! — крикнул он.

Дверь сейчас же отворилась, и в комнату вбежала Розина. Ее ситцевое платье было расстегнуто на груди, туфли надеты на босую ногу. Темные волосы падали ей на плечи, она держала шпильки в рту и смущенно улыбалась.

— Здравствуй, — шепеляво сказала она. Шпильки мешали ей говорить. — Как мило, что ты пришел.

И, подняв смуглые руки, стала быстро прикалывать волосы на затылке.

— Что же ты молчишь?

Она взглянула на него сбоку с тем вульгарным, лукавым и детским кокетством, которое так очаровывало его.

— Ты сердисься? Отчего ты опять сердисься?

— Розина, — начал он.

Но она уже знала, что он скажет.

— Ах, не упрекай меня, — лицо ее стало капризным и обиженным. — Разве я не пришла сейчас же! Разве я не прогнала того?

Как будто в подтверждение ее слов через сад быстро прошел почтальон.

Розина, как кошка, потерлась головой о плечо Таубе.

— Видишь? Ты должен меня похвалить, а не сердиться.

Она застегнула платье на груди и дотронулась до шеи.

— Моя ленточка. Я забыла завязать ленточку.

Он взял ее за руку.

— Оставь. Мне надо поговорить с тобой.

Но она вырвалась и убежала.

— Нет, нет. Я хочу тебе нравиться. Я сейчас.

Он остался один, чувствуя, что все мучения, все унижения, которые он перенес, были ничем по сравнению с тем, что ему еще предстояло перенести.

— «Жизнь начинается завтра», — насмешливо прошептал он название когда-то прочитанного романа. — Да, да, только начинается.

И ему показалось, что он видит черную и гладкую стену перед собой. Ни взобраться на нее, ни пройти через нее нельзя. Об нее можно только разбить голову.

Розина вернулась с красной ленточкой, по-кошачьи повязанной на шее. Губы ее были намазаны, глаза подведены. Он вдохнул приторно-сладкий запах ее духов.

— Хорошо так? — она улыбнулась. — Это для тебя. Ты ведь понимаешь, что красиво. Для них не стоит стараться.

Он взял ее за руку.

— Розина, — сказал он. — Неужели ты не можешь не принимать их? Быть только со мной?

Она опустила подведенные ресницы.

— Я не могу.

— Но ведь ты обещала мне.

— Я обещала только так, для виду, чтобы ты перестал дуться. Нет, я не могу.

— Но почему? Я дам тебе много денег.

Она покачала головой.

— Они все вместе дадут мне больше.

— Нет. Я буду давать тебе четыреста франков в месяц.

— Четыреста франков?

Это была огромная сумма, и Розина задумалась, сдвинув брови.

— И все-таки я не могу. Я не могу не принимать их. Они обидятся, они рассердятся.

Она снова покачала головой.

— Нет, даже за четыреста франков я не могу.

— Но чего же тебе бояться? Я защищу тебя.

Она гордо выпрямилась.

— Я не нуждаюсь в защите. И вы чужой, а они свои, я выросла среди них. Они всегда были добры ко мне. Я не могу их так обидеть.

— Что же тогда делать?

— Ничего сделать нельзя. Все так и будет продолжаться, пока я не состарюсь и не подурнею. Но это еще очень далеко, и к тому времени у меня будет много денег. Ведь я откладываю.

Таубе снова увидел черную, гладкую стену. Только разбить голову.

— Значит, все так и будет продолжаться?

— Да, так и будет. Пока я не состарюсь, или умру, или, — она неожиданно рассмеялась веселым, визгливым смехом, — или если кто-нибудь захочет жениться на мне.

— Жениться на тебе? — повторил он.

— Ну да, да. А почему бы и нет? — она дрожала от смеха, даже красная ленточка запрыгала на ее шее. — Вдруг кто-нибудь захочет жениться на мне. Тогда я отвешу всем низкий поклон, устраивайтесь, как хотите. Прощайте и больше не рассчитывайте на меня.

Таубе порывисто вздохнул.

И вдруг перед его глазами в черной, гладкой стене показалась светлая щель. Совсем узкая. В нее нельзя было пролезть. Но все-таки это щель.

— Розина, — сказал он хрипло. — Розина, хочешь быть моей женой?

Она забила в ладоши.

— Хочу ли я? Конечно, хочу. Кто же не хочет быть баронессой?

Она поднялась на носки, закинула голову назад — и высокомерно раздула ноздри.

— Баронесса Таубе, — крикнула она, захлебываясь от смеха.

Он взял ее за плечо. Он был очень бледен.

— Нет, я серьезно спрашиваю тебя. Хочешь быть моей женой?

Она взглянула ему в глаза и вдруг тоже побледнела.

— Серьезно? — почти с испугом прошептала она.

Он кивнул.

— Да.

— Вашей женой? Вы хотите, чтобы я стала вашей женой?

Ее бледное лицо вдруг отяжелело. Молодость, лукавство и прелесть исчезли с него; сквозь тонкие черты Розины проступило что-то грубое, простое и честное лицо. Лицо матери или бабушки Розины. Лицо нормандской крестьянки.

— Я буду вам верной женой, — сказала Розина огрубевшим от волнения голосом, так, как, должно быть, говорили и мать ее и бабушка. Она подняла руку перед распятием. — Клянусь Спасителем, я буду вам верной женой.

III

Почтальон вышел на площадь, сел на свой велосипед и уехал.

Покупательница разочарованно отвернулась от окна.

— Видите, уехал. А вы говорили.

Mademoiselle Марьяж поймала ее за угол платка.

— Подождите. Он уехал, но неизвестно еще, что там.

И она дрожащим пальцем показала на дом Розины.

Покупательница пожалала плечами.

— Неизвестно? Очень даже известно. Отпустите мне сахар. Мне некогда в окна глядеть.

Покупательница заторопилась, как будто стыдясь своего любопытства.

— Меня ждут мои дети и мой муж.

Это уже была шпилька mademoiselle Марьяж. У mademoiselle Марьяж не было ни детей, ни мужа. Она могла глядеть в окна.

Но mademoiselle Марьяж не обиделась, она даже не слышала слов покупательницы.

— Возьмите сахар на полке справа в углу, — сказала она, не отрываясь от окна.

Покупательница положила деньги на прилавок.

— До свидания. А все-таки вы напрасно уходите. Я вам говорю...

Ключ щелкнул в замке, звонок громко задребезжал и умолк.

Mademoiselle Марьяж осталась одна. Она ближе придвинулась к окну и стала ждать.

Все было тихо в белом домике. Но она не верила этой притворной тишине. Она знала, она видела. Да, она ясно видела сквозь стену низкую, светлую комнату, широкую смятую постель. Розина в разорванной рубашке лежала на желтом вязаном одеяле. Рука ее тяжело свешивалась с постели, колени были судорожно подтянуты. Она лежала на спине, голова ее была откинута. Из широкой раны на шее текла кровь. Кровь стекала на белые простыни, на одеяло, на чистый пол. Русский стоял на коленях около кровати и, плача, целовал мертвые босые ноги Розины. Руки его были в крови.

Глаза mademoiselle Марьяж восторженно закатились под лоб.

— Как страшно, как страшно, — восторженно прошептала она.

И вдруг дверь домика отворилась и в сад вышел Таубе. Он был совсем белый. Глаза его дико блестели.

«Совсем белый, как жестянка из-под карамели», — мелькнуло в голове mademoiselle Марьяж. Никогда еще она не видела такого бледного, такого ужасного лица. Он шел, покачиваясь, неуверенно ставя длинные ноги, втянув голову в плечи. Так, как должен идти убийца. Именно так.

Mademoiselle Марьяж тихо ахнула и прижалась в угол, чтобы он не видел ее. Так страшен он был, так страшен был убийца.

Уже не было сомнения. Уже не могло быть сомнения.

— Убийца, — задыхаясь прошептала она.

Он прошел перед самой лавкой. Mademoiselle Марьяж прижалась лицом к холодному стеклу. Холод стекла вместе с ужасом проник в ее кровь, пробежал по венам, и в теле стало пусто и холодно. Холод и ужас докатились до сердца. И сердце почти перестало биться. Она смотрела на убийцу и не могла ни шевельнуться, ни крикнуть. Сердце почти не билось. И нельзя было закрыть глаза, чтобы не видеть белого лица, страшного лица убийцы.

Но в домике напротив вдруг с треском отворилось окно, и Розина высунулась в него.

— До завтра, — крикнула она весело и помахала рукой.

Таубе обернулся и, не останавливаясь, молча снял шляпу.

«Что же это?» — Mademoiselle Марьяж, не понимая, смотрела то на него, то на нее.

Потом встала, сильно толкнув табурет.

— Они все свиньи, — прошептала она сухими, воспаленными губами. Просто свиньи. Разве они умеют любить?

IV

Mademoiselle Марьяж было сорок лет. Лавка перешла к ней от брата. Дела шли очень хорошо. Но дела не интересовали ее.

Единственное, что интересовало ее, была любовь.

Она ставила ящик на полку и думала: отчего никто не любил меня? Она говорила: «Надо выписать полотно из Руана», но для нее это значило: «Отчего никто не женился на мне?»

Все в мире сводилось к этому. Никто не любил ее, никто не женился на ней.

Но почему? И как это случилось?

Она подметала каменный пол лавки и думала: «Ведь я тоже могла быть замужем». От одной этой мысли кровь прилиwała к ее бледным щекам, и щетка с шумом падала из ее сразу ослабевших рук.

Она тяжело садилась на стул.

— Быть замужем, — шептала она.

Она никогда не старалась представить себе, какой мог быть ее муж. Не все ли равно, был бы он худой или толстый, усаый или лысый. Он был бы мужчиной, был бы ее мужем. И она была бы счастлива.

Она завидовала всем женщинам. Она завидовала даже Ивонне, работнице Троншара.

Ивонну бросил любовник, и она повесилась на чердаке. Ее нашли вечером. Она висела под самым потолком. В сумерках нельзя было разглядеть ее лица и веревки тоже совсем не было видно. Окно осталось открытым, и ветер трепал ее розовое накрахмаленное шуршащее платье и белый передник. И от этого казалось, что Ивонна живая, что она летит по темному чердаку. Вся деревня сбежалась смотреть на Ивонну. Все плакали и жалели ее. Одна mademoiselle Марьяж с завистью смотрела на нее. Все-таки Ивонна узнала то единственное, из-за чего стоило жить. Все-таки она была счастливее mademoiselle Марьяж.

Mademoiselle Марьяж завидовала всем замужним женщинам. Но они были так неблагодарны. Они вечно жаловались на мужей. И они никогда не говорили о любви. Они говорили только о хозяйстве, о заботах, о болезнях детей. Нет, это совсем не интересовало ее.

Во всей деревне была только одна женщина, говорившая о любви. Это была Розина.

Розине только что исполнилось пятнадцать лет, когда умер ее отец. Он был контужен на войне и с горя пил, пока не пропил все, что у него было. Все, исключая белого домика, в котором он жил с дочерью. Тогда он умер, и Розина осталась одна в белом домике.

Вечером, после похорон, она сидела у окна и плакала. Мимо проходил богатый фермер Троншар. Он остановился и погладил девочку по волосам.

— Тебе очень жаль отца?

Розина покачала головой.

— Нет, не очень. Но я голодна.

— Хочешь копченой колбасы? — спросил он.

Она улыбнулась.

— Конечно, хочу.

— Да ты прехорошенькая. Улыбнись-ка еще раз.

И она снова улыбнулась.

— Хорошо, — решил он. — Я принесу тебе колбасы, вина и хлеба. Даже конфет принесу. Но тыпустишь меня в дом?

— Конечно, впусти.

Он побежал через площадь в лавку mademoiselle Марьяж, и Розина удивилась, что такой важный, богатый фермер может так быстро бегать.

Он почти сейчас же вернулся, вошел в дом и запер входную дверь на ключ.

— Зачем? — спросила Розина.

— Так надо, — ответил он, закрывая ставни. — На, ешь, а я подожду пока, — и он подал ей сверток.

Когда Троншар ушел, Розина долго плакала, положив голову на подушку, потом встала с кровати, подошла к столу и доела остатки копченой колбасы.

На следующий день опять захотелось есть, и она опять села у окна. Она ждала, пока мимо не прошел мэр. Тогда она стала громко всхлипывать.

Мэр остановился, снял очки и протер их клетчатым носовым платком.

— Бедная девочка, — сказал он, — твоему отцу теперь хорошо. Он в раю.

Она сквозь слезы грустно посмотрела на него.

— Не плачь, грешно портить такие хорошенькие глаза. Я не думал, что ты так любила отца.

Она всхлипнула.

— Нет. Но я голодна.

...Когда мэр отпер входную дверь, чтобы уйти, Розина села на постель, свесив босые ноги.

— Господин мэр, вы были очень добры ко мне, но у меня нет траурного платья, — сказала она быстро. — Стыдно ходить в розовом, когда отец умер. Да оно и рвется под мышками.

Мэр дал ей денег на платье, и она еще раз поцеловала его.

Он ушел, а Розина встала и доела ветчину и пирожные, которые он принес ей. Потом, напевая, пересчитала деньги и спрятала их в комод.

Больше Розина не плакала. Она садилась у окна и, улыбаясь, ждала. В темные вечера, когда на небе не было луны, она вешала на крыльцо желтый бумажный фонарь, чтобы ее гости нашли дорогу к ней.

Mademoiselle Марьяж смотрела на желтый фонарь из окна спальни. Кругом все было черно, и фонарь желтел, как маленькое, сказочное солнце. Как будто в нем одном сосредоточивалось все запретное счастье, вся греховная прелесть жизни.

Она не могла не смотреть на него. Она закрывала окно, затягивала шторы, но и сквозь шторы узкий, желтый, острый луч колот ее сердце.

Mademoiselle Марьяж готовилась ко сну. Она причесывала жидкие волосы.

— Виктор Гюго, пора, — говорила она.

Старый пудель тяжело спрыгивал с кресла и шел к двери.

— Подождите, Виктор Гюго, я скоро.

Она открывала дверь, и пудель выходил в коридор.

Она всегда говорила пуделю «вы» из уважения к его имени.

Пудель ждал за дверью, она торопливо раздевалась. Она была очень стыдлива. Виктор Гюго не должен был видеть ее в рубашке. Она тушила свет и только тогда впускала его.

— Входите, Виктор Гюго. Спокойной ночи.

Она в темноте ложилась в постель. Холодные простыни давили грудь, она сжимала руки. Ей было тяжело и томно. Желтый фонарь за окном беспокоил ее.

И однажды она не выдержала, встала с постели и быстро оделась. Руки ее дрожали, щеки горели. Она чувствовала, что делает что-то ужасное, непоправимое, но не было сил бороться.

Она надела свое меховое боа и в войлочных домашних туфлях спустилась вниз. Площадь была пуста. Было совсем темно и очень поздно.

Никогда еще она не была ночью одна на улице. Сквозь черные тучи слабо просвечивала луна. Вечером шел дождь, дождевые капли тихо падали с деревьев, и площадь влажно поблескивала.

Mademoiselle Марьяж добежала до фонаря и захлебнулась от волнения. Калитка скрипнула, и ей показалось, что сердце ее оборвалось и полетело куда-то вниз. Сейчас откроется дверь. Ее поймают. Какой скандал, какой скандал — mademoiselle Марьяж ночью в саду у Розины!

Но все было тихо в доме. Она на носках осторожно подкралась к окну. Ставни были закрыты, она приложила глаз к скважине.

Вот сейчас она увидит, сейчас она узнает.

Но ничего нельзя было разобрать. В глазах плыл туман. Понемногу из тумана выступили цветы на обоях, комод и стул. Это была спальня Розины. Это была знакомая комната, в которой прежде часто бывала mademoiselle Марьяж, но она не узнала ее. Теперь все в этой комнате казалось необычайным, от стен и предметов шел неотвратно-притягивающий, греховный, губительный свет. Она смотрела в щель, и ей казалось, что ей вдруг открылась самая тайная, самая обнаженная сущность жизни. Она зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть.

Она смотрела в щель. Со стула свешивался пиджак, грубые, мужские сапоги были брошены на полу. Кровать стояла так, что видна была только ее широкая, темная спинка. Больше ничего не было видно. Только пиджак, сапоги и спинка кровати. И было совсем тихо, ни голосов, ни шороха.

Mademoiselle Марьяж дрожала всем телом. Зубы ее стучали.

И вдруг пружины в кровати загудели.

— Ну, пора и домой, — сказал хрипловатый мужской голос, и большая волосатая нога свесилась с кровати на пол.

Mademoiselle Марьяж глухо вскрикнула и бросилась к калитке. Ее боа зацепилось за ветку, и капли дождя веером брызнули ей в лицо. Она снова вскрикнула и побежала.

Она, задыхаясь, вбежала к себе, бросила на пол мокрое, пахнущее псиной боа, сорвала с себя платье. Виктор Гюго удивленно смотрел на свою хозяйку умными, осуждающими глазами. Но ей было не до него.

Она легла, потушила свет, натянула одеяло на голову и заплакала.

Утром она встала разбитой и грустной. Как будто теперь у нее было любовное прошлое. Печальное и позорное прошлое, о котором она старалась не помнить.

Mademoiselle Марьяж смотрела на себя в зеркало.

«Конечно, я не красавица. Но все-таки, отчего никто не любит меня? Отчего я не вышла замуж? — она пристально разглядывала себя. — Конечно, я не красавица. У меня большой рот и зубы желтые и редкие. Но зато какие крепкие, ни одной пломбы. Они немного лезут вперед. Но ведь у Мистангэт зубы тоже лезут вперед, а какую она карьеру сделала. У меня небольшие глаза, но как они блестят и как легко они закатываются под веки».

Звонок громко задребезжал. Mademoiselle Марьяж обернулась. В магазин вбежала Розина.

— Mademoiselle Марьяж, — крикнула она. — Вы еще не знаете. Я выхожу замуж!

— Замуж? Вы? — mademoiselle Марьяж уронила зеркало на пол.

— Вы разбили зеркало. Это дурная примета, — лицо Розины стало озабоченным. — И такое хорошее зеркало.

Mademoiselle Марьяж подняла его и повертела в руках. Но нельзя же так глупо шутить.

Розина покачала головой.

— Нет. Я не шутила. Я действительно выхожу замуж.

— Выходите замуж? Вы? — mademoiselle Марьяж снова уронила зеркало, но теперь она даже не взглянула на него, да оно и было разбито. — Вы? Вы выходите замуж?

Розина гордо выпрямилась.

— Представьте себе. Выхожу.

— За кого? — глаза mademoiselle Марьяж закатились под лоб.

— За барона Таубе. Вот за кого.

— И будете баронессой?

Розина еще выше подняла голову.

— И фермершей. У меня будет собственная земля.

— Вы шутите, Розина? — визгливый голос mademoiselle Марьяж сорвался от волнения.

— Такими вещами не шутят, — с достоинством ответила Розина.

— Конечно, не шутят, — mademoiselle Марьяж всплеснула руками. — Ах, Господи, замуж. Но тогда я должна поздравить вас.

Розина улыбнулась.

— Спасибо. Завтра мы с вами обсудим, что надо выписать для моего приданого. А сейчас я хотела только, чтобы вы первая знали. Ну, до свидания.

Она пошла к выходу.

— Если будут стучать, а я не открою, вы не беспокойтесь. Вы понимаете, больше я никого не буду принимать. С прежним все покончено.

В mademoiselle Марьяж на минуту проснулась комммерсантка.

— Розина, вам из Парижа прислали духи, румяна и пудру.

Розина пожалала плечами.

— На что они мне теперь? Я, конечно, заплачу за них, но и вы можете делать с ними что хотите. Хоть сами душиться и мазаться, — она вдруг весело рассмеялась. — А почему бы вам не взять себе всех моих влюбленных?

Mademoiselle Марьяж густо покраснела, на висках ее выступили капли пота. Прежде Розина никогда не посмела бы говорить с ней так.

— В самом деле, подумайте об этом, mademoiselle Марьяж, — и Розина, смеясь, выбежала из лавки.

Вечером mademoiselle Марьяж сидела в своей спальне на кровати.

Никогда еще она не чувствовала себя такой грустной и усталой. Какой длинный, странный и утомительный день был сегодня. В голове мелькали обрывки воспоминаний. Как ахала булочница. А почтальон долго не хотел верить. «Ведь тогда мои десять франков пропали», — все повторял он. Лавка торговала, как накануне Рождества, и всем надо было рассказывать новость о Розине. Mademoiselle Марьяж вздохнула.

— Даже такие выходят замуж, даже такие. А я...

Но было и приятное воспоминание.

— Monsieur Троншар, — позвала она Троншара, проходившего мимо, — зайдите ко мне, я расскажу вам, почему Розина не впустила вас.

Он вошел в лавку, но ведь она не так проста, чтобы сразу все выложить. Нет, она заставила его помучиться.

— Какая хорошая погода, — сказала она. — Садитесь, пожалуйста. У вас дома все здоровы?

О, она прекрасно видела, что он злится, что он волнуется.

— Я утром получила превосходные шерстяные носки, не надо ли вам?

Он покачал головой.

— Что же про Розину?

Тогда она сделала таинственное лицо.

— Такое, о, такое. Вы будете очень удивлены.

— Да говорите же, — торопил он.

— Ужасно много мух в этом году, — жаловалась она. — Я всюду развесила липкую бумагу.

Он стал совсем красный.

— Что же, наконец, с Розиной?

Тогда она сказала. Да, он был удивлен, он был огорчен. Ей было очень приятно смотреть на него. Такой важный, богатый фермер.

Потом стали приходиться соседи. Еще никто не знал, и Mademoiselle Марьяж до хрипоты рассказывала все одно и то же. И с каким интересом ее слушали. Да, это было очень приятно.

И все-таки ей было грустно, она чувствовала себя усталой и слабой. «Надо скорее лечь».

Но она не двигалась. Она думала о своей жизни, о жизни Розины.

— Где же справедливость? — прошептала она вдруг. — Где же справедливость? Нет справедливости. Нет справедливости на земле. Одному все, другому ничего. Но почему именно мне — ничего?

Она расстегнула воротник платья. Как эта нахалка говорила с ней. «Вы можете оставить себе мои румяна и духи. Отчего бы вам не взять и моих влюбленных?»

Голова mademoiselle Марьяж затряслась.

— Какая нахалка эта Розина.

Она взяла свечу и спустилась вниз в лавку. Желтое пламя свечи колыхалось от сквозняка, все казалось таинственным и призрачным в его неверном свете. Ящики и банки, как горы, громоздились на полках, прилавок был похож на гроб, черная огромная тень mademoiselle Марьяж прыгала на стене, вытягиваясь до потолка.

Mademoiselle Марьяж стало страшно. Она протянула руку, пошарила на полке, нашла неразвязанный пакет и, прижимая его к груди, быстро взбежала по лестнице.

У себя она поставила свечу на комод и стала разворачивать пакет. Это были румяна, кремы, духи и пудра, присланные утром из Парижа. Пальцы ее немного дрожали, когда она перерезала веревку. Она смотрела на пеструю коробку, на стеклянные баночки. Она видела их много раз, но они раньше всегда казались ей обыкновенным товаром, как ситец, керосин или марсельское мыло.

Она впервые чувствовала волшебную силу этих склянок и флаконов. Ведь в них была заключена красота и молодость. Красота, молодость и счастье. Она осторожно откупорила духи и, зажмурившись, понюхала их. Да, это запах счастья, это запах любви.

Она расставила все банки и флаконы на комод. И комната сейчас же приняла новый вид — будто в ней жила не mademoiselle Марьяж, а счастливая, веселая, любимая женщина.

— Dorin Paris, — прочла она на крышке коробки с румянами, — Paris, — повторила она и на минуту представила себе этот никогда ею не виданный Париж и счастливых нарумяненных, надушенных женщин, идущих по его улицам.

Она в нерешительности держала румяна в руке.

— А что, если попробовать? — и осторожно провела пуховкой по щеке.

Щека сразу нежно порозовела, будто молодая кровь прилила к ней.

Mademoiselle Марьяж провела пуховкой по другой щеке, и она тоже стала розовой.

Тогда, все больше волнуясь, она подвела себе глаза и направила губы.

И вдруг произошло чудо. Да, это было чудо, настоящее чудо, иначе этого нельзя было назвать. Из зеркала на нее смотрело молодое красивое лицо. Да, это было чудо, это было волшебство. Она была красива, и ей было двадцать лет.

Прошлое сразу исчезло от прикосновения красной пуховки, в облаке белой пудры, в сладком запахе духов.

Ей было двадцать лет, и она была красива.

— Неужели это я? Неужели я? — спрашивала она, наклоняясь к зеркалу.

Большие глаза счастливо блестели, красные губы счастливо улыбались.

— Это я. И я красавица.

Она всплеснула руками и громко засмеялась.

— Я красавица. Я лучше Розины. И никто не знал. И никто еще не знает. Ах, поскорее бы утро, чтобы все, все увидели.

Она встала и прошлась по комнате. Пусть хоть стулья, кровать и обои посмотрят на нее, если больше некому. Она держала в поднятой руке свечу, освещая ею свое лицо.

— Видите, видите, — повторяла она, кружась по комнате. — Вот я какая. А вы и не знали. Вы думали, старая, некрасивая, смешная. А я красавица. Вот кто я.

На кресле, свернувшись клубком, спал Виктор Гюго.

— Виктор Гюго, посмотрите на меня.

Пудель тупо и сонно уставился на свою хозяйку.

— Вы поражены, Виктор Гюго. Вы не верите своим глазам? Ах, и я тоже, я тоже не верю.

Она снова села перед зеркалом.

— Раньше восьми никто не придет в лавку. Но зато как я буду торжествовать. Все, все будут у моих ног. Может быть, я даже русского отобью от Розины, — она покачала головой. — Нет, на что он мне? Ведь их у меня так много будет.

Она наклонилась к зеркалу.

— Я люблю вас, Жюльетта, — сказала она измененным голосом, так, как будет говорить ей влюбленный в нее мужчина. — Я люблю вас и не могу жить без вас.

— Ах, как вы мне все надоели, — продолжала она тонко и высоко, — все мужчины влюблены в меня. Дышать не дают, — и она кокетливо погрозила кому-то пальцем.

Свеча понемногу оплывала. Часы пробили три. Mademoiselle Марьяж не отрываясь смотрела на себя.

— Только бы скорее настало утро.

Понемногу небо стало светлее. Оплывающая свеча неприятно желтела в смутном утреннем свете. Mademoiselle Марьяж вздрогнула.

— Что это?

Она как будто немного изменилась. Надо еще нарумяниться. Она потерла щеки красной пуховкой, потом напудрилась и снова стала не отрываясь тревожно смотреть на себя.

— Ах, я забыла намазать нос кремом и лоб тоже. Это оттого...

Она взяла фарфоровую баночку.

— Сейчас я буду еще красивее, — и она стала густо покрывать лицо белилами.

С каждой минутой становилось все светлее. Чистый, холодный, беспощадный свет наполнил комнату. И с каждой минутой лицо mademoiselle Марьяж становилось все безобразнее, все страшнее.

Но она не верила, не хотела верить.

— Еще немного пудры. Губы подмазать, щеки надо ярче нарумянить.

Лицо в зеркале становилось все страшнее, все отвратительнее.

От белил щеки покрылись, как у покойника, голубоватыми подтеками, по ним грязными багровыми пятнами расплылись румяна, длинный ярко набеленный нос заострился.

— Что это? Не может быть. Это не я, не я.

Она постаралась улыбнуться.

— Жюльетта, — прошептала она.

Страшное, намазанное, безобразное лицо вдруг исказилось судорогой, две длинные морщины прорезали щеки, и огромный кровавый рот оскалился желтыми лошадиными зубами.

Mademoiselle Марьяж вскрикнула и уронила голову на стол. Флакон духов со звоном полетел на пол и разбился. Едкий, приторно-сладкий запах наполнил комнату, и от этого приторно-сладкого запаха стало еще безнадежнее, еще тоскливее, еще страшнее.

Она громко заплакала, закрыв лицо руками, размазывая белила и румяна по своему старому уродливому лицу.

VI

Мария играла в саду под яблонями.

Таубе вышел из дому.

— Мурочка, — позвал он. — Где ты?

Она побежала к нему навстречу.

— Папа, пожалуйста, поедем на лодке.

Он покачал головой.

— После, после. Мне надо сказать тебе...

— Сказку? — весело перебила она.

— Нет, деточка, не сказку, — он взял ее на руки. — Прости меня,

Мурочка. Прости меня.

Она взмахнула ногами.

— Выше, выше. Покачай меня <!>

Но он уже спустил ее на землю.

— погоди, Мурочка. Не прыгай. Ты еще маленькая, но постарайся понять, — он помолчал немного. — Я женюсь, — сказал он медленно.

Она рассмеялась.

Он прижал ее к себе.

— Мурочка, не смейся. Я правда женюсь. Я женюсь, и у тебя будет новая, — он остановился, подыскивая слово, — у тебя будет новая мама.

Мария смотрела на отца, стараясь понять. Какая новая мама? Откуда? На помощь из памяти вдруг вынырнули сказки.

— Мачеха! — крикнула Мария. — Мачеха. Не хочу.

— Она будет тебя очень любить. Ты увидишь, как весело будет.

Но Мария продолжала кричать.

— Не хочу, не хочу мачехи.

Она вырвалась из рук отца и топнула ногой.

— Не хочу, и этого не будет, — крикнула она и побежала в дом.

В кухне никого не было. Она подошла к шкафу.

— Карлики, — позвала она. — Карлики.

Под шкафом что-то завозилось, и несколько голов в красных остроконечных колпаках выглянули из-за него.

— Что прикажешь? Почистить? Помыть?

Мария протянула к ним руки.

— Помогите мне, карлички. Папа хочет жениться на мачехе. Я не хочу. Не надо. Помешайте.

Карлики совсем вылезли из-под шкафа и уселись на пол вокруг Марии.

— Жениться на мачехе? Это плохо.

— Помогите, — просила она.

Карлики грустно качали головами в красных колпачках.

— Как помочь? Они злые, мачехи. Они ведьмы. С ними трудно бороться.

— Ах, пожалуйста, — всхлипнула Мария. — Я — сиротка.

Карлики глубоко и горестно вздыхали, совсем как ветер, шелестящий старыми газетами на чердаке.

— Мы попробуем. Ты не плачь, — утешали они.

— Можно горох на полу у нее рассыпать, она ногу сломает, — предложил один карлик.

— Не годится, — перебил другой. — Хромоножкой только злее станет.

— Можно было бы ее в ворону превратить или лучше в кофейную мельницу.

— Не поддастся. Она ведьма.

Мария громко плакала.

— Неужели ничего нельзя?

— Подожди. Мы придумаем, — карлики потеряли лбы. — Придумаем. Изведем ее.

— Обещаете? Честное слово?

Карлики как по команде сняли свои колпачки и наклонили головы.

— Обещаем. Честное слово. Или мы, или она.

Мария забила в ладоши.

— Ах, какие вы милые, карлички. Спасибо, спасибо.

— А ты иди играть. И не думай об этом.

Но Мария все еще не совсем верила.

— Так не будет мачехи?
— Не будет, — хором ответили карлики и быстро шмыгнули обратно за шкаф.

В кухню входила Жанна. Глаза ее были красны.

— Бедная маленькая барышня.

Мария рассмеялась.

— И совсем не бедная.

— Разве папа не сказал вам?

— Сказал, но мачехи не будет.

Жанна покачала головой.

— Будет. Уже день свадьбы назначен. Если бы не вы, я сегодня же отказалась бы от места. Стыдно служить у такой.

— А я говорю, не будет мачехи. Не плачь, Жанна. Не будет, увидишь.

Каждый вечер Мария совещалась с карликами. И карлики говорили:

— Все устраивается. Мачехи не будет.

VII

Наконец настал день свадьбы.

Мария проснулась рано. В открытое окно светило солнце и заглядывали зеленые ветки лип.

Не может быть, чтобы в такой веселый, солнечный день пришла мачеха. Нет, это невозможно. Карлики устроят. Ведь они обещали.

Жанна принесла ей молоко.

— Вставайте, маленькая барышня, — сказала она грустно.

Мария прыгнула с постели.

— Папа велел вам белое платье надеть. Все-таки праздник.

— Конечно, праздник, — согласилась Мария. — Достань мои белые туфельки и голубой пояс.

Она сбежала вниз. Отец уже сидел в столовой. Он был очень бледен.

— Хочешь поехать в церковь, Мурочка?

— Конечно, хочу.

Ведь надо посмотреть, как карлики будут справляться с ведьмой.

Отец погладил ее по голове.

— Спасибо тебе, Мурочка, ты умница и не мучаешь меня. Мне и так тяжело.

Церковь была совсем пуста. Сквозь высокие пестрые окна пыльными лучами падало солнце. Торжественное и непонятное пение улетало под своды потолка. Желтое пламя свечей таинственно колыхалось.

Мария сидела на первой скамье.

Таубе и Розина стояли перед алтарем и за ними четыре шафера — работники Таубе. На Розине было белое платье и длинная белая вуаль. Она выглядела очень молодой и совсем не похожей на ведьму. Скорее на фею. Но Мария знала: она прикидывается.

Служба тянулась долго. Мария ждала. Когда же, наконец, покажутся карлики? Но их все не было, и Мария начала потихоньку плакать. Карлики обманули.

Венчанье кончилось. Таубе и Розина пошли к выходу. Мария тихо плакала, прижимаясь щекой к спинке скамьи.

Один из работников подошел к ней.

— Что же вы, маленькая барышня? — он поднял ее на воздух. — Пойдем поздравим папу и маму.

Но Мария забилась на его руках.

— Не хочу, не хочу.

— Мурочка, — позвал отец.

Розина посмотрела на нее.

— Какая капризная девочка, — сказала она равнодушно.

Мария обхватила руками шею работника и затихла. Карлики обманули, ведьма победила. Кричи не кричи, не поможет теперь.

В церковь доносился глухой гул, будто шум моря. Они вышли на паперть. Вся деревня столпилась в церковном саду и ждала их.

— Вот они! Вот они! — со всех сторон тянулись гримасничающие лица. Широко открытые рты кричали: — Невеста! Видели вы такую невесту? А жених, жених!

И вдруг грянула оглушительная дикая музыка. Почтальон бил в барабан, Троншар, вспотевший и красный, изо всех сил дул в игрушечную трубу, рядом аптекарь стучал разливательной ложкой в медную кастрюлю. Женщины визжали, собаки лаяли. Кто-то привел козла, и козел отчаянно блеял. Все трещало, гремело, звенело.

— Невеста! Вот так невеста! — хохотала толпа.

Мария прижалась к груди работника и зажмурилась.

И вдруг из-под самых ног Троншара выскочил карлик в красном колпачке.

— А? Что? Надули? — торжествующе пискнул он. — Это мы устроили! — и побежал дальше.

К нему подбежал второй карлик, потом третий. Они о чем-то пошептались и разбежались в разные стороны. Красных колпачков становилось все больше и больше, они мелькали в толпе, как зажженные красные фонарики.

— Карлички! — прошептала Мария.

Розина смотрела на толпу широко открытыми, непонимающими глазами.

— Что это? — вскрикнула она и метнулась обратно в церковь. — Я боюсь. Ай, я боюсь.

Таубе взял ее за руку.

— Идем.

— Нет, нет, — отбивалась она. — Я боюсь.

Но он почти потащил ее.

— Идем.

Они спустились по ступенькам.

— Пропустите, — приказал Таубе задыхающимся от злобы голосом, и толпа медленно раздалась.

Таубе подошел к автомобилю.

— Садись скорее, Розина.

Он захлопнул дверцу и пустил мотор.

Толпа еще сильнее захохотала и заревела.

— В свадебное путешествие поехали! Далеко не уедут.

Вдогонку автомобилю полетели зеленые яблоки.

Рабочие с Марией сели в коляску, запряженную лошадью. На них никто не обращал внимания. Все бежали за автомобилем. Но автомобиль уже скрылся за поворотом.

Вдруг из-под колеса коляски высунулась голова в красном колпаке.

— Недалеко уедут, — крикнул карлик Марии и юркнул под копыта лошади.

Автомобиль поехал по главной дороге, коляска свернула в сторону деревни.

— Здесь короче, — рабочий хлестнул лошадь.

Коляска подъехала к усадьбе.

— А мы первые.

Мария спрыгнула на землю. Жанна вышла ее встречать.

— Папы еще нет, — удивленно сказала она.

В гостиной было как-то особенно празднично, нарядно и чопорно. На столе на подносе стояла бутылка шампанского и шесть стаканов.

Мария прижалась к Жанне.

— Не приедет ведьма. Будь спокойна.

— Как не приедет?

— А так. Не приедет. Вот увидишь, — и она запрыгала на одной ноге.

У ворот позвонили.

— Что же это? Ведь ворота отперты, — сказала Жанна и выбежала в сад.

Четверо крестьян несли Розину. Белая фата ее волочилась по земле. Голова свесилась. Изо рта по подбородку текла узкая струйка крови.

Крестьяне внесли Розину в дом и неловко положили ее на диван в гостиной.

— Но как? Как это случилось? — крикнула Жанна, и губы ее задрожали.

— Мы не знаем, — сбивчиво рассказывали крестьяне. — Кто-то протянул на дороге веревку. Автомобиль опрокинулся. Таубе сломал руку, его снесли в аптеку, он в обмороке. А она ударилась виском о камень, и в аптеку нести не стоит...

Мария подошла к дивану и пристально посмотрела на Розину.

— Капут тебе, ведьма.

Жанна громко ахала, голоса рабочих звучали испуганно.

— Это не мы. Не мы...

Мария вышла на террасу. Кто-то сзади дернул ее за платье. Она обернулась.

Перед ней, обмахиваясь красным колпаком, стоял запыхавшийся карлик.

— Ведьме конец, — сказал он, задыхаясь от усталости. — Я так бежал. Это мы веревку протянули.

Мария кивнула ему.

— Я уже знаю.

РОМАНЫ

АНГЕЛ СМЕРТИ

Первая часть

1

Было так жарко, что окна на ночь остались открытыми. По саду носился июльский ветер, поднимал сухой песок, шумел в листьях деревьев, хлопал ставнями. Люке сквозь сон казалось, что это дождь стучит по крыше. Она на минуту открывала глаза. Занавески бились по ветру, как два черных крыла. Люка вздыхала и проваливалась в сон. Влажные волосы прилипли ко лбу. Ей было жарко, томно и душно. Она широко раскидывала руки и снова открывала глаза. Маленькая круглая розовая луна катилась сквозь тучи, как детский мячик. Темные крылья бились у окна. И где-то совсем близко, у самого сада, у самой постели, у самого сердца торжественно и тревожно шумело море.

Море? Откуда? Ведь здесь никакого моря нет. Но волны шумели все нежней, все тревожней...

Как грустно. Как хорошо. Подушка мокра от слез. Никогда еще не было такой странной, такой печальной ночи. Люка протягивает руку, пьет воду. И снова луна, и шумные крылья, и море, и запутанные, душные сны...

...Серый, бледный рассвет. Из открытого окна тянет холодом. Небо почти белое. С листьев бесшумно падает роса. Кусты роз слабо белеют. От земли поднимается туман. В небе летят туманные облака.

Люка ежится, хочет натянуть выше простыню, но трудно шевельнуться. Она лежит тихо, не двигаясь. Как странно, как таинственно все вокруг. И сад и комната. Голубое платье беспомощно свисает со стула. Чулки, как змеи, свернулись на коврике. У соседней стены на кровати спит Вера. Рот полуоткрыт, дыханья не слышно. Она кажется мертвой. Из-под красного одеяла высунулась маленькая нога, и нога тоже кажется мертвой.

Люка лежит не шевелясь. Никогда ей еще не было так грустно. В груди легкая, холодная дрожь и такая пустота, такая слабость...

Листья блестят от росы. Розы тихо колышатся. Калитка скрипит. За белым туманом не видно, кто вошел в сад, только песок шуршит

под ногами. Люка вытягивает шею. Вот он уже под елями. Арсений?.. Да, это он. На нем серый костюм. Лицо его печально. Черные глаза смотрят рассеянно. Черные волосы гладко причесаны.

И за плечами огромные черные крылья... Он медленно идет по саду и, не останавливаясь, не оборачиваясь, поднимается на террасу, входит в дом...

— Арсений Николаевич, — хочет крикнуть Люка, но голоса нет.

Деревья слабо раскачиваются. Сливьев бесшумно падает роса. Только сад, только небо, только тишина...

Холодный ветер влетает в комнату, шевелит занавески. Что это было?.. Что?..

Тихо, совсем тихо, и веки уже снова опускаются. Ничего, ничего не было. Только туман... Только сон...

Когда Люка наконец совсем просыпается, за окнами обыкновенное, солнечное утро.

Надо вставать. Люка вскакивает, сбрасывает рубашку на коврик.

— Мама, — вдруг вскрикивает она, — мама.

Дверь открывается. Вбегает Екатерина Львовна.

— Люка, что случилось?..

— Мама, — кричит Люка, — я больна, я страшно больна.

— Что, что с тобой?

— Я больна, я умираю, мама.

Люка показывает дрожащей рукой на простыню.

— Видишь, я умираю.

Екатерина Львовна целует ее мокрые щеки.

— Я умираю. Я умираю.

— Да нет же, нет. Просто ты теперь взрослая, моя маленькая Люка.

Вера просыпается, потягивается, садится на постель.

— Чего ты опять шумишь, Люка? Никогда выспаться не дашь.

— Я больна, Вера. Я умираю.

Вера смотрит с недоумением на сестру и на мать, потом громко смеется, качая растрепанной головой.

— Глупая ты, Люка. Ах, какая глупая. И когда ты поумнеешь?..

Екатерина Львовна поправляет подушку, гладит Люку по голове.

— Ну, до свиданья, моя большая дочка. Ты полежи тихо до завтрака. Если можешь, поспи. Я скоро вернусь. Принесу тебе конфет.

Вера пожимает плечами.

— Что же, теперь каждый месяц именины справлять будете?

Вера похожа на самоеда в халате с капюшоном.

— Скоро ли ты, мама? У меня в семь ванна. Мы опоздаем...

Дверь за ними закрывается. Люка одна. Она лежит на спине и смотрит в окно. В окне видны два больших белых куста роз, ели и голубое небо. Старый садовник в соломенной шляпе и длинном полосатом переднике подстригает розы большими ножницами. По дороге пробегает рыжая хозяйская собака. Люка поднимает голову, чтобы увидеть пруд, он там, сейчас за елями. Но пруда не видно, а встать она боится. Она лежит, прислушиваясь к тому новому, что происходит в ней. В груди какая-то особенная легкость. Встать бы, побежать туда за пруд по широкой дороге. Взобраться на самую высокую гору, ту, с водопадом...

Но встать страшно. Такой она чувствует себя хрупкой. Упадет, разобьется, как чайная чашка. Руки неподвижно вытянуты на красном одеяле, не надо даже пальцами шевелить. Колени плотно сдвинуты. Мама сказала: лежи тихо. И еще мама сказала, что Люка взрослая. Взрослая... Значит, кончено детство. Что ж, и слава Богу. Не жалко. Это все выдумки про «золотое детство».

Там, в России, дом был большой и старый. За окнами лежал белый сверкающий снег, от него даже вечером было светло в комнатах. Люка садилась в зале на холодный скользкий пол. Подвески на люстре тихо звенели; темные пустые зеркала поблескивали, а за окном в морозном небе гуляла луна со звездами, как курица с цыплятами. Люке было страшно. Она крепче прижималась к черной холодной ноге рояля. А вдруг и рояль враг и сейчас хлопнет крышкой, откроет рот и оскалит на нее все свои большие зубы. Дверь в столовую отворена. Над столом висит лампа, добрая, уютная. Висит себе и спокойно пьет керосин. Теплый желтый круг ложится на скатерть. За столом мама читает книгу. Так просто встать, побежать туда. Но Люка сидит в темноте, дрожа от страха, и не откликается даже, когда ее зовут.

Люка никому не доверяла. Большие, они хитрые, от них не жди добра. Да и вещи тоже почти все хитрые и злые. Потом стало легче. Когда она поняла, что ни кофейник, ни часы не могут, даже если очень захотят, сделать ей зла.

А мама говорила: «Люка сорванец, храбрый, веселый. Ей бы мальчиком родиться...»

Люка осторожно вздыхает, осторожно поворачивается на бок.

«Как хорошо быть взрослой... Как хорошо быть влюбленной... Арсений...»

Вера прихорашивается перед зеркалом.

— Люка, посмотри. Не торчит ли чехол?

Из-под Вериного кружевного платья сзади выглядывает смешной розовый хвостик. Люка прекрасно видит его, но скажи только Вере, начнет подшивать, переодеваться. Через час тогда не выбраться из дому.

— Нет, не торчит.

Люка старательно завязывает большой бант. Волосы короткие, бант плохо держится. Она осторожно поворачивается, чтобы бант не упал.

— Ты чего держишь голову, как цирковая лошадь. Кажется, опять моей пудрой напудрилась?

— Нет, что ты. Честное слово...

Люка быстро вытирает щеки и нос. Но Вере уже не до нее. Вера надевает шляпу.

— Какая ты хорошенькая, — льстит Люка.

Вера довольна.

— Ну, идем. Мама, ты готова?

Екатерина Львовна входит в новом сиреневом платье. Люка бьет в ладоши.

— Ах, как красиво.

Екатерина Львовна робко улыбается.

— Хорошо, Верочка?

Вера холодно осматривает мать.

— Да, хотя... я говорила, что лучше бы лиловое. Слишком молодо.

Екатерина Львовна смущается.

— Я покупала материю вечером. Она при свете почти лиловая.

— И коротко опять.

— Ты находишь, Верочка? Можно выпустить. Рубец широкий.

Люка краснеет от обиды за мать.

— Неправда, мама, неправда. Не верь. Просто она завидует.

Екатерина Львовна тоже краснеет.

— Люка, перестань, глупости.

Вера пожимает плечами.

— Что же, идем мы или нет?..

Они садятся в парке за столик. Музыка гремит. Женщины в белых и розовых платьях издали похожи на кусты цветов, над ними, как бабочки, мелькают маленькие пестрые зонтики.

Люка осторожно и высоко держит голову, чтобы бант не упал. И от этого, она чувствует, у нее очень серьезный вид. Так и надо. Ведь она теперь взрослая. Вера, шурясь, осматривает гуляющих.

— Как жарко, — говорит она раздраженно.

Люка оглядывается.

— Арсений Николаевич.

От быстрого поворота головы бант танцует на ее волосах.

Вера с деланным равнодушием размешивает сахар в чашке.

— Не оборачивайся. Сколько раз говорили тебе.

Арсений Николаевич пробирается к ним. Его черные гладкие волосы блестят, как лакированные. Длинные ноги в белых туфлях ступают широко и уверенно.

Люкино сердце громко бьется, и от каждого его удара подпрыгивает бант на голове.

Арсений Николаевич садится за их столик. Он спокойно улыбается.

— Ну вот, через три дня я уезжаю.

— Уже?.. — Люка роняет ложку. Кусок вишневого мороженого падает на белое платье.

Вера подносит чашку к губам. Пальцы ее немного дрожат. Сейчас глотнет кофе и поперхнется. Но она ставит чашку обратно на блюдечко и смотрит на Арсения из-под полей розовой шляпы и длинных подкрашенных ресниц.

— Уже?.. — спрашивает она тихо и улыбается. — Как жаль...

С музыки домой в пансион, как всегда, возвращались вместе. Впереди Вера с Арсением. Сзади Люка с матерью.

Счастливая Вера, она идет рядом с Арсением, слушает, что он говорит. Из-под розовой шляпы виден кусок Вервиной щеки и подстриженный затылок. Вервина рука в белой перчатке теребит оборку платья. Противная Вера. И за что ей такое счастье? Она и не ценит вовсе.

— Как ты вытянулась, — озабоченно говорит Екатерина Львовна. — Неужели тебе придется новое пальто шить?.. Надо будет попробовать, нельзя ли рукава и подол надставить. А-то откуда денег напасть...

Люка не отвечает, даже не слышит. Она смотрит на Арсения, на его блестящие черные волосы, на его серый пиджак. На песке дорожки, влажном после поливки, отчетливо отпечатываются следы его белых туфель. Люка ставит ногу на его след. В горле что-то бьется, как пойманная птица. Во рту солоноватый вкус, и трудно дышать. На Люкином языке это называется «сердце в горле». Это

бывало и раньше, но только от слез. А от радости в первый раз. Люка останавливается, хватая Екатерину Львовну за руку.

— Мама, ах, мамочка... Слушай...

— Если надштуковать синим бархатом, будет совсем не так плохо. Как тебе кажется?

— Да, да. Бархатом. Непременно бархатом, — кричит Люка, прыгая на одной ноге. Бант, окончательно оторвавшись, падает на землю.

— Люка, ты ведь большая. Люди видят. Пора тебе помнить...

На лестнице прощаются. Арсений живет во втором этаже, они в первом.

— До свиданья, до вечера.

Дверь закрывается. Они дома.

Вера бросает шляпу на стол. Люка подхватывает ее.

— На стол нельзя. Денег не будет.

Вера вырывает шляпу из Люкиных пальцев.

— Не смей трогать, — и поворачивается к ней спиной.

Люка хочет обнять сестру.

— Не злись.

Вера топает ногой.

— Убирайся, слышишь.

Екатерина Львовна удивленно смотрит на нее.

— Вера, чего ты сердисься?..

— А что, прикажешь ты мне радоваться?..

Вера снимает платье, садится на кровать, сбрасывает туфли.

— Опять дырка на пятке.

— Но что с тобой, Вера? — спрашивает Екатерина Львовна.

— Что? — кричит Вера. — Ты еще спрашиваешь, что? Посмотри на себя в зеркало, тогда и поймешь.

Глаза Екатерины Львовны становятся круглыми, брови высоко поднимаются.

— Что ты говоришь, Вера, я не понимаю...

— Не понимаешь? На кого ты похожа? Волосы стриженные, намазанная. Шляпа, как у девочки, платье до колен. Разве так выглядит мать взрослой дочери?..

— Но, Верочка, ведь мне только тридцать девять лет. Рано мне рядиться старухой. И ты сама знаешь, что же я в жизни видела? В деревне. Вы с Люкой вечно хворали. Папа...

— Да, папа. Ты бы хоть помнила, что папу большевики расстреляли.

Екатерина Львовна беспомощно взмахивает руками.

— Вера, как ты можешь?.. Разве я не чту папиной памяти?

— Ты... Ты мешаешь мне выйти замуж. Вот что.

— Я? Я мешаю тебе?

По щекам Екатерины Львовны текут слезы.

— А зачем тебе, Вера, собственно говоря, замуж выходить, раз папу большевики расстреляли? — спрашивает Люка.

— Люка, не мешайся не в свое дело. Иди играть в сад, — строго говорит Екатерина Львовна.

Люка послушно выходит из комнаты, но дверь снова отворяется.

— Старая дева, — кричит Люка и убегает со всех ног по коридору. Но погони нет. Вера занята объяснением с матерью.

— Да, да, ты мешаешь мне выйти замуж. За кого нас втроем могут принять? И еще эта обезьяна Люка со своим бантом. А когда ты на балу, ты танцуешь больше меня, ты отбиваешь моих ухаживателей.

— Вера, как ты несправедлива. Господи. А я жила только для вас...

Екатерина Львовна плачет, лицо ее становится жалким и старым.

— Господи, — всхлипывает она.

Вера сидит на кровати, устало и зло теребя подвязку.

— Надоело. Перестань, пожалуйста. Не хочешь мне помогать, и не надо.

Екатерина Львовна вытирает глаза.

— Что же я могу... И если бы все так нервничали. Ведь я тоже была молодой.

— Да. Но у тебя было приданое.

— Чем же я виновата, что большевики...

— Никто и не винит тебя, только не мешай.

— Хорошо, Верочка. Не сердись, — говорит Екатерина Львовна примирительно. — Я постараюсь, вот увидишь. В Париже.

Но Вера трясет головой.

— Нет, не в Париже. Здесь.

— Здесь. Зачем же? Какие здесь женихи. Дюшель?.. Но французы не женятся без денег. Больше никого нет.

Вера краснеет.

— Как никого? А Арсений Николаевич?..

— Этот?.. — Екатерина Львовна кривит губы. — Какой это муж?..

— Почему не муж?

— Если ты серьезно... Ведь мы даже толком не знаем, кто он. Я слышала про него... Я не могу тебе повторить...

— Нет, скажи. Скажи сейчас же.

— Ну хорошо. Ты не волнуйся так. Он столько тратит, нигде не служит. Мне говорили. У него в Париже... Какая-то старая американка...

Вера сжимает кулаки.

— Замолчи. Не смей повторять. Это ложь, ложь!..

Екатерина Львовна испуганно смотрит на дочь.

— Вера... Неужели ты?..

Вера вдруг обхватывает худыми голыми руками шею матеря, прячет лицо на ее груди. Слезы текут, смывая краску с ресниц, и падают бурыми пятнами на сиреневый шелк.

— Да, да, да... Я люблю его, — всхлипывает Вера. — Я люблю его, и, если он не женится на мне, я умру.

3

Вера отправилась с Арсением покупать туфли к балу. Люку не взяли, оттого что Люка мешает. И на бал Люку тоже не возьмут, оттого что Люка мешает.

Был туманный, ветреный день. Люка тихо шла вокруг пруда. На желтый песок дорожки выползла большая черная улитка. Люка подняла ее и положила на траву.

— Глупая, куда забралась? Тебя тут раздавят. Живи себе на здоровье...

Вот улитка ползет, и ни о чем не думает, и не знает, как трудно быть женщиной. Люка вздохнула. Ах, совсем уж не так весело быть взрослой... Совсем не так хорошо быть влюбленной. Арсений уезжает через два дня...

На скамейке сидит седая дама, жена доктора Барто, и вяжет на спицах красный безобразный шарф. Люка хочет пройти незамеченной, но мадам Барто зовет ее.

— Сядьте ко мне.

Мадам Барто гладит Люкины светлые волосы.

— Какая вы хорошенькая.

Люка морщится. Ведь она не болонка, чтобы ее гладили.

— Расскажите мне про Россию.

— Я ничего не помню о России.

— Но все-таки. Вы ведь русская.

— Не помню, я была маленькая, когда мы уехали.

— Так ничего и не помните?.. Хоть что-нибудь. Меня очень интересует ваша несчастная родина.

Люка пожимает плечами.

— Зимой в России холодно, а летом жарко и много цветов.

— Ну еще, еще... А Петербург?..

Но Люка трясет головой:

— Я не помню.

— Что же, идите, упрямая девочка. Раз вы ничего не хотите рассказывать, — у мадам Барто обиженный вид. — Идите играть.

Люка вскакивает. Слава Богу, отпустила. И зачем пристаёт?

Люка идет дальше, мимо пруда под темными качающимися елями. Она не любит вспоминать о России. Помнит ли она? Разве можно забыть?.. Так больно. Так грустно... Но об этом нельзя рассказывать глупой, чужой женщине. Люке и без того тяжело сегодня, а тут еще...

Она останавливается, смотрит на низкое облачное небо, на сонную воду.

Петербург... Разве можно забыть?.. Петербург... И закрывает глаза.

...Белый, чистый, сияющий снег. Все белое и все сияет. Улицы, крыши домов, воздух. А небо ярко-синее, и в нем огромное, морозное, розовое солнце. По широким, прямым, снежным улицам летят рысаки под малиновыми и голубыми сетками. «Берегись!» — кричат румяные кучера. В маленьких, легких санках сидят дамы в собольих, в горностаевых шубках. Красные розы лежат на их коленях. Красные губы улыбаются, большие темные глаза смотрят рассеянно и мечтательно.

По тротуару проходят офицеры, волоча сабли и звеня шпорами. Высокие, красивые, стройные. Над их медными, сияющими касками развеваются конские хвосты. Солнце играет на их золотых погонах.

И Люка тоже летит в узких санках вниз по широкой снежной улице, вдыхая морозный сияющий воздух, сладкий запах роз и тетиных духов.

— Хорошо тебе, Люка? Не холодно?

Серые, большие глаза приближаются к ней, теплые руки обнимают ее. Снег комьями летит из-под копыт. Ветер свистит в ушах. Вниз по широкой улице, туда, на гранитную набережную.

— Это Нева, — говорит тетя. — Это Нева, Люка.

Люка хочет ответить, но не может от удивления, от счастья.

— Это Нева...

Солнце сияет, сияет гранит, сияет прозрачный голубой лед. И по голубому льду скользят маленькие легкие эльфы. На ногах у них

серебряные коньки. Они танцуют, порхают, кружатся, держась за руки, и вдруг разбегаются во все стороны. Они смеются, серебряные колокольчики звенят, поют скрипки.

Санки останавливаются. Тетя берет Люку за руку. И вот они на голубом льду. К ним подлетают эльфы, окружают их, что-то говорят. Но серебряные колокольчики громко звенят, и ничего нельзя разобрать. Темноглазый, тоненький эльф в треуголке сажает Люку на стул с серебряными полозьями, и Люка несется с ним по голубому льду. Все быстрее и быстрее. Она слышит его дыхание и, обернувшись, видит его темные, блестящие, веселые глаза. Ей страшно и блаженно. Куда они несутся?.. Куда?.. Может быть, в прорубь, может быть, в рай...

Но она уже опять с тетей в узких санках, и снег комьями летит из-под копыт рысака.

— Весело тебе было, Люка? — и опять запах роз и духов и теплые руки.

А вечером Люка стоит посреди огромного ярко освещенного зала. На ней белое платье, волосы завиты локонами. И кругом эльфы, те самые, что скользили по голубому льду, но теперь на них уже нет серебряных коньков. Но серебряные колокольчики все еще звенят. Эльфы кружатся по паркету, и Люка с ними. Она танцует с темноглазым эльфом. Он улыбается ей, берет ее за руку, уводит из зала. Они идут по темному коридору. Ей опять страшно. Куда он ведет ее?.. Куда?.. Но эльф молчит. Он толкает дверь. Они в комнате, полной цветов. Цветы на столах, на полу, всюду. Как светло, как тепло. И птицы поют, маленькие красные и желтые птицы. Эльф сажает Люку рядом с собой на низкий диван.

— Как вас зовут? — спрашивает он.

— Люка, — отвечает она тихо.

— А меня — Арсений.

— Арсений, — повторяет <она> еще тише.

Он обнимает ее.

— Я люблю вас, Люка.

Птицы громко поют. Из зала доносится звон серебряных колокольчиков. Она видит только его темные блестящие глаза, его темные блестящие волосы.

— Я женюсь на вас, Люка, когда вы будете большой. Не забудьте: меня зовут Арсений. И вы должны меня ждать...

...Ветер качает ели. В пруду тускло поблескивает вода. Люка идет дальше.

А может быть этого и не было и она сама все выдумала. Но ведь она уже встретила Арсения. И он, конечно, узнал ее. Он пока молчит, и она тоже молчит. Но теперь уже скоро. Надо только спокойно ждать...

Люка выходит на гимнастическую площадку. На трапеции сидит рыжий Рене, сын мадам Барто.

— А вы так не умеете, — кричит он Люке, поддразнивая ее. — Вы трусиха, вы девчонка.

— Это вы мне?.. — Люка презрительно пожимает плечами. — Я вам сейчас покажу, как я не умею, — она подвертывает юбку, взбирается по лестнице.

— Вот, смотрите.

От влюбленности, от грусти Люка чувствует себя особенно храброй и ловкой. Веревки трещат. Весело и чуть-чуть страшно. Оборвешься, полетишь вниз, и конец...

Она раскачивается на трапеции. Дама с собачкой смотрит на нее в лорнетку.

— Какая грациозная, — говорит она мужу, — какая смелая.

У Рене вытягивается лицо.

— Это еще ничего не значит. Вы все-таки девчонка.

— Ах, ничего не значит? А так?

Верхушки елей мелькают перед глазами, зеленая земля качается внизу. Люка становится во весь рост на трапецию и, высоко раскачнувшись, взмахнув руками, с криком бросается вниз головой.

Люка висит зацепившись за трапецию одной ногой и громко смеется.

— Что, можете вы так?

И побежденный Рене аплодирует. Аплодирует и дама. А Люка уже сидит на трапеции и раскланивается во все стороны.

Калитка скрипит. Это Вера возвращается с Арсением. Хорошо, что он видел. Вера подбегает.

— Люка, сумасшедшая, шею сломаешь. Слезай.

— Сейчас, — Люка насмешливо дрыгает ногами. — Еще немножко поупражняюсь.

Но Вера сердится.

— Людмила, слезай, слышишь.

Делать нечего. Люка съезжает по скользкому столбу.

— Довольно представления давать, — насмешливо говорит Вера. — Подумаешь, какая «царица воздуха».

Люка кротко смотрит на сестру.

— Напрасно ты мне мешаешь, Верочка. Если я замуж не выйду, то поступлю в цирк и буду хлеб зарабатывать. Это лучше, чем женихов ловить. Вот и ты могла бы...

Но Вера перебивает ее.

— Люка, у тебя опять грязные уши. Пойди вымой сейчас же.

На столе лежат шесть толстых конвертов. Екатерина Львовна надписывает последний. У Екатерины Львовны еще с институтских лет страсть к переписке.

— Ну, — спрашивает она Веру, — купила?

Вера развязывает пакет, поднимает крышку коробки.

— Вот, — и торжественно вынимает розовые шелковые туфли.

— Ах, какие прелестные, — вскрикивает Люка, — какие чудные. Покажи, покажи.

Но Вера уже закрывает коробку.

— А тебе что, не твои.

Люка обижается.

— Что, я их съем, что ли. Покажи.

Вера ставит коробку на стол.

— Не покажу. Отстань.

Екатерина Львовна собирает со стола конверты.

— Туфли действительно прелестные. Ты их вечером увидишь на Вере, Люка.

Люка обнимает мать.

— А меня возьмут на бал? Мне ужасно хочется.

Екатерина Львовна смотрит на Веру.

— Как ты думаешь. Может быть взять ее? Она будет тихо сидеть. Обещаешь, Люка?

Вера сердито двигает стулом.

— Или она, или я. Иди с ней, я останусь. Еще не хватало целым выводком выезжать. Всех возрастов, на все вкусы...

— Я танцую не хуже тебя, напрасно ты важничаешь.

— Во-первых, ты танцуешь, как слон, во-вторых, все равно не пойдешь, не волнуйся. И не мешай мне читать.

— И правда, ты еще слишком мала, Люка. Я лучше завтра сведу тебя в кинематограф.

Екатерина Львовна гладит Люку по щеке.

— Обещаешь, а потом обманешь.

— Нет, завтра же, непременно.

Но Люка не верит.

— Дай вперед деньги на билеты.

Екатерина Львовна достает из сумочки десять франков. Люка прячет их под ключ. Если теперь надует, все-таки не так обидно.

Внизу в холле глухо и протяжно бьют в гонг. Екатерина Львовна встает.

— Надо сегодня пораньше пообедать, чтобы тебе не спешить одеваться, Вера.

— Идите, — говорит Люка, — я только платье переодену, а то это мятое. Суп не успеете съесть, как я приду.

Вера открывает дверь.

— И что за кокетство? Не возись долго, ждать тебя не будем.

4

— Вера, можно мне помочь тебе?

Вера удивленно смотрит на сестру.

— Странная ты, Люка. То дерзишь, а то такая услужливая. Ну хорошо. Посиди тихо, пока я буду мыться.

Для Люки в детстве было праздником, когда мама одевалась на бал.

Люка садилась в большое кресло в угол и смотрела во все глаза.

В маминой спальне горели три лампы, пахло совсем особенно: духами, пудрой, жжеными волосами. Всюду кружева, ленты, цветы. На кровати бархатное темно-красное платье, длинный хвост его, как хвост дракона, извивался на ковре. И тут же, рядом с драконьим хвостом, как две маленькие испуганные птицы, бронзовые туфельки.

Мама в шуршащей нижней юбке с голыми белыми плечами бегала от туалета к шкафу и обратно, высоко поднимала руки, подпиливала длинную косу. Горничная в белом переднике грела щипцы на спиртовке. Голубое пламя подпрыгивало, щипцы краснели. Мама волновалась, просыпала пудру на ковер. Люка дышала все ровнее и ровнее, веки слипались, она засыпала...

...Вода шумно бежит из никелированного крана. Вера в одной рубашке, нагнувшись над умывальником, мылит плечи, шею, трет уши. Белая пена падает хлопьями на пол. Вера вытирается мохнатым полотенцем. Потом садится перед туалетом причесываться. Долго приглаживает волосы, льет вежеталь на голову, озабоченно смотрится в зеркало.

Люка следит за ней из угла.

— Мойся, мойся. Причесывайся, причесывайся. А туфель нет.

— Люка, что ты бормочешь?

— Я?.. Тебе показалось.

На Верином затылке торчит хохолок. Вера снова приглаживает его щеткой, поливает вежеталем.

— А ты бы спросила у Арсения Николаевича, что он делает. У него, как лакированные.

Вера отмахивается.

— Не мешай.

И завязывает голову белым носовым платком, узелком назад, как деревенские бабы. И от этого у нее сразу становится круглое русское лицо с русскими бабьими глазами.

— Тебе бы теперь, Вера, сарафан и петь: «Ах вы, сени, мои сени».

Но Вере не до песен, Вера нервничает.

— Рубашку. Достань рубашку. Не ту. Шелковую. Ах, какая ты бестолковая.

Люка суетится около нее.

— Откупори духи. Напудри мне плечи.

Люка хлопает большой легкой пуховкой по Вериным плечам. Пудра поднимается розоватым облаком.

— Ровнее, ровнее. Теперь затылок, спину.

Вера снова садится перед туалетом, развязывает платок. Блестящие темные волосы кажутся приклеенными к маленькой круглой голове.

Вера улыбается. Остальное уже просто. Она старательно подводит ресницы, подкрашивает губы.

Люка смотрит на нее. «Какая она хорошенькая. Какие у нее большие глаза, изогнутые брови, белая шея», — Люкина грудь раздувается от нежности и гордости. Вот она какая, Вера. Вот она какая, ее сестра.

«А все-таки она ведьма, — вдруг вспоминает Люка, и вся гордость и нежность сейчас же исчезает. — Да, ведьма».

Вера, мечтательно улыбаясь, натягивает на ноги розовые шелковые чулки.

На постели, как гора битых сливок, лежит белое тюлевое платье. От запаха пролитых духов становится трудно дышать. Сейчас, сейчас начнется самое интересное.

— Люка, туфли.

Люка идет к столу.

— Здесь нет, — говорит она удивленно, — но ведь ты поставила их на стол перед обедом.

— Ах, не знаю. Поищи.

Люка обшаривает всю комнату. Туфель нет. Может быть, прислуга убрала. Звонят прислуге. Нет, прислуга не видела никакой коробки. Но она сейчас поищет.

У Веры красные пятна на щеках, губы дергаются.

— Что же это такое. Куда туфли могли деться. Да ищи же, Люка.

Люка открывает ящики комода, хлопает дверцами шкафа, выбрасывает на пол белье и платья, роется в них, залезает даже под кровать.

— Нигде нет, — весело кричит она оттуда. — Пропали.

Екатерина Львовна входит в черном платье, большой вырез прикрыт кружевом.

— Хорошо так, Вера? Танцевать не буду. Обещаю.

Но Вера даже не смотрит на нее.

— Туфли пропали, — всхлипывает она.

— Пропали? Не может быть. Сейчас найдем. Ты пока платье надень.

И снова перерывают всю комнату.

— Не плачь, Вера, — советует Люка, — рожей будешь, нос распухнет.

— Нигде нет. Но ничего, старые туфли совсем уж не так плохи, — уговаривает Екатерина Львовна.

Вера стоит перед зеркалом в тюлевом платье и с отчаянием смотрит на свои ноги.

— Нет, нет, я не пойду. Каблуки сбиты. Как нищенка. Хуже нищенки.

— А ты не танцуй и, когда сидишь, поджимай ноги под стул, — советует Люка.

— Уже поздно, попудрись и едем. Право, не так заметно. Не огорчайся, — Екатерина Львовна поправляет цветок на Верином плече.

— А может быть, найдем еще, — вздыхает Вера. — Поищем еще немножко.

— Я сейчас шкаф отодвину, — готовно предлагает Люка. — Больше негде. Все обыскано.

— Я так радовалась, такие хорошенькие. И двести франков стоили. Нет, я не пойду.

В дверь стучат.

— Вы еще не готовы? — спрашивает Арсений Николаевич. — Вы знаете, уже одиннадцать.

— Сейчас, сейчас. Подождите минутку, — Вера быстро пудрит ся. — Скажи, Люка, не видно, что я плакала?

— Ну, конечно, видно. Но не очень. Можно подумать, что у тебя насморк. Только не забудь, не танцуй и поджимай ноги под стул.

Шум спускающихся по лестнице шагов. Три тени, две темные, одна светлая, идут по саду мимо белых кустов роз, мимо поблескивающего пруда под высокими елями. Люка высовывается в окно.

— До свиданья, веселись, Вера. Поджимай ноги, не забудь.

Калитка скрипит. Ушли...

Люка стоит в разгромленной комнате среди валяющихся на полу платьев, книг и белья.

— Так тебе и надо, так тебе и надо, ведьме.

Она тихо выходит в коридор, оглядывается, чтобы никто не видел, осторожно поднимает крышку большого хозяйского сундука и достает из него коробку с Вериными туфлями. Потом возвращается к себе.

— Вот они, розовые туфельки. Здравствуйте! — она нежно проводит пальцами по розовому шелку. — Я виновата перед вами, вы хотели сегодня на бал пойти, а я вам помешала. Но мы все-таки потанцуем.

Люка надевает розовые туфли и кружится по комнате, напевая. Как легко танцевать. Розовые туфельки будто сами носятся по полу, как в сказке Андерсена. Люка останавливается, переводит дыхание, держась за зеркальный шкаф. Как весело. Из зеркала на нее большими серыми глазами смотрит лукавое, почти женское лицо. Как весело!

...Розовые страусовые перья веера колышатся. Люка улыбается загадочно и рассеянно, как должна улыбаться женщина на балу. Ее широкое шелковое платье томно шуршит. Музыка, цветы, сияющий паркет... Люка медленно проходит по залу. «Какая хорошенькая, какая прелестная», — шепчут со всех сторон. Она царица бала...

— Ах, как весело. — Люка трясет головой и громко смеется. — А Вера там в старых туфлях.

5

Закатное небо. Высокие темные горы. Направо поросшие лесом и травой, налево скалистые. И с самой высокой с шумом летит водопад. Скала кажется лиловой, от водопада прозрачным столбом поднимаются брызги. Закатное солнце освещает водопад. Шум воды смешивается с шумом автомобилей.

Люка сидит рядом с Арсением на траве у дороги.

Тут же лежит его мотоциклетка.

— Вас не растрясло, Люка?

— Нет. Нисколько.

Люка поглаживает свои голые колени. Ноги затекли, но ей стыдно признаться. Она молча смотрит на широкую пыльную дорогу.

— Что вы такая тихая? Я не привык.

— Вы уезжаете завтра.

— Ну и?..

— Мне грустно...

Он берет ее за руку.

— Милая Люка, всегда грустно расставаться с друзьями. Мне тоже, поверьте, грустно. Но что же делать. Надо...

Он улыбается.

— Я чуть не забыл, ведь я купил вам шоколад.

— Спасибо.

Люка берет плитку, разрывает серебряную бумагу, кладет в рот кусочек шоколада. От сладкого вкуса в носу начинает щипать, ресницы моргают. Люка проглатывает шоколад. Слезы текут по ее щекам.

— Мне грустно...

— Что же это, Люка? Не плачьте, не надо.

Но Люка уже громко всхлипывает, закрывая лицо руками.

— Мне грустно.

У Арсения растерянный вид.

— Люка, Люка, перестаньте. Ну, милая, маленькая Люка. Перестаньте.

Люка поднимает голову. Левая щека запачкана шоколадом.

— Поцелуйте меня, и я не буду больше плакать, — он наклоняется к ней и осторожно касается губами ее мокрой запачканной шоколадом щеки.

— Нет, не так. В рот, не то я опять заплачу.

И Люка снова громко всхлипывает.

— Вы сумасшедшая, — испуганно говорит он, целуя ее детские, соленые от слез губы. Она вздыхает, закрывает глаза.

— Еще, еще. Обнимите меня!

— Вы сумасшедшая...

Люка кладет голову к нему на плечо.

— Нет, я не сумасшедшая. Только я взрослая, а вы все еще считаете меня маленькой. Я совсем взрослая.

— Ну, конечно, — соглашается он, боясь спорить. — Вы взрослая.

Она глубоко вздыхает и крепче прижимается к нему.

— Поцелуйте меня еще раз...

— Надо ехать домой, вас хватятся, — робко говорит он.

Люка вскакивает.

— Да, надо ехать. Ведь я тайком удрала, опять скандал будет. Но поцелуйте меня еще раз. Слушайте... Вы сами говорите, что я взрослая. Я буду ждать вас сегодня ночью в нашей комнате. Вы придете в сад. Я вылезу к вам в окно.

Он поднимает мотоциклетку.

— Едемте, Люка.

— Я буду вас ждать. Вы придете? Обещайте.

Она ловко примащивается сзади на седло. Мотоциклетка несеся по дороге, шумя и подсакивая.

— Я буду вас ждать, — громко кричит Люка, — обещайте...

Арсений оборачивается к ней.

— Не болтайте. Язык прикусите...

Люка лежит в кровати, прислушиваясь к дыханию Веры. Спит? Нет, кажется, еще не спит. Как бы самой не заснуть. Она щиплет себя за руку, широко открывает сонные глаза. Вера дышит все спокойнее, все ровнее.

— Вера, — тихо зовет Люка.

Ответа нет. Спит. Люка осторожно спрыгивает на пол, снимает с крючка Верин шелковый пестрый халатик, нагибается, ища Верины ночные туфли. Потом тихо подходит к окну, пододвигает кресло, расправляет складки халатика. Лунный свет падает прямо на нее.

Такой он увидит ее сейчас, такой прелестной, почти призрачной. В полночь, в открытом окне, освещенной луной...

Жаль только, что она стриженная и нельзя распустить волосы по плечам, было бы еще красивее, еще романтичнее...

Кусты роз слабо белеют. Над ними качаются черные, огромные ели. В пруду влюбленно и грустно поют лягушки. По небу, как стая диких гусей, быстро летят облака.

Он сейчас придет. Глухо хлопнет дверь, заскрипят шаги по дорожке. Он пройдет мимо шелестящих роз и встанет под ее окном. Он протянет руки, поможет ей выпрыгнуть в сад. Что он скажет ей?..

Сердце начинает стучать. Зачем она позвала его? Лечь в кровать, притвориться спящей? Нет, он сейчас придет.

На луну налетают облака. Темно. Ничего не видно. Может быть, он уже тут под окном?.. Но облака летят дальше, и снова светло, а

его нет. Что же он так долго? Он придет, она не сомневается. Только бы уж поскорей...

Понемногу и луна и небо начинают бледнеть. Деревья расплываются в молочном тумане. От пруда тянет сыростью. Люка ежится. Закутаться бы одеялом. Но нельзя. Станешь похожа на тюк. Она плотнее запахивает полы халатика. Нет, он должен увидеть ее красивой.

Небо становится все светлее, луны уже почти не видно, такой бледной и прозрачной стала она. Белый легкий туман поднимается все выше, заволакивая сад. Молчат лягушки, молчат деревья, молчат цветы. Ни движенья, ни вздоха. Так тихо, как бывает только на рассвете, в таинственный час между утром и ночной темнотою. Люка кашляет, испуганно оборачивается. Нет, Вера спит, не слышит. Отчего он не идет?.. Отчего?.. Но он придет. Не может не прийти...

В соседней церкви протяжно и гулко звонит колокол.

Значит, шесть часов. Значит... Люка тихо встает, вешает Верин халатик, ложится в постель. Значит, он не придет...

6

Вера трясет Люку за плечо.

— Да проснись же.

Люка поднимает тяжелую голову, трет кулаком глаза.

— Что, что такое?..

— Мы уходим. Ты спишь как сурок.

— Который час?..

— Девять.

— Девять... — Люка испуганно садится на кровать. В половине десятого уезжает Арсений. Она вскакивает. Где туфли? Где платье?.. Скорей, скорей. Неужели она не увидит его?..

Она бежит по коридору. Из холла доносятся обрывки разговора:

— Надеюсь, вы будете часто бывать у нас в Париже. Мои дочери так подружились с вами...

— Благодарю вас, с удовольствием.

Люка останавливается. Нет, она не посмеет войти, она закричит, она упадет в обморок, и все увидят, поймут.

Но все-таки она толкает дверь. И ничего особенного не происходит. Все обыкновенно, буднично. Арсений стоит перед Екатери-

ной Львовной. На нем синий костюм, красный галстук. Люка все видит, все замечает. Не кричит, не падает в обморок.

— Я уже боялся, что не попрощаюсь с вами, маленькая соня, — Арсений пожимает ей руку. — Ну, растите большой и умной. В Париже нам с вами непременно надо будет в цирк на дрессированных львов сходить.

В саду перед террасой шумит автомобиль. Горничная укладывает в него чемоданы. Арсений сбегает по лестнице.

— До свиданья, счастливого пути...

— До свиданья, до Парижа...

Люка смотрит на него. Вот сейчас, сейчас все кончится. Он уедет, и больше ничего не будет. И вдруг, сорвавшись с места, бежит за ним.

Арсений уже садится в автомобиль.

— Вы, — начинает Люка хрипло, — вы... — «не пришли, а я вас ждала», хочет она сказать, но что-то мешает в горле.

Арсений снова трясет ее руку.

— Да, да, — говорит он, блестя белыми зубами. — Я не забуду. Непременно пойдем львов смотреть. До свиданья.

Автомобиль трогается. Вот он выезжает на дорогу, вот заворачивает за угол. Вера машет платком.

— Уехал, — говорит она протяжно, — уехал... А нам все-таки жить надо и лечиться тоже. Идем, мама.

Люка остается на террасе.

— Уехал, — повторяет она нараспев.

От бессонной ночи болит голова, в ушах звон.

— Уехал... Что теперь делать? И стоит ли вообще что-нибудь делать? Куда идти? Зачем?..

Она медленно входит в дом и, держась за перила, поднимается по устланной красной дорожкой лестнице, потом идет по широкому коридору. По обе стороны белые двери и на каждой черный номер — 24, 26, 28. Двадцать восьмой, здесь жил Арсений. Она берет за ручку. Дверь не заперта. Люка стоит в незнакомой комнате. Еще не прибрано. Все так, как было при нем. На столе груда газет. Красное одеяло свешивается с кровати на пол. На подушке впадина, след от его головы. Окна закрыты. В нагретой солнцем комнате душно. Люка подходит к постели, гладит подушку, трогает простыни. Здесь он спал. Она откидывает одеяло, ложится в постель. От простынь терпко и обморочно пахнет египетским табаком, одеколоном. Чужой, мужской запах. В ушах звон сильней. Все тихо плывет перед глазами. Холодные простыни тяжело ложатся

на голые колени. Люка вздрагивает, широко раскидывает руки, ладони становятся слабыми и влажными. Она глубоко вздыхает и блаженно закрывает веки...

— Люка, ты ничего не ешь. Отчего ты такая красная? Дай я тебе лоб пощупаю. Господи, да у тебя жар.

— Глупости, мама, — вмешивается Вера, — ничего у нее нет. Просто объелась вчера мороженым. Пусть примет касторки.

Но Екатерина Львовна беспокоится.

— Что у тебя болит, Люка?

Люка слабо трясет головой.

— Ничего не болит. Только в ушах звон. И еще тут колет. Сердце.

— Какое же тут, у плеча, сердце? Легкое должно быть. Ты простудилась.

Но Люка трясет головой.

— Нет, сердце. Я знаю. Это сердце.

Конечно, сердце. Сердце всегда болит от горя.

Екатерина Львовна не верит.

— Надо тебя сейчас же уложить, послать за доктором.

Люка отодвигает тарелку, с трудом встает, цепляясь за стул.

— Это сердце, не надо доктора...

Люка больна от горя и любви. Доктор сейчас поймет, расскажет. И все будут знать, и все будут смеяться над ней.

— Не надо доктора. Не хочу. Я здорова...

Люка лежит в кровати. Доктор что-то тихо говорит. Ну конечно, что Люка больна от горя и любви. И теперь все знают. Все.

Мама выходит вместе с доктором. Люка одна. Теперь все знают, даже Том, рыжая хозяйская собака. Даже вещи в ее комнате. Да, вещи знают. Они вдруг стали враждебными и насмешливыми. Полированный шкаф неприятно блестит, стол горбится и хихикает, стулья подбегают к самой постели и шаркают круглыми, тонкими ножками. «Больны?.. А какой такой болезнью, позвольте узнать...» Синие и красные квадратики на обоях подталкивают друг друга углами и смеются тоненькими голосами: «Ждала... Не пришел. С носом осталась. С носом...»

...Люка открывает глаза. В окно светит луна, занавески тихо колышутся, розы под окном тихо кивают. И сейчас же над Люкой наклоняется Арсений.

— Арсений?.. Но ведь вы уехали.

— Я вернулся. Мне сказали, что вы больны. Я здесь. Я никуда не уйду. Спите...

И Люка засыпает.

Утро... Люка жмурится от солнца.

— Арсений, вы здесь?

— Да, да, спите, Люка. Я здесь. Я с вами.

Люка берет его за руку.

— Не уходите, мне страшно без вас.

— Я никуда не уйду. Я буду с вами всегда. Я люблю вас, Люка...

Люка счастлива. Но она так слаба, так беспомощна. Ей даже трудно вздохнуть.

— И я вас... — шепчет она.

И опять ночь.

Люка поднимает голову, Арсений сидит в кресле около ее постели.

— Арсений, я не умру?

— Но ведь вы совсем здоровы.

— Я боюсь, что умру. Я слишком счастлива. Поцелуйте меня, Арсений.

Он садится к ней на кровать, целует ее в губы. Свет луны падает на него, блестят черные глаза, блестят черные волосы.

— Люка, помните, в Петербурге?..

— Да. Я ждала вас, Арсений...

— Я женюсь на вас, когда вам будет шестнадцать лет.

— Еще так долго, полтора года...

— Но разве вам не хорошо?..

— Ах, мне хорошо, слишком хорошо.

Люка снова закрывает глаза.

— Пить, — говорит Люка хрипло.

— Люка, Люкочка, взгляни на меня. Ты узнаешь меня. Кто я?..

— Ты — мама, — произносит Люка медленно.

— Узнала меня. Пришла в себя, — радостно кричит Екатерина Львовна. — Доктор, она выздоровеет, она будет жить.

— Да, — говорит доктор, — теперь она поправится, — и шупает Люкин пульс.

Екатерина Львовна плачет. Слезы текут по ее измученному бледному лицу.

— Люкочка, деточка моя...

К постели подходит Вера, она тоже бледна.

— Ну и напугала же ты нас, Люка.

Вера улыбается, гладит сестру по щеке.

— Поправляйся скорей, цыпленок.

Какие все добрые, милые. Только где Арсений?.. Люка хочет спросить, но язык еще плохо слушается. Дверь скрипит. Это он. Но входит горничная и ставит букет роз на ночной столик. Розы, конечно, от Арсения. Даже спрашивать не надо. А он, должно быть, спит. Он так устал, ведь он не отходил от нее.

Люка улыбается. Как хорошо выздоравливать, как хорошо жить...

...Окно в сад открыто. Люка видит темные ели и кусок голубого неба над ними. Большая прозрачная стрекоза влетает в комнату. Вера кладет на Люкину кровать свое голубое шелковое платье.

— Это тебе, чтобы ты скорее выздоровела. Мне оно узко, тебе будет как раз.

Люка трогает платье. Шелк нежно скрипит под пальцами. Какое красивое. Люка всегда любовалась им. Взрослое, настоящее платье, не то что Люкины мешки с прорезом для головы и рук.

— Через три дня ты можешь встать, — говорит Екатерина Львовна, целуя дочь. — Ты рада, Люкочка?

Да, Люка рада. Люке хорошо. Но... Но, Арсений... С тех пор, как она пришла в себя, она не видела его. Уехал?.. Отчего тогда не написал ей? И отчего ни мама, ни Вера не говорят о нем. Люка ждет его. Днем и ночью, каждый час, каждую минуту. Она его невеста, она не беспокоится. И спрашивать не надо. Но ждать все труднее...

Люка сидит в кресле на террасе, похудевшая, вытянувшаяся. На ней Верино голубое платье, ноги закутаны пледом. Осеннее солнце косо освещает сад, кусты облетающих роз и пруд. Пансион уже пуст. Все разъехались. Только в первом этаже живет какая-то старушка. Больше никого.

Пора в Париж. И так засиделись из-за Люкиной болезни. Но теперь Люка, слава Богу, здорова. Да, Люка здорова. Это заметно по всему. Екатерина Львовна больше уже не смотрит на нее такими восторженными влажными глазами, Вера опять огрызается и наверное жалеет, что подарила голубое платье. Ведь и без платья Люка поправилась бы.

— Подадут громадный счет, — вздыхает Екатерина Львовна. Вера кивает.

— Еще бы... было бы хоть за что деньги платить. А то целый месяц мучались...

— Неужели Люка хворала целый месяц?..

— Ну конечно, мама. Разве ты не помнишь? Она захворала двенадцатого августа, в день отъезда Арсения Николаевича.

Люка вытягивает шею.

— Разве Арсений Николаевич?.. — и, не кончив, беспомощно прислоняется к спинке кресла и закрывает глаза.

Не надо, не надо спрашивать. Ни о чем не надо спрашивать...

Вторая часть

1

Большой темноватый класс. Парты слишком низки. Люка горбится, вытягивает длинные ноги, рассеянно смотрит на черную доску, на географические карты, на очкастого учителя. Рядом с ней сидит курнобая, толстая Ивонна. Губы Ивонны быстро шевелятся. Люка знает, что Ивонна шепчет: «Святой Антоний, сделайте так, чтобы меня не вызвали. Я вам дам два су, святой Антоний...» Ивонна никогда не учит уроков и трусит. Люка даже немного завидует ей, бояться все-таки веселее, чем только зевать. Люке бояться нечего, она хорошо учится.

Люка возвращается в метро. На станции все те же надоевшие рекламы. Два гуся в чепчиках клюют из жестяной коробочки паштет из гусиных печенок и похваливают: Ah! Que c'est bon!

Глупые утки. Безнравственная реклама.

Дома в маленькой тесной квартире в Пасси еще скучнее. Две спальни, столовая и кухня, а повернуться негде и ходить приходится всегда боком, чтоб не задеть за стол или кровать.

За обедом Екатерина Львовна, вздыхая, разливает суп.

— Все дорожает. Я просто не знаю, что мы будем делать. Надо экономить...

И экономят. Сладкого больше не готовят и даже в кинематограф не ходят. Вера потеряла службу, целыми днями пропадает в поисках новой и становится все злее. Вечером она вышивает крестиками по канве для русской мастерской.

Люка садится рядом с ней под лампой в столовой.

— Дай, я тебе помогу.

— Отстань, иди уроки учить.

— Я уже кончила. Дай, я умею. Тебе же выгоднее.

— Отстань, говорят тебе. Я не нуждаюсь в твоей помощи.

Люка замолкает и от нечего делать считает полоски на обоях. Пятнадцать синих, шестнадцать желтых. Впрочем, они уже давно сосчитаны и ошибиться нельзя. Потом принимается за

объявления в газете. Но и тут ничего нового нет. Зубная лечебница Зуб, доктора Спец и Рыбко. Спешно продается квартира в Медоне.

В половине десятого раздается звонок. Люка бежит в прихожую открывать.

— Здравствуйте, Владимир Иванович.

— Здравствуйте, Люка. Ваши дома?

Люка презрительно кривит губы.

— Где же им быть?

Владимир Иванович снимает пальто на шелковой подкладке, поправляет перед зеркалом галстук и большие роговые очки. На руке у Владимира Ивановича круглые золотые часы и портсигар у него золотой. Люка уважает богатство. Владимир Иванович входит в столовую.

— Я не помешал? — спрашивает он.

— Нет, напротив. Мы очень рады.

Вера поспешно кончает пудриться. Владимир Иванович садится к столу.

— Отвратительная погода, — говорит он. — Как у вас хорошо. Екатерина Львовна кивает.

— Да, осень...

Потом идет на кухню ставить самовар. Владимир Иванович из-под очков смотрит на Веру, на ее белую руку, на иголку, на красную шелковую нитку и канву.

За чаем вяло разговаривают. Екатерина Львовна накладывает варенье.

— Я сама его варила. В этом году лето жаркое было, ягод много.

Лето... Белые кусты роз, качающиеся ели, пруд, голубое небо и Арсений...

Люка молча размешивает сахар и вдруг поднимает голову.

— А почему Арсений Николаевич не бывает у нас?

Вера краснеет.

— Отстань, Люка. Молчи.

— Придет еще. Наверное, очень занят, ведь у него много дел... Но такое ли лето у нас в России? — быстро говорит Екатерина Львовна.

— Да, под Москвой...

Когда тема о России наконец исчерпана, снова наступает молчание и снова Екатерина Львовна старается оживить разговор.

— Ну, Люка, расскажи, что у вас в лицее нового.

Люка дергает плечом. Этого только не хватало, чтобы и дома про лицей. Верно, им уже совсем не о чем говорить, раз о такой скуке спрашивают.

— Она у меня первая ученица, — хвастается Екатерина Львовна.

— Удивительно, — Владимир Иванович улыбается Люке. — Ведь русская во французском лице. Трудно, должно быть.

Но Вера обрывает его.

— Еще бы она ленилась. За нее деньги платят. Должна понимать, не маленькая.

В двенадцать часов Владимир Иванович уходит. Теперь спать, а назавтра все сначала.

2

Четверг. С тихих деревьев Люксембургского сада падают рыжие листья.

Люка сидит на скамейке между хорошенькой Жанной и курносой Ивонной.

— Сыграем еще партию?

Ивонна вытирает лоб рукой.

— Посидим. Я устала.

— Ты толстуха, — говорит Жанна презрительно. — С тобой скучно играть.

Солнце освещает рыжие деревья, статуи, цветники, лестницы и дворец. Игрушечные кораблики плавают в круглом бассейне.

Трава еще совсем зеленая и воздух теплый. Люка размахивает ракеткой.

— Да, да, Ивонна, с тобой скучно. В теннис ты не играешь, бегать не можешь, и ничего-то ты не знаешь.

— Ну, положим, я знаю гораздо больше тебя.

— Ты? Что ты знаешь?

Ивонна гордо выпрямляется.

— Много, хотя бы, например, что надо делать, чтобы иметь детей.

Жанна хохочет.

— Нашла чем удивить. Я знаю даже, что надо делать, чтобы не иметь детей. Хочешь, расскажу?..

Щеки Жанны краснеют. Ивонна наклоняется к ней, глаза блещут.

— Расскажи...

Люка зажимает уши.

— Не смей, не смей. Я не хочу. Замолчи, Жанна.

Она вскакивает со скамейки и убегает.

Жанна догоняет ее.

— Куда ты, принцесса-недотрога? Если не хочешь, чтобы я рассказывала, я тебе книжку принесу. Сама прочтешь. Очень интересно.

— Нет, и книги не надо.

— Видишь, я знаю больше тебя. Нечем тебе гордиться. И у тебя вид девчонки, а у меня... — Ивонна с удовольствием проводит рукой по своей груди.

Люка морщится.

— Это некрасиво и не модно.

— Глупости. Мужчины это любят.

— А ты почему знаешь? Вот у меня сестра, Вера. Тонкая, плоская и пополнеть боится.

— А в нее много влюбляются?

— Ужасно. Двое уже застрелились, — фантазирует Люка.

— А тебя она любит?

— Обожает. Все, что я хочу, делает. Конфеты покупает.

— Счастливая ты, Люка, — вздыхает Жанна. — У меня брат все меня мучает, за волосы дерет.

Ивонна снова проводит рукой по груди.

— А все-таки мужчины это любят...

— Откуда ты знаешь?

— Мне Поль сказал.

— Поль?.. — переспрашивает Люка.

— Ну да. Поль, мой двоюродный брат. Он приходит к нам по воскресеньям. И в коридоре...

— Что в коридоре?..

Ивонна выжидательно молчит.

— Ну, ну, — Люка трясет ее за плечо. — Что такое в коридоре?

— В коридоре он... — Ивонна снова умолкает.

— Ну, — вскрикивает Жанна.

— Он большой, — говорит Ивонна мечтательно. — Ему уже восемнадцать лет. Он студент.

— И что же в коридоре?..

— В коридоре он обнимает меня... И целует.

— Неужели? — ужасается Жанна. — И ты позволяешь?

— Как не позволить? Он сильный.

— Куда он целует тебя? В губы?

— Да, в губы. В шею. И колени.

Люка краснеет.

— Колени...

— Да. Сначала я боялась, но теперь...

— А если войдут?

— Тогда будет скандал, — спокойно говорит Ивонна. — Но что же я могу? Он сильный.

Жанна смотрит на Ивонну сбоку.

— А ты не врешь?

Ивонна возмущается.

— Честное слово. Хочешь, в воскресенье приведу его сюда?

— Приведи, непременно приведи.

Ивонна чувствует себя героиней.

— Ну а ты, Жанна. Неужели тебя еще никто не целовал?

Жанна грустно качает хорошенькой головкой.

— Нет, никто. А тебя, Люка?

Люка пожимает плечами.

— Я бы многое могла рассказать. И поинтереснее, чем Ивонна, только не вам, вы слишком глупы.

— Сама ты умна, — огрызается Ивонна. — Просто тебе стыдно, что рассказать нечего.

Люка снова пожимает плечами.

— Может быть, и есть что, да не тебе.

Они идут по прямой шуршащей рыжими листьями аллее. Вдали видны широкие ворота.

— Кто скорей до забора, — кричит Люка. — Раз, два, три, — и несется вперед. Минуту Жанна бежит рядом, плечом к плечу, потом топот ее ног слабеет, она отстает.

— Первая, я первая, — кричит Люка, держась за решетку. — А вы черепахи.

По улице мимо сада проезжает такси. Сквозь стекло на Люку смотрят черные, блестящие глаза. И рядом в глубине маленькая голубая шляпа, совсем как у Веры. Одна минута, и уже нет такси.

Арсений... Неужели Арсений и Вера?.. Или только показалось?.. Люка стоит около забора и смотрит вслед такси. Неужели это был он?..

Жанна дергает Люку за руку.

— Что же ты не отвечаешь. Хочешь играть в Линдберга?

Самовар шумит на белой скатерти. Рядом с вазочкой с вишневым вареньем мотки красного, синего и желтого шелка. Вера молча шьет, наклонив темную, гладко причесанную голову. Владимир Иванович влюбленно смотрит на нее.

— Сегодня был чудный день. Вы гуляли, Вера Алексеевна?

— Да, гуляла, — Вера внимательно считает стежки, не поднимая глаз.

Люка ставит чашку на блюдце.

— А я была в Люксембургском саду. Скажи, Вера, ты не проезжала мимо в такси? С Арсением Николаевичем?

— Я?.. — Вера резко поворачивается к сестре. Ножницы со звоном летят на пол. — Я? С Арсением Николаевичем?.. Ты с ума сошла.

— Чего ты сердишься? Мне показалось издали. Шляпа голубая, совсем как у тебя.

Вера густо краснеет.

— Мало ли в Париже голубых шляп. Я сегодня вообще не выходила.

— Но как же ты только что говорила, что гуляла?

Вера еще больше краснеет.

— Я не гуляла, я ходила за работой в мастерскую. Арсения Николаевича я с лета не видела. И какое тебе дело?..

— Я ничего... Мне только показалось. Голубая шляпа совсем как твоя. И...

— Отстань. Как ты смеешь приставать, змееныш?..

Вера встает, шумно отодвигает стул и уходит, хлопнув дверью. Щелкает ключ.

— Ну вот, — огорченно говорит Владимир Иванович. — Как нехорошо вышло.

Екатерина Львовна старается казаться спокойной.

— Вера так нервна. Вы ее извините, пожалуйста. Я иногда просто не понимаю, что с ней.

— Нервы, должно быть, малокровие. И Вера Алексеевна слишком много работает.

Люка трясет годовой.

— Она? Она целыми днями пропадает. Вторую неделю все ту же блузку вышивает.

— Люка, ты опять суешься? Не довольно с тебя, что Веру расстроила?

— Она сама расстроилась. Я ничего не говорила, мама. Мне только показалось...

— Знаешь пословицу: когда кажется, тогда крестятся? Слишком ты болтлива.

Люка надувает губы.

— Хорошо. Теперь молчать буду.

Владимир Иванович прощается.

— Куда же вы так рано, — удерживает его Екатерина Львовна. — Верочка сейчас выйдет. Верочка, Владимир Иванович хочет уходить.

Но ответа нет. Владимир Иванович нерешительно смотрит на дверь спальни, потом вздыхает.

— Нет, уж я лучше пойду. Пора. Передайте, пожалуйста, привет...

Люка провожает его в переднюю. Владимир Иванович надевает пальто.

— Нехорошо обижать сестру, Люка.

— Обидишь такую. Она сама всякого обидит. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Люка.

Люка возвращается в столовую. Екатерина Львовна сидит за столом под лампой, положив голову на руку.

— Мамочка, милая. Что с тобой? Тебе грустно?..

— Ах, Люка. Разве мне легко все это видеть?..

Люка не понимает, что значит «все это», но сердце сжимается от жалости.

— Мамочка, это пройдет. Ты увидишь, как будет хорошо.

— Мама, — кричит Вера из-за двери. — Я не хочу, чтобы этот змееныш спал со мною. Пусть ночует где знает. Я ее не впускаю.

— Хорошо, я возьму Люку к себе. Но тыпусти меня, Верочка. Я хочу с тобой проститься.

— Я уже легла, мне лень вставать, спокойной ночи.

Люка бьет в ладоши.

— Вот как чудно, я буду спать с тобой, мамочка...

Люка лежит на диване в комнате матери. Диван твердый и узкий, и бока болят, но Люка блаженствует. С мамой можно поговорить, мама не облает, как Вера.

— И тогда они убили ее, разрезали на куски и бросили в Сену... Ты слушаешь, мама?..

— Спи, — сонно отвечает Екатерина Львовна, — уже поздно.

Темно, тихо и тепло. Красная лампадка мигает перед иконой. Овальное зеркало тускло поблескивает над диваном. Полосатое

кресло в углу кажется гвианским каторжником. Притаился, присел на корточки, ждет, чтобы прыгнуть с ножом на горло.

— Мама, послушай.

Люка высоко поджимает холодные колени, поворачивается на другой бок, вздыхает.

— Мама, ты спишь?

На постели шуршат простыни.

— Что тебе, Люка? — спрашивает сонный голос

— Мама, послушай, не спи... Скажи, ты не знаешь... Есть такие стихи у Лермонтова — «Ангел смерти». Ты не помнишь?..

— Какие еще там стихи? Спи...

— Ах, мама, — взволнованно шепчет Люка, — я все вспоминаю и не могу заснуть.

— Глупости, перекрестись и спи. Лермонтова завтра в библиотеке возьмешь, тогда и прочтешь. А теперь спи.

Люка замолкает на минуту.

— Мама, — спрашивает она снова, — мама, ты видела, как умирают?..

— Молчи, Люка... И что за страхи на ночь, перекрестись и спи.

Тихо. Сквозь темные занавески на окне падает узкий зеленоватый луч уличного фонаря. Люка поднимает голову с подушки, всматривается в зеркало над диваном. Уличные тени, расплывчатые и смутные, скользят по темному стеклу. Страшно. Люка прижимает руки к груди. Кто это там в глубине?.. Кто?.. Кровь медленно и мучительно отливает от сердца и пальцы холодеют. Кто это?.. Неужели он?..

— Мама, — шепчет Люка, — мама, ты видела, как папу расстреливали?

— Люка, — вскрикивает Екатерина Львовна и щелкает выключателем, — Люка, что ты говоришь?..

Люка сидит на кровати и широко раскрытыми глазами смотрит в зеркало. Худые плечи вздрагивают под ночной рубашкой.

— Зачем ты зажгла свет? Зачем? Еще минута, и я увидела бы его.

— Кого?.. Что ты говоришь, Люка? Что с тобой? Выпей воды.

Екатерина Львовна наклоняется над ней, но Люка прячет лицо в подушку.

— Оставь меня. Я уже почти видела его. А теперь все пропало. Пропало.

Со смертью у Люки старые и сложные отношения. Пяти лет Люка слушала сказки про волшебниц и злых колдунов, прижимаясь к маминим коленям.

— Мама, ведь это все еще повторится? Не правда ли повторится? — спрашивала она, бледнея. — И волшебницы и колдуны? Когда я вырасту, а ты будешь мертвая. Да?

И мама грустно улыбалась.

— Разве ты хочешь, чтобы я умерла?..

— Ах нет. Но ведь бабушка уже умерла. Значит, теперь твоя очередь. Но ты все-таки, пожалуйста, поживи еще. Без тебя мне будет очень скучно.

Люка соскальзывала с теплых маминых колен, бродила по большому неосвещенному дому, пока не попадала в длинный коридор. Из коридора дорога уже одна — хотя и запретная — прямо в кухню. Люка робко толкала дверь и останавливалась. В кухне было жарко. Плита пылала красными огнями, в кастрюлях и на сковородах что-то кипело и жарилось. Синий чайник подскакивал, хлопая крышкой. Вода в нем булькала неприятно и насмешливо. Люка отворачивалась, лучше не смотреть на него. Она осторожно подходила к толстой кухарке и дергала ее за передник.

— Акси́нья, расскажи про чертей.

И кухарка, помешивая что-то деревянной ложкой в кастрюльке, сейчас же начинала.

— А было это, барышня Люка, давно, когда вас еще и на свете не было. А я тогда была не такая, как теперь, а красавица, загляденье, коса до пят, глаза, как звезды, сама румяная да белая. Вот и иду я однажды пройтись. Только вышла из села — гляжу, у самого леса тройка стоит, звенит бубенцами, ямщик с павлинным пером, кони быстрые, а в санях барин, чернявый, борода клинушкой, шуба тысячная и шапка бобровая. Сделал он мне этак ручкой:

— Эй, красавица, садись, прокачу.

Я было уж и ножку в сани занесла, да тут как подует ветер и с барина шапку долой. А под шапкой-то волосы курчавые и рожки торчат. Ну, я назад, перекрестилась. Только снег столбом пошел, ни барина, ни тройки. А если бы села в сани, прямехонько в ад, в пекло доставил бы меня, а там за ножки да на сковородку. Жарься себе, как блин, чертям на радость.

— А теперь, Акси́нья, чертей уже нет?

— Теперь уже нет. Все перевелись. Зато теперь большевички. Большевички-то, говорят, еще почище чертей будут...

В одно утро встали с испуганными лицами, бегали по дому, укладывали чемоданы и сундуки. Надо удирать, завтра будет поздно...

У Люки был маленький ангорский котенок. Люка очень любила его, и первой ее мыслью было: а Ступка?

— Мама, Ступка поедет с нами?

— Нет, куда с кошкой. Там тебе новую купим.

— Мама, пожалуйста, возьмем Ступку. Я не могу без Ступки. Но мама неожиданно рассердилась.

— Нет, сказано тебе. Нет. Ступка останется. Не приставай. И без тебя голова кругом идет.

— Так Ступка не поедет?..

— Нет, нет, и не топчись под ногами. Иди играть.

Люка не плакала, она взяла котенка на руки и вышла в сад. Было тихо, холодно и грустно. Белое осеннее солнце светило сквозь голые ветки. Песок скрипел под ногами. Люка села на качели, прижимая Ступку к груди.

— Ступка мой, Ступочка. Как ты будешь без меня, Ступка?..

Она оттолкнулась ногой, и качели тихо закачались. От их мерного укачивания стало еще грустней, еще безнадежней.

— Ступка мой...

Люка поцеловала его пушистую шерсть:

— Ступочка...

Качели остановились. Люка смотрела на березы, на тяжело летевшую ворону, на крышу дома. Котенку надоело лежать неподвижно, он зацарапал лапками по Люкиному платью, стараясь освободиться, но Люка крепче прижала его к груди и встала.

— Ступка мой. Никому не отдам, не оставлю.

Она обошла дом, тихо пробралась по узкой лестнице на чердак. Чердак был большой и низкий. Всюду стояли сундуки, старые стулья, диваны, шкафы. С потолка спускалась паутина. Сквозь маленькое круглое окно падал пыльный солнечный луч. Люка затворила дверь, зашла в угол за шкаф и, став на колени начала рыться в куче мусора. Котенок жалобно замыкал.

— Сейчас, сейчас, Ступочка, подожди.

Люка подняла с полу веревку и встала. Потом сделала из веревки петлю, поцеловала котенка прямо в мордочку. Котенок недовольно фыркнул и лизнул ее в губы маленьким шершавым языком.

— Ступка, мой Ступка, прощай...

Она привязала конец веревки к высокой спинке стула, накинула петлю котенку на шею. Котенок повис в воздухе, отчаянно дрыгая лапками. Люка зажмурилась, чтобы не видеть. Когда она взглянула на котенка, все уже было кончено. Он висел на веревке, раскачиваясь назад и вперед, как маятник. Лапки были растопырены. Рот широко раскрыт. Круглые стеклянные глаза смотрели прямо перед собой.

— Ступка, Ступка!

Люка громко заплакала. И вдруг захлопали крылья, и что-то влетело в окно. Люка втянула голову в плечи и с криком бросилась за шкаф. Крылья, хлопая над ее головой, пронеслись дальше, туда, к Ступке. Люка забилась в самый угол, холодея от ужаса. Это Ангел смерти прилетел за Ступкиной душой. Азраил, Ангел смерти. Люка знала, он всегда прилетает за душами.

Сердце громко стучало и колени дрожали. Люка долго стояла, прижавшись к стене. Потом наконец осторожно выглянула из-за шкафа. Было по-прежнему тихо, пыльно и пусто. Котенок висел уже неподвижно, его вытаращенные стеклянные глаза все так же смотрели прямо перед собою, лапки все так же топорщились. Большой серый голубь сидел на выступе круглого окна, склонив голову на бок. Но Люка знала, это не он. Это Ангел смерти прилетал за Ступкиной душой. Ангел смерти, а не голубь.

— Люка, Люка, — звали внизу. — Одевайся скорее, сейчас едем...

В экипаже Екатерина Львовна вспомнила.

— А где же твоя кошка?..

Люка сказала грустно.

— Кошку взял ангел.

Но никто не обратил внимания на ее ответ. Не тем были заняты. И никто больше не спрашивал о Ступке.

А через несколько дней Люка гуляла по берегу теплого Черного моря и удивлялась, почему «Черное», когда оно, как синька. Красное, круглое, огромное солнце медленно опускалось в синие волны.

— Мама, — беспокоилась Люка. — Солнце упало в море. Рыбы не съедят его за ночь?..

Белые чайки, хлопая крыльями, кружились над головой. Люка закрывала глаза, и ей казалось, что это Ангел смерти летит за Ступкиной душой, и сердце громко стучало от ужаса и блаженства...

Снова дни идут за днями. Лицей, потом обед и вечером самовар, Владимир Иванович, Верины крестики и разговоры о России.

— Я сегодня шла по Елисейским полям, — говорит Екатерина Львовна, — так красиво, деревья, вдали арка, и небо совсем особенное, как только в Париже бывает, прозрачное, высокое. Так красиво. И все-таки я шла и думала: лучше никогда бы мне не видеть всего этого. Лучше бы мне быть в России несчастной, чем здесь счастливой...

Вера поднимает голову и задумчиво смотрит в угол.

— Да, — вздыхает она. — И по русской земле так легко ходить. Теперь уже снег в России...

Люка пожимает плечами.

— А как же, Вера, без Галери Лафайет? Где бы ты там ленточки покупала и одну пару перчаток по десять раз меняла?

Но Вера, не отвечая, шьет, наклонившись над канвой...

В двенадцать ложатся спать. Люка снова спит вместе с Верой. Вера долго моется и причесывается. Потом тушит свет.

— Спокойной ночи, Верочка, — заискивающе говорит Люка.

— Спи, — сухо отвечает Вера.

Вера все так же нервна, раздражать ее нельзя.

Люка закрывает глаза. Люка спит...

...Ей снится, что она лежит на широком, низком, шелковом диване. Она голая, ей неловко, стыдно. Прикрыться бы, но ничего нет, ни простынь, ни одеяла, ни подушек. Диван плоский, шелк холодный и скользкий. Люка беспокойно двигается. Комната совсем пустая, ни стульев, ни стола, ни даже ковра на полу. В широкое, во всю стену, окно видно только синее прозрачное небо и большая круглая луна. Луна смотрит прямо в комнату. Лунный свет падает прямо на Люкины ноги. Люка сжимает и разжимает колени, хочет спрятаться, уйти от луны. Но некуда. Лунный свет заливал ее ноги, проходит между коленями, через живот, грудь, горло, и во рту на кончике языка его вкус, прохладный влажный вкус лунного света. И некуда уйти, некуда спрятаться от луны. Так стыдно, так хорошо...

На луну набегают большая черная туча. Совсем темно, ничего не видно. Люка съеживается, подбирает колени к подбородку и чувствует холодный ветер в волосах. И вдруг шум крыльев над головой. Она зажмуривается. Нельзя дышать, и сердце не стучит, и глаза открываются сами собой от ужаса.

Черные огромные крылья... Черные блестящие глаза... От их взгляда кровь убегает из тела, вместо нее по венам струится легкий-легкий холод, и в груди уже нет сердца и нет жизни. В груди пусто, холодно и легко.

— Азраил... — слабо вздыхает Люка.

Черные крылья, черные глаза наклоняются над ней. Холодные легкие руки гладят ее грудь, ее колени. Как холодно, как блаженно, как страшно. Сейчас оборвется ее душа. Она держится только на тонкой ниточке. Сейчас оборвется и полетит в широкое окно, в темное небо... Но почему так темно?.. Она не видит его. Только черные блестящие глаза, только черные огромные крылья...

— Азраил...

Ледяные губы медленно и мучительно касаются ее губ. Темно. Тихо. И веки закрываются от счастья, блаженства и ужаса.

— Азраил...

Люка просыпается. Это их спальня. Вера спокойно дышит на соседней кровати, на стуле лежит платье, на коврик брошены туфли. Это их спальня, и все обыкновенное. Но в ногах Люкиной постели, словно огромная птица, сложив черные крылья, сидит Азраил, и черные глаза его блестят в темноте. Она протягивает к нему руки.

— Азраил. Ты будешь ко мне прилетать?..

— Да, да. Каждую ночь... Каждую ночь...

6

Люка ходит в лицей, обедает, готовит уроки. Как всегда. И никто не знает, что с ней случилось, и никто ничего не замечает. Люка не изменилась, только немного бледнее, немного рассеянее, чем прежде.

Урок истории. Люка зевает. Как она устала и спина болит. А после истории еще алгебра.

«Азраил», — пишет она чернилом на парте и стирает рукавом, чтобы никто не увидел. Рукав весь черный и руки тоже.

— Слушай, — толстая Ивонна толкает ее локтем. — Он завтра придет.

Люка рассеянно поднимает голову.

— Он? Кто он?

— Он. Поль, конечно. Какая ты бестолковая.

— Куда же он придет?

— Ты уже забыла. Ведь я обещала его показать. Он придет завтра в Люксембург. Слышишь, Жанна?

Жаннино хорошенькое лицо густо краснеет:

— Этот Поль, который тебя целует?..

— Ну, да. Завтра в половина третьего.

Жанна и Люка ходят взад и вперед по широкой аллее Люксембургского сада. На Жанне новое платье и перчатки.

— Ты чего же так нарядилась?

Люка насмешливо осматривает ее.

— Сегодня воскресенье, и мы должны познакомиться с молодым человеком...

Люка смеется, тряся головой, ее светлые волосы прыгают.

— Ты бы хоть шляпу надела, — советует Жанна. — Что он подумает?

Люка подбрасывает берет и ловит его.

— Вот еще. И так много чести, что мы его ждем.

Рыжие листья глухо шуршат под ногами. Деревья поднимают к небу голые, черные ветки. В холодном прозрачном воздухе статуи кажутся живыми, цветы — искусственными и сад виден до самой глубины.

В ворота входит Ивонна, рядом длинный Поль в студенческой шапочке.

Ивонна сияет. Люка и Жанна останавливаются и ждут. Идти навстречу неприлично.

— Это Поль, — знакомит Ивонна, — а это мои подруги Жанна и Люка.

Поль улыбается. Зубы у него пломбированные. Он пожимает им руку — ладони у него потные.

— Какие хорошенькие, — говорит он развязно. — Только худенькие, как макароны. Но все-таки прелесть.

Садятся на скамейку. Люка с краю, рядом Поль, потом Жанна. Ивонна уступила ей свое место возле Поля.

— Ну, девочки, расскажите что-нибудь веселое, — говорит он. Но они молчат. Ивонна толкает Жанну ногой, давась от смеха.

— Чего ты?.. Перестань, — смущенно шепчет Жанна.

Поль смотрит на Люкины голые колени.

— Совсем еще маленькая. В коротких чулочках. Сколько вам лет?..

Люка обиженно прикусывает губу.

— Через месяц пятнадцать.

— О, как много, — он протягивает руку к Люкиным коленям. — А потрогать можно?..

Люка вскакивает красная и злая.

— Не смейте. И довольно с меня... Прощайте.

Она поворачивается и быстро идет к воротам. Ивонна догоняет ее.

— Что же ты? Куда? Он обидится.

— На здоровье, пусть обижается.

— Но как можно?.. Ты совсем невоспитанная.

— Убирайся, — Люка почти бежит.

— Разве он тебе не нравится?..

— Ужасно нравится, страшно, и он чудно тебе подходит.

— Ну вот видишь...

— Прощай.

Ивонна недоумевающе смотрит Люке вслед, потом возвращается к Поллу и Жанне.

— Сумасшедшая эта Люка.

Люка идет по тротуару.

Как противно. Руки у него потные, и весь он отвратительный, и еще целуется с этой индюшкой. А она, Люка, побежала смотреть на него. Она, к которой прилетает Азраил...

Люка морщится. Какой стыд. Он чуть не взял ее за колено. Чтобы успокоиться и убить время, Люка идет пешком. Идти далеко, с Монпарнаса в Пасси. Но ей не скучно. Она размеренно шагает, читая в такт.

*Есть Ангел смерти; в грозный час
Последних мук и расставанья
Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья...*

Уже четыре часа, а в одиннадцать можно лечь.

*Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья...*

Люка сидит перед тарелкой супа и, улыбаясь, глядит прямо перед собой на обои.

— Люка, чему ты? — спрашивает Екатерина Львовна.

— Что? — Люка растерянно моргает.

— Чему ты улыбаешься?..

— Я?.. Разве я улыбалась?..

Вера подозрительно смотрит на сестру.

— Ты вообще какая-то странная. Сонная. Синяки под глазами. Люка краснеет.
— Я? Я ничего... Я вспомнила, в лице...
— В лице?.. — Вера грозит ей пальцем. — Смотри у меня. Неужели догадалась?.. Неужели видела его?.. От страха холодеют руки.
— Ты не больна ли, Люка? — беспокоится Екатерина Львовна.
— Нет, я здорова. Я очень проголодалась.
Люка, давясь, глотает горячий суп и кашляет. Вера хлопает ее по спине.
— Не ешь так жадно. Никто не отнимет.

7

Азраил... Как хорошо...

И вдруг электрический свет нестерпимо ярко ударяет в лицо. Вера стоит перед кроватью.

— Я так и знала. Так и знала.
— Что? Что такое?..
— Нечего притворяться.
— Я не понимаю. Я хочу спать. О чем ты?
— Ах, ты не понимаешь?.. Не понимаешь, не знаешь. Маленькая, наивная. Так я тебе расскажу.
— Нет, нет, — испуганно кричит Люка. — Я не хочу, не надо, я не хочу этого знать, — и зажимает уши.

Но Вера грубо отводит ее руку.

— Нет. Ты будешь слушать. Довольно. Не знала, так узнаешь...
Вера до боли стискивает Люкину руку и, наклонив к ней бледное, злое лицо, быстро-быстро говорит о самом позорном, о самом страшном.

— Вера, ради Бога, Вера...

— Что у вас тут такое?..

В дверях стоит испуганная Екатерина Львовна.

— Вот, — Вера трясет Люку за руку, — вот полюбуйся на твою дочь!..

— Вера, что ты говоришь? Замолчи, — шепчет Екатерина Львовна, — как тебе не стыдно?

— Стыдно? Это ей должно быть стыдно...

Люка лежит, уткнувшись головой в подушку. Екатерина Львовна наклоняется над ней.

— Люкочка.

Люка вдруг поднимает голову, смотрит на мать затравленными глазами.

— Отстаньте от меня, черти, — говорит она хрипло.

Снова тихо. Екатерина Львовна ушла к себе. Вера успокоилась и спит. Люка лежит, широко раскинув руки. О, как отвратительно... Голова горит. И все уже ясно, она все знает... Все ясно, отвратительно, грубо и страшно. И неужели правда? Неужели? И как люди живут, разве можно жить, если это правда?..

Люка еще шире разбрасывает руки, чтобы только не дотронуться до себя. Отвратительно, все отвратительно. И отвратительнее всего она сама...

Люке стыдно. Люке противно. Лежать бы так целый день в темноте, никого не видеть, ничего не слышать. Но надо вставать. Сейчас проснется Вера. О, как все отвратительно. Как противно. Как стыдно смотреть на свою рубашку, натягивать чулки, мыться.

Люка уходит потихоньку из дома, пока все спят. Но и на улице все противно. На людей смотреть нельзя, они тоже все... И даже лошади... Люку начинает мутить. Какая гадость. Чтобы успокоиться, она рассматривает автомобили. У них четыре колеса и мотор, руль. Вот маленький «ситроен», а это «рено». Да, об автомобилях еще можно думать. И о деревьях, о тучах, о ветре.

Но в лицее опять все отвратительно. Толстая Ивонна, которая целуется с Полем... И Жанна, и все ученицы, и учителя. И даже мухи. Ведь и мухи тоже... Люка сидит красная, с запекшимися губами.

— Вы не больны? — спрашивает классная дама. — Может быть, хотите домой?

— Нет, нет, — пугается Люка. — Не хочу.

— Поль сказал про тебя... — шепчет Ивонна.

Люка сжимает кулаки.

— Молчи. Не смей со мной говорить, а то я тебя так вздую!

— Сумасшедшая.

После занятий Люка долго бродит по улицам. Голова кружится. Она ничего не ела. Надо хорошенько устать, тогда не будешь ни о чем думать.

В половине десятого Люка отпирает входную дверь.

— Люка, — вскрикивает Екатерина Львовна. — Деточка. Где же ты пропадала? Как я волновалась. Всюду уже искали, ко всем знакомым звонили и в лицее...

Вера пожимает плечами.

— Я говорила, что нечего бояться. Ты бы, мама, вместо поцелуев выбрала бы ее хорошенько.

Екатерина Львовна хочет обнять Люку, но Люка слабо отстраняется и проходит в спальню.

— Оставь, мама. Я очень устала. Я хочу спать. Я обедала у Ивонны. Завтра расскажу.

Вера расставляет чашки на столе, звенит блюдечками.

— Комедия, — и презрительно смеется. — Ничего. Пусть погодает. Полезно.

8

Азраил больше не прилетает. Люка даже не вспоминает о нем. И все по-прежнему — лицей, обед, уроки, чай. Люка по-прежнему играет с Ивонной и смеется. Что поделаешь? Жить надо, и каждый день. Даже если очень тяжело. Даже если очень скучно. Люке кажется, что она несчастна, но может быть это и не совсем так.

Самовар давно докипел. Люка зевает, поставив оба локтя на стол. Владимир Иванович влюбленно смотрит на Веру, поблескивая очками. Иголка быстро мелькает в Вериных пальцах.

— Я буду шить, пока не кончу. Хоть до утра, — говорит Вера.

— Уже половина первого, — Екатерина Львовна с улыбкой поворачивается к Владимиру Ивановичу. — Вы пропустите последнее метро.

— И Бог с ним, — беспечно отвечает он.

— Да, но такси здесь ночью не найти. Ведь вам далеко.

— Я и пешком дойду. За счастье побыть лишних пять минут с Верой Алексеевной я готов...

Владимир Иванович краснеет. Этого не следовало говорить. Да, этого говорить не следовало.

Но Екатерина Львовна все так же улыбается.

— Что же? Ноги молодые... Но тебе, Люка, пора спать. Идем.

Екатерина Львовна уводит Люку. Дверь в спальню закрывается. Вера и Владимир Иванович одни.

Вера еще ниже нагибается над канвой. Владимир Иванович молчит. Круглые часы на стене громко тикают.

— Вера Алексеевна...

Вера поднимает голову, глаза ее смотрят на него чуть-чуть испуганно, и во всем лице ожидание.

— Что?.. — тихо спрашивает она.

— Вы не устали?

— Нет... — по щекам ее скользит легкая тень от опустившихся ресниц.

Она вдевает в иголку красную нитку, откусывает кончик.

— Это... Это вас не утомляет?

— Ну конечно, — она нетерпеливо поднимает брови. — Конечно утомляет. Но что же делать?..

— Вера Алексеевна... Я... Простите. Все это очень просто... Если вы... Если бы вы стали моей женой...

Вера кладет канву на стол и смотрит на него пристально и внимательно. И во взгляде ее уже не страх, а торжество.

— Да, — говорит она спокойно, — я знала, что вы меня любите, но...

Он наклоняется через стол и быстро берет ее за руку.

— Нет, нет, ради Бога. Не отказывайте мне так сразу... Подождите...

Вера нежно улыбается ему.

— Глупый вы человек. Я и не хотела вам отказывать. Я хотела только сказать...

— Ничего, ничего не надо говорить... Вы решите и тогда позвоните мне. Я буду ждать. Я не буду выходить. А пока прощайте. Раз вы знаете, что я вас люблю...

Он целует Верину руку и быстро идет в прихожую. Вера видит, как он надевает пальто, берет шляпу.

— Спокойной ночи, Владимир Иванович.

Он молча кланяется. Вера стоит одна в пустой столовой.

Из спальни выскакивает Люка в одной туфле и бросается на шею Вере.

— Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! — кричит она, поджимая босую ногу.

Вера отбивается.

— Рано. Рано. Не с чем. Оставь. Я вряд ли выйду за него.

— И дурой будешь, — решает Люка. — Он богатый.

— Ты ничего не понимаешь. Он похож на барана.

— Велика беда. Пушкин тоже был похож на овцу.

— Не трещи, Люка, — останавливает Екатерина Львовна. — Конечно, это прекрасная партия, и будет очень жаль, если ты....

— Ах, мама, — устало вздыхает Вера. — Я не знаю... Я потом решу. Завтра. Как мне грустно... Ах, как мне грустно...

Вера протягивает Люке пять франков.

— Вот возьми. Иди в кинематограф.

— В кинематограф? — изумляется Люка. Неужели Вера хочет доставить ей удовольствие. Нет. Тут что-то не так.

Люка прячет деньги в карман.

— Спасибо, какая ты добрая. Завтра как раз дают очень хорошую фильму.

— Нет, не завтра. Иди сегодня.

— У меня много уроков. Я не успею приготовить.

— Глупости. Если не успеешь, напишу тебе записку. Ну, беги.

— А все таки я бы лучше завтра...

Но Вера сердится.

— Уходи. Слышишь, уходи сейчас же. Противная девчонка. Вечные капризы.

— Верочка, чего же ты злишься? — Люка уже надевает пальто. — Дай только еще франк на метро обратно.

Вера бросает два франка на стол.

— Скоро ли ты? Опоздаешь.

Люка бежит вниз по лестнице. Хорошо бы подежурить у дома, проследить, кого Вера ждет. Но тогда и в самом деле опоздаешь...

Вера взволнованно ходит по столовой.

— Он сейчас придет, мама. Я знаю, это ни к чему. И все-таки. В последний раз. Я хочу, чтобы дома, у нас. Но ты, пожалуйста, не выходи.

— Хорошо, Верочка. Только напрасно ты себя мучаешь. Ведь ничего не выйдет.

— Ну, да, да, да. Я знаю. Но все-таки. Вдруг я ошибаюсь, и он действительно любит меня.

В прихожей звонок. Вера торопливо приглаживает и без того гладкие волосы.

— Мама, уходи. Это он, — и бежит открывать.

Екатерина Львовна закрывает дверь в столовую, на носках подходит к креслу, садится, берет книгу. Но буквы сливаются и прыгают.

— Он сделал мне предложение...

— И ты, конечно, отказала?..

— Нет. Я не отказала. Я хотела спросить тебя.

Екатерина Львовна переворачивает страницу, несколько раз читает одну и ту же фразу. Не слышать бы, но так близко за стеной.

Она прижимает руку к груди. Бедная Вера, как мучается. А она, ее мать, не может, не умеет помочь.

Голоса переходят в шепот, нельзя разобрать слов. Это еще тяжелее. Екатерина Львовна подходит к самой двери, прикладывает ухо к замку. «До чего дошла. Подслушиваю».

Все тихо и вдруг... Что это? Будто всхлипывание. Екатерина Львовна уже берется за ручку. Надо утешить, успокоить Веру. Нет, нельзя. Она ничего не может сделать для дочери. Только подслушивать, только плакать. Как будто от ее слез Вере легче.

За дверью продолжают шептаться.

— Что? Что? Твоей любовницей?..

Ответа нельзя разобрать.

— Вы... Уходите, сейчас же уходите. И чтобы я вас никогда больше не видела.

— Но Вера...

— Уходите, уходите, — уже кричит Вера. — Да уходите же. Мама, мама, выгони его. Выгони...

Дверь в прихожей хлопает.

Екатерина Львовна входит в столовую. По щекам ее бегут слезы, она протягивает к дочери дрожащие руки.

— Верочка...

Но Вера холодно смотрит на мать, и лицо совсем спокойно, только немного бледнее, чем всегда.

— Мама, я выхожу замуж за Владимира Ивановича. Я пойду вниз позвоню ему. Ты довольна?

Она идет в прихожую, но на пороге останавливается.

— А может быть не стоит?.. — и через плечо смотрит на мать все так же спокойно. — Может быть, лучше в окно выброситься? А, как ты думаешь?

— Вера, что ты говоришь? Господь с тобой.

Вера коротко смеется.

— Я пошутила. Честное слово. Я не выброшусь в окно. Я трусиха... Я выйду замуж. Хотя это, может быть, еще страшнее.

Екатерина Львовна остается одна в столовой. Вот и исполнилось ее желание. Вера невеста. Но как грустно, как тяжело. Она вытирает слезы и крестится. Потом быстро расставляет чашки на столе. Руки все еще дрожат, и чашки жалобно звенят. Зачем она это делает? Кому нужны эти чашки? Разве будут пить чай?.. Вера возвращается.

— Мама, он сейчас придет. Он так обрадовался, даже смешно. Глупый человек. Он думает — счастье. Он думает — любовь. А на

самом деле... — Вера пожимает плечами. — Пойдем, мама, помоги мне одеться. Я хочу встретить его в белом платье, настоящей невестой...

Через четверть часа приходит Владимир Иванович, счастливый и растерянный.

Екатерина Львовна впускает его.

— Я так рада, — говорит она, целуя его в лоб.

Глаза его блестят из-под очков.

— Это самый счастливый день моей жизни.

— Надеюсь, что вы теперь всегда будете счастливы. Верочка... это... твой жених.

«Мой жених... — Вера стоит перед зеркалом в белом широком платье. Глаза смотрят печально и удивленно, рот кажется совсем невинным, и руки беспомощно опущены. — Мой жених, — повторяет она. — Я невеста... — она улыбается себе в зеркале. — Здравствуй, невеста, — а о нем, об Арсении, она больше не будет думать. Конечно. У нее жених. Но сердце больно сжимается, боль бежит от сердца к ногам, к рукам, к горлу, и хочется кричать от тоски. Но нельзя. Там, за стеной, ее жених. Он не должен знать. Никто не должен знать...»

Она выходит в столовую, протягивает руку Владимиру Ивановичу.

— Володя...

Голос ее звучит тихо и нежно, и лицо розовеет от смущения.

— Вы можете меня поцеловать.

Он касается губами ее щеки и закрывает глаза.

— Господи, как я счастлив...

Все молчат. «Что бы ему еще сказать», — думает Вера. У Екатерины Львовны встревоженное лицо. Круглые часы громко тикают.

Владимир Иванович вдруг становится веселым и шумным.

— Вот увидите, какой я теперь буду, — говорит он, шагая по маленькой столовой. — Вот увидите. Я хочу, Верочка, чтобы вы гордились вашим мужем. Я весь мир переверну.

Вера смеется.

— Ну, конечно, перевернете...

— Вы знаете, на нашем заводе... Меня так ценят. Я...

Вера улыбается, не слушая. Вот он какой. А она и не знала. Разговорчивый. И чем-то гордится. Она думала, робкий, тихий. А он вот какой.

Ей становится скучно.

— Послушайте, Володя. Поедем ужинать. Куда-нибудь, где цыгане. Хорошо?..

— Что ты, Верочка? Как можно к цыганам. Вас благословить надо. А ты к цыганам...

— Ну и благослови, если надо. Но ты ведь, наверное, сама не знаешь, как благословляют. Только поскорей. А потом поедем. Я хочу веселиться...

Ресторан. Шампанское. Женщины в светлых вечерних платьях. И все смеются, и всем весело. Или, может быть, притворяются, что им весело. Но Вере грустно, и нет сил притворяться. Она ставит локоть на стол, голова легко кружится, и все кругом кажется смутным и странным.

Цыгане на эстраде. Старые цыганки в пестрых шالях. Какие у них толстые ноги, а цыганки должны быть стройные и молодые.

*Дни за днями катятся,
Сердце болью тратится,
Обрывая тоненькую нить... —*

поют они гортанно и страстно.

— Как грустно, — вздыхает Вера. — А я хотела веселиться. Зачем мы приехали сюда?

— Если вам не нравится, поедем в другое место. В какую-нибудь французскую буат. Там веселее.

Но Вера качает головой.

— Нет. Останемся. Они хорошо поют. И разве есть место, где мне будет весело?.. Налейте мне еще.

— Верочка, ты слишком много пьешь.

— Оставь, мама. Слушай лучше.

*Пусть туман колышется,
Пусть гитара слышится —
Не мешайте мне сегодня жить...*

Вера пьет, закинув голову, и ставит пустой стакан на стол.

— Не мешайте мне сегодня жить, — повторяет она медленно. — Но ведь мне никто не мешает. Никто. И все-таки я не могу жить. Ах, лучше бы я умерла.

— Вера, что ты говоришь... — испуганно шепчет Екатерина Львовна. — Не пей больше.

— Ты думаешь, я пьяна? Нет, а может быть, и пьяна, я не знаю. Пусть туман колышется. Видишь, как он колышется. Или это дым от вашей папиросы? Отчего вы молчите, Володя? Вам тоже грустно? Хотите выпьем на ты?.. Жених и невеста всегда на ты.

Она протягивает ему стакан, чокается.

«Надо сказать, что-нибудь неприятное», — и смотрит ему прямо в глаза.

— Я не люблю тебя и никогда не полюблю.

Он роняет стакан, шампанское течет по скатерти, на Верино белое платье.

— Глупый, — смеется она, захлебываясь, волосы падают ей на лоб, — какой глупый. Я нарочно.

Он вытирает ее колени салфеткой.

— Ты пошутила?..

— Ну конечно. Конечно...

*Пусть туман колышется,
Пусть гитара слышится,
Не мешайте мне сегодня жить... —*

поют цыгане.

Вера слушает. Лицо ее снова становится грустным.

— Конечно, я пошутила. Но слушай. Я не знаю... Может быть, ты все-таки будешь несчастным со мною. Даже наверно будешь несчастен. Мне очень жаль вас, Володя... Но что же я могу?..

— Вера, не пей больше.

— Ах, мама. Оставь. Сама не пей, если тебе не хочется. И я больше не обязана тебя слушаться, раз я невеста, — она смеется. — Кончилась твоя власть надо мной. Правда, Володя?..

Цыгане уходят. Теперь вместо них на эстраде негры. Гавайские гитары щемяще и томительно звенят.

— Что же это такое? — растерянно оглядывается Вера. — Будто нарочно. Я хочу забыть, смеяться. А они нарочно выворачивают мне душу.

Из-за столиков встают пары, кружатся, медленно раскачиваются.

— Верочка, пойдем танцевать.

— Танцевать? — удивленно переспрашивает она. — Разве можно танцевать, когда сердце разрывается? Надо сидеть тихо и слушать. Дай мне папиросу. И все-таки...

Она кладет теплую ладонь на его руку.

— Я постараюсь быть тебе хорошей женой, Володя...

Он целует ее пальцы.

— Смотри, — вдруг говорит она, вытягивая шею. — Какая у нее шуба, у той черной у окна. Я редко видела такую красивую. Ах какая, — глаза ее суживаются от зависти. — Какая чудная.

Владимир Иванович наклоняется к ней.

— Тебе очень нравится, Верочка?

— Еще бы. Вот вопрос. Посмотри, какая пушистая.

— Раз тебе так нравится, надо будет тебе такую же купить.

— Мне?.. — ее брови удивленно поднимаются. — А ты знаешь, сколько она стоит?..

Но он спокойно улыбается.

— Раз тебе нравится...

— Ты... Ты серьезно?

— Конечно. Завтра же утром пойдем выбирать.

Но она все еще не верит.

— Ты смеешься надо мной. Я даже мечтать никогда не смела. Ведь у меня на пальто кролик.

— А завтра у тебя будет белка. Самая лучшая. Какую захочешь.

— Завтра?.. Такая широкая, с огромным воротником, на парчовой подкладке?.. Правда? Ах, как я рада, какой ты милый.

Она громко хлопает в ладоши.

— Верочка, не шуми, — успокаивает Екатерина Львовна. — На нас смотрят.

— И пусть смотрят. Пусть. Ты только подумай, мама... Завтра с утра пойдем покупать. Ах, Володя, теперь я знаю, ты меня любишь. И мне очень, очень весело. И это все вздор. Мы наверно будем счастливы. Я танцевать хочу, Володя. Ах, как мне весело. Как весело...

10

— Мама, — кричит Люка из прихожей. — Мама!

Люка зажигает свет. В столовой на буфете записка. «Не жди нас». И даже чая нет. Люка проходит на кухню. На столе грязные тарелки, кусок холодной телятины, жареная застывшая в жире картошка.

Люка кладет одну в рот, выплевывает — невкусно. И снова возвращается в столовую.

Что же могло случиться? Куда они делись? Вот почему Вера ее отослала. Люке грустно и тяжело быть одной. В кинематографе она плакала. Было так похоже на ее, Люкину, жизнь.

Жених бросил невесту, как Арсений ее. И Люка опять все вспомнила. Правда, там в конце все устраивается, но на то и кинематограф. И что же у Люки может устроиться, раз ничего, кроме воспаления легких, и не было?

Люка смотрит на желтые полосы обоев. Полосы, как прутья клетки. Люка чувствует себя птицей, запертой в клетке.

Надо лечь. Она медленно раздевается. Как тихо. Как грустно. Даже немного страшно. А вдруг сейчас откроется дверь... Люка быстро оборачивается. Нет, дверь закрыта и войти никому. Надо спать. Она тушит свет и ложится. Занавески неплотно задернуты, зеленый луч уличного фонаря падает на пол. Лучше на него не смотреть. Закрыть глаза и спать. И не думать об Арсении. Но так тихо, так грустно...

Люка прижимается щекой к подушке. Слезы текут быстро-быстро, и нельзя их остановить. Она будет плакать так, пока не изойдет от слез, не умрет от любви, нежности и жалости к себе. Она высоко подтягивает ноги, целует свои колени.

— Бедная Люка, бедная, ах, какая бедная, — шепчет она...

— Тише, Вера, тише. Разбудишь, Люку. Не стучи.

Люка сквозь сон слышит легкие шаги и шелест шелка. Она открывает глаза.

— Вера, ты?

Вера стоит посреди комнаты вся в белом, свет фонаря падает на нее.

Люка протягивает к ней руки.

— Верочка...

Шелк шуршит. Платье светлым кругом ложится на пол. Туфли со стуком летят в угол.

Вера подходит к Люкиной кровати.

— Подвинься.

Люка отодвигается к стене.

— Верочка, как давно ты не ложились ко мне.

Вера поднимает одеяло, ложится рядом с сестрой и обнимает ее.

— Как у тебя тепло.

Люка кладет мокрую щеку на Верино плечо.

— Ты плачешь, Люка?..

— Это во сне. Я видела дурной сон.

— Вот возьми, — Вера сует ей в руки что-то холодное и шершавое. — Я привезла тебе грушу.

— Спасибо...

Слезы падают на грушу, и у груши солоноватый вкус

— Слушай, — Вера целует Люкины мокрые губы. — Слушай, я выхожу замуж.

— За Владимира?..
— Да. И ты подумай, он купит мне завтра беличью шубу.
— Беличью?..
— Я так рада. Я буду богатой и тебе подарю что хочешь.
— Поздравляю тебя, — шепчет Люка, слезы все еще текут из ее глаз. — Я бы хотела туфли на белой подошве. Только дорого — полтораста франков.

— Ничего, куплю. И уроки музыки брать будешь.

— Ну, можно и без уроков...

Вера прижимается к сестре. От нее пахнет духами и вином.

— Я так рада...

— А ты влюблена, Вера, влюблена?.. — шепчет Люка над самым ухом.

— Ах, я не знаю. Я рада. Мне было очень грустно, а теперь...

Вера легко вздыхает, и Люка отвечает таким же легким вздохом на вздох сестры. Ей тоже было грустно, а теперь... Рассказать Вере об Арсении? Нет, лучше помолчать. И может быть, все еще устроится, как в кинематографе. Люка крепче прижимается к сестре и сонными губами целует ее плечо.

— Хорошо тебе, Верочка?..

— Хорошо...

Сонные глаза закрываются.

— Спи, Люка...

— Сплю...

11

На столе в вазе большой букет белых роз. Это от Владимира.

Вера сидит на диване, на коленях у нее новая шуба. Она гладит ее, прижимается щекой к меху.

— Знаешь, мама, мне кажется, что она живая и чувствует. И не она, а он. Такой пушистый, теплый, милый зверь. И зовут его Мурзик. Непременно живой. Вот, дай руку, погладь его. Чувствуешь, как мех прижимается к ладони? Это Мурзик ласкается, — Вера зарывается лицом в шубу. — У, милый. И как пахнет — еловыми шишками, миндалем, сбруей. Мурзик мой.

Екатерина Львовна смеется.

— Ну уж и миндалем...

— Мама, сыграй что-нибудь, а мы с Мурзиком послушаем. В доме, где невеста, всегда должна быть музыка. Цветы и музыка.

— Мне надо жарить котлеты, — слабо защищается Екатерина Львовна. — Сейчас Люка придет завтракать.

— Мама, невесте нельзя отказывать.

Екатерина Львовна садится за рояль. Вера устраивается поудобнее на диване.

— Как ты хорошо играешь, мамочка. Вот теперь я чувствую себя настоящей невестой. Такой веселой, почти счастливой.

Звонок... Екатерина Львовна идет отворять. В прихожую входит высокая, бледная, немолодая женщина.

— Я хотела бы видеть Веру Алексеевну Вишневскую.

Под короткой вуалькой заплаканные глаза, и руки в белых перчатках слегка дрожат.

— Войдите, пожалуйста. Верочка, это к тебе.

— Ко мне? — удивляется Вера и лениво встает. Шуба падает с дивана и сворачивается на ковре, как громадная серая кошка.

— Я пришла... Извините меня, — путается посетительница. — Вы — Вера Алексеевна Вишневская?

Вера кивает.

— Садитесь, пожалуйста.

Но дама остается стоять.

— Простите, я не знаю, с чего начать...

Она стоит у окна. Солнце падает прямо на ее лицо, усталое, красивое со складками у рта и заплаканными глазами.

— Я не знаю, поймете ли вы меня... Владимир Иванович...

Вера быстро поднимает голову.

— Ах, вот оно что. Владимир Иванович...

— Да. Он в вас влюблен. Он мне сам сказал. И я... Я пришла просить, умолять вас отказать ему. Ради Бога. Вы так красивы, так молоды... У меня ничего нет кроме него... — она протягивает к Вере дрожащие руки в белых перчатках. — Ради Бога. Я старая. Пожалуйста меня...

Вера пожимает плечами.

— При чем тут я. Это его вам надо было просить... Если он предпочитает вас...

— Ах, нет. Он влюблен в вас. Ему кажется, что он тяготеет мной. Но если вы ему откажете — он вернется ко мне... Ведь мы уже десять лет...

Вера трясет головой.

— Нет, я не откажу ему. Я ничем не могу вам помочь.

Ресницы быстро моргают под темной вуалькой. По бледной щеке катится слеза.

— Какая вы черствая. У вас вместо сердца камень...

— Всего хорошего, — говорит Вера.

— Прощайте. Я хотела вас еще попросить... Но это тоже напрасно. И все-таки, постарайтесь не делать его слишком несчастным. Вера смеется и снова устраивается на диване.

— Ну, это уже касается только его и меня...

Екатерина Львовна молча провожает гостью. Вера поднимает шубу с пола.

— Какая наглость. Нет, какая наглость, мама. Врываться к чужим людям...

— Но, Верочка, мне ее очень жаль.

— Ах, оставь, пожалуйста. Смешная. Такая старая и еще любить хочет...

— Но, Верочка, она несчастна...

— Мало ли несчастных?.. Какое мне дело. Мне так приятно сегодня. Сыграй еще что-нибудь, мамочка.

Вера снова прижимается щекой к меху и закрывает глаза, слушая музыку.

12

— Я тебе говорила, Вера, что надо было розовое одеяло купить. А то лиловое совсем как гроб.

— Оставь, мама. Мне нравится. И почему непременно розовое. Я ведь не немка, чтобы сентиментальничать.

— Как хочешь, — соглашается Екатерина Львовна. — А обои какие? Тоже лиловые?

— Обои в хризантемы, — вмешивается Люка. — В лиловые и белые. И в птицы. Птицы желтые с большими хвостами. Ужасно красиво. Я знаю, где такие купить можно.

— Ах нет, я птиц терпеть не могу. Мне ночью будет сниться, что они меня клюют. Уже девять часов. Сейчас Володя придет.

Вера причесывается в спальне.

— Нет. Лиловое одеяло очень красиво... Надо купить лиловый бобрин.

Звонок. Паркет тихо скрипит под мужскими шагами. Вера прислушивается, улыбаясь.

«Я гадаю, кто — там? Не жених ли. Не жених ли это мой?..» Ах, какой бы он, Владимир, ни был. Пусть в очках, пусть некрасивый.

Но он все-таки ее жених. Разве можно хоть чуточку не быть влюбленной в своего жениха?

Голоса в столовой звучат громко. О чем они так? Что случилось?

— Вера, Вера, — зовет Екатерина Львовна. — Иди скорей.

Вера не спеша поправляет складки платья и, стараясь ступать особенно легко и грациозно, выходит в столовую.

— Здравствуй, Володя. Что у вас такое?

У Екатерины Львовны испуганное, взволнованное лицо.

— Вера, эта дама, эта дама, которая утром приходила, отравилась, — почти кричит она.

Вера садится в кресло, расправляет широкое платье и, склонив голову на бок, спрашивает, все еще улыбаясь.

— Умерла?..

— Вера, Господи! Как ты можешь?.. — вскрикивает Екатерина Львовна.

— Нет, нет, — торопится Владимир Иванович, — она жива. Ее удалось спасти. Она отравилась вероналом... Слишком много приняла...

Вера слушает с любопытством.

— Ну конечно. Все они так. Или слишком мало, или слишком много, чтобы не умереть.

— Но она чуть не умерла... Доктор говорил...

Вера перебивает его.

— Чуть не в счет. Если бы по-настоящему отравилась, так и умерла бы. И пожалуйста, Володя, довольно об этом. Мне неинтересно.

Екатерина Львовна хватается за сердце.

— Господи, Вера. Какая ты злая. И в кого ты только такая?..

— Ах, мама, перестань. Я совсем не злая. Но какое мне дело?.. Пусть она себе живет на здоровье...

Вера сидит на кровати матери, обхватив руками угловатые колени.

— Мама, — быстро говорит она, удивленно глядя на мать, — мама, как это случилось, скажи? Ведь еще недели нет, я ждала Арсения и мучилась. А теперь я влюблена в Володю. Да, да, влюблена, хоть и смешно. Влюблена. В особенности сегодня, когда эта идиотка отравилась. Но как это случилось?

— Что же, Верочка. Естественно. Он твой жених. Когда станешь его женой, еще и не так полюбишь его, по-настоящему.

— Ах нет, мама. Совсем не то. И когда женой стану, наверное, разлюблю. Ты ничего не понимаешь. Это, должно быть, от ожидания, оттого, что с ним целуюсь. Но я влюблена, — нетерпеливо и обиженно проговорила она. — И скорей бы уже свадьба. Ждать тяжело. Даже часто дышать трудно, как будто сердце распухло, — она на минуту умолкает. — Слушай, мама, — вдруг спрашивает она, — а ты... Как ты можешь?

— Что могу? О чем ты, Верочка?

— Ну, как ты можешь, — нетерпеливо продолжает Вера. — Как ты можешь... спать одна? Разве тебе не тяжело?

Екатерина Львовна поднимает брови и краснеет.

— Вера! Что ты говоришь! Ведь я твоя мать.

— Ну и что же, что мать? Уважать тебя надо, бояться? Нет, нет, — Вера, смеясь, обнимает мать и целует ее в шею. — Я тебя люблю, ужасно люблю, вот и все. И мне тебя жаль. Да, жаль.

— Оставь, оставь. Задушишь.

— Тебя никто не целует, так хоть я. Моя красивая, моя молодая мама.

Екатерина Львовна смущенно отбивается от дочери.

— Ну довольно. Успокойся. Полежи тихо. Хуже Люки.

Вера вытягивается поверх одеяла рядом с матерью.

— Нет, мне серьезно жаль тебя, мамочка. Тебе непременно надо еще замуж выйти. У тебя такие плечи, такие глаза, такие губы. Тебе нельзя быть вдовой.

— Глупости все это, Верочка. Но как ты нервна.

— Ах, я совсем не нервна. Я влюблена, я счастлива. И я хочу, чтобы все были счастливы, и прежде всего ты.

Вера снова целует мать.

— Мамочка моя милая. Мама-кролик. Мама-персик. Мама-соловей. Помнишь, как я тебя в детстве звала.

Екатерина Львовна нежно гладит ее темные волосы.

— Странная ты. Такая ласковая, а сердца у тебя настоящего нет, и никого ты не любишь. Как кошка. Ну иди спать. Дай я тебя переkreщу. Уже поздно.

— Спокойной ночи, соловей мой.

Вера целует еще раз мать и, соскользнув с постели, бежит, смеясь, к себе.

Люка еще не спит. Она лежит в темноте с закрытыми глазами, сложив руки на простыне.

Вера тихо проходит мимо нее, кровать легко скрипит, шуршат простыни.

— Вера, — зовет Люка, — Вера, послушай.
— Ты не спишь, Люка? Уже поздно.
— Послушай, Вера.
— Ну что?
— Я все лежу, думаю о тебе и не могу заснуть.
Вера тихо смеется.
— Брось думать. Знаешь, индейский петух тоже думал...
— Вера, не смейся. Вера, ты не боишься выйти замуж?
— Боюсь? Что ты еще выдумала?
— Но ты разве забыла? Ты ведь мне сама рассказывала... И все это будет с тобой, подумай...
— Ах, вот ты о чем, — Вера зевает. — Спи лучше, — простыни снова зашуршали.
— Но, Вера, — взволнованно зашептала Люка. — Ведь это так страшно, так страшно...
— Молчи. Не мешай мне спать. И не волнуйся, пожалуйста. Ты еще мала, не понимаешь. Я совсем не боюсь, я очень счастлива. Спи, Люка.
Люка замолкает на минуту.
— Вера, — снова зовет она. — Вера...
Но ответа нет.
Люка подгибает выше холодные колени, закрывается одеялом до самого подбородка и вздыхает. Вера смеется, не хочет слушать. Неужели она не понимает, что ее ждет?
Люка закрывает глаза, чувствуя страх перед этой тяжелой, непонятной грязной жизнью, и сейчас же засыпает.

13

Екатерина Львовна разбирала покупки, только что принесенные из магазина. Вера сидела на диване и безучастно глядела в окно.

— Кружева очень хороши. А шелк слишком тонкий, будет плохо стираться. Да что с тобой, Верочка? Даже не посмотришь, будто не для тебя все это.

— Скучно...

В столовую вбежала Люка, неся Верину новую шубу.

— Стыдно хандрить, Вера. Тебе скучно, а нам от этого тошно. Вот и Мурзик загрузил, — Люка высоко подняла шубу. — Видишь, даже рукава повесил. Улыбнись Мурзику, Вера, а то он обидится.

— Отстань, Люка.

— Фу, какая ты злая, слышишь, Мурзик говорит: для того ли я пятнадцать тысяч стоил, чтобы на меня и взглянуть не хотели. Для того ли я такой пушистый и теплый. Ну, улыбнись, а то Мурзик обидится. Неужели ты больше не любишь его?

— Что там любить, подумаешь. Ведь это только шуба. Пускай дорогая, но все-таки только шуба, больше ничего.

Люка, прищурившись, взглянула на сестру.

— А ты что хотела, чтобы шуба Исаакиевским собором была? Вера рассмеялась.

— Ты глупая, Люка. Ну пойдем, помоги мне одеться. И Мурзика тащи. Хочешь, поедем с Володей в Булонский лес чай пить?

Люка запрыгала. Рукава шубы замахали в воздухе.

— Ура! Не сердится, не сердится. Только пить будем не чай, а шоколад, хорошо?

14

Накануне дня свадьбы приехала из Бордо тетя Варя и теперь сидела за столом в столовой.

Люка внимательно разглядывала ее. Мамина сестра, а совсем не похожа. Такая толстая, самоуверенная. Только на три года старше, а совсем старуха.

— Это хорошо, — говорила тетя Варя, — что замуж выходит. Тебе легче будет. Да и спокойней. Долго ли с теперешними до греха. Очень я рада, что у меня сын, а не дочь. Вот и Люку поскорей пристрой.

— Ну, Люка еще ребенок...

— Я и не говорю, чтобы сейчас. Когда шестнадцать лет будет. Что же это Вера так долго. Завтра свадьба, выспаться даже не успеет. Эх, как все неправильно.

Екатерина Львовна улыбнулась.

— А ты по-прежнему хочешь, чтобы все правильно было?

— А то как же? — удивилась тетя Варя и, поставив локти на пеструю скатерть, поправила шпильки в прическе. — Все должно быть правильно, не так, как у тебя. В доме беспорядок, да и в жизни твоей всегда беспорядок был. Никогда ты не знала, что хочешь. Вот и дочку так воспитала. Любит она хоть жениха своего?

— Кажется, любит.

— Кажется? Мать, а не знаешь. Эх ты, — презрительно мотнула она головой. — Да и то, какая у них, у теперешних, любовь.

— Да ты, Варя, не волнуйся, — успокаивала Екатерина Львовна. — Вот, попробуй варенье. Я сама варила...

— Ты мне, Катя, зубы вареньем не заговаривай...

Вера бросает шубу на диван, снимает туфли.

— Ноги даже заболели. Люка, тащи саночки.

Люка бежит за саночками, Вериными утренними туфлями.

— Так смешно, — рассказывает Вера, там какой-то длинный все на меня смотрел, а Володя злился.

— Ты причащалась, Вера? — неожиданно спрашивает тетя Варя.

— Нет. А разве надо было?..

Тетя Варя всплескивает руками.

— Господи, да что же это такое?

— Ничего, ничего. И так окрутят. Вы не беспокойтесь, тетя. Ах, как я устала.

— Но ты хоть бы подумала серьезно о том, что в новую жизнь вступаешь...

— О чем там думать. Все уже передумано. Спать надо. Ну, спокойной ночи.

Вера встает и, на ходу развязывая пояс платья, идет в спальню. Люка бежит за ней. Вера садится на кровать.

— Завтра меня уже тут не будет...

Люка, сидя на корточках, стаскивает с нее чулки.

Вера брыкается.

— Оставь. Щекотно.

— Позволь. Позволь. Ведь в последний раз.

Люка тянет воздух носом.

— Как хорошо пахнет. Ты зачем колени душишь?

Вера улыбается.

— Затем...

— Нет, скажи, зачем, — Люка нагибается вперед и целует Верину розоватое гладкое колено.

Вера, смеясь, толкает ее ногой в грудь. Люка опрокидывается на спину на ковер.

— Убила, убила, — кричит Люка, складывая руки на груди.

— Нет, не верю. Те, которые мертвые, ногами дрыгают и «Боже, Царя храни» поют.

— «Боже, Царя храни», — громко поет Люка.

В дверь просовывается голова тети Вари.

— Что у вас тут еще?

— Взрыв патриотических чувств, — кричит Вера, задыхаясь от хохота.

— Господи, и это накануне свадьбы, — тетя Варя возмущенно захлопывает дверь.

Вера продолжает хохотать, уткнувшись в подушку.

— А теперь спать, спать, — вдруг серьезно говорит она, — а то ведь завтра ночь в поезде.

— Счастливая, — вздыхает Люка. — Ниццу увидишь. Там пальмы. Будешь сама бананы с них рвать.

— Что бананы? Обезьяну за хвост поймаю и тебе в подарок привезу. Ну, спи. Не болтай больше. Я тушу...

Вера повернулась к стене, подложила руку под щеку.

«Завтра моя свадьба, — смутно подумала она. — А если бы не с Володей, а с Арсением? Ах, все равно. Так тоже хорошо. Я буду замужем. И богатой, — она закрыла глаза. — Пусть все, что со мной случится, мне сегодня во сне приснится, — прошептала она. — Кажется, надо себя за левый мизинец дернуть?..» — но руки уже стали тяжелыми и непослушными, и двинуть ими не было сил.

Вера спала. Ей снилось, что она идет одна по незнакомой улице в своем старом коричневом платье. Она садится в автобус и едет куда-то. Потом снова идет мимо магазинов и домов. Дверь в церковь открыта. «Венчаться», — вспоминает Вера и входит в церковь. Пусто и тихо и нет ни жениха, ни священника. Вера ждет. На аналое лежит икона. Свечи ярко горят перед ней. Вера берет икону, оглядывается и выбегает из церкви. Она бежит по улицам, прижимая икону к груди. За ней погоня. «Держи, держи! Воровка!» Вера бежит все скорее, подбегает к обрыву. Она разобьется! Все равно пусть. Только бы не поймали. Но бежать легко и не страшно. Песок сыплется из-под ног. Вот она внизу. А на горе стоят Люка, Екатерина Львовна и Владимир. «Вера, Вера», — кричат они. Вера поднимает голову и смотрит на них. Как они высоко... И в руках у нее вместо иконы большие столовые часы. Стрелки показывают десять. Как поздно!

Из кухни несся слабый стук ножа о тарелку, с пустой Люкиной кровати свешивалось на пол одеяло.

Вера заложила руки под голову. «Какой скверный сон. Скверный. Но почему скверный?.. Просто глупый. Нет, скверный». И сейчас же в памяти всплыли когда-то слышанные объяснения снов. В церкви быть — к несчастью, и с горы бежать плохо. «Глупости, глупости, — успокаивала она себя. — Вздор. Не в какие сны я не верю. Вот еще».

Она встала с кровати, подошла к окну и открыла ставни. Мелкий, косой дождь стучал в стекла. Небо было серое и низкое. «Дождь в день свадьбы — хорошее предзнаменование. И это вздор. Такой же вздор, как и сны».

Вера накинула халатик и прошла в столовую. Все уже было чисто прибрано. Паркет блестел, на столе стояла большая корзина белых цветов. Свадебные цветы. Она села на диван. «Свадьба. Сегодня ее свадьба, а день такой похоронный». Она смотрела на серое небо, на мокрые зонтики прохожих.

«Господи, как грустно. Как больно. Что больно?.. — быстро спросила она себя. — Ничего, ничего, ничего не больно: никакой боли нет и даже грусти нет. Просто скучно. Но так ли еще будет скучно потом. Арсений... Нет, об Арсении думать нельзя».

Из кухни выбежала Люка, вся вымазанная в муке.

— Верочка, встала уже? Мама спрашивает, класть в соус мадеру?

— Что? В соус?

— Ну да, в соус, с мадерой вкусней. Но бутылка двадцать франков стоит.

Вера нетерпеливо повела плечами.

— Ах, делайте как хотите. Почем я знаю.

— Она велела побольше налить, — уже неся Люкин голос из кухни. — Она говорит, ничего, что двадцать франков. Хоть пятьдесят — только бы вкусно было.

Дождь тихо стучал в стекла. Цветы на столе тускло белели. Вера закрыла глаза. Вот так сидеть. И чтобы ничего не надо было. Ничего. Так сидеть и знать, что все уже кончено и больше ничего не будет, кроме этого серого, мокрого окна и этих белых, ненужных цветов.

— Вера, ты здесь? — озабоченно прокричала из коридора тетя Варя. — Одевайся. Скоро в мэрию.

Снова вбежала Люка.

— Вера, иди на кухню. Там лангуста принесли. Такого симпатичного, черного, и усами двигает. А то его сейчас варить будут. Идем.

Вера слабо отмахнулась.

— Оставь.

— Но он хорошенький. Ты непременно должна посмотреть.

— Оставь, у меня голова болит. Закрой плотнее дверь. Жареным пахнет.

— Это утка, — радостно объяснила Люка, убегая.

Снова стало тихо и пусто. И дождь по-прежнему стучал в стекло. Так тихо, так грустно. Свадьба. Разве к свадьбе готовятся в этом доме? Не похоже. Скорее к похоронам.

От белых цветов шел слабый сладковатый запах. «Как ладан», — подумала она, и сразу вспомнился сон, и церковь, и как она бежала с горы, прижимая икону к груди. И почему-то стало страшно.

В комнату вошла Екатерина Львовна.

Вера взяла ее за руку.

— Подожди, мама. Сядь сюда.

Екатерина Львовна торопливо и робко села на диван.

— Мама, — Вера посмотрела прямо в глаза матери, — скажи, теперь уже поздно отказаться?

Веки Екатерины Львовны испуганно заморгали.

— Отказаться?..

— Ну, да. От свадьбы.

На щеках Екатерины Львовны выступили красные пятна.

— Я думаю, поздно, — нерешительно начала она. — Как же? Ведь через два часа в мэрию. И шафера...

Вера кивнула.

— Я тоже так думаю, — сказала она серьезно и спокойно. — Поздно. И довольно об этом.

Она тряхнула головой, короткие волосы запрыгали во все стороны.

— Поцелуй меня, мама. И давай одеваться...

Маленькие белые туфли, уверенно стоявшие на коврике, тонкие пальцы, крепко державшие свечу, и улыбка — все говорило: «Не неволей иду. Сама хотела и очень счастлива».

Пламя свечей... Голоса певчих... Высокие окна...

Сквозь белую фату, опускавшуюся на глаза, все казалось каким-то особенным, чуть-чуть волшебным, чуть-чуть смешным.

Шафер плотно надел Владимиру венец на голову, и Владимир похож на султана с табачной коробки. Люка на длинных, худых ногах совсем цапля, а голова с большим бантом в профиль заячья. Цаплезаяц или зайцецапля... Вера тихо засмеялась, закрыв лицо руками.

— Плачет, — удовлетворенно прошептала тетя Варя. — То-то. Даже и ее пробрало.

Вера рассеянно улыбалась из окна вагона, держа в руках подвечный букет.

— Пиши каждый день, Верочка, — просила Екатерина Львовна.

— Веселись, — кричала Люка. — Пришли фруктов.

Екатерина Львовна тронула Владимира за рукав.

— Берегите ее, пожалуйста. Это смешно. Все матери так говорят — но Вера такая слабенькая.

Владимир поцеловал ее руку.

— Будьте спокойны.

Становилось скучно. Говорить больше было не о чем. Наконец поезд тронулся.

— Ура! — кричали шафера. — Ура! — нестройно подхватили остальные и замахали платками. Люка побежала за поездом.

— Люка, сумасшедшая. Под колеса попадешь, — кричала Вера.

Екатерина Львовна крестила уходящий поезд. Вера постояла еще немного у окна, размахивая платком. Но ничего уже не было видно.

— Вот мы и едем, — сказал Владимир.

Вера прошла в купе, сняла новое дорожное пальто, маленькую шляпу и села на диван. Владимир сел напротив нее и улыбнулся.

— Теперь ты моя жена.

«Этого он мог и не говорить, — подумала она, поправляя волосы. — Ну, что? Что дальше?»

Она нетерпеливо и смущенно взглянула на него.

— Я с России не ездила в первом классе.

И погладила красный бархатный диван.

— Когда мы будем в Ницце?

— Завтра в три.

Он сидел напротив нее и разговаривал так спокойно и сдержанно, как простой знакомый. Он даже ни разу не поцеловал ее после венчания.

«Что же это такое? — тревожно думала она. — Что же это?»

— Тебе, наверное, понравится Ницца. Мы съездим в Монте-Карло поиграть в рулетку. Ты азартна?

— Я не знаю. Я никогда не играла.

— И в карты не играла?

— И в карты тоже не играла.

— Ну тогда, наверное, выиграешь. В первый раз всегда везет.

Они снова замолчали. Вагон слабо подпрыгивал. Колеса стучали.

— Ты должно быть устала, — сказал он и встал. — Тебе надо лечь, уже поздно.

Он расстелил плед. Вера увидела, что руки его дрожат. «Значит, он тоже волнуется, — подумала она с торжеством. — Не только я, он тоже».

— Я еще не хочу спать...

— Но поздно.

— Ну хорошо, — она вытянулась на диване, подложила маленькую кожаную подушку под голову. — Спокойной ночи. Я уже сплю.

— Тебе так будет неудобно. Ты разденься. Я постою в коридоре.

Он вышел, закрыв за собою дверь.

Вера вскочила, быстро отперла новый чемодан, достала флакон духов и стала душить диван, плед и подушку. Потом сняла платье, надела халатик и дорожные мягкие туфли, перед зеркалом в стене попудрилась, накрасила губы, надушилась и повела носом. Кажется, перестаралась. Дышать нечем. От выпитого за обедом вина все еще шумело в голове. Она закрыла чемодан.

— Сейчас?.. Или еще до завтра ждать?.. Господи, как я влюблена, — вдруг вслух сказала она и тихо рассмеялась. — А он боится. Какой смешной.

Она притушила свет, легла, покрылась пледом. Кровь громко стучала в левом ухе.

— Я влюблена, влюблена, влюблена, и сейчас ко мне придет мой муж...

Она вытянула ноги. Что же так долго? Но он уже стучал в дверь.

— Ты легла? Можно?..

— Можно.

Он вошел, и, хотя было почти темно, она заметила, что он очень бледен.

— Что это так пахнет? — растерянно спросил он.

— Я разлила нечаянно духи.

— Надо открыть окно, а то задохнемся.

— Нет, нет, оставь, — испугалась она. — Это «Fol Arôme». От них ничего не будет.

— Как хочешь. Я о тебе беспокоюсь.

В теплом, надушенном, темном купе слабо мерцала синеватая лампочка. На подушке белело Верино лицо. Владимир осторожно пробрался к своему дивану и остановился.

Она видела, как он поднял руки, снял роговые очки. Стекла тускло блеснули, очки стукнулись о столик. Теперь у Владимира было совсем новое, доброе и растерянное лицо. Но Вере почему-то стало страшно.

— Вера, — тихо позвал он.

— Что? — еще тише ответила она.

Он подошел и сел рядом с ней.

— Спокойной ночи, — она немного отодвинулась от него.

Он нагнулся и поцеловал ее в щеку.

— Какие сильные духи. Действительно сумасшедший запах.

Вера молчала.

— Ты моя жена, — сказал он снова.

«Слышала уже», — подумала она по привычке насмешливо и в ту же минуту почувствовала, что зубы ее стучат.

— Тебе удобно?..

Он поправил подушку и, наклонившись близко, посмотрел на нее близорукими, выпуклыми глазами.

Что же это такое?.. Как томительно...

Владимир поправил плед. Рука его легла на ее голое колено.

— Какие у тебя холодные руки, — сказала она только, и они снова замолкли. — Ах, нет, нет, — крикнула она вдруг. — Не надо. Не тут. Не в поезде. Завтра. В Ницце. Я прошу тебя, пожалуйста, Володя, Володя...

Колеса стучали, вагон подпрыгивал. Вера открыла глаза. Сквозь синюю штору на окне пробивался синеватый дрожащий свет. Вера вдохнула теплый, надушенный, тяжелый воздух, подняла голову, и все поплыло перед глазами. На пальце тускло блестело тонкое золотое кольцо. Вера не отрываясь смотрела на него. Потом села на диван и свесила ноги.

На соседнем диване спал Владимир, ее муж. Он лежал на спине красный, с полуоткрытым ртом. В ногах валялся пиджак, подтяжки упали на пол. Вера отвернулась, чтобы не видеть. Ее замутило. Это от духов. Надо выйти в коридор. Она сбросила плед и быстро запахнула халатик над разорванной рубашкой.

На столике рядом с очками лежал ее подвенечный букет. И даже цветы были противны.

Коридор был пуст. Уже совсем рассвело. Розоватое сияющее лучистое солнце медленно выплывало из-за прозрачных туч. Вера смотрела на низкие круглые холмы, на низкие пыльные деревья. Холодный утренний ветер влетел в окно. Вера съежилась, плотнее запахивая халатик. «Так вставало солнце Аустерлица, — подумала она, как всегда, насмешливо, — так встает солнце моей новой жизни».

Ее плечи вздрогнули, она прижалась головой к холодному стеклу.

— Я такая несчастная, — всхлипнула она вдруг, — я такая несчастная. Но отчего? — она нетерпеливо и обиженно подняла голову. — Отчего я несчастна?..

Вагон сильно тряхнуло, и она снова беспомощно прижалась лбом к окну, слезы, как капли дождя, потекли по стеклу.

— Я несчастна оттого, что я злая. Да, да. Оттого, что я такая злая.

Третья часть

1

Вечером в доме испортилось электричество. Екатерина Львовна уже спала. У нее болела голова, и она рано легла.

От непривычного слабого света свечи все в комнате стало каким-то особенным, таинственным. И было слишком тихо. Хоть бы хлопнула дверь, услышать бы чей-нибудь голос. Но прийти некому, а мама спит.

У пустой стены, где еще недавно белела Верина кровать, теперь кресло, и на нем сидит рыжий кот Васька. Обыкновенный кот, но на стене его большая черная тень кажется тигром. Люка не любит его, но с тех пор, как Вера уехала, берет его на ночь к себе. Все-таки живой. Все-таки вдвоем, не одна.

Люка раздевается, откидывает одеяло.

— Кись, кись, кись. Господин кот Васька, пожалуйте сюда.

Но кот не слушается. Он, не двигаясь, пристально смотрит на свечу.

— Что ты там видишь, глупый? Иди спать ко мне.

Кот все так же смотрит на пламя круглыми, зелеными, немигающими глазами.

Люке становится не по себе. Она замахивается на кота рукой.

— Брысь!

Но кот остается сидеть неподвижно.

— А, ты вот какой. Так погоди же. Я тебе усы спалю.

Люка подносит свечу к самой морде кота. Круглые, стеклянные глаза смотрят прямо в огонь, прямо ей в лицо. И вдруг словно укол в сердце, похолодевшие пальцы разжимаются, роняют подсвечник.

— Ступка...

Свеча ударяется о пол. Темно. Темно и нельзя дышать от страха. Но сейчас же открывается дверь, и Екатерина Львовна входит с лампой.

— Что ты шумишь, Люка?

— Я уронила свечу. Не уходи. Мне страшно.

Колени еще дрожат. Люка ложится в постель. Закрывает глаза.

— Перекрести меня, мама.

Екатерина Львовна крестит ее.

— Спи, деточка.

Люка боится взглянуть туда, на кресло.

— Мама, а Ступка, нет, что я, а Васька все еще сидит?..

— Васька? Разве он у тебя?

— Он на кресле, — испуганно шепчет Люка.

— Что с тобой, Люка? Никакого Васьки здесь нет.

— Тогда он под креслом. Поищи его, мамочка.

Екатерина Львовна наклоняется, смотрит под кресло, под кровать.

— Нет его. Тебе показалось.

— Он только что сидел здесь, — волнуется Люка. — Где же он? Найди его.

— Он, верно, на кухне, — Екатерина Львовна выходит из комнаты. — Ну конечно. Спит на плите. Принести его тебе?

— Ах, нет, нет. Не пускай его ко мне. И запри его в кухне. Запри.

— Что за глупости. Зачем?

— Ну пожалуйста, мама.

Замок щелкает.

— И пожалуйста, завтра же отдай его кому-нибудь.

— Хорошо, — равнодушно соглашается Екатерина Львовна. — Я и то говорила, какой с него толк. Ведь мышей нет... Спи, Люка.

Люка лежит в темноте, прижимая маленький холодный крестик к груди.

— Господи, спаси и сохрани...

За стеной в кухне вода по капле падает в раковину и тихо поскрипывает пол. Там окно не завешено, и луна свободно гуляет по кухне, перебирает блестящие кастрюли, наводит тонкий луч на ножи... И он не спит. Он ходит от окна к плите и обратно. Оттого и пол скрипит. Только кто он? Васька? Или Ступка?.. Или?..

2

Люка стоит в коридоре, прислонившись к стене. Сегодня ее непременно вызовут по географии. Надо еще раз повторить урок.

За дверью в каморке, где составлены старые парты и доски, слышен шорох. Что там? Крыса? Люка боится крыс, но все-таки

любопытно. Ведь не бросится же крыса на нее. Она тихо открывает дверь.

В узкой, пыльной полутемной каморке, прямо на грязном полу... Люка смотрит, сердце тяжело остановилось, глаза открываются широко. Что они делают? Зачем?

Ей хочется захлопнуть дверь, убежать и даже себе не признать, что видела. И все-таки она стоит на пороге и смотрит не отрываясь.

Красная подвязка на сером чулке, и белая полоска кружев.

Что они делают? Зачем?

— Ах, — томно вздыхает Ивонна.

— Что вы делаете? — вдруг испуганно и громко вскрикивает Люка.

Жанна вскакивает первая, растрепанная, красная.

— Люка, ты видела?

Ивонна неуклюже встает, отряхивает клетчатое платье.

— Ну и видела. Подумаешь.

— Что вы делали? — повторяет Люка испуганно.

— Мы? Мы играли в Поля.

Жанна зажимает Ивонне рот.

— Не смей, не смей.

Но Ивонна отталкивает ее.

— Что тут такого?

— В Поля? — переспрашивает Люка. — Как? Я не понимаю.

— Очень просто. Ведь теперь Жанна приходит ко мне по воскресеньям. И Поль ее тоже целует. И теперь гораздо удобнее. Никто не мешает. Мы сидим в кабинете. Там диван. Только на полу твердо. Теперь я буду Подем. Перестань ломаться, Жанна. Хочешь играть с нами, Люка?

Но Люка, красная от стыда и отвращения, трясет головой.

— Это гадость. Свинство. Как вы можете?

— Ну, ты, пожалуйста, без морали. Не хочешь играть, твое дело. А другим не мешай. Убирайся!

Ивонна выталкивает Люку за дверь.

Люка бежит по коридору, сжимая кулаки. Навстречу идет круглая классная дама по прозвищу Шар.

— Почему вы здесь? Уже урок начался.

Люка приседает.

— Извините. Я сейчас.

— А где Ивонна и Жанна? Их тоже нет.

— Они, должно быть, не вернулись еще с завтрака.

— Нет, я их видела. Может, там?

Шар протягивает короткую руку к каморке.

— Нет, нет, — Люка трясет головой. — Их там нет. Там никого нет. Честное слово.

Только бы она не пошла туда, не увидела бы их. Если найдет — скандал. Из лица их выгонят.

— Я пойду поищу внизу.

— Идите в класс. Вам бы только бегать.

Классная дама поворачивает обратно. Люка вздыхает. Слава Богу. Пронесло...

Жанна и Ивонна входят в середине урока. У Жанны томный и усталый вид и платье помято.

— Где вы были? — спрашивает Шар.

Ивонна краснеет и молчит.

— Мы гуляли, — говорит Жанна.

— Хорошо. Вы останетесь на час после занятий.

Ивонна садится на свое место рядом с Люкой.

— Это ты, дрянь, донесла.

Люка презрительно пожимает плечами.

— После урока, — говорит она, показывая кулак.

Звонок. Все вскакивают с мест. Парты шумно хлопают.

— Господа, — кричит Люка, стоя на скамейке, — я вызываю Ивонну на бокс.

— Принимаю, — флегматично кивает Ивонна. — Напрасно только связываешься со мной. Я тебя в котлету...

Все становятся кругом. Выбирают жюри. Борцы снимают передники, закатывают рукава. Люка первая входит в круг.

— Чемпион России, — представляет арбитр Жанна.

Люка кланяется.

— Чемпион Франции, — Ивонна тоже кланяется.

Борцы подают друг другу руки. Публика хлопает и волнуется.

— Ивонна на пять кило тяжелей.

— Но Люка ловчей.

— Ивонна сильнее. Я за Ивонну. Ставлю один против пяти.

— Я за Люку.

— Проиграешь. Ивонна...

— Начинайте.

Люка зажмуривается и, размахивая кулаками, как ветряная мельница, кидается на Ивонну. Ивонна ударяет ее в грудь. Люка с трудом удерживается на ногах.

— Bravo, Ивонна, так ее, так.

Люка снова бросается на Ивонну. Она не чувствует ударов. Она ничего не слышит, ничего не видит. Только одно — победить.

Ивонна отступает. Она тяжело дышит и уже устала. Глаза у нее испуганные. Люка продолжает наступать.

— Держись, Ивонна. Bravo, Люка, так, еще, еще. Bravo, Люка. На минуту борцы сцепляются.

— Царапается, — вскрикивает Люка.

Свист. Долой, долой Ивонну. Позор. Люка наступает, из ее расцарапанной щеки течет кровь.

— Bravo, bravo, Люка!

Ивонна уже только увертывается от ударов, защищает руками лицо. Она оглядывается — нельзя ли удрать. Но публика стоит сплошным кольцом, плечом к плечу.

— Врешь, не уйдешь! — уже по-русски кричит Люка.

— Довольно, — вдруг всхлипывает Ивонна. — Я больше не могу.

— Признаешь ли себя побежденной?

— Признаю, — всхлипывает Ивонна.

Жанна звонит в колокольчик.

— Чемпион России, в один раунд... — борцы снова пожимают друг другу руку. Публика качает Люку.

— Тише, тише, уроните, убьете ее.

Люка, не совсем еще придя в себя, смотрит кругом счастливыми, ошалевшими глазами.

— Вот видите, победила.

Снова аплодисменты. Кто-то промывает ее расцарапанную щеку.

Кто-то толкает ее.

— Я на тебе десять франков сделала. Завтра пирожными угощаю.

Люка возвращается домой счастливая и гордая. Левое плечо ноет, и на щеке царапина. Но это пустяки. Будет ее помнить Ивонна. А прохожие спешат мимо, толкают ее, и никто не знает, что она победила.

Уже темно. Фонари зажжены. Воздух холодный и влажный. Люка проходит сквозь Трокадеро, на минуту останавливается, смотрит с лестницы на Париж. Эйфелева башня тает в белом тумане, внизу под высоким пролетом огни и деревья Марсова поля. Люка спускается по лестнице, медленно идет мимо чугунного носорога, мимо пустого цветника с небыющими фонтанами.

Она нагибается, поднимает с земли бурый, сморщенный лист, кладет его на ладонь. Лист слабо шуршит. «Как записка, — думает Люка. — Записка. Откуда? С неба?..»

Голые деревья тревожно шумят над головой. Сквозь тонкие ветки огни фонарей кажутся звездами. От влажной черной земли сладко и обморочно пахнет тлением. И вдруг порыв ветра и между деревьями черные, огромные крылья.

— Азраил...

Но уже ничего нет. Только вечер. Только фонари и шуршащие ветки.

Люка идет дальше испуганная, смущенная. Что это было?.. Нет, ничего не было. Но разве она еще помнит? Не совсем забыла?..

Люке грустно, и как она устала. Она еле передвигает ноги. Вот, наконец, их улица. Под фонарем перед самым подъездом стоит кто-то. Она видит его синее пальто, его шляпу. Он стоит спиной к ней, верно ждет. Но какое ей дело? Сердце еще трепещет от шума черных крыльев. Что это было?.. Неужели опять Азраил?

— Здравствуйте, Люка.

Люка кладет холодную руку в его ладонь. «Нет, это только кажется, — успокаивает она себя. — Только кажется...»

И все-таки она говорит:

— Здравствуйте, Арсений Николаевич...

— Как поживаете, Люка?

— Хорошо, спасибо... — лучше прислониться к фонарю, чтобы не упасть.

Она неясно видит его лицо. И голос его доносится будто издали... Это от тумана. Это от волнения.

— Какая вы бледная. Вы были больны?..

— Нет...

— Как поживает Екатерина Львовна? Вера Алексеевна?

— Вера вышла замуж. Она в Ницце.

— Скоро приедет? — отрывисто спрашивает он.

— На будущей неделе. Она вчера прислала цветы.

Он снимает шляпу.

— Ну, всего хорошего, Люка. Кланяйтесь Вере Алексеевне. Не забудете?

— Нет.

— А вы большая стали. Много учиться? Так не забудьте передать привет Вере Алексеевне. До свиданья.

Он быстро уходит. Люка растерянно смотрит ему вслед.

«Неужели это на самом деле был он? Улица пуста, и даже представить себе нельзя, что он только что стоял здесь под фонарем и говорил с ней...» Люка тихо входит в дом, поднимается по лестнице и в прихожей бросается на шею матери.

— Мама, мама... — и нельзя понять, всхлипывает она или смеется.

Екатерина Львовна отстраняет ее от себя.

— Да скажешь ли ты наконец, что с тобой? — и видит длинную красную царапину на Люкиной щеке.

— Господи, ты упала?

— Нет, нет, я ранена, — уже громко хохочет Люка. — Я дралась с Ивонной, и я победила.

Люка со всех ног бежит в столовую.

— Как не стыдно драться...

— Я победила, — кричит Люка, — победила. Подумай, она на пять кило тяжелей, а я победила.

От возбуждения Люка не может устоять на месте и бегаёт из комнаты в комнату, оглушительно хлопая дверьми.

— Люка, перестань. У меня голова разболится.

Но Люке необходимо как можно больше шума, грохота и крика. Она ложится на спину на диван, взмахивает ногами и, перекувырнувшись через себя, падает на пол.

— Люка, сумасшедшая. Спину сломаешь.

Но Люка уже прыгает со стула на стул.

— Не мешай, мама. Я не могу, не могу иначе. Я бы хотела, как Чаплин в «Ла рюе вэр л-ор», пух из всех подушек выпустить и вокруг палки на потолке крутиться. Ах, мама...

Люка бежит к себе. Минут пять слышно, как она шумит там. Потом все стихает...

Екатерина Львовна накрыла на стол. Принесла из кухни миску с супом.

— Люка, иди обедать.

Но Люка не ответила, она даже не слышала. Она сидела на кровати, крепко обхватив колени, и глядела в угол, бессмысленно и блаженно улыбаясь. Желтый круг от фонаря на тротуаре. Арсений. На нем было синее пальто и серая шляпа. Это она хорошо заметила. И воротник поднят. «Какая вы стали большая», — сказал он и улыбнулся. А палка?.. Была палка? Она наморщила лоб. Да, палка камышовая висела на руке. И перчатки серые. И волосы блестели, когда он снял шляпу.

— Люка, что же ты? Иди обедать.

— Сейчас. Подожди. Я готовлю уроки.

Она снова попробовала себе представить Арсения. Но теперь вместо него она видела себя. Растрепанная, на щеке царапина, в старом берете — урод. И руки в черниле. А что туфли у нее на белой подметке, он вряд ли и заметил. Ведь было темно. И она так глупо держалась, ничего не сумела сказать. Только да и нет. Как глухонемая. Слово «глухонемая» показалось самым унижительным и подходящим.

— Как глухонемая, — со злобой повторила она, подошла к зеркалу и показала себе язык. — У, несчастный урод...

— Люка, суп остынет.

— Иду, иду. Не дашь даже задачи решить.

Люка села за стол, разложила салфетку на коленях.

— И что за выдумка девочкам драться? У нас в институте...

— Вы были куклы шелковые в вашем институте.

— Девочкам стыдно драться. И как вы деретесь? Расскажи.

Люка пожала плечами.

— Неинтересно.

— Разве мне может быть неинтересно?

— Просто деремся кулаками, боксируем, стараемся друг другу в зубы побольней заехать. Или под ложечку, хотя это и запрещено.

— Господи, Люка. Неужели серьезно? Как пьяные извозчики.

Люка опять пожала плечами.

— Я же говорила, что тебе неинтересно. Ты не спортивна. Не понимаешь...

После обеда Люка снова в своей комнате. Надо все вспомнить, все подробно.

Люка вздыхает, прижимает руки к груди и видит... Да, действительно видит Арсения. Каждую ресницу, каждую точку на лице, каждый шов на пальто. Он стоит в углу и смотрит на нее блестящими рассеянными глазами, и желтый свет фонаря падает на его серую шляпу...

3

Утром пришло письмо.

Вера писала: «Встречайте в четверг без четверти одиннадцать. Я ужасно рада вернуться в Париж, мамочка, и что медовый месяц кончился. Ах, этот мед».

Четверг — значит завтра.

— Люка, Люка, — кричит Екатерина Львовна, — завтра утром... Люка вбегает в столовую.

— Верочка приезжает, — с трудом доканчивает Екатерина Львовна, и слезы текут по ее щекам... — Завтра утром...

— Мама, чего ты? Мама.

— Ах, Люка, — всхлипывает Екатерина Львовна, — ты не знаешь. Мне так тяжело без Веры, — она притягивает к себе Люку. — Только ты меня, моя маленькая, и утешала. Без тебя я бы не могла. Спасибо тебе.

— Нет, мама. Не надо... — Люка прячет красное от стыда лицо на груди матери. Утешение?.. Хорошо от нее утешение. Дома как чужая. Молчит, и днем и ночью об Арсении думает... Нечего сказать, утешение. Бедная мама.

Люка тоже плачет, прижимаясь к матери. Екатерина Львовна целует ее мокрую щеку.

— Добрая моя девочка. Какая я счастливая, у меня такие милые дочери...

Шесть часов. Совсем темно, будто ночь. Люка сонно потягивается. Электричество неприятно желтеет под потолком.

— Надень новое платье, Люка.

Екатерина Львовна с беспокойством осматривает себя в зеркале. Хорошо ли так? Понравится ли Вере? Не было бы ей стыдно за них с Люкой. Приколоть цветок к пальто?..

— Мама, скоро ты? Я готова.

Екатерина Львовна поворачивается.

— Опять ты за свой старый берет. Сними сейчас же. Его давно выбросить пора. А перчатки где?

— Я не ношу.

— Нет, уж пожалуйста. Вот, возьми мои.

Люка неловко натягивает белые замшевые перчатки.

— Такие чистые. Я их замажу.

— Подтяни чулки. Шарф спрячь вовнутрь. Нечего Ринальдо Ринальдини изображать. Ведь ты — девочка.

Наконец выбрались. Надо еще заехать к Вере на квартиру, все ли там благополучно.

Заспанная горничная открывает дверь. Прихожая просторная, и все так нарядно и ново. Не то что у них. Люка ходит из комнаты в комнату, трогает вещи, присаживается на стулья. Вот бы и ей так жить. Вот бы и ей так жить с Арсением...

Екатерина Львовна волнуется.

— Я заказала на завтрак курицу. Верочка, наверное, проголодается с дороги. Переставь фиалки на ночной столик да смотри не разбей вазу. А на сладкое взбитые сливки с каштанами. Как ты думаешь?

На вокзал приехали рано. Екатерина Львовна нетерпеливо шагает по перрону.

— Люка, не прижимай цветов, помнень. И сейчас же отдай Вере. Не забудь. Это на счастье.

Наконец поезд. Вера выходит из вагона улыбающаяся и нарядная.

— Вот, вот она, — кричит Люка и бежит к сестре.

Вера уже увидела их, и, немного отстранив Люку, быстро идет к Екатерине Львовне.

— Мамочка.

Екатерина Львовна обхватывает Верину шею и с почти страдальческой нежностью прижимается губами к Вериной щеке. Верины длинные ресницы дрожат.

Люка смотрит на сестру. Как заговорить с ней? Как заговорить с этой красивой чужой дамой?.. Прежде всего отдать цветы...

Но Вера, оставив Екатерину Львовну, порывисто поворачивается к сестре.

— Люка, — и три раза как-то особенно жадно и крепко целует Люку в губы.

— Ну давай, давай цветы. Спасибо. Какая милая.

Она пристально смотрит на Люку, и смеется.

— Да ты что краснеешь? Забыла меня? Отвыкла? А я по тебе скучала, цыпленок...

Здороваться с Владимиром Ивановичем проще.

— Здравствуйте, Володя.

— А вы еще вытянулись, Люка. Скоро выше меня будете...

Домой, к Вере, ехали в такси. Люка сидела напротив сестры и близко смотрела ей в лицо. «Изменилась. Нет, такая же. Только еще немного беспокойнее...»

— А бананов на пальмах нет, Люка, — быстро говорила Вера, блестя серыми глазами. — И пальмы оборванные. Ужасно надоедают. И совсем там уже не так чудно. Море как синька. И скучно, гораздо скучнее, чем здесь.

Дома, сняв пальто, снова долго целовались, и Люка, уже не стесняясь, вешалась на шею сестре.

Потом Вера заперлась в ванной с Екатериной Львовной и шепталась с ней там.

Люка напрасно водила ухом взад и вперед по двери, выискивая, где послушнее, ничего нельзя было разобрать за шумом воды. Завтракали весело.

— Верочка, у тебя усталый вид, — беспокоился Владимир Иванович, — ты бы прилегла.

Вера пожала плечами.

— Ложись сам, если устал.

— Но ты плохо спала в поезде. Я думал...

— Слишком много ты думаешь...

Вера говорила с мужем резко и недовольно, совсем как с Люкой когда-то, но теперь, поворачиваясь к сестре, она ласково улыбалась.

— Ну как, Люка? Пойдем чемодан распаковывать. Может быть, и для тебя там что-нибудь найдется.

Люка поняла. Времена переменились. Теперь на ее, Люкиной, улице праздник.

Целый день провели вместе, как-то особенно нежно, почти влюбленно.

«А ты счастлива?» — хотела спросить Люка, но «счастлива» показалось неподходящим.

— А ты довольна? — спросила она.

Вера рассеянно кивнула.

— Конечно, конечно...

Но Люка уже ахала над подарками.

— Это все мне? И конфеты, и чулки, и сумка?.. И тебе не жалко?..

Домой собрались поздно и в прихожей долго огорченно прощались, как перед длинной разлукой.

— Ты завтра придешь к нам, Верочка?

— Да, непременно. И все-таки зачем вы уходите? Знаешь что, мама. Оставь мне Люку до завтра. Ведь ты не будешь бояться спать одна?

— Бояться? — удивилась Екатерина Львовна. — Но ведь ей надо в лицей. Она и так сегодня не ходила.

— И завтра не пойдет, велика важность... Хочешь у меня остаться, Люка?

— Еще бы...

— Ну хорошо. Пусть остается.

Люка волчком закружилась по прихожей. Владимир Иванович запер за Екатериной Львовной дверь.

— Где же Люка будет спать?

— Как где? Со мной в спальне.

— А я?

— А ты в кабинете на диване.

Владимир Иванович ничего не возразил.

— Ну, Люка, идем скорее. Я умираю от усталости...

Лиловое одеяло откинута. Простыни и наволочки с кружевом и на столике фиалки.

Вера снимает платье.

— Нет, нет, позволь, я тебя раздену, Вера.

Люка садится на ковер.

— Дай ногу. Туфли сниму.

И вдруг удивленно поднимает голову.

— Что это? Почему не пахнет духами?

— Так, — отвечает Вера.

— Опять «так». И душишься ты так и не душишься так. Отчего?

— Оттого, что... Незачем.

Люка широко открывает глаза.

— Ну да. Незачем.

Люка уже стянула Верины чулки.

— Не понимаю...

— Не понимаешь? — Вера сидит на кровати, болтая босыми ногами. — Не для кого.

— Как так? Мне казалось, что когда замужем...

— Мало ли что тебе казалось...

Люка трется щекой о Верино гладкое колено.

— Я так люблю, когда ты надушена. Подушись. Ну, для меня, пожалуйста.

Вера, смеясь, встает и, придерживая рубашку на груди, подходит к туалету.

— Скажите, какая требовательная. Может быть, и губы прикажете намазать?

— И губы намажь, чтобы совсем хорошенькая. Ах, какая ты прелесть.

Люка с размаху кидается в кровать, натягивает лиловое одеяло.

Какая широкая кровать, холодная, гладкая. И вдруг на минуту ощущение той ночи, когда в первый раз прилетал Азраил. Та же тревога и легкость в крови и даже как будто опять вкус лунного света на кончике языка.

Люка вытягивается.

— Как хорошо... Вера...

В дверь тихо постучали.

— Что такое еще?

Вера недовольно пошла посмотреть. В коридоре стоял Владимир Иванович в пижаме.

— Что тебе, Володя?

— Верочка, мне надо с тобой поговорить.

— Ну что такое? Завтра скажешь.

— Послушай, ведь это первая ночь в нашей квартире.

— Ах, оставь. Что за глупости? И не все ли равно...

— Хорошо, хорошо. Не сердись, Верочка. Спокойной ночи.

Вера закрыла дверь. Люка из кровати протянула к ней руки.

— Скоро ли ты? Мне холодно одной.

Вера приподняла одеяло и легла рядом с сестрой.

— Ну вот. Туши, Люка.

— Нет. Подожди. Я хочу на тебя посмотреть. Положи голову на подушку. Закрой глаза. Вот так.

Вера рассмеялась.

— Ах, Люка. Распустила я тебя на свою беду. Ну, нагляделась? Туши.

Люка в темноте прижалась к Вериному теплому душистому плечу.

— Как хорошо, что ты вернулась.

Вера крепко обняла ее.

— Маленькая моя Люка... Какая худенькая. Одни ребрышки. Цыпленок мой.

Люка вздрагивала.

— Как хорошо... как хорошо...

— Слушай, — вдруг тихо над самым ухом зашептала Вера. — Скажи... Скажи, ты никого не видела?..

Люкино сердце застучало.

— Видела... — прошептала она.

— Кого?.. — почти испуганно спросила Вера.

— Арсения Николаевича.

Стало совсем тихо. Ну да. Напрасно Люка сказала. Вере неинтересно. Вера заснула. Но Вера придвинулась еще ближе.

— Где ты его видела? Что он говорил?..

— Около нашего дома. На прошлой неделе. Он спросил, скоро ли ты приедешь. Просил кланяться.

— Больше ничего?

— Больше ничего...

И опять тихо...

— Ну спи... Довольно болтать, спи.

Люка зажмурилась. Не надо было про Арсения. На Веру только сон нагнало. А было так хорошо... Она вздохнула.

— Не спишь, Люка?..

— Не сплю.

— Любишь меня, Люка?

— Люблю.

— Больше всего на свете?

Люка подумала немного. Надо честно.

— Почти... — больше всего на свете она любит Арсения.

— А ты, Вера?

— И я... почти...

Вера открыла сонные глаза и увидела перед собой лицо Арсения. Его черные глаза смотрели прямо на них. Но Вера не могла разобрать, на кого. На нее или на Люку.

— Больше всего на свете люблю тебя, — прошептала она ему засыпая.

4

Жить стало очень весело. Денег было много, а к весне Вера обещала велосипед. Люка и не думала, что бывает такая приятная, легкая жизнь. И Вера веселая, с каждым днем все веселее.

Так прошел месяц. Люка только не очень верила, неужели так может быть долго, всегда. И тревожно ждала чего-то, чего-то, что все сломает, исковеркает, от чего станет еще хуже, чем прежде. Но успокаивала себя: а вдруг я напрасно боюсь?..

Но оказалось, не напрасно. Это «что-то» все-таки началось, и началось оно так.

Люка возвращалась из лица в февральский ветреный день. Было еще холодно, но ветер дул уже по-весеннему нежно. Люка медленно шла и улыбалась. Как хорошо. Небо легкое, весеннее. И земля легкая, и ноги легкие, и дышать легко. Все такое легкое-легкое. Только кажется тяжелым, только кажется неподвижным, а на самом деле все летит и звенит. Люка склоняет голову и слушает тихий звон трамваев, ветра, и голосов, и тихий звон сердца в груди. Как хорошо...

Вчера Люка водила Жанну за свой счет в цирк. Теперь она богатая, может. Жанна даже немного заискивает перед ней.

Люка входит в прихожую — «Мама!» Но ответа нет. В столовой на столе записка: «Я у Веры. Приходи туда». И отлично. Люка уже

три дня не видела сестры. Вера все ездит куда-то, ее никогда не поймашь. Отлично. И обедать у них вкусно, не то что дома.

Люка бросает портфель с книгами на пол и вприпрыжку сбегает по лестнице.

У Веры на звонок открывает горничная. И уже сразу в прихожей чувствуется что-то странное. Какая-то тревога.

— Что случилось?

У горничной испуганные глаза.

— Я не знаю. Кажется, мадам нездорова.

Владимир сидит на диване в кабинете.

— Здравствуйте, Люка. Посидите со мной. Нет, к Вере нельзя.

— Почему?..

Но Владимир смотрит на ковер и, должно быть, даже не слышит Люкиного вопроса.

Люка садится на диван, вытягивает ноги в желтых туфлях.

Нечего сказать, весело. И почему нельзя к Вере? У Владимира расстроенное, бледное лицо.

— Ну, как в лицее, Люка, вызывали?

— Да, по алгебре...

Из-за закрытой двери слышен голос Екатерины Львовны:

— Успокойся, успокойся, еще ничего не известно.

И всхлипыванье.

— Почему Вера плачет?

Владимир Иванович поднимает голову.

— Ну так как, вызывали?

— По алгебре...

И за дверью:

— Ты хину принимала?

— Да, да. Не помогает.

Всхлипывание сильнее.

Люка вытягивает шею.

— Вера больна?

— Простудилась должно быть, — деланно-равнодушно отвечает он.

И снова за дверью:

— Я не хочу, не хочу. Я лучше умру.

— Но Верочка. Если даже... Ведь это совсем не опасно.

— Нет, я не хочу, не хочу. Это отвратительно, безобразно. Я лучше умру.

С минуту тихо, и вдруг Верин голос, жалобный и высокий:

— Господи, за что?..

Люка чувствует, как слезы щекочут в носу. Почему ее не пускают к Вере? Она бы утешила, развлекла, рассказала бы про вчерашних моржей.

— Разве она заразная?

Владимир Иванович смотрит на нее.

— Кто заразная?

— Ну Вера же. Почему нельзя к ней?

— Не приставайте, Люка.

В спальне хлопает шкаф.

— Какое платье достать?

— Все равно. Какое-нибудь.

— Шерстяные чулки надень. И шубу. Не простудись после ванны.

Шум передвигаемого стула.

— Попудрись, Верочка.

— Оставь, все равно. Где шляпа? Ну, идем.

Щелкает замок. Вера входит в столовую. Глаза красные, волосы висят из-под криво надетой шляпы. Что с ней?

У Люки сердце разрывается от жалости и нежности.

— Верочка!

Но Вера отмахивается от нее и быстро идет в прихожую. Люка хватается за рукав шубы.

— Вера!

— Отстань, — говорит Вера коротко и прикусывает губу, чтобы не расплакаться.

— Не приставай, Люка. Видишь, Вера расстроена, — Екатерина Львовна торопится за дочерью. — Обедайте без нас, а потом пойдешь домой.

Вера уже на лестнице.

— Скоро ли ты, мама?

— Сейчас, сейчас...

Люка открывает дверь в спальню.

Шторы на окне спущены. Кровать не постлана. На ковре рубашка и рядом утренние туфли. Шкаф открыт. На ночном столике какие-то порошки. Люка тянет воздух носом как легавая собака. Пахнет йодом. Нет, ничего понять нельзя.

— Люка, обедать.

Люка садится напротив Владимира Ивановича. От всех этих волнений ужасно хочется есть.

Владимир Иванович рассеянно и молча смотрит на белую скатерть.

Люка наливает себе вина.

За жарким Владимир Иванович вспоминает о ней.

— Вы ничего не кушаете, Люка. Так нельзя.

— Угу, — отвечает только Люка с набитым ртом.

Но он, должно быть, вспоминает, что ему надо занимать ее.

— Ну, как в лицее? Вызывали?

— Угу, — снова односложно отвечает она, продолжая жевать.

Разговор кончен.

Люка наливает себе третий стакан вина. Как приятно с Володей. Пей, сколько хочешь, не мешает. И на сладкое сливочный крем. Каждый бы день так обедать.

Люка встает.

— Спасибо, Володя.

— Теперь идите домой готовить уроки. Возьмите на дорогу апельсин.

— Спасибо, Володя. До свиданья...

На улице дождь, и это удивляет Люку. Должно быть, она слишком много выпила, если дождю удивляется. Да, она слишком много выпила, и оттого все кругом совсем особенное. От каждого предмета в голове какой-то отблеск, как будто второе отражение. Вот фонарь. Фонарь как фонарь, стоит себе и скупое светит. Старый, немного кривой и облезлый. Но Люка видит не его, а мечту о фонаре. Фонарь как его впервые задумали. Ночное солнце на высоком шесте, разгоняющее убийц и темноту, ослепительный маяк, помогающий честным людям добраться до дому по черным, страшным дорогам.

Вот полосатая кошка выбежала на тротуар, встретила с другой черной кошкой, минуту постояли рядом, морда к морде, и быстро шмыгнули в открытую дверь молочной. Люка знает, что они решили: пойдём купим молока и давай веселиться.

Она громко смеется. Капли дождя текут по ее берету, по щекам, по непромокаемому пальто. Она глубже засовывает руки в карманы. На тротуаре блестит лужа. Люка ступает прямо в нее. Брызги летят высоко на клетчатые чулки, на голые колени. Ну вот, теперь и ноги мокрые. Теперь все в порядке. Она снова смеется. И вдруг становится грустно. Она вздыхает. Чему она радуется? Чему смеется? Ей бы плакать, такая она несчастная, такая одинокая. Ей страшно жаль себя. «Бедная Люка, бедная, — шепчет она, — никто тебя не любит. А ты смеешься...»

«Арсений...» Всегда, когда грустно, Люка вспоминает о нем. «Арсений...» Сердце начинает слабо ныть, и во рту знакомый, солоноватый вкус. Это тоже всегда, когда грустно.

«Арсений...» Она медленно идет, опустив голову. Дождь попадает за воротник, течет вниз по спине. Пусть, от этого еще грустней, еще безнадежней. Так грустно, что даже хорошо, и уже не хочется быть веселой.

«Арсений...» И все-таки у нее есть что вспомнить. Эта встреча... Еще совсем недавно, еще двух месяцев нет... Ведь она была, эта встреча...

В тот вечер она шла такая же грустная и ничего не предчувствовала. И так же, как сейчас, подходила к дому. И там, у того фонаря на углу, так же, как сейчас, стоял человек. Только у этого зонтик, но ведь зонтик оттого, что дождь... Так она шла, все ближе и ближе, совсем как сейчас. Она останавливается, колени начинают дрожать. А если это он, там под фонарем?.. А если это он и ждет ее? Вздор, успокаивает она себя. Не может быть... Не бывает такого.

Человек уже не стоит под фонарем. Он идет к ней навстречу. Лучше не видеть его лица. Ведь это не он. Она отворачивается.

— Здравствуйте, Люка.

Люка вздрагивает. Не может быть. Что?.. Что?.. Что?..

Перед ней под зонтиком Арсений.

— Вы совсем промокли, Люка. Идите сюда ко мне под зонтик. Вы простудитесь.

Он берет ее под руку. Она рядом с ним. Ее плечо прижимается к его рукаву.

— В такой дождь, — говорит он, — долго ли простудиться. А скажите, кстати... ваша сестра здорова?..

— Да... или нет, больна.

— Больна? — переспрашивает он. — Но чем?

— У нее... свинка, — вдруг решает Люка. Ну конечно, у Веры свинка.

Как она раньше не догадалась.

— Свинка? Она вам сама сказала?

— Нет, но я знаю. Она плакала, что безобразно, а мама утешала, «не опасно». Это свинка. Что же другое? И безобразно, и не опасно. У меня у самой была.

Она смотрит снизу вверх в его лицо. Какой он бледный. Или это тень от зонтика?

— Кланяйтесь Вере Алексеевне. Вы не забудете?

— Нет, нет.

— Идемте, я вас провожу до дверей, а то вы еще промокнете.

— Спасибо.

Его длинные ноги в коричневых башмаках ступают рядом с ее желтыми туфлями. Всю бы жизнь идти так, под зонтиком.

— Ну, вот и ваш дом. Так не забудьте передать привет.

Он пожимает ей руку, смотрит на нее рассеянно.

— Вы говорите, она плакала?..

— Кто?

— Ваша сестра.

— Да. Вера плакала. Она кричала: «Я лучше умру...»

— Передайте ей привет и скажите... Нет, ничего не говорите... Только непременно передайте привет. А вы какая большая стали, совсем барышня. Много учитесь? До свиданья.

Он снимает шляпу и быстро уходит. Люка поднимается по лестнице, но на площадке поворачивает и бежит вниз назад на улицу.

— Арсений Николаевич, — кричит она задыхаясь. — Арсений Николаевич!

Улица пуста. Прямо перед домом желтеет фонарь. Дождь звонко барабанит по тротуару.

— Арсений Николаевич!

Люка добегают до угла, смотрит налево, направо, все пусто. Куда он пошел? В ту сторону?.. Или туда? Нет, теперь его не найти, не догнать...

Она снова возвращается, медленно всходит по лестнице, отпирает входную дверь и, не снимая пальто, садится прямо на пол в прихожей, прижимает голову к стене и плачет. Промокшая юбка тяжело прилипает к голым коленям, на полу холодно и твердо. Слезы быстро текут по щекам. Темно, холодно, безнадежно. Но так и надо, так и надо...

Наконец, наплакавшись, она встает, сбрасывает пальто, зажигает свет и, все еще вздрагивая от слез и холода, идет в столовую. Она сама виновата. Она не сумела. Надо было позвать его домой. И было бы так хорошо. Вдвоем, одни... Это, может быть, единственный случай. Единственный случай в ее жизни. И она не сумела. А было бы так хорошо.

Он сел бы здесь, рядом с ней, на диван. Она очистила бы для него апельсин.

— У вас волосы мокрые, — сказал бы он и вытер бы ей голову своим белым шелковым платком. — Какая вы стали большая, Люка. Совсем взрослая...

— Да. Мне на Рождество исполнилось пятнадцать лет.

— Неужели уже пятнадцать?..

Он бы посмотрел на нее внимательно и долго.

— Какая вы хорошенькая, Люка.

Она бы ничего не ответила и даже, может быть, немного покраснела бы.

— Вам пятнадцать лет, Люка. Теперь вы большая, и я могу вам сказать...

— Что? — спросила бы она тихо.

— Разве вы не понимаете?.. Разве вы не знаете, отчего я ждал вас тогда, отчего я ждал вас сегодня под дождем?..

Она покачала бы головой.

— Нет, я не знаю, — и ей стало бы страшно, еще страшнее, еще блаженней, чем только что под зонтиком.

— Люка, — он взял бы ее руку и, повернув, поцеловал бы в ладонь. Непременно в ладонь.

— Люка, я люблю вас. Я всегда любил вас, я только ждал, когда вам можно будет сказать, — он наклонился бы к ней совсем близко. — Еще в Петербурге. Еще в Мондоре. Я всегда любил вас...

5

Приемная доктора.

— Не волнуйся, — шепчет Екатерина Львовна. — Уже скоро. Следующая твоя очередь.

Вера рассматривает гравюры на стенах. Голубой маркиз обнимает сиреневую маркизу, на другой пастух целует пастушку и у ног их лежат белые овцы. Вера брезгливо кривит губы — целуются, обнимаются, чтоб потом так мучиться, как она сейчас.

Вера смотрит на них, и ей кажется, что маркиза и пастушка на гравюрах меняются, тонкие талии распухают, под юбками вздымаются большие животы и губы, вместо улыбки, складываются в страдальческую гримасу. И овцы огромные, с раздутыми боками, круглые, как шары.

Вера отворачивается. У стены пузатый комод... Какой противный... Он тоже как будто...

Она брезгливо пожимает плечами. Все, все напоминает. Куда ни взглянуть. И поворачивается к матери.

— Что, Верочка?

В больших серых глазах Екатерины Львовны выражение любви и страха. И лицо совсем такое, как на старой карточке, снятой двадцать два года тому назад.

— Я была тогда беременна тобой, Верочка, — говорила Екатерина Львовна, показывая Вере карточку. — А платье это было прелестное. Лиф весь обшит кисточками. И шляпка палевая. Еще мало заметно было...

И вдруг Вера ясно видит мать, какой она была двадцать два года тому назад. В шляпке-лодочке, в лифе с кисточками, с челкой на лбу, с еще слабо округленным животом, хорошенькую, молодую. Беременную. Беременную Верой, ею самой. Верой — ею, которая смотрит на мать. Верой — ею, которая сидит здесь в розовом кресле и отражается в зеркале. Но как же это?.. Ведь она еще не родилась. Она еще там, под полосатой юбкой и лифом с кисточками, в этом теплом круглом животе. Вере хочется крикнуть, но нет голоса, она продолжает смотреть в каком-то тяжелом оцепенении на беременную мать и на себя в зеркале.

Что-то липкое, мутное заливает кровь, поднимается все выше, и нельзя ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни закрыть глаза, и в висках тяжело стучит. Ей отвратительно видеть беременную мать и отвратительней всего, что мать беременна именно ею, Верой. И видеть себя в зеркале тоже отвратительно, себя взрослую, себя беременную.

Липкая муть докатилась до сердца. О, как противно. Закричать бы, разбить вазу, но только прекратить это. Не видеть круглого живота, шляпки-лодочки, лифа с кисточками...

— Трудные были роды. Щипцами тебя вынимали... Щипцами... И ее тело тоже будут рвать щипцами.

Судорога отвращения пробегает по спине. Вера встряхивает головой, ударяется о кресло затылком. И все сразу пропадает. Екатерина Львовна сидит в своей потертой котиковой шубке, немолодая и грустная. Вера делает еще усилие, встает, подходит к столу.

— Что? — спрашивает тревожно Екатерина Львовна.

На столе лежит книга. Вера хочет ее взять. Надо успокоиться, почитать. Но вдруг, как от жабы, отдергивает руку. На желтой обложке большими черными буквами напечатано «Л-Этернель амур».

— Амур, — повторяет Вера, с отвращением кривя губы. — Амур... — и прижимает платок ко рту. — Мама, меня тошнит.

Но в ту же минуту широко распахивается дверь, и седой высокий старик в белом больничном халате, ласково и устало улыбаясь, приглашает:

— Пожалуйста.

И в открытую дверь за его спиной видно медицинское кресло и на столе блестящие никелированные страшные инструменты...

Вера едет с матерью домой.

— Радоваться надо, а не огорчаться, Верочка.

— Радоваться? Но отчего же ты плачешь?

— Ах, Верочка. Мне жаль тебя. Но иметь ребенка такое счастье...

Вера, не отвечая, смотрит в окно сухими глазами.

— Он будет такой маленький, теплый, беспомощный. Ты будешь обожать его. И такой хорошенький. Ведь вы с Люкой были прелесть какие, на улице на вас оборачивались. Скажи, ты хочешь мальчика или девочку?

— Никого не хочу...

— Но все-таки... все-таки. Мальчика или девочку?

— Лучше уж девочку.

— Ну, вот, вот, — радостно торопится Екатерина Львовна. — Непременно будет девочка. Представь себе — волосики золотые, глаза светлые.

— Нет, — перебивает Вера, — черные глаза.

— Но откуда черные? Ведь у нас всех и у Володи серые.

— Нет, черные. У нее будут черные. Не спорь, я знаю. Непременно черные.

— Ну хорошо, хорошо. Пусть черные. Она так быстро вырастет. Она будет бегать по комнатам, будет обнимать тебя за шею маленькими ручками и звать Мама-Киса.

— Мама-Киса, — тихо повторяет Вера и улыбается в первый раз за весь этот мучительный день.

— Ну вот, вот, — шепчет Екатерина Львовна, и слезы снова бегут по ее щекам. — Вот ты уже и любишь ее. А как мы ее одевать будем...

Владимир Иванович встречает их в прихожей.

— Что сказал доктор? — взволнованно спрашивает он.

— Да, да, да, — резко говорит Вера и, не взглянув даже на мужа, быстро проходит к себе в спальню.

— Но... Я не понимаю, — растерянно шепчет он. — Как же это могло случиться?

Вера поворачивает к нему бледное, злое лицо.

— Не понимаешь? Где тебе понять! — и захлопывает за собой дверь.

— Мама, — кричит она, сбрасывая пальто на пол. — Я не хочу. Нет, нет, нет, я не хочу. Я лучше умру, мама.

— Верочка, Верочка. Что ты?..

— Мама, это ужасно. Это отвратительно, безобразно. Я не хочу. За что? Мне жаль себя, жаль, жаль, — она громко плачет, уткнувшись в материнское плечо.

— Это совсем не страшно, Верочка. Совсем не страшно. И зато потом такое счастье.

— Нет, нет, я не хочу. И ребенка не надо. На что мне? Нет, нет, я не хочу.

Екатерина Львовна гладит ее по голове.

— Ну, успокойся, успокойся.

— Мама, — Вера поднимает заплаканное лицо. — А ведь можно? Еще можно избавиться? Еще можно...

— Да, конечно, — испуганно говорит Екатерина Львовна, — но это...

Но Вера кидается на кровать и зажимает уши.

— Нет, не говори, не говори. Это гадость. Это еще страшнее. Я боюсь, боюсь. Я не хочу. Нет, я лучше умру...

6

Надо идти завтракать к Вере. Екатерина Львовна уже с утра там.

В доме по-прежнему чувствуется переполох. И Вера по-прежнему в спальне, и к ней нельзя. Но Люка все-таки стучится.

— Верочка,пусти меня.

— Нельзя. Уходи.

— Пусти. Мне надо тебе передать...

Да, надо, необходимо передать привет от Арсения. Ведь она ему обещала. Но Вере, конечно, не до приветов. Она рассердится, выгонит Люку.

Ключ в замке щелкает. Вера, запахивая халатик, снова садится на кровати. Растрепанные волосы торчат во все стороны, лицо желто, глаза распухли.

— Верочка, что с тобой?

— Не приставай. Говори скорей и уходи.

Люка мнется.

— Мне надо тебе... Я... Вчера... Я вчера встретила Арсения, — говорит она вдруг быстро и краснеет. — Он просил передать тебе привет, — и отворачивается, чтобы Вера не заметила. Но Вера не видит ее. Вера смотрит на свои чулки, брошенные на ковре, и губы ее вздрагивают.

— Что он еще говорил?..

— Он сказал, что дождь... И что много больных, и спросил, здорова ли ты.

— А еще что?

— Больше ничего.

Он еще сказал: «Не простудитесь. Какая вы большая, Люка, совсем барышня. Много учитесь?» И еще они шли под зонтиком. Но это уже ее, Люкино богатство, и делиться им Люка ни с кем не обязана.

— А какой он был? Грустный?

— Да, кажется, грустный. Или нет, скорее веселый.

— Ах, Господи, какая ты, Люка, ничего толком сказать не можешь. Ведь не маленькая.

— А тебе не все равно, веселый или грустный?

— Ну конечно, все равно. Я только так спрашиваю. Какая ты смешная. Пойди поцелуй меня, — Вера, смеясь, обнимает сестру, целует ее в затылок. — Ах, какая смешная, Люка. Вот и развеселила меня, а мне было так плохо...

Люка в восторге прыгает по комнате.

— Я еще вчера говорила, чтобы меня пустили к тебе. Я знала. Подожди, я тебе про моржей расскажу. Хохотать будешь.

— Ну, про моржей после. А сейчас пойди скажи на кухне, чтобы мне яичницу сделали. Мне даже есть захотелось, вот ты какая у меня.

За завтраком почти весело. Вера улыбается, Екатерина Львовна и Владимир влюбленно смотрят на нее.

— Это все Люка. Если бы не она, я сегодня не встала бы.

Люка надувается от гордости.

— Я так много плакала, — Вера смотрит на мужа. — Надо мне новое платье купить в утешение.

— Конечно, конечно.

Он поспешно достает из бумажника пятьсот франков.

— Не мало?

— Нет, хватит.

Вера кладет деньги под тарелку. У Люки сильно стучит сердце. А вдруг забудет? Но Вера встает и прячет деньги в сумку.

— Ты поедешь со мной, мама. Поможешь мне выбрать.

— И я, и я, — просит Люка.

— И тебя возьмем. А потом мороженым тебя угощу. Ну, идем, помоги мне одеться.

Владимир Иванович берет Люку за плечо.

— Спасибо, Люка, за Веру.

— Ну вот еще, — Люка скромно опускает глаза...

— Достань чулки, серые, те, с каемкой, знаешь, и платье серое бархатное, — командует Вера из ванной. Вода шумно бежит из

крана, и плохо слышно, но переспрашивать нельзя. Вера рассердится. — Рубашку с кружевом. И все надуши.

Вера выходит из ванной розовая и свежая, совсем не похожая на ту, что сидела здесь на кровати. Вера пудрит плечи, руки и грудь.

— Зачем это?

— А тебе что? Не тебя ведь пудрят.

Мелкая легкая пудра летит по комнате. Люка кашляет.

— И ноги тоже?

— И ноги, — насмешливо отвечает Вера. — Ну, давай скорей рубашку.

— Это все так стараются для портнихи?

— Все.

Люка обдергивает Верино платье.

— Какая ты красивая.

Вера печально качает головой. Маленькие серые перья на ее шляпе дрожат.

— Теперь уже недолго.

— Что недолго?..

Но Вера старательно мажет губы перед зеркалом.

— Мама, я готова. Идем. Скажи, сколько времени еще не будет видно?

— Месяцев пять, даже шесть.

Вера надевает шубу.

— Господи, как мало времени осталось. Ах, как мне надо торопиться жить.

Владимир целует ее руку.

— До свидания, Верочка.

— Я наверное опоздаю к обеду. Знаешь, в магазинах, у портнихи...

— Ничего, Верочка. Я подожду.

Они втроем спускаются с лестницы. Но на улице Вера вдруг останавливается.

— Вот что, — говорит она смущенно, — я передумала. Я лучше поеду одна.

— Хорошо, хорошо, Верочка, — поспешно соглашается Екатерина Львовна. — Я тоже думаю, мы будем тебе только мешать.

— Приходи вечером, мама.

— Как же так, Вера, а мороженое?

Но Вера, не слушая, останавливает автомобиль. Люка подбегает к ней.

— Я скажу шоферу адрес, а ты садись.

Вера зло смотрит на нее.

— Что ты за мной шпионишь, змееныш? Поезжайте прямо, — говорит она шоферу и хлопывает дверцу.

Люка совсем сбита с толку.

— Отчего она опять рассердилась?

— Не обращай внимания, Люка. Вера очень нервна, это пройдет.

— А мороженое как же? Вера обещала...

Но Екатерина Львовна торопится.

— Тебе пора в лицей, Люка.

7

На столе две бутылки вина, финики, копченая селедка, плитка шоколада, учебники и тетрадки.

Жанна в гостях у Люки. Люка подливает ей вина, угощает ее финиками, Екатерина Львовна, как всегда, у Веры.

— ...Она жила одна в огромной квартире. Одной жить страшно. Она богатая была и все боялась, что ее убьют, никому не верила, — рассказывает Люка шепотом. — Боялась, и убили. Утром нашли в кухне с перерезанным горлом, и все стены в крови. Как раз в Марди-Гра, и маски приходили смотреть. А вечером в доме напротив нашли вторую старуху зарезанную. И думали, тот же убийца. Но это одна зарезала другую, понимаешь? А потом и себя. Вечером в Марди-Гра. Под окнами танцевали Пьеро, играли на бумажных дудках. А соседи видели, как старуха накануне стучалась. И пряталась под зонтик, чтобы ее не узнали. Под зонтик, хотя дождя не было. А та с балкона смотрела: «Это вы? Что давно у меня не были?» — и сама впустила... Зонтик, а дождя не было, — повторяет Люка. — Как приятно, даже в горле щекочет. Зонтик. Большой зонтик. Под ним вдвоем идти можно. — Люка на минуту задумывается. — А ее все-таки видели... И зонтик не помог. Сама зарезалась бритвой, а не то бы гильотина.

Жанна испуганно смотрит на нее.

— Ты это выдумала?

— Нет, я в газете читала. Хочешь, еще расскажу?

— Нет, нет, пожалуйста, не надо. Я боюсь. Мне ночью снится.

Люка хохочет.

— Трусиха, — и серьезно прибавляет: — Я тоже иногда боюсь ночью, но только не убийц. Что же ты не пьешь?.. Невкусно?

Жанна пьет, потом вдруг тяжело и беспомощно кладет голову на стол и плачет.

— Ах, Люка.

Люка трясет ее за плечо.

— Ну, Жанна, ну что с тобой? Хочешь воды? Съешь шоколаду, пройдет.

Но Жанна плачет все сильнее.

— Ах, я так несчастна.

— Ты?.. — удивляется Люка и с любопытством смотрит на подругу.

— Я, я... — всхлипывает Жанна, — я его так люблю... А он, а они...

— Кто он? Кто они?

— Поль. Поль и Ивонна...

— Ах, вот оно что... — Люка трясет головой.

— Нет, ты не смейся. Я ужасно, ужасно, ужасно люблю его.

— А он?

— Он совсем не любит меня. Ему безразлично — я или Ивонна.

Люка смотрит на хорошенькую плачущую Жанну, и ей жаль ее. От выпитого вина она как-то особенно ясно все понимает: и Жаннино горе, и звон часов в столовой, и всю жизнь.

— Послушай, — она трясет Жанну за плечо. — Ты не плачь. Ты несчастна, но ведь и я тоже несчастна. Это всегда так. Так уж устроено. Сначала все несчастны, а потом выходят замуж, и богаты, и счастливы. Я знаю. Так и с Верой было. И с нами так будет. Надо только подождать. И я жду. Мы только еще немножко слишком молоды. Вот и все.

Жанна поднимает лицо.

— Правда, Люка?

— Ну конечно правда, раз я говорю.

— И Поль женится на мне?

Люка не понимает, как можно влюбиться в Поля. У него потные руки и зубы plombированные. Но раз Жанна плачет...

— Да, да, он женится, — убежденно шепчет Люка. — Я знаю.

Жанна вытирает глаза кулаком и улыбается блаженной и пьяной улыбкой.

— А что же будет с Ивонной?

— Ивонна лопнет от зависти.

— Как? Совсем лопнет? — уже смеется Жанна.

— Совсем. По всем швам. Придется куски собирать, чтобы в гроб класть. Я знаю. А мы будем счастливы...

Люка наливает себе и Жанне вина.

— Ну, выпьем за наше счастье. Мы будем счастливы. Я знаю... Только немножко еще подождать... И будем счастливы. Честное слово.

Четвертая часть

1

В начале июля перебрались на дачу. Люка была недовольна. Стоило тоже. Разве это дача? Час езды от Парижа, и ни моря, ни хотя бы гор. На такую дачу даже стыдно выезжать. Но Вере нужно в Париж к доктору, а Владимиру Ивановичу — на завод. Вот и сидят здесь.

В саду клумба с левкоями и два куста жасмина. Дорожки слишком белые, слишком чистые. Как будто на открытке. Все сделано для того, чтобы нравилось. А вот Люке не нравится. Совсем не нравится. Даже, наоборот, противно. И беседка в углу сада такая ненужная. С кем и о чем в ней беседовать? Лучше бы уже в Париже остаться. Там все-таки Жанна, не так скучно. И от Верочки немного отдохнули бы...

Люка устраивается поудобнее на перилах, болтая ногами в сандалиях.

Жарко. Скучно. Только сегодня утром приехали, и уже скучно. А придется прожить здесь целых два месяца.

На террасу, осторожно ступая и чуть-чуть переваливаясь, выходит Вера. На ее легкое белое платье сверху накинута розовая шаль. Люка отворачивается. Люка давно знает, что у Веры не свинка, Вера пухнет с каждым днем, живот уже под самым носом.

Вера подходит совсем близко, обнимает Люку.

— Ты что тут сидишь, как воробей?

— Жарко...

Люка смотрит на Верины ноги в шелковых чулках. Какие красивые, стройные ноги. Странно даже, что они такие же красивые, как прежде, не изменились.

— Почему ты не бегаешь? Все уже осмотрела?

Люка зевает во весь рот.

— Скучно.

— Нечего киснуть. Пойдем-ка лучше гулять. Тут, говорят, чудесный лес.

— Ну и пусть себе лес...

— Пойдем, — уговаривает Вера. — Знаешь, тут, наверное, и кондитерские есть. И мороженое. А, как ты полагаешь?..

Люка встает.

— Ну, если мороженое. Только сначала мороженое, а потом лес. В лес она совсем не пойдет, удерет из кондитерской. Очень ей нужен лес...

— Идем же.

Вера тяжело сходит в сад. Люка бежит за ней, глядя на ее спину. Как утка ковыляет. Нашла тоже время рядиться. Только еще безобразнее...

— Первым делом в кондитерскую, — Люка открывает калитку и останавливается.

У самого забора стоит Арсений.

— Арсений Николаевич, — вскрикивает Вера как-то особенно громко.

Люка молча прижимает руки к груди.

— Здравствуйте, Вера Алексеевна. Здравствуйте, Люка. Какими судьбами?

— Мы здесь живем.

— Неужели? И я тоже. Вот моя дача. Та розовая, на углу. Мы опять соседи, как в Мондоре.

Вера улыбается.

— Мы так давно не виделись. Мама будет очень рада. Зайдем к нам.

Люка бежит вперед предупредить, пронесится через сад и, задыхаясь, вбегает в дом.

— Мама, мама! Да где же ты?

Екатерина Львовна выходит, держа в руках маленький вязаный чепчик.

— Что? Что такое?

— Мама, Арсений Николаевич. Он здесь. Он живет с нами рядом, — захлебывается Люка.

— Вот как?

Екатерина Львовна почти не удивлена.

— Мама, он идет сюда!

— Ну хорошо, пусть идет. Но ты-то чего так кричишь?

Люка смущается:

— Я... Я пойду руки вымыть, — и бежит наверх.

У себя Люка садится на пол и раскачивается из сторону в сторону.

— Он здесь, он здесь, он здесь...

Потом вскакивает, смотрит в окно.

Арсений и Вера идут по саду. И все кругом: жасмин, левкой, трава, деревья и небо вдруг меняется. Все становится волшебным, звенящим, летящим. И даже Вера, тяжелая утка Вера кажется легкой белой бабочкой. Все кружится. Сад медленно плывет перед глазами. Люка глубоко вдыхает теплый воздух и снова садится на пол.

Снизу уже слышатся голоса.

— Вот и отлично, теперь мы вас не выпустим. А то за всю зиму ни разу не были у нас.

— ...Я тоже очень рад, поверьте...

Люка встает, моет лицо и руки — зачем? Она все равно не посмеет сойти. Причесывается, смотрит на себя в зеркало и трясет головой, чтобы снова растрепать волосы, а то будто корова языком прилизила. Нет, она все равно не сойдет...

Снизу голос Екатерины Львовны:

— Люка, где же ты? Иди чай пить...

— Сейчас, мама.

Люка остановилась красная, с бьющимся сердцем. Как она выйдет такая, все сейчас поймут.

Но никто не обращает на нее внимания. На пестрой скатерти стоят голубые чашки. Большой шмель кружится над вазой с жасмином. Самовар блестит, все такое привычное, совсем как всегда...

2

Арсений Николаевич читает вслух только что полученную из России книгу. Вера шьет, склонив на бок маленькую круглую голову. В пальцах Екатерины Львовны мелькают длинные желтые спицы. Клубок розовой шерсти мягко падает со стола и катится по полу.

Розовый — ведь непременно будет девочка. Для девочки всегда розовое.

Люка сидит в углу на соломенном стуле и пристально смотрит на Арсения. Она не слушает. Какое ей дело? Разве можно интересоваться чужой жизнью, когда своя собственная жизнь громко стучит в груди, когда чувствуешь себя оглушенной, ослепленной ею и боишься только одного, как бы не задохнуться от счастья... Люка крепко сжимает худые руки на коленях.

Это он, это Арсений. Он тут, и вчера был, и завтра будет. «Хорошо тебе, Люка?» — спрашивает она себя, зажмуривая глаза. Солнце светит прямо на нее. Деревья шумят. Влажные волосы прилипают ко лбу. «Чудные дни наступили для нас, сердце мое, — вспоминает она строчку какого-то стихотворения. — Чудные дни наступили для нас с тобой, Люка...»

— Помилуйте, товарищ...

Люка крепче зажмуривается. «Причем тут товарищ, какой товарищ? Арсений говорит: — Я люблю вас, Люка...»

— Так что, товарищ, всю гражданскую войну...

Но это значит: «Неужели вы не понимаете, Люка, что я люблю вас?...»

Пчелы громко жужжат в горячем воздухе. Как пахнет левкоями.

— Хватит, — Вера встает. — Я устала. Завтра кончим.

Арсений послушно кладет книгу на стол.

— Нравится вам?

— Очень интересно, — рассеянно говорит Вера. — Но мне пора идти гулять.

Арсений поворачивается к Люке.

— Вот кто внимательно слушал. Я даже удивился. Вам нравится, Люка?

— Ужасно нравится.

— Вам жаль Мейчика?

«Какой такой Мейчик? Причем тут Мейчик?» — Люка краснеет и опускает глаза.

— Очень, очень жаль.

— Люка, да ты никак плакала? Вот это слушательница. Не то что я. Я даже толком не разобрала, в чем дело.

Вера берет шляпу.

— Идемте, Арсений Николаевич, в лес. Там не так жарко.

Люка вскакивает.

— И я, и я с вами.

— Нет, — останавливает Екатерина Львовна. — Ты останешься дома.

— Но почему?

— Вера устала. Ты все болтаешь, прыгаешь, от тебя голова болит.

— Пусть идет, если хочет, мне не мешает, — говорит Вера, но Люка по глазам видит, что она недовольна.

— Нет, Люка мне нужна. — Екатерина Львовна берет дочь за руку. — Ты останешься со мной.

Арсений молчит. Хотя бы он заступился за Люку. Но он уходит вслед за Верой с пледом на руке, если Верочке в лесу сесть захочется, и зонтиком, если Верочке солнце надоеет...

Люка смотрит им вслед. Ушли...

— Мама, я тебе нужна?

Екатерина Львовна продолжает вязать.

— Четырнадцать, пятнадцать, — считает она петли. — Не мешай.

— Ведь ты сказала, что я тебе нужна?

— Иди играть в сад.

— Но ты сказала...

Екатерина Львовна поднимает глаза от работы.

— Ну и сказала... Что же ты со мной за это сделаешь? Большая, кажется, можешь понять, что Верочку теперь раздражать нельзя. Дай ей хоть немного от тебя отдохнуть.

— Отдохнуть?..

Екатерина Львовна снова накидывает петли.

— Иди играть, Люка. Не приставай.

Люка спускается в сад.

Вере надо от нее отдохнуть. И ему, Арсению, тоже. Конечно, она надоедает им. Они рады от нее отделаться. Вот оставили дома. Хуже собаки, собаку бы повели гулять, хуже зонтика, зонтик взяли с собой. А ее, Люку, оставили. На что она нужна?

Люке обидно, Люке грустно. Она шагает взад и вперед по белой дорожке, подходит к забору, открывает калитку. Улица длинная, с узкими тротуарами, с двух сторон заборы и деревья. Воздух пыльный, солнце жжет, и ни одного автомобиля, ни одного прохожего. Господи, какая жара. Господи, какая тоска...

Люка идет вдоль заборов. Вот и дача Арсения. Маленькая, одноэтажная, густо-розовая, как земляничный пирог. И сад маленький, весь в цветах. Ни дерева, ни куста. Только зеленая трава и цветы, белые, красные, розовые, лиловые. И дача и сад — все совсем особенное, такое, как нигде.

Над цветами кружатся бабочки и пчелы. Солнечный, тающий воздух звенит от жужжания. Цветы глубоко и бесстыдно раскрываются, и пчелы влюбленно прячутся в них. Бабочка садится на красную гвоздику, стебель нежно и покорно склоняется под ней. От разогретой земли, от цветов поднимается тяжелый, раздражающий запах.

Люка смотрит на цветы и вдруг краснеет. Да, все здесь совсем особенное, влюбленное, бесстыдное. И сердце стучит совсем особенно, влюбленно и бесстыдно.

Люка толкает калитку. Сколько раз по этой дорожке ступали его ноги. Сквозь тонкую подошву чувствуется горячая земля. И вместе с ощущением тепла поднимается по ногам и заливает все тело горячая нежность, еще никогда не испытанная, влюбленная и бесстыдная. Ладони становятся влажными, колени слабеют.

Люка медленно обходит розовый дом. Двери на балкон закрыты, и окна все закрыты. Нет, не все. Люка берется за розовую ставню, за ней окно только притворено. Люка смотрит на него. Темно... Но как же? Она так и уйдет, ничего не узнав? Окно низкое. Вот взяться покрепче за подоконник и... Вот так. Люка спрыгивает на пол. Это столовая. Буфет с пестрыми тарелками. У стульев высокие спинки. На стене заяц из лапье-маше. Неинтересно. Люка толкает дверь. Она в большой темной комнате. Свет пыльной полосой падает в открытую дверь. Тихо, так тихо, как бывает только в совсем пустом доме. И вдруг становится страшно. Кажется, что кто-то там, за спиной, шевелится в углу. Люка оборачивается. В углу, в глубине узкого зеркала, слабо желтеет ее платье. Ее светлые волосы и испуганное лицо расплываются мутным пятном. Люка вскрикивает и толкает ставни. Комната полна солнца, и в зеркале отчетливо отражается розовая Люка, вся, такая как есть. Даже дырка на юбке. Чего же бояться?..

У стены письменный стол и на нем четыре десятифранковых бумажки. Люка смотрит на них, протягивает руку, трогает их. «Новенькие, хрустят... На сорок франков можно много сделать».

Люка выдвигает ящик стола. На самом верху недописанное письмо. Она берет его и читает.

«Моя маленькая девочка, я сегодня опять провел весь день у вас и не мог тебе сказать, как я люблю тебя. Меня это мучает. Твоя мать, твоя сестра...»

Люка держит листок в руке, рука дрожит, и ноги подкашиваются. Она садится в кресло, закрывает глаза, прижимает письмо к груди.

«Моя маленькая девочка, я люблю тебя». Наконец. Наконец. Сколько времени она ждала. «Моя маленькая девочка». Ведь она знала, знала. Еще зимой под зонтиком, еще в Мондоре...

«Моя маленькая девочка, я люблю тебя...» Люка крепче прижимает письмо к груди. И как раз под письмом сердце. Оно бьется так счастливо, так спокойно. Совсем легко, совсем тихо, не громче, чем часы на стене. Вот оно, вот оно, счастье...

Люка целует письмо, кладет его обратно в ящик, медленно встает, улыбаясь, трясет головой: ах, как я счастлива. Потом подбегает

к окну, выпрыгивает в сад, притворяет розовые ставни. Но рука ее снова просовывается в комнату, и четыре скомканные десятифранковые бумажки шурша падают на пол.

3

Люка сидит за ужином перед тарелкой с варениками. Слева Вера, напротив Владимир Иванович и Арсений, справа Екатерина Львовна. Вареники с вишнями, очень вкусные, но глотать трудно, горло сжато, оно такое узкое, что вареник не пройдет. И пробовать не стоит — подавишься.

— Люка, отчего ты не ешь?

Люка проводит рукой по лбу.

— Не хочется. Голова болит.

— Опять ты по солнцу без шляпы бегала. Как ты бледна, синяки под глазами, — беспокоится Екатерина Львовна.

Люка отодвигает стул и встает.

— Я лучше пойду лягу. Спокойной ночи.

Мать и Вера целуют ее. Арсений протягивает руку.

— Чтобы завтра молодцом быть, Люка.

Ладонь у него сухая и немного жесткая. Глаза смотрят холодно. Как он может так притворяться? Но она знает: «Моя маленькая девочка, я люблю тебя».

— Спокойной ночи, Арсений Николаевич. Спокойной ночи, Володя.

Люка поднимается по лестнице, но вместо того, чтобы пройти к себе, быстро входит в Верину комнату. Темно, зажигать света нельзя — могут снизу увидеть. И не так уже темно, в окно светит луна. Люка подходит к шкафу. Дверцы шкафа скрипят, в темной глубине его печально и беспомощно висят платья, как семь повешенных жен Синеи Бороды. Люка дергает за кушак белое платье, и оно с жалобным шелковым вздохом падает на пол. Люка поднимает его. Теперь чулки. Но ящик комода не поддается. Заперто. От каких воров, подумаешь, и как же без длинных чулок? Ничего, ведь платье длинное. Она берет с туалета пудру, духи, коробочку с тушью для ресниц, красный карандаш. Все. Теперь к себе.

Ключ щелкает в замке. Люка зажигает свет, снимает платье, душит грудь, плечи и колени. Так делает Вера, так надо. Потом перед зеркалом подводит глаза, мажет губы. Неужели это она, Люка? Эта женщина с большими светлыми глазами, с голыми пле-

чами в широком длинном платье? И лицо совсем новое, возбужденное и счастливое.

— Какая красивая. Прелесть, — громко говорит Люка. Понятно, что в нее влюблен Арсений. Как в такую не влюбиться?

Она медленно проходит по комнате. Пусть на нее посмотрят стулья, кровать, книги и цветы на обоях. Они никогда еще не видели такой красивой, такой счастливой. Разве есть на свете кто-нибудь красивее и счастливее ее? Она снова смотрится в зеркало. Все хорошо. Теперь остается только ждать...

Она тушит свет, садится в кресло перед открытым окном. В саду тихо раскачиваются черные деревья. Звезды в разорванных облаках блестят, как маленькие серебряные рыбки в рыбацких сетях.

Из-за беседки медленно поднимается большая, круглая, зеленая луна.

Снизу с террасы доносятся голоса.

— Сыграем еще партию, Арсений Николаевич.

— Не довольно ли? Уже поздно.

Стук шахмат, падающих в ящик.

— Вера, спой что-нибудь.

— Я устала, Володя.

— Вера Алексеевна, спойте, прошу вас...

Слышно как Вера садится за рояль.

Люка недовольно двигается в кресле: ну, завели шарманку, теперь надолго. А я жди тут...

Вера поет. Ее легкий голос летит по саду. Такой нежный, такой трогательный. Люка слушает, прижав руки к груди, и вдруг все забывает: свое ожидание и свое волнение и то, что ей предстоит этой ночью. Как хорошо поет Вера. Как хорошо...

Верин голос летит все выше и выше над черными деревьями, под зеленой луной. Нет, это не Верин голос, это она, Люка, летит. Как легко, как блаженно, как страшно. Все выше и выше, мимо облаков, мимо звезд в сверкающем воздухе, и уже нельзя дышать, и глаза уже ничего не видят кроме огромной, зеленой, прозрачной луны.

Пение обрывается.

— Я устала, — жалобно говорит Вера.

Крышка рояля хлопает.

Люка вздыхает, опускает руки. Что это было?.. Она плакала. Она быстро вытирает щеки. Нет, краска с ресниц не потекла.

Внизу двигают стулья. Прощаются. Сейчас, сейчас.

От волнения Люка зажимает уши руками. Кровь шумно стучит в висках. Сейчас, сейчас. Все лягут, и тогда...

Вера тяжело поднимается по лестнице.

— Тише, Володя. Разбудишь Люку.

Верина комната рядом, и через стенку слышно.

— Ты завтра едешь в Париж?

— Да, придется. Я вечером вернусь.

— Посиди со мной, Володя, пока я не засну. Мне грустно.

— Но, Верочка, почему тебе грустно?.. Не надо...

— Ах, я не знаю. Я боюсь. Мне так грустно, так страшно. Знаешь... — дальше шепот.

Люка нетерпеливо болтает ногами.

Скоро ли утомонятся? Наконец все тихо. Дом спит.

Люка осторожно отпирает дверь, останавливается, ждет... Но все по-прежнему тихо. Она на носках сбегает с лестницы, держась за перила. Темно, если упасть — грохот, весь дом разбудишь. Но по лестнице еще просто, а в темной комнате как найти окно? Люка будто слепая шарит вытянутыми руками, только не наткнуться бы на стул. Окно должно быть тут направо. Куда же оно делось? Так вся ночь пройдет. Но рука дотрагивается до холодного стекла. Вот оно, вот оно.

Люка толкает ставни и, подобрав длинное платье, прыгает в сад. Окно высоко, она падает на землю. Ничего, ничего... Люка бежит. Кусты цепляются за длинное платье. Черные тени дрожат на дорожке, черные ветки шумят над головой. Страшно. А что дальше будет? Может быть, вернуться?.. Нет... Ни за что.

Люка бежит по пустой улице. Вот его дача. Неужели калитка заперта и придется через забор. Но калитка открыта. Вот сейчас, сейчас. Надо успокоиться. Что она скажет?.. Как бьется сердце... Он еще не спит, в окне свет. Люка стучит в ставню, и окно распахивается.

— Кто тут? — спрашивает Арсений всматриваясь в темноту. Он без пиджака, и воротник расстегнут.

— Это я... — тихо говорит Люка.

— Ты?.. — его голос вздрагивает от радости. — Я не ждал тебя. Я сейчас открою...

Люка бежит к балкону. Конечно, он не ждал. Но он рад...

Гремит замок. Со стуком соскакивает крюк. Дверь открывается.

Он стоит в освещенном четырехугольнике. Он протягивает ей руки.

— Как же ты смогла выбраться? — и вдруг испуганно отступает назад.

— Люка? Вы? Что случилось? Вера?..

Люка трясет головой.

— Ничего не случилось.

И сразу все становится непонятным и смутным, как во сне. Что такое говорит Арсений?

— Зачем вы здесь, Люка?

— Я пришла к вам.

Ведь он только что так обрадовался...

— Но зачем?

— Я пришла к вам... — голова начинает кружиться, лучше опереться о стенку, чтобы не упасть. — Я уже была у вас днем.

— Были у меня?

— Да, и... я прочла письмо, то, в ящике, — говорит она тихо.

— Вы прочли? Значит, вы знаете.

Она кивает.

— Да, знаю...

Так тяжело, так смутно. И о чем он спрашивает, разве не ясно? А может быть, всего этого нет, все это только снится. Этот полутемный балкон, и открытая дверь, и лампа на столе.

— Люка, — Арсений берет ее за руку. — Ведь вы славная девочка, вы хорошая девочка, не правда ли? И вы никому не скажете, дайте честное слово, что не скажете?

Зачем он это? И кому она может сказать?

— Ну, дайте же слово.

— Честное слово, — говорит она тихо.

Все непонятно. Совсем, совсем не этого она ждала.

— Помните, Люка, если вы проговоритесь, будет страшное несчастье. Я вам верю. Никому, слышите. Ни даже самой Вере.

— Ну конечно. Раз никому, так и не Вере.

Он выпускает ее руку.

— Так помните, никому, — и улыбается, успокоенный. — А читать чужие письма стыдно, Люка. В особенности такой милой девочке, как вы. Но вы больше не будете, не правда ли? А теперь бегите домой.

Как домой?.. Он посылает ее домой?..

— Я пришла, — говорит она хрипло, собрав последние силы, — оттого, что я тоже люблю вас. Я бы не сказала, если бы не прочла письма.

— Вы меня любите? — глаза его становятся большими и удивленными. — И при чем тут мое письмо?

— Ах, зачем вы притворяетесь? — Люка топает ногой. — Зачем? Ведь я знаю. Я прочла письмо, вы меня любите.

Он внимательно и удивленно смотрит на нее.

— Вот оно что, — говорит он задумчиво. И только теперь замечает ее длинное платье, ее намазанные губы и подведенные глаза. — Вот оно что, — и снова берет ее за руку. — Так вот оно что. Вы любите меня, маленькая Люка. И вы из письма поняли, что я тоже люблю вас?

— Ну да, да, — Люка чуть не плачет.

— И вы пришли ко мне?

— Ну да...

— И чтобы понравиться мне, так нарядились?..

Люка молча кивает. Ее пальцы дрожат в его руке.

— Вы дрожите? Вам холодно?

Она качает головой.

— Нет.

Луна освещает балкон, лунный свет падает прямо на Люку, на ее белое шелковое платье, на ее светлые волосы, на ее встревоженное лицо.

— А вы прехорошенькая, Люка. Как я раньше не замечал? Но все-таки, зачем вы пришли?

— Чтобы вы знали, что я люблю вас, — грустно говорит Люка.

— Ночью?..

— Я думала, когда любят, всегда хотят быть вместе ночью...

Он смеется.

— О, да вы, я вижу, опытная, — и ведет ее в комнату. — Не бойтесь. Я ничего вам не сделаю.

— Я не боюсь...

Он подводит ее к дивану.

— Садитесь, Люка.

Она покорно садится. Дверь в сад открыта, там темно и цветы. Диван широкий, много подушек. Арсений с любопытством рассматривает ее.

— Какая смешная, какая хорошенькая. И губы намазаны. Так вы любите меня?

— Люблю, — грустно и устало отвечает Люка.

— Давно?

— Всегда.

— А вы никому не скажете, Люка?

— Я ведь дала уже честное слово.

— Нет, поклянитесь, Люка, что не скажете. Если кто-нибудь узнает, главное Вера. Клянетесь?

— Зачем же Вере рассказывать? Ей неинтересно...

— Клянётесь, что не скажете ей?

— Клянусь. Никому...

— А теперь...

Он наклоняется к ней. Черные блестящие волосы, черные блестящие глаза и губы его так близко. Эту минуту она ждала всю жизнь.

— Так вы любите меня, Люка?..

— Люблю, — вздыхает она.

Он обнимает ее голые плечи, притягивает к себе.

— Любите? — и целует ее в губы.

Люка порывисто вздыхает. Она, как испуганная птица, сидит на самом краю дивана. Из-под бального платья смешно выглядывают ноги в коротких, детских чулках. Он целует ее голые, надушенные колени. Губы у него холодные. Шелковое платье шуршит. Она тихо вскрикивает, закрывает глаза и беспомощно опрокидывается на спину, в мягкие подушки...

Тихо, слышно только, как стучит сердце, как шуршит шелк под ее пальцами. Тихо, мучительно, блаженно...

Но ведь это уже было... И эти ледяные губы, и нежные руки, и мучительный, блаженный страх. Только где? Когда? Люка открывает влажные глаза. Слезы текут по щекам. Отчего она плачет? Ведь ей так хорошо... Это уже было. И эта слабость... И этот лунный свет... Но где? Когда?..

— Азраил, — вдруг вспоминает она, — Азраил...

Черные глаза наклоняются над ней.

— Что? Что ты говоришь, Люка?

— Азраил, — повторяет она. — Нет. Не Азраил. Ты — Арсений.

4

Вера проснулась от стука в ухе. Это сердце. Надо лечь на правый бок, чтобы не мешало. Она осторожно поворачивается. Нет, все равно стучит. И на правом боку лежать еще неудобнее, еще тяжелее. Так устала, а не заснуть больше...

— Вам страшно? — спрашивает скрипучий голос над самым ухом.

— Еще бы, — отвечает другой. — Здесь стены в пять сантиметров и крысы без зубов...

— Да, скверный дом...

Вера вздрагивает и открывает глаза. Никого нет. Все тихо...

Сквозь неплотно задернутые шторы слабо светит луна. В темноте вещи кажутся громадными и угловатыми.

Вера приподнимается на локте, оглядывается. Куда она попала?.. Где она?.. Она ощупывает свое лицо, волосы, подушку и садится, сбросив одеяло. Зеленоватый свет луны падает прямо на ее свесившиеся с кровати белые ноги. И, как всегда ночью в темноте, она вспоминает о смерти.

«Я умру. Я скоро умру...»

Она вытягивает ноги вперед, шевелит пальцами. Зеленоватый лунный свет падает прямо на них.

«Мои ножки. Мои бедные ножки. Я буду лежать в земле, и черви будут есть мои белые ножки.»

Она нежно гладит свои колени.

Ей так грустно. Так жаль себя.

«Я умру. Может быть, я уже умерла?..»

Но сердце громко и гулко стучит. И ладони теплые, и колени тоже теплые и гладкие.

«Нет, я жива. Я еще жива...»

Она ложится, закрывает глаза.

«Я еще жива. Но как грустно, как тяжело, как страшно жить...»

5

Арсений провожает Люку до калитки. Темно, и луна на небе бледная, усталая, изнемогающая. Такая же усталая, изнемогающая, как Люка.

Арсений в последний раз целует ее.

— Беги. Я завтра с утра приду.

— Ах, — вздыхает Люка, цепляясь за его рукав. — Я не могу, не хочу. Как я теперь буду одна? Без вас, без тебя? Как?..

И все-таки, не оглядываясь, бежит. Окна никто не закрыл. Люка дома. Она быстро поднимается по темной лестнице, входит к себе. Ставни распахнуты. Усталая, изнемогающая луна слабо освещает комнату. Люка осматривается. Вот здесь жила прежняя Люка. Как это было давно. Неужели она только сегодня слушала Верино пение?.. А теперь вернулась совсем другая, новая Люка.

Она тихо кружится по комнате, длинное широкое платье надувается кринолином. Вместе с ней кружатся стулья, цветы на обоях и бледная луна. Люка останавливается, держась за кровать.

— Ах, я устала, устала, устала, — вздыхает она. — Ах, я счастлива, счастлива, счастлива...

И, сбросив платье и туфли, кидается в кровать. И голова тяжелым камнем сейчас же идет на самое дно сна...

6

Вера просыпается одна в своей белой спальне. Совсем девическая комната, Люке больше подходила бы, чем ей. Все такое свежее, наивное. И на ночном столике маргаритки и плюшевый медведь.

Екатерина Львовна на носках входит к дочери, целует ее.

— Проснулась, Верочка? Хорошо спала? Ты лежи минутку. Я тебе кофе в кровать принесу.

Вера качает головой.

— Нельзя валяться. Ему вредно.

Она зевает, высвобождает из-под одеяла ногу и ставит ее на ковер.

— Правой, — говорит она, улыбаясь, — чтобы целый день быть веселой, а то встанешь с левой ноги...

Екатерина Львовна помогает ей одеваться.

— Мама, мне кажется, что я со вчерашнего дня еще потолстела.

— Ты очень хорошо выглядишь, Верочка. Почти не заметно.

Вера, смеясь, отмахивается.

— Брось, мама, ведь я в зеркало вижу.

Она идет в ванную. Вода, журча, бежит из никелированного крана. В широкое окно видны клумбы с левкоями, высокие серебристые ели и в глубине сада белая беседка. Воздух свежий и прозрачный. Вера намыливает губку. Холодная вода струйками течет по спине. Она вздрагивает и улыбается. Как хорошо, как приятно. Все: и нежная, мыльная пена, и вода, и вид в окне.

Вера вздыхает. Как легко. Вот, кажется, взмахнуть руками, и полетишь над садом прямо в небо. Может быть, даже запоешь как жаворонок. Как легко...

В стене над умывальником зеркало. Вера смотрится в него: «Куда тебе лететь... Тяжелая, неуклюжая, огромная. Стыдись! Но пусть, пусть. А все-таки...» И снова улыбается...

А все-таки... а все-таки ей хорошо, ей легко, она счастлива. И совсем не так, как все люди на земле. Она ведь уже не живет на земле. А где-то вне жизни, в стороне, может быть, над ней, в обла-

ках. И все так хорошо, легко, ясно. Ни страха, ни злобы, ни грусти. Чем дальше, чем ближе «то», тем легче.

Она долго моется, потом надевает белое платье. Надо быть нарядной. Теперь каждый день праздник, каждый день в счет. Разве можно знать, сколько их осталось?.. Но не страшно. Совсем не страшно, только ночью. Днем она храбрая, днем хорошо. Надо достать кушак. Она открывает шкаф. Из него падает газета. Вера поднимает ее: «Матэн», 12 июня 23 года. Какая старая. Вера тогда еще девчонкой была. И никого не знала, ни Арсения, ни Владимира. Она разворачивает газету. Как забавно.

— Верочка, ветчины хочешь?..

Екатерина Львовна вносит кофе. За ней бежит Люка с тарелкой клубники.

Вера плачет, положив голову на стол. Екатерина Львовна с трудом удерживает поднос.

— Ради Бога, что?..

Вера показывает рукой на газету.

— Мамочка, — всхлипывает она. — Я не могу. Ах, я не могу. Мне так жаль... Я прочла сейчас тут... Одного араба к смерти приговорили, а он отдал честь, и поблагодарил судей, и... и сказал... — она сильнее всхлипывает. — «Я всегда был несчастен. В детстве я ел траву. Вкусные козьи сыры были не для меня. Я ел траву». Ах, мама, мне так жаль...

Екатерина Львовна ставит поднос на стол, обнимает дочь.

— Перестань, перестань. Тебе вредно волноваться. И ведь это так давно было...

— А за что казнили его? — интересуется Люка.

— Ах, мама, — плачет Вера. — Я не могу. Какая жестокая жизнь, как несчастны люди. Мне жаль, жаль. Всех жаль. И тебя, и Арсения, и Володю, и Люку, и ее, мою будущую дочку. Мне всех жаль. Ах, я не могу...

— Вера, — Люка дергает сестру за руку. — Не плачь. И пожалуйста, не будь ты такая добрая, а то как масло на солнце растаешь. Я серьезно. Так нельзя. Будешь плакать, всех любить, жалеть и вся добротой изойдешь...

Вера обнимает Люку.

— Что же мне делать, Люкочка? Милая моя Люкочка. Ну, поцелуй меня.

Люка слегка касается Вериной щеки, ей неприятно, что Вера прижимается к ней, она сквозь платье чувствует ее большой живот. Ей противно.

— Я назову ее Людмилой, — уже успокоившись, мечтательно говорит Вера. — В честь тебя. Чтобы она была такая же веселая и хорошенькая, как моя Люка.

Люка осторожно высвобождается.

— Ну, иди играть в сад. Тебе теперь нравится? А помнишь, когда приехали, капризничала. Ведь хорошо здесь, Люка?

— Ужасно хорошо. Я думаю, лучше не бывает...

Вера еще раз целует ее, и Люка убегает. Вера, конечно, бедная, но уж очень с ней скучно.

У себя Люка садится за стол. Надо с кем-нибудь поделиться. Лучше всего написать Жанне письмо.

«Дорогая моя Жанна, — крупным неровным почерком выводит она, — вот я тебе говорила, а ты не верила. Надо только немного подождать, и будешь счастлива. Я уже дождалась и счастлива. Теперь очередь за тобой. И это тоже скоро будет. Я знаю. Я очень счастлива. Вчера ночью...»

Люка задумывается, как описать то, что было вчера ночью, и можно ли описывать... и ведь, в сущности, ничего не было... Это не то, о чем говорила Вера, это другое... Она задумчиво смотрит в окно. По улице идет Арсений, он открывает калитку, входит в сад. Она вскакивает со стула, бежит вниз навстречу ему. Письмо так и остается недописанным.

Вера в кресле у окна шьет маленькую кофточку. В комнате прохладно и тихо, а в саду теперь уже жарко. От жары Вере нехорошо. Она вдевает белую нитку в иголку и шьет маленькими стежками. Надо, чтобы швы совсем не чувствовались, не жали.

В саду между деревьями мелькает Люкино желтое платье и рядом Арсений, Вера улыбается. Ей приятно, что он здесь, в саду, совсем близко, приятно сидеть так одной и шить маленькую кофточку. Совсем не надо, чтобы он непременно всегда был рядом, приятно помолчать и подумать о нем. Пусть он поболтает с Люкой. С нею не соскучится.

Вера, улыбаясь, шьет.

Белая бабочка залетела в окно. Воробьи скачут по дорожке. Теплый ветер шуршит в жасминовом кусте, пробегает по волосам и вниз по голой шее. Теперь уже скоро. А потом... Они будут так же жить на даче. И в таком же саду, может быть в этом самом саду, она, ее дочка, будет играть. Вера сонно закрывает глаза. Вот она, ее маленькая Людмила, сидит на горке песку и блестящей лопаткой сыплет песок в красное ведрышко. У нее светлые волосы, как у

Люки, но глаза черные. В саду шумит ветер. Нет, это не ветер, это маленькие ножки ее дочки бегут по дорожке.

— Мама-Киса, — зовет тонкий голосок.

Вера открывает глаза. И вдруг в ту же минуту чувствует, как что-то шевельнулось в ней. Это ее дочка подала ей знак, постучалась к ней: «Я здесь. Я здесь».

Вера кладет руку на живот и взволнованно прислушивается к легкому стуку — это она, ее Людмилочка, ее дочка....

Вера встает и, тяжело ступая, осторожно спускается в сад. Надо рассказать Арсению. Но где же они?

Сад пуст. Только деревья, голубое небо и солнце. От жары Вере томно, хочется сесть на скамейку, отдохнуть. Но надо найти Арсения, надо ему рассказать.

— Люка! — зовет она. — Арсений Николаевич!

Ответа нет... Вера стоит под деревом. Так хочется его сейчас увидеть. Она поворачивает к дому, идет мимо беседки. Может быть, спрятались туда от солнца? Держась за перила, она взбирается на лесенку. Всего пять ступенек, но она устала. Она, улыбаясь, толкает дверь. Темно. После солнечного света сразу ничего нельзя разобрать. Но они тут, она слышит шорох. И пристально всматривается...

И вдруг видит: Люка лежит на коротком диване, голые ноги свешиваются на пол. Арсений на коленях и голова его у Люкиных голых ног. Что?.. Что это?.. Вера не понимает. Не может, не хочет понять.

— Арсений! — вскрикивает она.

Арсений быстро поворачивается к ней, глаза у него шальные и подлые. И уже нельзя сомневаться.

Вера поднимает руку, словно отталкивая от себя этот взгляд, делает шаг назад, туда, к лестнице, и всей тяжестью опирается о перила. Тонкие перила трещат. И последнее, что она видит — нестерпимо синее, стеклянное небо над головой. И вдруг стеклянное небо трескается. Большие куски синего стекла со звоном и грохотом летят вниз, прямо на землю, прямо на Веру...

7

Веру перенесли в дом. Она лежит на диване в той самой комнате, где только что шила, и на столе у окна все еще белеет маленькая кофточка, а в спинке кресла вколота иголка с длинной извивающейся ниткой.

Люка стоит на пороге и смотрит на сестру. Верины открытые глаза бессмысленно устремлены прямо вверх, в потолок, лицо бледно и неподвижно, запекшиеся губы полуоткрыты. «А-а-а», — ни на минуту не прерывается крик. Неужели это кричит Вера? Разве нельзя ее унять?

Екатерина Львовна и горничная суетятся. Арсений побежал за доктором.

Вера все кричит.

— Сейчас, сейчас, Верочка, подожди. Сейчас, ради Бога, — Екатерина Львовна расстегивает Верино платье, мочит ей лоб холодной водой. — Сейчас, Верочка. Как это случилось, Люка? Отчего?..

— Я не знаю, — растерянно говорит Люка. — Она, кажется, хотела зайти в беседку и оступилась... Я не знаю.

— Верочка, Господи, Верочка, не кричи так...

Наконец доктор. Дверь в гостиную закрывается. Туда нельзя. Люка садится на диван и ждет. Арсений с перекошенным бледным лицом шагает из угла в угол. Люка прижимает руки к груди.

— Арсений, что это было?

Но он только молча отмахивается от нее. А крик все продолжается. Пробегает прислуга с полотенцами.

— Арсений, — спрашивает Люка, — Арсений, я не понимаю. Вера...

Арсений останавливается перед ней, смотрит на нее с ненавистью:

— Отстаньте, — говорит он сквозь зубы, — это из-за вас, из-за вас...

Опять пробегает горничная, неся подушки и простыни. И вдруг становится тихо. Люка вытягивает шею. Слышны только слабые стоны.

Люка осторожно открывает дверь. На полу миска с водой, полотенца, на докторе белый халат, и на белых подушках Верино бледное лицо. Лихорадочные горящие глаза останавливаются на Люке.

— Будь ты проклята! — Верин голос звучит хрипло. — Будь проклята! Будьте вы прокляты!

— Верочка, — ужасается Екатерина Львовна.

— Прокляты, прокляты! — злобно и настойчиво повторяет Вера.

— Верочка...

— Прогони ее, мама! — вдруг вскрикивает Вера. — Не пускай! И к гробу не пускай! Она мне мертвой глаза выткнет! Будь она проклята!

— Уходи, уходи, — Екатерина Львовна испуганно выталкивает Люку и захлопывает дверь.

— Мама, — кричит Вера, — это они убили меня! Она и он! Будь они прокляты! Прогони, прогони его!

— Сейчас, сейчас, Верочка. Не волнуйся. Доктор, скажите, что ей вредно волноваться.

Дверь снова открывается.

— Я прошу вас, — губы Екатерины Львовны дрожат и дергаются. — Уходите сейчас. И никогда... никогда, — она ловит воздух ртом, как рыба на песке, и не может кончить.

— Слушаюсь, — Арсений низко кланяется ей и выходит на террасу.

— Мама...

Но Екатерина Львовна даже не поворачивает головы, как будто Люки вовсе нет.

— Будьте вы прокляты, прокляты! — несется надрывающий хриплый шепот. — Прокляты, прокляты!..

Автомобиль останавливается перед калиткой. Из Парижа приехал доктор. Снова открывают и закрывают дверь, снова горничная пробегает мимо Люки с бельем и горячей водой.

Стоны совсем стихли, и Вериного голоса больше не слышно. Из-под двери тянет неприятный сладковатый запах. От него во рту медный вкус, язык как-то странно распухает, и небо, ставшее тоже медным, уходит далеко вверх. «Хлороформ», — догадывается Люка и с отвращением закрывает рот и нос платком.

И снова автомобиль. Это Володя. Он бежит, спотыкаясь, по саду.

Екатерина Львовна выходит к нему навстречу.

— Вера... — он задыхается. — Вера... жива?

И дверь за ними закрывается.

Люка сидит на диване. Ноги затекли, и голова болит от хлороформа. Но она боится встать, боится двинуться. Она смотрит, не отрываясь, на белую дверь. Это необходимо. Она должна. И нельзя ни на минуту закрыть глаза. Который теперь час? Наверное, уже поздно. Хочется есть, но разве можно думать о еде?

Там, у Веры, зажгли свет, из-под двери желтеет узкая полоска. Люка сидит в темноте на диване. Направо чуть светлеет окно. И за ним, прижавшись к стеклу, чье-то лицо. Люка вздрагивает. Ей страшно. И успокаивает себя — это только кажется. Нет. Черные блестящие глаза смотрят прямо в комнату, прямо на нее, и губы шевелятся, словно зовут: «Люка». Это Арсений. Но Люка делает вид, что не замечает его. Он поднимает руку, тихо стучит в стекло. Какое у него бледное страшное лицо. Люка отворачивается, чтобы не видеть.

Входит Владимир.

— Люка, Люка, вы здесь...

Люка встает, затекшие ноги плохо слушаются, и спина ноет.

— Володя, я здесь. Дайте мне руку.

— Люка, — шепчет он в темноте, сжимая ее пальцы. — Люка, надо молиться. Будем молиться. Вы еще ребенок, у вас чистая душа. Бог вас услышит. Будем молиться, Люка, и она не умрет.

Люка становится рядом с ним на колени.

— Читайте молитвы, Люка. Все, что знаете. Я не умею.

— Отче наш... — читает Люка и, кончив, останавливается.

— Еще, еще. Не так. От всего сердца, Люка. Вы еще ребенок. Бог вас услышит, молитесь.

— Богородица Дева, радуйся, — Люкин голос дрожит. Темно. Владимир плачет, прижимая голову к полу, а если повернуться, за стеклом страшные, блестящие глаза. — Благодатная Мария, Господь с Тобой.

— Господь с Тобой, — тихо повторяет Владимир.

— Я больше не знаю молитв...

— Читайте еще раз. Еще раз. Вас услышит Бог. Только от всего сердца, Люка. От всего сердца, и она не умрет.

— Володя, — зовет Екатерина Львовна, — Вера пришла в себя.

Владимир быстро встает. Люка опять одна в темноте, и только бледное страшное лицо за окном. И вдруг Верин голос, слабый и звенящий:

— Дайте мне ее. Дайте. Ведь это девочка? Да? Я знала, что девочка. Дайте мне ее.

— Сейчас, Верочка. Ее только запеленают, сейчас.

— А глаза у нее светлые? Светлые, как у тебя, Володя? Моя дочка. Где же она? Ах, дайте ее мне, — жалобно просит Вера.

— Сейчас, сейчас. Подожди, Верочка. Ее сейчас принесут.

— Володя, мы уедем втроем к морю. Хорошо? — быстро говорит Вера. — Ты, я и она. Мы с тобой будем плавать. Ты знаешь, я чудно плаваю. А она будет лежат на солнце, на песке. Мама, отчего ты плачешь? Ведь ты теперь бабушка. Как смешно — ты бабушка. Ах, дайте же мне ее. Пусть ее здесь пеленают. Это моя дочка. Мама, мама, какая ты злая. Принеси ее, принеси.

— Сейчас, Верочка, сейчас.

— Куда вы спрятали ее? Ах, дайте ее мне, дайте, — всхлипывает Вера, и опять ее голос, но слов уже нельзя разобрать. Только шепот быстрый и хриплый.

Люка прислоняется к спинке дивана, закрывает глаза. Тихо. Совсем тихо. Даже шепота не слышно. Люка спит...

...Люстра над головой ярко горит. Люка испуганно трет глаза кулаками. Высокий седой старик снимает белый балахон.

— *Votre sœur est morte*, — говорит он.

Люка смотрит на него. Это сон... Это сон. Надо проснуться.

Входит Владимир. Из-под очков струйками бегут слезы, и он не вытирает их.

— Люка... идите проститься.

Люка встает. Значит, правда. Это не сон. В дверях стоит Екатерина Львовна.

— Люке нельзя туда. Потом. Завтра.

Люка боится взглянуть на мать. Ведь Вера сказала: «Не пускай ее прощаться ко мне. Она мне мертвой глаза выткнет».

— Да, нельзя, надо раньше убрать, — соглашается Владимир, и вдруг садится на диван, и плечи его дергаются.

Люка идет к себе наверх, входит в свою комнату. Уже совсем светло. Окно открыто: холодно. Надо закрыть. Она подходит к окну, высовывается в него. Арсений все еще стоит внизу.

— Слушайте, вы, — кричит ему Люка. Он поднимает голову. — Вера умерла.

— Умерла? — растерянно повторяет он. Но она уже закрывает окно. — А ребенок? Ребенок?..

Люка не отвечает. Ребенок?.. Никакого ребенка нет.

Теперь лечь. Она задевает рукой и смахивает со стола лист. Он, тихо кружась, слетает на пол. И почему-то она наклоняется за ним. Это ее письмо к Жанне. Большие черные буквы бросаются ей в глаза: «Я очень счастлива».

8

В зеркалах как-то немного скошенно отражаются свечи, цветы, гроб и синий дым, плывущий под потолком. Над цветами видны только высоко сложенные тонкие, мертвые руки.

Панихида... Екатерина Львовна в черном платье стоит у самого гроба. Свеча дрожит в ее руках, воск каплями падает на пол. Она плачет, лицо опухшее и желтое. Люка смотрит на нее. Неужели эта старуха ее мама? И рядом Володя. Он тоже в черном, и он тоже плачет. А Люка стоит далеко. Позади всех. В своем желтом платье. Никто не позаботился о ее трауре. Никто даже не вспом-

нил о ней за эти два дня. Екатерина Львовна не замечает ее, Владимир ничего не видит.

Сейчас пойдут прощаться. Потом закроют крышку, увезут гроб на кладбище в Париж. Сейчас пойдут прощаться... Люка еще ни разу не подходила к Вере, Люка боится.

«И к гробу не пускай, она мне мертвой глаза выткнет».

Люка не молится. Не смеет молиться. И плакать не смеет.

Вот сейчас, сейчас.

Екатерина Львовна первая подходит к гробу. Владимир поддерживает ее.

— Верочка, — вскрикивает она. — Вера.

Потом кладет голову на плечо Владимира и затихает.

Теперь Люкина очередь, но Люка прячется за чужие спины.

— Идите, — говорит ей какая то дама. — Так надо. Раньше семья.

Люка медленно подходит. Сердце не бьется, и дышать нельзя. Свечи... Лиловые хризантемы... И между ними мертвое, злое лицо Веры. Бледные губы словно шепчут еще: «Будь ты проклята...»

Люка останавливается. Нет, она не посмеет. И вдруг сзади шепот:

— Кто его пустил?.. Какая наглость.

Люка поворачивает голову.

Пламя свечей слабо колышется в синем воздухе. В открытых дверях стоит Арсений. Черные блестящие глаза его смотрят прямо на Веру. В руках розы. И за плечами огромные, черные крылья.

ИЗОЛЬДА

Часть первая

1

«Вот по такому морю плыла Изольда, — Кромюэль закрыл книгу и посмотрел вдаль. — Вот по такому морю плыла Изольда навстречу Тристану».

Небо розовело от близкого заката. Волна набегала на волну. Ветер трепал мохнатые простыни на берегу. Круглые раковины тускло блестели на сером песке. И совсем далеко, на голубом шелковом горизонте, белел парус.

«Вот по такому морю».

Чайка с криком пролетела над головой Кромюэля, почти задев его узким крылом. Он вздрогнул.

«До чего дошло, — подумал он сердито, краснея от стыда. — Вздрагиваю как девчонка. Скоро буду мышей бояться».

Он отбросил книгу и повернулся на спину.

Всему виной Франция. Да, всему виной Франция. Разве он был таким дома?

Он вспомнил зеленые луга Шотландии, замок с большими, квадратными, торжественными комнатами, Итон, где он учился зимой. Там он не вздрагивал. А тут, в Биаррице, какая-то сумасшедшая, веселая и неприличная жизнь. Он так и подумал: неприличная. И вечный шум океана. И раздражающий воздух. И глупые книги. И вечное ожидание, вечное предчувствие любви. Он снова посмотрел вдаль.

Огромное солнце медленно опускалось в розоватые волны. И небо, будто освобождаясь от его тяжести, становилось все легче, все прозрачнее, все бледнее. И кругом все как будто выцвело, стало воздушнее, легче. Высокие башенки купальни расплывались в туманном воздухе, голые скалы поросли тенью, как синим, нежным мхом, серый песок мягко блестел. И даже купающиеся в этом закатном свете в своих блестящих, мокрых трико казались особенными, серебряными людьми, неизвестно откуда пришедшими, неизвестно куда уплывающими.

Песок слабо зашуршал за спиной Кромюэля. Он обернулся. Прямо к нему шла Изольда. Ее широкий, белый плащ развевался по

ветру. Светлые волосы падали ей на плечи. Большие, светлые, прозрачные глаза внимательно смотрели на море, будто ожидая чего-то. Она шла легко и быстро, высоко держа маленькую голову, не шла, а плыла в туманном воздухе.

— Изольда, — прошептал он растерянно, — Изольда.

Она, казалось, услышала и, проходя мимо него, повернула голову и взглянула на него. Кромуэль почувствовал теплый свет на своем лице, словно утреннее солнце ударило ему в глаза, и, вздохнув, закрыл веки. Теплый свет скользнул по его лицу, по плечам и пропал. Он открыл глаза. Изольды уже не было. Кругом все было пусто. Он лежал один на влажном, твердом песке. Ему было холодно. Где же Изольда? Куда она исчезла? Он встал и оглянулся.

В волнах мелькали головы купающихся, но Изольды не было между ними, он узнал бы ее по светлым волосам. Он быстро зашагал по берегу, всматриваясь во встречных, но ее нигде не было. Может быть, ее и вовсе не было, ему только показалось. Да, конечно, ее не было. Откуда такая могла взяться? Не бывает таких. Он слишком долго мечтал об Изольде, слишком долго лежал на солнце. Ему показалось.

Нет, она была, живая. Он еще чувствует ее горячий взгляд, и песок шуршал под ее ногами. Нет, ему не показалось. Неужели он увидел ее, чтобы сейчас же потерять?..

Он шел по берегу широкого, пустынного пляжа. Сердце тяжело и глухо стучало.

«Вздор, — успокаивал он себя. — Не могла же она пропасть. Если не найду ее сегодня, так увижу завтра. Чего я волнуюсь? И какое мне до нее дело?»

Он пожал плечами.

«Какая-то девчонка, — он засунул руки глубоко в карманы и, насвистывая, повернул обратно. — Вздор».

Но в эту минуту кто-то отчаянно крикнул, крик пронесся по берегу, и в ответ на него послышались испуганные голоса.

— Утонула? Кто, кто утонул?

— Девочка утонула.

Люди бежали со всех сторон к тому месту, где только что лежал Кромуэль. И он тоже побежал, еще не понимая ясно, но уже чувствуя тяжесть непоправимого несчастья.

Утонула. Утонула девочка. Она, Изольда, утонула. Он бежал, спотыкаясь, обгоняя бежавших рядом.

— Изольда, Изольда утонула, — повторял он бессмысленно.

Он, задыхаясь, подбежал к толпе, стоявшей кругом, протиснулся, сильно толкнул кого-то и с ужасом наклонился над лежавшей на мокром песке девочкой. Но это была не Изольда. Черные, короткие, мокрые волосы падали ей на лоб, маленький нос странно побелел, лицо было спокойно, как-то особенно спокойно, и даже открытый посиневший рот не нарушал выражения покоя и какой-то особенной ясности и чистоты. Ее черное трико еще не успело просохнуть, и вода стекала с него на песок. Худые, детские ноги были стыдливо сжаты, руки широко раскинулись.

Не Изольда. Кромуэль поднял голову, взглянул на небо, вздохнул и вдруг, чувствуя какое-то радостное освобождение, громко засмеялся. И сейчас же растерянно оглянулся, но никто не слышал его смеха.

— Доктор, доктор, вот доктор!

Господин в сером костюме встал на колени около девочки и прижал ухо к ее мокрой груди. Все смотрели на него. Может быть, еще спасут? Но господин в сером костюме покачал головой и встал, счищая песок с колен.

— Ничего не поможет. Разрыв сердца.

— Умерла? — из-за чьего-то плеча совсем близко вынырнула голова в зеленой резиновой шапке, натянутой на уши.

Большие, светлые глаза сузились от любопытства и ужаса.

— Умерла?

Изольда. Это она. Он нашел ее. Он пододвинулся к ней и взял ее за локоть. Она посмотрела на него все с тем же любопытством и ужасом.

— Умерла? — снова спросила она.

Рука ее дрожала. Она стояла рядом с ним, совсем близко, в ярко-зеленом, еще влажном трико, от волнения поджимая то одну, то другую ногу.

По пляжу со стороны скал бежала женщина. Она бежала быстро и неровно, ее белое платье поднялось на коленях, из-под него были видны розовые подвязки с металлическими пряжками. Туфли на высоких каблуках увязали в песке. Она бежала, выбиваясь из сил, прижимая к груди клубок шерсти с длинными, блестящими спицами, словно в этой шерсти и спицах было все ее спасение.

Толпа расступилась перед ней.

Кромуэль взял Изольду за локоть.

— Пойдемте. Вам не надо этого видеть.

Она покорно дала себя увести.

Около купальни он сел на песок. Она села рядом с ним.

— Ее должны были спасти! Как же ее не спасли? — губы ее дрожали. — Это ужасно.

— Да, это ужасно. А вы осторожно купаетесь? Обещайте мне быть осторожной.

Она не удивилась, что этот незнакомый мальчик просит ее что-то обещать ему.

— Обещаю вам, но ее должны были спасти, — сказала она быстро. — Ей было только двенадцать лет. Она отлично плавала. Отец ее вчера вечером приехал из Парижа.

Она обхватила колени руками. Ногти ее маленьких, загорелых ног были ярко накрашены.

«Зачем это?» — подумал он смутно.

Она все еще смотрела в ту сторону, где лежала мертвая девочка. Он видел только ее голову, обтянутую зеленой шапочкой, и кусок загорелой щеки.

— Это ужасно, — снова заговорила она, но голос ее звучал уже спокойно. — Вы англичанин? — она обернулась к нему. — А я русская. Как вас зовут?

— Кромуэль.

— Кромуэль? Это в честь того? — спросила она, вспоминая что-то, и показала рукой назад, будто там, за ее плечами стояли прошедшие века.

— Да, в честь того.

— Ваши родители, должно быть, хорошо знали историю?

— Должно быть, — он улыбнулся. — А вас как зовут?

— Меня — Лиза.

Он покачал головой.

— Нет, вас зовут Изольда.

— Изольда? Кто это такая?

Он протянул ей книгу.

— Вот тут про вас написано. Возьмите прочтите.

— Про меня? — она открыла книгу и прочла заглавие: «Тристан и Изольда».

— Нет, — сказала она тихо. — Это не про меня. Изольда была королева. Но я все-таки прочту. Спасибо.

Они сидели рядом на песке. Солнце уже совсем зашло.

— Дайте мне папиросу, пожалуйста, — попросила она.

— Вы разве курите?

— Конечно.

Она опрокинулась на спину и скрестила тонкие ноги. Дым от ее папиросы поднимался прямо в небо. Теперь она не была похожа на Изольду. Она скорее походила в своем ярко-зеленом трико на кузнечика.

— Нет, я совсем не королева, — повторила она. — И я очень современная. Что вы так смотрите на меня?

— Пойдите оденьтесь. Уже холодно. Вы простудитесь.

Она сейчас же встала.

— Хорошо, — послушно сказала она. Но ему стало страшно, что он снова потеряет ее.

— Я подожду вас. Что вы делаете вечером? Вас ждут?

— Нет. Но я пойду домой обедать. Я очень голодна.

— Но раз вас не ждут, вы можете поехать обедать со мной. Поедемте. Мой автомобиль тут.

— Автомобиль? Собственный?

— Да. Мне весной подарили за экзамены.

— Какой марки?

— «Бьюик».

— «Бьюик», — повторила она и рассмеялась от удовольствия. — Собственный «Бьюик». Я сейчас.

Она побежала по лестнице купальни, перепрыгивая через ступеньку.

Он остался ждать ее. Мимо медленно пронесли на носилках мертвую девочку.

Кромуэль рассеянно смотрел на носилки, на плачущую женщину. Ведь это его не касается. Это чужое горе, а он нашел Изольду.

Он отвернулся. Конечно, жалко. Ужасно жалко. Но сейчас у него нет жалости. Сейчас он задавлен, оглушен, ослеплен счастьем.

Дверь купальни хлопнула. Из кабинки вышла Лиза. Кромуэль пристально смотрел на ее ноги в шелковых чулках, на ее накрашенные губы и распущенные волосы.

— Нет, вы не Изольда. И напрасно у вас распущенные волосы, раз вы мажетесь.

Она покраснела.

— Я вам не нравлюсь? Дайте мне ваш платок, — она быстро вытерла рот. На платке осталось красное пятно. — Ведь вы англичанин, пуританин, квакер, — она рассмеялась. — Но пусть. Я хочу вам нравиться. Так лучше?

Белое разорванное облако медленно летело по пустому, темному небу. Лиза подняла голову.

— Смотрите, оно совсем будто ангел, — она помолчала немного. — «По небу полуночи ангел летел», — прочла она нараспев. — Вы не понимаете?

Он внимательно смотрел на дорогу, стараясь обогнать автомобили.

— Нет, не понимаю. Это по-русски? Да?

— Вам неинтересно, что это значит? Это русские стихи, но автор их по происхождению был шотландец, как вы.

— Отчего же неинтересно? Но я стихов, даже английских, не люблю.

Лиза сидела рядом с ним. Ветер трепал ее длинные волосы.

— Как пахнут ваши волосы. Они закрывают мне глаза. Я не вижу дороги. Мы ломаем себе шею из-за ваших волос. Не убирайте их, прошу вас. Как они пахнут.

Лиза тихо смеялась.

— Они пахнут морской водой. Мне весело. Я не боюсь.

Они опять замолчали, ее колено касалось его колена. Она прислонилась плечом к его плечу.

— Вот и Биарриц. Неужели мы сейчас расстанемся? Хотите, поедем в Шато Баск?

— Нет, — испугалась она, — Туда нельзя.

— Почему?

— Нельзя. Там поет, — она остановилась. — Там поет моя родственница, — прибавила она смущенно.

Но он был англичанин и не стал расспрашивать.

— Так куда же мы поедем?

— Не знаю. Не в рестораны. Послушайте, хотите на маяк? Влюбленные всегда ездят на маяк. А ведь вы влюблены в меня?

Он серьезно посмотрел на нее.

— Да, я влюблен в вас, Изольда.

— Правда?

Теперь автомобиль медленно ехал по окраинной, темной улице. Было тихо и пусто, и фонари не горели, и дома с закрытыми ставнями казались спящими.

— Вы правда влюблены в меня? Как хорошо, как я рада.

Лицо ее стало задумчивым, почти грустным.

— Но знаете, если вы влюблены в меня, я должна вам сказать. У меня уже есть друг. Он сейчас в Париже.

Кромгуэль отодвинулся.

— Ах, вот как.

Но Лиза быстро взяла его за руку.

— Нет, вы меня не поняли. Это ничего не значит. Вы можете быть влюблены в меня. Вы мне очень нравитесь, — она робко взглянула на него. — Поцелуйте меня.

Он покачал головой.

— Но ведь это ничего не значит. Какой вы глупый. Целоваться так приятно.

Она обняла его шею рукой.

— Поцелуйте меня, пожалуйста.

Автомобиль остановился.

— Вот и маяк.

Он помог ей выйти.

Она пошла рядом с ним, стараясь заглянуть ему в глаза.

— Вы сердитесь? Не сердитесь на меня.

Свет маяка скользнул по ее светлым волосам и бледному лицу, осветил кусок скамейки, чье-то колено и чьи-то губы.

Кромгуэль и Лиза молча шли. Она остановилась на краю. Ветер трепал ее широкую юбку, ее распущенные волосы. Она, немного приоткрыв рот, смотрела на волны печальным, покорным, ожидающим взглядом.

— Вот теперь вы опять похожи на Изольду.

Она не повернулась к нему, как будто не слышала. Ее юбка, как флаг, шумно билась по ветру. Она протянула руки вперед. Ему показалось, что она сейчас взмахнет руками, и ветер унесет ее. Но она беспомощно опустила руки, будто сложила крылья.

— Чем я виновата, — сказала она грустно. — Я ничего не сделала. Пожалуйста, не сердитесь.

— Я не сержусь на вас.

Она протянула ему руку. Он пожал ее холодные пальцы.

— Поцелуйте меня, — жалобно попросила она.

Он нагнулся и поцеловал ее холодные губы. Она глубоко вздохнула и закрыла глаза.

— Я только хотела, чтобы вы знали, что я уже не ребенок, — смущенно сказала она.

Лиза открыла дверь в комнату Николая.

— Коля, Коля, иди кофе пить.

Николай завязывал перед зеркалом галстук. Он недовольно обернулся к сестре.

— Ты когда вчера вернулась?

— Совсем не поздно. И тебе похвалить меня следует, а не дуться. Поздравь меня — у меня собственный автомобиль.

— Откуда?

— В меня влюблен англичанин, у него «Бьюик». Если у него, значит, у меня. Он богатый. Ты бы видел, сколько у него денег в бумажнике.

— Ты не врешь, Лиза?

— Нет. Я тебя сегодня познакомлю с ним, если будешь милый. — Ну идем, — она побежала вперед, перепрыгивая через ступеньки.

Перед белой дверью они остановились.

— Слушай, Коля, не проговорись у нее.

— Ну вот еще.

Лиза постучала и сейчас же, не дожидаясь ответа, вбежала в комнату и прыгнула на кровать.

— Здравствуй, здравствуй, Наташа.

Наталия Владимировна освободила руки из-под кружевных простынь и обняла Лизу.

— Здравствуй, моя птичка. Здравствуй, Коля.

Она нежно поцеловала их обоих. Лиза взмахнула в воздухе ногами и, откинув одеяло, легла в постель рядом с Наталией Владимировной.

— Я хочу спать, спать, — по-детски капризно проговорила она, целуя Наталию Владимировну. — Я хочу спать с мамочкой.

Наталия Владимировна испуганно обернулась. Но дверь была закрыта.

— Можно? Никто, никто не услышит, — крикнул Коля. — И я хочу к тебе, мамочка, — он тоже взобрался на кровать и обхватил мать руками за шею. — Все для Лизы. А мне что останется?

Наталия Владимировна, смеясь, отбивалась от них.

— Тише, тише. Ну, милые, ну, маленькие мои, тише.

Но они, не слушая, целовали и тормошили ее. Горничная внесла кофе. Лиза и Коля уселись на краю постели. Наталия Владимировна налила им кофе.

— Мама, пенки, — капризничала Лиза, и Наталия Владимировна с довольной улыбкой выловила пенку.

— Ну, теперь пей, птичка.

— Мама, дай твой сухарик. Твой вкуснее.

Наталия Владимировна, смеясь, отдала сухарь.

— Ну как, мои маленькие, — она погладила Колю по голове. — Хорошо тебе тут? Много бегаешь? Крабов ловишь?

— Угу, ловлю, — ответил он с полным ртом.

Конечно, следовало бы объяснить маме, что в Биаррице крабов нельзя ловить, оттого что их нет, но мама никогда не бывает на пляже, и в ее представление о том, как ее маленькие дети проводят время на море, непременно входила ловля крабов. Ее маленькие дети, которые ложатся в девять часов вечера и читают сказки Андерсена перед сном. Они все-таки были ужасно большие, ее дети, они ужасно старили ее, и она никогда ни за что не призналась бы, что она их мать. Она их кузина, они сироты. Потому она их и воспитывает.

Лиза потянулась к сахарнице и ударилась о стол.

— Я ушибла локоток, мамочка, больно.

Наталия Владимировна погладила ее руку, подула на нее, поцеловала.

— Не больно, Лизочка, локотку не больно. А гадкий стол мы сейчас стукнем, чтобы он не смел обижать мою Лизочку.

На кресле, возле постели, лежала розовая шелковая рубашка. Лиза взяла ее и, проводя пальцами по нежному, скрипящему шелку, задумалась. Глаза ее сузились от удовольствия.

— Мама, подари, — вдруг нерешительно попросила она.

— Подарить рубашку? Но зачем тебе?

Лиза покраснела.

— Пожалуйста, мне так хочется.

— Но на что? — удивилась Наталия Владимировна. — Кукле платье шить?

— Да, да, — обрадованно подхватила Лиза. — Кукле платье. Такое в оборочках.

— Бери, если хочешь.

В дверь постучали.

— Можно к тебе, Наташа?

Наталия Владимировна быстро, по-заговорщически, взглянула на детей и прижала палец к губам.

— Входи, Таня, — крикнула она.

Вошла Солнцева, подруга Наталии Владимировны.

— Ты не забыла, Наташа, что мы сегодня завтракаем с Грюнфельдом и будет Борис. Он просил передать...

— Потом, — прервала Наталия Владимировна, показывая глазами на Лизу.

— Ах, твоя кузиночка, — Солнцева погладила Лизу по голове. — Какая грациозная, как коточка. Я на твоём месте непременно отдала бы её в балетную школу. С такой мордочкой.

— Вздор, перестань, — Наталия Владимировна недовольно поморщилась. — Лиза кончит лицей и выйдет замуж. Никаких балетов.

— Как хочешь, строгая кузина. Пусть выходит замуж, — Солнцева села в кресло, высоко положив ногу на ногу, и закурила. — Кстати, Лиза, как поживает ваш приятель, тот хорошенький, который на ястребенка похож?

Лиза покраснела.

— Андрей? Он в Париже.

— Жаль. Он прелестный. Да вы, должно быть, сами знаете и влюблены в него.

Наталия Владимировна дернула подружку за рукав.

— Таня, что ты говоришь, ведь Лиза ребенок.

— Ах, оставь, пожалуйста. Посмотри, какие у этого ребенка глаза.

Лиза, будто действительно можно было что-то прочесть в её глазах, быстро опустила ресницы и стала рассматривать узор ковра.

— Он премилый, ваш ястребенок, такой хищный и грустный. Жаль, что молод немного. Сколько ему лет?

— Шестнадцать.

— Да, молод. Вот года через два, — Солнцева рассмеялась и встала, — через два года я непременно постараюсь его отбить у вас. Но к тому времени вы сами его давно бросите, — она поцеловала Наталию Владимировну. — Мне пора. До свидания, Лизочка. До свидания, Коля.

Наталия Владимировна вздохнула.

— Слава Богу, ушла. Ты не слушай, Лизочка, что она говорит. Она сумасшедшая. Как это глупо, только утром я вас какой-нибудь час и вижу, и то всегда мешают.

Внизу затрубил автомобиль. Лиза подбежала к окну.

— Наташа, это Кролик.

— Кролик? Дай мне зеркало, Лизочка. — Наталия Владимировна быстро напудрилась, поправила волосы. — Его только недоста-

вало. С самого утра. Открой ему, Коля. Терпеть не могу, когда он скребется в дверь.

Абрам Викентьевич Рохлин, по прозвищу Кролик, уже шел по саду. Он был очень маленького роста. Его короткие ноги в желтых сапожках неуверенно и осторожно ступали по песку аллеи. Круглые, светлые, выпуклые глаза растерянно и лукаво поблескивали из-под пенсне.

— Можно? Не спит? Не сердится? — спросил он робко.

— Здравствуйте, Кроличек, — Лиза протянула ему руку. — Наташа уже проснулась.

Он вошел как-то боком, держа в руке шляпу и сигару.

— С добрым утром, Наталия Владимировна. Как вы спали?

Наталия Владимировна поудобнее села, опираясь на подушки.

— Ах, это вы, — насмешливо и зло проговорила она. — А вчера почему не были? Принесли?

— Принес, принес, — он осторожно стал доставать бумажник. Сигара упала на пол.

— Не пачкать тут, — Наталия Владимировна нахмурилась. — Сигару выбросьте в окно. Давайте бумажник. Идите, дети, играть.

— Тут не все, — Кролик вытер лоб платком. Его круглое, бритое лицо трусливо сморщилось. — Кажется, сердится. Пронеси, Господи, — прошептал он.

— Идите, дети.

Коля и Лиза вышли. Лиза, громко топая, выбежала на террасу, но, постояв с минуту, повернула обратно и уже на носках вернулась к двери. В замке торчал ключ и ничего не было видно. Лиза приложила ухо к замочной скважине. Наталия Владимировна что-то быстро и сердито говорила. Вдруг что-то хлопнуло. Что это — бумажник полетел в стену или пощечина?

— Ты, ты, ты сама! — пронзительно взвизгнул Кролик высоким бабьим голосом.

Лиза, зажимая рот рукой, чтобы не расхохотаться, выбежала в сад.

— Кролику влетает, — крикнула она, захлебываясь от смеха.

Николай сидел на качелях рядом с Лизиной подругой Одэт. Одэт подняла голову и подозрительно взглянула на Лизу.

— Что это Коля рассказывает? С кем это ты вчера?

Лиза пожала плечами.

— А тебе что? Завидуешь?

— Ничуть не завидую. Только что это за англичанин такой? Откуда взялся?

Лиза подпрыгнула и повернулась на одной ноге.

— Много знать будешь, скоро состаришься.

Одэт обиженно прикусила губу. Лиза дернула ее за рукав.

— Не дуйся. Мы сегодня кутить будем. Я возьму тебя с собой. Сама его и расспросишь. Хочешь?

Одэт кивнула. Брови ее все еще хмурились.

— Ну, улыбнись. Поцелуй ее, Коля, ведь она влюблена в тебя.

— Глупости. Ты все выдумываешь.

— Кромуэль уже ждет нас. Надо снять эту амуницию, — Лиза подняла ногу в коротком чулке и сандалиии. — Идем, Одэт, помоги мне одеться.

— Только не очень мажься, а то с твоими волосами у тебя вид глупый и неприличный, — крикнул им Николай вдогонку.

— Не твое дело, смотри за собой, — огрызнулась Лиза.

Николай остался в саду. Как всегда, когда он оставался один, он думал все о том же: где и как раздобыть деньги. Деньги были нужны, чтобы веселиться. Без денег не стоило жить.

Веселиться — ездить по ресторанам, покупать галстуки, играть в карты. Веселиться — значило жить. Без денег не стоило жить.

Но денег не было. Не считать же деньгами пятьдесят франков, которые он получал на «свой» расходы. Вот Лиза нашла этого англичанина. Надо посмотреть.

Николай оттолкнулся ногой и медленно закачался.

«Возьтятся тоже!» — раздраженно подумал он.

4

Кромуэль ждал их на пляже.

— Это мой брат, а это Одэт, — познакомила Лиза.

Кромуэль сердечно потряс руку Николая, показывая белые зубы.

— Очень рад с вами познакомиться. Прекрасное было купанье сегодня.

— Да, — ответил Николай.

— Я утром играл в теннис.

— Вот как.

— Выиграл 6:2.

Николай старался казаться заинтересованным.

— Завтра поло, — продолжал Кромуэль. — Вы играете?

— Нет.

— А в крикет?

— Нет.

— А в баскетбол?

— Тоже нет.

— Но в футбол, по крайней мере?

— Нет, и в футбол не играю.

На лице Кромгуэля ясно отразилось разочарование.

Но только на одну минуту. Ведь Николай был братом Изольды. Конечно, если бы он был англичанином, но он был братом Изольды, почти таким же загадочным и волшебным существом, как она. Он мог себе позволить не играть в футбол.

Вчетвером поехали в казино. Но Лизу не пустили в игорный зал.

— Детям нельзя.

— Вот с тобой всегда так, — сердился Николай. — Ничего не удается.

Лиза чувствовала себя виноватой.

— Ты можешь идти один или с Одэт. Мы подождем.

— Идти один? — по-русски насмешливо переспросил он. — На какие деньги? И все из-за твоих волос. А я бы непременно выиграл сегодня. Из ресторана тебя тоже выведут. Дождешься.

Они сели на террасу казино. Лакей подошел к ним.

— Мне коктейль, — сказала Лиза. — Какой? Все равно. Только чтобы были соломинки.

Одэт кивнула.

— И мне такой же.

Кромгуэль пил виски.

— Очень хорошая погода сегодня, не так ли! Только жарко немного. Русские, говорят, прекрасные наездники, — ему непременно хотелось сказать что-нибудь приятное Николаю.

Николай рассмеялся.

— Может быть. Но я ни разу в жизни не сидел на лошади.

— Неужели?

Лиза нагнулась к Кромгуэлю.

— Вдвоем гораздо лучше все-таки.

— Да, завтра мы поедем одни.

— Завтра? — Лиза мечтательно оглядела соседний столик. — Кром, очень долго ждать до завтра.

Николай толкнул ее локтем.

— Видишь, опять все на тебя пялятся. Все из-за твоих волос. Лиза дернула плечом.

— Отстань, — и снова нагнулась к Кромуэлю. — Кром, вы ни разу не поцеловали меня сегодня.

Потом вчетвером обедали в большом ресторане. Одэт застенчиво исподлобья рассматривала белые негнущиеся скатерти, цветы и слишком яркие люстры. Лиза спокойно улыбалась. Ей все нравилось. В особенности женщины в вечерних платьях и музыка. Она была довольна и горда. В сущности, ведь это она угощает брата и подругу.

— Ты не стесняйся, — по-русски говорила она Николаю. — Заказывай, что хочешь.

— Нам непременно надо выпить за нашу дружбу. Хотите? — Кромуэль налил всем шампанского. — Только за настоящую дружбу, за дружбу навсегда, на жизнь и на смерть.

Первой чокнулась Лиза.

— Я только на жизнь, — она рассмеялась. — Но на всю жизнь.

Кромуэль протянул стакан к Николаю.

— Тогда мы с вами на смерть.

Николай тоже рассмеялся.

— Шампанское я пью на что угодно, — он чокнулся и выпил. — Весело вам сегодня, друг мой Кромуэль?

— Очень весело, — кивнул Кромуэль.

— Страшно весело, — Лиза забила в ладони.

— Тише, тише. На тебя и так все смотрят.

Лиза потрясла головой.

— Это оттого, что я ни на кого не похожа. Оттого, что я Изольда.

Домой возвращались поздно. Кромуэль правил, сзади сидели Коля и Одэт. На крутом повороте Лиза повернулась к ним.

— Слушайте, вы.

Но они не слышали, они целовались, и Лизе почему-то стало неприятно.

Когда подъехали к дому Одэт, из автомобиля вместе с ней вышел Николай.

— Я провожу ее по саду и приду пешком. Ведь два шага до дому.

— Спокойной ночи, — Кромуэль потряс ему руку. — До завтра. И не забудьте за ночь, что мы друзья.

— Конечно не забуду. Спокойной ночи.

Автомобиль тронулся.

— Еще пять минут, — просил Кромуэль. — Ну до того дома, видите. А потом до трамвая.

Лиза устало и счастливо соглашалась. Так они ездили, пока не рассвело. Лиза вздохнула.

— Как грустно прощаться. Но я совсем сплю. Спокойной ночи, Кром.

Она открыла калитку и вошла в сад. Длинная черная тень метнулась по дорожке.

— Кто там? — испуганно крикнула Лиза.

— Это я, я.

— Вы? Кролик! Что вы тут делаете?

— Я жду, — Кролик сел на скамью. — Я жду Наталию Владимировну.

— Но она теперь, должно быть, поет в Шато Баск. Поезжайте туда.

— Мне нельзя.

— Почему?

— Она запретила. Посиди со мной, Лизочка.

Лиза села рядом с ним.

— Вам не холодно, Кроличек?

— Конечно, холодно. Но пусть, пусть. Простужусь, схвачу воспаление легких, умру, и ей стыдно будет.

Лиза тихо засмеялась.

— Вы не Кролик, а институтка.

Но он не слушал.

— Нет, и стыдно ей не будет. Бесстыжая она. Бесстыжая, жестокая, подлая. Да, подлая. Как она меня измучила, — он вдруг всхлипнул. — Подлая. Она там с любовником, с Борисом этим. А я тут жду. Ах, Лизочка, если бы ты знала, — он громко заплакал, беспомощно вздрагивая.

— Ну, Кроличек, Кроличек, не надо.

Он положил голову на ее плечо, все еще всхлипывая.

Лиза смотрела на его круглое, обвисшее, жалкое лицо. Она знала, ей следовало обидеться за мать. Но он был такой бедный. Он плакал, а Наташа сейчас поет, все слушают ее, любят ее. Он тут, а она далеко.

Лиза обняла его за шею.

— Не надо плакать, — уговаривала она, глядя его редкие волосы, — мой маленький, кругленький, беленький Кроличек. Мой красивый, мой удивительный Кролик.

— Подлая она, подлая, — всхлипывал он.

Лиза вытерла ему щеки своей кружевной юбкой, носового платка, как всегда, не оказалось в кармане. Он постепенно успокаивал-

ся. Теперь он только вздыхал жалобно. Голова его тяжело лежала на Лизином плече.

— Кроличек, я хочу спать. И вам тоже пора.

— Нет, нет, — вдруг быстро заговорил он. — Она не подлая, нет. Она чудная, она добрая, она благородная. Она все смеет. Она гордая. Она царица Савская. Ей молиться надо. Молиться, — он выпрямился, тараща круглые, заплаканные, шальные глаза. — Она святая. Да, святая. Люби ее, Лиза. Чти ее. Я недостойн ее. Разве я смею ее осуждать? Хочется ей любовника иметь, и пусть.

Лизе стало скучно.

— Кроличек, идите домой.

— Домой? Хорошо, — он встал и, не прощаясь, быстро, как шар, покатился по дорожке.

— Ничего не говори ей, — крикнул он, открывая калитку, и покатился дальше.

Лиза взглянула на качающийся легкий месяц, на верхушки сосен, глубоко вздохнула не то от усталости, не то от грусти, и вошла в дом.

«Спать, скорее спать. Уже, наверное, шесть, а Коля еще у Одэт».

Она разделась, легла. В открытое окно тянуло сыростью. Шум деревьев смешивался с глухим шумом океана.

Лиза положила голову на подушку, и ей показалось, что звезды, как большие белые, светящиеся бабочки, кружатся в прозрачном небе.

— Кромгуэль, — прошептала она и улыбнулась, засыпая.

Дверь открылась. Кто-то вошел в сон. В сон и в спальную.

Лиза подняла веки и уставилась на него светлыми отсутствующими глазами.

— Ты не спишь? — спросил неизвестно чей, но очень знакомый голос.

Лиза хотела ответить, но не было сил.

— Что ты так на меня смотришь? Не знаешь, кто я такой?

— Знаю, — прошептала Лиза, сонно шевеля губами.

— Кто же я?.. Андрей?

— Нет. Ты другой.

Сон тяжело давил на лоб, и ничего нельзя было понять.

— Кто же я? Кто? Скажи.

Лиза подняла голову, медленно соображая что-то.

— Ты Николай Николаевич Кофейник, — с трудом проговорила она.

— Кофейник? Прекрасно. Теперь моя фамилия Кофейник. И твоя тоже. Здравствуйте, Елизавета Николаевна Кофейник, — Николай сильно потряс ее руку.

Лиза еще шире открыла глаза. Николай наклонился над ней.

— Проснись, Кофейник.

Какой Кофейник? Что ему нужно от нее? Отчего он смеется?

Лиза протерла глаза. Теперь она совсем очнулась.

— Перестань, Коля. Чему ты?

Но Николай продолжал смеяться.

— Счастье твое, что ты живешь не в средние века. Тебя бы непременно сожгли на костре как ведьму. И правильно сделали бы, ведьма зеленоглазая.

— Я ведьма, а ты кофейник, — она приподнялась и села. — Жили были брат и сестра, кофейник и ведьма. Вот однажды говорит кофейник ведьме: вскипяти меня, — начала она рассказывать и вдруг громко рассмеялась. — Ты прав, я ведьма. Посмотри, какое у меня родимое пятно, — она расстегнула ночную рубашку. Под нежной, детской, едва округленной грудью темнело треугольное коричневое пятно. — Видишь, у ведьм, говорят, всегда отметины были, — она снова легла и натянула одеяло. — А ты где так долго пропадал?

Николай пожал плечами.

— Одэт не отпустила. Надоело.

— Она влюблена в тебя. И понятно. Ты такой хорошенький.

— Это тебе кажется оттого, что я похож на тебя.

— Нет, не оттого. Я влюбилась бы в тебя, если бы ты не был моим братом.

— Ну конечно, ты во всех влюбляешься. Давно ли по Андрею умирала, а теперь этот Кромуэль.

Лиза покраснела.

— Ты ничего не понимаешь.

— Что уж тут понимать. Влюбилась в англичанина.

Лиза трясла головой.

— Нет, нет. Я люблю Андрея. А Кромуэль... Он красивый, веселый. У него автомобиль. Он мне нравится. Но, — она прижала руки к груди. — Ах, я не умею тебе объяснить.

Николай насмешливо улыбнулся.

— Да ты не волнуйся. Мне-то что. Влюбляйся в кого хочешь. Уже шесть часов. Я иду спать и тебе советую.

Он вышел из комнаты и закрыл за собою дверь.

Лиза почувствовала что-то холодное на шее и с криком открыла глаза.

— Что? Что такое?

Было уже совсем светло. Солнце светило в окно. Николай в пижаме стоял возле постели, держа блестящие ножницы в руке.

— Что? — снова спросила Лиза.

— Что? Посмотри на себя в зеркало.

Лиза села на постели, протирая глаза кулаками, и вдруг увидела свои длинные светлые волосы на подушке. Они лежали как-то особенно, сами по себе. Они казались живыми, блестящими змеями, свернувшимися кольцом на солнце. Лиза смотрела на них, еще не понимая, потом подняла руку, потрогала свой затылок.

— Коля, — крикнула она, — как ты мог? Коля, что ты сделал? — слезы потекли по ее щекам.

Он обнял ее.

— Ну, Лизочка, перестань. Так гораздо красивее. Ведь это смешно — длинные волосы.

Она прижалась к его плечу, продолжая плакать.

— Я так гордилась, так любила их. Как ты мог?

— Тебе все равно пришлось бы обстричь. Ты все не хотела, а теперь уже сделано. Скоро будешь взрослой...

— Я никогда не буду взрослой, — сказала она.

Он рассмеялся.

— Не будешь взрослой? Как так?

Но она уткнулась в подушку и громко всхлипывала:

— Зачем? Как ты мог? Зачем ты это сделал?..

Через три дня Лиза писала в Париж: «Милый, милый Андрей, со мной случилось большое несчастье. Коля обрезал мне волосы. Я плакала, хотя мне очень идет. Но мне так жаль. С волосами я была Изольдой. Так меня зовет Кромуэль, английский мальчик, с которым мы познакомились. Это книжка про Изольду, я тебе привезу, ты сам прочтешь. Кромуэль богатый. Мы каждый день кутим и очень веселимся, но мне грустно без тебя. Когда я купаюсь, и соленая вода попадает мне в рот, я всегда вспоминаю, как мы целовались. Я лежу на песке, закрыв глаза, и думаю, что ты — рядом. И так уверена, что протягиваю тебе руку. Тебя нет, и я плачу. Здесь недавно потонула девочка...»

Мать Кромуэля только что вернулась домой.

«Уже три часа. Он давно уже спит», — подумала она, тихо открывая дверь в спальню сына.

Но комната была пуста и кровать не тронута.

«Где же он так поздно?»

Она зажгла свет, села в кресло и взяла журнал.

Она не беспокоилась, мысль о том, что что-нибудь дурное могло случиться с ее сыном, даже не пришла ей в голову.

Она рассеянно перелистывала журнал. Она не читала, она думала. Она думала о своей жизни, о своем муже, убитом на войне. Он был такой большой, белозубый, веселый. Она улыбнулась своим воспоминаниям совсем так же, как улыбалась когда-то мужу. Кром становится удивительно похож на отца. И она с тем же удовольствием, с каким вспоминала сейчас мужа, стала думать о сыне.

Дверь бесшумно открылась, и вошел Кромуэль.

— Как вы поздно, Кром, — она, улыбаясь, отложила журнал. — Хорошо веселились?

Он покраснел.

— Отлично, спасибо.

— Я хотела только дождаться вас, чтобы сказать вам спокойной ночи. Спите спокойно, Кром. Я рада, что вам весело тут.

Она встала и поцеловала сына.

— У меня к вам просьба, мама, — он еще гуще покраснел. — Здесь очень хорошо, но чертовски дорого. — Он сделал ударение на «чертовски». — И мне...

— Разве так уж чертовски? — рассмеялась она. — Вам нужны деньги? Пятьсот франков хватит? — она еще раз поцеловала его и пошла к двери, но на пороге остановилась. — Вы не играете ли в баккара, Кром?

— Нет.

— Пожалуйста, не играйте. Так я вам завтра утром дам деньги.

Он сделал шаг к ней.

— У меня еще просьба. Я хотел бы поехать в Париж в этот вторник, один.

Она покачала головой.

— Нет, милый Кром, вы ведь знаете, что мы едем в Париж через две недели, первого октября. И раньше вы не поедете. Вы уж как-нибудь устройтесь.

И она, кивнув на прощанье, вышла из комнаты.

Было двенадцать часов. Горячее, розовое солнце высоко стояло на блестящем небе. Белые волны вздымались и падали. Купающиеся прыгали, держась за веревку. Из казино заглушенно и взволнованно доносилась музыка.

Лиза лежала рядом с Кромгуэлем на горячем песке.

— Кром, дайте руку. Вам не грустно?

— Грустно? — удивился он.

— Но ведь я уезжаю.

— Да. Но через две недели я буду в Париже.

Она вздохнула и задумалась.

— В две недели может столько случиться. Может быть, через две недели ни Парижа, ни Биаррица не будет. И дороги в Париж не будет. И нас.

Он рассмеялся.

— Ну куда же все денется?

— Исчезнет, рассыплется, улетит. А если все и останется, то ведь так, как сейчас, никогда не будет. Может быть, даже лучше будет, но не так, как сейчас, — она покачала головой. — Нет, и лучше не будет, а хуже. Ведь всегда чем дальше, тем хуже. Разве вы не замечали?

Он ничего не ответил.

Она повернулась на бок и придвинулась к нему, поджимая голые ноги. От ветра ее короткие, светлые волосы поднимались вокруг лица как сияние.

— Ах, Кром, — вздохнула она, — я не хочу уезжать от вас.

Она встала, кутаясь в мохнатый халат, и подошла к самой воде.

— Знаете, я хотела бы уплыть далеко-далеко, выбиться из сил, утонуть. Как, помните, та девочка.

Она смотрела в море.

— Изольда, — тихо позвал он, подходя к ней сзади. — Вы плачете, Изольда?

Она ничего не ответила.

— Я так люблю вас, — сказал он, задыхаясь от волнения. — Не плачьте, Изольда.

Она повернула к нему веселое, улыбающееся лицо.

— Пожалуйста, не раскисайте. Все это вздор, — она сбросила халат на песок. — Ну, кто скорее доплывет до скалы? Раз, два, три, — и, взмахнув руками, смеясь вбежала в море, разбрасывая брызги вокруг себя.

Лиза уезжала в тот же вечер. Кромуэль принес ей на вокзал розы. Одэт — большую плитку шоколада. Лиза прижимала к себе цветы и улыбалась рассеянно, совсем как Наталия Владимировна. Но Наталия Владимировна только казалась рассеянной, ее руки в белых перчатках слегка дрожали и уголки губ дергались.

— Послушай, — говорила она тихо стоявшей рядом Солнцевой. — Где же он? Уже поздно.

— Он сейчас придет. Ведь он обещал ехать с тобой. Не волнуйся. Заметят.

Наталия Владимировна поправила шляпу и снова рассеянно улыбалась провожающим.

— Да, всегда грустно уезжать, — говорила она как на сцене. — Здесь было так хорошо, — она замолчала на минуту, — и я боюсь железнодорожных катастроф.

Лицо ее вдруг стало испуганным. Длинные ресницы замигали, будто она готова заплакать. И сейчас же все стали успокаивать и уговаривать ее.

Она стояла у окна, не слушая, обрывая лепестки цветов.

— Теперь уже он не успеет. Скажи ему, Таня... Лиза, Лиза, садись скорей, — перебила она себя, — сейчас поезд тронется.

— Прощайте, Кром, — Лиза протянула Кромуэлю руку.

— Нет, нет, не прощайте, до свидания, — он поцеловал ее руку. — Ведь только десять дней.

Поезд тронулся. Лиза стояла на площадке рядом с Николаем и, смеясь, махала платком. Наталия Владимировна отвернулась от окна. По щеке ее текла слеза. Лиза испуганно вскрикнула:

— Наташа!

Она уже давно не видела, как плакала мать. Наталия Владимировна нетерпеливо дернула плечом.

— Отстань, — и вошла в купе.

Лиза растерянно посмотрела на брата.

— Отчего она плачет?

— Борис не поехал с ней. Место в ее купе заказано. Кролик нарочно с утренним поездом отправлен, — Николай равнодушно высунулся в окно. — Старалась, а он надул. Ей и обидно, — он рассмеялся. — Ну, идем к себе во второй класс. Достаточно отъехали. Не увидят ее поклонники, как мы с тобой перелезем из спального вагона. Идем.

Но дверь на площадку снова отворилась.

— Лиза, — позвала Наталия Владимировна. — Останься со мной. Ты ляжешь наверху. Место свободно. Я доплачу, ничего. Мне не хочется оставаться одной. А ты, Коля, иди. Спокойной ночи.

Лиза вошла в купе, прижимая к груди цветы. Наталия Владимировна уже сняла шляпу и пальто. Лицо ее было бледно и расстроено.

«Совсем уж она не такая красивая, — неожиданно подумала Лиза. — Я лучше».

— Ложись скорей. И не болтай. У меня голова болит, — Наталия Владимировна поцеловала дочь. — Полезай наверх, птичка.

Лиза разделась и легла на холодные простыни. Как бы только не слететь отсюда вниз. Вот тогда настоящей птичкой будешь. Она придвинулась к стене, положила рядом с собой розы. Молодец этот Борис, что не поехал. Теперь бы она тряслась во втором классе, клевала бы носом, и Николай непременно бы еще толкал ее. А здесь так удобно. Она с удовольствием вытянулась.

— Ну, спи, я тушу. И не шурши, пожалуйста.

Стало почти темно. Только под потолком горел маленький синий фонарик.

Лиза уткнулась лицом в цветы, потом вспомнила о плитке шоколада, засунутой под подушку, достала ее, осторожно разорвала обертку.

«С орехами, самый любимый».

Розы пахли душно и нежно. От сладости шоколада защекотало в горле.

Вагон легко качало. Лиза прислушалась к стуку колес. «Вы куда? Вы куда?» — серьезно и внушительно спрашивали колеса, и рычаги, спеша и перебивая друг друга, отвечали тонкими голосами: «Едем, едем — не доедем, едем, едем, — не доедем».

Лиза вздохнула. Вот она едет. И Кромуэль все дальше и дальше с каждой минутой. Она поцеловала цветы. «Кромуэль, — вздохнула она, — Кром».

Снизу донеслось тихое всхлипывание, заглушенное стуком колес.

Это Наташа плачет. Лиза осторожно свесила голову, посмотрела на мать. Наталия Владимировна лежала, повернувшись к стене. Лица ее не было видно. Только ее белые плечи чуть-чуть вздрагивали.

Лиза снова легла и прижалась щекой к подушке. Цветы все так же душно пахли, и шоколад был такой же вкусный, но Лизины пле-

чи стали чуть-чуть вздрагивать, совсем как плечи Наталии Владимировны.

«Бедная Наташа, — но жалость к матери сейчас же заменилась жалостью к Кромю. — Он теперь уже дома. Ему грустно. Он думает обо мне. Бедный Кром, — вздохнула она, кладя новый кусок шоколада в рот. — Милый, милый Кром. Всегда чем дальше, тем хуже, — вспомнила она свои слова. — Да, правда, чем дальше, тем хуже».

И вдруг сердце ее сжалось от предчувствия чего-то неизбежного, ужасного, ноги похолодели, и стало трудно дышать.

Но колеса стучали все ровнее и ровнее, и веки тяжело опускались на сонные глаза.

9

Лиза проснулась от сильного толчка. Вагон качало и подбрасывало. Паровоз пронзительно и гулко свистел. Лиза приподнялась и огляделась. Где она? И сонно улыбнулась. Она в поезде. Она едет в Париж, к Андрею. Она подтянула теплые колени, подсунула руку под голову. Что-то защекотало ей щеку. Ах да, это цветы. Она оттолкнула их, и они с тихим шелестом упали вниз.

«Ну и пусть. Скоро Париж. А в Париже ее ждет Андрей». Она лежала, улыбаясь. Влажная подушка неприятно прилипла к щеке. Лиза ощупала ее. Отчего подушка мокрая? Неужели она, Лиза, плакала? Неужели это ей только что было грустно и страшно? О чем ей грустить, чего ей бояться? Ведь она едет в Париж и Андрей ждет ее.

Наталия Владимировна тронула ее за плечо.

— Вставай, Лизочка. Подъезжаем.

Лиза села на край дивана, свесив голые ноги вниз.

— Вот мы и доехали без крушения.

Веки Наталии Владимировны припухли.

— Ты плохо спала, Наташа?

— Да, у меня мигрень.

Когда любовник обманывает — это называется мигрень. Надо будет сказать Коле. Лиза поболтала ногами в воздухе.

— А я чудно, чудно спала. И я так рада, что мы вернулись в Париж. Ты тоже рада?

Наталия Владимировна пудрилась перед зеркалом.

— Одевайся скорей, Лиза.

Лиза смотрела в окно. Скоро ли? Скоро ли? Вот стена с огромными черными буквами: Paris.

Лиза забила в ладоши.

— Мама, Париж.

Наталья Владимировна недовольно обернулась.

— Сколько раз говорила тебе, чтобы не называть меня мамой. Возьми зонтики и свои цветы.

Лиза наклонилась над цветами Кромуэля: не стоит брать, они уже завяли — и, оттолкнув их ногой, вышла в коридор.

Поезд остановился. Лиза первая спрыгнула на перрон. Андрей, где Андрей?

Но Андрея не было. Она напрасно осматривала встречающих. Из второго класса вылез Николай, хмурый и заспанный. Он насмешливо поклонился Лизе.

— Хорошо изволили спать, принцесса?

— Отстань.

Втроем сели в такси. В окна бил косой, редкий дождь и блестели зонтики прохожих. Николай поежился.

— Невесело нас встречает Париж. А ты чего раскисла, Лиза? Кажется, могла выспаться.

— У меня голова болит. И у Наташи тоже. Не трещи.

В Отей, в маленьком розовом доме с садом и большими окнами, уже ждали горничная и Кролик.

— Телеграммы нет? — спросила Наталья Владимировна, входя в прихожую.

— Нет.

Наталья Владимировна, не снимая шляпы, молча прошла к себе. Кролик боязливо топтался в гостиной.

— Что же вы? — крикнула она ему. — Звать вас надо.

Лиза переоделась и помылась. Господи, как все это долго.

— Коля, как ты думаешь, отчего он не пришел?

Николай распаковывал чемодан.

— Кто? Кромуэль?

— Какой ты бестолковый — Андрей.

Николай пожал плечами.

— Проспал, должно быть, твой Андрей.

— Проспал? Не мог он проспать.

— Ну тогда под трамвай попал.

Лиза топнула ногой.

— Молчи, слышишь?

Николай рассмеялся.

— Испугала. Ах ты, кошка злая. Ну-ка, пофыркой еще.

Лиза, не слушая его, быстро надела пальто и перчатки.

— Если «она» спросит, скажи, я пошла к Одэт.

— Хорошо, хорошо. Иди, она не спросит. Не до того ей. Она сейчас с Кроликом воюет, а потом или истерику устроит, или к портнихе поедет.

Лиза выбежала на улицу и, не останавливаясь, бегом добежала до угла.

«А вдруг он разлюбил меня? Или умер? — думала она, взбираясь по лестнице. — А вдруг его нет дома?»

Дверь открыла тетка Андрея.

— Лизочка. Вы уже вернулись?

Лиза чинно присела.

— Да, сегодня утром. Коля просил меня взять у Андрея учебник алгебры.

— Входите, входите. Андрюша болен. У него горло болит. Андрюша, к тебе.

Она толкнула дверь, и Лиза увидела Андрея. Он лежал в кровати, покрытый красным одеялом, растрепанные волосы торчали во все стороны, вокруг шеи был завязан клетчатый носок.

«С левой ноги, должно быть», — мелькнуло в Лизиной голове.

Он повернул к ней осунувшееся лицо и густо покраснел.

— Ты, Лиза? Нельзя, нельзя. Уходи. Я приведу себя в порядок.

Лиза протянула ему руку.

— Здравствуй. Я так рада. Я думала...

Он отстранился.

— Подожди. Я встану.

— Ничего, ничего.

— Ну, вы тут разговаривайте, а мне по делам надо.

И тетка вышла.

Лиза смотрела на Андрея, на его взволнованное лицо, на одеяло, свисающее с кровати, на беспорядок в комнате. И от всего этого, оттого, что он болен и встревожен, оттого, что на нем смятая рубашка и все так бедно кругом, сердце ее сжалось от нежности.

Она положила шляпу на стул.

— Андрей, милый, бедный.

— Вот ты какая стриженная. Правда, очень хорошо.

Она села к нему на постель.

— Мы еще не поздоровались.

— Нет, подожди, выйди на минуту. Я оденусь. А то так мне стыдно.

Она обняла его.

— Похудел. И глаза такие грустные. Скучно тебе без меня было?

— Очень.

— И мне. Ах, Андрей, я так хотела поскорей вернуться. А ты такой грустный, — она вздохнула и сказала тихо: — Et <alors,> parce qu'il était toujours triste on l'appela Tristan. Знаешь, это из той книжки, как будто про тебя и про меня. Ты Тристан, а я Изольда.

Андрей сдвинул брови.

— А англичанин?

Лиза покачала головой.

— Никакого англичанина больше нет. Кончено.

— Правда?

Она кивнула.

— Ей-Богу.

Из прихожей раздался голос тетки.

— Я ухожу. Если будут звонить, откройте, Лизочка.

Дверь захлопнулась. Андрей рассмеялся.

— Так мы и откроем, жди. Ну, выйди, Лизочка, я сейчас встану.

Она положила ему руки на плечи.

— Не смей. Ты болен, ты должен лежать в кровати. А чтоб тебе не было стыдно, я сейчас лягу к тебе. Подожди, — она быстро сняла пальто и сбросила туфли. — Ну вот, теперь тебе нечего стыдиться, — она откинула одеяло и легла рядом с ним. — Знаешь, Тристан умирал. Он звал Изольду, она не успела приехать. Она плыла на корабле. А он уже лежал мертвый. И она легла рядом с ним и обняла его и умерла тоже. Закрой глаза. Прижмись ко мне. Молчи. Вот так. Вот так они лежали, мертвые.

Часть вторая

1

Кролик быстро вышел из подъезда. У него был какой-то испуганный, шалый вид. Котелок боком сидел на голове, по щекам текли слезы.

— Пятьдесят франков. Пятьдесят, — повторял он растерянно и удивленно. — Мне. Мне.

Он протянул короткую руку, будто отталкивая от себя что-то и, не вытирая слез, побежал по тротуару. На углу он вдруг остановился, вспомнил, что ждет такси, и повернул обратно.

— В «Клэридж», — сказал он шоферу.

В голове закопошились привычные мысли: «Окно с левой стороны открыто. Надо закрыть. Дурная примета». Но он не закрыл окна. Он только беспомощно дернул головой. Какие уж тут дурные приметы, когда все дурно. Все, все.

— Пятьдесят франков мне. Мне, которого покойный Витте уважал. Сам Витте.

Кролик выпрямился. Голубые круглые глаза блеснули из-за пенсне. Витте. Да и не один Витте. Еще в прошлом году в Лондоне... А теперь — пятьдесят франков.

Он трусливо скосил глаза. «Кем ты был, и кем стал, и что есть у тебя, — прошептал он плаксиво и насмешливо. — Тысячу франков в долг не поверили. Пятьдесят. Без отдачи. Как попрошайке. И что дальше будет? Что будет?» Он втянул шею, словно ожидая удара. Вот и началось. Только этого он и боялся. Притворялся, что все хорошо, что все в порядке. А порядок давно нарушен. С того самого дня, с того самого часа, когда на скачках в Довиле он познакомился с Наталией Владимировной. И уже нет спокойной, стройной жизни, нет твердой почвы под ногами. Под ногами бездны и хляби.

— Бездны и хляби, — повторил он громко и испуганно поднял маленькую ногу в лакированном башмаке, как будто она стояла не на сером коврике, покрывавшем пол автомобиля, а была занесена над отчаянием и смертью, над страшными безднами и хлябями. Над теми безднами, теми хлябями, которых он боялся всю жизнь и которые с грохотом вдруг разверзлись под его ногами.

Автомобиль остановился. Кролик вздрогнул, поправил съехавший на бок котелок, обдернул пиджак и почему-то быстро стал натягивать ярко-желтые перчатки. Потом, стараясь равнодушно и презрительно скривить губы, смело и спокойно вошел в холл «Клэриджа». С тем спокойствием, с той смелостью, с которой укротитель входит в клетку тигра.

— Заплатите шоферу, — небрежно приказал он швейцару.

И швейцар, как тигр, готовый прыгнуть на укротителя, минуту смотрел на него злыми, понимающими глазами, и подстриженные усы его кровожадно топорщились. Потом покорно склонил голову и, приподняв шапку с золотым галуном, пошел исполнять приказание.

А Кролик уже поднимался в широком лифте.

— Проскочило, — прошептал он. Но это было еще не все. Самое мучительное было впереди.

Он поморщился: «Ах, я люблю добро, а всю жизнь хожу по дорогам зла. Ведь я, в сущности, не злой человек. Я шестидесятник. Но как же это? — от жалости к жене защекотало в горле. — Но что же мне делать? А вдруг она не даст, откажет? Не посмеет. Заставлю, — он сжал короткие пальцы в кулак. Заставлю. Хотя в котлетную машинку пущу ее, но заставлю. Хотя в котлетную машинку».

И он громко постучал в дверь.

— Войдите, — крикнул голос жены.

Он остановился на пороге. Жена играла на рояле. Она не повернула головы, но он знал, что она видит его в зеркале.

— Фанни, — начал он, — я хотел попросить вас...

Она продолжала играть, будто его не было в комнате.

— Фанни, послушайте, — он дернул за воротничок, словно воротничок вдруг стал ему узок. — Да перестаньте же хоть на минуту. Я не могу кричать.

Игра сразу оборвалась. Жена обернулась к нему и взглянула на него так же, как только что смотрела на ноты. Выражение ее больших, добрых, выпуклых, как у телки, глаз, не изменилось. Они были так же испуганны. Они стали испуганными, как только Кролик вошел.

— Что? — спросила она тихо.

— Я хотел вас просить. Не можете ли вы...

Ея полное лицо побледнело, ее полные плечи задрожали под черным шерстяным платьем.

— Я хотел вас просить, — он снова дернул за воротник. — Только на три дня, на три дня... — он запнулся. — Дайте мне ваши серьги, — вдруг жалобно попросил он высоким, бабьим голосом.

Она быстро подняла руки к ушам.

— Только на три дня. Я запутался в делах. Пока придут деньги из Берлина. Вы не беспокойтесь, — уже спокойнее говорил он.

Она старалась снять серьги, но пальцы дрожали. Седые пряди волос цеплялись за бриллианты.

— Сейчас, сейчас, — растерянно повторяла она.

— Только на три дня... Вы не волнуйтесь так, Фанни.

Она наконец вынула серьги из ушей и протянула их ему на дрожащей ладони.

Он взял серьги, поцеловал дрожащую руку.

— Спасибо, Фанни. Вы выручили меня. Обедайте без меня. Я вернусь поздно.

И, кивнув на прощание, вышел. В коридоре он остановился.

«Ограбил. Последнее отнял. Что она делает там за дверью? Плачет?»

Ему вдруг захотелось вернуться, встать перед ней на колени, спрятать лицо в ее черной, жесткой юбке и умолять простить его.

Он зажмурился: «Отдам ей серьги. Отдам». Он уже взялся за ручку двери, но в эту минуту за дверью заиграли. Игра была уверенная, спокойная, старательная. Нет, несчастная женщина не могла бы так играть.

Он надел котелок и быстро, как шарик, скатился по лестнице вниз. В такси он с удовольствием закурил сигару. «Хорошо, что хоть Фанни не догадывается, не страдает. Как Наташа обрадуется. А еще минута, и я бы отдал серьги. Размазня. Шестидесятник тоже», — и он насмешливо улыбнулся.

2

Домой Кролик вернулся поздно, когда его жена уже спала в их общей широкой кровати. Он прошел на носках в ванную и зажег электричество. В большом зеркале на стене отразилась его короткая фигура в котелке, с сигарой в руке, с галстуком, немного съехавшим на бок.

Обыкновенно он очень вежливо раскланивался с собой.

— Здравствуйте, Абрам Викентьевич. Как живется вам, как можете? — спрашивал он себя и отвечал, улыбаясь и шаркая ножкой: — Спасибо. Отлично. Всё прыгаем.

Но сегодня он, будто стыдясь себя, быстро отвел глаза и стал открывать никелированные краны.

— Скверно, скверно. Ах, скверно.

Вода шумно бежала в белую ванну. Этот шум, шум бегущей воды всегда вызывал в нем воспоминание Иматры. И сейчас он ясно увидел водопад, с грохотом летящий вниз, сияющий, серебряный, ледяной. Увидел серые сосны, и камни, и себя в студенческой фуражке.

Он разделся, сел в теплую душистую ванну. На минуту стало совсем спокойно, — ни забот, ни стыда, ни страху. Как будто заботы, стыд и страх растворились в этой теплой, душистой воде, отошли куда-то за эти белые, кафельные стены. Тревогу и напряжение сменила блаженная слабость, голова, вдруг ставшая пустой и легкой, склонилась на бок, и веки закрылись.

Сидеть бы так долго, долго, всегда. И чтобы ничего больше не было.

Если вскрыть бритвой вены в ванне? Говорят, это самая приятная смерть. Ничего не почувствуешь, только слабость, только легкость, как сейчас, и умрешь спокойно. И всему конец. Он вздрогнул. «Нет, нет. Я не могу. Это совсем невозможно. У меня нет бритвы», — вспомнил он с облегчением. Он всегда брился в парикмахерской, и дома у него даже безопасной бритвы нет. И слава Богу, что нет.

Вода остыла, стало холодно и тревожно. Он закутался в купальный халат.

«Неправда, — подумал он, — роковые женщины совсем не смуглые с блестящими, как угли, глазами и адскими планами. Такой женщине он не попался бы, с такой справился бы. Нет, роковая женщина светловолосая, сероглазая и беспомощная. Она ничего не любит, ничего не хочет. Она даже не злая. Она безразличная. Разве она обрадовалась сегодня серьгам? А он так надеялся на эти серьги».

Он приподнял одеяло и лег рядом с женой. В темноте смутно белело ее лицо. Длинные пряди волос извивались по подушке, как мокрая морская трава. Он отодвинулся от нее на самый край кровати. Одеяло тяжело легло ему на грудь.

Вот и опять ночь. Ах, как скверно.

Он зажмурился и повернулся на спину. Завтра... Нет, о том, что будет завтра, лучше не думать. Все так запутано, тяжело и скверно.

Он вдруг вспомнил слова своей старой бабушки-еврейки, маленькой, сутулой, вечно кутавшейся в большой клетчатый платок: «Не дай тебе Бог, Абрамчик, перенести все страдания, которые может вынести человек».

Не дай тебе Бог. А вот Бог дал. Не послушался старой бабушки в клетчатом платке. Разве он не перенес уже почти все страдания, которые может вынести человек?

Сквозь неплотно задернутые шторы тонкий лунный луч падал на ковер. Кресло у окна тяжело темнело.

Рояль поблескивал в углу. Было тепло и тихо. Фанни дышала почти неслышно.

Ему стало страшно. Он снова зажмурился. Что впереди? Что еще осталось перенести? Неужели позор, суд, тюрьма? Не думать, не думать. Лежать так на спине и стараться представить себе что-нибудь успокоительное. Звезды. Да, это очень успокоительно. Звездный свет доходит до земли в двести лет. Или вот еще об Египте. Нет, лучше уж о звездах. Но только надо сосредоточиться, чтобы ясно их видеть. Большая Медведица, Кассиопея, Сатурн. Сатурн?

Сколько у него колец? Девять, кажется. Они медленно вращаются. Что значит моя жизнь, мое горе? Что вообще значит человеческая жизнь? Сатурн, Венера.

Рядом что-то тихо зашевелилось. Он повернул голову, с удивлением вглядываясь в темноту. Что это? Разве он не один? Не один, под огромным звездным небом, со своей тоской?

— Фанни, вы не спите?

Шорох перешел в шепот.

— Нет, я не сплю, Абрам Викентьевич.

— Что с вами? Вам приснился дурной сон?

— Нет, я не спала. Я, — всхлинула она, — я знаю. Это вы для нее серьги взяли, — она громко заплакала, как-то по-детски ловя воздух старыми, мокрыми губами. — Я все знаю. Я давно знаю. Еще весной. Я не хотела вам говорить. Но я больше не могу, не могу, не могу.

Он наклонился к ней, протянул руку и коснулся ее голого, горячего плеча. И от этого давно забытого прикосновения сердце его вздрогнуло от нежности и жалости.

— Фанни, Фанни, — в отчаянии зашептал он. — Простите меня. Я негодяй. Я разорил, ограбил вас, Фанни, слушайте. Это еще не самое страшное. Может быть, завтра нас выгонят отсюда на улицу. Как мы будем жить? Я даже не знаю, смогу ли я вас прокормить. И ваша музыка. У вас не будет рояля, Фанни.

Слезы потекли по его дряблым щекам. Он прижался к ее плечу, ища у нее спасения.

— Фанни, я так несчастен. Простите меня, простите.

Но она, не слушая его, всхлипывала.

— Я еще весной знала. И когда вы в Биарриц уехали. Я все молчала, все молчала.

Их слезы, смешиваясь, текли по подушке. Фаннина теплая рука обняла его шею.

— За что? За что? Разве я не была вам верной женой? Разве я не любила вас все эти двадцать лет?

— Я даже не знаю, может быть, вам придется работать. Поймите, у меня ничего не осталось.

— Так любила. Так люблю. За что? И на кого променяли?

Он не слушал. От ее плеча, от ее мягкой руки шло с детства знакомое тепло.

Опухшие от слез веки тихо закрывались, опухшие от слез губы тихо шептали:

— Простите, Фанни, простите.

Уже не было отчаяния и не было боли. Стало тихо, спокойно, легко. Ему казалось, что он лежит рядом уже не с Фанни, не с женой, а с бабушкой, накрывшись ее клетчатый платком, пахнущим корицей и луком. И не Фанни вздыхает и всхлипывает над его ухом, а бабушка поучает его монотонным голосом:

— Человеку врать нельзя. У человека голова маленькая. Он со врет и забудет. Вот лошадь, у нее голова большая. Ей врать можно.

3

Кромуэль спрыгнул с трамвая и завернул за угол. И сразу увидел среди золотых осенних лип розовый дом. Он был маленький, двухэтажный с широкими окнами и террасой.

Сердце Кромуэля сжалось, будто в этом розовом доме его ждало несчастье.

«Не ходить? Вернуться?» — смутно мелькнуло в его голове.

Но это продолжалось только минуту. Он взялся за калитку и взволнованно и радостно взглянул на окно во втором этаже, на ее окно. За этим окном она ждет его. Он позвонил. Прислуга открыла дверь.

— Барышня дома? — спросил он.

Она показала рукой на лестницу.

— Там, наверху.

— Пожалуйста, предупредите барышню.

Но прислуга уже повернулась к нему спиной.

— Некогда мне предупреждать. Идите сами.

Кромуэль остался один в большой, полутемной прихожей. В зеркале отражался букет мохнатых, увядших хризантем. Серое шелковое пальто свешивалось с соломенного кресла. Слабо и пыльно пахло духами. На столе около вазы лежала белая перчатка, казавшаяся белой, отрезанной рукой. Пустые пальцы жалобно поднимались вверх, будто отталкивая или заклиная.

Кромуэль посмотрел на нее. Может быть, эта белая рука отталкивает его, запрещает ему войти. Он улыбнулся, поправил волосы и пошел вглубь к круглой лестнице. Узкое, скошенное окно освещало белые перила и красную дорожку. На одной из ступенек лежала маленькая парчовая туфля. «Как туфелька Сандрильоны, — подумал он. — Кто ее потерял, возвращаясь сегодня ночью с бала? Та красивая дама, которую он видел на вокзале в Биаррице? Или Изольда?»

Из-за двери послышался смех. Кромгуэль постучал.

— Войдите, — крикнула Лиза.

Он толкнул дверь. Комната была низкая, с голубым бобриком на полу. Вечернее солнце заливало ее широкой волной. Лиза сидела на краю низкого дивана.

— Кром! — она вскочила, ее голубое платье метнулось, как бабочка в солнечном воздухе. — Кром, здравствуйте. Ах, как мне весело, — она держала в руке стакан, ее светлые глаза блестели. От ее растрепанных светлых волос как будто шло сияние. — Ах, Кром, как хорошо, что вы пришли, — она рассмеялась и, взмахнув ногами, опрокинулась на спину на диван.

Николай хлопал Кромгуэля по плечу. Андрей поздоровался с ним вежливо, но сухо.

На столе стояла бутылка портвейна. Одэт налила Кромгуэлю вина.

— Пейте, пейте догоняйте нас.

Лиза лежала на диване, раскинув руки.

— Весело, ах, как весело, — повторяла она.

Кромгуэль сел рядом с ней. Ему было, как всегда, немного неловко среди этих слишком веселых, слишком шумных иностранцев. Он считал иностранцами всех, исключая Изольду. Изольда была своя. С моря. Такая же, как и он. Лиза подняла голову.

— Ну а обедать куда поедем?

— В русский ресторан, — крикнула Одэт.

— Я хочу с музыкой, — Лиза села на диван. — Едем сейчас. Я только чулки переодену. Эти вот лопнули, — она показала дырку выше колена. — Достань, Одэт, там, в комодке.

Лиза сняла чулки. Кромгуэль смотрел на ее маленькие ноги с розовыми, налакированными ногтями. Золотистая от загара кожа казалась теплой и нежно блестела на коленях. Кромгуэль покраснел.

Лиза болтала босыми ногами.

— Я очень люблю бегать босиком.

— Да, в Биаррице... — начал Кромгуэль.

Лиза посмотрела на него.

— В Биаррице? Знаете, мне кажется, что это было ужасно давно, что я никогда там не была. Я почти ничего не помню. Только море. Как жаль, что тебя не было с нами, Андрей. Но в будущем году...

Она натянула чулки, застегнула подвязки.

— Теперь туфли и готово.

На голубом бобрике двумя шелковыми, еще теплыми комочками лежали чулки, как только что застреленные маленькие птицы.

— Хоть вы и квакер, Кром, а губы я все-таки накрашу. Ведь здесь Париж.

Одэт суетилась около зеркала.

— Я уже выпила. Видите, у меня блестит нос и никак его не запудрить. Как же я буду еще обедать?

Николай допил бутылку.

— Ну, теперь можно и ехать.

Кромуэль смотрел на все кругом: на бегающую по комнате Лизу, на ее брата, на Одэт, на Андрея — с каким-то странным чувством смущения, радости и беспокойства. Как будто он уже не имел права сидеть здесь, как будто уже не смел слушать Лизин смех. И оттого, что он здесь наверно в последний раз и завтра его не позовут сюда, эта комната и эти люди казались ему необычайными и прелестными. Он смотрел на Лизу, и сердце его тоскливо холодело. Он смотрел на нее не так, будто он сидел тут рядом с ней, а так, будто он уже давно ушел от нее, умер и уже не он сам смотрит, а его душа, улетевшая из его тела, смотрит с неба сквозь потолок, смотрит с отчаянием и страстью, стараясь все увидеть, все запомнить. Только одну минуту. А там — вечность. И уже никогда не увидишь Изольду.

Лиза надела Наташину шляпу и шубку с большим горностаевым воротником.

— Я готова.

Она открыла дверь и выбежала. Кромуэль догнал ее на круглой лестнице. Она стояла у полутемного окна.

— Что же они так долго? — шепотом спросила она.

Он не удивился ее тихому голосу.

— Изольда, я вас люблю, — сказал он так же тихо.

Она вздохнула. Лицо ее стало грустным.

— Ах, зачем это? Не надо больше, — и покачала головой.

Одэт и Андрей шумно спускались с лестницы.

— Что ты, Лиза? То час возишься, а то не можешь минуту подождать.

Они вышли в сад.

— А где же ваш автомобиль? — удивилась Лиза.

Кромуэль покраснел.

— Он в гараже. Мотор испортился.

Лиза поморщилась.

— Как досадно. Терпеть не могу такси. Его скоро починят?

— Да, завтра. Непременно.

...На белой скатерти ваза с гвоздиками и рядом стакан с длинными соломинками. Какой веселый и таинственный свет. Откуда он идет? Из-под зеркал, из-за края потолка и еще откуда-то, неизвестно откуда.

— Жарко, — Лиза сдвигает шляпу на затылок, и от этого у нее сразу совсем детское лицо, как у девочки, набегавшейся в саду. — Весело, — она улыбается.

Одэт пьет шампанское маленькими глотками, запрокинув коротко стриженную голову.

— Да, весело.

Лиза ставит локти на стол.

— Нам очень весело всем вместе. И очень хорошо. Вот кругом все эти люди. Им, наверное, не так весело. Ну, выпьем за нас.

Она чокается с Одэт. Андрей протягивает стакан Кромуэлю, стараясь улыбнуться.

Одэт показывает на него вилкой.

— Ревность, — говорит она по-русски.

Лиза толкает ее:

— Молчи.

Николай что-то подробно рассказывает, но никто не слушает.

Лиза чувствует себя счастливой. Она полузакрывает глаза. Все приятно, — и этот таинственный свет, и эта резкая музыка. Лиза прислушивается. Вот он какой, этот джаз. Веселый, шумный, трещащий, кажется, сейчас лопнет от радости. А где-то там, внизу, горечь, а где-то там печаль. И она слышна. Она пробивается. Вот он какой. Но так и надо. И от этого еще веселее. Голова легко кружилась, и от этого все особенно ясно и понятно. Как будто все чувства, и зрение и слух, вдруг обострились. Она слышит то, что за три столика дама в белом платье говорит своему спутнику:

— Это невозможно. Мы не можем расстаться.

И его ответ:

— Ах, оставь. Я должен ехать.

У дамы в белом такой грустный вид и ресницы дрожат. Слышит ли Одэт? Спросить лень.

А если подумать о прошлом, мысль вдруг уходит треугольником через этот зал, и стену дома, и улицу. И в этом треугольнике все, что нужно, все, о чем думаешь, именно то, о чем вспоминаешь. Вот если о маме. Сразу и испуганный Кролик, и Борис, и мамин голос. И вот тут мама смеется, тут она плачет. И вот она поет «Очи черные». И надевает новые серьги. И все так ясно, и так жаль ее. Только не стоит об этом думать, а то расстроишься. И все ясно.

И жизнь. И любовь. И автомобили, подъезжающие к ресторану там, на улице. И эти две женщины в парчовых накидках, входящие грациозно и небрежно. Бедные. Они думают, что они красивы, что ими все любят. А они смешны. Лизе трудно удержаться, чтобы не рассмеяться им прямо в лицо. Она отворачивается и чувствует, как под столом чья-то рука пожимает ее колено. Чья? Андрей сидит рядом, Кромуэль напротив. Она не старается понять, чья это рука. Ей безразлично. Ей просто приятно. Она улыбается и смотрит вверх на слабо освещенный потолок.

— Как весело, как хорошо.

Она снимает шляпу. Светлые волосы, как сетка, падают ей на глаза. Теперь все как будто в тумане. И еще приятнее.

Как много говорит Николай и Одэт тоже. Слишком много они говорят. Она уже не чувствует руки на колене. Зачем ушла эта рука? Было так хорошо.

Лиза поднимает голову.

— Я хочу танцевать.

Андрей и Кромуэль оба встают. Глаза их встречаются.

Одэт бьет в ладоши.

— Вот вы и соперники. Теперь вам надо драться на дуэли.

Лиза тоже встает.

— С вами, Кром.

Она осторожно выходит из-за столика. Голова кружится, так легко оступиться, упасть.

Вот она в середине зала. Паркет блестит, и кругом все кружится. И Лиза тоже кружится. Как легко танцевать. Ее короткое голубое платье разлетается веером. Ничего, пускай.

Как легко танцевать, как весело, какая прелестная, веселая, грустная музыка. Голова кружится.

— Держите меня крепче. Я упаду. Ах, зачем и кончили. Я хочу еще танцевать.

Они снова усаживаются за столик.

— Теперь с тобой, Андрей, — Лиза улыбается. — Сегодня ужасно весело. Я хочу каждый день так обедать.

В ресторан входит высокий англичанин во фраке. На минуту он останавливается, удивленно и холодно смотрит на Кромуэля, потом идет дальше к свободному столику у окна. Кромуэль краснеет и быстро встает.

— Кром, куда вы? — Лиза берет его за руку.

— Это... это Лесли, мой двоюродный брат. Мне надо с ним поговорить.

Он быстро пробирается к англичанину. Даже уши его краснеют от волнения. Лиза вытягивает шею, хочет услышать, что они говорят. Но музыка оглушительно гремит. И не все ли равно, что скажет этот надутый англичанин.

— Пойдем танцевать, Андрей.

И опять все кружится, и платье развевается веером, и сердце замирает и падает.

Кромгуэль уже сидит за их столиком, все такой же красный, и на тарелке сложенный счет. У Одэт капризное и злое лицо.

— Уже уходить? — Лиза садится на диван. — А я не хочу.

— Надо, Лесли сказал, что пожалуется моей матери и... — Кромгуэль еще больше краснеет.

Лиза пожимает плечами.

— Ну и пусть жалуется.

— Тогда меня пошлют обратно в Лондон.

Лиза вздыхает.

— Как глупо. Было так весело. Надо же было этому английскому черту...

Она встает. Андрей подает ей шубку с горностаевым воротником. Лиза кутается в нее, смотрит в зеркало, качает головой.

— Было так весело.

Она медленно идет к выходу. На нее смотрят. «Какая хорошенькая», — доносится до нее. У выхода она останавливается, поджидая других, и, повернув голову, смотрит на англичанина во фраке.

Он тоже смотрит на нее холодно и возмущенно. Он держит в руке меню, лакей стоит перед ним, почтительно нагнувшись, но англичанин ничего не заказывает, он ждет, чтобы Кромгуэль ушел.

Лиза насмешливо кивает ему, потом вдруг открывает рот и показывает ему язык. Все это произошло так быстро. Она уже идет по холлу. Она успела только услышать, как кто-то в зале захохотал, кто-то зааплодировал ей.

— Ты с ума сошла, — шепчет Одэт.

Андрей берет ее под руку.

— Молодец, Лиза, постояла за нас.

Кромгуэль молчит.

— Куда же мы теперь? — спрашивает Николай.

Одэт размахивает шляпой.

— Дальше, дальше.

На улице холодно. Проезжают автомобили.

— Ну, куда же мы?

Они стоят на улице и смотрят друг на друга. Одэт смеется.

— Куда же мы?

— К сожалению... я... мы... — Кроммуэль путается, — мы никуда не можем ехать.

— Как? Почему?

Кроммуэль не сразу отвечает, словно он что-то обдумывает.

— У меня нет денег, — говорит он тихо.

— Нет денег? — переспрашивает Николай. — Но...

— У меня нет денег, — повторяет Кроммуэль. — Я сейчас истратил последние. Сегодня я заложил автомобиль, и больше взять нигде. И теперь меня еще встретил Лесли.

Николай подходит к нему совсем близко.

— А твоя мать?

— Она не даст мне ни франка до Рождества.

— До Рождества? — Николай насмешливо свистит и разводит руками. — До Рождества.

Лиза кутается в шубку, прячет руки в широкие рукава. Она как будто не слышит, это ее не касается

— Как холодно, — рассеянно говорит она. Никто ей не отвечает. Они все еще стоят на тротуаре.

Николай поднимает воротник пальто.

— Что ж? Надо все-таки домой добраться. Надеюсь, ты нас довезешь?

Кроммуэль кивает.

— Да, да. Конечно, — он останавливает такси. — Нас пять человек. Я лучше сяду с шофером.

Андрей подталкивает его.

— Влезайте. Все поместимся.

Они ехали по темным, пустынным улицам. Все молчали. Кроммуэль смотрит на Лизу.

Сейчас, сейчас ее дом. Она не пригласит его. Даже пяти минут ему не осталось побыть возле нее. Даже пяти минут. Она не пригласит его к себе. Как бы холодно она ни сказала: «Может быть, вы зайдете», даже если она приставит: «Уже поздно», он все-таки пойдет. Только бы еще раз войти в ее дом, в ее комнату. Увидеть ее глаза при свете, сесть рядом с ней на диван.

Она сидела, отвернувшись к окну. Шляпа из белых перышек соскользнула на пол. Кроммуэль поднял ее и положил Лизе на колени. Она даже не повернула головы.

— Тебя тошнит? — спросила Одэт.

Лиза скривила губы.

— Мне отвратительно.

Такси остановилось. Лиза вышла первая. Лицо ее было бледно. Она протянула руку Кромуюэлю.

— До свидания. Вы, наверно, поедете прямо домой. Мы все так устали. Спокойной ночи.

Одэт тоже простилась с Кромуюэлем.

— Спасибо, — сказала она.

— За что? — растерялся он.

— За веселый вечер, — Одэт, улыбаясь, кивнула ему и побежала за Лизой.

Лиза уже поднималась по лестнице. Пола слишком длинной шубы волочилась по ступенькам. Ее светлые волосы тускло блестели. У нее был одновременно и несчастный и царственный вид.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Андрей и Николай вошли в дом. Дверь хлопнула. Кромуюэль остался один, отпустил такси. Лучше пойти пешком. Может не хватить денег.

Кромуюэль стоял один посреди улицы. Что теперь делать? Ах да. Надо идти домой. Нельзя стоять ночью у чужого забора. С шляпой в руках. Как нищий. Он надел шляпу. Надо идти домой. Ведь он знал, что все так будет. Разве не этого он ждал? И все-таки. Она даже не взглянула на него, будто его уже не было. Да, его уже нет. Он уже не существует. Раз он не может развлекать ее и ее друзей. Он шел по тихим, незнакомым улицам. Деревья в садах осторожно шумели. Небо понемногу светлело.

Он вспомнил, как в первый раз увидел Изольду. Какой он был счастливый, пока не знал ее. Какой счастливый, и не понимал.

Он вспомнил песок, и волны, и заход солнца. И вдруг ясно увидел девочку, утонувшую в тот день, ее черное, мокрое трико, тонкие ноги и белое мертвое лицо с закрытыми глазами.

Ему стало жаль ее. В первый раз. Тогда от волнения, от страха за Изольду ему было некогда подумать о ней.

«Бедная, бедная».

У нее было такое милое, такое правдивое и спокойное лицо. Она бы не поступила так, как Изольда. Нет, она была другая.

От жалости его собственное горе вдруг на минуту побледнело. Но только на минуту.

— Изольда, — сказал он громко и заплакал.

«Что же это? — с отчаянием подумал он. — Плачу. Скоро мышей гадать буду».

Он вытер глаза ладонью. Небо стало уже совсем светлое. Серые, легкие облака просвечивали розовым.

Кромгуэль вздохнул, поднял голову и взглянул на небо. Мертвое, бледное, прозрачное лицо утонувшей девочки смотрело на него. Оно было тут, совсем близко. Оно светило перед ним на рассветном, холодеющем парижском небе. Прозрачное, ясное, почти счастливое. От него веяло молчаливым утешением. Бледные губы улыбались ему, и от этой улыбки шло сияние.

Становилось все светлее. Облака таяли в рассветном небе. Лицо стало смутным, неясным. Уже нельзя было разглядеть ни закрытых глаз, ни тонких бровей. Все расплывалось. Осталась только одна улыбка. И вот даже улыбка исчезла. Но на розоватом небе, там, где было лицо мертвой девочки, еще долго дрожало какое-то легкое сияние.

4

Урок кончился. Лиза сняла черный передник. Рядом с ней Одэт, бледная, с кругами у глаз, укладывала книги в портфель. Лиза толкнула ее локтем.

— Ты что такая кислая?

— Скверно. Голова болит.

— На воздухе пройдет. И ты, как придешь домой, съешь соленый огурец.

— Огурец?

— Ну да. Коля всегда ест после кутежа. Сразу пройдет.

Подошла учительница и потрогала лоб Одэт.

— Нет ли у вас жара. Теперь эпидемия гриппа. Вы, наверно, опять играли без пальто. Вы такая неосторожная.

Лиза тихо рассмеялась.

Ученицы, крича и толкаясь, выбежали из класса. В прихожей долго одевались. Лиза натянула синее детское пальто с золотыми пуговицами, не глядя в зеркало, надела круглую детскую шапочку. Тут она девочка, ученица и так и должна себя вести.

Она низко присела перед классной дамой.

— До свидания.

И классная дама благосклонно улыбнулась.

— Если бы все ученицы были такие, как эта маленькая русская. На улице Лиза взяла Одэт под руку.

— Ну как? Легче?

— Немножко.

— Ты только не забудь. Кислый огурец, а если не поможет, десять капель нашатырного спирта.

— Вы домой? — крикнула черная, худая Анжель. — Мы с Жаклин хотим пойти в рыбий музей.

— Рыбий музей? Что это такое?

— А вот увидите.

Жаклин взяла Лизу за плечо.

— Пойдем с нами, — вкрадчиво попросила она. — С тобой все-гда весело. Пойдем, Лиза. Ведь совсем близко тут. У Трокадеро.

Лиза кивнула.

— Ну хорошо, если тебе очень хочется.

Жоржет просунула руку под Лизин локоть.

— Я вчера ходила в зоологический сад смотреть орангутангов. Они такие огромные, грустные, совсем как люди. Мне их очень жаль. А львы смешные. И жирафы есть. А ты, Лиза?

— Мы с Одэт были в кинематографе.

Одэт удивленно подняла брови и глубоко вдохнула сырой осенний воздух.

— Мы видели замечательную картину. Показывали ресторан и дансинг. И все напились и целовались. Очень интересно и неприлично. А потом у одного не было денег, и все вернулись домой, а его оставили перед дверью. Актрисы были прелестные и актеры тоже, — Лиза улыбнулась. — В особенности один, такой черный, немножко похожий на птицу.

У Жаклин заблестели глаза.

— Неприлично. А в кровать ложились?

— Нет, кровати не было. Но под столом брали за колено.

— Да? В каком это кинематографе?

— На Ламотт-Пикэ. Только вчера эта картина шла в последний раз.

— А кончилось хорошо? — вмешалась Анжель.

— Ну конечно. Одна вышла замуж за черного, а вторая за ее брата, и все были счастливы.

Одэт захлопала в ладоши.

— Ах, какая ты милая, Лиза.

— Что это с ней? — удивилась Анжель.

Лиза пожала плечами.

— Жар должно быть. Она жаловалась, что у нее голова болит.

Одэт запрыгала перед ними.

— Ну да, жар. У меня грипп начинается.

Лиза поймала ее за воротник пальто.

— Перестань. Ты похожа на лягушку, когда прыгаешь.

— А ты на ножницы, когда бегаешь.

— Вот тут направо, — Анжель завернула на узкую дорожку, ведущую в грот.

В гроте было сыро и холодно. С каменных неровных стен капала вода.

— Теперь встаньте гуськом, возьмитесь за руки и закройте глаза. Дай мне руку, Одэт. Я поведу вас. Только не открывайте глаз, пока я не скажу «можно», и молчите. Ну, идем.

Они нестройно двинулись, наступая друг другу на ноги и толкаясь как слепые.

— Мне страшно, — прошептала Жаклин.

Анжель сжала ее пальцы.

— Молчи. Теперь направо. Осторожней, здесь выступ.

Анжель остановилась.

— Смотрите, — сказала она громко.

Они открыли глаза. Они стояли в узком, светлом коридоре. С обеих сторон поднимались стеклянные стены, и в зеленоватой прозрачной воде медленно плавали большие рыбы. Электрический свет, проходивший сквозь воду, казался бледным, лунным светом.

— Там змеи! — Одэт вцепилась в Лизин рукав.

— Глупая, это угри.

Черные, блестящие, живые ленты медленно извивались среди зеленых водорослей.

— У-у, противные. Пойдем дальше.

Они были совсем одни. Шаги их звучали гулко и глухо.

— Как странно. Будто мы идем по дну моря, — тихо сказала Лиза. — Как евреи по дну Красного моря, и с обеих сторон вода.

Лиза стояла рядом с Анжель и смотрела на водяную стену. Вода казалась зеленой и холодной и тихо журчала. Большие рыбы тяжело проплывали, медленно шевеля плавниками, их рты широко раскрывались, круглые плоские стеклянные глаза смотрели прямо перед собой невидящим взглядом. Лизе казалось, что стекло сейчас со звоном треснет, из-за него хлынет вода и большие, холодные, скользкие рыбы поплывут по ней, по ее лицу, по ее груди.

Она вздрогнула.

— Смотри, какое лицо у этого, — смеялась Жаклин. — Вот тот, который лежит на дне с красными жабрами. Совсем наш учитель истории. Ему бы только очки.

Лиза смотрела на рыб не отрываясь. От журчащей, зеленоватой воды, от бледного света, от вида этих чудовищных морд и блестящей чешуи, влажного, натопленного воздуха шла какая-то томительная, лунная тяжесть.

Смех Жаклин раздавался словно где-то далеко. Колени стали слабыми. Прислониться бы к стеклянной стене, за которой рыбы. Стоять бы так, но чтобы рядом была не Жаклин, а Андрей. Чтобы он стоял здесь рядом и целовал ее в губы, а она смотрела бы на этих огромных рыб, и чтобы рыбы видели. Стоять так долго, долго и целоваться, пока не закружится голова, и тогда вместе лечь на земляной, влажный пол.

Лиза повернула голову к Одэт.

— Должно быть очень приятно целоваться здесь перед рыбами.

— Целоваться? — переспросила Жоржет. — Разве ты целуешься?

Лиза покачала головой.

— Нет. Но я бы хотела с тем черным, из вчерашней картины.

Жаклин покраснела.

— Мне было бы противно целоваться с мужчиной. Вот с тобой или с Анжель, — она мечтательно улыбнулась. — Я летом жила в Бретани у дяди и спала в одной кровати с моей двоюродной сестрой Симон. Это было очень приятно. В лунные ночи мы всегда целовались.

— Почему в лунные? — удивилась Анжель.

— В лунные ночи мы обе не могли уснуть. И от луны Симон становилась такой бледной и нежной. Мы иногда целовались до самого рассвета.

— А в саду пел соловей? — насмешливо спросила Жоржет.

— Нет, в саду пели лягушки. Они чудно поют летом, — она замолчала на минуту. — Но с мужчиной я не могла бы. Мне противно.

Лиза покачала головой.

— Я не понимаю. Мы тоже часто спали с Одэт в одной кровати, но никогда ничего.

Жаклин еще больше покраснела.

— Мужчины всегда грубы. И они плохо бреются. У них на щеке колючки.

— Это незаметно, когда целуешься, — быстро сказала Одэт.

— А ты почему знаешь?

Одэт застенчиво опустила веки.

— Мне так кажется. А то бы никто не целовался. Ну, идем. Пора домой.

Они вышли на улицу.

Анжель отогнула перчатку и взглянула на часы.

— Целых двадцать пять минут на рыб потратили. Я в прошлый четверг весь Лувр в сорок минут осмотрела. А если бы на мне были туфли на гвоздях, я бы и в полчаса покончила бы с ним.

Лиза кивнула подругам.

— Прощайте. Я на трамвай, — и, подхватив портфель с книгами, побежала к остановке.

5

Лиза открыла своим ключом входную дверь. В большой прихожей было тихо и темно. Она сняла пальто и осторожно, на носках вошла в гостиную. Дверь из спальни Наталии Владимировны стояла широко распахнутой с каким-то сиротливым и пустым видом.

— Наташи нет? — Лиза осторожно заглянула в спальную. С еще не убранной постели свешивались простыни, на кресле лежала смятая шелковая рубашка.

Знакомо и душно пахло духами.

— Ушла, — Лиза разочарованно поморщилась и зевнула во весь рот. — Ужасно хочется спать. И скучно ужасно.

Она поднялась к себе, разложила книги и тетради на столе.

Из соседней комнаты слышался голос Николая.

— Какой идиот. Какой идиот этот Кромгуэль.

— Черт с ним, — раздраженно ответил Андрей.

«Андрей здесь», — Лиза поправила перед зеркалом волосы, обдернула короткое клетчатое платье и вошла к брату.

— Вы так тихо сидите. Я не знала, что вы дома.

Николай сердито курил.

— Дома. Где же нам теперь быть? Теперь успеем насидеться дома. По милости твоего Кромгуэля.

Лиза села в кресло у окна.

— Ну, Коля. Что же ты злишься? Он не виноват, что у него нет больше денег. Ведь он нас два месяца возил.

— Вот я и привык за два месяца. Мне тошно сидеть дома.

Андрей пожал плечами.

— Я даже рад. По крайней мере, не будет он вечно торчать здесь.

— Ах, оставь, пожалуйста, — Николай бросил папиросу на пол. Лизе стало скучно.

— Я пойду готовить уроки.

— И куда торопиться? — Николай посмотрел насмешливо на сестру. — Кажется, ведь никуда вечером не пойдешь.

Лиза села к столу, открыла учебник алгебры. Задача не выходила. Лиза долго билась над ней и наконец решила ее.

— Вот и справилась с тобой, глупая задача. Напрасно ты брыкалась. Сказала, что решу, и решила.

— Обедать! — позвал снизу Николай.

Лиза побежала вниз.

Большая лампа низко спускалась над столом. Тарелки и стаканы криво стояли на помятой скатерти. Вилки и ножи лежали кучей.

— Да, сервировка, — насмешливо сказал Николай. — Это тебе не ресторан.

Лиза села к столу, развернула салфетку. Прислуга толкнула дверь ногой и вошла, неся миску. Лиза разлила суп, потом попросила его.

— Невкусно.

— А ты ешь, не рассуждай, — посоветовал Николай. — Вкусного здесь все равно ничего не получишь.

Лиза отложила ложку. Андрей молча ел, опустив голову.

— Даже пива в этом доме нет, — ворчал Николай.

Мясо оказалось пережаренным.

— Да, это тебе не «Кафе де Пари», — повторил Николай. — Проклятый Кромуэль.

— А на сладкое что?

Прислуга покачала головой.

— Сладкого нет. Барыня сегодня десять франков оставила. И так не знаю, как обед сделала. А вы еще сладкое требуете.

Лиза нетерпеливо дернула плечом.

— Идите на кухню, Даша.

— Может, чаю хотите? Это можно.

— Дайте хоть чаю.

Лиза пересела на диван.

— Что же мы теперь делать будем?

— Что? А ничего, — Николай пожал плечами. — Сиди себе как китайский болван и качай головой. Если хочешь, можешь петь для развлечения:

*Голова моя качается, качается, качается,
И язык мой извивается, вивается, вивается.*

Больше делать нечего.

Андрей размешал сахар в чашке.

— Конечно, не очень забавно.

Лиза подняла голову.

— Но почему? Разве мы не можем сами развлечься? Если надоело сидеть дома, поедем на бульвары, в кафе.

— За семь верст киселя хлебать. А стоит это будет франков пятнадцать с метро. У тебя найдутся пятнадцать франков, Лиза?

Лиза покачала головой.

— Нет.

— Ну так сиди и не двигайся, — он промолчал. — Проклятый Кромгуэль. Денег нет. Автомобиль заложил, а сам мне рассказывал, мать держит деньги в незапертом шкафу и даже не знает, сколько у нее бриллиантов.

Лиза взглянула на брата.

— Ну и что же из этого?

Николай ничего не ответил. Лиза смотрела на небрежный стол, на тарелки с остатками еды, на злое и печальное лицо Андрея. Дверь в темную гостиную осталась открытой. За окном глухо шумели темные деревья.

Андрей зевнул.

— Скучно.

Лиза тоже зевнула.

— Да, скучно. У меня даже переносица начинается болеть от скуки. Спокойной ночи. Я пойду спать.

Она встала.

— Проводи меня наверх, Андрей.

Андрей подложил подушку под голову.

— Лень. Я так удобно лежу.

— Как хочешь. Спокойной ночи.

Она прошла в прихожую и, не зажигая света, стала медленно подниматься по лестнице. Сквозь длинное скошенное окно слабо светила луна. Черные тени качающихся ветвей скользили вверх и вниз по белым ступенькам. Лиза, держась за перила, посмотрела вниз в прихожую. Было темно и тихо. Из-под двери гостиной пробивалась узкая желтая полоса света. Большое зеркало на стене тускло блеснуло. Будто это не зеркало, а вода. И в ней, в этой темной, тихой, лунной воде плавают не тени, а огромные сонные рыбы. Как там, в рыбьем музее. Лизе вдруг снова захотелось, чтобы рядом был Андрей и целовал ее в губы. Долго, долго, пока не закружится голова.

— Андрей, — громко позвала она, — Андрей.

— А, что тебе? — лениво отозвался Андрей из столовой.

— Ничего, ничего, — крикнула Лиза. — Спокойной ночи. — И прислушалась, не идет ли он. Но все было тихо. Тогда она вздохнула и, чувствуя, как вдруг стало неудобно дышать от боли в горле, медленно вошла к себе.

— Неужели это любовь? — подумала она, запирая дверь на ключ. — Стоит ли жить, если это любовь?

Она разделась, сняла голубую бархатную покрывалку с дивана, легла и натянула одеяло.

Скорей бы заснуть.

Диван показался слишком широким, шире, чем всегда. Тяжелые, холодные простыни давили грудь. Лечь бы поперек, может быть удобнее будет. Но двинуться было трудно. Она лежала, прижавшись щекой к холодной подушке.

Отчего так грустно? Ведь ничего особенного не случилось. Андрей? Но завтра он будет опять влюбленным и нежным. Что же тогда?

Все хорошо, все отлично. Но тревога росла. Что же это?

Разве ей не хорошо? Разве она не весело живет? Такая хорошенькая, все влюблены, и в школе первая ученица. Чего же еще? Сегодня было скучно оттого, что вчера слишком много выпили. А завтра опять будет весело. И все, все хорошо.

Но сердце билось громко и тяжело. Что же это? Что? Кровь медленно и тяжело струилась по телу, и горло сжималось от тревоги и страха. Она открыла глаза. Сквозь шторы тускло светила луна. Она взглянула на стол, на учебники, на свое платье, висевшее на стуле. Все было такое обыкновенное, как всегда. Прочное, знакомое. «Завтра пойду в лицей, могут вызвать по географии, — нарочно думала она об успокоительных, детских вещах. — Пойдем играть в теннис с Одэт».

Но тревога все росла, от страха холодели ноги. Что же это такое?

Страх все рос. Он стоял тут, около кровати, он наваливался на грудь, и уже почти нельзя было дышать. И вдруг чей-то тонкий, вкрадчивый, колючий голос пропел, точно комар, над самым ухом.

— Бедная, бедная, бедная. Что с нею будет? Что ее ждет? А она спит, а она не знает.

Лиза с трудом отбросила одеяло, пошарила рукой по стене и зажгла свет.

— Что с нею будет? — повторила она. — Все будет хорошо. Кончу лицей, выйду замуж за Андрея. А теперь надо спать.

Она щелкнула выключателем и снова положила голову на подушку. Но тревога и страх не проходили!

— Уснуть, уснуть и завтра проснуться веселой, — прошептала она.

Ей показалось, что диван медленно поднялся и снова опустился. «Как на американских горах, — подумала она. — Засыпаю. Скорей бы, скорей». И чтобы вызвать сон, стала представлять себе стадо баранов на берегу реки. «Вот я беру одного за рога и веду его через мост, вот я беру второго за рога...»

Стало неприятно, душно, рука неудобно давила щеку. Только не двигаться. Сейчас пройдет, сейчас засну. Река вдруг поднялась кверху, выросла, как гора, белые рогатые бараны быстро заплывали в зеленой воде. «Рыбы, — с трудом подумала Лиза и с блаженством и освобождением прошептала: — Сплю».

6

Кролик сидел в ресторане за столиком и ждал Наталию Владимировну. Была уже половина второго, она обещала приехать в час, и Кролик волновался. Он был все такой же, не изменился, только теперь в зубах торчала не сигара, а трубка, котелок был запылен и вместо шубы с бобровым воротником на нем было летнее короткое пальто.

В кармане у Кролика лежали триста франков, доставшиеся с таким трудом.

— Сто франков завтрак, двести — ей.

Все из-за нее. Из-за Наташи. И хотя бы она чувствовала. О, тогда все было бы совсем, совсем другое. Но она бессердечная. Ей все равно. Она даже не замечает. Он с ненавистью смотрел на клетчатую скатерть, на низкие четырехугольные окошки, на стены, разрисованные овечками и поросятами, на весь этот фальшиво-нормандский стиль. В сущности, ему не за что было ненавидеть этот ресторан. Ненависть его относилась к Наташе. Ее он ненавидел. Ее и себя. Ее за то, что она довела его до позора и нищеты, он так и думал: «позора и нищеты». Себя за то, что позволил довести себя до этого.

Лакей во второй раз подошел с карточкой. Кролик раздраженно махнул на него рукой.

— Я жду даму, — и отвернулся.

Но лакей почтительно нагнулся к нему.

— Господин Рохлин, вас просят к телефону.

— Меня?

Кролик вскочил.

— Где у вас телефон? Где?

Голос Наташи громко и резко проговорил в трубку.

— Это вы? Я не могу приехать завтракать.

— Но... Но почему?

— Не могу, — в трубке что-то щелкнуло.

— Наталия Владимировна, Наташа, — визгливо крикнул Кролик.

Ответа не было. Он еще подождал, потом вызвал ее номер.

— Барыни нет дома, — ответила прислуга. — Барыня уехала час тому назад.

Он бросил трубку и почти подбежал к своему столику, рванул с вешалки пальто, надел боком пыльный котелок и, ничего не говоря, покатился к выходу мимо удивленного и осуждающего лакея.

«Найти ее, найти», — несло в его голове.

7

В этот день Лиза рано вернулась из лицея. Дома никого не было — ни Наташи, ни Коли, ни даже прислуги.

Лиза прошла к себе, села на голубой диван. За окном мокрые рыжие листья тихо кружились и падали, как мертвые, мокрые бабочки. Тонкие, черные ветви деревьев жалобно дрожали. Косой дождь длинными струйками сбегал по окну. Сквозь мокрое блестящее стекло этот знакомый вид казался каким-то особенным, жестоким и безнадежным.

Лиза вздохнула. Как грустно сидеть совсем одной в пустом доме. И даже на улице нет никого. Совсем одна. Как на необитаемом острове.

Она протянула руку, взяла книгу с полки. «Бесы». Читала уже. Ну, все равно.

Она подтянула под себя ноги и наклонилась над книгой.

— «Путешественница», — прочла она название главы. — Это когда к Шатову возвращается жена, — вспомнила она. — Кажется интересно.

Она читала долго. Потом вдруг подняла голову.

— Николай Ставрогин — подлец, — сказала она громко, и слезы потекли из ее глаз. — Господи, как хорошо! Как можно так писать. Как я раньше не понимала.

Она прижала руки к груди.

Все сразу изменилось. Вся жизнь и сама она, Лиза. Жизнь была прекрасной и страшной, душераздирающей и пронзительной, и сама она, Лиза, была взрослой женщиной, а не девочкой, как только что. Взрослой женщиной, впервые плакавшей от жалости, восторга и доброты.

— Ах, как хорошо!

Лиза встала на колени и еще сильнее заплакала, прижимаясь лицом к шелковой ручке кресла.

Сердце разрывалось от благодарности, от избытка любви. В голове неслись путаные, не совсем понятные мысли, и руки дрожали.

«Надо, необходимо сделать что-то. Но что? Не для себя, для других. Вот, броситься под поезд, войти в клетку к тигру, пожертвовать собой, погибнуть. Погибнуть».

Она сжала руки. «Да, да. Не для себя, для других. Ей ничего не надо, только бы другие были счастливы». Она подняла книгу с пола и поцеловала ее.

— Спасибо вам, Достоевский, спасибо вам, — сказала она громко и вытерла глаза, чтобы слезы не мешали читать.

В тишине щелкнул замок, прозвучали чьи-то быстрые шаги.

Лиза прислушалась.

«Наташа вернулась».

Она положила книгу на стол, сбежала вниз и постучала в запертую дверь спальни.

— Пусти меня, Наташа.

— Потом, Лизочка. Я занята, — ответила Наталия Владимировна каким-то задыхающимся, охрипшим голосом.

Что с ней? Лиза на носках прошла в шкафную. Стеклопанная дверь, ведущая в спальную, была завешана густой кисеей. Лиза осторожно отодвинула кисею.

Наталия Владимировна сидела на кровати. Черно-бурая лисица свисала с ее плеча. Шляпа, туфли и перчатки лежали тут же на ковре.

Лица ее не было видно. Но ей должно быть было очень грустно. Она должно быть плакала.

Стеклопанная лисица смотрела прямо на свою хозяйку. И с каждой секундой у лисицы становилась все более грустная, все более унылая морда. Вот-вот она жалобно заскулит.

Наталия Владимировна повернула голову. Свет упал на ее бледное, несчастное лицо. Из больших подведенных глаз медленно текли слезы.

Лиза испуганно смотрела на нее. Никогда еще она не казалась ей такой жалкой, такой близкой.

— Мама, — с отчаянием прошептала она, будто только впервые поняв, что эта красивая, несчастная женщина ее мать. — Мама.

Ей захотелось войти, броситься к матери, утешить ее.

Она еще не знала, что скажет. Но неужели всей ее нежности, всей ее любви недостаточно, чтобы утешить мать.

Лиза уже взялась за ручку двери, но в прихожей позвонили.

«Даши нет», — вспомнила она и побежала открывать.

Солнцева в красном непромокаемом пальто быстро вошла.

— Лизочка? Какой дождь. Наташа дома?

Лиза враждебно оглядела ее.

— Дома. Только я не знаю...

Но Солнцева не слушала. Она быстро закрыла зонтик и отряхнулась, как мокрая болонка.

— В спальней? — спросила она и, не дожидаясь ответа, прошла вперед.

Лиза растерянно смотрела ей вслед.

«Меня не впустила. Неужели ее впустит?»

Солнцева уже стучала в дверь.

— Это я, Таня.

Ключ сейчас же щелкнул в замке и всхлипывающий голос сказал:

— Как хорошо, что ты пришла.

Лиза стиснула зубы от обиды.

«Ей рада, а меня прогнала. Мне нельзя туда. Я чужая ей».

Она снова пробралась в шкафную и, отодвинув кисейную занавеску, стала смотреть, что делается в спальней.

Теперь Солнцева сидела на кровати рядом с Наталией Владимировной.

— Успокойся, успокойся, Наташа.

Наталия Владимировна всхлипывала, прижимаясь лбом к плечу подруги.

— Он сказал мне: «На что ты мне. Старая, без денег. Таких, как ты, не любят».

— Наташа, перестань. Не говори о нем. Забудь его.

— Забыть. Разве я могу его забыть? Я его люблю. Он отвратительный, он глупый, он злой. Он мне говорит: «Убирайся». Он меня сегодня по морде.

Лиза тихо ахнула за занавеской и прижала руки к груди.

«Маму, мою маму».

От ненависти к Борису, от жалости к матери вдруг зазвенело в ушах, и все закружилось. Лиза схватилась рукой за занавеску.

А Наталия Владимировна быстро говорила, блестя глазами.

— Я не могу, не могу, не могу без него.

Волосы упали ей на лоб, и она нетерпеливо откинула их.

— Ему нужны деньги. Но откуда мне взять? И ему всегда мало.

— Ты должна его бросить, Наташа. Иначе тебе конец.

— Конец, — она встряхнула головой, и волосы снова упали ей на глаза. — Ну и пускай, пускай конец. С ним или без него мне все равно конец. Я это поняла сегодня, когда он меня ударил. Знаешь, я его еще больше полюбила.

Снова резко и протяжно зазвенел звонок, Лиза побежала в прихожую.

«Неужели это Борис? Неужели он посмел?»

Лиза отперла дверь.

— Кролик? — вскрикнула она. — Кролик, что с вами? Что случилось?

Перед ней стоял Кролик. Дождь ручьями стекал с его котелка на измятое, промокшее пальто. Круглые, голубые фарфоровые глаза шало смотрели сквозь мокрые стекла пенсне.

Он пошевелил губами.

— Наташа, Наталья Владимировна дома? — с трудом проговорил он.

— Дома. Но она, кажется, нездорова. Что же вы стоите под дождем? Войдите, я сейчас спрошу.

Кролик махнул рукой, не двигаясь с места.

— Позовите ее. Скажите, необходимо.

— Сейчас. Но вы войдите. Такой дождь, вы простудитесь.

— Скажите, необходимо, — повторил он и, будто чувствуя страшную усталость, закрыл глаза и прислонился к мокрой стенке.

Лиза без стука вбежала в спальню.

— Наташа, там под дождем Кролик. Совсем сумасшедший, страшный.

Наталья Владимировна раздраженно пожала плечами.

— Этому еще что нужно? Пойди прогони его, Таня. Скажи, что я больна, что у меня жар.

Лиза осталась одна с матерью. Ей хотелось встать на колени, поцеловать маленькие, босые ноги, так беспомощно свесившиеся с кровати, но она не смела. Она только молча погладила холодную руку матери.

— Что, Лизочка? — рассеянно спросила Наталья Владимировна.

Лиза хотела ответить, объяснить, но Солнцева уже входила.

— Тебе непременно надо ехать. Он совсем сумасшедший. Стоит под дождем. Бог знает, что он может наделать.

— Ты говоришь, надо ехать?

— Непременно.

Наталья Владимировна послушно встала, подняла шляпу с пола и, не глядя в зеркало, надела ее. Потом села в кресло, натянула чулки.

— Он такой страшный. Я испугалась, — говорила Солнцева.

Наталья Владимировна молча накинула шубу и заправила волосы под шляпу.

— До свидания, Таня. До свидания, Лизочка.

На пороге она остановилась.

— Ах, как я устала.

Лиза обняла мать и вдруг, сама не понимая, что делает, перекрестила ее.

— Что это? Зачем? — удивилась та и, запахивая шубу, медленно вышла в прихожую. — Довольны? Добились своего? — изменившись злым голосом сказала она.

Кролик крепко взял ее под руку, будто боялся, что она убежит.

— Такси ждет.

Она протянула ему зонтик.

— Откройте.

Они спустились по мокрым ступенькам в мокрый сад. Кролик судорожно держал в вытянутой руке зонтик, балансируя и скользя по мокрой земле, как канатная танцовщица. Они сели в такси.

— Отодвиньтесь. Вы мокрый.

Наталья Владимировна спрятала лицо в широкий меховой воротник. Кролик молчал. Такси остановилось перед маленьким отелем с мигающей вывеской. Она подняла брови.

— Это еще что? Куда вы меня привезли?

— Идем.

Она пожала плечами.

— Вертеп какой-то.

Она брезгливо ждала, пока Кролик вел переговоры с слугой.

— Комната 25. Третий этаж. Лифт не действует.

— Этого не хватало. Ну, все равно. Только поскорей!

Она запахнула шубу и стала быстро подниматься. За ней, тяжело дыша, бежал Кролик.

На площадке он остановился, переводя дыхание.

— Тут.

Слуга стал деловито снимать пикейное одеяло с кровати.

— Не надо. — Кролик махнул на него рукой. — Идите.

Ключ щелкнул в замке. Кролик повернулся к Наталии Владимировне.

— Теперь, — сказал он.

Она стояла перед ним в черной шубе, усталая и несчастная. Из-под шляпы выбивались незавитые пряди. Глаза смотрели зло и равнодушно. Бледные ненамазанные губы презрительно кривились.

— Теперь? — повторила она брезгливо.

«Да ведь она некрасива, как я не замечал, — вдруг подумал он. — Из-за этой некрасивой женщины я так мучился и умру. Она некрасива, — он хотел ухватиться за эту мысль, как за спасительный круг. — Она некрасива, и значит я напрасно мучился. Она — некрасива, и тогда не надо...»

Он пристально и жадно смотрел на нее. Она некрасива, и значит он свободен. Он может открыть дверь и уйти и никогда больше не вспоминать о ней. Он свободен, раз она некрасива.

— Что же? — спросила она. — Мы так и будем стоять, мы так и будем молчать? Для этого вы меня сюда притащили?

От звука ее резкого, злого голоса сердце Кролика задрожало знакомой рабской дрожью.

«Свободен? Нет, он не свободен. Пусть она некрасива, пусть, это ничего не меняет. Надо кончать, — вспомнил он. — Ведь он решил это еще там, в ресторане. Надо кончать».

Он расстегнул пальто неслушающимися пальцами, засунул руку в карман.

— Я убью тебя, — крикнул он визгливо и навел на нее револьвер.

Она не двинулась, она удивленно смотрела на него, и в глазах ее не было страха.

— Что же? Убей меня, — вдруг тихо сказала она. — Убей меня!

Она распахнула шубу на груди и подняла голову, чтобы ему легче было целиться.

Если бы она испугалась, если бы она протянула руки, если бы она отступила на шаг, он выстрелил бы. Но она стояла не шевелясь.

«Почти в упор, — смутно подумал он, — прямо в сердце. А потом себя».

Но рука дрожала, и пальцы стали вялыми и слабыми.

Он опустил голову, револьвер со стуком упал на пол.

— Не могу, — сказал он глухо.

— Не можешь? Жаль... — она устало села в кресло. Распахнувшаяся шуба спадала с ее худых плеч, руки в белых перчатках уста-

ло лежали на коленях. Они не зажгли света, когда вошли. В комнате почти совсем стемнело. Она прислонилась к стене, закрыла глаза. Бледное лицо ее было несчастным и жалким.

— Наташа, — позвал он. — Наташа.

— Что? — спросила она, не открывая глаз.

— Наташа, Наташа... — плечи его вздрогнули, и слезы струей побежали из-под стекол пенсне. — Прости, прости меня, Наташа... Я так люблю тебя, прости меня... Я так несчастен...

Она протянула ему руку в белой перчатке.

— Я не сержусь. Я тоже несчастна.

Он не взял ее руки.

— Нет, нет, — зашептал он, вытирая слезы ладонью. — Нет. Подожди. Я хочу не так... Я хочу, чтобы ты обрадовалась.

Она покачала головой.

— Чему я могу обрадоваться?

Он торопливо вынул чековую книжку. Слезы мешали ему.

— Что я делаю? — испуганно мелькнуло в голове. — Ах, все равно, все равно. Ведь я через час застрелюсь.

Он уже держал стило в руке.

— Двадцать тысяч. Нет, нет, все тридцать пять, — он вытер глаза и четко вывел цифру на чеке.

Теперь конец. Теперь больше жить нельзя. Конец.

Она сидела все так же. Она, казалось, забыла о нем.

— Наташа, — позвал он жалобно, — Наташа, вот, возьми.

Она удивленно посмотрела на бумажку, белевшую у него в руках, потом взяла ее и, нагнувшись, стала рассматривать.

Ее рука в белой перчатке задрожала, брови поднялись. В темноте было видно, как заблестели ее глаза.

— Кролик, ах, Кроличек, спасибо. Мне как раз ужасно нужны деньги.

Голос ее зазвенел от радости.

— Спасибо, Кроличек.

Она улыбнулась, и ему показалось, что ее бледное, прозрачное лицо слабо светится в темноте.

Он почувствовал укол в сердце. И сразу вспомнил, как еще в Ковно, еще в детстве, в комнату за часовым магазином вечером вносили зажженную лампу. Не такую, как теперь, а настоящую керосиновую лампу, женственную, стройную и прекрасную. Сквозь белый матовый колпак шел нежный, белый, волшебный свет. И ничего на свете не было красивей этой лампы.

Он весь затрясся.

— Наташа, это я свою кровь тебе отдаю, это я свою жизнь отдаю тебе, Наташа. Ты знаешь, какие это деньги? Это чужие деньги. Это нефтяные деньги, — с ужасом шептал он.

— Чужие? Тогда не надо, — она достала чек из сумочки. — Возьми, разорви.

— Оставь, оставь. Это твое. Не спорь.

Он стащил с себя мокрое пальто, бросил котелок на стол.

— Наташа, я хочу, чтобы ты была счастлива. Ну, улыбнись еще раз. Улыбнись мне.

Он встал перед ней на колени и медленно, с мучительной нежностью припал губами к ее ногам.

«Как жаба, которую долго мучили, долго кололи булавками и наконец дали капельку воды», — подумала она и от жалости и от вращения закрыла глаза.

8

Лиза осталась одна в прихожей. Так она и не успела поговорить с мамой. Но ничего. Даже лучше. Она все обдумает, и когда мама вернется...

— Мама, мама, мамочка, — она громко рассмеялась и побежала в гостиную. Моя мама. Не Наташа, не «она», как они говорили с Колей. Нет — мама.

Разве Лиза не сумеет сделать ее счастливой? Мама не знает. Ведь она все еще думает, что Лиза ребенок. А Лиза взрослая и всю жизнь отдаст ей. Да, всю жизнь. Только бы мама была счастлива.

Лиза взволнованно ходила из угла в угол.

«Борис. Но он не может помешать. Он глупый, он злой. Она, Лиза, выгонит его».

В 11 часов вернулся Николай.

— Что же ты, Лиза, сидишь здесь, свернувшись, как осиротевший еж. Иди спать.

Лиза молча поднялась к себе и улеглась на диване, накрывшись платком.

Надо дожидаться мамы. Теперь уже скоро.

Но и в час Наталии Владимировны еще не было дома. Лиза заснула не раздеваясь.

На следующее утро Лиза проснулась поздно с головной болью. И сейчас же, вспомнив все вчерашнее, побежала вниз. В столовой возилась прислуга, раздраженно двигая стулья.

— Даша, барыня дома?

Прислуга потянула воздух носом.

— Дома-то дома, да не одна.

От волнения Лизе стало трудно дышать.

— Кто у нее? Кролик?

— Как бы не так. Борис... Борис Алексеевич.

Она презрительно подняла плечи и, повернувшись, стала стирать пыль с буфета.

— Она проснулась? — робко спросила Лиза.

— Кофе уже пили. Я за ветчиной уже бегала для него.

Надо подождать. Лиза снова уселась на то же кресло в гостиной.

Осуждать маму нельзя. Мама бедная, ее жалеть надо. И любить. Всем сердцем любить.

Из спальни слышался смех. Ненавистный голос Бориса говорил:

— Да, это ловко вышло. Это ловко. Ты у меня молодец. С тобой не пропадешь.

Как странно, как все переменялось. Вчера утром еще Борис был ей совершенно безразличен, а сегодня она задушила бы его собственными руками. Она протянула руки вперед. Вот так бы и задушила, с наслаждением. Дверь спальни открылась. В гостиную в розовом капоте быстро вошла Наталия Владимировна какой-то особенной, легкой, веселой походкой. За ней, подняв воротник пиджака, шел улыбающийся Борис.

— Лизочка, — весело вскрикнула Наталия Владимировна и, обняв дочь, крепко поцеловала ее. Лиза спрятала лицо в розовом душистом шелке на груди матери.

— Лизочка, ты еще не знаешь? Я сегодня вечером еду в Ниццу.

— Едешь в Ниццу? — Лиза растерялась.

— Да. Ах, я так рада. Как жаль, что тебя нельзя взять с собой, Лизочка.

— Едешь сегодня? — повторила Лиза, щеки ее покраснели, глаза заморгали. — А я?

Борис с любопытством смотрел на нее наглыми, черными глазами.

«Как два таракана», — подумала Лиза и с отвращением отвернулась от него.

— Слушай, Наташа, — Борис поправил пробор. — Возьмем ее с собой. Она такая хорошенькая.

Он осторожно протянул руку, осторожно погладил ее светлые волосы.

— Прелесть какая! Совсем ребенок и все-таки уже женщина.
Прелесть.

Лиза сердито тряхнула головой.

— О, — рассмеялся он, отдергивая пальцы. — Звереныш, укусит. Право, возьмем ее, Наташа. Веселее будет.

Наталья Владимировна недовольно нахмурилась.

— Перестань, Борис. Лизе надо учиться, — она холодно взглянула на дочь. — Отчего ты не в лице?

Лиза еще больше покраснела.

— У меня болит голова.

Наталья Владимировна пощупала ее лоб.

— Пустяки. Жара нет. Стыдно лениться.

Лиза закусила губу от обиды.

— Я еще могу пойти.

— Конечно, иди. Вечером поедете с Колей меня провожать на вокзал. Ну, до свидания.

Она рассеянно поцеловала ее.

9

Лиза надела в прихожей пальто, взяла свой портфель, оставленный здесь вчера. Не те книги, все равно. Только бы скорее выбраться из дома.

Она шла по улице, опустив голову. Никогда еще мама не говорила с ней так холодно, почти враждебно. А она мечтала, она надеялась... И сегодня вечером уезжает. Значит, она не успеет объяснить. Значит, все потеряно.

Наталья Владимировна вернулась домой только за час до отхода поезда. Лиза бросилась ей навстречу.

— Ах, Лизочка, сколько хлопот перед отъездом, — она положила целый ворох пакетов на стол. — Что, вещи уже готовы? Еще это нужно уложить. Помоги, Лизочка, Даша такая бестолковая.

— Я помогу, — предложил Борис.

Наталья Владимировна влюбленно улыбнулась.

— Ты? Разве ты в чем-нибудь можешь помочь, ты только мешать умеешь.

Лиза стояла на коленях перед открытым чемоданом. Наталья Владимировна передавала ей пакеты и командовала.

— Борины желтые башмаки можно вниз, не помнутся. Платье осторожней. Пиджак надо вдвое складывать. Видно, что ты еще замужем не была.

Борис сидел на кресле. Его вытянутые длинные ноги почти касались Лизиных туфель. Он курил, улыбаясь, склонив черную, гладко причесанную голову.

— Как я раньше не замечал, что у тебя такая хорошенькая кузиночка. Сколько раз видел, а вот не замечал.

Наталья Владимировна неожиданно рассердилась.

— Убери ноги, Борис. Что мне через них прыгать, что ли? Лиза, ты так все помнешь. Я лучше уж сама. Иди к себе.

— Я так хорошо уложила. Уверяю тебя, ничего не помнется. Я сейчас кончу.

— Нет, иди, я сама.

Лиза встала.

— А обедать?

— Мы уже обедали. Иди оденься. Сейчас на вокзал поедем. Коля дома?

— Да.

— Позови его.

Лиза вышла. На лестнице она села на ступеньки, положив голову на колени.

«Ну вот. Ну вот. Не успела. Все напрасно. Уже ничего не смогу сказать».

— Коля, — позвала она, не двигаясь с места. — Коля, иди. Наташа уезжает, — и быстро вытерла глаза ладонью. «Нет, плакать нельзя. Тот увидит. Будет смеяться, и мама рассердится. Отчего она сердится? Ведь раньше она никогда не сердилась».

Наталья Владимировна надела дорожное пальто.

— Коля, ты ведь большой, ты умный, — она погладила Николая по голове. — Я уезжаю на месяц и даю тебе деньги на хозяйство. Вот, держи. Только не потеряй.

Коля смущенно, словно он в первый раз видел тысячефранковую бумажку, сложил ее и спрятал в бумажник.

— Смотри не потеряй. И аккуратно трать. Я доверяю тебе.

Николай торжественно поцеловал ей руку.

— Спасибо, Наташа.

— Вот ты у меня и взрослый. Деньгами распоряжаешься. Горд? — она рассмеялась. — Ну, едемте. Лиза, где ты?

Даша вынесла чемоданы.

Наталия Владимировна села в такси с Борисом. Лиза — с Николаем.

Николай потирал руки от удовольствия.

— Здорово. Кутнем немножко. Тысяча франков. А еду можно будет потом в лавке в долг брать. Здорово.

Лиза не отвечала.

На вокзале суетились, отыскивали места и когда наконец устроились, с лица Наталии Владимировны слетела последняя тень заботы. Словно все грустное и тяжелое оставалось здесь, позади, в Париже, а впереди ждали только счастье и солнце. Наталия Владимировна улыбалась из окна вагона.

— Так будьте умными. Учитесь хорошо. Пишите часто. Я скоро приеду.

Из-за ее плеча выглядывал Борис в дорожной кепке.

— Очень уж они топят, будет слишком жарко спать.

Наталия Владимировна радостно кивнула, будто он говорил что-то необычайно приятное.

— Да, слишком жарко.

И так же радостно наклонилась в окно.

— Ну, дай руку, Лизочка. Храни тебя Бог.

Лиза схватила ее тонкую руку в белой перчатке и прижалась к ней губами.

— Мамочка, — прошептала она, вкладывая в это слово все, чего она не успела сказать.

Наталия Владимировна испуганно вырвала руку, испуганно обернулась. Но Борис стоял в купе и не слышал.

— Чтобы никогда, никогда, помни!

Прошел проводник, захлопывая двери вагонов.

— До свидания, Лизочка. До свидания, Коля, — лицо Наталии Владимировны снова сияло счастьем. Рядом с ней Борис размахивал кепкой, скаля белые зубы.

Лиза стояла, безучастно глядя им вслед, и вдруг со всех ног кинулась за поездом.

— Мама! — крикнула она. — Мама! — она бежала, натываясь на провожающих, почти сбивая их с ног, ничего не видя от слез. Ничего, кроме быстро уходящего поезда. — Мама! Мама!

Николай догнал ее, схватил ее за руку.

— Сумасшедшая, под колеса попадешь. Что ты комедии устраиваешь?

Лиза остановилась, вытерла глаза.

— Тебе так жаль, что она уехала? А я рад. Хоть несколько дней весело проведем.

Они протиснулись к выходу. Лиза взглянула на низкое, холодное, ночное небо и вздохнула.

— Сейчас такси возьмем, за Андреем заедем и закатимся куда-нибудь. Вспрыснем ее отъезд.

Лиза покачала головой.

— Я никуда не поеду. Вези меня домой.

Николай пожал плечами,

— Глупая ты, Лиза. Смешная и глупая. Впрочем, как хочешь. А домой можешь и на метро доехать. На тебе франк.

10

Деревья в саду широко шумели. Калитка жалобно по-кошачьи скрипнула.

Лиза вошла в тихий, темный, пустой дом. Она зажгла свет и, не раздеваясь, растерянно остановилась у вешалки.

Все потеряно. Она ничего не сказала, не сумела сказать. Все потеряно. Что теперь делать? Учить уроки, ложиться спать. Разве это нужно теперь? Ведь все потеряно. Мама уехала.

Она прислонилась к стене. Она не плакала. Глаза ее безучастно смотрели на белую лестницу, на круглое, темное окно с качающимися ветками.

Кто-то быстро и тяжело вошел на крыльцо, и звонок зазвенел отчаянно громко. Кто это может быть так поздно?

— Кто там? — крикнула она через дверь.

— Это я, Рохлин.

— Кролик!

Ключ щелкнул, дверь отворилась. Холодный ветер влетел в прихожую. Кролик стоял на крыльце, за спиной его темнело ночное небо и качались темные деревья.

— Наташа, Наталия Владимировна дома? — спросил он картавым, захлебывающимся голосом.

Его голубые, круглые глаза смотрели испуганно и шало. Небритые щеки пожелтели. Котелок сидел совсем криво на голове. Пальто его было сильно смято, галстук сбился в сторону. Казалось, он не раздевался со вчерашнего дня.

— Наталия Владимировна, — он дернул рукой задушивший его воротничок.

Лиза смотрела на него, смешного, шалого, потерянного. От жалости у нее перехватило горло.

— Наташи нет, — с трудом выговорила она.

— Где же Наташа? — его нос сморщился, будто он сейчас заплачет. — Мне непременно, непременно...

Лиза положила руку на его рукав.

— Наташа уехала, — сказала она как можно нежнее.

— Уехала? — шальные голубые глаза впились в Лизу. — Куда? Петь в ресторан?

Лиза покачала головой.

— Нет, Кролик. Уехала далеко. В Ниццу.

— В Ниццу? В Ниццу?

Он сильно дернул головой, котелок, ударившись о стену, слетел с головы и со стуком покатился вниз по ступенькам в черный сад. Кролик даже не обернулся.

— В Ниццу? — испуганно повторил он.

Ветер трепал мягкие, жидкие волосы на его голове. Круглое лицо его с шальными глазами, с поднявшимися дыбом волосами было смешно и страшно.

— Кролик, вы не волнуйтесь, — Лиза потянула его за рукав. — Пойдем, пойдем в гостиную, — как будто там, в гостиной, она найдет слова, чтобы утешить его.

Но он не двинулся.

— Уехала... Бросила меня... Скажи, Лиза, она одна уехала?

Лизино сердце громко стукнуло и остановилось.

— Одна.

— А Борис? Бориса не было на вокзале?

Лиза покачала головой.

— Я его уже неделю не видела.

— Бросила меня, — плечи Кролика вздрогнули. Он склонил голову набок и вдруг всхлипнул. — Я для нее свою кровь отдал, а она...

Лиза порывисто обняла его за шею.

— Кролик, не плачьте. Кроличек, не плачьте. Мой белый, мой красивый Кроличек. Она меня тоже бросила, и мне тоже тяжело. Ах, Кролик.

Они стояли на сквозняке, на пороге, крепко обнявшись. Кролик обхватил короткими руками Лизины плечи, прижался мокрой щекой к ее щеке, как будто в ней, в этой маленькой девочке, было все его спасение, как будто она одна еще связывала его с жизнью.

Лиза целовала его мокрые, дряблые щеки. О, какой он бедный, слабый, беззащитный. Ее сердце разрывалось от нежности, жалос-

ти и страха за него. Только бы утешить его, помочь. Бедный, бедный.

Их слезы смешивались. Они крепко прижимались друг к другу, одинокие, несчастные, забытые. «Так обнимались на тонущем “Титанике”, — мелькнуло в голове Кролика. — Но ведь я тоже тону. Я уже утонул. Конец».

— Я умереть за нее хотел. Я свою кровь ей отдал, — всхлипнул он.

— Кролик, не плачьте. Кроличек, не плачьте. Мой милый Кроличек. Наташа вернется через месяц. Мы еще будем счастливы, Кроличек.

Он поднял голову. Он даже немного оттолкнул Лизу. Вынул из кармана смятый носовой платок и вытер им лицо.

— Ну, надо идти. Спасибо, что пожалела меня, — он обдернул пальто, сразу переходя от отчаяния и слез к обыкновенному, торопливому разговору. — Спасибо тебе, Лизочка. Ты добрая. Наташе ничего не пиши.

Он выпустил ее руку и быстро, как шар, скатился со ступенек. Лиза видела, как он, нагнувшись, искал котелок в темноте, нашел его, почистил рукавом и, надев на голову, покатился дальше к калитке. Калитка протяжно скрипнула. Лизино сердце так сильно застучало, словно хотело вырваться и полететь за ним. Бедный, бедный. Утешить. Но как? Она не умеет, не может ему помочь.

Она долго стояла в дверях. Уже ничего не было видно, уже не было слышно шума его шагов. Кругом было тихо, темно и пусто. Только шелестящие деревья, только темное небо. Лиза заперла дверь, подула на свои застывшие пальцы.

Она закуталась в платок, села в гостиную на свое любимое кресло и глубоко вздохнула.

«Вот я плачу, я несчастна. Но что мое горе по сравнению с горем Кролика?»

Она вздохнула еще раз, и слезы потекли из ее глаз.

«Бедный, несчастный Кролик. Бедная, несчастная мама. Все бедные, все несчастные. И никто не может понять другого, никто не может утешить. Как тяжело, как страшно жить».

Кролик в это время шел по пустой, слабо освещенной улице. Его короткое пальто было расстегнуто, распухшие губы глубоко вдыхали ночной воздух.

— Конец... Бросила... Как паршивую собаку... Как кролика... Конец...

В голове все было черно. Все путалось. И даже боли не было. Конец.

И вдруг где-то в подсознании глубоко мелькнула яркая точка, словно что-то укололо сердце. Ночной ветер широким влажным порывом налетел на него. Он остановился. Колени задрожали. По телу пробежала блаженная слабость. Будто не кровь, а холодный лунный свет струился по венам. В ушах тихо и нежно звенело. Он поднял голову, и звон прекратился. Он взглянул на небо. Из-за черной мягкой тучи медленно выплывала ледяная, сверкающая луна.

— Луна, — растерянно прошептал он и улыбнулся.

И сразу все стало понятно — и блаженная слабость, и дрожь в коленях, и лунный свет, струившийся в теле.

— Конец. Бросила... Как паршивую собаку, — он в эту самую минуту ясно понял, что конец действительно настал. Но не тот конец, которого он ждал и боялся. Нет, конец его рабства, конец его любви. Конец его гибели. Гибель его гибели.

Он с облегчением вздохнул и ощупал свое лицо.

— Конец, — прошептал он радостно. — Выкарабкался. Не умер. Не умру.

Он завернул за угол. Идти было легко, и дышать было легко, и деревья легко шумели, и в небе луна легко проплывала сквозь черные тучи.

Он вынул трубку и закурил.

— А с нефтяной компанией как-нибудь устроюсь.

И он самоуверенно махнул короткой рукой.

11

В эту ночь Лиза уснула поздно. Перед сном она долго молилась за мать и за Кролика. Она улеглась на свой широкий диван, натянула одеяло до подбородка. На стене, над самой подушкой, красная гвоздика обоев вдруг напомнила ей рот матери. Лиза подняла голову и с влюбленной, страстной нежностью прижала губы к гвоздике.

«Мама, мамочка».

Опять в груди зашевелилось и заныло свое горе, не жалость, не сострадание, а своя живая боль. Лиза прижала руку к сердцу.

«Не стучи так. Все пройдет. Мама вернется. И я напишу ей. Да, да, как мне раньше не пришло в голову. Я напишу. Я все напишу».

Она вытянулась под одеялом, положила голову на подушку и закрыла глаза.

«Я напишу. Я все напишу».

Стало тихо, почти радостно. Еще ничего не потеряно. Все еще будет хорошо. Лиза, улыбаясь, сочиняла письмо.

«Милая моя мамочка, дорогая моя мамочка, ты еще не знаешь. Я взрослая, я не ребенок больше. И я люблю тебя больше всего на свете. Я всю свою жизнь отдам тебе».

Письмо было длинное. Лиза повторяла его наизусть.

«До утра забуду. Лучше написать сейчас же», — она сбросила одеяло, зажгла свет и не одеваясь, в одной рубашке, подтянув повыше босые, зябнувшие ноги, уселась к столу. Она писала быстро, дрожа от радости, холода и волнения.

«Наверно, много ошибок, — озабоченно подумала она. — Так трудно писать по-русски. Но по-русски лучше, нежнее. Мама простит». Она сложила исписанные листки и не перечитывая вложила их в конверт.

«Как только получу мамин адрес, пошлю», — она бросилась в кровать, поцеловала красную гвоздику на обоях.

«Спокойной ночи, мамочка. Ты едешь. Ты не знаешь, а скоро получишь письмо», — и, натянув одеяло, сейчас же заснула.

На третий день пришла открытка.

«Дорогая Лизочка, тут чудно и очень весело. Как жаль, что ты не со мной. Крепко целую тебя и Колю. Пиши. Мой адрес...»

На другой стороне, поперек через небо и море, стояло: «Ради Бога, не забудь называть меня в письмах Наташей». «Наташей» было подчеркнуто.

Лиза прочла открытку, повертела ее в руке. Потом отперла шкаф, достала свое письмо и разорвала его на мелкие клочки. Ведь письмо писалось маме. А Наташе можно будет как-нибудь на днях послать открытку.

Лиза побежала вниз. Николай пил кофе в столовой.

— Вот, «она» пишет...

Николай презрительно фыркнул.

— Веселится? Что же, пускай. И мы здесь по ней не скучаем. Только денег могла бы побольше оставить.

Лиза кивнула.

С этого дня она больше не вспоминала о матери и даже в спальную к ней избегала заходить.

Часть третья

1

В ту зиму, зиму 28-го года, в Париже было очень холодно. Замерзшая земля на дорожках сада по утрам скрипела под Лизиными ногами.

Лиза ходила в лицей, в лицее было скучно, но дома было еще скучнее. Она жила как будто совсем одна. Николай пропадал целыми днями, возвращался ночью, когда она спала. Они с Андреем вечно шептались о чем-то и уже не звали ее с собой. Лизе теперь и не хотелось ездить по ресторанам, она чувствовала себя слабой, усталой, ко всему безразличной. Только бы сидеть с книгой у камина. Даже Одэт не было. Одэт уехала к бабушке в Бордо. Но об Одэт Лиза не думала.

Лиза возвращалась домой из лицея. Тяжелый портфель оттягивал руку. Ноги зябли в тонких чулках.

«Это все пустяки», — она подняла воротник своего короткого пальто с золотыми пуговицами, глубже надвинула берет. Не надо обращать внимания.

На тротуаре лежал белый картонный кружок, Лиза подняла его и, размахнувшись, бросила вверх. Он высоко взлетел в морозном прозрачном воздухе. «Как белый голубь», — подумала она и оглянулась назад.

Прямо к ней шел Андрей.

Лиза обрадовалась.

— Здравствуй. Ты из школы?

— Я бросил. Не хожу больше.

— Почему?

— Надоело, — он пожал плечами. — И Николай тоже бросил.

— Это нехорошо, — сказала Лиза серьезно. — Что же дальше? Вас оставят на второй год, исключат.

— Ну и пусть. Что там о будущем думать.

— А тетка твоя?

— Она не знает.

Лиза поежилась.

— Очень холодно. Хочешь, побежим. До дома близко. Дай руку. Андрей бежал слишком быстро. Лиза не могла поспеть за ним.

Он тащил ее за руку. Она спотыкалась.

— Оставь, оставь, не могу.

Он толкнул калитку.

— Скользко. Упаду.

Но они уже стояли на крыльце.

— Ах, весело, — Лиза вошла в прихожую, бросила портфель и пальто на стул. — Идем скорее ко мне, затопим камин.

Он снимал пальто. Она поднялась на носки и поцеловала его.

— Какие у тебя холодные уши. Целуешь, будто мороженое ешь. Как хорошо, что я тебя встретила. Мы очень давно не были одни.

Она посмотрела ему в глаза.

— Ты стал совсем чужой.

Он покачал головой.

— Нет, Лиза.

Ей уже не было весело. Она подняла книги.

— У меня никого нет, кроме тебя, — тихо сказала она, краснея от стыда и быстро прошла вперед.

Перед камином в ее комнате были уложены дрова.

Лиза села на ковер.

— Ну, помоги мне. Чтобы жарко было.

Андрей встал на колени рядом с ней.

— Подожди, не бросай поленья. Надо раньше бумагу.

Он зажег спичку. Лиза смотрела в камин.

— Я люблю огонь. Ну, положи же еще дров.

— Довольно. Дай разгореться. И так тепло будет.

Она стала бросать дрова. Глаза ее расширились от удовольствия. Щеки покраснели.

— Довольно, довольно.

Но она, не слушая, продолжала бросать.

— Как костер, — она все смотрела на огонь. — Знаешь, я хотела бы, чтобы меня сожгли. Коля всегда говорит, что, если бы я жила в средние века, меня бы сожгли на костре как ведьму.

— Ну нет. Ты бы скорее тогда монахиней была. У тебя такие глаза. А может быть, и монахиней и ведьмой вместе.

Лиза захлопала в ладоши.

— Вот было бы чудно. Целый день молиться и ничего не есть, стоять на коленях в черном платье с крестом на груди, а ночью летать на метле на шабаш, — она вскочила верхом на кочергу. — Гар, гар, лечу снизу вверх, не задевая, — громко крикнула она. Красный ответ огня падал на нее.

Андрей вздрогнул.

— Перестань, ты настоящая ведьма.

Она коротко рассмеялась и снова стала подбрасывать дрова в огонь.

— Знаешь, — сказал он, — если уж ты такая, тебе бы следовало писать стихи.

Лиза покачала головой.

— Не хочу. Стихи пишут теперь только глупые или старики.

— Смешная ты, Лиза. Как будто не все равно, раньше или теперь. А что же, по-твоему, теперь надо делать?

Лиза подняла к нему голову.

— Надо жить и ни о чем не мечтать.

Он смотрел на ее бледное лицо, на ее светлые прозрачные глаза.

— Тебе должно быть это нелегко?

— Ну, легко, не легко, а надо, — она презрительно пожала плечом и отвернулась. — Очень жарко. Давай пересядем на диван.

Андрей сел рядом с ней. Они помолчали.

— Как быстро темнеет. Нет, не зажигай света, Андрей, так приятнее.

Дрова трещали в камине. Красный отблеск огня падал на диван, на Лизу. Она протянула руки к огню.

— Знаешь, Андрей, я все думаю, — начала она медленно. — Я все думаю, как должно быть тяжело и отвратительно жить, если детство самое лучшее. А дальше будет еще хуже. Я не хочу быть взрослой, — она покачала головой. — И знаешь, мне кажется, я и не буду взрослой.

— Вздор, Лиза. Это оттого, что тебе только четырнадцать лет. Четырнадцать — самый глупый возраст. В марте тебе будет пятнадцать, и сразу станет легче.

Она опять покачала головой.

— Ах, нет, я не верю. Не станет ни легче, ни лучше.

Он ничего не ответил.

— Отчего ты такой грустный, Андрей?

— Я совсем не грустный.

— Нет, грустный. Не спорь. Ты всегда грустный. Вот ты сейчас ужасно похож на грустную хищную птицу. На ястреба, — она взяла его за руку. — *Et alors, parce qu'il était toujours triste on l'appela Tristan*, — сказала она медленно и вздохнула. — Отчего ты разлюбил меня, Андрей?

Он поцеловал ее ладонь.

— Я люблю тебя, Лиза.

— Неправда. Ты никогда не приходишь ко мне. Ты все с Колей.

— У нас дела.

— Какие такие у вас дела?

Он наклонился к ней.

— Я люблю тебя, Лиза. Верь мне. Я не виноват. Мне очень тяжело. Мне все надоело.

Она обняла его.

— Если ты любишь меня, ничего больше не надо. Тебе тяжело и мне тяжело, но вместе все-таки легче.

Он положил голову к ней на колени.

— Прости меня.

— Мне нечего прощать тебе. Это всегда так бывает. Даже когда страшно любишь, вдруг на время забываешь. Помнишь, как Тристан и Изольда? — она погладила его волосы. — И ведь я сама в Биаррице так мало думала о тебе.

Он поднял голову с ее колен.

— Ты совсем забыла меня там. Из-за Кромуюэля?

Она положила ему руку на лоб.

— Лежи, лежи, и не все ли равно, из-за чего. Раз я опять люблю тебя.

Он сжал кулаки.

— Я его ненавижу.

Она нагнулась к нему.

— Какое у тебя злое лицо. Не надо ревновать. Все это давно прошло.

Она поцеловала его.

— Как мне хорошо с тобой. Если бы мы всегда могли быть вместе.

— Мы всегда будем вместе, Лиза.

— Я не верю. Как темно стало.

— Подожди, я поправлю огонь, а то потухнет.

Она удержала его.

— Не надо.

Огонь в камине вспыхнул, заметался и вдруг погас. Стало совсем темно, совсем блаженно, совсем тихо. Андрей в темноте целовал ее колени. Она губами отыскала его губы.

— Это ты, Андрей? Ты меня любишь?

Она тихо вздохнула и закрыла глаза.

— Ах, нет, нет. Это было бы слишком хорошо. Этого не бывает, не может быть. Ты завтра не придешь.

Кто-то поднимался по лестнице. Дверь шумно распахнулась, щелкнул выключатель.

Лиза, жмурясь от света, испуганно натянула юбку на голые колени. Вошел Николай.

— Что вы тут сидите в темноте, как кроты?

Андрей встал, поправил галстук.

— Ты не знаешь, что надо стучать?

— Вот еще. Сестра Лиза мне или нет? Да и занимайтесь чем хотите, мне какое дело.

Он сел на диван и закурил.

— Так дальше продолжаться не может. Во что бы то ни стало надо добыть денег.

Лиза подошла к зеркалу и пригладила растрепанные волосы.

— Ну конечно, конечно. Старая песня. Слышали.

2

Лиза была права. На следующий день Андрей не пришел. Лиза напрасно ждала его. Но к вечеру она успокоилась. Что же? Как хочет. Но думать о нем не надо. И опять все пошло по-старому. Только стало еще немного грустней.

Был сочельник. Лиза сидела одна у себя в комнате. Косой мелкий дождь тихо стучал по крыше. По улице медленно проехал блестящий от дождя автомобиль. Из окна автомобиля выглянула улыбающаяся молодая женщина. Все сидение было завалено пакетами.

«Сочельник, — подумала Лиза. — Всем весело, покупают подарки». Она представила себе оживленные улицы, целое море мокрых зонтиков, переполненные магазины, где теперь, как в веселом аду, усталые покупательницы мучают усталых продавщиц.

«Вечером елки зажгут, будут веселиться. А я так и просижу одна? — она покачала головой. — Нет, нет, я поеду в кинематограф, — вдруг решила она. — Там хорошо. По дороге куплю горячих каштанов. Там тепло и можно не думать о себе. Вот и я повеселюсь в сочельник».

Она сбежала вниз.

— А ты бы? Ты бы посмел? — донесся до нее сдавленный, громкий шепот Николая. — Ты бы смог? Не струсил бы?

— Я не трус, — зло и решительно ответил Андрей.

«О чем это они?» — Лиза толкнула дверь.

Николай испуганно повернулся.

— Кто там? — он был очень бледен. Андрей курил у окна. Николай подозрительно посмотрел на сестру.

— Тебе что?

— Я иду в кинематограф. Дай мне двенадцать франков.

Николай развел руками и свистнул.

— Двенадцать франков? Скажи, ты где живешь? На луне? Ты не заметила, что уже три дня в доме ни сантиметра нет.

Лиза пожалала плечами.

— Очень жаль.

— Ах, пожалуйста, брось этот тон оскорбленной принцессы. Когда деньги были, тогда бы и ходила по кинематографам. А теперь, пожалуйста, без претензий. И без тебя тошно.

— Сегодня сочельник, — напомнила Лиза.

— Подумаешь, велика важность. Уходи, нам поговорить надо.

Лиза снова вернулась к себе.

«Ах, как скучно, как скучно, как скучно», — она громко зевнула.

И читать нечего. Все книги уже читаны-перечитаны.

В зеркале над камином отразилось ее бледное, осунувшееся лицо.

«Господи, какой у меня несчастный вид. Вот такой я буду лежать в гробу».

Она скрестила руки на груди. Только еще веки закрыть.

Она покачала головой, светлые волосы упали ей на глаза.

«Сегодня сочельник, а я о смерти. Нехорошо».

Она взглянула в окно. Рождество, а совсем не похоже. Дождь по-прежнему стучал в стекла. Мокрые деревья устало гнулись. Улица была пуста. Сквозь тонкую сетку дождя, сквозь мокрые разводы окна все кругом казалось каким-то ускользающим, туманным. Ну да. Конечно, это ненастоящее. Это только так, нарочно, *rouge rigé*. И она сама тоже ненастоящая, и вся ее жизнь только так, нарочно, *rouge rigé* — для смеха. Хотя и совсем не смешно.

Она отвернулась от окна. Слякоть какая. На Рождество должен быть снег и мороз, как в Москве. «Москва». Она подтянула под себя ноги, прислонилась к подушке.

«Москва». Она закрыла глаза, стараясь представить ее себе. Снег, снег, снег. Белый, легкий, сверкающий. От него все бело и все сверкает. Снег лежит на земле, на крышах, летает в воздухе. Это она помнит, а дальше... дальше все путается. Она ясно видит Москву, детскую свою Москву, но ведь это тоже ненастоящая Москва. Широкие улицы под снегом, Кремль и рядом высокая желтая китайская пагода и немного дальше сад, в нем растут пальмы, на них кокосовые орехи. Под пальмами стоят бамбуковые хижинки и рядом серый пятиэтажный дом. В пруду плавают корабли, золо-

тые рыбки, лебеди и крокодилы. По улицам ходят трамваи, летят санки, запряженные рысаками, бегают длинноногие страусы. По тротуарам снуют люди в шубах и меховых шапках, офицеры, дамы, проходят индейцы с перьями на голове, голые негры ездят на жирафах. А там, на Кузнецком мосту, среди льдов живет белый мишка, и всю ночь у него небо розовое от северного сияния.

Да, такую Москву Лиза помнит. Москву, в которую врывались тигры, миноносцы, попугаи из отцовских плаваний, из отцовских рассказов. Отец Лизы был морским офицером. Отца она любила больше всего, но он всегда уезжал на войну. Однажды весной стали много шуметь и кричать под окнами, и мама (тогда Наташу еще так звали) сказала, что это революция. У мамы был испуганный вид, и Лиза заплакала. А потом пришло письмо утром за чаем. Мама прочла его и упала на пол, и чашка упала со стола и разбилась. Когда мама встала, она сказала, что папу утопили матросы в море и что он теперь на небе. Лиза не понимала, как же так, раз папа в море, то как же на небе. Или он стал летающей рыбой? Тогда он может жить и в море, и в небе.

А когда они уехали в Константинополь, Лиза поняла — папа живет там, далеко, где море встречается с небом. Лиза целыми днями лежала в темном коридоре гостиницы на пыльном сундуке. Как раз над сундуком было маленькое окно, и в нем кусочек моря и кусочек неба. Вечером на кусочке неба зажигалась белая звезда, кусочек моря темнел и волновался.

Лиза, не спуская глаз, смотрела в окно. Там живет папа, там, где море встречается с небом. Может быть, он хоть на минуту выплывет к Лизе. Неужели он совсем забыл ее? Она никому не говорила об этом, даже Коле. И когда ее иногда водили к морю, она незаметно бросала в волны крошки хлеба, для папы.

Мама (тогда она все еще была мамой) служила в ресторане. Она плакала: «Я не могу. Я устала. Мои ноги болят». Лиза садилась на пол и гладила ее ноги. Неужели такие красивые ножки могут болеть? Коля целовал маму. Мама обнимала их обоих: «Бедные мои сиротки. Только для вас. Если бы не вы, я не стала бы так мучиться. Я бы давно умерла».

Через два года Лиза уже поняла, что папа умер, и очень стыдилась летающей рыбы. Ей это казалось грехом. О летающей рыбе никто так и не узнал.

Они переехали в Париж. Мама стала продавщицей в магазине. И тут и случилось. Она вдруг опять стала веселой и все пела. Как-то вечером — Лизе уже было девять лет, а Коле двенадцать, и они

ходили в школу — мама сказала им, чтобы они никогда больше не называла ее мамой, а Наташей. И что теперь они заживут хорошо. Она встретила своего двоюродного дядю Сашу, и он очень богат.

Никто никогда не слышал прежде о дяде Саше. А на следующий день пришел он сам, толстый, черный армянин с большим бриллиантом на пальце. Из отельной комнаты переехали в квартиру в Пасси. Колю отдали в пансион — он грубил дяде Саше. Лиза тогда много плакала. На лето уехали в Трувиль.

Лиза, не открывая глаз, удобнее подложила подушку под голову.

Трувиль. Это уже она хорошо помнит.

...Был час отлива. Море отошло далеко, обнажая широкую белую мель. На серых волнах качалась лодка, и в ней рыбак в красной куртке. На сером небе стояло дымно-розовое солнце.

Лиза шла босая по щиколотку в воде. Зеленый толстый краб осторожно боком пробирался между раковинами. Лиза нагнулась, перевернула его на спину. Краб стал быстро перебирать клещами, стараясь закопаться в песок.

Какой большой. Отнести его в пансион, чтобы его сварили к обеду? Она пожала плечами. Очень нужно. И так сыты будем. Подняла краба и бросила в воду. «Иди домой, глупый. Живи себе на здоровье...» Вот уже скоро месяц, как она здесь и все еще не может привыкнуть. Она вздохнула, посмотрела вдаль. Какое странное море, какое странное небо. Все такое бледное, туманное. Даже солнце. И ветер совсем особенный, легкий, влажный, неосязаемый. И песок серый. Никогда она не думала, что бывает такая природа.

Как во сне.

У бело-оранжевой палатки сидела Наташа, читая французскую книжку. Лиза тихо подошла и села рядом.

— Наташа, расскажи мне про Москву.

Наташа рассеянно подняла глаза.

— Иди играть, Лиза.

— Скучно.

— Лови крабов.

Лиза покачала головой.

— Не хочу. Вот я читала, что в России собирают грибы. Это весело, должно быть.

— Глупости. Крабов гораздо веселее. Иди к детям, не мешай мне.

Лиза послушно встала. Мальчик пускал кораблик на веревке.

— Это ты капитан? — спросила его Лиза.

— Я, видишь, у меня золотые пуговицы.

— Отчего же ты не плаваешь тогда на своем корабле?

— Глупости. Ведь он потонет.

Лиза кивнула.

— И отлично. И ты с ним.

Мальчик сердито отвернулся.

Дальше дети строили крепость из песка. Лиза постояла, посмотрела на них. Стоит тоже стараться. Все равно прибой ее смоем.

Лиза снова подбежала к матери.

— Наташа, скажи, как с Тверской пройти к Кремлю?

— Что?

— Как пройти к Кремлю?

— Ах, ты опять со своей Москвой, — Наташа поправила юбку на голых коленях. — Не помню. Вот будешь в Москве, тогда и узнаешь. А теперь не приставай.

Лиза прищурясь смотрела на бледные волны.

— Наташа, можно мне купаться?

— Ты уже купалась утром. Два раза вредно.

— Мама, позволь. Жарко. Позволь.

Наташа лениво морщится.

— Ну хорошо. Иди, только будь осторожна.

Лиза быстро раздевается в палатке, натягивает желтое, еще не просохшее трико.

Она бежит через широкую мель. Скорей. Скорей. Вода совсем теплая. Лиза взмахивает руками и плывет. Какие чудные волны. Как хорошо.

Она опрокидывается на спину. Конечно, она сможет продержаться так часов шесть, даже больше.

Рыбак в красной куртке гуляет теперь по пояс в воде, наблюдая за купающимися.

— Вы плаваете, как рыба, — говорит он ей.

Она краснеет от удовольствия.

— Я тренируюсь.

— Зачем? Хотите Ламанш переплыть?

— Нет. На всякий случай.

Она ныряет, высовывает мокрую голову из воды и фыркает.

— На какой такой случай? — удивляется он.

— На случай кораблекрушения, — говорит она серьезно и отплывает от рыбака.

Они обедают за отдельным столиком.

— Лиза, подбери локти.

Дядя Саша и Наташа, как всегда, тихо ссорятся.

— Так ты опять пойдешь в казино? — спрашивает дядя Саша.

— А почему бы мне не пойти?

— Потому что я тебя прошу.

Наташины серые глаза становятся влажными. Дядя Саша сердито передвигает банку с горчицей.

— Ну конечно, ты несчастная, ты жертва. Послезавтра уезжаешь. Хотя бы...

Лиза роняет вилку на пол.

— Уже послезавтра.

Дядя Саша оборачивается к ней.

— Не умеешь прилично есть. Такая большая девочка.

В окне видны белые кусты роз, зеленая трава, бледное небо.

Обедать кончают молча. Лиза сбрасывает фиги с тарелки и прячет их в карман.

Лиза медленно идет по усыпанной песком дорожке. Она нагибается, нюхает левкой. Она гуляет перед сном, и ни до чего ей дела нет, кроме этого сада, этих левкоев и кустов роз.

Но дойдя до ели, она оборачивается, не следят ли за ней, быстро вбегает в белую беседку и захлопывает дверь.

Никто не видел. Она опускается на корточки, поднимает одну из половиц, шарит рукой в темной дыре.

Не украли. Нет, всё тут. Она вытаскивает сверток, завязанный в носовой платок, высыпает из него деньги на стол, пересчитывает их. Четырнадцать франков тридцать сантимов. Немного, конечно. Но медлить больше нельзя, послезавтра возвращаются в Париж. И если быть очень экономной... В свертке орехи, несколько фиг, плитка шоколада. Орехи очень питательны. Если есть день по два ореха и фиге, хватит на двенадцать дней. И еще останется шоколад.

Она снова завязывает платок и прячет его в прежнее место. Здесь вернее. Дома могут найти. Все еще сидя на корточках, Лиза достает из-за выреза платья конверт. В нем открытка, вид Кремля и самое главное — вырванная из книги страница.

Лиза долго смотрит на открытку. Да, Кремль-то она уж во всяком случае узнает. Потом расправляет страницу и читает:

«Роберт смешался в порту с толпой грузчиков, таскавших тяжелые тюки. По веревочной лестнице взобрался он на борт корабля и, никем не замеченный, проник в трюм. Громкий лягз цепей и возгласы команды возвестили его о том, что долгожданный час отплытия настал. В углу трюма лежала груда просмоленных кана-

тов, на которых он уже собирался устроиться поудобнее ввиду продолжительности предстоящего путешествия, как вдруг дверь в трюм со скрипом отворилась и на пороге показались две рослые фигуры матросов. Сердце Роберта остановилось от ужаса, волосы зашевелились на его голове.

— Тут кто-то есть, — сказал один из матросов, и сильная рука схватила Роберта за воротник.

— Веди его к капитану, — сказал второй, и вскоре Роберт, подбадрываемый энергичными пинками, оказался перед глазами капитана. Капитан пережевал табак, выплюнул его за борт и, мастерски выругавшись, обратился к Роберту.

— Кто ты такой? И что делаешь здесь? Предупреждаю, говори правду, а то отправишься на дно моря кормить акул, — и он загорелой рукой показал на синие волны, из которых поминутно высывались страшные морды чудовищ.

— Я — Роберт де Коста-Рика, — звенящим голосом ответил Роберт. — Я хочу проплыть в Испанию, мою несчастную, порабощенную маврами отчизну, чтобы мечом и крестом истребить врагов.

— Ты славный юноша, — ответил капитан, хлопнув его по плечу. — Оставайся с нами. Но что ты умеешь делать?

— Все, что прикажете, мой капитан.

— Хорошо, — капитан бросил ему швабру. — Мой палубу».

Лиза столько раз читала эту страницу, что знала ее наизусть. Ведь в ней все сказано, остальное уже пустяки. Отсюда можно дойти пешком до Гавра. Если выйти на рассвете, то к ночи дойдешь. В Гавре она найдет пароход, идущий в Россию.

Она зажмурила глаза. Вот она в порту, смешивается с толпой грузчиков. Вот поднимается по веревочной лестнице на пароход, сидит в трюме на просмоленных канатах. Цепи лязгают. Пароход отчаливает. Капитан смотрит на нее: «Кто ты такая и что делаешь здесь?» — «Я русская и еду пострадать за Россию». Ей дают швабру, и она моет палубу.

Пострадать за Россию.

Пасха. Коля приехал на каникулы. Стены детской оклеены пестрыми обоями. В окно виден Булонский лес. Они играют в Куксу и Круксу. Коля — Кукса. Лиза — Крукса. Крукса приходит в гости к Куксе, и Кукса любезно суетится: «Пожалуйста, Круксочка, садись в угольный ящик. Тут тебе будет удобно. Если тебе холодно, можешь открыть зонтик». Дверь детской отворена. Слышно, как в столовой няня поучает горничную Дашу.

— За грехи это. За грехи. Вот наша, приехала сюда, бросила Россию, забыла. Треплет хвосты по театрам и ресторанам и ждет, чтобы ей Россию отдали. Нет, шалишь, за Россию пострадать надо. Пострадать.

Лиза вздрагивает, холодок, точно стеклянный шарик, катится между ее лопаток вниз по спине.

— Пострадать надо, — гудит нянькин голос.

Коля трясет Лизу за руку,

— Что же ты не отвечаешь, Круксочка, хочешь ты ложечку сапожного крема или нет?

Лиза встает с пола беседки, отряхивает платье. Да, да, пострадать. Для этого она и едет в Россию. Пострадать. За всех. И за веселую красивую Наташу, которая не помнит даже, как пройти с Тверской к Кремлю. И главное — за Россию.

Лиза высоко поднимает голову, скрещивает руки на груди, как христианские мученицы на картинках, и медленно, торжественно проходит по саду.

В Наташиной комнате закрыты ставни, горит электричество.

Наташа в розовом блестящем платье озабоченно пудрит голые плечи перед зеркалом.

Дядя Саша в смокинге, стоя за ее спиной, поправляет черный галетук.

Лиза останавливается. Вот она, ее мама. Такая нарядная, такая прелестная. И она видит ее в последний раз.

— Наташа, — бросается она к матери. — Наташа.

Наташа отстраняет ее.

— Тише, тише, убери руки.

Она отступает на шаг. Лиза смотрит на ее стройные ноги в розовых шелковых чулках, в золотых туфлях с сверкающими пряжками.

— Поцелуй меня, Наташа.

Наташа наклоняется и осторожно, чтобы не стереть краски с губ, целует ее в щеку.

Лиза вдыхает душный, знакомый запах духов.

— Еще... Еще...

— Перестань, Лизочка, — говорит Наташа недовольно. — Опять разнервничалась. Ложись сейчас же спать.

Лиза подходит к дяде Саше.

— Спокойной ночи.

Он рассеянно гладит ее по голове.

— Какая ты бледная, худая. Одни глаза остались. Стоило тебя к морю возить? Ты, кажется, еще похудела?

Дверь за ними закрывается. Она больше никогда не увидит их. Они еще будут спать, когда она уйдет завтра.

Лизе обидно и грустно. Она достает из шкафа желтые туфли на толстой подошве, чистое белье, непромокаемое пальто. Все. Можно ложиться.

Она тушит свет, вытягивается под одеялом. Надо скорей уснуть. Завтра чуть свет вставать. Но так грустно, так обидно. Мама даже не взглянула на нее, все в зеркало.

В открытое окно светит луна. Узкая серебряная полоса дрожит на полу. Полированный шкаф тускло блестит, на темном кресле белеет платье. Тонкие ветки качаются перед окном, черные тучи плывут по небу. Как грустно. Как тихо.

Лиза поворачивается к стене, зажимает веки. «Мама. Нет, не надо думать о маме, а то не уснешь. Лучше еще раз повторить: она в порту. Смешивается с грузчиками. Веревочная лестница. Трюм».

Как тихо. Как грустно.

«Трюм, — вздыхает Лиза сонно. — А что дальше? Ах, да, канаты». — «Ты славная девочка, — гремит голос капитана. — Бери швабру, мой палубу».

Лиза испуганно открывает глаза. Уже светло. Из окна тянет свежестью. Часы бьют пять.

Трава блестит от росы. Небо светло-серое, почти белое. Лиза идет по широкой дороге. Все удалось. Никто не заметил. Как легко идти, как легко дышать. Не надо только торопиться, а то устанешь. Она размеренно шагает длинными ногами в желтых туфлях, размахивает в такт руками. Так ходят настоящие пешеходы.

Становится жарко. Она снимает шляпу, вытирает вспотевший лоб, смотрит на солнце. Теперь, должно быть, уже час.

В пансионе завтракают. Мама уже заметила, что ее нет. Ищет, волнуется. Мама. Нет, о маме думать нельзя.

По дороге пролетают автомобили. Лиза глотает пыль, протирает глаза. Она устала. Пальто оттягивает руки. Голова болит. Лечь бы в тень под деревья и заснуть. Но тогда совсем разморишься.

Солдаты всегда поют, отправляясь в поход. С пением идти легче. Но она не знает ни одной солдатской песни, она вообще не знает ни одной песни. Разве ту, про зверька. Глупая. Ну, все равно.

Она поет, стараясь бодрее шагать:

*Жил да был один зверек,
По дорожке скок да скок,
Не лягушка, не хорек,
Кто бы это думать мог.*

Пыльный ветер дует в лицо, мешая петъ, желтые туфли натерли ноги.

«Не лягушка, не хорек, кто бы это думать мог». Дребезжа, проезжает крестьянская двуколка. На высоком сидении седой загорелый старик, рядом с ним старуха в красном шерстяном платье. Господи, да ведь это их молочница. Лиза быстро отворачивается. Дорога прямая. Кругом поля. Спрятаться некуда.

— Посмотри, — слышит она голос молочницы. — Это не русская девочка из Эксельсиора? Там говорили, что она пропала.

— Глупости, — отвечает мужской голос. — Как ей так далеко забраться.

От страха колени становятся мягкими, в глазах темнеет.

— А я тебе говорю, что это она.

Лиза старается обогнать тележку.

— Девочка, эй, девочка, — кричит молочница.

Лиза почти бежит.

— Подержи вожжи, надо посмотреть.

Молочница грузно спрыгивает на землю.

Лиза бросается в поле.

— Стой! Стой! — кричит молочница.

Она совсем близко. Лиза слышит тяжелое топание ее сабо и, задыхаясь, из последних сил бежит все скорее.

Старуха хватает ее за плечо, заглядывает ей в лицо.

— Ну конечно, это она.

— Оставьте меня, — отбивается Лиза. — Вы не имеете права. Оставьте меня.

Но старуха уже тащит ее к двуколке.

— Волчонок, — злобно трясет она Лизу. — До крови меня укусила. Теперь не уйдешь.

Она поднимает Лизу и толкает ее на мешок с картошкой.

— Смотри, чтобы не выскочила, — говорит она старику, беря вожжи.

Двуколка, дребезжа и подскакивая, катится по дороге. У Лизиных ног кудахчет курица со связанными ногами. За спиной стоят жестяные бидоны с молоком.

Поймали, поймали. Кончено. Все кончено.

— Шуточное ли дело? Десять километров отмахала. Такая маленькая, — старик протягивает ей кусок хлеба с сыром. — На, съешь. Еще не скоро домой доберешься. Всех клиентов сначала объедем.

Лиза молча отталкивает его руку.

Начинается дождь. Старик накрывает, чтобы не промокли, картофель, Лизу и курицу брезентом.

Двуколка останавливается уже в пятый раз. Громыхают бидоны. Молочница уже в пятый раз подробно рассказывает, как она поймала девочку. Потом приподымает брезент и показывает ее. Лиза забивается в угол. Любопытные глаза рассматривают ее.

— Какая хорошенькая. Вы говорите, злая?

— Настоящий волчонок. Цапнула меня за палец.

— Совсем дикая. Русская.

— Да что вы? Как интересно.

Лиза старается спрятаться за мешок с картофелем. Волчонок. Да они смотрят на нее, как на дикого зверя в клетке. Хорошо еще, что окурков в нос не суют.

Перед калиткой пансиона стоят горничные.

— Поймала, — еще издали кричит им, торжествуя, молочница. — Поймала вашу барышню. Вот она.

Лизу высаживают.

— Уже в полицию заявили. Всюду ищут.

Лиза качает головой. Колени подгибаются. Горничная подхватывает ее.

— Лиза, Лизочка! — Наташа громко плачет, прижимая ее к себе, целует ее волосы, лицо, руки. — Деточка моя, как ты меня напугала. Я думала, что ты утонула, Лизочка.

Лизу несут в комнату, укладывают в постель.

— Господи, — ужасается Наташа, — десять километров.

— Уши бы тебе оборвать надо, — говорит дядя Саша. — На ключ теперь запираю буду.

Наташа снова целует ее.

— Лизочка, отчего? Разве тебе плохо с нами?

Лиза тяжело открывает глаза.

— Нет, — говорит она медленно. — Я хотела в Гавр. На пароход, в Россию, — и вдруг всхлипывает. — Пострадать.

— Пострадать? — переспрашивает Наташа.

— Вот оно что. Пострадать, — дядя Саша ласково дергает ее за нос. — Ах ты, курица. Что же, ты думала, с тобою там возиться станут? Просто обрили бы, как каторжницу, и в комсомол отдали бы.

В соседней комнате слышен смех. Как? В Россию? Пострадать?

Лиза прячет в подушку красное лицо. Какой стыд! Какой стыд! Все знают. Все смеются над ней.

Ветер трясет ставни. Дождь стучит по крыше. Наташа поправляет одеяло.

— Спи, деточка. Какая буря. Что бы ты делала одна, моя беглянка? Ну, ну, не плачь. Спи с Богом.

Она тушит свет и на носках выходит.

Лиза лежит в темноте. Дождевые капли, журча, сбегают по крыше. Ветер стучит ставнями. Море шумит.

Какой стыд! Какой стыд! Обрили бы... За нос дернул...

Подушка мокра от слез. Они текут и текут, и удержать их нельзя.

Теперь из Гавра по белым, бурным волнам уходит пароход. А она здесь. И все кончено.

Лиза спит. Слезы текут по ее щекам.

Ей снится холодный, синий рассвет. В синем, холодном свете блестят зубчатые стены, блестят пестрые купола церквей, блестят золотые кресты.

Это — Москва. Это — Кремль.

Лиза стоит одна на широкой, пустой площади.

Взвод солдат выстраивается полукругом. Блестят ружья. Щелкают затворы... Черные дула направлены прямо на нее...

Офицер с красной звездой на груди громко командует: «Пли!»

3

Лиза открыла глаза, провела рукой по лбу, растерянно оглянулась кругом, не сразу узнавая свою комнату. Было уже совсем темно. В окно сквозь черные ветки слабо светил уличный фонарь. Тихо шуршал дождь.

— Россия, — сказала она громко. И прислушалась к своему голосу. — Россия. — Потом потрянула головой. От воспоминаний ее мечтательного, печального детства сердце в груди стало тяжелым и горячим и во рту пересохло.

Она зажгла свет, взглянула на часы.

«Уже восемь... Что же не зовут обедать?»

Она открыла дверь. Волнение еще не совсем прошло. Колени ослабели, и ноги шли как-то сами собой, и голова чуть-чуть кружилась. Оступишься и полетишь вниз на блестящий пол прихожей.

По ковру гостиной идти было легче. Лиза остановилась, перевела дыхание.

«Как старая индюшка, успокоиться не могу. Стыдно!..»

— Она поверит... Она глупа, — говорил Николай в столовой.

— Ну, положим, она совсем не глупа, она наивна.

— Все равно, — перебил Николай. — Она поверит. Лиза, — позвал он громко.

Лиза толкнула дверь и сразу на пороге почувствовала, что что-то случилось. Андрей сидел за столом. Глаза его блестели, и губы были упрямо и решительно сжаты. Под желтым ярким светом лампы лицо его казалось слишком бледным.

«Кто глупа и чему поверит?» — хотела она спросить, но не успела.

Николай быстро подошел к ней и взял ее за руки.

— Лиза, — он посмотрел ей прямо в глаза. — Лиза, ты ведь моя сестра, я не хочу от тебя скрывать. Лиза, — он запнулся. — Я не знаю, как тебе объяснить. Слушай! Мы с Андреем состоим в монархической организации. И теперь меня посылают в Россию.

— В Россию? — переспросила она похолодевшими губами.

— Да, в Россию, с документами. Очень ответственное и опасное поручение. Я уезжаю на днях. Меня может быть расстреляют там. Я хотел тебя спросить, — он снова остановился. — Я хотел тебя спросить: хочешь ли ты ехать со мной?

Лиза стояла перед братом. Но это была уже не Лиза, только что вошедшая в столовую. Это была маленькая девочка из Трувиля, маленькая девочка, готовая на подвиг. От блаженства и ужаса кровь медленно отхлынула от сердца. Неужели все, о чем она даже мечтать не смела, неужели все исполнится?

— В Россию?

Николай потряс ее руки.

— Да ты что? Не понимаешь? Хочешь ехать со мной в Россию?

Лиза вдруг рванулась, вырвала свои руки из рук брата и бросилась ему на шею.

— Неужели? Неужели это правда? Не может быть? Я умру от счастья, Коля.

— Подожди, подожди. Об этом надо серьезно говорить. Значит, ты согласна ехать. Теперь отвечай, хочешь ли ты мне помочь?

— Да, да, да. Все, все сделаю. Все, что могу, больше, чем могу.

— Ты не торопись так. Слушай. Для поездки нужны деньги, и большие. А их у нашей организации нет. Так вот, мне поручено самому достать. И я подумал, что тут ты могла бы пригодиться.

— Я? Но у меня...

— Не перебивай. Я сам знаю, что у тебя нет миллиона в банке. И все-таки ты могла бы помочь. Кромуэль влюблен в тебя...

Поздно вечером, задерживая шторы на окне, Лиза взглянула на небо.

«Сегодня сочельник. Праздник, — смутно подумала она. — Да, праздник. Настоящий праздник. Только как с Кромом? Ах, ничего, ничего. Ведь не для себя. Для России. Для России», — Лиза глубоко вздохнула. И ей показалось, что сердце ее вместе со вздохом вылетело из груди и летит в черном холодном небе, мимо облаков и Луны, все выше и выше, прямо к Вифлеемской звезде, прямо к Богу...

4

В открытое окно влетел легкий-легкий звон.

Музыка, откуда?

Никогда Лиза еще не слышала такой нежной, звенящей, шемящей музыки.

Лиза лежала улыбаясь, боясь шевельнуться. «Еще, еще, только бы не прекращалась».

А музыка все лилась, плыла, летела над головой, комната была полна ею.

Лиза осторожно открыла глаза.

Сквозь шторы пробивался свет. Никогда еще Лиза не видела такого света. Совсем особенный. Не лунный и не солнечный свет. Он сливался с музыкой, и воздух звенел и переливался от звуков и сияния.

И вдруг музыка оборвалась.

Лиза встала, открыла окно. Теплый влажный воздух пробежал по ее лицу и голым плечам.

Утро было светлое и туманное.

В голубом небе скользили туманные сияющие облака. Лиза наклонилась и посмотрела вниз. Весь сад был покрыт белым, прозрачным, сияющим туманом. В сияющем тумане светились и расплывались кусты жасминов и темные ели. Перед самым домом на ярко-зеленой круглой лужайке сидел ангел.

Ангел сидел на корточках, как птица, сложив большие, белые крылья на спине. Ветер трепал его длинные золотые волосы. Он рассеянно и задумчиво смотрел в небо голубыми, как небо, глазами. Рядом с ним на зеленой траве лежала золотая лира.

— Ангел!

Лиза тихо ахнула и как была, босая, в одной рубашке, побежала вниз.

«Ангел. Не может быть. Не бывает ангелов. Это сон», — неслось в ее голове. Но она чувствовала холод каменных ступенек, гравий на дорожке больно колот ее босые ноги, и трава была мокрой от росы.

Она тихо подбежала к ангелу, боясь испугнуть его. Но ангел, казалось, не видел ее, он все так же равнодушно и задумчиво смотрел в небо. Она встала на колени и обняла его. Он был теплый, нежный, шуршащий.

— Ангелуша, — прошептала Лиза, задыхаясь от блаженства и слез. — Ангелуша.

Ангел даже не пошевелинулся. Он равнодушно смотрел голубыми глазами в голубое небо. Она прижалась щекой к его теплым, белым, шуршащим крыльям. Ей показалось, что сердце ее разрывается, что она умирает от счастья.

— Ангелуша.

Лиза проснулась и открыла глаза.

Какой чудный, какой пророческий сон.

К ней во сне прилетел ангел. Ангел сказал ей: «Иди». Как Жанне д'Арк. Она выглянула в окно.

«Какое солнце сегодня. Скоро я его увижу из Москвы... Там оно лучше, там оно русское солнце».

На минуту в глазах зарябило, и побежали желтые, красные, розовые маленькие кружки.

Среди пестрых пляшущих кружков вдруг мелькнуло лицо Андрея. Лиза закрыла глаза.

«Нет, о нем нельзя думать. Ни о нем, ни о любви», — она покачала головой. Теперь она счастлива. Это и есть счастье. Она совсем счастлива, и ничего ей не надо — ни Андрея, ни любви.

В дверь постучали. Вошла Даша. На ней было пальто и шляпа с цветами.

— Прощайте, барышня. Ухожу от вас. Рассчитали.

Лиза вспомнила, что Николай хотел отпустить прислугу, чтобы она не видела, как будут уезжать.

— Прощайте, Даша. Всего хорошего.

Но Даша не уходила.

— Такое место легко найти. Вечно жалованье задерживали и покоя никогда нет. О барыне и говорить стыдно. А только привязалась я к вам, барышня. Жаль мне вас. Ну, растите большой, умной.

Она поклонилась.

— Спасибо, Даша.

Но Даша все еще стояла на пороге.

— Как вы одни с ними останетесь? Все они о чем-то шепчутся. Все шепчутся по углам.

Не подслушала ли Даша что-нибудь?

— Это они спектакль собираются на Масленице ставить, — испуганно объяснила Лиза.

Даша фыркнула.

— Спектакль? До добра их спектакль не доведет, — она помолчала. — А мне вас, барышня, жалко. Я вас, барышня, люблю, и грустно мне уходить от вас.

— И мне, Даша, грустно, — Лиза порылась в комод, достала пестрый шелковый шарф и протянула его Даше. — Спасибо вам, Даша, возьмите на память обо мне, — и пожала своей маленькой рукой грубую Дашину руку. — Прощайте, Даша.

Даша опять поклонилась.

— Прощайте, барышня. Дай вам Бог.

Лиза закрыла за ней дверь. Ей вдруг на самом деле стало грустно. Вот жила Даша в одном доме с ней и любила ее, а она не знала. Можно было бегать на кухню разговаривать с ней, все-таки легче было бы. В одном доме жили, каждый день видела, а не знала, и все так на свете: никто ничего не знает. Она тряхнула головой. Раньше, конечно, легче было бы. Но теперь ей не нужно ни любви, ни жалости. Теперь она счастлива.

Время почти остановилось. Так медленно текли часы. Лиза считала часы, считала минуты до субботы. До субботы вечером, когда они должны были ехать. Время почти остановилось, часовые стрелки почти не двигались. В этой остановившейся, медленной жизни все было только счастливым страстным ожиданием. Лизе казалось, что ее сердце, вспыхнувшее тогда в сочельник от Колиных слов «хочешь ехать в Россию», так и продолжает гореть у нее в груди. И только страшно, чтобы оно не разгорелось еще больше и не сожгло ее всю дотла.

5

Кромуэль сидел в Лизиной комнате на диване.

— Завтра ночью у вас будут бриллианты, — сказал он.

Лиза закрыла глаза, прислонилась головой к подушке. После целого дня тревоги и суеты стало тихо и легко. Стоило ей только пожелать, и все исполнилось.

Как во сне.

Кромгуэль молчал. Лиза сидела тихо, сложа руки на коленях. Сердце билось легко и счастливо. Все хорошо, все прекрасно. И то ли еще будет?

Кромгуэль закашлял.

— Вы больны, Кром? Вы простудились. Это было бы ужасно.

— Нет, я совсем здоров, — он посмотрел ей прямо в глаза. — Завтра ночью у вас будут деньги и бриллианты, — повторил он.

— Кром, вы ангел.

Он грустно покачал головой.

— Ангелы не воруют.

— Вам это так тяжело?

— Страшно тяжело, — сказал он серьезно. — Умереть было бы легче.

— Неужели украсть тяжелее, чем умереть?

Кромгуэль опустил голову.

— Гораздо.

Лиза посмотрела на него с любопытством.

— Я не понимаю. Я боюсь смерти.

Она снова закрыла глаза и положила голову на подушку.

Перед ней, как в тумане, проплыло бледное, грустное и злое лицо Андрея.

— Умереть можно только из-за любви, — сказала она тихо.

Ее горло сжалось и пальцы похолодели.

— И если расстреляют. Не говоря уже о болезнях, несчастных случаях и старости.

Он ничего не ответил.

Ее голова лежала на подушке. Лицо ее стало совсем спокойным, безучастным, безмятежным. Вся жизнь, все оживление исчезли с него. Губы не шевелились, и веки были закрыты.

Кромгуэль нагнулся над ней. Сердце его дрогнуло от жалости. Что с ней? Она девочка, почти ребенок.

Отчего же у нее такой несчастный вид?

— У вас какое-нибудь горе, Изольда?

Она открыла глаза. И глаза ее сияли. Кромгуэль на минуту, как тогда в Биаррице, почувствовал на своем лице горячий солнечный свет, шедший из ее глаз. И, как тогда в Биаррице, зажмурился.

— Горе? — переспросила Лиза, и голос ее зазвенел.. — Нет, у меня огромная радость. Ведь мы едем в Россию. Я еще никогда не была так счастлива.

Они помолчали немного. Лиза взяла его за руку. Он сжал ее пальцы в своих.

— Завтра я принесу все. А вы не забыли, Изольда, вы помните, что обещали мне?

Она покраснела.

— Я все помню. Но не надо говорить об этом сейчас. Слушайте, Кром. В России теперь снег, белый, блестящий. Утром на солнце он кажется розовым, а ночью, когда луна, почти голубым. Вы еще никогда не видели такого снега. Только в России такой снег. Разве вы не рады, что едете?

— Конечно, я очень рад, Изольда.

Дверь открылась и вошел Николай.

— Здравствуй, Кром, — он весело похлопал Кромуюэля по плечу. — Устроил? Когда?

— Завтра ночью.

— Молодец. С тобой не пропадешь, — он задумался. — Значит, мы послезавтра можем тронуться. День проведешь у нас. Домой, конечно, после этого незачем тебе показываться. Там могут хватиться.

Кромуюэль кивнул.

— Да. После этого нельзя вернуться домой.

Николай закурил.

— Ну, значит, все в порядке. Андрей, — позвал он. — Андрей, иди сюда.

По лестнице послышались быстрые шаги.

— Мы едем в субботу, — крикнула Лиза.

Андрей только вошел. Он еще стоял на пороге.

— В субботу? — сказал он задышающим голосом. Лицо его стало совсем белым.

Лиза подошла к нему.

— Что с тобой, Андрей? Тебе дурно?

Он прижал руку к сердцу.

— Нет, нет. Я слишком быстро вбежал. Так в субботу? — переспросил он глухо, и губы его чуть-чуть задрожали.

Лиза почувствовала, что ей тоже трудно дышать, словно и она слишком быстро вбежала по лестнице.

«Любит, — подумала она, — мучается. Ревнует, что Кром едет со мной».

Николай поднял руку.

— Слушайте, господа. Что, если бы мы поехали поужинать все вместе в последний раз? Есть у тебя деньги, Кром?

Кромуэль кивнул.

— Деньги есть.

— Ну вот и отлично. Повеселимся в последний раз. Собирайся, Лиза.

— Глупости, — резко вмешался Андрей. — Никуда мы не поедем. Нельзя нам ехать.

— Почему? — удивилась Лиза.

— Потому что нас не должны видеть вместе, — Андрей пожал плечами. — Вам то что. Вы уезжаете, а я остаюсь.

— Правильно, — согласился Николай. — В ресторан нам нельзя, но и киснуть не надо. Давайте купим вина и повеселимся тут. Принято?

— Принято.

6

В столовой горит камин. Желтая лампа низко спускается над столом.

Лиза сидит на диване, подобрвав ноги. В голове шумит. Горячий, накуренный воздух жжет глаза. В накуренном воздухе тускло блестят бутылки и рядом на тарелке розовая ветчина. Апельсиновые корки валяются на полу. Николай наливает ей еще вина. Она поднимает стакан.

— За успех нашего дела. Отчего ты не хочешь чокнуться со мной, Андрей?

Андрей ставит свой стакан на стол.

— Чокайся с Кромуэлем. Я слишком много выпил.

Лиза пожимает плечами.

— Как хочешь. Кром, за наш успех.

Андрей смеется.

Лиза выпивает вино. В голове еще сильнее шумит.

Ветви, качающиеся за окном, кажутся руками, протянутыми к ней за помощью.

Автомобильные гудки — зовущими голосами: «Ждем, ждем, выходи!»

— Иду, — хочется ей крикнуть им.

Она поднимает руку, берет яблоко с вазы.

В груди уже нет сердца. В груди тихо и пусто. Ее сердце — это красное яблоко. Вот оно, ее сердце. Оно лежит на ее ладони. Оно обнажено, оно бьется, и трепещет, и любит. Оно все чувствует. Она

сжимает его пальцами, и сердцу больно. Что ей делать с ним? Что ей делать со своим сердцем?

Она протягивает яблоко Андрею.

— Андрей, съешь. Я тебе дарю.

Андрей равнодушно берет яблоко, трет его о рукав, потом откусывает кусок белыми, крепкими зубами.

«Вот сейчас будет страшно больно, — думает Лиза. — Ведь он ест мое сердце, — она сжимает руки, чтобы сдержать крик боли. Но совсем не больно. Она удивленно смотрит на Андрея, видит, как его белые зубы жуют яблоко. И совсем не больно. — Это не мое сердце. Я просто пьяна. Брось. Не ешь, Андрей».

И Андрей бросает огрызок яблока на ковер.

Николай смеется и пьет. И Кромуэль тоже смеется и пьет. Один Андрей бледный и злой.

Лиза тихо напевает старинную французскую песенку:

«*Ecoutez ma chanson, dames et demoiselles. Si vous mangez mon cœur, il vous pousseront des ailes*».

Но ведь Андрей съел не ее сердце, а яблоко. Если бы он съел ее сердце, он был бы веселый. Автомобильные гудки за окном снова протяжно зовут: «Ждем, ждем, выходи!» Куда они зовут ее? В Россию? Но ведь она едет. Через два дня, через два дня. Она сжимает руки на груди. Она идет на подвиг. Да, на подвиг. Она героиня, она спасет Россию, она Жанна д'Арк. Ей ангел во сне сказал: «Иди». Она крепче сжимает руки и встает с дивана. Звон в ушах усиливается. Это звонят колокола в Москве. Она чувствует себя такой легкой, бесплотной, счастливой, вот взмахнуть руками — и полетишь на небо. Но в небо лететь нельзя. Она нужна здесь, на земле. Она должна спасти Россию, для этого она и послана на землю.

Она подходит совсем близко к камину. Отчего так жарко? От камина или от огня в груди.

— Я буду и в Петербурге, — доносятся слова Николая.

Петербург... Она оглядывается, смотрит на Андрея, Николая и Кромуэля. Они сидят на диване, они пьют. Кромуэль зажигает спичку. Пламя слабо желтеет в дымном воздухе.

Петербург...

И вдруг Андрей тает, расплывается, вытягивается.

Это уже не Андрей. Это высокая мачта, и наверху ее развеивается широкий белый флаг. И уже нет ни комнаты, ни табачного дыма, ни бутылок.

Голубая река, голубое небо, сотни белых, развевающихся на мачтах флагов. Сколько кораблей, сколько флагов, сколько чаек. Нет, это не Петербург. Это Константинополь, это Марсель. Лиза трясет головой.

«Нет, это не Петербург».

Николай стоит посреди комнаты.

— Потом мне придется съездить на несколько дней в Киев, оттуда снова вернуться в Москву...

Он размахивает руками. Андрей смеется.

— Какое большое, какое опасное путешествие. Ты прямо герой.

Николай быстро оглядывается на него.

— Ты что, пьян?

— Нисколько. Даже еще выпью, — Андрей наливает себе вина. — И вы выпейте со мной, — он поднимает стакан и чокается с Кромуэлем. — За ваше путешествие, — он смотрит ему прямо в глаза. — За ваше путешествие в ад.

— В ад? — удивленно переспрашивает Кромуэль.

— Ты пьян? — Николай вырывает стакан из руки Андрея. — Не смей больше пить.

— Сам ты пьян, — Андрей удобнее устраивается на диване. Его бледное, злое лицо наклоняется к Кромуэлю. — Конечно, вы едете в ад. Разве Россия теперь не ад?

Лиза смотрит на него. Какой он красивый. Она садится рядом с ним, кладет руку на его плечо.

— Андрей, знаешь...

Но он не слышит ее. Он внимательно смотрит на Кромуэля, на его длинные ноги, далеко протянутые вперед.

— Я боюсь, что чемоданы будут слишком малы, — говорит он по-русски.

Николай трясет его за плечо. Он красный, и губы его дрожат.

— Ты пьян. Замолчи сейчас же. Ты сумасшедший.

— А ты трус. Сам все выдумал, а теперь трусишь.

Лиза широко раскрывает непонимающие глаза.

— Что? О чем вы? Какие чемоданы?

— Ничего, ничего, Лиза, не обращай внимания, — успокаивает Николай. — Андрей пьян. Надо идти спать.

— Спать, — Лиза потягивается. — Уже спать? Было так хорошо.

— Лиза, — строго говорит Николай. — Ты забыла.

Лиза трясет головой.

— Нет, нет, я все помню.

Ну да, она помнит. Послезавтра они едут в Россию.

Она с трудом встает. Какими тяжелыми стали ноги.

— Идите домой, милый Кром. Уже поздно. А завтра для вас трудный день.

Кромуэль уже почти спит. Голова его лежит на подушке. Веки закрыты.

— Пора домой, Кром.

— Да, да, сейчас. Очень весело было. Когда вернемся из России, будем часто...

— Об этом потом. Теперь иди домой.

Николай берет его за руку.

— Спокойной ночи. До свидания.

— До завтра.

Все идут провожать его в прихожую. Пестрый фонарь под потолком неприятно блестит. Все качается, все плывет. Николай помогает Кромуэлю надеть пальто.

— Ты один доберешься? Довести тебя?

Кромуэль благодарно улыбается.

— Спасибо, какой ты добрый. Какие вы все добрые.

Андрей снова громко смеется. Лиза вздрагивает.

— Чему ты?

— Спокойной ночи, — Кромуэль кланяется. — Я отлично дойду сам. Спокойной ночи, Изольда.

Дверь хлопает за ним.

— Ты болван, — зло кричит Николай.

— А ты трус.

— Не ссорьтесь, идите спать.

Лиза поворачивается к лестнице, ставит ногу на ступеньку. В ушах звон, в глазах туман. Ничего понять нельзя. И не надо. Только бы добраться к себе, только бы лечь.

7

Обыкновенно Лиза мылась у себя наверху. Но после вчерашнего надо было взять ванну. Голова болела, и во рту был отвратительный медный вкус. Лиза морщилась. Нехорошо, нехорошо. Разве можно теперь так пить?

Белая пена хлопьями падала на каменный пол. Пар белым облаком поднимался от горячей воды. Электрическая лампочка на стене тускло желтела, как уличный фонарь в тумане.

Лиза не любила ванную. Она была темная, узкая, без окна, с одной только маленькой дверью, обитой войлоком. Лизе всегда казалось, что это не ванная, а тюремная камера или склеп. И еще казалось, что пахло в ней сыростью, болотом и дохлыми жабами. Хотя откуда тут быть болоту и жабам. Тут было бы удобно своих врагов на цепи держать. Кричи не кричи — никто не услышит.

Лиза накинула халатик, надела домашние, мягкие туфли и вышла в коридор. Надо чай сварить, ведь Даши нет. Из столовой слышались голоса. Коля уже встал, и Андрей тут.

Она хотела войти к ним. Нет, пойду вскипячу им чай, а то они голодны.

Она по коридору побежала на кухню. На плите стояли грязные кастрюли, смятые салфетки валялись на полу.

«Какой разгром, а только день, как нет Даши». Она достала из-за двери хлеб, оставленный утром булочником.

«Вот и я помогаю, вот и я приношу пользу. Коля похвалит».

Вода шумно закипела. Лиза сняла чайник с огня, сунула длинную булку под локоть, взяла горячий чайник в одну руку, в другую сахарницу и осторожно, чтобы не обжечься, пошла по коридору. Войлочные туфли ступали бесшумно. Лиза была горда. Конечно, это только чай, это пустяки. Но я уже помогаю.

Булка чуть не выскользнула из-под локтя, она остановилась, подхватила ее, снова прижала к груди и вдруг услышала из-за двери голос Николая:

— Стреляй сзади в спину. Дуло надо обернуть.

Лиза толкнула дверь.

Андрей стоял у окна держа в руке револьвер.

Николай, наклонившись, заматывал дуло носовым платком. Они оба обернулись на скрип двери и посмотрели на Лизу одинаковыми злыми, затравленными глазами.

Лиза уронила хлеб на пол, руки ее задрожали, жестяная крышка чайника запрыгала.

— Кого стрелять сзади?

Николай набросился на нее.

— Ты зачем под дверью подслушиваешь?

— Я не подслушивала. Я вам чай вскипятила.

Николай уже успокоился и спрятал револьвер в карман.

— Ну, хорошо, хорошо. Поставь чайник на стол, еще обваришься. Садись чай пить, Андрей.

Андрей поднял хлеб с пола.

— Хлеб на пол бросать грешно. Так меня учила няня. Что же ты, Лиза, усталилась на меня как баран на новые ворота?

— Кого стрелять сзади? — повторила Лиза.

— Ах, ты все об этом? — Николай рассмеялся. — Мало ли кого придется. Пограничника или чекиста. Что же ты думаешь, я в Россию еду, чтобы бабочек сеткой ловить или в снежки играть?

Лиза покачала головой.

— А зачем дуло заворачивать платком?

Николай размешивал в чашке сахар.

— Чтобы выстрела слышно не было. Выстрела никогда не должно быть слышно.

Лиза молча села за стол. На скатерти темнели большие пятна красного вина. И почему-то руки ее снова задрожали и сердце сжалось. Конечно, Коля прав. Отчего я так испугалась?

— Ну вот, Лиза, ты сейчас пойдешь на вокзал узнать, когда идет поезд. Сумеешь?

Лиза кивнула. Она старалась не видеть ни Андрея, ни Николая, ни темных пятен на скатерти. Она встала.

— Хорошо. Я сейчас пойду.

Лиза торопливо одевалась. В прихожей она прислушалась, не услышит ли еще что-нибудь, но в столовой говорили шепотом.

8

Когда Лиза вернулась домой, Николай сидел у окна.

— Узнала, — крикнула Лиза. — Поезд идет в десять тридцать.

— Поезд? — рассеянно переспросил Николай.

— Ну да, поезд. Поезд в Москву, — Лиза рассмеялась. — Ты, кажется, уснул?

— Нет. Я задумался.

— Есть еще утренний.

— Утреннего не надо. Спасибо, что узнала. Так в десять тридцать?

— Да. А где Андрей?

— Он ушел домой.

— Зачем? Ведь он теперь всегда ночует у нас?

— А сегодня не мог.

Лиза пожала плечами.

— В последний раз. Ведь мы завтра уезжаем.

— У его тетки гости. Не приставай.

Лиза замолчала.

На столе все еще стояли пустые бутылки, грязные тарелки и стаканы. Лизе снова стало не по себе. Было так весело узнавать на вокзале о поезде в Москву, будто сейчас уезжаешь. И потом бегать по магазинам, присматривать перчатки и чулки, в которых будешь ходить по Москве. А тут, дома, должно быть от беспорядка ей стало неприятно. Она засуетилась.

— Подожди, Коля, я приберу здесь, а то, как в конюшне.

— Брось, не стоит.

— Кром скоро придет.

— Ну его теперь нечего стесняться.

— Почему? — удивилась она.

Она торопливо собрала со стола.

— Да перестань возиться, Лиза. Слушай, — Николай на минуту остановился. — Ты помни: Кромуэль будет ночевать у тебя сегодня.

Лиза покраснела.

— Я ему обещала. Но...

— Нет, — перебил Николай. — Непременно. Ты поведешь его прямо к себе.

Стакан задрожал в Лизиных пальцах и, выскользнув, ударился с жалобным звоном о пол.

— Разбила! — испуганно вскрикнула Лиза. — Ничего. Белое стекло — это к счастью.

Николай взял ее за плечо.

— Кром должен ночевать у тебя. Поняла?

Лиза послушно кивнула.

— Хорошо. Но почему? Его бы можно было уложить в гостиной.

Николай раздраженно поморщился.

— Не рассуждай, пожалуйста. Слушайся.

Лиза снова кивнула.

— Хорошо.

Этот вечер казался ей бесконечно длинным. Николай молча курил. Она сидела на диване, поджав под себя ноги.

— Коля, ты бы затопил. Холодно.

— Ах, оставь, — он сердито бросил папиросу. — Не до того мне. В котором часу Кромуэль обещал?

— Он сказал, как только мать заснет. Часов в одиннадцать.

— В одиннадцать. Как долго еще ждать.

Они снова замолчали. Лиза смотрела на желтую лампу, на пыль, тонким тусклым слоем покрывавшую буфет.

— Коля, я голодна. Я за весь день ничего не ела.

Николай пожал плечами.

— Не маленькая. Могла бы сама о себе позаботиться. Там на кухне есть колбаса и хлеб.

Лиза вошла в кухню, поставила чайник на газ.

«Отчего мне так тяжело? — подумала она. — Чего я боюсь? Ведь все хорошо, все отлично. Завтра мы едем. Что же это?»

Но сердце стало тяжелое и большое, будто не сердце, а камень в груди, и колени ослабели, и руки дрожали.

Лиза отрезала хлеб, положила на него кусок колбасы и, стоя около плиты, принялась есть. Но глотать было трудно, горло стало совсем узким. И есть уже не хотелось.

Она положила хлеб обратно на тарелку и покачала головой. «Отчего это? Ведь я только что была голодна».

Она прошла по длинному коридору в столовую и села на диван. Николай все так же молча и раздраженно курил. Было тихо. В окно сквозь черные, голые ветви заглядывала луна. Лиза сжала холодные руки и вдруг неожиданно для себя громко и жалобно сказала:

— Коля. Мне страшно. Я боюсь.

Николай повернул к ней голову.

— Боишься? — резко спросил он. — Рано бояться.

— Что? Рано? Что ты говоришь?

— Ничего. Молчи. Нечего тебе бояться.

— Коля, — зашептала Лиза. — Я не могу. Мне так страшно сегодня. Как будто из всех углов...

— Молчи, — Николай побледнел, и губы его задрожали. Он быстро оглянулся. — Молчи. Мне, может быть, самому страшно.

— Коля, — Лиза прижала похолодевшие руки к груди и закрыла глаза. Стало совсем тихо, только кровь испуганно стучала в ушах.

Николай шумно отодвинул стул. Щелкнул выключатель. Над Лизиной головой зажегся яркий фонарь, Лиза открыла глаза.

— Глупости. Нечего бояться, — Николай был еще бледен. Он хотел улыбнуться, но губы не слушались. — Ты, Лиза, трусиха. Тебя курица забодает.

Он закрыл ставни, задернул желтые занавески.

— Это все от темноты, от тишины, от ожидания. Ты не бойся. Бояться нечего. Мы сейчас и в гостиной осветим.

Он принес ей платок.

— Закутайся. Тебе холодно. Сейчас теплее, сейчас веселее станет.

Он завел граммофон.

— Вот и музыка. Вот и хорошо. Теперь светло, тепло и музыка. Разве тебе еще страшно, Лиза?

Лиза сидела в углу дивана. Теплый платок лежал на ее застывших ногах. Глаза щурились от слишком яркого света, в уши врывались резкие звуки фокстрота.

— Вот и не хуже, чем в дансинге, — Николай уже спокойно улыбался. — А чтобы совсем весело стало, хочешь, потанцуем, воробей?

Он протянул к ней руки.

Она уже была готова встать — чего ей бояться, в самом деле, — и вдруг увидела на стене тень от его рук, огромную, черную, безобразную тень. Черные руки будто протягивались к ней, длинные, когтистые пальцы тянулись к ее горлу. Она прижалась к дивану.

— Оставь меня, не трогай! Не трогай!

Николай отшатнулся от нее.

— Что? Что с тобой? Чего ты кричишь, как резаная?

Но Лиза продолжала кричать, с ужасом глядя на тень его все еще протянутых к ней рук:

— Не трогай меня! Я боюсь! Я боюсь тебя!

9

Этот вечер прошел, как и все вечера, когда мать Кромгуэля не выезжала, за чтением книг и обрывочными разговорами. В гостиной с камином и низкими мягкими креслами было тихо и уютно, как бывает в благоустроенном английском доме, а не в большой парижской гостинице.

В половине одиннадцатого мать Кромгуэля отложила книгу и встала с кресла.

— Спокойной ночи, Кром. Идите спать. Уже поздно.

Кромгуэль тоже встал. Лампа под белым стеклянным абажуром бросала матовый свет на его взволнованное лицо.

Мать внимательно посмотрела на него.

— Что с вами, Кром? Вы как будто грустны. Здоровы ли вы?

Кромгуэль покраснел.

— У меня болит голова, — сказал он тихо.

Она приложила ладонь к его лбу.

— Жара нет. Спите спокойно. Завтра все пройдет.

Он молча поцеловал ее руку. Она коснулась губами его гладкой щеки.

— Вам скоро уже бриться придется, — она улыбнулась: «Вот и у меня взрослый сын». — Ложитесь скорей и не читайте в кровати.

Она пошла к двери спальни, на пороге остановилась, кивнула ему и подождала, пока Кромюэль вышел в коридор и потушил свет в гостиной.

«Какой он большой. Какой красивый. Мой сын».

Белая простыня и лиловое одеяло были откинута на широкой низкой постели.

Она медленно разделась. Платье легло на кресло, длинная нитка жемчуга мягко стукнулась о замшевое дно шкатулки. Она сняла кольца, вынула серьги из ушей, причесала щеткой короткие волосы, взглянула в туалетное зеркало на свое красивое, холодное, еще молодое лицо, тонкую шею и белые плечи.

«Я счастливая женщина, — подумала она смутно. — Мне так хорошо. Мне есть для кого жить. Для Крома».

Она легла, вытянула под одеялом свои длинные, мускулистые ноги.

«Завтра утром поеду кататься верхом в Булонский лес, — вспомнила она с удовольствием. — А потом завтрак у Джен. Да, очень приятно».

Она легла на спину, скрестила руки поверх одеяла и прочла вечернюю молитву.

Окончив, она повернулась на правый бок и закрыла глаза.

Сон был уже совсем близко. В голове, как разорванное прозрачное облако в пустом небе, плыли отрывки каких-то слов, каких-то фраз. Уже не было сил составить их, понять, что они значат. И вдруг плечи ее вздрогнули. Она открыла глаза.

— Кром, — сказала она громко. Беспокойство, животный страх за сына быстро пробежали по ее телу, подкатились к горлу. Страх самки за своего детеныша. — Кром.

Ее сердце сжалось, как всегда, когда ее сыну грозила какая-нибудь опасность или болезнь. Знакомое чувство страха за него отдалось болью в ее теле. Той незабываемой, страшной болью, которую она испытала в первую минуту его рождения, его жизни, когда кровная связь, связывающая мать и ребенка, еще не была перерезана.

Она села, провела рукой по лбу.

— Что со мной? Кром дома, Кром спит. Он здоров, мне нечего волноваться. Это нервы. Нервы, — прошептала она, кривя губы так же презрительно, как и Кромуэль, когда он произносил слово «нервы».

Она зажгла лампу на ночном столике, выпила воды.

«Я просто устала. Хорошо, что мы через неделю возвращаемся домой. Это путешествие длится слишком долго». Кром. О Кроме нечего беспокоиться. Конечно, Лесли видел его в подозрительной компании в ресторане. С ужасными девчонками, ужасными мальчишками. Но ведь это так понятно в его годы. И когда она поговорила с ним, он просил у нее прощения. Его учитель очень доволен его успехами. Он добрый, он благородный мальчик. Он так похож на отца. Все хорошо. Ей не о чем беспокоиться.

Она снова положила голову на подушку и закрыла глаза.

«Я все-таки буду очень рада, когда Кром вернется в Итон», — подумала она, засыпая.

Дверь тихо скрипнула, кто-то вошел. Она очнулась.

«Вор», — сразу поняла она. И сейчас же, еще не совсем придя в себя и еще не открывая глаз, сунула руку под подушку за револьвером и пальцы нащупали холодную сталь. Она не испугалась. Она была храбра и всегда чувствовала какой-то особый подъем перед опасностью и когда охотилась с мужем на львов, и в Швейцарии, когда она чуть не погибла, сорвавшись с горы в пропасть.

Она лежала, не шевелясь, ровно дыша, прислушиваясь к шороху. Потом, будто во сне, осторожно повернула голову и приоткрыла веки.

В комнате было почти темно. Матовый фонарь на ночном столике тускло светил.

Кромуэль, ступая на носки и вытянув руки вперед как слепой, медленно подвигался к туалету. Она не шевельнулась, не крикнула. Только пальцы ее, сжимавшие револьвер, разжались.

Кромуэль остановился, раскрыл шкатулку, потом выдвинул ящик секретера и стал быстро засовывать что-то в карманы.

Она дышала ровно и спокойно. Он обернулся, испуганно взглянул на мать бегающими, косящими от волнения глазами.

«Он косит, — подумала она отчетливо и спокойно, как о жуе. — Я никогда не замечала раньше, что он косит».

Будто сейчас единственное, что занимало ее, был вопрос о том, косит ли Кромуэль или нет.

В гостиной потух свет, дверь в коридор тихо закрылась.

Тогда она встала и подошла к туалету. Она не совсем еще верила. Может быть, он пришел просто взять книгу. Но шкатулка была пуста, и деньги из ящика исчезли.

— Вор, — сказала она громко. — Кромуэль вор, — и прислушалась к звуку своего голоса.

Она увидела в темном зеркале свое бледное, сразу постаревшее лицо и с отвращением и страхом отвернулась.

— Мать вора. Я мать вора.

Она вспомнила, как несколько лет тому назад присутствовала на скандальном процессе. Молодой человек из хорошей семьи обокрал банк. Весь Лондон сбежался в суд. Мать вора, старая женщина в трауре, не переставая плакала. Его приговорили к десяти годам тюрьмы. Было жарко и скучно, и она жалела, что пошла. Тогда ей казалось, что все люди разделены на две части — на честных и преступников. И между ними непреходимая пропасть. Все, что касалось преступников, было отвратительно и неинтересно. Никогда, ни на одну минуту она не задумывалась о них. Ей даже не было жаль плачущей женщины в трауре. Разве можно жалеть мать вора?

— А теперь Кромуэль — вор, — повторила она. — Вор.

Уже не было пропасти, все смешалось, он уже был по ту сторону, среди преступников. И она, его мать, была там же. Он ее сын. Он сын Джеймса.

— Какое счастье, что Джеймса убили, — прошептала она и заплакала.

Что делать? Что теперь делать? Она плакала долго, пока не ослабела от слез. Ничего сделать нельзя.

«Завтра мы уедем в Лондон, — решила она наконец. — Завтра утром я поговорю с ним. Надо дождаться утра, успокоиться. Ведь все равно теперь ничего не поправишь». Если даже никто не узнает, если даже его никогда не будут судить и не сошлют на каторгу. Он все равно навсегда останется вором. И она никогда не забудет, что она мать вора.

Она снова легла. Натягивая одеяло, она коснулась своей голой груди и с гадливостью отдернула руку, будто дотронулась до жабы, так противно ей было ее собственное тело.

10

Лиза открыла Кромуэлю. Он вошел быстро, будто за ним гнались, и запер дверь на два поворота. Они стояли друг перед другом, растерянные и бледные.

— Принес? — спросила Лиза, и голос ее сорвался от волнения.

— Вот, — он протянул ей длинную нитку жемчуга и стал вытаскивать деньги из кармана пиджака.

— Подожди, Кром. Куда я их положу? Пойдем ко мне. Там отдашь. Сними пальто.

Он послушно засунул смятые бумажки обратно в карман.

Лиза пошла вперед. Жемчуг, как четки, свисал с ее руки.

— Тише. Коля уже спит.

— Спит? — переспросил он с верхней ступеньки.

— Ну да. Спит. Ты не понимаешь? — она через плечо посмотрела на него. Он поднимался медленно. У него было совсем новое, усталое и покорное лицо.

Лиза зажгла свет.

— Садись на диван, Кром. Тебе тяжело было?

— Да, тяжело. Но я думал, что будет еще тяжелее.

— Она не проснулась?

— Нет, она спала. Она даже не пошевелинулась во сне, — он замолчал на минуту. — Но завтра она все равно узнает, — сказал он как будто рассеянно.

Лиза села рядом с ним. Ей хотелось утешить, успокоить его. Нет, ей не утешать его надо. Нет, ей надо, необходимо что-то сказать ему. Но что? Что?

Он встал, выложил из кармана на стол деньги, серьги и кольца.

Лиза даже не повернула головы, не взглянула на них.

— Кром, послушай, — она сжала руки на коленях. — Кром. Знаешь, мне кажется, тебе не следует ехать в Россию.

— Почему?

— Я не знаю. Но не надо. Не поезжай. Я боюсь за тебя, Кром, — прошептала она. — Я боюсь за тебя, — повторила она, и эти слова вдруг объяснили ей все: и волнение, мучавшее ее весь день, и непонятный страх. Все стало ясно: она боялась за Кромюэля. Она не понимала еще, какая ему грозит опасность, но знала, что эта опасность уже совсем близко.

Она встала, подошла к нему.

— Кром, тебе не надо ехать. Кром, все еще можно поправить. Ведь твоя мать спит.

Она быстро собрала деньги и драгоценности со стола.

— Возьми, возьми все это. Отнеси домой. Иди домой, Кром. Никто ничего не узнает. Иди домой.

Он удивленно смотрел на нее.

— Что ты говоришь? Разве не ты сама...

Она взяла его за руку.

— Кром. Я тебя прошу. Иди домой, Кром. Ну да. Я сама уговорила тебя. Но я тогда не понимала. Тебе не надо. Нельзя. И зачем тебе Россия? Ведь ты англичанин. Кром, возьми жемчуг, возьми деньги. Иди домой.

Он покачал головой.

— Перестань, Лиза.

— Кром, я тебя умоляю, иди домой.

Она старалась засунуть деньги в его карманы. Он взял ее руки в свои и, нагнувшись, заглянул в ее глаза.

— Так не ведут себя храбрые женщины.

— Если ты любишь меня, Кром, я прошу тебя.

— Именно оттого, что я люблю тебя. Теперь все равно поздно. Я все равно уже погиб. Я вор. Единственное, что мне осталось в жизни, это ты.

— Кром, но ты не подумал. Ведь тебя могут убить в России.

— Но ведь и тебя могут убить. Мы будем вместе. Я очень несчастен. И я совсем не так дорожу жизнью.

Он обнял ее.

— Поцелуй меня, Лиза. Не будем говорить об этом.

Она подняла к нему лицо, увидела его светлые, еще совсем детские глаза и, задыхаясь от нежности, страха и жалости, почувствовала на своих губах его горячие губы. И вдруг сквозь поцелуй, сквозь стучащую в ушах кровь, сквозь нежность и жалость донесся тихий шорох. Тихий, еле слышный. Лиза откинула голову назад и, все еще глядя в светлые, детские глаза, прислушалась. За дверью что-то слабо щелкнуло. И все стихло.

— Что это? — она снова приблизила губы к его горячим губам, закинула руки за его шею, слабая от страха, жалости и нежности, цепляясь за него, чтобы не упасть.

— Как ты побледнела. Тебе дурно?

— Нет, нет. Поцелуй меня еще раз, Кром, милый Кром.

Она прижалась к нему, потом быстро сняла руки с его плеч и отодвинулась.

— Подожди. Сядь на диван.

— Ты уходишь?

— Нет, нет. Подожди, Кром, я сейчас.

Она тихо подошла к двери, взялась за ручку. Дверь не поддавалась.

— Заперто, — подумала она. — Снаружи заперто. На задвижку.

Она ничего не сказала. Она молча подошла к окну, раздвинула занавески и открыла окно. Луна ярко освещала сад, гладкая стена

под окном блестела. Ни водосточной трубы, ни уступа. Если спрыгнуть, сломаешь ногу.

Она закрыла окно, задернула занавеску.

«Кром может выломать дверь. Он сильнее Николая. И я ему помогу», — подумала она.

Кромуэль протянул к ней руку.

— Изольда, иди ко мне. Что ты там осматриваешь?

— Кром, я тебя прошу в последний раз. Иди домой.

Он покачал головой.

— Оставь. Я никуда не уйду. Даже если бы я должен был через час умереть, я не уйду от тебя.

Лиза вздохнула.

— Ну хорошо. Раз ты не хочешь. Тогда... — она помолчала. — Тогда давай ложиться спать, Кром. Уже очень поздно, — быстро dokonчила она и покраснела.

Ей стало неловко.

— Мы ляжем не раздеваясь. Хорошо? Диван широкий.

Он тоже покраснел. Он нерешительно смотрел на нее.

Она достала из шкафа плед и подушку.

— Ты можешь спать одетым?

— Конечно, могу.

— Подушка одна. Нам придется положить головы рядом. Тебе не будет неудобно? Ну что же ты? Ложись.

Он лег к стене, она легла рядом с ним и потушила свет.

— Хорошо тебе, Кром? Тепло?

— Очень хорошо.

— Какой ты длинный. Какие у тебя крепкие руки. Если тебе неудобно, можно раздеться.

Она прижалась к нему в темноте.

— Нет, не надо. Так хорошо.

Она еще сильнее прижалась к нему.

— Кром, милый, милый, — зашептала она над самым его ухом. — Я так, так люблю тебя. Я так благодарна тебе. Если бы ты захотел, я ни в чем не отказала бы тебе, Кром.

Он отодвинулся, даже немного оттолкнул ее.

— Этого не надо, нельзя этого, — голос его звучал испуганно.

— Но почему? Почему? Раз я сама хочу. Мне так хочется, чтобы ты был счастлив.

Он снова обнял ее.

— Я и так счастлив, — он поцеловал ее холодную щеку. — Вот когда вернемся из России, когда мы будем совсем взрослыми, тогда мы поженимся.

— Ах, Кром. Мы никогда не будем взрослыми.

— Кто знает? Может быть, мы доживем до ста лет.

— Нет. Нет. И зачем ждать, всегда ждать. Почему ты не хочешь сейчас? Почему?

— Потому что этого нельзя.

Он наклонился над ней в темноте и целовал ее шею, ее губы, ее глаза.

— Ты плачешь. Отчего ты плачешь, Изольда?

Она тихо вздохнула сквозь слезы.

— Оттого, что нам так мало осталось жить.

Он заснул первый. Его голова тяжело лежала на ее плече. Она боялась шевельнуться, чтобы не разбудить его. Слезы все еще текли по ее щекам. Никогда еще она не чувствовала такой жалости, такой нежности, такой слабости. Сквозь неплотно задернутые шторы слабо серело окно.

Она пристально всматривалась в его спящее лицо. Она ни о чем не думала, ничего не помнила. Он спит. Он так спокойно дышит и такой теплый. Совсем как маленький. Она поправила плед под его подбородком.

«Совсем как маленький. Будто он мой сын. Спи, спи, маленький», — и она, улыбаясь, закрыла глаза.

Когда Лиза проснулась, Кромуэля уже не было рядом, и деньги и бриллианты уже не лежали на столе.

Лиза сошла вниз. Кромуэль, Андрей и Николай завтракали в столовой. На сковородке дымилась яичница с ветчиной. Николай разливал кофе. Он казался очень веселым. Лиза поздоровалась с ними и села на свое место.

Николай ухаживал за Кромуэлем.

— Что же ты не ешь? Хочешь, я зажарю тебе бифштекс?

— Спасибо. Я сыт.

Но Николай настаивал.

— Надо есть. Ведь ты привык плотно завтракать. И на дорогу всегда...

«На дорогу». Лиза увидела перед собой паровоз, русские желтые, синие и зеленые вагоны. Этот поезд повезет ее в Москву.

— Лиза, а ты чего не ешь? Тебя угощать надо?

Лиза удивленно повернулась к брату. Какой он заботливый. Давно уже она не видела его таким.

«Это оттого, что мы наконец едем. Оттого и Андрей мрачный, — подумала она, глотая горячий кофе. — А что Коля дверь запер, он был прав. Я чуть все не испортила».

Она подняла голову.

— Если сегодня ехать, когда же чулки и шандаи покупать?

Николай рассмеялся.

— Ах, ты опять о шандаях. Кто о чем, а ты все о шандаях. Ну, поезжай. Купи себе.

Он достал из кармана две стофранковые бумажки.

— Смотри, чтобы теплые были.

— А вам?

— Нам не надо. Нам приготовлено, на границе все выдадут. Только в шесть часов будь дома.

Лиза взяла деньги.

— Хорошо.

Николай встал из-за стола.

— Слушай, Кром, ты бы написал матери.

Кромюэль пожал плечами.

— Зачем?

— Чтобы она не беспокоилась. Напиши, что ты вернешься через три месяца. И что деньги и вещи ты взял не для себя, а для... — Николай остановился, подыскивая слово, — ну, скажем, для общественного дела.

— Как будто это что-нибудь меняет. Ей безразлично, зачем я украл.

— Нет, нет, — заторопился Николай. — Это все меняет. Ты должен написать. Скажи ему, Лиза.

Лиза кивнула.

— Конечно, Кром, напиши.

Кромюэль задумался.

— Хорошо. Раз вы хотите. Дай мне бумаги. Я напишу, хотя это и ни к чему теперь.

Лиза следила за его пером, быстро покрывавшим белую страницу черными непонятными словами.

Он облизал и заклеил конверт. Николай взял его.

— Лиза, брось в ящик.

Лиза подошла к Кромюэлю.

— Ты не хочешь пойти со мной за покупками, Кром?

— Ему нельзя выходить, — вмешался Николай. — Его могут увидеть на улице. Увидят — беда.

Лиза вздохнула.

— Что же, если нельзя... — она взяла Кромюэля за руку. — Мне так не хочется расставаться с тобою сегодня, Кром. Пойдем, проводи меня.

В прихожей он снял с вешалки и подал ей ее короткое пальто с золотыми пуговицами.

Она надела берет и, улыбаясь, посмотрела на Кромуэля.

— Ты сегодня ночью спал совсем как маленький. Как будто ты мой сын, — сказала она смущенно и покраснела. — Ну, до свиданья, Кром.

11

Было шесть часов. Лиза возвращалась домой, прижимая сверток к груди.

Чулки теплые, хоть на Северный полюс. И перчатки тоже. Но особенно ее радовал шандай. Такой пушистый, легкий, из верблюжьей шерсти. Может быть, нехорошо только, что розовый? Удобно ли розовый? Жанна д'Арк вряд ли надела бы розовый. Но тогда ведь не носили шандаев. И менять теперь все равно поздно. Скажу Коле, что другого не было.

Она открыла дверь своим ключом и вошла в темную прихожую. Сырой воздух ударил ей в лицо.

Холодно, как на улице. И дом уже заброшенный, не жилой. Но ведь сегодня ночью нас уже не будет здесь.

— Алло, — крикнула она. Голос ее прозвучал громко и гулко. Никто не ответил ей. В гостиной было пусто. Кромуэль сидел под лампой в столовой и, наклонившись над путеводителем, выписывал что-то.

— Посмотри, что я купила.

— Подожди, сейчас. Николай просил меня составить маршрут, а я плохо разбираюсь.

— А где они?

— Наверху. Укладываются, верно.

Лиза побежала наверх.

— Коля, — позвала она.

Дверь из комнаты Николая отворилась, и Андрей просунул голову.

— Не мешай. Мы заняты.

— Я хотела показать шандай.

— После, после. Купила, и слава Богу.

— Посиди внизу, — крикнул Николай. — Ты нам сейчас понадобисься.

Лиза вернулась в столовую и села на диван, все еще держа сверток на коленях. Как холодно. Хоть бы камин затопили. Ничего, надо привыкать. В России еще холоднее.

Кромгуэль что-то записывал, шурша страницами путеводителя.

Лиза прислонилась к стене. Все было как и вчера. Пыль все тем же густым слоем покрывала буфет, и грязные тарелки все так же стояли на запачканной скатерти. И было так же тихо. И должно быть, оттого, как и вчера, стало грустно и беспокойно.

«Мы сегодня едем».

Но от этой мысли не стало легче. Снова, как вчера, вместе с холодом в кровь осторожно пробиралась тревога, и руки уже начинали дрожать.

«Ну да, конечно. Это лихорадка перед дорогой. Это всегда у всех. Так и называется — Reisefieber».

Но руки дрожали все сильнее, сердце тяжело и тревожно стучало.

— Кром, ты кончил?

— Сейчас, сейчас.

В тишине зашуршали листы. Лиза вздохнула. Как тяжело, как томительно.

Скорее бы уехать из этого заброшенного дома. Скорей бы уже. Андрей, хоть бы он сошел проститься. Нет, об Андрее не надо думать.

Отчего ей так тревожно? Так тяжело?

— Лиза, — громко позвал Николай сверху.

Лиза вскочила и побежала в прихожую. Вот сейчас все пройдет. Сейчас будут торопиться, укладываться, потом поедут. О чем ей беспокоиться? Все будет хорошо.

Николай спустился по лестнице и решительными большими шагами подошел к ней.

— Надень пальто, — сказал он хрипло. — Ты пойдешь в сад и, если кто придет, скажешь, что никого дома нет, а ты забыла ключ и сама не можешь попасть домой. Поняла?

— Что? — она растерянно смотрела на него и только теперь заметила, что он был очень бледен. — Зачем в сад?

— Не рассуждай. Поняла? Входить не смей, пока я не отопру дверь. Ну, одевайся.

— Я, — прошептала она, и колени ее затряслись. — Я не хочу, я не пойду. Зачем?

Он взял ее за плечо.

— Не пойдешь? — повторил он протяжно. Это уже не был Коля, это уже не был ее брат. Это был чужой, страшный, на все способный человек. И в первый раз Лиза почувствовала страх за себя, за свою жизнь.

Он снял ее пальто с вешалки.

— Живо. Если кто придет, не пускай. Поняла?

Она долго надевала пальто, не попадая в рукава. Страх сжал ей горло, пробежал вниз по рукам, по груди, по спине, докатился до колен, и ноги стали слабыми и пустыми, будто из них вынули кости. Не было сил стоять, ноги уже не держали ее, хотелось опуститься на пол. Но страх гулко стучал в груди: «Нельзя, нельзя. Упадешь, пропадешь».

Она метнулась к выходу. Николай преградил ей дорогу.

— А шляпа, перчатки?

Она протянула дрожащую руку за беретом. Он открыл ей дверь.

— Ну, иди. И помни.

Она прошла мимо него, думая только о том, чтобы не упасть.

— Не пускай никого в дом.

Дверь захлопнулась.

Легкий, почти весенний ветер ударил ей в лицо. Цепляясь за перила, она спустилась в сад.

«Что это? Зачем я тут?»

Она села, крепко держась за спинку скамьи.

Деревья наклонились над ней, закачались и тихо поплыли. И небо качнулось, заколебалось и серым, густым, холодным туманом медленно спустилось на дом, на сад, на Лизу. Лизе казалось, что она не в саду, а на дне реки, и не туман, а вода кругом.

Она вздохнула, и туман, как вода, хлынул в ее открытый рот. Она хотела крикнуть и захлебнулась туманом. Туман проник в ее сердце, туман заволок ее мозг. И уже не было ни страшно, ни мучительно.

Она положила голову на спинку скамьи. Это только сон. Это снится мне.

В серый, густой туман медленно, беззвучно, как большая рыба, въехал длинный черный автомобиль. Круглые, большие фонари, похожие на рыбы глаза, ярко светили.

«Это сон, — смутно подумала Лиза, — это мне снится. И туман, и сад, и автомобиль».

Автомобиль подъехал к самому забору и остановился. Из него вышел высокий человек в сером пальто. Он открыл калитку. Это

сон. Но из сна, из тумана выплыло бледное, страшное лицо Николая и хриплый голос сказал над самым ее ухом:

— Не пускай никого в дом.

Она вскочила, и ее сон сразу перешел в действительность. Или, может быть, действительность перешла в ее сон.

— Что вам надо? — крикнула она.

— Здесь живут русские? — спросил человек в сером пальто.

— Какие русские?

Он шагнул к ней в темноте, вглядываясь в нее с трудом.

— Да, это вы, — сказал он по-французски. — Вы были тогда в ресторане с Кроммуэлем.

— Вы тот. Вы двоюродный брат Крома.

Она тоже узнала его.

Он кивнул. Деревья тихо качались над его головой. Свет непотушенных автомобильных фонарей прорезал двумя белыми полосами черный сад.

— Да. Видите ли, я хотел узнать, спросить. Кром ушел из дому вчера ночью и не возвращался больше. Он не был у вас?

— Нет, — сказала Лиза быстро. — Мы уже больше месяца не видели Крома.

«Нельзя, чтобы он узнал, что Кром у нас», — несло в ее голове.

— Он ушел и не возвращался. Его всюду искали. Заявили в полицию.

— В полицию? — переспросила она.

— Да. Я вспомнил, что вы его друзья. Он мне как-то сказал ваш адрес. Фамилию я забыл. Я думал, может быть он у вас.

— Нет. Кром не приходил к нам с той ночи в ресторане.

Она покачала головой.

Он наклонился к ней. Она увидела, что он улыбается.

— Вы, помните, мне тогда показали язык?

— Я была очень зла на вас. Простите.

Он рассмеялся.

— Какая вы забавная. Мне вы тогда показались взрослой, а вы совсем ребенок.

— Это от платья.

— Но я сразу разглядел, что вы очень хорошенькая.

Она ничего не ответила.

— Что вы делали так поздно в саду? Холодно. Вы простудитесь. Идите домой.

— У меня нет ключа. Я не могу попасть домой. Дома никого нет. Я жду брата.

Он взял ее за руку.

— Вам нельзя здесь оставаться. Вы замрзнете. У вас уже совсем ледяные пальцы. Поедемте в какое-нибудь кафе. Вы выпьете там грог, согреетесь.

Она покачала головой.

— Нет. Мне надо ждать брата.

— Тогда пойдем посидим в автомобиле. Там теплее.

Она послушно пошла за ним, села в его автомобиль.

Он закутал ее меховым одеялом.

— Лучше так? Хорошо?

— Хорошо.

Он зажег свет.

— Ну, покажитесь, какая вы?

Она подняла к нему взволнованное лицо.

— Вот какая. Я вам нравлюсь?

— Страшно нравитесь, — серьезно сказал он.

— Как вас зовут?

— Лиза. Элизабет.

— Я буду вас звать Бэтси. Можно?

Сон продолжался. И этот автомобиль, и эти черные деревья, и незнакомый человек в сером пальто, все это только снится.

Она сбросила одеяло, оживилась, поправила волосы.

— Да посидите же тихо. Вы как ртуть.

Она рассмеялась. Быть веселой казалось очень легко. Она уже не знала, страшно ли ей или весело.

— Я понимаю, что Кром был в вас влюблен, — он помолчал. — Я сам уже влюблен в вас.

— Ну, уже так быстро?

— Да, так быстро.

Она протянула ноги вперед, уперлась ими в стену автомобиля, потом немного спустила чулок и показала ему синяк на колене.

— Видите. Я вчера упала. Больно.

Он нагнулся к ее ногам.

— Поцелуйте, чтобы не было больно.

Он коснулся губами ее гладкой, холодной кожи. Она осторожно оттолкнула его голову.

— Довольно. Теперь поезжайте. А то вернется брат, и мне попадет.

— Он разве строгий?

— Ужасно, — она выпрыгнула из автомобиля. — Ну, до свидания.

Он поймал ее за рукав.

— Когда я вас увижу?

— Не знаю. Поезжайте же, — нетерпеливо повторила она.

— Можно мне к вам завтра приехать?

— Нет.

— Тогда поедemте завтра вместе обедать.

— Нет.

— Слушайте, — он достал из бумажника визитную карточку. — Вот мой адрес. Спрячьте. Вы позвоните мне, и мы поедем завтракать в шикарный ресторан. Обещаете?

Она спрятала карточку в карман пальто.

— Обещаю. Только уезжайте скорее.

— Так я буду ждать. До свидания.

Автомобиль тронулся.

Уже не было тумана. На улице горел фонарь. Высоко на небе стояла круглая, белая луна. От холода стыли руки.

Луна ярко освещала маленький розовый дом. Розовые ставни были закрыты, и шторы наверху задернуты.

«Что они там делают? Почему мне нельзя домой».

Она подошла к крыльцу.

«Мне холодно. Я позвоню».

Но она не посмела подняться по ступенькам и позвонить.

«Подожду еще».

Наверху шевельнулась штора, узкий желтый луч упал вниз. Чье-то лицо мелькнуло в окне, штора снова задернулась. Лиза, подняв голову, посмотрела вверх. Но штора больше не шевелилась.

«Что же это? Долго еще ждать? Зачем?»

И вдруг дверь тихо отворилась. Никто не вышел из нее. Она стояла, открытая в темную прихожую. И все было тихо.

Лиза, не двигаясь с места, смотрела на эту четырехугольную черную дыру.

— Иди же, — услышала она тихий голос.

Она робко поднялась на крыльцо, вошла в темную прихожую. Николай стоял у стены, тень его вытянулась до потолка.

— Закрой дверь, — зашептал он. — Кто приезжал?

— Двоюродный брат Крома.

— Что он хотел? Что ты сказала? — испуганно шептал он.

— Он спросил, не был ли Кром у нас. Я сказала, что мы уже шесть недель не видели Крома.

— Что он еще говорил?

— Больше ничего.

— Он не сказал, что завтра приедет?

— Нет.

— Он поверил?

— Да. Отчего тут темно?

— Сейчас.

Николай повернул ключ в замке и зажег свет. Он был так же бледен и казался усталым. Руки его бессильно свешивались вниз.

— Послушай, — сказал он хрипло. — Мы не едем. Этот Кромуэль отказался в последнюю минуту. Я отдал ему деньги и бриллианты.

Лиза прижала руки к груди.

— Не едем?

— Он не захотел подписать бумагу. Мы поссорились. Он... он ушел.

— Ушел? Как же я не видела?

— Он ушел черным ходом.

Из гостиной вышел Андрей. Воротник его рубашки был расстегнут. Влажные волосы прилипали к его лбу.

— Ложись спать, Лиза, — сказал он, не глядя на нее. — Ведь ты не спала прошлую ночь.

Лиза молча стала подниматься к себе.

— Хочешь чаю? — спросил Николай вдогонку.

Она, не ответив, пошла скорее.

У себя она села в кресло, не снимая пальто.

— Не едем, не едем, не едем, — повторила она. — Вот и конечно. Не едем.

На лестнице раздались шаги. В соседнюю комнату вошли.

— Теперь все в порядке, — сказал голос Андрея. — Можно лечь.

— Нет. Надо еще взглянуть в ванной. Там, кажется... Пойдем.

— Я не могу. Не могу. Пойди ты, — голос Андрея оборвался. — Я не могу больше, — почти простонал он.

— Ну хорошо, хорошо, — зашептал Николай. — Ты ляг, успокойся. Я сам.

Шаги снова спустились. В тишине ясно раздался странный звук, будто полотеры натирали щеткой пол.

Лиза прислушалась: «Что это? Пойти посмотреть?» Но она не двинулась. «Не надо. Это меня не касается. Я должна держать себя в руках, — она сжала пальцы. — Это меня не касается, — она подняла плечи, стараясь уйти в пальто, как улитка в свой домик. — Это меня не касается. Надо лечь, — подумала она. — Лечь и спать. Я устала, и мне надо уснуть».

Она встала, в темноте сняла бархатную покрывалку с дивана, разделась и легла.

«Ни о чем не надо думать. Надо спать. Я устала, — она закрыла глаза. — Считать до ста. И потом опять до ста. Только не думать. Сорок пять, сорок шесть сорок семь. Надо спать».

— Лиза, — тихо позвал Николай.

— Что тебе?

Лиза села. В голове все было ясно, будто она ни на минуту не засыпала. Николай в пижаме стоял перед ней. Дверь в его комнату была открыта. На столе горела желтая лампа.

— Лизочка, я разбудил тебя, прости. Я думал, ты не спишь, — Николай виновато и растерянно улыбнулся. — Мы с Андреем не можем заснуть. Я думал, ты тоже. Мы так разнервничались с поездкой, со все этой историей.

Он замолчал. Лиза снова сжала руки. Только держать себя в руках, не ослабеть.

— Лизочка, — попросил Николай жалобно. — Пойдем к нам. Посиди с нами немножко, поболтай с нами, Лизочка.

— Хорошо.

Лиза встала с кровати, накинула платок на ночную рубашку и босиком пошла за Николаем.

Андрей лежал на узком диване, покрытый клетчатым пледом, под которым вчера спал Кромуэль.

— Вот веди к нам птичку. Она нас развлечет.

Николай лег в кровать и натянул одеяло.

— Устраивайся у меня в ногах, Лизочка.

Лиза села и завернулась в платок.

— Ну, Лизочка, расскажи что-нибудь, — попросил Николай.

— Что же рассказать?

Николай рассмеялся.

— Что у тебя за тон. Как у учительницы. И голос деревянный. Ты сердисься, что я разбудил тебя?

Лиза покачала головой.

— Нет. Я не сержусь.

— Тогда что же с тобой?

— Я очень устала.

— Сейчас, сейчас пойдешь спать, ты не сердись. А завтра мы тебе лисицу купим. Ты ведь давно хотела лисичку. Завтра купим, — лстыиво и вкрадчиво говорил Николай.

Лиза смотрела прямо перед собой на желтую лампу.

Андрей поднял голову с подушки.

— Отчего ты такая скучная, Лиза? Ну, расскажи же что-нибудь.

— Я не знаю, что рассказывать.

— Ну, — Николай взял ее за локоть. — Ты знаешь, ты ведь умная, ты веселая. Помнишь, как ты мне в детстве по ночам сказки рассказывала?

Андрей оживился.

— Ты умеешь рассказывать сказки, Лиза? Расскажи сказку, какую-нибудь, все равно о чем. Чтобы можно было заснуть.

Лиза смотрела все так же прямо перед собой.

— Хорошо.

— Рассказывай. Ну, рассказывай, — торопил Андрей.

Николай положил голову на подушку.

— Лиза, помнишь про Морковь Леопардовну, помнишь?

— Помню.

— Так про Морковь и расскажи.

Лиза плотнее закуталась в платок.

— Хорошо. Слушайте. Жила-была на свете, — начала она ровным голосом, — важная дама. Звали ее Морковь Леопардовна фон Штрипки. Была она очень важная и богатая и собственных лошадей держала. А родители ее были зайцы. Обыкновенные серые зайцы, и она стыдилась их. Вот однажды...

Лиза долго и деловито рассказывала историю Моркови Леопардовны фон Штрипки и ее родителей зайцев.

Первым заснул Николай. Лиза повернула голову.

— Андрей, спишь? — спросила она тише.

Андрей не ответил.

Тогда она встала и на носках прошла к себе.

«Теперь и я могу лечь. Теперь и я могу заснуть».

Она вытянулась под одеялом и, сжимая руки, чтобы и во сне держать себя в руках, не распусться, не ослабеть, закрыла глаза.

12

Лиза проснулась от стука захлопывающейся двери.

— Коля, — крикнула она. — Андрей.

Но все было тихо.

Она встала, раздвинула шторы на окне и посмотрела вниз.

Перед калиткой стоял желтый ситроен. Андрей шел по саду с чемоданом в руках. Шляпа его была глубоко надвинута на глаза, и

воротник пальто поднят. За ним шел Николай, торопясь и оглядываясь, неся второй туго набитый чемодан.

Лиза видела, как они уложили чемодан в такси, не к шоферу, а к себе, и как такси тронулся.

«Чемоданы, чемоданы, — зубы ее застучали. — Одеться скорей. Уйти отсюда. Где чулки, где?»

От волнения все расплывалось перед глазами, руки беспомощно шарили по дивану.

«Где чулки? Нельзя же босиком».

Наконец она нашла чулки, надела платье и пальто, висевшее тут же на кресле.

Сейчас она уйдет. Только туфли, шляпу.

Теперь сбежать по лестнице, открыть входную дверь, и она спасена, она на свободе.

Только минуту еще, только одну минуту.

Она выбежала на лестницу, побежала вниз. Шаги ее громко звучали в тишине. Ей казалось, что это не ее шаги, а чьи-то чужие за спиной. Чужие, преследующие, нагоняющие.

Она на бегу обернулась и взглянула назад. Никого не было, все было пусто. Но на белой стене напротив окна чернела тень качающихся перед окном веток. Совсем как тянущиеся к ней руки. Совсем как руки Николая. Они тянулись к ней, вот-вот поймают ее, схватят за горло, задушат.

Она вскрикнула и, зажмурившись, побежала дальше.

В темном зеркале прихожей промелькнуло ее отражение.

Только бы руки не поймали ее. Только бы хватило сил отпереть дверь. Только бы не упасть.

От страха сердце уже почти не стучало. Не стучало, а чуть слышно шелестело: «Беги, беги. Упадешь — пропадешь». И уже нельзя было вздохнуть: «Вот тут упаду. Вот тут умру».

Она взялась за ручку двери.

«Кончено. Мне не уйти».

Но дверь легко поддалась.

Лиза стояла на крыльце, и солнце светило ей прямо в глаза. Она сошла в сад.

Калитка заскрипела, как всегда.

— Никогда в жизни я не вернусь в этот дом, никогда, — громко сказала Лиза.

Она вздохнула, провела рукой по лбу.

«Куда теперь идти? К кому? Одэт в Бордо. К кому же? Кролик, — вдруг вспомнила она. — Он добрый. Он поможет».

В кармане пальто лежало два франка. Лиза пошла к метро.
«Кролик поможет».

Ехать пришлось долго. Кролик жил теперь не в «Клэридже», а в маленьком отеле на бульваре Сен-Мишель.

— Господина Рохлина нет дома, — сказал хозяин из-за конторки.

— Можно мне подождать его?

Он оглядел ее осуждающим взглядом.

— Ждите.

Лиза робко присела на кончик стула.

Ждать пришлось недолго. Кролик уже катился к ней, круглый, розовый, помолодевший. Во рту торчала сигара, котелок боком сидел на голове, фарфоровые, голубые, выпуклые глаза предпримчиво поблескивали из-за стекол.

Он остановился, губы его улыбнулись.

— Лизочка? — он протянул ей короткую руку. — Здравствуй, Лизочка, — он совсем не удивился, как будто они виделись вчера.

— Кролик, Кролик, — Лиза сжала его руку в своей. — Кролик, помогите мне.

Он кивнул.

— Конечно, конечно, помогу, — и сдвинул котелок на затылок. — Вот что, поедем со мной, меня ждет такси. Ты мне по дороге все расскажешь.

И, не заходя к себе, он повернул к выходу.

— Ну так что же произошло? Наташа?

Лиза покачала головой.

— Нет. Наташа в Монте-Карло. Кролик, я ушла и больше не могу вернуться домой, не могу.

Такси медленно проезжало по набережной. Лиза отвернулась к окну, безучастно глядя на Сену.

Кролик ни о чем не расспрашивал. Он ласково гладил ее руку.

— Не надо огорчаться, Лизочка. Все устроится.

— Кролик, помогите мне. У меня нет никого на свете, кроме вас. Я не могу вернуться туда.

— Конечно, Лизочка. Я помогу тебе. Ты была добра ко мне тогда, помнишь? В тот страшный для меня день. Ведь я чуть не погиб тогда. Теперь я выкарабкался. Но тогда... Разве я могу забыть? Ты правильно сделала, что пришла ко мне.

Он задумался на минуту.

— Я сегодня еду в Берлин. Я совсем переселяюсь в Германию. Я возьму тебя с собой. Ты будешь моей дочерью, Лизочка.

Он обнял ее. Глаза его стали влажными от умиления.

— Ты будешь моей дочерью, Лизочка. Бедная моя, маленькая сиротка.

Она прижалась к нему.

— Вы возьмете меня с собой, Кроличек?

— Мы уедем сегодня. Ты никогда не была в Берлине? Ты увидишь, какой там порядок, как чисто. Я сведу тебя в Цоо. Это зоологический сад. Ты поступишь в немецкий пансион.

Он говорил все быстрее, вдохновляясь собственной добротой. Лиза слушала улыбаясь.

— Неужели правда?

— Я сделаю завещание в твою пользу.

Лиза рассмеялась.

— Кроличек, какой вы смешной. Ну зачем завещание? — она поцеловала его в щеку. — Какой вы милый. Спасибо. Как я вас люблю. Я всегда любила вас. Знаете, мы как-то обедали у Прюнье, и, когда принесли омара, он смотрел из миски, совсем как вы из такси. И я не могла его есть. Мне стало жалко, как будто я вас ем.

Он тоже рассмеялся.

— Ах, Лизочка, как мы с тобой чудно заживем, вот увидишь.

Он посмотрел на часы. Лицо его вдруг стало озабоченным.

— Уже половина четвертого. Мне еще надо по делу съездить. Ты посиди в кафе, пока я вернусь за тобой, Лизочка.

Он остановил такси и быстро вошел в маленькое кафе. Лиза шла с ним рядом, держа его за руку.

— Вы ненадолго, Кроличек. Я бы лучше поехала с вами. Мне так не хочется оставаться одной, Кроличек.

Он посмотрел на нее. Глаза его уже снова стали рассеянными и холодными.

— Нельзя, — сказал он коротко.

Он посадил ее у окна кафе и, не спрашивая ее, заказал бок.

— Я сейчас заплачу. Тебе будет спокойнее ждать. Ну, так я скоро. Не скучай.

Он помахал рукой на прощание. Лиза осталась одна.

Неужели все устроилось? Неужели она будет жить с этим милым, добрым Кроликом в Берлине?

Она старалась представить себе Берлин, широкие, прямые улицы с одинаковыми высокими домами.

«Будет ли меня любить жена Кролика? Конечно, — успокоила она себя сейчас же. — Ведь я стану такая послушная, добрая. Она

не сможет не любить меня. Есть хочется. Лучше бы Кролик заказал мне кофе и сэндвич, чем пиво. Ничего. Он сейчас придет и накормит меня».

Стемнело. На улице зажгли фонари. Часы пробили пять, потом шесть. Лиза ни о чем не думала. Она следила за проезжавшими автомобилями.

«Сейчас приедет Кролик».

Но он не ехал.

Гарсон с любопытством смотрел на девочку, сидевшую перед невыпитым боком.

Наконец он осторожно подошел к ней.

— Вы ждете кого-нибудь, мадмуазель?

— Да. Господина, который меня привез.

— Он, должно быть, уже не придет.

Лиза непонимающе подняла брови.

— Как не придет?

— Он, должно быть, забыл или ему помешали.

Она уверенно покачала головой.

— Нет. Этого не может быть. Он сейчас придет.

Когда часы пробили семь, Лиза встала.

— Где у вас телефон?

Она отыскала в телефонной книжке номер отеля Кролика.

— Мосье Рохлин больше у нас не живет, — ответил картавый голос. — Он час тому назад уехал с женой в Берлин.

Лиза повесила трубку и, медленно опустив голову, пошла через кафе к выходу.

— А за телефонный разговор? — крикнула ей кассирша из-за цинковой стойки.

Лиза положила на стойку последний франк и вышла на улицу.

«Что же теперь делать? Куда идти?»

О Кролике она не думала. Кролик, так же как все, что было вчера и сегодня ночью и утром, вдруг исчез из ее памяти.

«Что теперь делать?»

Она остановилась.

«Что теперь делать?»

По улице проезжали автомобили, прохожие торопились домой.

Домой. У каждого из них есть дом. А Лизе идти некуда. Она бездомна.

Она растерянно огляделась. Неужели это Париж? Париж, в котором она прожила столько лет. Нет, это не Париж. Это чужой, странный, необычайный город.

По широкой улице, обсаженной черными, голыми деревьями, шли люди. Их становилось все меньше. У них были бледные, несчастные лица, и голоса их звучали глухо. Темные, слепые дома с плотно закрытыми дверями и окнами казались мертвыми. Фонари тускло блестели в синеватом тяжелом воздухе.

С каждой минутой людей становилось меньше, и голоса их звучали тише, и фонари гасли. Вместе с шумом и светом из города уходила жизнь, она поднималась к небу, и небо оживало. В небе ярко зажигались звезды, и большая ослепительная луна торжественно катилась по тучам.

А город казался призрачным. И город и люди. Да, эти люди — призраки. Они только притворяются, что спешат. Они не живые, они призраки. Если подойти и сказать: «Я голодна. Помогите мне», призрак даже не повернет головы, не услышит. Он только рассеянно улыбнется и растает в воздухе.

Она одна в этом огромном призрачном городе. И ей некуда идти. Ей стало холодно. Она глубоко засунула руки в карманы пальто. Пальцы ее наткнулись на что-то жесткое.

«Что это?»

Она вынула визитную карточку из кармана.

— Лесли Грэй, отель «Мажестик», — прочла она при свете фонаря.

Лесли Грэй — это тот, что приезжал вчера. Его зовут Лесли Грэй, она и не знала.

— Лесли Грэй, — повторила она. И вдруг стало ясно: надо идти к этому Лесли Грэю. Больше идти не к кому.

Он говорил: «Когда я вас увижу? Обещайте, что напишете мне. Я уже влюблен в вас». И у него блестели глаза. Да, к нему можно идти.

Отель «Мажестик». Это на Клебер, около Этуаль. Как туда добраться пешком, через весь Париж?

Ноги стали тяжелыми, голова болела, и во рту был отвратительный металлический вкус. Она проглотила слюну. Это от голода. Ведь я ничего не ела сегодня.

Улицы были бесконечны. Она шла и шла. Ей казалось, что она идет уже несколько дней. Она с трудом передвигала ноги. Только бы не заблудиться.

Переходя через разрытую, чинившуюся мостовую, она споткнулась и упала. Полежать бы так. Нельзя. Она медленно встала, потеряла ушибленное колено и пошла дальше, потом провела рукой по лицу. Щеки были мокрые. Тогда она поняла, что она плачет. Она плакала, но ей не было больно. Больно не было — она не чувствовала боли.

«Не надо. Пройдет», — утешила она себя, не зная, к чему относится это «пройдет». К ушибленному колену, или к ней, или ко всему вокруг.

На площади Этуаль на нее чуть не наехала мотоциклетка. Она побежала и остановилась только перед большим зданием с террасой и круглыми фонарями. За широкими окнами стояли пальмы и мягкие кресла.

«Должно быть, это “Мажестик”».

Швейцар повернул перед ней дверь-вертушку.

— Лесли Грэй, пожалуйста, — сказала она ему.

Швейцар подозвал другого служителя.

— Мистер Грэй?

— Комната восемнадцатая, второй этаж.

Лиза пошла за служителем. В лифте ей показалось, что она задыхается. Но только на минуту. Она уже шла по широкому коридору, разбирая номера на дверях. Восемнадцатая.

Она постучала.

— Войдите.

Лесли Грэй стоял перед высоким зеркалом в белом жилете и старательно завязывал белый галстук.

— Положите фрак на постель, — сказал он не оборачиваясь. — Спасибо.

Лиза прислонилась к стене. Зеркало вдруг вытянулось в длинную галерею, и Лесли Грэй мелькнул где-то далеко в конце ее. Электрические лампочки, горевшие на потолке, огненным дождем полетели вниз, прямо на Лизу.

— Я пришла к вам, — с трудом проговорила она, борясь с захлестывающей ее слабостью, как утопающий с волнами. — Больше мне идти некуда.

Часть четвертая

1

Лиза жила в Нормандии, в охотничьем имении.

Лесли Грэй увез ее туда на следующее утро.

Дом стоял в большом парке. Весна была дождливая и ветреная.

Лиза вставала рано, надевала голубое платье, купленное готовым в Руане, расчесывала отросшие волосы, ведь здесь, в деревне, стричься было негде, и шла в столовую завтракать. За столом уже сидел Лесли в охотничьей куртке.

Он вставал, целовал ее в щеку.

— Хорошо ли вы спали, Бетси?

— Спасибо, хорошо. А вы?

Она наливала ему чай. Он ел жареную рыбу, яичницу, кашу, апельсиновое варенье.

— Кушайте, кушайте, — уговаривал он ее. — Вам надо пополнеть. Нельзя быть такой худой.

Она смотрела на него. Ей было немного противно. От вида рыбьей головы на пестрой тарелке и запаха поджаренного сала ее слегка мучило.

— Вы идете на охоту со мной сегодня?

— Нет, нет, — поспешно отказывалась она.

Он смеялся.

— Ну конечно, я так и знал. Когда же, наконец, вы согласитесь? Увидите, как весело стрелять зайцев. А вчера я встретил дикую козу. Вот бы принести ее к обеду.

Он вставал, снимал ружье со стены. Собаки с лаем и визгом бросались к нему из прихожей.

Лиза гладила их, кормила сахаром. Потом, накинув пальто на плечи, шла провожать Лесли. Дойдя до ворот, она поворачивала обратно.

— До свидания, Лесли. Желаю вам приятно охотиться.

— До свидания, Бетси. Не скучайте без меня.

До Лизы еще доносился его веселый свист и лай собак. Потом все стихало.

«Не скучайте». Она и не скучала. Она не чувствовала скуки. Она медленно возвращалась по широкой аллее. По обе стороны стояли прямые, высокие липы. На тонких черных ветвях прорезывались узкие, блестящие листья. Лизе казалось, что они нарисованы лаком на светло-сером небе. Облака проплывали, как дым. Дым, как облако, поднимался над домом. Белые хвостатые голуби сидели на крыше. Все кругом казалось ненастоящим. Как будто это был не настоящий парк и не настоящий дом, а театральные декорации. И даже бледное солнце в облачном небе напоминало больше театральную луну, чем солнце. Все было такое легкое, свежее, прозрачное, молчаливое. Слишком легкое, слишком прозрачное. И по-театральному нежное, по-театральному трогательное, лишенное тяжести и жизненной грубости.

Лиза подняла руку, погладила зеленые листья. Издали, как вздох, долетел выстрел. От пруда в пустое небо поднимался тонкий туман.

Нет, Лизе не было скучно. Она ни о чем не жалела, ничего не желала, ни о чем не помнила. Ей казалось, что душа ее летит в пустое небо, как этот дым, над деревьями, над домом. И оттого так легко дышать.

По пруду плыли гуси, лягушка тихо квакала. Среди сосен растилась круглая зеленая лужайка. Трава была еще новая, свежая. Никто еще не ходил по ней. И кому здесь ходить, кроме Лизы?

«Сюда на рассвете должно быть слетают ангелы», — подумала Лиза, смутно вспоминая свой сон.

Нет, ангелы не слетают на землю. Зачем бы они стали слетать на землю? У них на небе свои ангельские дела.

Лиза свернула на дорожку. К ней из дома бежал щенок.

— Тоби, Тоби, — подозвала она его.

Щенок был маленький, рыжий, длинношерстный. Она взяла его на руки.

— Как ты забрался так далеко? Устал?

Щенок лизнул ее ладонь и затих. Она поцеловала его, прижала к груди.

— Ты мой маленький, ты мой миленький, — тихо запела она, качивая щенка. — Ты мой маленький, ты мой миленький.

Она села на скамью. Слезы текли по ее щекам. Она не вытирала их. Она плакала, сама не зная, о чем. Ей не было ни грустно, ни скучно. Только в груди было пусто, будто душа ее покинула ее и белым дымом, белым облаком летела по пустому небу.

Но грустно ей не было. Ни грустно, ни страшно. Ведь она забыла всю свою прежнюю жизнь. Она никогда ни о чем не вспоминала. Ни о Париже, ни о брате, ни об Андрее. Она никогда не думала о «том», ни разу не додумала «того» до конца, не поняла, что там случилось.

Может быть, ничего и не было.

Ничего не осталось от ее прежней жизни. Она другая, она новая. Ее даже зовут теперь не Лизой, а Бетси. О чем этой новой Бетси плакать?

Но слезы текли и текли, холодные и соленые, и нельзя было их удержать. Лиза крепче прижала щенка к груди. Ведь только этого щенка она и любила на свете. Она прижалась щекой к его мягкой шерсти.

О чем он думает? Что бы он сказал, если бы мог говорить?

— Я люблю жареное мясо, но мне не дают.

Нет, он сказал бы ей:

— Мне с тобою очень приятно.

Лиза улыбнулась и вытерла глаза. А что он видит? То же, что и мы? Или все кажется ему иным? Она встала.

Дома она прошла в свою комнату и взяла книгу. «У Мэри серые глаза, — прочла она, — но у Джона голубые глаза».

И повторила несколько раз. Потом перевернула страницу.

Каждый день она выучивала заданный урок, вечером Лесли спрашивал ее. И между собой они всегда говорили по-английски. Лиза еще с трудом объяснялась по-английски, но для разговора с Лесли этого было достаточно.

Дождь стучал в окно. Камин чадил. «Что делает извозчик с носовым платком? Он потеет и вытирает себе лоб», — прочла Лиза и закрыла глаза.

Вот она, ее жизнь. И никогда другой уже не будет. Через полгода, когда ей исполнится пятнадцать с половиной лет, Лесли женится на ней и увезет ее в Англию. Но ничего не изменится. Только здесь в доме пять комнат, а там будет двадцать, и не сторожиха будет прислуживать к столу, а слуга в чулках и белых перчатках. И еще там гораздо больше собак и много лошадей. Но все останется по-старому. Так же будет идти дождь, и Лесли будет так же охотиться. И так же надо будет каждое утро вставать, и каждый день надо будет прожить до конца, и каждую ночь проспать до утра. Сколько еще этих дней и ночей?

Она больше уже не девочка, она взрослая. Как ни грустно было ее детство, но быть взрослой еще тяжелее. Она теперь взрослая. И уже безразлично, сколько ей лет: пятнадцать, двадцать или сорок. Раз все будет так и даже нет никакой надежды. Но она не жалуется. Ей не на что жаловаться. Пусть все так и будет.

«Что делает извозчик с носовым платком? Он потеет и вытирает себе лоб».

В окне за тонкой сетью дождя блестел пруд, чернели ветви деревьев, и весеннее небо широко раскрывалось над ними.

2

Лесли Грэй, возвращаясь с охоты, входил прямо к Лизе. Его охотничьи сапоги оставляли грязные следы на полу.

— Бэтси, смотрите какой большой, — и он, держа мертвого зайца за ноги, тряс им перед Лизиным лицом.

Кровь капала с мертвой заячьей морды.

— Красавец, не правда ли? А какой он вкусный будет с салатом из свеклы.

Лиза вежливо соглашалась.

— Да, красавец. Да, очень вкусный.

Потом надо было мыться и переодеваться к обеду. Лиза надевала свое второе, серое платье. Лесли менял охотничью куртку на пиджак и ждал Лизу в гостиной с ситцевыми креслами и облупившимися стенами.

Лиза входила, гладко причесанная.

Он вставал, целовал ее руку.

— Вы сегодня очень интересны, дорогая, — говорил он официальным тоном.

— Обед подан, — объявлял садовник и распахивал узкую дверь.

На этом роль садовника кончалась.

Лесли вел Лизу к столу. Ей было немного смешно.

Сторожиха, подвязав белый передник, подавала луковый суп.

За обедом разговор велся не об охоте. Об охоте говорили за завтраком.

За обедом говорили о будущей свадьбе, о будущей жизни.

Лесли наливал себе сидр.

— Ведь вы знаете, я капитан шотландских стрелков. Мы пройдем к алтарю под скрещенными саблями моих товарищей однополчан. Это очень торжественно и красиво. Они становятся шеренгой в два ряда, каждый держит в поднятой руке саблю, и сабли скрещиваются.

— Да, это должно быть красиво.

— Еще полгода нам скрываться и прятаться. Знаете, я иногда чувствую себя преступником, укравшим вас. Но чего не сделаешь из-за любви.

Лиза кивнула. Он говорил по-английски, она не все понимала, но это все-таки практика.

После обеда снова переходили в гостиную. Лесли устраивался у камина.

— Немного музыки, пожалуйста, — просил он.

Лиза послушно садилась за старый, расстроенный рояль и пела «All men river», которой он научил ее.

Ее печальный, нежный голос трогательно и легко поднимался под потолок.

Лесли довольно улыбался.

— Отлично, дорогая. У вас совсем негритянский выговор. И как тоскливо вы поете, будто вы на плантациях выросли. Идите сюда, Бетси.

Он сажал ее к себе на колени, целовал ее в затылок.

— Дайте нам пожениться, и вы через год забудете, что были когда-то русской, разучитесь говорить по-своему. Станете совсем англичанкой.

Лиза кивала. Конечно, она уже теперь все забыла. Она уже теперь англичанка.

Он гладил ее по голове.

— Очень хорошо, что вы отращиваете волосы. Это понравится моей матери. Надеюсь, она ничего не будет иметь против нашей свадьбы. Вы такая воспитанная, скромная девочка, вы ей понравитесь. И все-таки, хоть вы русская, но ваш отец был морским офицером, а дед генералом. Не так ли? Да, я надеюсь, моя мать ничего не будет иметь против.

Он наклонился и поцеловал ее в шею; щеки его покраснели, он громко задышал.

— Пересядьте, пожалуйста, на стул, Бетси. Вы меня слишком волнуете, дорогая.

Он закурил сигару. Лиза молча смотрела в камин на догорающие дрова.

— Это у нас должно быть в семье — сбегать и пропадать без вести. Кромуэль сбежал, потом я. Может быть, Кромуэль уже и нашелся. Ведь я не получаю писем. Как вы думаете, Бетси, нашелся он?

Лиза покачала головой.

— Может быть.

Может быть, он и вернулся. Она не знает. Она не думает об этом.

— Если Кромуэль нашелся, он будет шафером на нашей свадьбе.

— Конечно, — согласилась Лиза.

Говорить больше было не о чем. Лесли молча курил, протянув длинные ноги к огню.

Ветер тихо шуршал в саду. Ставни монотонно поскрипывали. Керосиновая лампа под зеленым колпаком освещала комнату бледным светом.

Дрова в камине почти догорели. Синеватое пламя пробегало по красным углям.

Лизе стало слишком жарко.

«Уже можно идти спать», — подумала она, глядя на дверь. Но двигаться было лень. Руки неподвижно лежали на коленях, и глаза, смотревшие на дверь, сонно суживались.

«Завтра будет дождь, — сонно подумала она, — барометр опять упал».

И вдруг дверь бесшумно и медленно отворилась и в комнату медленно и бесшумно вошел Кромуэль.

Он вошел и остановился.

Он был совсем такой, как в последний раз в Париже. На нем был тот же синий пиджак и те же желтые башмаки. Он держал в руке медный подсвечник.

Пламя длинной свечи колыхалось от сквозняка и бросало желтый ответ на его розовые щеки.

Он, улыбаясь и склонив голову немного на бок, смотрел на Лизу светлыми, веселыми глазами. Губы его зашевелились, будто он хотел сказать что-то. Но он ничего не сказал.

Он только кивнул Лизе и, все так же улыбаясь, повернулся и, держа свечу перед собой, вышел в коридор.

Дверь за ним осталась открытой. Ветер ворвался в комнату.

— Как холодно! — Лесли вздрогнул и обернулся. — Опять эта проклятая дверь.

Он встал и раздраженно захлопнул дверь.

— Какие сквозняки! Того и гляди крышу снесет.

Он нагнулся к Лизе.

— Что вы так смотрите на дверь, Бетси? Отчего вы побледнели? Лиза перевела глаза на него. Неужели он не видел Кромгуэля?

— Что с вами, Бетси? Вы испугались сквозняка?

— Нет, — с трудом выговорила Лиза. — Нет, я не испугалась.

— Идите спать, дорогая. Вы уже спите.

Он зажег приготовленную на камине свечу, длинную белую свечу в медном подсвечнике, совсем такую, как только что держал Кромгуэль.

— Идемте, Бетси, я провожу вас.

У ее комнаты он передал ей свечу, как всегда, поцеловал ей руку и, как всегда, сказал:

— Спи спокойно, Бетси. Заприте дверь на ключ и, даже если бы я постучал, не открывайте.

И она ответила то же, что каждый вечер.

— Спокойной ночи, Лесли. Ведь вы все равно не постучите.

Потом вошла к себе, провела рукой по глазам.

«Кром приходил. Значит, правда».

Уже нельзя было сомневаться, не понимать, не додумывать до конца. Все было ясно.

И уже не было перерыва во времени, этих двух бесконечных месяцев, новой английской жизни без воспоминаний.

Время вдруг сдвинулось. Прошлое слилось с настоящим. Это было вчера. Это было сегодня. Она слышала скрип щетки, моющей пол в ванной, видела тяжелые чемоданы.

Как она могла хоть на минуту забыть? Как она могла притворяться, что не помнит?

Она все еще держала свечу в руке, горячий воск капнул ей на пальцы.

«Надо сейчас же вернуться. Надо сейчас же вернуться в Париж».

Она поставила подсвечник на комод и прислушалась. Все было тихо в доме. Лесли, наверно, уже лег.

Она надела шляпу, пальто. В кармане пальто лежал кошелек и в нем сто франков. Те сто франков, что Лесли дал ей в первый день, чтобы у нее всегда были при себе деньги. Так они и остались неизменными. Ведь здесь тратить было не на что.

«Денег на дорогу хватит».

Она задула свечу, открыла окно, толкнула ставни и выпрыгнула в сад.

Окно было невысоко. Платье ее зацепилось за куст.

По небу плыла большая, круглая, зеленая луна. Лиза подняла голову, взглянула на нее.

«Как лампа в гостиной», — смутно подумала она.

Черные тени деревьев скользили по траве. Облака сгустились и таили, набегая на луну.

Лиза подошла к пруду. Луна выплыла из-за темной тучи и встала над верхушками елей над самым прудом. Отражение луны упало в пруд, круглое, сияющее, дрожащее. И от этого вдруг стало еще светлее. Совсем светло. Совсем светло и тихо.

Лиза прошла под черной аркой ворот. Она знала, что ворота кирпичные, красные. Но сейчас они казались черными. В светлом, лунном, холодном воздухе будто исчезли все краски, кроме черной и белой. Все кругом было черное или белое.

Белые столбы с черными автомобильными знаками. Черные камни на краю белой, широкой, прямой дороги. И на холме около перекрестка черный высокий крест, памятник павшим на войне.

Все было так далеко, так ясно видно. Как днем. Яснее, чем днем.

Лизе не было страшно. Ей казалось, что чья-то заботливая рука пронесит круглую зеленую лампу сквозь тучи, чтобы ей, Лизе, было светло, чтобы она не сбилась с дороги.

Вдали показались черные и белые дома.

Вот и город, вот и вокзал.

Лиза сидела в купе третьего класса.

Напротив поместились трое крестьян, рядом сельский священник, шепотом читавший молитвы по маленькому черному молитвеннику.

Лиза смотрела в темное окно. Не опоздала, успела. Завтра утром она будет в Париже.

Из корзинки на полке несло кудахтанье.

— Там курица, — объяснила толстая крестьянка соседям. — Я везу ее в подарок сыну. Разве они в Париже знают, что такое настоящая, жирная курица?

Курицей все заинтересовались.

— Вы бы выпустили ее погулять по полу, — посоветовал старик, куривший трубку. — Чего ей мучаться в корзине?

Крестьянка охотно согласилась. Курицу сняли с полки.

— Нет, вы посмотрите, какая она жирная. Вы пощупайте ей грудку. Я ее орехами откармливала, — волновалась крестьянка.

Перья колыхались на ее праздничной шляпе.

Круглые глаза смотрели гордо. Острый нос, казалось, был готов клюнуть.

— Нет, вы пощупайте мою курицу.

Со всех сторон протянулись руки к курице. Даже кюре поднял на минуту глаза от молитвенника.

Крестьянка любезно, как коробку конфет, поднесла курицу Лизе.

— А вы, барышня, не хотите пощупать?

Лиза взглянула на крестьянку.

— Нет, спасибо, — и отвернулась к окну.

В купе было накурено и жарко. Пассажиры мало-помалу уснули. Громкий храп сливался с лязгом и стуком колес. По полу связанными ногами прыгала курица и беспомощно хлопала крыльями.

Лиза закрыла глаза. Через три часа будем в Париже.

Парижское утро было холодное и ветреное. Носильщики несли багаж. Такси подъезжали и отъезжали. Путешественники, стоя на ступенях, оглядывались с тем растерянным и провинциальным видом, который неизбежно привозят с собой даже люди, ненадолго уезжающие из Парижа.

Лиза вышла из вокзала, пересекла площадь и спустилась в метро. Она даже не подняла голову, не взглянула по сторонам. Ни автомобили, ни люди, ни дома не интересовали ее. Как будто она не вернулась в Париж после двух месяцев, а вышла купить хлеба к утреннему чаю и теперь спешила домой.

Она торопливо шла по тихим улицам Отей. Вот их молочная на углу, вот аптека. Лиза ни о чем не думала. Она почти бежала. Среди зеленевших деревьев как-то неожиданно показался маленький розовый дом. Лиза остановилась, взялась за калитку. Сад был запущен, дорожки не расчищены. Ставни закрыты. Спят еще. Калитка, как всегда, скрипнула жалобно, по-кошачьи.

Лиза поднялась на крыльцо и позвонила.

Никто не открыл. Ее сердце вздрогнуло. Уехали. Она позвонила еще раз. Звонок громко и тревожно трещал. Уехали.

Она подняла голову, взглянула вверх на занавешенные окна. В крайнем окне, совсем как в тот вечер, вдруг шевельнулась портьера, и чье-то бледное лицо мелькнуло за стеклом. Портьера снова задернулась, послышались знакомые шаги, ключ дважды повернулся в замке, с лязгом упала цепочка, и дверь отворилась.

— Андрей!

— Лиза, ты?

Он порывисто взял ее за руку, втянул ее в прихожую и запер за ней дверь.

— Лиза, ты вернулась?

В прихожей было почти темно. Андрей наклонился к ней, жадно глядя на нее.

Он будто не верил, что это действительно она. Рука его крепко сжимала ее руку.

Глаза его лихорадочно блестели.

— Это ты, Лиза? Ты вернулась?

Он коротко рассмеялся. Смех его громко прозвучал в тишине.

Лиза вздрогнула. Ей почему-то стало неприятно. Она оглянулась на запертую дверь.

«Заперто, не уйти. Вот и попалась, как мышь в мышеловку, — подумала она. — Но если бы дверь была бы открыта, я все равно не ушла бы».

Андрей снял с нее пальто, провел ее в столовую.

Ставни были закрыты. Желтый круг от зажженной лампы ложился на скатерть. Все кругом было разбросано. Должно быть, тут давно не прибирали.

Андрей шел какой-то новой, крадущейся походкой, раньше он никогда не ходил так. Он все еще держал Лизу за руку.

Лиза молча смотрела на него. Зачем она приехала сюда? Она что-то хотела узнать. Но что? В голове не было ни одного вопроса, ни одной мысли. В голове было пусто.

— Садись, пей кофе, — Андрей поставил перед ней чашку. — Еще совсем горячий. Я только что варил.

Она машинально села за стол, машинально глотнула кофе. Ей показалось, что она даже не почувствовала его вкус, но она почему-то сказала:

— Слишком сладко.

— Я тебе сейчас налью другой, — захопотал он. — Подожди, я сейчас.

— Оставь, не надо.

— Но ведь это одна минута.

— Мне все равно. Я выпью так.

Он сел рядом с ней.

— Знаешь, я все эти дни думал о тебе, звал тебя. Как хорошо, что ты пришла, не опоздала, — торопливо говорил он тихим, глухим голосом.

«Не опоздала? Куда?» — хотела она спросить, но побоялась.

Андрей снова взял ее за руку.

— Где ты была все это время?

— В деревне. У двоюродного брата Кромуэля.

Андрей не удивился.

— Тебе там хорошо было?

Лиза покачала головой.

— Не очень.

Больше он ни о чем не расспрашивал.

— Тебе все-таки придется вернуться к нему, — сказал он только.

«Почему?» — хотела она спросить и опять не посмела.

Теперь она уже привыкла и к закрытым ставням, и к зажженной лампе. В сущности, ничего почти не изменилось в доме, только беспорядка больше, и пыль повсюду, и воздух стал затхлый и сырой.

Лиза смотрела на знакомый диван. «Сколько вечеров просидела она тут вот так, как сейчас, под лампой с Андреем. И Андрей почти такой, как прежде. Только немного худее, немного беспокойнее. В сущности, все почти как прежде», — уговаривала она себя, понимая, что от прежнего уже ничего не осталось.

— Лиза, — Андрей прижался щекой к ее плечу. — Как хорошо, что ты вернулась, что ты еще застала меня.

Он замолчал на минуту. Судорога пробежала по его лицу.

«Что это? — испуганно мелькнуло в ее голове. — Откуда? Раньше никогда не было».

Андрей закрыл глаза.

— Как спокойно с тобой. Я бы заснул вот так. Знаешь, я почти не сплю.

Она погладила его волосы.

— А где Николай?

— Николай в Брюсселе, — Андрей поднял голову и оживился. — Там было очень хорошо. Мы ездили играть в Остендэ. Сначала мне повезло, а потом я все проиграл. И тогда мы опять перебрались в Брюссель. Там очень хорошо.

— Зачем же ты вернулся?

Он боязливо оглянулся на дверь.

— Тут осталось пальто.

— Пальто? Какое пальто?

— «Его» пальто. Мы забыли сжечь его. Могли найти. Костюм мы сожгли, а пальто забыли.

Он обнял ее крепче, как будто защищая ее.

— Ты не бойся. Тебе ничего не сделают. Ведь ты ни о чем не знала.

Она слабо покачала головой.

— Я не за себя.

— Когда я уехал, — быстро продолжал он, — Николай остался совсем без денег. Он хотел продать жемчуг и попался. Я узнал из газет.

Он перевел дыхание.

— Теперь конец.

— Конец, — повторила она тихо, не то соглашаясь, не то спрашивая.

Они сидели за столом, крепко обнявшись. Голова его лежала на ее плече. После бессонной ночи в вагоне хотелось лечь, вытянуться. Электрический свет неприятно слепил глаза.

— Лиза, — он сжал ее руку в своей. — Мне следовало бы сейчас же отослать тебя обратно к тому. Но я не могу. Будь доброй. Ведь ты ангел, мой ангел-утешитель. Остайся со мной до вечера. До последнего поезда, — он прижал ее руку к губам. — Но если ты боишься, Лиза?..

Она зажала ему рот ладонью.

— Молчи. Я не уйду от тебя.

Он наклонился и заглянул блестящими умоляющими глазами в ее глаза.

— Ты останешься со мной до вечера? Обещаешь?

— Обещаю.

Его бледные щеки порозовели, он встал, взял с буфета путеводитель. Тот самый путеводитель, который перелистывал Кромгуэль в последний вечер.

— Как называется твоя станция?

— Vieux Rouen.

Страницы быстро зашуршали.

— Последний поезд в половине одиннадцатого.

Андрей повернул к ней взволнованное лицо. Губы его улыбались. Он взглянул на часы.

— Теперь десять часов, Лиза. У нас целый день впереди, Лиза. Целый день.

Он захлебнулся от волнения.

— Только не думай ни о чем. Забудь. Мы будем целый день вместе.

Он оживленно заходил по комнате.

— Здесь не убрано, прости. Тебе должно быть противно. И электричество, как ночью. Подожди, я сейчас все устрою.

Он открыл окна, толкнул ставни, потушил лампу.

Серое утро заглянуло в комнату. Андрей поморщился.

— Какое дождливое небо и день какой тоскливый. Но подожди.

Он задернул желтые шелковые шторы, и свет сквозь них стал желтым и теплым.

— Вот и солнце. Видишь? Небо синее, солнце светит, в саду сирень цветет и жаворонки поют, — говорил он быстро. — Тебе не видно оттого, что занавески затянуты. Но если их открыть, станет слишком жарко.

Он, улыбаясь, повернулся к Лизе.

— Вот какой сегодня чудный день. Наш день. Надо быть совсем веселыми, совсем беспечными.

Лиза устраивалась на диване.

— Да. Совсем беспечными. Садись ко мне. Знаешь, сегодня день такой чудный, как тот, когда мы познакомились. Помнишь?

Он сел рядом с ней.

— Конечно, помню. На тебе было белое платье, и волосы распущены, и глаза большие и голубые. Ты мне не очень понравилась, ты была слишком похожа на куклу. Мы играли в теннис, и мяч попал тебе в грудь, и ты вскрикнула. Я подумал: «Вот эту девчонку я полюблю» — и рассердился на себя.

Лиза улыбнулась.

Она вдруг поверила и в солнце, и в жаворонков за окном. Она чувствовала себя веселой и беспечной. Ничего не было, ни настоя-

щего, ни будущего. Ничего, кроме счастливых детских воспоминаний.

— Это было в четверг, в сентябре, в Булонском лесу. Мне было двенадцать лет, — перебила она его. — Ты мне сразу понравился. Ты был такой серьезный. Я даже Колю стала уважать за то, что у него такие товарищи.

Но Андрею тоже хотелось говорить, показать, что и он ничего не забыл.

— Когда меня в первый раз пригласили к вам, я уже был влюблен в тебя.

Они сидели на диване, держась за руки, и говорили быстро, глядя друг другу в глаза.

— Мне показалось, что вы живете очень шикарно. Ты так по-светски поила меня шоколадом и занимала. Я очень смутился. И еще Джим чуть не укусил меня.

— Джим? Ты помнишь Джима?

— А помнишь, как я тебе сказал, что я тебя люблю?

Лиза подняла брови.

— Конечно, помню. Это было, когда Линдберг прилетел, в мае, в субботу.

— Да, был такой ветер, и все говорили, что он сломает себе шею, что он сумасшедший. Мы не могли поехать в Бурже. У нас не было денег. Мы ходили вечером по бульварам. Ты ужасно беспокоилась. А когда стало известно, что он прилетел, помнишь, что творилось? Я тебе сказал: «Поздравляю вас, Лиза». Как все кричали, и мы тоже.

Лиза снова улыбнулась.

— Да, мы ужасно кричали.

— Я кричал: «Я вас люблю, Лиза», и ты услышала и ответила: «И я вас люблю, Андрей». Помнишь? И тогда мы в первый раз поцеловались. Помнишь?

— А на следующий день мы купили большой портрет Линдберга и прибили над моей кроватью, чтобы я всегда думала о тебе. Какие мы были глупые.

— Были? Разве мы и сейчас не такие же?

Лиза обняла его.

— Ну конечно. Мы и сейчас такие же. И я так же люблю тебя.

— А я люблю тебя еще больше, Лиза. Знаешь, я всегда любил тебя одну. Только иногда, как это тебе объяснить, иногда мне казалось, что я все это сам выдумал — и тебя, и свою любовь. Как будто тебя вовсе нет. Я смотрел на тебя и не видел, не слышал тебя. Ты не понимаешь?

Лиза сдвинула брови, соображая.

— Нет, не понимаю. Как это?

— Я теперь сам не понимаю. Но тогда это было часто. И не смотря на это, я очень ревновал тебя, — он помолчал немного. — К «нему», — добавил он тихо.

Она покачала головой.

— Не надо об этом. Ты сам говорил, мы такие, как прежде, совсем беспечные, совсем веселые, совсем дети.

— Да, дети. Тебе двенадцать, мне четырнадцать лет, и мы играем в кругосветное путешествие.

Он снова оживился.

— Лиза. Мы в Китае. Как тебе нравится это рисовое поле?

Лиза огляделась.

— Очень нравится. Мне всюду нравится, где ты со мной. Только это рисовое поле следовало бы почистить и вам, господин китаец, причесаться.

Она встала.

— А как же насчет завтрака? И китайцы есть хотят.

— Я сейчас. Дома только хлеб и сыр. А выходить, — судорога снова прошла по его щеке, — я бы не хотел.

Лиза перебила его.

— Тебе и не надо выходить. Я все куплю. Ты в это время накрой на стол. У меня деньги есть.

Андрей протянул ей пятьдесят франков.

— Вот, возьми еще. Это последние, но мне ведь теперь не надо.

Лиза захлопнула за собой дверь и быстро пошла по дорожке сада. «Как холодно. Совсем не лето. И ни цветов, ни солнца».

Серое облачное небо низко спускалось над крышами домов.

На углу у самого забора стоял усатый человек в черном пальто и котелке. Он внимательно посмотрел на нее.

Ее руки похолодели.

«Нет, это ничего. Это прохожий, он гуляет. Почему бы ему и не гулять здесь?»

Она прошла мимо него, колени ее дрожали. Он, казалось, не заметил ее.

Но когда она вышла из магазина, он стоял перед витриной, с любопытством рассматривая банки консервов.

Тяжелый пакет оттягивал ей руку. Она боязливо оглянулась. Усатый человек в котелке медленно двинулся за ней.

Она, задыхаясь, вбежала по ступенькам и позвонила. Дверь сейчас же открылась.

— Так быстро, Лизочка? Ты запыхалась.

— Я хотела скорее домой, к тебе.

Андрей взял у нее пакет.

— Какой большой. Тебе было трудно нести?

Она все еще тяжело дышала.

— Нет, но я бежала. У нас так хорошо, на улице холодно, про-
тивно.

— Ты никого не встретила? — спросил он озабоченно.

Лиза сняла пальто.

— Никого. Или нет, дай подумать. Встретила. Одну кошку и
двух грачей.

Андрей успел причесаться и переодеться в новый, незнакомый
Лизе костюм.

Лиза оглядела его.

— Какой ты элегантный, Андрей. Ну, идем завтракать.

В столовой все было убрано и стол накрыт. Андрей развернул
пакет.

— Хорошо, что ты так быстро вернулась, мне без тебя опять
страшно стало.

Лиза погладила его волосы.

— Не надо, не надо, — заторопилась она. — Смотри, что я при-
несла.

Они сидели за столом, не рядом, а напротив, чтобы лучше ви-
деть друг друга.

Лиза положила себе кусок курицы на тарелку.

— Я никогда не ела такой вкусной курицы.

Она подняла стакан.

— Я никогда не пила такого вкусного вина.

— А я никогда не видел у тебя такой прелестной улыбки и та-
ких прозрачных глаз.

Она засмеялась, тряся головой. Светлые волосы запрыгали вок-
руг ее лба.

— Это оттого, что я счастлива, — она задумалась. — Знаешь,
Андрей, я где-то читала, что Гете в старости спросили, сколько вре-
мени он был счастлив за всю жизнь. Он ответил: «Семь минут». А я
уже счастлива четыре часа, с той секунды, как я вошла к тебе ут-
ром. Это достаточно для целой жизни, это, может быть, даже слиш-
ком много.

Она вздохнула.

— Такое счастье трудно перенести. Слишком хорошо. Ведь ты
тоже счастлив?

Он молча кивнул. Лицо его было повернуто к окну. Его темные глаза блестели, губы улыбались. Свет падал на его порозовевшие щеки. Ей казалось, что это не свет, а отблеск счастья, молодости и силы.

— Какой ты молодой, — сказала она грустно.

Он рассмеялся.

— Но ведь ты на два года моложе.

— Да. И ты всегда казался мне старше, а теперь я вижу, ты совсем мальчик. Налей мне еще вина.

Она, улыбаясь, пила. Голова ее устало склонилась.

— Ах, как я счастлива, счастлива, счастлива, — вздохнула она.

Он наклонился к ней через стол.

— Ты устала?

Она положила руку на стол и опустила на нее голову.

— Ужасно устала.

— Тебе надо лечь.

— Нет, только не спать. Мне жаль проспять хоть одну минуту. Ведь так мало осталось.

— Можно лечь и не спать. Ты отдохнешь в постели. Пойдем.

Он помог ей встать.

На буфете лежал голубой конверт. Она узнала почерк Наташи.

— Это тебе письмо. Я забыл про него.

Лиза разорвала конверт.

«Милые детки, — прочла она. — Будьте умными, учитесь хорошо. Я тут немного проигралась, и меня не выпускают из отеля. Но я все-таки скоро вернусь. Если у вас нет денег, пусть Коля попросит у Кролика, я...»

Лиза, не дочитав, положила письмо обратно на буфет.

В спальне ставни были закрыты.

— Как хорошо, темно. Будто ночь.

Свежие кружевные простыни холодновато белели на низкой кровати.

— Это ты постлал? — спросила она шепотом.

— Я думал, ты устала с дороги, — ответил он так же тихо.

— Я еще никогда не спала в этой кровати.

— Подними руки.

Он осторожно, через голову, снял с нее платье.

— Теперь дай ногу.

Он встал перед ней на колени.

— Нет, подожди, надо еще помыться.

— Хорошо. Только пойдем вместе.

Ее голые плечи белели в темноте. Он обнял ее.

— Какая ты худенькая.

Лиза открыла дверь в ванную, зажгла свет.

В ванной все было по-старому и по-старому пахло сыростью. «Сыростью, болотом, жабами», — вспомнила она.

Она подняла голову, стараясь не смотреть на пол. Вдруг там еще кровь? Но пол был чисто вымыт и блестел всеми своими серыми кафелями.

Лиза отвернула кран, взяла губку. Вода потекла вниз по спине и по рукам. Холодная и щекочущая. И в груди стало холодно, щекотно и грустно. Лиза поежилась от холода и грусти. В ушах звенело, и голова кружилась.

«Я пьяна», — подумала она, намыливая плечи.

Андрей стоял около маленькой газовой плитки.

— Видишь, это очень просто, — голос его звучал совсем тихо. — Так отвернуть газ и дверь оставить открытой.

Мысли испуганно заметались в ее голове. Ей снова стало страшно. Но она притворилась, что не понимает.

Она протянула ему полотенце.

— Вытри мне, пожалуйста, спину.

И он стал растирать ее полотенцем.

— Ну, готово.

Они вернулись в спальную. Лиза сбросила туфли и легла в постель. Простыни были холодные и хрустящие. Она отодвинулась на самый край широкой постели. Кровь томительно стучала в ушах.

— Знаешь, я пьяна, — сказала она.

— Ничего, ничего, это сейчас пройдет.

Лиза слышала, как он торопливо раздевался.

— Это сейчас пройдет.

Он откинул одеяло и лег рядом с ней. Его колени слегка толкнули ее.

— Какая ты худенькая, — повторил он и обнял ее.

Она вздохнула. Его лицо наклонилось над ее лицом, его губы коснулись ее губ. Она хотела вырваться, освободиться.

— Лиза, отчего ты боишься меня? Ты боишься меня? — шептал он над самым ее ухом.

Она испуганно отбивалась от него.

— Пусти.

— Отчего ты боишься меня? А «его»? А их ты тоже боялась?

— Я еще никогда...

— Как никогда? — перебил он ее. — А в ту ночь, когда «он» ночевал у тебя? А с этим новым?

— Я никогда, — повторила Лиза. — Никогда ни с кем.

— Неправда, — его руки разжались. — Но, если ты не хочешь, боишься меня, тогда не надо.

Она обняла его.

— Ты не веришь, Андрей? Я тебя люблю. И я совсем не боюсь. Его лицо снова наклонилось над ней.

— Лиза.

Теперь она лежала рядом с ним, закрыв глаза, сквозь шум в ушах слушая его взволнованный голос.

— Лиза, я так счастлив. Знаешь, я мучился, я ревновал. Лиза, я так счастлив.

Она улыбнулась ему, не открывая глаз.

— И я счастлива, — ей хотелось рассказать, объяснить ему все, всю свою жизнь, всю свою любовь, но она сказала только: — Я счастлива, что это сегодня. С тобой.

— Лиза, я так благодарен тебе. Теперь я совсем счастлив.

Он целовал ее лоб, ее волосы, ее грудь.

Она ничего не ответила. Он положил голову на ее плечо.

— Вот так с тобой я мог бы уснуть.

И вдруг он снова поднял голову.

— Лиза, ты знаешь?

Она открыла глаза, в полутьме всматриваясь в его взволнованное лицо.

— Лиза, ведь у тебя может родиться ребенок, — он на минуту замолчал, будто у него не было сил продолжать. — Подумай, Лиза, ребенок, твой и мой, — зашептал он быстро. — Ты обещаешь мне, обещаешь ничего не делать. Пусть он родится. Ты будешь смотреть ему в глаза и вспоминать меня. Наш ребенок.

— Ребенок, — повторила она тихо и вспомнила, как Кромуэль спал у нее на плече, совсем как маленький, как ее ребенок. Ее сердце вздрогнуло от жалости. К жалости о убитом Кромуэле и ее ребенке, который никогда не родится, примешалась жалость о Андрее. Она вздохнула, и слезы потекли по ее щекам.

— Ты плачешь, Лиза? Отчего?

Она улыбнулась сквозь слезы.

— Должно быть всегда плачут, когда слишком счастливы.

Он протянул ей стакан вина.

— Выпей.

Она послушно выпила, в ушах еще сильнее зашумело. Сквозь туман она увидела бледное, наклонившееся к ней лицо Андрея.

— Я люблю тебя, — прошептала она.

Лиза открыла глаза. Теперь она плыла в узкой лодке по черной реке. С кормы свешивался белый парус. Нет, это не лодка, это кровать, и это не парус, это простыня. Но над головой все-таки качались огромные белые страусовые веера, и где-то в углу спальни тихо звенела музыка.

— Андрей, — позвала она.

И лицо Андрея сразу выплыло из темноты.

— Андрей, я люблю тебя.

Андрей зажег спичку и достал из-под подушки часы.

— Без четверти восемь. Еще целых два часа.

Спичка погасла, и все снова смешалось. Руки Андрея крепко обняли ее, и губы его целовали ее губы.

— Лиза, я люблю тебя. Я счастлив, — шептал голос Андрея над ее ухом. — Лиза, Лиза, не засыпай. Ведь только два часа осталось. Только два часа.

Лиза очнулась. В комнате было тихо и темно. Андрей спал. Она лежала на спине. Голова болела и спина болела, и нельзя было пошевелиться от боли, слабости и усталости.

«Будто трамвай переехал», — сонно мелькнуло в голове.

В ушах шумело и не было мыслей. Только одно было ясно. Надо встать.

«Надо встать. Если не встанешь, заснешь... и тогда. Тогда... — Она вздрогнула. — Надо сейчас же встать. Надо».

Она осторожно приподнялась и осторожно свесила ноги на пол. Все поплыло перед глазами, по телу пробежала боль.

Лиза с трудом встала, держась за спинку кровати и шатаясь прошла в ванную.

«Надо». Она щелкнула выключателем и остановилась, щурясь от резкого света.

Потом подошла к газовой плите, открыла кран.

«Как просто».

И, потушив свет, впотьмах вернулась к постели.

Андрей во сне протянул к ней руки.

— Лиза, Лиза, где ты?

Она легла рядом с ним.

— Спи, спи. Я здесь, я с тобой.

Он, не просыпаясь, обнял ее и прижал к себе.

Она положила голову к нему на плечо и с наслаждением закрыла глаза. Где-то совсем близко под окном протрубил автомобиль. Но теперь уже ничего из этого враждебного, страшного, чужого мира не могло причинить им зла.

ЗЕРКАЛО

Резкое столкновение сна и реальности, толчок — и сна уже нет. Сквозь полоски в ставнях, как хлопья снега, падает густой, белый свет. Еще очень рано. Надо уснуть. Но сна больше нет. Она выпала его всего до последней капли. И хотя сна больше нет, она еще не позволяет себе вступить в действительность. Она закрывает глаза, стараясь ни о чем не думать. Успеется, успеется. Торопиться некуда. Она лежит между сном и действительностью, в паузе, в недоумении, в ничегонеожидании. Ей кажется, что она тихо качается в гамаке, одинаково близкая, одинаково далекая от сна и действительности, от жизни и смерти, прислушиваясь к себе, не понимая себя, в таинственном недоразумении будничного утра. Она слышит, как дождь тихо стучит в окно, как муж тихо дышит рядом с ней. Дождь, как дыхание, дыхание, как дождь — ритмично и скучно.

И вдруг она, еще ничего не вспомнив ясно, скорее от предчувствия, чем от воспоминания, шарит рукой под подушкой, и пальцы ее натываются на твердый, колючий угол визитной карточки. И сразу исчезает граница между вчера и сегодня. Вчера не кончилось, оно снова тут, его снова надо пережить. Оно такое невероятное, такое непохожее на обыкновенные «вчера». Оно не желает влезать в память, укладываться в ящик прошлого аккуратно сложенным воспоминанием. Оно, как гора, загромождает, давит сегодняшнее утро, оно продолжает жить, несмотря на то что время его давно истекло.

Это вчера началось, как все другие, — одиночество и пустота. И неумение, незнание, чем занять себя. На службе ее муж получил два приглашения на кинематографический фестиваль: «Люка, какая удача». Да, он и не знал, не догадывался, какая это была удача. «Весь Париж, даже президент. Оденся получше». Дома платье казалось очень красивым, и волосы улеглись в такие легкие локоны. Конечно, вечерних туфель не было, были коричневые, почти новые. Она любовалась собой, она радовалась, как она радовалась. Но там, не успев даже снять пальто, она поняла. Радость сменили

стыд и обида. Да, она сразу поняла, что она жалка, что она смешна, что она не имеет ничего общего с этими нарядными, счастливыми женщинами. Они кутались в парчовые или меховые накидки, их ноги в золотых сандалиях прятались под длинными платьями, волосы на их счастливых головах лежали победоносно, как ореол, как корона. Нет, с воробьями, с камнями мостовой, с оленями у Люки было больше общего, чем с этими женщинами. Зачем она пришла сюда? И все-таки она не ушла, она осталась, она до конца испытала унижение и зависть. За себя, за своего ничего не понимавшего мужа, за его старомодный, дешевый смокинг. Вдвоем с ним они были не только провинциалами, затерявшимися в элегантной толпе, они в этой толпе были единственным оазисом бедности.

На экране разыгрывалась фантастическая счастливая судьба героини, и даже на ней нельзя было остановиться, утешиться. Нельзя было подумать: «Вот и ей тоже плохо, ей даже хуже, чем мне сейчас».

Потом началась пытка музыкой. Она не слушала, она старалась не слышать, и все-таки страстный, лукавый, сладостный итальянский голос безжалостно входил в ее сердце и болью разливался по всему телу, сверля кости как ревматизм, как старость.

Пытка музыкой. Сладостный, лукавый, соблазнительный голос. Соблазн жизни. Но ведь у нее, Люки, нет жизни. Разве можно назвать жизнью то, чем она (день да ночь — сутки прочь) приближается к смерти? Это только «не умирание». А жизнь — это блестящая судьба, блестящая борьба, это взлеты и падения, любовь, слава и в конце блестящая гибель.

Лукавый, страстный, соблазнительный голос доказывает, показывает, заставляет Люку понять то, о чем она даже и не догадывалась.

Вот он легко поднимается все выше, все слаще, вот на минуту задерживается на высоком ля. Сейчас он полетит еще выше, еще есть надежда на спасение, все еще может устроиться. Но голос, будто поколебавшись немного, поддается благоразумному зову рояля и кубарем летит вниз. И за ним падает последняя надежда и разбивается у ног Люки в грохоте аккордов. Еще четыре такта, и неудавшаяся судьба с грубой жестокостью встает перед Люкой. Без подготовки, без жалостливой осторожности, сразу, как в развернутой газете объявление в траурной рамке о смерти друга. Без подготовки, не час за часом, когда неудача расцветает, как цветок — сначала завязь, мягкие, шелковые листья, влажный зеленоватый

бутон, — медленно, осторожно, очень осторожно, очень медленно. Накопление примет, страхов, сомнений. Времени достаточно, времени даже слишком много, чтобы, привыкнуть, усвоить, сжиться со своей неудачной судьбой, чтобы, когда она вдруг распустится во всем непоправимом, окончательном великолепии, не испугаться, не возмутиться, покорно принять каждый ее лепесток.

Но Люке это открылось сразу, с жестокостью, с откровенностью, с грубостью, на которую способна только музыка. Нет, она не знала, что она несчастна. Она засыпала и просыпалась улыбаясь. «Мой муж, мой дом, мой обед...» Эти слова вдруг превратились в сплошную дыру, из них вывалилось драгоценное самодовольство судьбой. И тогда стало совсем невтерпеж от боли, стыда и зависти, тогда захотелось крикнуть: «Довольно, больше не могу». Она, задушив в себе крик, проглотив его, перевела дыхание, и боль, которой не удалось вырваться криком, слезой покатила по щеке. Одна капля горя. На одну каплю горя стало меньше. Она закрыла глаза, опустила голову, сложила руки на коленях. Стало спокойнее, стало терпимее. Не слушать, знать, что все, что происходит здесь, совсем не касается ее. Она сама по себе и вне всего этого. Она глубоко ушла в кресло, но, едва она устроилась, приспособилась, уже надо уходить. Встать во весь рост — короткое платье, замшевые туфли — беззащитно встать под насмешливые взгляды, пройти, как сквозь строй, сквозь толпу.

— Что же ты не идешь, Люка? Придется час ждать пальто... Я побегу вперед.

Она чувствовала, как провинциально закручиваются ее локоны, как оскорбительно топорщится накрахмаленное платье, как жалко блестят чулки. У выхода из зала она подняла голову и увидела себя, свое грустное молодое лицо. Она удивилась. Она чувствовала себя такой старой, жалкой, смешной, и лицо ее должно было быть сейчас старым, опущенным, жалким... Но так еще хуже, еще обиднее. Она отвернулась, чтобы не видеть себя, она спряталась за колонну.

Нет, этого нельзя было вынести. Она спряталась за колонну, чтобы ее не было видно, чтобы по ней не бегали, как ящерицы, скользкие, презрительные, удивленные взгляды. Она прижалась к колонне. Жена Лота, соляной столб. Лучше стать соляным столбом, чем это унижение, эта боль. Скоро ли вернется Павлик? Скоро ли они уйдут отсюда? Она испуганно вздрагивает и испуганно оборачивается: холодный голос, как вода, льется на ее затылок, за вырез ее открытого платья.

Тьерри Ривуар, знаменитый режиссер, о котором она читала в газетах. Он стоит перед ней. От его черных волос, от его белых зубов, от его светлых глаз исходит сияние. Он стоит перед ней в сиянии и славе. Так в сиянии и славе на землю спускается архангел, посланник неба. Она смотрит на него. Он стоит перед ней, нет, не он — они. Их двое, четверо, двенадцать, сто... Они двоятся, четверяются, отражаются в зеркальной стене. Целая толпа, целый сонм ангельских сил — в сиянии и славе. Голос растет, ширится, летит, это хор голосов.

— Приходите завтра в контору. В контору... — торжественно и гулко отдается под потолком. — Я буду вас ждать.

«Ждать» как удар грома.

Он протягивает ей руку, и весь сонм ангельских сил протягивает руки вместе с ним. В руке что-то блестит — молния или меч? Она готова принять и молнию, и удар меча. Но в его руке белая визитная карточка.

— Тут мой адрес. Вы придете?

Она кивает. Она говорит: «Да». Ей кажется, что она кричит, но звука не слышно, может быть она ничего не сказала. Но он понял. И тогда он — они, те, которые толпой стоят перед ней, те, которые толпой отражаются в зеркалах, — улыбаются. Так не улыбаются люди. Так сверкают люстры в Версальском дворце, так сияют тысячи свечей в соборе, так в черном небе разрывается фейерверк над ночными скачками в Лонгшане, так северное сияние отражается в прозрачных льдах. И она зажмуривается от нестерпимого сияния.

— Я вас жду, — повторяет хор, и это звучит почти нежно и тихо. И вот его, их уже нет.

Никто не стоит перед ней, и зеркала пусты. Эхо еще повторяет: «Жду», и в воздухе еще дрожит сияние.

По опустевшему фойе идет муж. Он подает ей пальто.

Она смотрит на свое пальто — серое, старое, кусок ее старой, серой жизни. Неужели надо его надеть после того, что только что было, после того, что расколело ее жизнь на две части.

— Что же ты не надеваешь пальто?

Она всовывает руки в рукава, застегивает пуговицы, прячет визитную карточку в карман. Она не расскажет мужу о встрече. Ей всегда казалось, что у нее не может быть от него тайн, что она ничего не сможет скрыть от него. Но это казалось, должно быть, оттого, что в ее старой, скучной, серой жизни скрывать было решительно нечего.

Она одевается. Кажется, она все-таки похожа на провинциалку. Но это не страшно теперь. Такой она понравилась Ривуару, может быть даже за это понравилась. На ней синий костюм, волосы причесаны, как вчера. Так хорошо. Теперь надо сесть в кресло и ждать. Такой красивой она еще никогда не была. Такой задумал ее Бог, но скука, грусть, бедность жизни мешали ей быть такой прежде. Сейчас, когда случилось чудо, она сама чудесно изменилась, как будто это не она, а мечта о ней. Она такая, как сама о себе мечтала.

Она смотрит на часы. Половина шестого. Надо ехать. Она спускается по лестнице, берет такси. Так просто — ни препятствий, ни грома, ни землетрясения.

Она смотрит на улицы, на дома, на людей, она старается все запомнить: это она видит в самый решительный, решающий час своей жизни, это надо запомнить навсегда. Все — как автобус заворачивает за угол, как дама в розовой шляпе покупает персики с лотка, как велосипедист чуть не наехал на собаку. Ей кажется, что люди и предметы, всё, на что она смотрит, вырезывается какими-то невидимыми острыми ножницами из общей картины и, пересыпанное солнечными искрами, как нафталином, укладывается навсегда в память, а на месте, где были эти люди и предметы, остается солнечное пятно.

Подъезд, серый ковер лестницы, стеклянно-металлический лифт с стеклянно-металлическим жужжанием отрывает ее от земли. На мгновение она теряет равновесие, волно, себя. Но лифт уже останавливается, и она открывает решетчатую дверь, похожую на дверь тюремной камеры, и входит через вторую стеклянную дверь в судьбу. Большая комната полна людей, голов, голосов и пишущих машинок. Этого она не ожидала. Страх кидается в ноги, она останавливается.

Она объясняет снисходительной дактило, что Ривуар ждет ее. Она приготовила фразу уже в такси, но страх отнимает смысл у слов.

— Присядьте, — говорит дактило, будто предлагая ей устроиться на зимовку, — вам придется долго ждать, если monsieur Ривуар вообще сможет вас принять, — говорит она с таким выражением лица, будто уже принесла ответ: «К сожалению...» Она уже уверена, что именно это ей придется сейчас сказать. Дверь закрывается за ней. Люка старается не видеть все эти лица, стулья и руки. Страх, покатавшись шаром по всему телу, понемногу сосредоточился в коленях. Удастся ли встать? Дактило возвращается озадаченная и почтительная: «Monsieur Ривуар вас просит». Страх прыжком перескакивает в горло, идти можно, но удастся ли говорить?

Ривуар сам выходит к ней навстречу. Он стоит перед ней такой же, как вчера, — в сиянии и славе.

— Как я рад, что вы пришли.

Он улыбается. Она смотрит на него. Как он улыбается! Он пропускает ее перед собой. Она входит, стараясь найти определение для его улыбки, забыв о страхе, торчащем поперек горла, о важности этой минуты.

— Я был уверен, что вы придете.

— Электрическая улыбка, — говорит она, найдя определение.

— Что? — переспрашивает он, не поняв, и она, спохватившись, отвечает:

— Конечно, я не могла не придти.

Он предлагает ей папиросу. Нет, она не курит. Он закуривает сам. Он рассматривает ее внимательно сияющим взглядом, немного наклонив голову набок. Она сидит прямо, не шевелясь, ничем не защищенная, не уклоняясь, не прячась, стараясь как можно лучше дать ему рассмотреть, оценить себя. Вот я такая, вот я вся. Он кивает.

— Да, я не ошибся. Вы именно такая, как мне надо. У вас молодое, совсем новое, как из магазина, лицо... Еще не помятое, не запачканное жизнью и воспоминаниями. Такое именно, как мне надо. Но главное, как вы слушали пение. Я следил за вами. Вы слушали сердцем, и ваше лицо отражало музыку. Я никогда не видел, чтобы так слушали, так чувствовали музыку. И когда вы заплакали, я понял, что вы — та, которую я ищу.

Она краснеет.

— Я не плакала. Только одна слеза.

— Только одна слеза, — повторяет он и закуривает новую папиросу.

Она съеживается, горбится, ей хочется спрятаться от его взгляда. Значит, все это недоразумение, ошибка, обман. Он нашел не ту, которую искал. Она не понимает, не любит музыки, она не плакса, которую растрогаешь пением.

— Дар слез, — говорит он, — дар еще более ценный, чем дар смеха. Актриса — это обыкновенно кирпич, из которого не выжмешь слезы. У нее нет этого «дара слез» — она почти никогда не плачет.

Она молчит, она опускает голову. Ее новая судьба начинается с обмана.

— Я сделаю из вас знаменитость.

«Знаменитость» — как толчок в грудь. Ей никто не давал таких обещаний, она не привыкла к таким словам. А он уже говорит о

роли, рассказывает содержание фильма. Он даже не спросил, согласна ли она.

— Вам придется только принести разрешение родителей.

— Я замужем, и мне двадцать один год, — объясняет она, гордясь замужеством и совершеннолетием.

— Жаль, — говорит он, и она не знает, жалеет ли он о том, что ей уже так много лет, или о том, что она уже замужем. Он продолжает:

— В пятницу с вас сделают пробные снимки. Вы торопитесь сейчас? Вас ждет муж?

Она встает, она протягивает ему руку. Должно быть, надо уходить. Она очень долго сидела здесь, очень долго задерживала его.

— Нет, мой муж уехал на два дня на завод.

Он пожимает ее руку.

— Ну вот мы и нашли друг друга. Сознаться, что и вы искали режиссера своей судьбы. Вы еще не догадываетесь, какая это будет удивительная судьба.

Она кивает:

— Я не искала, но я, конечно, очень рада, что я нашла вас. Куда мне прийти в пятницу?

Но он не отпускает ее. Раз никто не ждет ее, они могут пообедать вместе. Он сейчас кончит все свои дела. Она снова садится, она не спорит. Он кладет перед ней кинематографические журналы. Она остается одна. Она не читает журналов, она осматривает комнату. Пока он был здесь, ее внимание, ее зрение, ее слух были заняты только им, но теперь она одна, и предметы заявляют о себе. Их нельзя не видеть, они такие модные, красивые, так подчеркнуто дорого стоят все — и громадные кресла, крытые почти белой шелковистой кожей (очень марко, должно быть), и светлый персидский ковер, и на необъятном письменном столе фантастическая лампа с плоским стеклянным диском. Она протягивает руку, нажимает кнопку. Лампа зажигается желтоватым туманом. Конечно, от такой лампы и нельзя было ожидать, чтобы она светила как нормальная лампа. Она тушит ее, она смотрит на почти белые блестящие, голые стены. Очень успокоительны эти большие, пустые пространства — успокоительно, холодно и одиноко. В такой комнате, должно быть, легко думать и трудно жить. На круглом зеркальном столике в хрустальной вазе — букет роз, но воды в вазе нет. И книг тоже нет, ни одной книги. Она сидит здесь, она ждет Ривуара, она уже почти привыкла к чуду. Она готова принять без удивления все, что случится сегодня.

Ривуар возвращается: «Не очень долго?» Они выходят через контору, и все машинистки и служащие встают и говорят: «До свиданья». Это относится также и к ней. Пусть они не беспокоятся, они снова скоро увидят ее, и не один еще раз. И она отвечает им: «До свиданья». Стекло-металлический лифт, уже старый добрый знакомый, мягко спускает их вниз. Перед домом стоит большой, черный, необычайный автомобиль, похожий сразу и на водолаза, и на акулу.

— Сначала покатаемся немного.

Они едут в Булонский лес. Октябрь, а почти жарко, только сейчас вечером она это замечает, целый день некогда было заметить. В Булонском лесу медленно движутся ряды автомобилей, деревья еще зелены и птицы поют. Сколько людей, сколько женщин, может быть такие же, те же, что вчера. Ей кажется, что она даже узнает их. Но она не присматривается — те же, такие же, не все ли ей равно? Мимо, мимо. По синему пруду плывет гордый белый лебедь, на зеленом берегу стоит гордая белая борзая. Лебедь похож на борзую, борзая на лебедя. Люка протягивает руку: «Посмотрите». Ривуар поворачивает голову к пруду. Он не замечает ни борзой, ни лебедя. «Вода, — говорит он. — Хорошо бы выкупаться. Вы умеете плавать?» — «Ну еще бы». Ни лебедя, ни борзой больше не видно. Они едут теперь по боковой аллее, пустой и тихой. Такой тихой, что слышно, как осторожно и взволнованно шумят деревья.

— Вам приятно? — спрашивает Ривуар.

— Очень, — отвечает она.

Но разве «приятно» — подходящее слово? Она счастлива. Нет, и «счастлива» еще слишком бледно, слишком слабо. Ей хочется петь, кричать, выпрыгнуть на всем ходу из автомобиля, удариться о твердую землю так, чтобы ничего от нее не осталось, рассыпаться, расплыться. Нет, чтобы и пыли не осталось. Ничего, только крик счастья. Но для кого тогда ее восхитительное будущее, ее победа, ее слава? Умирать не надо даже от счастья. Не только умирать, но и кричать не надо.

— Потрубите, пожалуйста, немножко, — просит она вдруг.

Он удивляется:

— Зачем?

Она не объясняет, и как объяснить? Но ведь победу всегда трубят, труба прославляет победу, извещает о ней.

— Пожалуйста, потрубите!

И он трубит. Густой трубный голос взволнованно повторяет: «Победа, победа». Деревья гнутся, будто кланяются.

— Я голоден, — говорит Ривуар. — И меня ждут в ресторане. Мой компаньон и... — он на минуту останавливается, — одна артистка, Тереза Кассани, вы знаете ее?

— Я видела ее имя на афишах. Такими аршинными буквами.

— Через год, — говорит он совсем просто, — ваше имя тоже будут писать такими буквами, а через два года вы поедете в Холливуд. Можете мне верить.

Она ничего не отвечает, дорога перед глазами вдруг обрывается, превращается в море, и волны сейчас налетят на автомобиль. Она закрывает лицо руками.

— Зачем вы поспешили с замужеством? — доносится сквозь гул волн. — Как это глупо.

Она опускает руки. Дорога опять, как дорога, и деревья с обеих сторон.

— Скажите, вы любите мужа?

— Нет, совсем не люблю.

Это она отвечает «совсем не люблю» так спокойно и решительно, как будто она давно взвесила свои чувства к мужу, давно разобралась в них. «Не люблю» подкреплено еще и «совсем», чтобы не оставалось сомнения. Она так сразу, не задумываясь, отвечает, будто ответ был давно готов, давно лежал на дне сознания в окончательной редакции, точный, как формула, давно ждал вопроса, который позволит ему прозвучать. Вопросы, которого никто не задавал ей, которого она сама никогда не задавала себе. Неужели она действительно не любит мужа? Но ответ, так удививший ее, кажется вполне естественным Ривуару.

— Я так и думал. Все-таки муж — ненужный балласт.

Это о нем, о ее милом Павлике говорят так, и она не спорит, не возмущается. Она уже предает Павлика.

— Ривуар, это знаменитый Ривуар, — доносится женский шепот. Люка не поворачивает головы, она идет рядом с Ривуаром в своем синем костюме, в своем берете гордо и легко. — Смотри, знаменитый Ривуар.

Рядом с Ривуаром — это важнее, чем меха и бриллианты.

Метрдотель подводит их к столику, за которым сидит женщина в большой шляпе. У нее совсем черные глаза, белое лицо, очень красный рот. Где Люка видела ее? На кого она похожа? На кого? Ах, да: только что — лебедь, борзая... Она похожа сразу и на лебедя, и на борзую, ей надо было бы стоять там, на берегу, рядом с борзой и кормить хлебом лебедя своей гибкой, тонкой рукой, ее

можно было бы снять так, с борзой и лебедем, как фамильную группу.

— Мы уже давно ждем, — говорит она равнодушно и нараспев.

Господин, сидящий возле нее, встает. Он лысый, и череп у него гладкий и совсем не противный. Лицо еще молодое, с голубыми глазами. Он кланяется слишком низко, слишком вежливо и чопорно.

— Мой компаньон Герэн, — представляет его Ривуар.

Герэн касается груди быстрым жестом. Неизвестно, ощупывает ли он бумажник или проверяет, на месте ли сердце. Люка садится. Она не чувствует неловкости, будто каждый вечер обедает в таком ресторане. Но составить меню она не может — слишком трудно сейчас понять, какие это блюда и можно ли их есть. Ривуар помогает ей. Приносят раковый суп. «Вкусно», — одобряет Ривуар. Разве вкусно? Она глотает суп, не чувствуя вкуса, как во сне. И все-таки она ест, как все, она пьет вино.

— Я уезжаю завтра утром, — у Терезы Кассани низкий, глухой голос, отсутствующий, равнодушный взгляд, будто ей безразлично, что она говорит, будто она даже не слышит этого. — Мы видимся в последний раз.

Это относится к Ривуару, и он зажигается своей электрической улыбкой.

— Я приеду на вокзал.

Она качает головой.

— Не нужно жертв, и этого вечера довольно.

Она говорит о незнакомых людях, о незнакомых делах, она не обращает на Люку внимания. Но Ривуар смотрит только на Люку. Музыка нежно звенит, и музыка, которая вчера была пыткой, сегодня стала голосом ее победы. У Люки такое счастливое лицо, слишком неприлично-счастливое, она старается удержать губы, чтобы они не улыбались, она опускает веки. Она чувствует, что сейчас, если посмотреть в ее глаза, она видна вся насквозь, со всеми своими счастливыми мыслями. Такая открытая, незащищенная, до бесстыдства откровенная. Ей хотелось бы закрыть лицо. Она смотрит на Терезу Кассани. Если бы она могла сейчас чувствовать что-нибудь кроме счастья, она позавидовала бы ей. Какое спокойствие, какое безразличие. Она сама по себе, полна собой, своей красотой, и ничто ее не касается. Тереза Кассани поднимает стакан.

— Я пью за вашу будущую карьеру.

Значит, она все-таки обратила внимание на Люку. Она через стол наклоняется к Люке.

— Я должна была бы вас ненавидеть, — говорит она совсем тихо, — но я не желаю вам зла, — она улыбается своим слишком красным ртом. — Правда, я не желаю вам и добра. Удачная карьера — еще не добро. Вы потом сами убедитесь в этом.

Люка удивленно смотрит на нее. Эта красивая, знаменитая женщина может пожелать ей зла? Конечно, не в пожелании зла дело, сейчас всякое зло для нее, Люки, превратится в добро, но она, эта Тереза Кассани, значит, несчастна? Неужели можно быть несчастной сегодня?

— Зачем вы пришли сегодня, а не завтра? — голос Терезы Кассани по-прежнему равнодушен. За музыкой ни Ривуар, ни Герэн не могут ее услышать, и черные глаза смотрят безучастно на вазу с цветами. — Если бы вы пришли завтра, я не узнала бы, я могла быть спокойна три месяца в Вене. Он никогда не пишет, я ничего не узнала бы. Как он влюблен в вас.

Сердце Люки вдруг останавливается. Сердце и мысли. Она ничего не понимает. Минута паузы, перерыва, тишины, темноты.

— Вы смотрите на меня: такая старая — конечно, я кажусь вам старой, — а еще любит, еще влюблена. Но знайте, это все ничего не значит: ни длинная жизнь, ни блестящая судьба с поклонниками, успехами, деньгами. Этого всего просто нет. Когда любишь — всегда шестнадцать лет, всегда вся жизнь впереди, завтра впервые наденешь кисейное длинное платье, завтра будет первый бал. И ждешь, волнуешься, страшишься этого первого бала, этой жизни, которая начнется завтра. Но вы слишком молоды, вы не можете понять.

Нет, конечно, Люка не понимает. Ей хотелось бы пожалеть эту красивую, несчастную женщину, но для жалости нет места — она вся до последнего уголка переполнена счастьем — и она молчит. Она хотела бы попросить прощения за свое счастье, но как попросить и зачем?

Обед кончается. Едят фрукты. Кофе можно пить без конца. У директора ее мужа кофе пьют часами, и тут, наверно, так же. Но Ривуар вообще не пьет кофе, ему надоело сидеть, он хочет уйти отсюда.

— Вы торопитесь? — спрашивает Тереза Кассани.

— Нет, нисколько. Но здесь жарко, я устал за день.

Он вдруг как-то темнеет, оседает, будто в нем потушили его электрический свет. У него неподвижное безжизненное лицо — контакт между ним и жизнью вдруг прервался. Но он сейчас же снова улыбается своей электрической сияющей улыбкой. Люке

только показалось, нет, у него не было, не могло быть этого темного, мертвого лица. Ей показалось.

Обед кончен, счет заплачен. Они идут все вместе к выходу.

— Ваш автомобиль здесь? — спрашивает Ривуар Терезу.

Она улыбается. Как может она улыбаться?

— Нет, я рассчитывала вернуться с вами. Но не беспокойтесь. Вы меня подвезете? — она поворачивается к Герэну, подчеркнуто грациозно кутаясь в мех. — Да? Ну тогда — доброй ночи вам обоим, — она протягивает Люке руку, и рука ее теплая и не дрожит.

Ривуар целует эту теплую, надушенную руку.

— Я приеду, если успею, завтра на вокзал, — обещает Ривуар.

Она улыбаясь, кивает.

— Но вы, конечно, не успеете.

Снова шуршанье шин и поклоны деревьев. У Ривуара веселое, злое лицо, он наслаждается свободой, прохладой.

— Было ужасно жарко. Как мы быстро удрали... Знаете, Тереза не будет спать всю ночь. Но женщины никогда не понимают, они навязчивы, они бестактны, они ревнивы. И почему они так легко, слишком легко влюбляются, а не умеют легко разлюбить? Каждая хочет быть единственной, с каждой — навеки.

Ривуару хочется поговорить о любви, о своих успехах и поклонниках. Сейчас Люка могла бы многое узнать — он еще ничего не скрывает от нее, он еще откровенен, они еще не съели вместе пуда соли, того пуда, после которого съевшие его вместе уже совсем не видят друг друга, совсем не слышат, совсем не понимают. Нет, сегодня только первый день, сегодня все видно, слышно, понятно. Видно на годы назад. Если позволить ему рассказать его прошлое, можно увидеть и всех женщин, которые любили его, которых он любил, услышать все нежные слова, сцены ревности, крики. И понять, как и за что он любил. И главное — узнать, может ли он любить ее, Люку? Да, ему хочется поговорить о любви. Он неосторожен, он, может быть, скоро пожалеет об этом. Лучше этот разговор отложить на завтра, на послезавтра, на потом, на после конца. Потому что конец, какой-нибудь конец наступит же в их отношениях. Ему хочется поговорить о себе, о любви. Этот разговор, как клубок шерсти, катается в воздухе, разматывая длинную нить. Конец нити вьется перед Люкой, его легко схватить, легко прикрепить каким-нибудь «Вы ее любили?», «Как долго это продолжалось?», закрутить за самый банальный вопрос, и весь клубок, который только этого и ждет, разматывается быстро и мягко. Но ей рано знать все

это, ей сейчас хочется говорить и слушать не о нем, а о себе, не о прошлом, а о будущем, она не ловит хвостика клубка, и клубок, покатавшись между ней и Ривуаром, выкатывается в окно. Случай навсегда потерян: то, что она могла узнать сейчас о нежности и жестокости Ривуара, она не узнает никогда.

— Вы действительно уверены, что я стану знаменитостью?

Кроме любви существуют и другие темы, менее, конечно, подходящие для ночи и поездки вдвоем, но о кинематографе, о своей работе он может говорить всегда. Она спрашивает его о «звездах», которых он вывел в «звезды»: кто они были, как он открыл их? На «открытие звезд» у него особенный нюх, особый талант. Он видит в людях самую сущность, солнечное сплетение, нервный центр. Так было и с ней. Он понял ее оттого, что она плакала, слушая пение. Если бы не эта слеза, он не был бы уверен в ее таланте, в ее карьере. Люка морщится, она хочет забыть об этом. Эта слеза — единственное маленькое пятнышко на ее чистом новом счастье.

— Через год вы будете знаменитой — одной моей фильмы хватит, чтобы вас рвали на куски. Все ведь знают, что у меня острый глаз и удачная рука. Те, кто начинал со мной, взбирались на лестницу славы. Все.

Люка слушает. Только бы он говорил еще, еще, о славе, о карьере... Они едут теперь по версальской дороге, Люка поднимает голову и видит над собой два черных дерева, растущих на насыпи, под которой проходит дорога. Как тихо, как грустно они стоят, совсем как деревья на могиле. Но они уже проехали, и теперь над головой только небо и звезды.

— Я хочу пить, — говорит Ривуар, — а вы?

— Я тоже.

Ведь он ждет от нее, чтобы ей хотелось пить. Они въезжают в какие-то ворота, выходят из автомобиля.

— Вы уже бывали здесь? — спрашивает он, и она кивает.

Зачем ему знать, что она нигде не бывала? Они спускаются в сад, они садятся в низкие складные кресла. Внизу блестит вода, темнеют цветы, и большие, бархатные крылья мельницы неподвижно приклеились к звездному, лакированному небу.

— Хотите шампанского?

Она опять кивает, но, конечно, она не хочет шампанского, она вообще ничего не хочет, кроме того, что уже есть. И все-таки, несмотря на то что она ничего не хочет, впервые за свою жизнь и, может быть, именно из-за этого с каждым часом становится все

лучше. Может быть, и от шампанского еще увеличится счастье? Она пьет шампанское. Вкуса по-прежнему нет, но пузырьки газа щекочут нёбо.

— Как вы забавно морщите нос. Когда вы будете крутить, не забудьте так морщить нос, если придется пить шампанское.

Да, от шампанского становится еще лучше. От шампанского все удваивается: с ней рядом сидит не один, а два Ривуара, и мельниц две, и счастья два и два сияющих будущих. Но объяснить это трудно, она даже не пытается, она смотрит на свое удвоившееся богатство со смутной надеждой. Может быть, оно еще и утроится? Он наливает ей еще стакан. Он не знает, что она пила шампанское, и то не больше стакана, только на Новый год, он не замечает, что она пьяна. Нет, она не пьяна и Ривуар один, он наклоняется близко, обнимает ее очень неудобно и тесно. Ей кажется, что ей на голову надели черный мешок, что ее тащат за ноги куда-то вниз, должно быть топить, но страха нет и счастье тоже не пугается, оно здесь. Люка шумно переводит дыхание, она смотрит в светлые, сияющие глаза Ривуара.

— Совсем маленькая, — говорит он, — даже целоваться еще не умеет.

— Я не маленькая, — она немного обижена, — я не хочу, чтобы меня топили, — объясняет она.

Он не спорит, он принимает ее объяснение. Лакей приносит еще бутылку, и надо снова пить, и опять ей надевают на голову черный мешок, но ее не топят. Никто не собирается ее топить.

— А теперь поедem ко мне, — говорит Ривуар.

— Теперь? Ночью?

Она качает головой. Она не все понимает, но она знает, что ехать не надо.

— Нет. Я хочу домой.

И он не спорит, он соглашается.

— Хорошо, тогда следующий раз. Решено, следующий раз.

Она тоже не спорит. Он помогает ей взобраться наверх, в гору, к автомобилю, в гору, будто к славе. Он помогает ей сейчас, он поможет ей потом. Она сидит в автомобиле, холодный ночной ветер дует ей в лицо. Нет, она не пьяна, она все видит, все понимает: и свое счастье, и дорогу домой. Послезавтра, в пятницу, она придет к нему утром, он повезет ее в студию сниматься. Она совсем не пьяна, она все помнит. Автомобиль останавливается. Она приехала.

— Вы живете тут, в этом доме?

Она смотрит на дом, будто не узнает его.

— Да, тут.

Он помогает ей выйти.

— Спи спокойно.

Он целует ее в губы. Да, это он целует ее, и никакого мешка не надевают. Это только казалось, и все-таки в ногах судорога, будто ее схватили за ноги и тащат. Он стоит перед ней без шляпы.

— Не забудьте.

Нет, она ничего не забудет. Он нажимает кнопку, и дверь открывается, она входит в дом. Хорошо, что «дома» во втором этаже, а не выше. Она держится за перила, она с трудом поднимает ноги. Как она устала. Ей хочется сесть на ступеньки, отдохнуть немного, но нельзя, и она открывает сумку, она вынимает ключ. Ключ сразу попадает в замочную скважину, и она дома. Она зажигает свет и осматривается. Неужели это она жила здесь два года, в этой тесноте, в этой обиде? С этими дешевыми пестрыми обоями, с этой безобразной вешалкой? Она снимает пиджачок, сбрасывает туфли на пол и на носках бежит в спальню. Усталость? Усталости больше нет, она сбросила ее вместе с беретом, с туфлями. Ей весело, ей хочется танцевать. В спальне почти светло. Должно быть, очень поздно. Нет, очень рано. Она подходит к окну, смотрит на бледное небо, на дома, на пустую улицу. Это Париж, в котором для нее не нашлось другого места, чем эта дыра, это Париж, который скоро будет поклоняться ей. Она стоит, прижавшись лбом к холодному стеклу, и вдруг, оторвавшись от стекла, начинает кружиться по комнате. Вместе с ней кружатся цветы на обоях, стулья, кровать, окно и белое небо в окне. Все быстрее и быстрее. Голова кружится, она падает на кровать, и усталость, брошенная на полу прихожей, подползает и мягким пушистым комком, как кошка, прыгает ей на грудь.

— Ах, я устала, устала, устала. Ах, я счастлива, счастлива, счастлива, — громко вздыхает Люка.

Она лежит закрыв глаза. «Ах, я устала, устала, устала, ах, я счастлива, счастлива, счастлива» еще звенит в воздухе, звенит над ней, будто слова материализовались, будто они состоят не из звуков, а из твердых, светящихся букв и, как светящаяся вывеска, висят над ее головой. «Ах, я счастлива, счастлива». И вдруг она вспоминает: такое же открытое окно, и рассветное небо, и девочка в широком сестрином платье, кружащаяся по комнате в шуршании белого шелка. «Ах, я счастлива, счастлива, счастлива, я устала, устала, устала». Это она, это Люка. Это последняя ночь в жизни ее сестры

Веры. Люка открывает глаза, светящихся букв уже нет и воспоминаний тоже. Только усталость и желание спать. Она снимает платье, стягивает чулки. «Спать, спать».

Следующий день, четверг, проходит в ожидании того, чтобы он, этот четверг, прошел. Такой длинный четверг, как антракт в театре, как пересадка на незнакомой станции. Что делать? Как убить время? Люка лежит на диване. Как медленно идет время, как быстро стучит сердце. Быстро и громко, будто Люка запыхалась от бега, но ведь она не двигалась, она неподвижно лежит. Сердце стучит как мотор, стучит впустую, на холостом ходу, расходует жизнь. Она прижимает руку к холодноватой груди, к горячему лбу. Она прислушивается, ей кажется, что под ее гладкой кожей с журчанием переливается кровь. Так, совсем так она слушала журчание своей крови, стук своего сердца, когда ей было пятнадцать лет. Так, с такой же надеждой и счастливой тревогой. Совсем так она лежала на спине, чувствуя свои счастливые руки, свою счастливую грудь, свои счастливые колени в ту ночь, о которой она вспоминала вчера. Эта ночь была последняя счастливая ночь перед долгим, черным, горьким горем. Потом, за все долгие годы, она ни разу не чувствовала этого легкого трепета, этого веселого волнения, этой влюбленности в жизнь и в себя. Даже в день свадьбы была нежность, благодарность за защиту, за то, что ее избавили от страха жизни, за то, что можно уже не чувствовать себя лисицей, перебегающей пустое поле, где за каждым кустом — волк, под каждым деревом — охотник. Она вышла замуж, она уже не лисица, она — жена, бояться нечего. Она за крепкой стеной, отделяющей ее от страха жизни и от самой жизни. Стало уютно, веселее не стало. Зато спокойно, тихо, как вне жизни, как после жизни. Ни надежд, ни воспоминаний. Ни вчера, ни завтра — сегодняшний день. Милый, сытый, мелко-благополучный сегодняшний день. С ним, с мужем, с милым Павликом, таким нежным, таким заботливым, таким непонимающим. А прежнее — влюбленность и веселое ожидание, желания, наполнявшие ее веселое, нетерпеливое пятнадцатилетнее тело, ее пятнадцатилетнюю душу, были глубоко, тяжело подавлены, загнаны, изгнаны. Да, ей казалось, что их больше нет, что они умерли. Столько лет прошло, и они ни разу не высунули мордочек из норок — мы здесь, мы только прячемся, мы живы. Нет, она была уверена, что от них ничего не осталось, даже пыли в памяти, даже складочки в душе. И вдруг сегодня, после стольких дней, после стольких ночей, проснуться прежней ждущей, нетерпеливой

Люкой. И чувствовать, как освобожденные, проснувшиеся после черной спячки прежние полудетские желания начинают весело копошиться, устраиваться наново в ее душе, в ее сознании, в ее теле. Устраиваться, справлять новоселье.

Пятница. Люка всегда любила пятницу. Самый удачный день, хотя никаких особых удач в ее жизни не было. Любила, верила в кредит. Сегодня как раз пятница. И эта сегодняшняя пятница должна оправдать веру во все пятницы. Самый удачный день. Да, удача началась с утра. Пробные съемки удались прекрасно. Ривуар очень доволен. И голос понравился, это очень важно, — ей по роли придется петь. Ривуар в студии — новый Ривуар, не тот, который обедал с ней. Совсем особенный, деятельный, точный, какой-то механически-абстрактный. Глядя на него, она почему-то вспоминает движение блестящих никелированных рычагов на заводе мужа. И власть. Он весь движение и власть. Власть над всеми, над всем, что составляет его студию, его фильм. И над ней, Люкой. Ведь она с ее жизнью тоже с этой пятницы входит в его студию, в его фильм.

Она возвращается в его автомобиле. Он говорит на прощанье своим холодным, как морская вода, голосом.

— В восемь я буду у вашего подъезда. Вы обедаете со мной.

Она дома. Она стоит перед зеркалом, внимательно, с удивлением, разглядывая себя. Так вот как выглядит будущая «звезда»? Совсем не похожа — не так она представляла себе «звезду». Она смеется, кивает себе в зеркале. Но ты не беспокойся, Ривуар лучше знает. Это даже хорошо, что она «непохожа», не из серии, а кошка, которая ходит сама по себе. А если бы она сама пожелала стать статисткой, она сносила бы пару туфель, пока наконец приняли, а может быть вовсе не приняли бы. Значит, нечего гордиться. Но гордость, радость, счастье все-таки душат, мешают дышать, рвутся наружу. Как Павлик обрадуется. Она впервые за сегодня вспомнила о муже. Мысль немного задерживается на нем, вырастает, крепнет, разветвляется. Разветвление — как хорошо, что Павлик придет завтра, и маленький отросток на разветвлении — как хорошо, что завтра, а не сегодня... Она идет в ванную. Надо взять ванну, чтобы не быть усталой. Она открывает кран. Пар, как туман, поднимается от горячей воды. Шампанское. Два Ривуара, две мельницы, туман в глазах, туман в ушах и, сквозь туман: «Вы не хотите поехать ко мне? Хорошо, тогда в следующий раз». Она слушала, она молчала, она не спорила, она согласилась. Как она могла забыть? Она закрывает горячую воду, кладет руку под холод-

ную струю. Холодную, как голос Ривуара: «Значит, следующий раз...» И вдруг понимает всеми чувствами — кожей, волосами, кровью, что она не забыла, все время помнила, только не позволяла себе сознаться, что она все время ждала. И то полудетское, старое, забытое, то, что вчера снова проснулось в ней, не только влюбленность в себя, в жизнь, что это влюбленность в Ривуара. Да, прежде всего в Ривуара.

Она садится в ванну. Теплая вода успокоительно смыкается вокруг ее шеи. Не надо волноваться, не надо думать. Все восхитительно, все чудесно. Она счастлива.

В восемь часов по самым точным, выверенным часам она спускается вниз. Она открывает дверь. Страх — а вдруг его нет, а вдруг он забыл, а вдруг не придет — не успевает коснуться ее. Длинный, похожий сразу и на водолаза, и на акулу автомобиль, проскользнув плавным полукругом, останавливается перед ней. Минута в минуту. Люка садится в автомобиль рядом с Ривуаром.

— Счастливы? — спрашивает он и улыбается своей электрической улыбкой. Своей невероятной улыбкой, на которую неловко ответить обыкновенной, человеческой, бледной улыбкой, — такая она сияющая, ослепительная, столько за ней скрыто богатства, власти, славы... Но она так счастлива, что все-таки улыбается ему.

— Да, счастлива, счастлива, счастлива, — трижды, как заклинание, повторяет она.

Чтобы убедить в этом судьбу, чтобы не дать судьбе забыть, что и дальше она, Люка, должна быть счастлива.

— Надо отпраздновать такое торжество, ведь вы на экране еще прелестнее, трогательнее, чем я думал, и у вас отличный голос. Но куда мы поедем?

Она не знает, ей все равно. Раз торжество, так всюду хорошо.

— Хотите, поедем в неизвестном направлении, куда попало?

Она хочет, она все хочет. И они едут.

Холодно. После теплой недели опять вернулся холод. Люка старается плотнее запахнуть свой пиджачок. Ривуар насмешливо прищуривает глаз:

— Мерзнете?

Она качает головой:

— Совсем нет. Немножко свежо, и это приятно.

Он настаивает:

— Сознайтесь, что мерзнете.

Но она ни за что не сознается, она боится испортить эту поездку в неизвестность. И в холоде нет ничего неприятного — из-за него еще острее чувствуешь себя, и жизнь, и счастье. Все как-то проявляется, напрягается, концентрируется.

— Мне очень хорошо, — говорит она, — и это правда.

— Так вы еще и упрямы.

Он останавливает автомобиль, он берет свое верблюжье пальто, укутывает ее.

— Я взял пальто для вас, чтобы вы не простудились. Мне теперь ваше здоровье дороже своего.

Она удивленно смотрит на него, и он насмешливо объясняет:

— Вы крутите с понедельника.

Неожиданная заботливость, пушистое пальто, такое уютное и ласковое, и тепло, от которого размягчается, тает воля, превращаясь в мягкую благодарность, в покорность.

— Спасибо, — тихо говорит она, так тихо, что ему за шумом мотора вряд ли слышно. Ей хочется положить руку на его рукав, ей хочется прижаться щекой к этой синей, жесткой материи. Но она не смеет. От пальто идет легкий, горьковатый запах табака. Она не курит, ей противно все, что связано с курением — пепел, окурки, запах табака. Противно до тошноты. Но сейчас она с блаженством вдыхает табак.

Автомобиль скользит по черной блестящей дороге, стволы деревьев по сторонам выкрашены белой краской. Трава удивительно зеленая, такой зеленой она всегда представляла себе Ирландию.

Ривуар рассказывает содержание фильма, ее роль. Очень много горя и слез. Она умирает, она на небе и опять спускается на землю.

— Вы не будете бояться умереть?

Она смеется.

— Если вы дадите мне еще немножко пожить, покрутить до этого.

— Да, со смертью можно не торопиться. Раньше скрутите свою жизнь и в раю побегайте по облакам. Потому что вам придется быть ангелом. Это очень дикий, совсем небывалый фильм. Он может только или с треском провалиться, или стать эпохой. Среднего для него нет. Если он провалится, то я с ним. Я ставлю его на свои деньги пополам с компаньоном Герэном.

Он говорит быстро, с увлечением. Как просто, как откровенно рассказывает он ей свои дела. Будто другу.

— Теперь, с тех пор как я нашел вас, я не сомневаюсь в успехе. Мне нужны были именно вы. В вас есть что-то трогательное, ка-

кое-то «без слез смотреть невозможно», хрупкость, «ветер подует — сломается». Только вас мне не хватало. А теперь, когда я вас нашел, я совсем спокоен — я нашел вас...

Он смотрит прямо перед собой, он прибавляет скорости. Стрелка показывает 100, 110. Ветер шумит в ушах.

— Вы не боитесь? — спрашивает Ривуар.

Это относится к быстроте, но это может также относиться к ее роли в фильме, к ее роли в жизни.

— Нет, — почти кричит она, стараясь перекричать ветер. Она не боится, она ничего не боится — с ним.

Они молчат; ветер, быстрота, шум в ушах заменяют разговор. Им надо уже сказать друг другу слишком много, им еще нечего сказать друг другу.

Он уменьшает быстроту.

— Пора, — говорит он.

Она еще не знает, что «пора», но согласна с ним.

— Да, пора. Вы тоже голодны? — спрашивает он.

Она совсем не ожидала, что это «пора» можете относиться к обеду.

— Очень голодна, конечно, — отвечает она.

Они добрались до цели — приехали. Они въезжают в какой-то маленький город, останавливаются перед широким подъездом.

— Тут нас отлично накормят, — говорит он весело.

— Мы ведь ехали в неизвестность, откуда вы знаете, как здесь кормят?

Он открывает дверку, помогает ей выйти.

— Самая лучшая неизвестность та, которая заранее срежиссирована. Доверяться случаю легкомысленно... — и он почему-то низко и почтительно кланяется Люке.

Да, эта неизвестность безусловно срежиссирована. Их ждут. На столе — букет роз, лакеи суетятся. Они сидят в глубине большой комнаты, и перед ними — широкий, кирпичный, пылающий камин. Ривуар протягивает к нему руку.

«Вот что значит режиссура. Вот что значит счастье», — эхом отдается в ее голове. Да, все это: и стол с букетом роз, и камин, и коктейль, который она пьет, — все это счастье. Это счастье, но оно такое нетерпеливое, острое, колкое, как шило, как еж. Она все натывает на него, и ей больно, оно колет ее, и кровь течет. Ей хочется кричать от боли, от счастья. И все так вкусно. У еды совсем особенный, веселый вкус — впервые за три дня она чувствует вкус, и ей хочется есть. За все три дня сразу. «Омар по-американски» — вот как называется это вкусное,

что она ест. Правильнее по-американски, как говорит Бриан, не Бриа Саварен, а Бриан, тот знаменитый министр иностранных дел, который, если бы жил... — нет, это слишком сложно для нее. Она хочет еще вина. Так. И еще кусочек этого омара. Но больше счастья она не хочет. Счастья и так слишком много.

За окнами темнеет. В окне деревья становятся прозрачнее и легче, тают, засыпают в сумраке. Лакеи приносят, как на сцене, канделябры с зажженными свечами, ставят канделябры на стол, закрывают на высоких окнах красные шелковые шторы. До свиданья, деревья.

— Неужели это все для нас? Только для нас весь ресторан? Ривуар кивает.

— Ну конечно, все это для нас. Этот зал, и все лакеи, и камин, и дом, выстроенный в восемнадцатом веке. Только для нас специально, чтобы мы сегодня в нем пообедали. Вот что значит хорошая режиссура.

— Так вы волшебник?

— Ну конечно. Иначе разве вы были бы здесь, со мной?

Она кивает, она сама это отлично знает, и незачем об этом говорить. Но как красивы свечи, и розы, и камин, как вкусно, как весело.

— Я сделаю вас знаменитой, — говорит он серьезно. — Когда вы станете знаменитостью, вы не смеете забыть, что этим вы обязаны мне. Обещаете?

Она растерянно моргает. Что она должна обещать? Она не понимает, но она, конечно, обещает ему все, все, что он хочет.

— Да, да, — она протягивает ему руку. — Никогда, навсегда.

Это ничего не значит, и все-таки это сейчас самые нужные слова. Он так и воспринимает их. Он улыбается своей электрической, невозможной, небывалой улыбкой. Сияние его улыбки и тишина. Сияние.

— Знаете, я в детстве читала такую английскую сказку про улыбающегося кота. Он улыбался и весь сиял. Его видно не было за сиянием. Он удирал, и его уже не было, а сияние все еще оставалось. Вот как вы улыбаетесь, — она очень довольна, что наконец нашла сравнение, определение для его улыбки. — Да, да... — она задумывается. — Нет, кот вам не подходит. Вы скорее волк, улыбающийся волк — вот вы кто.

— Улыбающийся волк? — он снова смеется, и она смеется с ним.

— А это что? — спрашивает она неуверенно, тыкая вилкой в тарелку. — Как называется?

— Но ведь это спаржа, разве вы не узнаете?

— Ах, да, конечно, конечно, это спаржа, я вижу. Но я не думала, что могу найти здесь что-нибудь знакомое...

«А кофе тоже будет? И с ликерами? Или он опять не захочет?» Нет, он, кажется, сегодня все хочет так же, как она. Как жарко от камина, как странно от свеч, как непонятно от вина, как чудно от жизни.

Лакей пускает радио, и Люка понимает, что музыка была совершенно необходима, что ее только и не хватало. Теперь все хорошо, теперь желаний нет никаких, даже неосознанных, подсознательных. Дверь в глубине зала отворяется, входит повар, весь в белом, с высоким белым колпаком на голове. В руке он держит блестящую черную палочку. Он подходит к ним удивительно легкими, танцующими шагами, толстый, розовый, улыбающийся, он кланяется им, как придворные в балете кланяются королям.

— Довольны ли вы обедом?

— Очень, чрезвычайно довольны.

— Тогда позвольте мне, — он поднимает черную палочку, это волшебная палочка, он сейчас превратит их в верблюдов или мышей. Но это не волшебная палочка — это флейта, и повар подносит ее к губам. Он играет на флейте. Он играет нежно и наивно, он кружится по блестящему паркету. Пламя камина освещает его накрахмаленный колпак, его надутые розовые щеки, его веселые глаза. Белые завязки передника развеваются на его спине, из-под широких белых штанов выглядывают маленькие, удивительно легкие ноги в черных туфлях. Люка долго смотрит на него: неужели все это на самом деле или только так, только кажется?

Этот танцующий повар с флейтой, и камин, и цветы на столе. Так прелестно и так волшебно. Она поднимает голову.

— Вы знаете, — говорит она, — мне почему-то кажется, что сейчас зима и мы в горах.

Он кивает, он совсем не удивлен.

— Ну конечно, зима, разве вы забыли? Вы не видите — сосны в снегу. Нет, не поднимайте занавеску — очень дует. Тут в горах так холодно, ведь мы в Шамони, завтра мы будем бегать на лыжах.

Она смеется, ей хочется положить голову на стол, рядом с бутылкой ликера под пение флейты. Но Ривуар встает.

— Давайте потанцуем.

И они танцуют. Вернее, нет, не Люка танцует, танцуют ее ноги, вдруг ставшие самостоятельными, танцует Ривуар, танцует повар. Ривуар крепко держит ее за талию. Она смеется. Это слишком вол-

шебно, слишком прелестно, этого не может быть, это только кажется.

— Я устала, — говорит она.

Это не относится к танцу, это относится к счастью, она хотела бы минуту не чувствовать его, чтобы оно не жгло, не кололо, не разрывало ее, чтобы можно было совсем обыкновенно подышать и позевать. Ривуар не понимает, он останавливается, хотя ее ноги еще продолжают танцевать, еще хотят танцевать.

— Вы устали, — говорит Ривуар, — вам надо отдохнуть. Пойдемте.

Он берет ее под руку, он ведет ее к выходу. Она идет за ним, ей жаль уходить отсюда. Ей не хочется выходить на холод, ехать. Но они не выходят из дома, они идут вверх по широкой, обитой красным ковром лестнице. Наверх, куда? Может быть, это только кажется, что они поднимаются; может быть, они спускаются? Все может быть. Она пьяна, она не понимает. Лакей распахивает перед ними дверь. Они входят.

В большом зеркале отражается широкая кровать, люстра под потолком. Лакей закрывает дверь. Они одни. Она смотрит в зеркало, она видит свое отражение, отражение Ривуара, и кровати, и люстры. Она видит, как отражение Ривуара наклоняется к ней, поднимает ее, кладет в отражение постели. Видит, но ничего не чувствует. Она лежит на кровати. Она больше не видит своего отражения в зеркале, только люстра еще отражается. Но ее, Люки, уже не видно — ее больше нет в зеркале. Она закрывает глаза, чтобы спрятаться в темноту. Но темнота приходит в движение, кружится, кружится, как черный, гулкий шар. Это футбольный мяч. Это земной шар. Это сон. Нет, это не сон. Она слышит голос Ривуара, она слышит свой голос. Он спрашивает, и она отвечает. Но что она говорит? Слов нельзя разобрать, она прислушивается — понять ничего нельзя.

Она с трудом открывает глаза. Люстра по-прежнему отражается в зеркале. Она не узнает комнаты, она не понимает, где она. Она совсем трезва. Только в голове, под левым виском, застрял обрывок тумана, и мешает думать, и болит. Она смотрит на стены, на свое, брошенное на ковер, платье. Она одна. Ей страшно. Она поднимает голову. Рядом с ней, в этой же постели, лежит Ривуар. Он лежит совсем тихо, глаза его закрыты. Она наклоняется, она не слышит его дыхания. Неужели он спит? Но разве так спят? Она привыкла спать с мужем, привыкла к его дыханию, к его присут-

ствию. Она всегда, просыпаясь, чувствовала его присутствие. Но Ривуар? Она видит его, и все-таки его нет. Чтобы убедиться в его реальности, в его присутствии, надо тронуть его. Все предметы — кровать, зеркало, люстра, реальнее его — они здесь, в этом нет сомнения. Подушка, и та всеми своими смятыми углами заявляет о своем существовании. Люке страшно, ей было страшно только что здесь одной, ей еще страшнее вдвоем с этим отсутствующим, не дышащим Ривуаром. Она встает, она одевается. Если бы это было в Париже, она ушла бы одна, не разбудив его. Но как добраться домой? Она наклоняется над ним, осторожно трогает его за плечо. Он просыпается сразу, не просыпается, а обеими ногами прыгает из сна в действительность. Его открытые глаза неестественно блестят, он улыбается, скаля свои белые зубы. Эти сверкающие зубы, эти блестящие глаза на бледном, еще отсутствующем, еще ничего не выражающем лице пугают ее, она отворачивается.

— Простите, я заснул, так устал за день.

Он встает, надевает пиджак, поправляет галстук.

В окно стучит дождь.

— Только дождя не хватало, — раздраженно говорит он, как будто все и без того плохо.

— Едемте. Уже очень поздно.

Они спускаются по лестнице, швейцар провожает их с большим красным зонтиком до автомобиля.

Ривуар снова закутывает ее в свое пальто.

Разговаривать не разрешается:

— Такая сырость, еще охрипнете.

Она сидит рядом с ним и смотрит на освещенную автомобильными фонарями мокрую, скользкую дорогу. Ей холодно, ей грустно, ее тонкие туфли успели промокнуть, пока она бежала к автомобилю, ногам холодно, и сердцу тоже холодно. И как грустно. Счастье? Нет, она совсем не чувствует его больше. Можно вздыхать, зевать, можно дрожать от холода, от грусти. Счастье не помещает. Она ничего не помнит. Этот сидящий с ней рядом, молчащий, чужой человек знает о ней больше, чем она сама о себе. Ведь он-то помнит, он-то не был пьян. Но неужели так, как он сейчас, себя ведут «после»? Ей не с кем сравнивать, только с Павликом. Совсем другое «после». Но ведь это была их свадебная ночь. Она была женой Павлика, Павлик был влюблен в нее. Смешно Ривуару быть благодарным. И все-таки такой холод, такая злая отчужденность. Никакого контакта, вернее — порванный контакт. Автомобиль с влажным шелестом пронесется мимо мокрых деревьев,

мимо мокрых полей, мимо мокрых домов. Дорога пуста. Скорей, скорей, покончить с этим путешествием. Ривуар молчит, он внимательно правит. О чем он думает? Она не решается спросить. Может быть, ему грустно, так же грустно, как ей? Она видит его профиль, его внимательный взгляд, устремленный вперед, его бледную щеку. О чем он думает? И вдруг она слышит — нет, это только кажется ей, этого не может быть — он свистит. Он свистит громко и старательно, с явным удовольствием. Он насвистывает, высвистывает какой-то марш со звонкими, трескучими трелями, с залихватскими переходами. Свистит так, что уличные мальчишки позабывали бы, свистит, как можно свистеть только одному, когда никто не слышит. Самодовольно, весело, победоносно. Для себя. Он один, ее нет для него. Она сжимает руки, ей хочется остановиться, прекратить этот режущий свист. Но она молчит. Она ждет. Все неожиданно, непохоже на то, как она представляла себе. А дальше? Но дальше ничего особенного не случается. Он поворачивается к ней, значит он не забыл, что она здесь: «Хорошо свищу? А?» И она соглашается: «Очень хорошо». «Это марш из нашего фильма. Мы сейчас приедем». Да, они уже въехали в Париж. Булонский лес. Они едут по тихим, пустым улицам Пасси. Он подвозит ее к ее дому, помогает ей снять пальто, спокойно, будто привычно целует ее в щеку. «Приходите завтра в два подписать контракт. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи».

Он еще раз целует ее. Она входит в дом. Вот и случилось. Она поднимается по лестнице, она у себя, она — дома. Она садится на постель, ноги стынут в промокших туфлях, влажная кофточка тяжело давить плечи. Она сидит, не раздеваясь, не двигаясь. Ей хочется плакать. Так плакать, как плакали ее бабушки и прабабушки, уткнувшись головой в подушку. Но бабушки и прабабушки плакали от «падения», греха и стыда. А она? Ей совсем не стыдно, не жаль мужа, не страшно — ведь он не убьет ее, и в грех она тоже не верит. И все-таки она утыкается в подушку головой. Она плачет от жалости к себе, от разочарования, от одиночества. Так же горько и долго, как, вернувшись с первого преступного свидания, плакали ее бабушки и прабабушки.

В спальне совсем светло, она смотрит на часы — уже шесть часов. В восемь вернется Павлик. Она встает, она раздевается, мнет простыни и одеяло, чтобы казалось, что она спала. Но лечь она не может. Она дрожит, у нее, должно быть, жар, она простудилась. О том, что случилось, она не думает. Она ходит по спальне взад и вперед — от камина к стене ровно пять шагов и снова поворот и

пять шагов. Волнение не проходит, волнение увеличивается, ему нет выхода, и все те же пять шагов, камин, стена. Выход — прыжок в окно, в рассветное небо, на еще чистый, только что вымытый дождем тротуар.

— Ты с ума сошла, Люка, — кричит она. — Ты сошла с ума. Скорей бы вернулся Павлик, — она прислушивается к своему голосу и слышит щелканье ключа в прихожей. Павлик! Она бежит к нему, она обнимает его за плечи, виснет на нем. Он целует ее, чемодан падает на пол, вместо чемодана он вносит в спальню Люку.

— Что? Что с тобой? — бестолково спрашивает он.

Она целует его теплую шею над воротником.

— Я ждала тебя, Павлик, я не могла спать.

От его сильных рук, оттого, что ноги ее уже не касаются земли, оттого, что она над землей, в воздухе, она чувствует легкость освобождения, успокоение. И нежность, главное, нежность к этому теплему, сильному, доброму Павлику.

Вода успокоительно кипит в чайнике, сквозь тюлевые занавески светит солнце. Клеенка на столе скромно и приятно поблескивает, чашки желтые с кружевными трещинками — оттого, что дешево стоили, оттого, что много служили, заслуженные чашки. Масло белым кирпичиком на блюде и рядом, просто так, на клеенке, без подстилки, без церемоний — полметра хлеба.

— Тебя ждет сюрприз, Павлик, большой сюрприз, — Люка щурится. — Ты никогда не догадаешься.

Его коричневые глаза становятся почти желтыми.

— Неужели ты мне связала пуловер?

Она смеется.

— Какой глупый. Нет, не связала и вряд ли свяжу. Но ты будешь очень, страшно рад. Гораздо лучше пуловера. Только не спрашивай.

И он не спрашивает. Люка кладет ладонь на его теплую, большую руку, и рука его, держащая нож, готовая ножом отхватить кусок масла, намазать его на хлеб, поднести намазанный маслом хлеб ко рту («Зверски голоден, спешил к тебе, даже кофе не пил»), рука его, вздрогнув, выпускает нож и послушно, как собака, вытягивается, прижимается к ее ладони. Вот она дома, со «своим мужем». «Мой дом», «мой муж» не такие уже дырявые, пустые слова. Они лежат, освещенные солнцем, на розовой клеенке, рядом с хлебом, сами как «насущенный хлеб» уютной, спокойной, легкой жизни. Да, Люка успокоилась. Это ее дом, это ее муж. Живая, теплая связь с ним, близость, родство. Успокоение изменчиво и расплывчато, как облако,

края его поднимаются, сворачиваются, оно становится удивительно похожим на удовольствие. Уже не только покой, а удовольствие. Но вот оно снова меняет форму, цвет и вкус и расплывается целым озером солоноватой, успокоительной, приятной усталости. Если бы немного поспать? Но в спальне надо супружески-привычно-бесстыдно раздеваться, супружески-привычно-нежно обниматься в кровати. Нет, лучше не спать. Она удобнее устраивается на диване, подтягивает колени, кладет голову на диванную подушку.

— Расскажи, Павлик, все твои три дня. Подробно.

Он рассказывает, можно не слушать, не надо отвечать. Он и так рад, что она интересуется его днями. Он рассказывает, и рассказ его сейчас же соскальзывает в сон.

Три удара, и Люка просыпается. Три удара, как удары аукционного молотка, закрепляющие покупку за покупателем, закрепляющие за Люкой ее новую судьбу. Нет, это три удара часов. Неужели действительно уже три? «Ты так крепко спала, мне было жаль будить тебя». Жаль, а из-за этой жалости она опоздала. И теперь ее действительно можно пожалеть, так она испугана, растеряна, потеряна. Ривуар ждет, контракт ждет. Сквозь спешку, суету и страх, сквозь поиски чулок и перчаток надо еще отвечать. «Не приставай, Павлик. Нет, провожать нельзя. Я скоро вернусь и все расскажу». Захлопнутая входная дверь, полет с лестницы вниз, и вот уже такси стучит так же быстро и громко, как ее сердце. От страха ни о чем нельзя думать, страх заменяет мысли, слова, чувства. Страх, что Ривуар не ждет, страх, что она проспала, прозевала свою судьбу.

Она вбегает в подъезд. Лифта, и того нет, надо ждать, пока он спустится. Лифт, жужжа, опускается, жужжа, поднимается. Стеклопанельная дверь. Контора. Конторщик встает.

— Monsieur Ривуар еще здесь.

Сердце, как лифт, жужжа, летит куда-то вниз, жужжа, взлетает обратно. Ждет. Она входит в кабинет Ривуара. Ривуар стоит посреди комнаты, на белом ковре, как среди снежного поля:

— Ваш контракт давно готов.

Она краснеет.

— Где подписать?

Он смеется.

— Прочтите раньше.

Но зачем ей читать? Даже если «в рабство» или «душу дьяволу», она все равно подпишет, она и выводит свое имя большими буквами.

— Теперь все в порядке, — говорит он и деловито повторяет ей то, что она уже знает: сколько денег она будет получать и какие платья, в каких домах. Она выслушивает все, и он, окончив, прибавляет: «Поздравляю вас». Он звонит: «Отнесите контракт кассиру». Конторщик уходит. Дверь снова закрыта, они одни. Она сжимает руки на коленях, чтобы он не заметил, как дрожат ее руки, как дрожат ее колени запоздавшим, устаревшим, ничем уже не оправданным страхом — ведь контракт подписан. «Вы начнете крутить на будущей неделе». Как тягостно, как неловко она себя чувствует. Она встает, она протягивает ему руку. «Спасибо. До свиданья». Надо уйти. Но она стоит и смотрит на него. Отчего он молчит? Отчего он не берет ее руки? И вдруг он притягивает ее к себе. От толчка, от неожиданности она почти падает на него, он целует ее в губы. Она задыхается, она хочет вырваться, но он крепко, до боли, обнимает ее. «Могут войти», — это последняя защита, но и она не помогает. «Ты мне нравишься», — говорит он. Страха больше нет. Страх сразу исчезает. Она в первый раз сознательно целует его. «Я люблю тебя, Тъери», — как ветер вырывается ее голос. Этого она не хотела сказать, этого она даже не думает, но, раз сказав, раз назвав по имени, определив это волнение, этот страх одним словом «люблю», она уже не может остановиться. «Люблю тебя, — повторяет она задыхаясь, — люблю, люблю». Любви накопилось так много, слишком много, что она не может не заявлять, не кричать о себе.

— Ты мне нравишься, — говорит он. Не «люблю тебя», а только «нравишься», но и этого достаточно, этого даже слишком много для вновь вернувшегося, вновь переполняющего ее счастья.

В дверь стучат. Ривуар легко отталкивает ее, она садится в кресло — стоять она все равно не может, ноги совсем не держат, не слушаются. Конторщик отдает ей контракт, кассир кладет перед ней пачку денег.

— За две недели вперед, распишитесь тут, пожалуйста.

Красная губная помада размазана по ее щеке, и шапочка съехала набок, но конторщик и кассир почтительно ничего не замечают.

Она едет домой, вбегает наверх, она звонит не отрываясь — отпереть дверь своим ключом слишком долго, слишком трудно. Муж открывает: «Что случилось?» — «Случилось, — она вбегает в столовую, кладет контракт и деньги веером на стол. — Вот что случилось». Пока он читает, спрашивает, соображает, она, не останавливаясь, кружится по комнате. Он наконец понял. У него скорее

растерянное, чем радостное лицо. Она бросается ему на шею. «Как мы с тобой заживем, Павлик». — «Заживем, — повторяет он будто сомневаясь. — Хорошо заживем?» Она не слышит сомнения в его голосе, она слышит только свою радость. «Чудно волшебное, восхитительно...» — «Я всегда ждал для тебя, Люка, совсем особенной судьбы, не такой, как у обыкновенных людей. Но это все-таки слишком неожиданно». Она смотрит на него, на комнату счастливыми, шалыми глазами. Какой беспорядок. Все вокруг — стулья, столы даже цветы на обоях сошли со своих мест, вышли из своих берегов, потеряли смысл, цель, обнаружили, что они совсем не то, что Люка с Павликом думали, — стулья не для того, чтобы на них сидеть, и столы не чтобы обедать, и цветы обоев не жалкое стремление к украшению. Нет, это только декорация, не имеющая практической цели, декорация счастья, торжества, победы. Флаги, развевающиеся в воздухе, гремющий оркестр, кусты цветов, толпа зрителей, а не стулья, не столы, не обои... «Одевайся, Павлик, одевайся. Едем». Она засовывает деньги в сумочку, они под руку идут вниз по лестнице. «Скорей, скорей, столько надо купить мне и тебе». Они садятся в такси. Она едет покупать. Витрины магазинов, у которых она еще на днях долго выстаивала, примеряя умственно шляпу, платье, перчатки, подбирая их друг к другу, сомневаясь, не решаясь, на чем остановиться, будто она действительно собиралась купить и платье, и шляпу, и перчатки, уговаривая себя: «это непрактично», «лиловый цвет скоро выйдет из моды», «розовые перчатки очень маркие», убеждая себя этими уговорами, что она сейчас войдет в магазин и действительно станет настоящей покупательницей. Убеждая, убедив себя, но не вещи в витрине. Нет, вещи всем своим высокомерно дорогим видом давали ей понять, что она их не проведет, они оскорбленно топорщились, стараясь повернуться к ней изнанкой, будто говоря: «Проходи, проходи, все равно не купишь». Но теперь она не останавливается перед окнами. Из такси прямо в магазин. Неужели это те же самые, гордые недоступные вещи, к которым она присматривалась? Они так нежно-навязчивы, так продажно-доступны, как женщины Монмартра, они как будто просят: «Купи меня, возьми меня». Они будто обещают: «Тебе будет приятно носить меня, я украшу тебя». Назойливо, льстиво, подобострастно.

И она покупает. Она надевает на себя новое платье, новое пальто, новые туфли, новую шляпу. Все новое — с головы до ног. Новое, очень модное, очень дорогое. И все эти вещи, за минуту <до того> бывшие ничьими, безличными, нейтральными, сразу ста-

новятся совсем особенными — ее вещами, проникаются ее счастьем оттого, что они надеты на ней.

Она торопится. Скорей, скорей. Теперь ему, Павлику. Из магазина в магазин. Все надо успеть купить. Она выбирает мужу пуловер: «Теперь уже не успею связать. Надо было раньше, теперь некогда». Он соглашается. Да, надо было раньше. Все надо было раньше, теперь уже не успеешь. Поздно.

Она кивает, не понимая.

— Да, поздно. Магазины закрывают, и я устала, — говорит она жалобно. — Мы поедем обедать в тот ресторан.

В тот, о котором он часто говорил: «Вот я заработаю много денег и повезу тебя обедать». Они сейчас поедут туда, в тот самый ресторан. Правда, не он, а она везет его. Но разве она была бы так невероятно счастлива, если бы он на свои деньги повез ее туда? Так невероятно, небывало, сверхъестественно счастлива, что у нее, глядя на него, сжимается сердце от жалости.

Она гордо входит в ресторан своими счастливыми ногами в своих новых туфельках, которые уже успели переменить выражение счастья. Он идет за ней, он смотрит на ее плечи, на завитки ее светлых волос под шляпой. И по плечам, по затылку, по волосам ясно чувствует, что она сейчас улыбается счастливой, торжествующей, изнемогающей улыбкой. Она сидит за столиком напротив него. Только вчера, в это же время, она сидела так напротив Тъери. И все было почти так же. То же счастье и даже почти та же музыка. Она прислушивается к музыке, прислушивается к себе. Она пьет вино. Она улыбается. Это ее муж сидит здесь. Нет, это Тъери. Она улыбается мужу, она улыбается Тъери. «Я счастлива, — говорит она, изнемая, желая отдать часть этого слишком тяжелого, мучительного счастья. — А ты?» Он кивает. Она протягивает ему руку через стол, он целует ее пальцы. «Ты тоже счастлив, Павлик?» Да, все, как вчера. И вообще это не сегодня, это вчера. «Я тебя люблю, — говорит она Тъери, и муж вздрагивает, наклоняет голову. — Люблю, люблю», — повторяет она. Отчего повар не танцует, отчего нет камина? Она не спрашивает об этом, но камин и повар с флейтой были бы очень кстати сейчас. «Мне весело, слишком, слишком, — она смеется, — как чудно, разве мы мечтали? Исполненная мечта, как ты говорил всегда». Но это больше, гораздо больше. Да, это больше. Это «разбитая мечта». Может быть, его страх напрасен? Он кладет ладонь на ее руку, он робко заглядывает в ее глаза: «Люка, обещай мне, поклянись мне, Люка». Она не слушает, она смотрит на женщину в меховой накидке. Она вытягивает руку из-под ладо-

ни. «Посмотри, Павлик, вот такую накидку мне надо купить. Вот такую... В этой, черной, у окна, видишь?»

Он замолкает. Он не говорит, он никогда не скажет того, что хотел сказать: «Люка, обещай, поклянись, что никогда не бросишь меня».

Если бы он сказал, если бы попросил, унижительно признавая свою рабскую зависимость от нее, меняясь жизнью выработанными ролями (жена слабая, муж сильный, он защитник, она нуждается в нем), признавая ее власть, отдавая свои права, выясняя раз навсегда: «Не могу без тебя, Люка». Если бы он попросил, она наверно поклялась бы и с той же веселой готовностью обрадовать его, с какой только что дарила ему галстуки, подарила бы клятву: «Никогда. Навсегда. Только будь доволен. Не мешай моему счастью». Она поклялась бы, и он мог бы еще дышать спокойно... Но он молчит, и она не клянется. Она пьет вино. Она поправляет счастливый цветок у выреза счастливого платья. Она заказывает спаржу. «Спаржа», — как приятно произнести. Вчера она ела спаржу с Тъери. «Я люблю спаржу», — говорит она и краснеет, будто выдала себя, будто сказала: я люблю Тъери. Но муж не понимает, не может понять. Они пьют за ее успех, за ее богатство. «За мое счастье», — предлагает она. «Мое», а не «наше». «Мое счастье» — значит за любовь Тъери. Но муж не понимает, он чокается с ней, он пьет: «За твое счастье, Люка».

Домой они возвращаются поздно, немного пьяные. Она — от любви и счастья, он — от страха за будущее, за свою любовь. Они входят под руку, они смеются. Он помогает ей раздеться. «Развяжи», — говорит она, и он развязывает ее пояс. Ему кажется, что он развязывает не ее пояс, а живую теплую связь, ту ленточку, ту ниточку, которая еще связывала их сегодня утром и которая понемногу развязывалась за этот сумасшедший, суетливый день, за этот веселый, пьяный вечер и вот теперь, окончательно развязавшись, голубой полоской лежит на полу между ними.

Люка снимает платье, сбрасывает туфли — она уже в постели.

— Где ты? — спрашивает она сонными губами, закрыв сонные глаза.

И вот она одна, одна с Тъери. Он рядом с ней, она засыпает, положив голову на его плечо. Она спит, и во сне ни Тъери, ни счастье не покидают ее. А он, Павлик? Ее муж? Она больше не помнит о нем. Разве она не была с ним очень мила, очень щедра, очень добра? Чего же еще требовать от нее?

Чего же еще требовать? Он ничего и не требует. Он лежит рядом с ней, он чувствует на своей груди теплую тяжесть ее головы. Он смотрит на ее прелестное, детское лицо, побледневшее от счастья и усталости, на ее волосы, похожие на завитой лунный свет. Она лежит не шевелясь, трогательная, теплая, беспомощная. Вчера была последняя беспечная ночь в его жизни. А он и не знал.

Лица, головы, флаконы, аппараты для завивки и сушки волос, зеркала под разными углами, отражающие эти лица, флаконы и аппараты с бесчисленными отражениями, уводящие их за границу света и реальности в блестящую потусторонность зеркального мира, дробящие, перекашивающие, ломающие их на отдельные части, на составные элементы, переводя всю банальную парикмахерскую из плоского жизненного плана в таинственный план искусства. Глаз, отражающийся в скошенной плоскости facets, глаз сам по себе, увеличенный, сияющий, как осколок каменного угля во льду, непонятный, значительный своей собственной необъяснимой жизнью, пугающий и прекрасный. Глаз, не составляющий целого ни с чьим лицом, не освещающий, не гармонирующий, не украшающий — глаз сам по себе. И внизу, в продольном четырехугольнике зеркала, рука сама по себе, рука с длинными пальцами и красными ногтями, отрезанная у кисти металлической рамой.

Колпак для сушки волос шумит, как аэроплан. От горячего ветра, который дует в уши, от шума кажется, что летишь. И даже слегка мутит от полета, от жары. Люка закрывает глаза. Она летит высоко над землей, над судьбой. Отчетливо и ясно видно все. Вот она, ее прошлая жизнь, ее прошлые дни. В этих днях так много голубого цвета, будто это голубые озера, голубое небо, голубые горы. Но ведь она жила в Париже, она не видела ни озера, ни гор, откуда взялась вся эта голубизна? Она присматривается. Нет, это не озера, не горы, не небо. Это покой. Это покой, наполнявший ее жизнь. Покой — тогда она звала его скукой. Теперь она видит, какой он был легкий, нежный, воздушный. Дни высокие, голубые, большие. Такие поместительные. Чего только в них не было — так много звуков, запахов, чувств, совершенно потерянных теперь. Земля скрипела под ногами, от лампы ложился желтый теплый круг на покрытый белой скатертью обеденный стол, вечером на стенах вытягивались черные тени, зимой было очень, до слез, холодно, летом листья были зеленые и цветы цвели и пахли, утром ставни с трудом открывались, норовя уцепиться за палец, пыль удивительно быстро омрачала блеск полированного буфета, с нею велась

ежедневная борьба, под окнами играли и кричали дети. Все было наполнено, дышало, звучало, жило в спокойной скуке, в теплой прелести жизни. И была чисто физическая радость, совсем не зависящая от событий, была восхитительная усталость перед сном — «вот сейчас усну», было веселое любопытство утром — «какая погода?» и, «как хорошо, что весна», и «как хорошо, что зима», и «как хорошо, что я живу в Париже», и «как жаль». Целая серия «как жаль» — легкое сожаление, в сущности не менее приятное, чем радость, — скользившее по поверхности, как бумажные кораблики по воде, не задевающие глубины, не мутящие стеклянной глади покоя.

Она садилась в кресло у открытого окна. Ей казалось, что она скучает. Она сидела долго одна, ничего не делая, сквозь скуку чувствуя, как в ней медленно скопляются силы жизни, как они, эти силы, проникают в нее из земли через тонкие подошвы туфель, через теплые ладони, через рот, через открытые глаза. Из земли, из воздуха, из света. Собираются в ее груди, в ее сердце нерастратенным запасом, накопленным богатством. Тогда она только накапливала, собирала силы, готовясь жить. Накопляла, собирала из земли, из каждой пролетающей минуты, из тепла, холода и света. Огромные запасы, целые склады, которые, казалось бы, нельзя было растратить. Но вот прошло только три месяца, и она истратила все, что скопила, все, без остатка, — проносила до дыр свою кожу, так что чувствует, как горячий ветер дует прямо в ее сердце.

Жужжание аппарата для сушки волос обвеивает голову горячей усталостью. Мысли копошатся, как муравьи, строящие, нет, вернее растаскивающие, разоряющие что-то — они разбегаются, торопятся, работают впустую. Голова болит, и нельзя даже понять, что больше мучит — то, что сейчас придется сказать Павлику, что она опять уходит из дома сегодня вечером, или то, что до этого выхода из дома, до этого вечера еще так далеко. Борьба с временем — главное, чем теперь полна жизнь Люки, борьба с часами и минутами, которые надо прожить без Тъери в ожидании встречи с Тъери. Теперь ее дни тяжело громоздятся друг на друга, лежат кучей — приплюснутые, разбитые, как вагоны после железнодорожной катастрофы. Одного теперешнего дня хватило бы на месяцы той прежней воздушной, голубой жизни. Теперь ее тесные, душные, темные дни перегружены спешкой, тревогой, работой в студии и влюбленностью. Главное — влюбленностью.

Люка вдруг видит себя на знакомой дороге, около завода мужа. Она стоит закинув голову, в своем старом клетчатом платье и смот-

рит на небо, на аэроплан. Он пролетает совсем низко, вот сейчас он опустится здесь, около нее. Нет — он поднимается, он улетает, она щурится, только бы не потерять его из виду. На нем, на этом аэроплане, улетает ее судьба, среди белых туч в голубом небе, в солнечном сиянии, все выше и выше. И вот уже ничего не видно. Пускай улетает судьба. Но аэроплан продолжает шуметь. Люка стоит на дороге, она ясно видит себя, свое огорченное лицо, свою белую шляпу, свои голые ноги в запыленных сандалиях. Она стоит на дороге, вместе с тем в одно и то же время сидит в аэроплане. Она одна, пилота нет. Она правит аэропланом, она судорожно держит руль, ей страшно. Страшно, как было страшно, когда она училась править автомобилем. Нет, еще страшней. Только бы не налететь на тучу, не задеть звезды. Она тормозит, она нажимает акселератор, она вертит руль, она совсем не знает, что делать. Но все идет прекрасно. Аэроплан слушается ее. Вот сейчас она благополучно снизится, долетит до той грустной Люки, которая стоит там, внизу, на дороге. Но вдруг в глазах темнеет, руки слабеют и выпускают руль, нет ни воли, ни сил. Ужас глухо ударяет в сердце. Это черная точка. Черная точка, от которой пилоты теряют сознание.

Люка открывает глаза и невидящим взглядом смотрит в зеркало на свое посмертное лицо, на сестру милосердия в белом халате. Но это не сестра, это маникюрша.

— У мадам прекрасные руки, — говорит она, глядя на Люку с раз навсегда для всех клиенток установленным профессиональным восхищением. Может быть, она действительно восторгается Люкой, но другого выражения лица, кроме этого профессионального, у нее все равно нет.

Люка кладет пальцы в теплую мыльную воду. Вместе с ощущением действительности возвращается усталость и беспокойство. Который час? Скоро ли она уйдет отсюда? Как долго, как мучительно долго она уже сидит здесь.

Наконец волосы высохли. Парикмахер освобождает голову от колпака, расчесывает волосы, свивает локоны на пальцах, укладывает их. Долго, мучительно долго. Но вот последний волос уложен и завит, с прической больше делать решительно нечего. Парикмахер, наклоняясь, заглядывает то слева, то справа, отходит на шаг, даже присаживается на корточки и вдруг, вытянувшись во весь рост, поднимает руку и чертит над головой Люки круг, как сияние над головами святых.

— Готово, мадам.

Люка встает, вынимает из сумочки ключи от автомобиля — эмблему свободы и власти над пространством, которыми современная женщина гордится совсем так же, как ее мать гордилась ключами от шкафов и комодов, — эмблемой домашней власти и несвободы.

Сквозь широко распахнутую дверь парикмахерской, сквозь низкий поклон швейцара на улицу, на воздух, к своему автомобилю. Опять заставили машинами, выбирайся теперь. Она, морщась, берется за руль. То, что она только что причесалась в одной из самых элегантных парикмахерских, то, что она едет в собственном автомобиле, совсем не радует ее. Если бы это случилось год или полгода тому назад... Но теперь ей не до парикмахерских и автомобилей. Все всегда приходит не вовремя. Слишком рано или слишком поздно, когда еще или уже нельзя радоваться. Теперь это все только лишняя нагрузка усталости: и парикмахерская, и автомобиль. Надо осторожно править — ведь только два месяца, как она научилась. Полицейский останавливает движение. Ждать, опять ждать.

Она подъезжает к своему дому. Она так и не переехала из него. Ей все равно, а Павлик привык, привязался, прирос к нему сердцем. «Здесь я был счастлив. Если мы бросим эту квартиру...» Нет, она не бросит, не все ли равно, где жить, где жить без Тьери?

Горничная открывает ей дверь. Теперь у нее горничная и квартира заставлена новыми, дорогими, наспех купленными вещами. Но от этого не стало красивее. Напротив — нарушились какие-то пропорции, какие-то законы уюта и домашности. И главное — новые вещи не сумели прижиться, ужиться здесь. Между ними и старыми идет вражда, это чувствуется в воздухе. Но Люке все равно, пусть вещи враждуют, какое ей дело? Пусть Павлик не садится в купленное для него модное кресло, пусть радио как назло поет только рекламы, когда она случайно открывает его. Пусть.

Она отдает прислуге шляпу и пальто, она идет в спальню, ложится на постель.

— Потушите свет.

Она лежит в темноте неподвижно, вытянувшись на спине. Сейчас она отдохнет. Но отдыха нет. Так же как гордости, как радости. Всего того, что она испытывала раньше, больше не существует. Только одно чувство жизни. Она живет. Теперь она каждую минуту чувствует, что живет, она чувствует всю себя, свои напряженные мускулы, свои кости, свою медленно и тяжело переливающую

юся кровь, свое пульсирующее горло. Ощущение жизни переполняет, душит ее, оно как огонь горит в ней, сжигая ее жизнь. Тяжесть своего костяка, своих мыслей, своего сердца. Невозможность улечься свободно и мягко, освободиться от напряжения, от себя, от влюбленности, свернуться, как прежде, теплым комком, пакетиком, внутрь, сама на себя, невозможность уйти, хотя бы на минуту, в свою, только себе одной доступную, теплую, мягкую суть, к самым истокам своего существа, юркнуть туда, как лягушка в тину, туда, где так еще молодо, зеленоватым огнем, как огонь маяка, светится ее жизнь, набраться собственной, ей одной присущей радости, собственного, ей одной присущего покоя. Невозможность, как прежде, снова вынырнув на поверхность, с веселым нетерпением широко развернуться навстречу всему тому, что случится. Всему, что случится. Но теперь это «все» просто не существует. Ничего не существует, кроме Тъери. Тъери, для Тъери, о Тъери, за Тъери. Она беспокойно двигает головой, никак нельзя удобно уложить эту изнемогающую от влюбленности голову. Как она устала. Темно, тихо, тревожно. Нет, встать нельзя. Надо лежать, надо отдыхать. Лежать так с закрытыми глазами, с компрессом на усталых веках. На широкой постели, как на лодке, плывущей по пустой, черной реке. Это ощущение лодки, аэроплана, поезда, незнакомое прежде, повторяется все чаще и чаще. Будто она плывет, будто едет куда-то. Покоя нет, невозможно ни на минуту пристать к берегу — ее сейчас же уносит, она сейчас же куда-то улетает. Вечное движение, вечная тревога, вечная усталость. И все-таки это счастье, вдруг вспоминает она. Да. Счастье. Через час она будет с Тъери. Она больше не может лежать, она садится на постели и как пружина вытягивается и сворачивается до предела, до дрожи. Темнота снова приходит в движение. Все движется, спешит, летит, уплывает. Черные волны реки бегут перед глазами, поезда пролетают в искрах, кровать раскачивается, и ветер шумит в волосах. И она сама движется, бежит, летит куда-то, и нельзя остановиться, зацепиться, перевести дыхание.

Дверь тихо отворяется. Полоса света падает на кровать.

— Павлик, — кричит она, пока он еще не вошел. — Я должна обедать сегодня с Герэном и Ривуаром. Теперь он знает, самое трудное сделано. — Не зажигай света, Павлик, — это чтобы не видеть его глаз.

Он подходит к постели в темноте. Ей очень жаль его, она готова на многое, чтобы утешить его.

— Люка, ты никак не можешь остаться?

— Нет, нет, — голос ее звучит жестоко.

Она готова на многое, но не на то, чтобы отказаться от встречи с Тъери.

Он молчит, он сидит на краю постели, она чувствует, как он несчастен, как ему тяжело. Она в темноте, ошупью находит его руку, кладет ее под свою щеку.

— Я устала, — жалуется она. Она знает, что, если он пожалеет ее, ему самому станет легче. — Я не могу больше, Павлик, у меня нет больше сил.

— Люка, нельзя так утомляться, ты заболеешь.

Она трется щекой о его ладонь.

— Теперь уже недолго, Павлик. Я скоро кончу фильм. И тогда мы уедем с тобой на юг, в Ниццу. Ты возьмешь отпуск, мы уедем вдвоем на целый месяц.

— Да, да — соглашается он. — Мне дадут отпуск, я не брал летом. Месяц вдвоем, в Ницце. Неужели это правда будет?

И вдруг она понимает, что это действительно так и будет, что она действительно уедет с Павликом на юг, что она действительно расстанется с Тъери на целый месяц, что это будете разлука, настоящая разлука, настоящее горе.

— Люка, там пальмы, как в Африке, и море. И замечательно красиво.

Люка слушает и уже ненавидит это никогда еще не виденное море и пальмы, как в Африке. Неужели придется пережить разлуку? Любовь, разлука. Разве бываете любовь без разлуки? Как она раньше не догадалась? Разве можно без разлуки? Павлик мечтает вслух о Ницце. Да, она утешила его. Теперь у него, должно быть, почти веселые глаза. Его горе перешло к ней через его теплую руку, лежащую под ее щекой, все до последней капли. Это уже не жалость к нему, скользкая по ее коже, это боль, врезающаяся в ее грудь, в ее сердце. Наверное, у нее, а не у него, сейчас глаза собаки, воющей на луну от тоски.

— Да, Павлик, мы уедем с тобой на юг. Скоро, очень скоро.

Прислуга тихо стучит: «Людмила Алексеевна, уже половина восьмого».

Половина восьмого. Через тридцать минут она увидит Тъери. Разлуки может еще и не быть, а Тъери она непременно увидит. Она зажигает свет.

— Я отдохнула с тобой, Павлик, — она встает. — Все будет очень хорошо, — обещает она ему и себе. — Очень хорошо, — одобряет она свое платье, и накидку из серебристых лисиц, и маленькую

забавную шапочку. — Очень хорошо, — говорит она, спускаясь с лестницы.

И это последнее «очень хорошо» означает, что минута встречи с Тьери наконец наступила. Она выходит из подъезда, но автомобиля Тьери нет. Сотни случаев катастроф, сломанных рук, раздробленных черепов, кровавых луж смешиваются с надеждой — «просто опоздал». Чувство горького сиротства, потерянности. Боль во лбу, как звезда, освещающая все страхом. Десять, двадцать лет жизни отдать, только бы... Но ни двадцати, ни десяти лет жизни не приходится обещать судьбе. Тьери останавливает автомобиль у тротуара. «Давно ждешь?» Он не извиняется, не объясняет причины опоздания. Он тут, перед ней, живой, целый, улыбающийся. Радость, как удав кролика, проглатывает остатки волнения. Она садится рядом с Тьери. Она совсем спокойна, совсем счастлива, совсем неподвижна. Движение, спешка, время — все остановилось. Автомобиль врос в землю, пустил глубоко корни. С двух сторон в окнах бегут дома, фонари и прохожие. Но автомобиль неподвижен в статическом счастье. Цель достигнута: Люка рядом с Тьери. Ни времени, ни движения больше нет. Пространство, загроможденное домами, людьми и машинами, летит мимо окна. Но они — Люка, Тьери и автомобиль — не участвуют в этом полете. Они на острове неподвижности и счастья. Тьери мельком взглядывает на нее: «Хорошо». Это «хорошо» относится к ее платью, ее шляпе, к ней. Хорошо. Счастье — это полное отсутствие ожидания, движения, желания. Счастье — это покой. Она молчит, ей даже нечего сказать.

— Что же ты? Выходи.

Тьери открывает дверцу автомобиля. Ей не хочется выходить, приводить в движение все рычаги воли и мускулов. Но она уже послушно входит в ресторан, осторожно ступая, чтобы не вспугнуть чувство покоя, как голубя, сидящего на ее плече.

Герэн уже ждет. Он преувеличенно вежливо кланяется, преувеличенно вежливо целует ее руку. Маленькая обида. Тьери, здороваясь с ней, никогда не целует ей руку, и снова радость, как удав кролика, сразу проглатывает еще не успевшую зашевелиться обиду. Люка садится и, улыбаясь, смотрит на Герэна. Вот она сидит здесь на желтом бархатном диване, рядом с Тьери. Совсем счастливая, совсем спокойная. Вся здесь, со всеми своими мыслями и надеждами, со всей своей сконцентрированной на этой минуте жизнью, в своей лучшей шляпе и накидке из серебристых лисиц.

Вот она сидит с Тъери здесь, в ресторане, и сейчас будет обедать. Сидит на диване, не летит, не плывет. Тревога остановилась. Жизнь прекрасна. Ничего больше не надо. Тъери здесь, рядом. Его руки, его лоб, его голос, его колени, все, по чему она так томилась и скучала, здесь. И ее колени, ее локти, ее руки счастливы, спокойны. Ничего, что Герэн тоже здесь. Он не мешает, ничто не мешает, раз Тъери рядом с ней. Покой продолжается. Легко, спокойно, привольно, не спеша возникают ощущения. Приятны цветы на столе и томительные гавайские гитары, и то, что хочется есть, и то, что все видишь, понимаешь и слышишь не хуже, даже лучше, чем кто другой. Оттого, что Тъери тут, рядом. Неподвижность, покой, тишина, несмотря на музыку, на разговор. Как будто времени больше нет. Она выпала из него в восхитительную паузу, в прозрачную остановку, в сияющий полет счастья.

Герэн говорит, и Тъери тоже говорит. Их слова скользят, как ветер, по перьям ее шляпы, по шерсти ее лисиц, не проникая в нее, не тревожа, не перемещая покоя ее сознания. Она слушает улыбаясь.

Они обедают, спешить некуда, волноваться не о чем. Она молча слушает разговор Ривуара и Герэна. У Герэна гладкий, голый, совсем не противный череп, ясные глаза. Он постоянно касается левой стороны пиджака, не то чтобы проверить, не украли ли бумажник, не то чтобы убедиться, что сердце на месте. Этот жест она запомнила в первый же вечер знакомства, но о чем он беспокоится, о сердце или о бумажнике, так и не выяснила. Он очень богатый, этот Герэн, у него миллионы, прожить, истратить их невозможно. Даже трудно представить себе столько денег — гора серебряных двадцатифранковых монет, гора тысячефранковых билетов и между ними, как мышь, бегает юркий, лысый, моложавый Герэн в черном костюме со светлыми гетрами на быстрых, немного кривых ногах. Гора родила мышь, нет, мышь родила гору. Трудно представить себе величину этой горы. Но какое дело ей, Люке, до Герэна и до его денег.

Герэн, улыбаясь, смотрит на нее, он кончил деловой разговор.

— Это странно, — говорит он ей, — но мне всегда кажется, что вы освещены прожектором. Где бы вы ни были, весь свет сосредоточен на вас, вы всегда в светлом круге, а все остальное в тени, и вас сразу видно, сколько бы людей ни было. И еще вы видны сами — ваше лицо, ваши волосы, ваши глаза, руки. А у других женщин видны их шляпы, их платья, даже цветы на столе перед ними, а не они сами.

Тъери спорит — у него нет этого ощущения света, связанного с Люкой.

— Самое удивительное в вас (он так и говорит — «самое удивительное», и значит, в ней еще много удивительного, если это самое удивительное), что вы всегда такая, как ждешь, как надо в данную минуту, в данном случае, что вы не разочаровываете, как все, что о вас никогда не говоришь себе: «вчера она была лучше» или «она казалась мне красивее», не думаешь даже: «каким она была прелестным подростком» ни «какой очаровательной она будет через десять лет». Нет, вы сегодняшний день, вы самое современное существо, которое можно себе представить. Не вчера, не завтра, а сегодня. Без всякой необходимости в поправке, без жалости о вчерашнем, без ожидания завтрашних добавлений, украшений, вполне совершенное сегодня.

Он отпивает глоток вина и смотрит Люке прямо в глаза.

— И все-таки вы не талантливы. Я ошибся в вас. Да, ошибся, как это ни странно.

Она чувствует легкий стук в лоб, будто слова о ее неталантливости, соскользнув с перьев шляпы, стучатся в ее лоб. Но стук совсем легкий. Можно не открывать, не впускать в мысли это известие о неталантливости. И ведь оно не ново. Она сама знает, что она неталантлива. Все началось с ошибки. Вначале была ошибка, вначале была ложь. Да, она неталантлива. Она, играя, никогда не испытывала чувства вдохновения, когда кажется, что достаточно протянуть к окну руку, чтобы сорвать с неба звезду. В студии, на плато, она ни на минуту не перестает видеть светлые глаза Тъери. Его глаза, как цепь, к которой она привязана. Она чувствует себя собакой на цепи. Она старается только как можно точнее исполнить его приказания. Какое уж тут вдохновение.

— И все-таки, — говорит Тъери, — я сделаю вас знаменитостью. Вот увидите...

Теперь они сидят на низком диване, покрытом ковром. Свет идет от столов, освещая ведро с шампанским и стаканы — самое нужное здесь. И еще руки, наливающие шампанское в стаканы, поднимающие стаканы к губам. Но головы и лица тонут в тени. Покой все еще длится. Его не может нарушить даже гортанное, страстное цыганское пение. О горе, о разлуке. Но для Люки это сейчас ничего не значит. На острове покоя, на котором она с Тъери все еще живет, таких слов просто не знают. Остров окружен стеклянной стеной, о его стеклянную стену разбиваются крики горя и разлуки, доходят сюда очищенные, освобожденные от боли, не-

жной, воздушной песней. За стеклянной стеной, растекаясь по ней узорами, как дождь, падает электрический свет, освещая то трен белого платья певицы, то лицо, то кусок жизни сидящих за столиками. О них, о сидящих за столиками, можно сейчас все угадать, почувствовать, можно понять, почему плачет эта женщина и улыбается та. Все узнать — их настоящее и даже будущее. Но Люке неинтересно. Она поворачивается к Тъери. Только он и она. Ничего, кроме них двоих и этого покоя. Герэн требует счет. Еще немножко. Еще минутку. «Еще минутку, господин палач». Но минутка проходит, и стеклянная стена падает в шуме отодвигаемого столика. Люка идет к темному выходу, и у самой двери, как нож, предательски брошенный в спину, ее настагает гортанный голос, вдруг ставший понятным и страшным:

*Было горе, будет горе,
Горю нет конца...*

Люка вздрагивает и переступает порог в ночь, в дождь, в тоску. От покоя не осталось даже легкого следа в мокром темном небе.

И автомобиль сразу приходит в бешеное движение, и время, входя в свои права, заявляет о себе голосом Герэна:

— Как поздно. Три часа. До завтра.

Будто стараясь еще ускорить бег времени, приблизить завтра, зачеркнуть сегодня. Неужели сегодня уже совсем кончено и Тъери сейчас отвезет ее домой?

От фонаря на мокрую мостовую ложатся мокрые пятна света, шины с шелковым шуршанием скользят по лужам. Ожидание — куда свернет Тъери. Направо — значит, к ней, — на сегодня всему конец, налево — значит, к нему, и жизнь еще продолжается. Автомобиль заворачивает налево. Она вздыхает, сцепившиеся пальцы слабеют, и руки соскальзывают с колен, напряжение падает, она прислоняется к плечу Тъери и закрывает глаза. Дождь стучит матовым успокоительным стуком. Автомобиль останавливается. Они выходят. Она ступает в воду, и туфля сразу промокает.

— Осторожно, — говорит Тъери, но она не чувствует ни воды, ни холода, не понимает, к чему это «осторожно» относится.

Его квартира, его «дома» — единственное «дома» — на земле. Он живет здесь, каждый вершок пола исхожен его ногами, на каждой клочке обоев останавливались его глаза. Его кабинет с песочным ковром, с песочными стенами, большой, пустоватый, металлических креслами и колючими кактусами почему-то всегда напоминающий о Сахаре и сейчас же вызывающий связанную с

воспоминанием о Сахаре — жажду. Всегда, входя сюда, ей хочется пить, и всегда она сейчас же забывает об этом. Она сидит на широком диване в его спальне, она сняла платье, сбросила мокрые туфли, чулки. Из ванной доносится шум воды. Она прислушивается к восхитительному шуму воды. Тъери купается. Она не смеет войти к нему. Он не торопится, как будто она не должна будет сейчас уйти от него, как будто они вместе живут здесь. Сейчас он придет. Ей кажется, что она действительно живет здесь с ним, что это ее жизнь и другой жизни — жизни с мужем — у нее нет. Только с Тъери, вокруг Тъери, для Тъери. Ей хочется лечь на пол, чтоб он прошел по ней, как по ковру. Собачья любовь. Она прежде смеялась над рабскими женскими чувствами, а теперь... Она вытягивается на диване под пуховым одеялом. Она дома, Тъери сейчас придет, завтра утром они будут вместе пить кофе. А в студию она совсем не хочет. Ни студии, ни карьеры. Они живут так, как с Павликом, но с Тъери. Так просто, так скромно, так вдвоем. Она хозяйничает, она сама готовит обед, сама убирает комнаты, сама стелет постель. Больше ей ничего не надо. А летом они вдвоем уедут, все равно куда, но вдвоем. И никогда никакой разлуки. Даже на день.

В открытую дверь входит Тъери в своей белой шелковой пижаме с газетой в руке. Такой, как всегда — «в сиянии и славе», несмотря на пижаму. На нем даже пижама сидит, как фрак, совсем не домашне, неуютно-мешковато, а элегантно, подтянуто, официально. Он кладет газету на столик.

— За целый день не успеешь и прочесть. Знаешь, я думал о тебе. Ты не спишь? — она приподнимается и качает головой. Он ложится рядом с ней. — Я думал о тебе, — повторяет он. — Да, очень серьезно думал. Знаешь, с тех пор, как ты со мной, мне во всем везет, — он целует ее в губы. — Ты приносишь мне счастье.

Он обнимает ее, и она, прижимаясь к нему, вдруг начинает дрожать, как от страха, как от лихорадки. Все темнеет перед глазами, и вдруг белый ослепительный свет зажигается перед нею. Это совсем другой, это новый, восхитительный мир. Все в нем ново, чисто, прозрачно. Деревья высоко поднимают в воздушном небе тонкие ветки с легкими, прекрасными листьями. Стволы деревьев тоже прозрачны, видно, как в них, как по каналу, переливается сок жизни, как он поднимается в ветки, в тонкие прожилки листьев, блестящий и густой. И земля тоже прозрачна, корни деревьев глубоко переплетаются между собой. В земле под корнями спит бархатный, слепой крот, подогнув когтистые лапки, уткнувшись мордочкой в землю, большие белые черви медленно сворачиваются и

разворачиваются над ним. Корни как цветы, — будто это не корни, а цветы, цветущие в прозрачной, легкой, светящейся земле. На ветке дерева сидит маленькая птица. Она ясно видна, сквозь ее серые прозрачные перышки видно, как бьется ее маленькое сердце, как кровь бежит по ее венам, ее горлышко напрягается и движется, ее клюв открыт, она поет. Но песни нет, звука нет. Никаких звуков нет в этом новом, непроявившемся, неосуществившемся мире. Звук еще не родился. Еще нет звука, как нет еще силы, плотности, старости. Все еще ново, нежно, бессмертно. Это первый день, первый час творения. И все ждет звука, требует одобрения. Этот мир создан только для Люки, она одна может навсегда закрепить, утвердить, сохранить его. Ей надо найти слово, и она находит его. Она должна сказать «да». Только «да». Согласие, утверждение. Этого довольно — да, да, да. Все ее восхищение, вся ее радость, ее благодарность — да, да. Вот сейчас она скажет «да», и птица на ветке запоет, и ветер нежно зашумит листьями. Но вместо «да», вместо ее голоса, говорящего это «да», она слышит резкий, длинный, хриплый крик, будто это не она, а затравленный, раненый заяц кричит: «Е-и, е-и. Тье-ри». Она открывает глаза: прямо над ней белый, выкрашенный масляной краской потолок, освещенный снизу лампой-рефлектором, белый, блестящий. С этого ледяного, блестящего потолка в ее еще открытое, потрясенное, незащитное сердце смотрит тоска. Она одна. Она слышит свое дыхание, свое одиночество. Куда исчез Тьери? Она медленно поворачивает голову и видит его. Он спит, он тихо лежит рядом с ней. Как мертвый. Нет, мертвый все-таки существует, а его точно нет в этой комнате, нет в этом городе, нет в этом мире. Подушка под его головой, одеяло, покрывающее его, газета на столике — все предметы вокруг настоящие, живые, реальные. И они, заявляя о себе, только еще больше подчеркивают отсутствие, нереальность Тьери. Ей становится страшно, как тогда, в первую ночь в гостинице. «Тьери, — кричит она, — Тьери!» И сразу, как будто щелкнул выключатель, к Тьери возвращается жизнь. Никакого перехода от сна к действительности, он смотрит на нее ясными, сознательными глазами. «Я, кажется, заснул», — говорит он трезвым, рассудительным голосом. Страх исчезает, но тоска остается. Она прижимается к его плечу: «Мне надо уходить, Тьерри». Ей всегда тяжело говорить об уходе, но сейчас это даже как-то облегчает тоску, объясняет ее, служит причиной тоски. Будто ей, Люке, грустно оттого, что она должна уходить, и только оттого.

— Уже четыре часа, Тьери.

Он садится на диван, он крепко берет ее за плечи.

— Ты хочешь уйти? — спрашивает он, как будто она не уходит так каждую ночь.

Он говорит быстро и громко. Нет, он не хочет, чтобы она уходила. Она должна остаться с ним. Совсем, жить с ним. Он сегодня понял это. Она приносит ему счастье, он не хочет делить свое счастье с другим. Она нужна ему. Она должна быть его женой. Его руки крепко держат ее за плечи: «Ты должна быть моей женой». Она ничего не отвечает, она лежит тихо и смотрит в его взволнованное, склонившееся над ней лицо. Она молчит. Ей кажется, что, если бы он сейчас потушил свет, он увидел бы светящийся кружок. Кружок, который парикмахер очертил сегодня над ее головой. Он, наверно, светится, как у святых на иконах. Не от святости — от счастья.

Она выходит на улицу. Дождь все еще продолжается. Она жадно, с наслаждением подставляет свое разгоряченное лицо под дождь, с наслаждением, жадно прижимает мокрые руки к щекам. И это так странно, что она останавливается и громко смеется.

— Ты рысь, дикая лесная рысь, Люка, — говорит она сама себе и слизывает капли дождя с губ и с пальцев. Как чудно, что идет дождь. Она останавливает такси. Впервые за три месяца она возвращается счастливой. Впервые она возвращается совсем невероятно счастливой. Счастливой оттого, что скоро совсем не надо будет возвращаться. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой».

Она поднимается по лестнице, перепрыгивая через ступеньку: я—хочу—чтобы—ты—стала—моей—женой — семь ступенек, по слову на ступеньку, семь — счастливое число. Она счастлива, и все остальные должны быть счастливы — она только что дала шоферу такси десять франков на чай, она завтра подарит прислуге почти новое платье, она скажет в студии попавшейся ей под ноги статистке: «Вы, наверное, сделаете карьеру», и остальные будут счастливы. Но тот остальной, самый остальной, который ждет ее в этом доме, которому она должна объяснить это «я—хочу—чтобы—ты—стала—моей—женой»... Она останавливается перед дверью, не решаясь вставить ключ в замок. Ей хочется повернуть обратно, на носках сбежать с лестницы, сбежать из этого дома, из жизни этого Павлика. Сбежать, скрыться, смыться. Совсем. Без объяснений, без истерик. Но он все равно узнает. Ей все равно придется сказать ему. Не сегодня, только не сегодня. Она счастлива, от счастья у нее нет ни храбрости, ни жестокости. Она слаба, подла и труслива от счастья. Только это еще не та стадия счастья — жестокая, безрассуд-

ная, воинственная, когда «только я, а до остальных мне дела нет». Это еще жалость, доброта, щедрость: «пусть все будут счастливы, как я».

Она входит в прихожую. В спальне Павлик лежит в кровати и читает книгу. «Люка, я уже беспокоился. Слава Богу». Славить Бога ему сейчас не за что, ведь он еще не знает, что Бог отступился от него. «Да, Павлик, очень поздно». Он рассказывает, как провел вечер. Встретил товарища, вместе пообедали. «Ты была такая милая сегодня, я даже почти не скучал, — он улыбается. — Уж когда ты милая, так ты милая, Люка». «Уж когда ты милая...» — фраза из их прежней, докинематографической, дотьерийской жизни. Значит, он действительно очень доволен. «Я все время думала, как мы, Павлик, поедем на Ривьеру». Глаза его немного шурятся, вокруг них собираются тонкие морщинки. Должно быть, он сейчас видит этими прищуренными глазами солнце, голубое небо, голубое море и ее, Люку, в голубом платье. «Отчего ты не ложишься?» — спрашивает он. Отчего? Оттого, что, как всегда, возвращаясь от Тъери, ей стыдно, ей мучительно раздеваться при муже. Она боится — платье неправильно застегнуто, рубашка надета наизнанку, на плече красное пятно от поцелуя. Всего этого конечно нет, но она плотнее запахивает накидку. «Сейчас, сейчас, Павлик». Она протягивает руку, тушит свет и в темноте торопливо сбрасывает с себя накидку, платье, белье, чулки. Прямо на пол. мех влажный, и платье помнется. Ах, все равно, не до меха, не до тряпок. Она быстро ложится в кровать к мужу, она обнимает его. «Мне холодно», — жалуется она. Ей совсем не холодно, ей скорее жарко от волнения, от жалости, от доброты. Но он должен быть счастлив непременно. Она целует его, она смеется... Она никогда не поедет с ним на Ривьеру. Но пусть он будет счастлив сегодня.

— Ты разве не хочешь спать, Люка? Ты разве не устала?

— Нет, нет, — волна великодушия, жертвенности, жалости захлестывает, поднимает, уносит ее. — Нет, я всю дорогу думала о тебе...

Пусть только он будет счастлив.

— Какая ты нежная, милая. Ты давно не была такой.

Да, очень давно. В первый год после свадьбы, в первые полгода, когда она еще надеялась, что может полюбить Павлика за то, что он такой добрый.

— Люка, отчего ты такая сегодня?

— Оттого, что я хочу, чтобы ты был счастлив, — говорит она, и слезы текут по ее щекам, но темно, и он не видит.

Он наконец засыпает, все еще держа Люку за плечо. Его спящая рука тяжело лежит на ней, ей кажется, что она лежит не на плече, а на ее сердце, и сердце сжимается и болит. Как сказать ему? Как? Все равно завтра или через неделю придется сказать ему. Для него это будет горем. Да, это она знает. Таким горем, что она даже не уверена, переживет ли он его. Она морщится в темноте — как мучительно, как несправедливо, как беспомощно он любит ее. Зачем, кому это нужно? Другого выхода нет. Он спит спокойно, доверчиво, его рука благодарно лежит на ее плече. И она, как убийца, сторожит его. Как убийца, хуже убийцы. Если бы она убила его, все было бы кончено сразу, он бы не узнал. У нее хватило бы храбрости убить его? Она вспоминает пьесу — они видели ее вместе. Жена, чтобы не бросать, не огорчать мужа, отравляет его понемногу. Да, она тоже могла бы отравить, убить Павлика — подливать ему яд в чай, понемногу, с выдержкой... Она держали бы его за руку, она закрыла бы ему глаза. У нее хватило бы силы, хватило бы храбрости. Преступление? Нет, это скорее подвиг. Он умер бы счастливый. А так? В пьесе все открывается, и жена отравляется сама. Но ей ни на минуту не приходит в голову умереть, ведь она нужна Тьери. Она готова для Павлика почти на все, даже на преступление, но никакого выбора между Тьери и Павликом быть не может. В сравнении с Тьери Павлик просто не существует. Ничего придумать нельзя. Одной храбрости, одной жалости мало. Она должна будет сказать ему. Полоски в ставнях понемногу светлеют, и вещи снова возникают из темноты со всей отвратительной жестокостью жизни.

За стеной, в столовой, прислуга уже чистит ковер. Скрип щетки, как вздох, врывается в мысли Люки. Кажется, что это она, Люка, вздыхает. Оттого, что ночь прошла, оттого, что она не спала ни минуты, что она чувствует себя разбитой на куски, бессердечной, жестокой, несчастной, подлой. Она громко вздыхает, и в столовой сразу становится тихо. Будто робкие вздохи щетки все сразу воплотились в громкий вздох Люки и щетка замолчала.

— Вы сказали мужу?

Она качает головой:

— Я не могла еще.

Они при других на «вы». Они стоят в студии. Их могут услышать. Она краснеет.

— Когда же? — спрашивает он раздраженно.

Она видит, что он сердится. Ее сердце начинает стучать. Она почти забыла о бессонной ночи, о жалости, о Павлике.

— Послезавтра, — отвечает она тихо.

Он недовольно пожимает плечами, и она поправляется.

— Завтра.

Она работает в студии до вечера, ей больше не удается поговорить с Тьери. Завтра праздник. В праздник она уйдет от Павлика.

Тьери привозит ее из студии. Он уезжает на сутки к знакомым. Нет, он не собирался. Он хотел провести этот день с Люкой, но раз она еще ничего не сказала мужу... У него обиженный вид, будто она очень виновата перед ним. Он довольно ждал, довольно терпел. Он больше не намерен делить ее с мужем. Он теряет, расплывает свою удачу, отпускает ее к мужу. Этот муж обкрадывает его. По какому праву? Люка молчит. Она не знает, что ответить ему.

— Даю тебе лишний день, но послезавтра, в шесть, ты непременно должна быть у меня.

Она кивает — непременно. Ей грустно, что он уезжает, она не смеет попросить его остаться. Она берет с сиденья автомобиля его серую перчатку и молча гладит ее. Перчатка мягкая, пушистая, как лесной мох. Ей кажется, что перчатка прижимается к ее ладони. Она незаметно прячет ее в карман пальто, чтобы не быть такой одинокой завтра...

— До свиданья, — сухо говорит он, останавливая автомобиль у ее дома. — Но если ты послезавтра не переедешь ко мне со своими вещами...

— Я буду у тебя в шесть, — перебивает она. — Пожалуйста, не сердись.

Он улыбается своей электрической улыбкой.

— Веселись. До послезавтра.

И он уезжает, даже не оглянувшись. Она стоит на тротуаре, сжимая его перчатку в руке.

Павлик уже дома, но он не ждал, не надеялся, что она вернется так рано. Он снимает с нее пальто. Она садится в кресло тут же, в прихожей, все еще держа перчатку в руках.

— Я очень устала, — жалуется она.

И он виновато извиняется.

— Это я утомил тебя ночью.

— Ах, нет, Павлик, целый день в студии, — ей вдруг становится стыдно. Он еще извиняется. — Павлик, завтра праздник, и мы целый день будем вместе.

Ее голос срывается от грусти. Это ведь их последний день. И завтра она не увидит Тьери — ей очень грустно. Но Павлик бурно

радуется. Целый день вместе! Он берет ее на руки, относит на диван, кладет ей под голову подушку.

— Тебе удобно, Люка? Тебе хорошо?

Нет, ей совсем не хорошо, совсем не удобно, но она кивает: «Очень».

Тъери уехал, от него осталась только эта мягкая перчатка.

— Посмотри, Павлик. Я нашла на улице у подъезда.

Он внимательно разглядывает перчатку.

— Кожа замечательно мягкая, дорогая должно быть.

— Да, очень дорогая.

Он хочет примерить перчатку, но Люка снимает ее:

— Не надевай, неизвестно, кто носил, — и она прячет ее под подушку. Ей кажется, что она говорила не о перчатке, а о Тъери, от этого становится легче. — Я сейчас отдохну, только немножко полежу, и пойдем куда хочешь.

Но в этот вечер больше никуда не идут. Люка засыпает и спит долго. Когда она открывает глаза, муж сидит перед ней и с непонятным выражением старческого умиления и детского любопытства смотрит на нее.

— Больше всего я люблю, когда ты дома, Люка. И когда ты спишь.

Она смеется. Он старается объяснить:

— Ты дома, и ты никуда не спешишь.

Люка выспалась, она нежная и добрая. Жалость, как кошка, снова мурлычет у нее в груди. Пусть нечаянно, но она уже доставила мужу удовольствие своим сном. И весь завтрашний день должен быть праздником, и сегодняшний вечер тоже.

— Что же мы будем есть?

Они идут на кухню, шарят по полкам.

— Какие мы богатые, сколько запасов, — удивляется она, — а я и не знала.

Она отворачивается к плите, чтобы не видеть его счастливого лица. Они вместе жарят яичницу, открывают консервы, накрывают на стол.

— Гораздо вкуснее, чем в ресторане, — уверяет Люка, хотя ей не вкусно и не хочется есть.

— Дома лучше всего, — соглашается он. — Я хотел бы целую неделю не выходить с тобой из дома.

Не надо даже стараться, он и так весел, он и так рад. Очень легко, слишком легко сделать его довольным. И все-таки она изо всех сил старается, поет ему песенку про сороку, говорит с ним на полу-

детском, выдуманном, их собственном языке, как они говорили в первые месяцы общей жизни. Это было ее второе детство, начавшееся с дня их свадьбы. Тогда же он подарил ей плюшевого медведя. Без этого медведя она никогда не ложилась, он всегда спал рядом с ней, положив голову на подушку. Даже теперь. Впрочем, теперь его укладывал Павлик, и она чаще всего не замечала медведя, как не замечала и мужа. Но сейчас они сидят всей семьей — муж, она и медведь Тролль — и разговаривают на собственном языке, совсем как когда-то.

— Ты знаешь, мне кажется, что сегодня Рождество. Когда мне очень хорошо, мне всегда кажется, что Рождество и сейчас зажгут елку.

Люка кивает.

— Да, конечно, но елки еще нет. Тролль ночью сбегает в лес и принесет елку.

Он с благодарностью входит в детский, сказочный разговор.

— Ты, Люка, попроси во сне у зайцев золотых орехов, пусть не скупятся.

— Да, но как их вынести из сна? На границе таможенники все отнимают. Но я попробую, только для этого надо скорее лечь.

Павлик стягивает с нее чулки.

— Больше всего я люблю кормить тебя, купать, укладывать спать. Я хотел бы, чтобы ты была не моей женой, а дочкой.

Она вздыхает. Да, этого и она хотела бы. Но она рассудительно говорит:

— В двенадцать лет никто не имеет детей.

— Я мог быть на три года старше, ты на три года моложе, вот все и устроилось бы.

Да, все устроилось бы. И теперь он, ее отец, радовался бы, что она делает блестящую партию. Ведь Тъери, кроме всего, еще и «блестящая партия».

На следующий день они просыпаются поздно. Торопиться некуда — праздник, их последний праздник, последний день их жизни. Прислуга открывает ставни, в окнах праздничное голубое небо.

— Если везет, то во всем везет, — говорит муж, и Люке кажется, что он смеется над ней. Ей так грустно, так тяжело, она хотела бы пролежать весь этот последний день, покрывшись с головой одеялом. Но этот день принадлежит Павлику, и она должна сделать из него праздник.

— Давай одеваться на пари — кто быстрее. Раз, два.

И она выскакивает из кровати. Она спешит, она смеется, чтобы скрыть свою грусть. Такой шумной, такой утомительно веселой она никогда не бывает. Неужели он не видит, что она притворяется? Нет, он ничего не видит.

После завтрака они едут в Версаль смотреть фонтаны втроем с Троллем. Она старательно правит, она молчит. На дороге столько машин, что можно молчать. Он сам советует: «Не болтай, будь внимательна». Ведь она так недавно научилась править. Они оставляют автомобиль у ворот парка.

— Смотри, чтобы вас не украли, — говорит она медведю и, запирая дверцу автомобиля, подмигивает мужу, — пусть Тролль думает, что он сторожит.

Только бы Павлик не начал говорить о своей любви, об их будущем. Но он берет ее под руку, он шагает с ней нога в ногу, он говорит о фонтанах, о деревьях, о том, что тепло, как летом, и что праздник удался на славу. На славу... Такая давка, такая тоска! Сколько смеющихся вульгарных лиц, крикливых детей, уродливых шляп. И даже фонтаны противны. Тем, что слишком чисты и строги, тем, что прекрасны. Нет, она больше не может топтаться в толпе.

— Уедем, Павлик, — просит она.

И он, хотя ему здесь очень нравится, сейчас же соглашается.

Они снова в машине. И едут по темнеющей дороге. Вот незнакомый маленький город.

— Хочешь, пообедаем здесь. Осмотрим сначала собор? — предлагает он.

— Нет, что ты? — пугается она. Она чувствует себя какой-то безгрешной грешницей, виноватой без вины. Трудно разобраться, но лучше не ходить в церковь. На площади перед рестораном ярмарка.

— Как хорошо, ты ведь любишь ярмарку, Люка.

Что сейчас делает Тъери? Но о Тъери нельзя думать. Каждая мысль, каждая минута принадлежит Павлику. Последний день. И уже восемь часов. И день почти кончен. Она пьет вино, она смеется:

— Мне так весело, Павлик.

— Когда мы поедем в Ниццу, — начинает он, но о будущем она не может слышать.

— Как хорошо тут, Павлик. А помнишь, в Бордо...

Пусть уж лучше вспоминает, это не так больно. Она открывает ему дорогу воспоминаний, и он, как с горы, катится по ней. По-

мнишь? За три года их жизни накопилось столько, чего помнить не стоило, но что он запомнил, как исторические даты.

Она смотрит в его лицо. Лампочка на столе освещает его снизу, и она снова видит на его лице поразившее ее вчера выражение. И вдруг она узнает его. Она уже видела его. Она видела его в зеркале на своем собственном лице. Видела, стоя рядом с Тьери против зеркала. Та же смесь восторга, и грусти, и страха. Та же робкая, рабская, заячья улыбка. Но неужели Павлик любит ее так сильно, как она — Тьери? Сердце снова сжимается. А он говорит:

— Знаешь, Люка, я думал, ты никогда не будешь со мной такой, как сейчас. Я думал, это уже кончено. И я так счастлив.

Вот сейчас, если бы у нее был яд... Да, совершенно спокойно, без угрызений, без колебаний. Она берет его стакан, наливает ему вино. Так же она налила бы ему яду. Из милосердия, чтобы спасти его. Она чокается с ним.

— Выпей, Павлик, все, до дна.

Она пьет. Но ведь это вино, это не яд. Как жаль, что она не может помочь ему ничем. Даже сейчас. Ей вдруг становится стыдно. Она ошиблась. Так не только не лучше, так еще хуже, еще более жестоко. Но теперь надо продолжать — праздник еще не кончен, праздник должен кончиться празднично.

Они возвращаются домой. Праздник продолжается: ее веселость переходит в нежность, нежность трудно отличить от влюбленности. Да, ему может казаться, что она опять влюбилась в него.

Домой они приезжают усталые, немного пьяные. Она не заснет первая. Пусть праздник продолжается, сколько захочет Павлик. Завтра все равно настанет слишком рано.

Она ложится. «Потуши свет», — говорит она. Она обнимает его, она тайком вытирает мокрые от слез щеки. Только бы он не заметил. Но он ничего не замечает, он счастлив. Она не может сдерживать вздоха, но он не удивляется, он думает, что это от счастья. Она прижимается к нему с безнадежной нежностью, она цепляется за него, будто ее хотят оторвать от него. Так обнимаются на тонущем корабле, так прощаются с приговоренным. Но он ничего не замечает. Он говорит в темноте над самым ее ухом:

— Я так счастлив, что хотел бы умереть.

— Павлик, — вскрикивает она, — Павлик!

Сейчас она все скажет ему. Она не может больше молчать... Нет, лучше потом, завтра... Горе и так всегда приходит слишком рано. Пусть он будет счастлив эту последнюю ночь.

Люка открывает глаза и сразу вспоминает все. Не когда-нибудь, не где-нибудь, не завтра, а здесь и сейчас она скажет мужу. Нельзя ни откладывать, ни прятаться за жалость. Она поворачивает голову: «Павлик!» Но постель пуста, он уже в ванной. «Павлик!» — громко зовет она. Дверь открывается, входит горничная.

— Павел Николаевич не велел вас будить, — объясняет она.

— Как? Ушел?

— Павел Николаевич просил вам передать, что не будет завтракать и вернется к семи.

— К семи? Что же теперь делать?

Он уехал, а в шесть она должна быть у Тьери. Она снова опускает голову на подушку и закрывает глаза. Из закрытых глаз текут слезы. Она даже не вытирает их — ей все равно, пусть прислуга видит. Объяснения не будет.

— Который час?

— Четверть первого.

Надо одеваться, укладываться.

— Принесите, пожалуйста, чемодан.

Она плачет. Она, плача, открывает шкаф, бросает платья и белье на диван. Все эти тряпки, казавшиеся ей когда-то необходимыми... А теперь она оставит их здесь, все, кроме новых, купленных на собственные шальные деньги, и белого платья, в котором она встретила с Тьери.

Прислуга упаковывает чемодан.

— Вы надолго уезжаете, Людмила Алексеевна?

Она кивает — слезы все еще текут по ее лицу и мешают говорить.

— Павел Николаевича будет очень скучать.

— Это пальто возьмите себе и шляпу тоже, — Люка вытирает глаза. — И вообще все, что вам подойдет.

Горничная благодарит ее почти испуганно, безо всякой радости. Люка обходит квартиру. Вот тут она жила три года. Ей совсем не жалко уезжать, она ни к чему не привязана здесь, и ничто, она это ясно чувствует, не привязано к ней. Ни кресло, ни стол, ни диван. И стены не любят ее, и ковер рад, что она больше не будет топтать его. Зеркала, и те враждебные, туманные, холодные. И какой жалкой, какой некрасивой, с красными глазами отражают они ее. Будто назло в последний раз. Они все на стороне Павлика, они его друзья и прислуга тоже. И они, конечно, правы. Против нее, за Павлика. Ведь она сама за Павлика, против себя. Но что же ей делать? Что делать? Поскорее уйти отсюда. Другого ответа нет. «Про-

щайте, — говорит она и гладит стулья, трогает занавески на окнах. — Мы все-таки жили так долго вместе, и за то спасибо». Прощай, прощай — звенит в воздухе. Солнечный столб полосой перечеркивает комнату, перечеркивает прошлое. В нем, в этом пыльном свете светится и трепещет вся боль расставания. Пора, пора.

Она идет в спальню, берет медведя с кровати и сажает его на шляпную коробку. «Ты поедешь со мной». Прислуга уже уложила вещи. Она стоит грустная над чемоданом, опершись головой на руку в классической бабьей позе. Весь парижский лоск сразу сошел с нее от горя.

— Барыня... — не Людмила Алексеевна, по имени-отчеству, как всегда называла, и это приниженное, жалобное «барыня» звучит, как мольба. Она смотрит на нее мигающими, понимающими бабьими глазами — Неужели вы совсем, барыня?..

Люка обрывает ее:

— Снесите вещи в автомобиль.

Надо еще написать Павлику. Сколько раз она мысленно повторяла объяснение с ним, а теперь надо писать. Но что можно сказать в письме?

«Прости меня, Павлик. Я не могу иначе». Так, кажется, пишут самоубийцы, значит подходит. Она задумывается. Слезы падают на бумагу, чернила расплываются. Все равно. «Я была тебе плохой женой. Ты всегда был слишком добр. Спасибо тебе. Прости меня».

Но разве дело в прощении и в ней? Дело в нем, чтобы он пережил, чтобы он не был слишком несчастным, если переживет. Но как это напишешь? «Я оставляю тебе Тролля. Береги его». «Береги» — это значит живи для плюшевого медведя. Медведь, может быть, хоть немного утешит его. Ей утешения не надо, ведь она будет счастлива. Она открывает чемодан, достает уже уложенного с платьями медведя, целует его в мягкую, пахнущую ванилью морду, усаживает на стол рядом с письмом.

— Береги Павлика. Прощай, Тролля.

Она надевает дорожное пальто и, сутулясь от тоски, тихо выходит в прихожую. Вот сейчас она перешагнет порог своего дома в последний раз. Она останавливается. Она когда-то уже видела все это — и раскрытый шкаф, и груды платьев на постели, и себя, уходящую из дому. Она видела все это год назад и только забыла тогда. Она сидела у окна и читала книгу. Ей не было ни весело, ни грустно, только немного скучно привычной, уютной скукой. Она сидела в сумерках у окна и читала. Спальня была убрана, все было в порядке — уборщица только что ушла. Дверь в прихожую оста-

лась открытой. День был совсем обыкновенный, и книга была совсем обыкновенной. Люка долго читала, потом равнодушно подняла голову и вдруг увидела, да, ясно увидела неприбранную постель, разбросанные платья, чемодан на полу и себя, плачущую, уходящую... С этим самым несчастным жалким лицом, в этом самом незнакомом дорожном пальто. И совсем как сейчас она остановилась, беспомощно оглянулась, открыла входную дверь и вышла. Но тогда дверь не хлопнула, тогда была тишина.

Люка спускается по лестнице. Когда Павлик будет спускаться по этой лестнице, он уже будет знать.

Тъери спит с широко открытыми окнами. Он так привык, и Люка не спорит, хотя привыкла спать в темной, теплой спальне. Она просыпается утром от света, холода и счастья. Конечно, больше от счастья, чем от холода и света, но в комнате все-таки очень светло, очень холодно. Она просыпается и видит рядом на подушке черную голову Тъери. За ночь его волосы, так гладко причесанные днем, закручиваются волнами аккуратно и правильно, будто их завивал парикмахер. Люка смотрит на него прищурясь, как смотрят на солнце, и снова закрывает глаза. Она лежит с закрытыми глазами. Она вспоминает, переживает все. Она помнит каждый день, каждый час во всех мелочах, во всех подробностях. Не только все, что они делали, что говорили, что она чувствовала, думала, но и какое было небо, который был час, было ли холодно или тепло, какой на Тъери был галстук.

Весь окружающий мир, которого она почти не замечала в томительные месяцы влюбленности, снова стал теперь как фон участвовать в ее счастье. Это была полнота жизни, — погода, природа, вещи, люди, — всё и все участвовали в ней. Каждая мелочь, каждая подробность имела свое особое значение, еще увеличивающее, углубляющее счастье. Это уже не было мучительное, тревожное, изводящее ощущение жизни, это была гармония счастья и жизни. Любовь ко всему миру, как тепло, исходящее из ее рук, любовь мира к ней, как свет, ложившийся на ее сердце. Любовь, дружба, родство со всем миром, всеми людьми, животными, вещами. Особенная нужная внимательность. Она брала предметы, как будто гладила их. Улыбалась людям, как будто желала им удачи или утешала их.

Она еще не привыкла к счастью за эти два месяца. Тъери тут, рядом с ней. Стоит протянуть руку, и она дотронется до него, до его теплой щеки. Он всегда, всегда рядом, он крепко обнимает ее

во сне, и ей неудобно, но она не смеет пошевелиться, ноги ее затекают, боль заставляет ее помнить, что он здесь, рядом. Никогда не надо прощаться с ним, даже на час. Ей не приходится говорить «до свидания». Они вместе спят, вместе едут в студию, проводят вместе вечера.

Он берет ее с собой даже в контору. Она сидит рядом с ним, когда он пишет, когда он ведет переговоры. Цепь, связывающая влюбленных, как каторжан, нисколько не тяготит его. Напротив, он старается еще укоротить ее так, чтобы нельзя было сделать шага друг без друга.

Люка боязливо следит за ним — не утомляет ли она его, не хочет ли он побыть один. Нет, стоит ей выйти из комнаты, как он зовет ее. Он хочет быть с ней всегда и как можно больше, как можно ближе.

— Оттого что ты приносишь мне удачу, — объясняет он, — с тобой во всем везет. Вот кончим крутить, поедем в Монте-Карло, и я сорву банк. С тобой везет, — повторяет он по десять раз в день. — Без тебя я боялся, что картина провалится, но теперь я уверен в успехе. Я совсем спокоен, — он гладит ее волосы, закладывает их ей за уши. — Знаешь, мне было очень тяжело без тебя. Я только теперь это хорошенько понял. Я никого никогда не любил. Только энергия и честолюбие.

Прежде Тьери говорил мало. Короткими отрывочными фразами. И всегда не о себе. О ней, о работе в студии, о еде, о езде. Всегда о постороннем, о внешнем. Тогда и она была для него посторонней. А теперь он говорит часами «обо мне», о «нас», с трудом объясняя с непривычки, не находя нужных слов, нужных мыслей, путаясь и смущаясь. Но она все понимает. Она слушает, и слова его легко и плавно навсегда входят в ее память.

— Я как будто вовсе не существовал, — она вздрагивает. — Не существовал.

Ведь и ей иногда казалось это. И опять он говорит, объясняет ей:

— Я всегда знал, что для того, чтобы жить, надо любить. И я начинаю любить тебя, — он смотрит ей в глаза, он гладит ее лоб, ее щеки. — Ты такая молодая, такая настоящая, не выдуманная. Знаешь, я всегда сознаю смертность людей, даже молодых и очень здоровых. Я думаю: а ведь он умрет, и эта его будущая смерть, как тень, ложится на него, и вот человек уже как будто не весь, а калекка, будто он потерял ногу или руку, и я уже не могу им любоваться. Эта его будущая смерть, как уродство, проступает сквозь молодость,

красоту, здоровье. Но ты... Я не могу, как ни стараюсь, вообразить себе, что ты умрешь. Я не могу даже представить себе тебя больной. Ты болела когда-нибудь?

Она качает головой:

— Нет, не помню. Кажется, никогда.

Его рука сжимает ее плечо:

— Знаешь, я не верю даже, что кто-нибудь, кто связан с тобой, может умереть.

Его лицо бледнеет, его светлые, светящиеся глаза гаснут, нижняя губа слегка отвисает.

— Тьери, — зовет она громко, будто он уснул, будто он ушел, будто он не рядом с ней. Но его рука нежно и крепко сжимает ее шею.

— Я никогда никому не говорил этого. Но тебе я все могу сказать. Ты не только моя удача, — говорит он совсем тихо, будто доверяя ей тайну, — ты моя жизнь, ты моя защита от смерти. С тобой мне не страшно.

Да, она необходима ему, он держится за нее. Она говорит: «Мы никогда не расстанемся». Она счастлива. Она не боится даже, что ему перестанет «везти» с ней. Раз он верит, что она приносит ему удачу, значит она действительно приносит удачу. Она так счастлива, что не может не приносить счастья.

— Только люби меня, — повторяет она и каждый вечер рассказывает о своей любви, как о чем-то постороннем. — Знаешь, она еще немного выросла, скоро я буду совсем по-настоящему любить тебя. Больше себя. А женщины? — ведь у него было так много женщин. Ей рассказывали.

— Какие женщины? — он не помнит ни об одной из них. — Только избыток энергии и честолюбие, борьба и победа, — объясняет он, и она не смеет настаивать, расспрашивать.

Тьери просыпается. Он проводит рукой по волосам, и вот он уже причесан. Он приподнимается, светлые блестящие глаза смотрят в глаза Люке: «Я чудно выпался». Нельзя поверить, что минутой тому назад он еще спал. Ничего мятого, заспанного, ленивого. Он откидывает одеяло, и вот он уже стоит в своей белой шелковой разутюженной пижаме — ни складочки, ни морщинки — веселый, бодрый, как после душа. Так просыпаются, так встают на сцене, а не в жизни.

Тьерри смеется отрывистым, резким смехом. Прежде она не слышала, как он смеется. Ей не нравится его смех, но, раз он сме-

ется, значит ему весело. И она отвечает на его смех широким, легким, неестественным смехом. Ей совсем не хочется смеяться, ей никогда не хочется смеяться теперь. Она часто улыбается. Ей иногда хочется плакать не от грусти, а от волнения, оттого, что нельзя вынести такого счастья, не заплакав. Но смеяться ей никогда не хочется, и ничто не кажется ей смешным. Смешного, как мелкого, безобразного, скучного, она просто не замечает теперь. Оно не доходит до ее сознания.

Они идут в ванную вместе. Люка садится на плетеное кресло и смотрит на Тъери. Он сбрасывает белую шелковую куртку, он бреется. Мыльная пена покрывает его щеки и подбородок, как седая борода. Он будет старый, седой, с белой бородой, и они все еще будут вместе, будут так же любить друг друга. Ей, которая так ценит каждую минуту их жизни, вдруг страстно хочется, чтобы эта жизнь, эта молодость уже прошла, чтобы они были старые и огромная часть жизни и счастья была бы позади. Она смотрит на его крепкую шею, на его сильные руки, на его мускулистую спину. Он уже побрился и стер пену с лица. Нет, нет, пусть он будет молодым, как можно дольше молодым. Тъери открывает кран, становится под душ. Душ, как дождь. Она вспоминает звериное наслаждение от дождя в ту первую ночь, когда он сказал: «Ты должна быть моей женой». Она встает, она подходит к нему и сквозь дождь душа целует его плечо.

Они вместе одеваются, вместе пьют кофе, вместе выходят из дому. Металлический зеркальный лифт стремительно уносит их вниз. Ее взволнованное, взвинченное, переполненное сознание камнем падает в пролет лифта. Но мягкая уверенность, как сетка, подхватывает его. Нет, совсем не страшно уходить. Сегодня вечером они снова вернутся сюда обратно, и ничто не может помешать этому.

День проходит в студии, в работе, в суете. Но ведь Тъери здесь, рядом. Она видит, она слышит его. И скоро все это кончится, и они поедут домой. Скоро, сейчас, уже кончилось. Они едут по бульварам в его автомобиле. Она прижимается к его плечу. Он устал, не надо говорить. И о чем говорить? Разве и так не все понятно?

Они снова поднимаются в лифте. И лифт, как друг, жужжит: «А что я говорил? Ведь вернулись». И теперь уже до утра. День прошел. Они одни. Ничего уже не случится до утра, кроме радости. На письменном столе большая ваза с белыми тюльпанами — цветами, которые любит Тъери. Люка задергивает шторы. Уже темно, уже вечер, а когда шторы задернуты, совсем похоже на ночь. Люка

просит: «Пожалуйста, не пойдем никуда, будем обедать дома». И Тъери, хотя он этого и не любит, соглашается: «Только закажи обед повкуснее». Она звонит в ресторан, долго составляет меню. Тъери, конечно, совершенно безразлично, что есть. Это она знает давно. Но он почему-то притворяется гастрономом. Это входит в программу его поведения — интересоваться и говорить о еде, даже о приготовлении некоторых блюд, об автомобилях, о скачках, никогда не бывать в Опере, не читать ни одной книги, делать вид, что любит живопись.

Лакей затапливает камин. Хотя в комнате и тепло, но Тъери любит смотреть в огонь. Люка с наслаждением переодевается юнгой — ведь это значит, что она дома, что больше никуда идти не надо. «Я хотела бы неделю не выходить из дому», — кричит она Тъери из ванной. Где она слышала эту самую фразу? Ах да, это говорил Павлик в их предпоследний день. Но о Павлике вспоминать нельзя. Ему, как всему грустному, неприятному, нет места в ее жизни, в ее памяти. Потом, когда-нибудь, не сейчас, она вспомнит, она разберется в воспоминаниях. Она пожалеет Павлика.

Она вбегает в кабинет. Тъери сидит в кресле, протянув длинные ноги к огню. Она садится на ковер у его ног.

— Как у нас хорошо, Тъери.

— Очень, — говорит он с отсутствующим лицом и через минуту улыбается своей светящейся улыбкой. Это от усталости. Она знает, что, когда он устанет или волнуется, выражение его лица не совпадает с его словами, слова спешат, лицо опаздывает. Люка нежно кладет руку на его колено:

— Ты устал, Тъери.

И он, все еще сияя улыбкой, отвечает:

— Да. Очень. За два года ни дня отдыха, — улыбка гаснет, и он продолжает: — Как я рад, что конец фильма будем крутить в Венеции. Мы останемся там на две недели и отдохнем.

Лицо его устало и грустно, но это выражение усталости относится к его прежней фразе «За два года ни дня отдыха», и, замолчав, он снова улыбается. Запоздавшая улыбка в честь Венеции.

Венеция. В счастливой жизни Люки, где все так хорошо, что даже мечтать не о чем, Венеция все-таки сияющая цель, к которой все-таки летят желания. Оттого, что она с детства знала, что в Венеции нельзя не быть счастливой (свадебное путешествие ее матери, преувеличенно романтические восторги и воспоминания), оттого главное, что в Венеции, когда будет окончена картина, они

останутся еще одни на целых две недели, а потом на автомобиле, не торопясь, вернутся домой.

Они обедают, и Тьерри доволен. От вина, от усталости, от камина счастье еще увеличивается, заполняет и вытесняет все другие мысли, все чувства. Люке кажется, что, если бы сейчас она упала и разбила себе колено или порезала руку, она даже не почувствовала бы. Она ничего не может чувствовать, кроме счастья. Ничего вообще нет, кроме счастья. И ее, Люки, тоже нет. Ее место заняло счастье. Она смотрит на себя в зеркало. Это у счастья такие завитые светлые волосы, и светлые прозрачные глаза, и накрашенные губы. Оно, кажется, немного пьяное, это счастье? Но это ему ничуть не мешает слышать все, что говорит Тьерри.

— Я хочу иметь сына, — говорит Тьерри. — Я сегодня весь день думал об этом. Я хочу иметь сына от тебя. Я никогда не мог подумать ни об одной женщине как о матери моего сына — для этого они все не годились. Но ты именно такая, именно та.

Сына? Люка всегда больше всего на свете боялась ребенка. Больше тифа, больше бедности, больше пожара. Но он говорит о своем желании иметь сына, и она слушает.

— Ты понимаешь, это утверждение и продолжение себя — бессмертие.

Нет, она не понимает — ей не надо утверждать себя через ребенка, это уже сделано счастьем, и бессмертие уже тоже достигнуто счастьем. Но она не спорит с Тьерри. Она слушает.

— Я хочу, чтобы мой сын был очень похож на меня, но чтобы он был такой же живой и настоящий, как ты, чтобы у него была твоя веселость и твоя удача.

От жары один из белых лепестков тюльпана отрывается и падает на скатерть. Он падает с легким шорохом утверждения, будто ответ: «Да. Да, она согласна». Она смотрит на оторвавшийся белый лепесток и чувствует, что она не только согласна, что она давно сама желала этого. Она встает, она молча подходит к Тьерри и видит — глаза Тьерри сияют совсем особым, слепым, стеклянным блеском, оттого что в них стоят слезы.

Теперь они лежат на диване и она, закинув голову, смотрит вверх, как смотрят в небо, в его голубые глаза. Мучительное ожидание блаженства, которое трудно вынести, тоски, которой нельзя вынести, уже сдавливает ее сердце. Вот сейчас, сейчас. Блаженство, как огонь, обжигает ее лицо. Она кричит, но крик ее, начавшийся высоко на восторге, чтобы сорваться в тоску, обрывается. Они лежат на диване, тесно обнявшись. Впервые обнявшись и вместе, а

не каждый сам по себе, как всегда «после». Тъери не сам по себе, отчужденный, почти враждебный, как всегда «после». Пусть только одну минуту — враждебный, пока не закурит папиросу, пока не посмотрит на часы, пока, вздохнув, удобнее не уляжется рядом. Пусть только одну минуту — но такой враждебный, чужой. И эта отчужденность, эта враждебность, это одиночество — всегда расплата. Но сейчас расплаты нет. Блаженство продолжается. Оно уже не может кончиться криком, спазмой. Оно требует продолжения, того, что сильнее этого блаженства, того, для чего оно только средство. Ее тело напряженно, жадно, нетерпеливо требует тяжести, ждет уродства, просит боли. Тяжести, уродства, боли — всего, что она так боялась, — материнства.

Она поднимает голову и губами касается его теплой руки, и ей кажется, что она целует не его, а свою руку, что граница между ним и ею исчезла.

Тъери наклоняется над ней так низко, что она уже не видит его глаз.

— Как будто в первый раз, — тихо говорит он и целует ее в шею, около уха. Он кладет голову на ее плечо, она чувствуете его теплое дыхание. «Как будто в первый раз». Да, в первый раз. Она никогда еще не слышала этого магического, преображающего мир сочетания слов, сказанных изменившимся, тихим голосом Тъери: «Как будто в первый раз».

И мир действительно преображается, становится воздушным, тихим и нежным. Главное — нежным, нежным, нежным. Она тонет, тает, растворяется в этой нежности.

— Тъери, — вздыхает она, зовя его на помощь, но ответа нет. Она приподнимается на локте, чтобы посмотреть на него. Он лежит с закрытыми глазами. Он улыбается. Чуть-чуть. Не своей обычной электрической улыбкой — сиянием зубов и глаз, а приглушенно, одними уголками губ, почти грустно. Почти грустно и совсем счастливо. Таким грустным, нежным и тихим она еще никогда не видела его. Он открывает глаза и, потянувшись к ней, целует ее в щеку легко, безо всякой страсти и настойчивости, как целуют дети.

— Теперь я люблю тебя совсем, — говорит он шепотом, будто доверяя ей тайну.

Она протягивает руку и тушит лампу, чтобы слышать его голос в нежной темноте вдруг наступившей нежной ночи.

— Теперь совсем, — он доверчиво прижимается к ней. — Теперь мы с тобой одно. Ты — это я, и я — это ты.

Люка вздрагивает. Неужели это он говорит, а не она? Ведь она только что думала то же самое. И значит, это правда. Они действительно одно и то же. Она молча гладит его волосы, вьющиеся, мягкие, как у ребенка. Да, он сейчас напоминает ей ребенка, такой доверчивый, теплый, откровенный.

— Расскажи, какой ты был маленький, — просит она.

И он не удивлен. Он как будто ждал этой просьбы, сам хотел рассказать о своем детстве. Она раньше не смела спросить, но это именно то, о чем они должны поговорить. Ведь все начинается с детства, и так трудно вырасти из него, отделаться, вылечиться от него.

— Ты был счастливым мальчиком?

Но он молчит, значит он не был счастливым. Она спрашивает прерывающимся от жалости голосом:

— Неужели ты в детстве был несчастным?

— Нет, я не был несчастен. Если бы несчастье. Но было хуже, гораздо хуже.

Он останавливается. Он вздыхает, она чувствует его вздох на своей щеке.

— Я еще никогда никому не говорил, как плохо мне было в детстве. Знаешь, я стыдился. Стыдился своего отца. Он был парикмахер.

— Но что же тут стыдного? — не понимает Люка.

— Да, парикмахер, — объясняет Тьери. — Такой типичный, с завитым коком и гребешком за ухом. С отвратительной профессиональной красотой и любезностью. Добродушный, надушенный, веселый. Я его ненавидел. Я мог бы его зарезать его же собственной бритвой. У него была большая дамская и мужская парикмахерская. Он был состоятельный, уважаемый человек. Учителя в школе говорили мне: «Кланяйтесь вашему отцу. Я завтра приду к нему стричься». Я кусал себе руки от злости. Я ни с кем не дружил, я стыдился товарищей, а они считали меня гордым. Я был озлоблен, меня мучил позор. Я предпочел бы быть сыном палача или убийцы. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я удрал в Париж с пятьюдесятью франками и больше никогда не возвращался домой.

Люка слушает. О, какой странный, какой странный. Она не понимает. Но от непонятности, от странности Тьери ей еще ближе.

— Бедный, бедный, бедный, — она целует его, жмурясь от жалости. — И ты никого не любил? Даже мать?

— Только не ее. Она была околдована своим парикмахером, она была его рабой. Она говорила мне: «Ты будешь таким же кра-

сивым и умным, как твой отец». Я ее презирал. Они оба были мучительно добры ко мне. Ведь я был их сыном, наследником их парикмахерской. Они гордились мной, как парикмахерской, как друг другом, как всем, что им принадлежало. Они никогда не бранили меня. Я часто уходил на всю ночь, и они не знали, где я. Я прятался в лесу. Я садился под дерево, я давал себе слово, что не сдвинусь с места до утра. Мне было очень страшно. В лесу жили кабаны и олени. Они иногда выбегали на меня. И филины кричали. Я зажигал костер и грелся у огня. Я боялся кабанов и разбойников, темноты и ночного шума леса. И все-таки эти ночи в лесу было единственное, что я любил.

Он поворачивает голову к камину.

— Знаешь, я так люблю огонь оттого, что он напоминает мне мои костры в лесу. Да, всегда, в особенности сейчас. Этот гаснущий камин, как мой костер. Как будто мы с тобой в лесу, в моем лесу.

Люке тоже начинает казаться, что они лежат ночью под деревом обнявшись, как усталые дети. Она легко, как когда-то с Павликом, входит в игру.

— Конечно, мы с тобой в лесу, Тьери. Слышишь, как шумит ветер? Видишь, там, за кустом, что-то шевелится. Это волки. Ты не боишься?

— Нет, я не боюсь. Я ничего не боюсь с тобой. С тобой мне никогда не страшно. Ты моя тоненькая, беленькая девочка. Ты умеешь заклинать и деревья, и молнию, и зверей, чтобы они не делали нам зла.

— Да, правда, — отвечает она в тон ему. — Когда я зову зверей, они бегут ко мне и ласкаются — и олени, и кабаны, и волки, и даже зайцы, хотя они такие трусы, зайцы. Я их глажу. Но тебя, Тьери, они дичатся еще.

Они лежат в темноте и, обнявшись, смотрят в огонь. Они шепотом, детскими голосами говорят о костре, о зверях, о врагах зверей — охотниках, о врагах людей — разбойниках. Доверчиво, наивно, как в детстве, как играющие в детство любовники, на минуту действительно ставшие детьми. И это действительно лес, это действительно детство. Их общее детство с Тьери.

И вдруг в их лес, в их детство врывается телефонный звонок. Звонок из взрослого, враждебного мира. Страшный, страшнее, чем рога охотников, чем лай гончих, чем выстрелы разбойников. И Тьери уже с механической покорностью вскакивает.

Люка тянет его за рукав: «Не надо, оставь».

Но он уже снимает трубку, и враждебный, чужой мир уже бежит по телефонному проводу, доносясь хриплым щелканьем до Люки. Тъери говорит:

— Ничего. Хотели уже спать. Но с удовольствием. Кто еще с вами?

Люка тоже встает, подходит к нему.

— Не надо, не пойдем, — шепчет она, дергая его за рукав, но он не слушает.

— Через полчаса. До свиданья, — он вешает трубку и оборачивается к ней. — Одевайся скорей. Сейчас очень кстати послушать цыган, выпить шампанского. Правда?

— Нет, не правда, — но она не спорит.

Она так потрясена блаженством, она, как после землетрясения, плохо держится на ногах, она чувствует себя такой незащищенной, она просто не в состоянии сейчас сесть в автомобиль, войти в ресторан, увидеть людей. Но одеваться все-таки надо, и она открывает шкаф. Она так слаба, мягка, ей трудно держаться на ногах, будто из нее вынули позвоночный столб, ей хотелось бы свернуться клубком, шариком на ковре. Она выбирает платье. Нет, не это воздушное, тюлевое. Оно своей легкостью отнимет ее последние силы. Она достает из шкафа белое, длинное, твердое, холодное платье. В этой холодной белизне, в этой мраморной твердости можно скорее найти поддержку. Она надевает его, застегивает узкий лиф. От узости лифа, от кушака, стягивающего талию, она чувствует себя немного крепче. Хорошо было женщинам, носившим корсеты. На корсет можно было опереться, это была не только телесная, но и душевная опора. А теперь опереться не на что. Она смотрит на себя в зеркало. У этого белого платья так резко нарушены пропорции, соотношение между слишком коротким, почти отсутствующим верхом и низом в тяжелых складках до полу — еще увеличивает ее смятение, ее тревогу. Чтобы не видеть себя такой искаженной, негармоничной, она накидывает длинную красную накидку. И накидка понемногу приводит все в порядок. Под ее красным бархатом голые восхищенные руки, голые восхищенные плечи, голая взбаламученная душа перестают вздрагивать от слишком острого блаженства, от слишком блаженного смятения. Она смотрит на себя. Уверенность в себе и своей судьбе понемногу возвращается к ней. Она вытягивается, поднимает голову. Теперь действительно можно сказать: «Я готова».

— Ты готова? — спрашивает Тъери из кабинета, и она, крепче запахнув накидку на груди, выходит к нему.

Он стоит посреди кабинета, задумчивый и тихий.

— Знаешь, — говорит он, — может быть, нам действительно лучше остаться дома?

— Нет, нет, — она качает головой. Она не хочет от него жертв. Она сама хочет принести ему жертву. И это совсем не жертва. — Нет, пожалуйста, поедем, Тъери.

В автомобиле Тъери поворачивается к ней. У него все еще задумчивое, почти грустное новое лицо.

— Знаешь, Люка, мне продолжает казаться, что мы с тобой дети, как там, в моем лесу, что ты — моя сестра. Ведь я всегда мечтал о сестре. Она была беленькая, тихая девочка, похожая на тебя. Да, совсем такая, как ты. Мне теперь кажется, что ты моя сестра.

Она кивает.

— Ну конечно, я твоя сестра, Тъери. Я — все, что ты захочешь: твоя сестра, твоя коза, твоя перчатка. Я твоя сестра. Но тогда, — подняв брови, сообщает она, — тогда твой парикмахер — мой отец?

— Ах, нет, я его никогда отцом не считал. Лучше уж пусть твой русский отец будет и моим отцом.

Но Люку и это не удовлетворяет.

— Ни твой, ни мой. У нас будут новые родители. Мы сами выберем их. Идеальные родители. Мы купим их на marché aux puces в золотых рамах. Мы придумаем их жизнь и наше с тобою общее детство. Сколько у нас воспоминаний, Тъери. Я ничего не забыла. А ты?

— И я все помню. У меня отличная память. Но нам все-таки надо будет сверить, сличить наши воспоминания. Я уверен, что ты много путаешь.

— Нет, это скорее ты путаешь. Ты всегда был такой рассеянный. Скажи, например, как звали нашего садовника?

— Которого? Того хромого с бородой, который так ловко истреблял кротов? Теофил, конечно.

— И совсем не Теофил, а Жан. Теофил была его собака. Такая рыжая, лохматая. Она-то и ловила кротов.

Он соглашается.

— Да, ты права. Зато я старше и помню все, почти с самого начала века. Я, например, помню даже бабушку, которая умерла до твоего рождения.

Люка не спорит.

— Я, конечно, не могу ее помнить, но мама рассказывала мне о ней. Бабушка была красавицей. Она раз даже танцевала на балу

императрицы Евгении, и Наполеон III спросил о ней: «Кто эта пышная блондинка?» Мама очень гордилась ею.

Тъери смеется.

— Мама была ужасно снобична. Она скрывала, что дедушка начал свою карьеру маляром...

Люка дергает его за рукав.

— Тъери, мы проехали мимо.

Они действительно проехали. Тъери поворачивает обратно.

— А хочешь, Люка, удерем, как когда-то удирали от уроков, оставим Герэна, поедем вдвоем куда-нибудь? Мы еще так много должны установить и вспомнить.

Люка очень хочет, но бедный Герэн ждет. И у них еще хватит времени для семейной хроники — в одну ночь все равно всего не переспомнишь. Тъери останавливает автомобиль.

— Завтра непременно купим портреты родителей. И красавицу бабушку тоже.

Люка ждет, пока Тъери запирает дверцу автомобиля.

— Знаешь, Тъери, я так рада, что мы теперь брат и сестра. Ты всегда был немного моим начальством, и я немного боялась тебя. Но теперь мы равные, раз ты мой брат.

Он берет ее под руку, и они входят в ресторан.

— Сестра всегда важнее брата. Ты важнее меня теперь, — успевает он сказать ей прежде, чем поздороваться с Герэном.

Люка сидит на мягком желтом диване, рядом с Тъери. Справа Герэн, напротив итальянский певец. Она не расслышала его имени, но Герэн пояснил — знаменитый. Она верит, конечно знаменитый. Обыкновенных людей, незнаменитых, немиллионеров, она теперь вообще не встречает. Может быть, обыкновенных людей вообще больше не существует, все перевелись, стали зрителями. Зрителей всюду много, даже и здесь. Она уже слышит громкий шепот: «Смотри, это Тъери Ривуар»; и Тъери, не поворачивая головы, уже сияет в пространство своей самой электрической улыбкой для зрителей. Плоская лампа, похожая на пепельницу, бросает льстивый, уклончивый свет, украшая все вокруг. Даже Герэн кажется почти красивым со своим гладким, круглым, блестящим черепом и прищуренными молодыми глазами. Из-за розовых гвоздик не видно лица итальянца, но то, что он сидит тут, еще повышает удовольствие. Итальянец — Италия — Венеция как напоминание, как обещание. Голос итальянца, льстивый и уклончивый, как свет плоской лампы, украшает самые простые слова, дает им не

принадлежащие им значение и вес. Но она не слушает, о чем говорят за ее столом. Она смотрит кругом. Как нарядно, как празднично, как тесно. Она слушает музыку. Музыка превращает ее реальное земное счастье в небесное, идеальное счастье. Переносит счастье в другой план. Она слушает музыку, веки ее закрыты, губы морщатся, щеки бледнеют. Она слушает, и ее такое земное, телесное, тяжелое счастье, еще утяжеленное желанием ребенка, вдруг превращается в легкое, воздушное, прозрачное. Она чувствует легкость, холод и пустоту в груди.

Она слышит высокий, тонкий, острый, чистый звук скрипки, видит зеленый узкий прозрачный лист, трепещущий на солнце. И вдруг понимает, что этот острый, чистый звук и есть этот прозрачный трепещущий лист, что этот лист, этот звук — одно и то же, что оно — ее освобожденное от реальности, от тяжести жизни, идеализированное счастье. Воздушное, небесное, бессмертное счастье. Счастье, прошедшее через влюбленность и желание, освобожденное, чистое, острое, высокое, как этот звук, как этот зеленый лист. Она прижимает руку к груди. Это ощущение холода, пустоты и вечности надо запомнить. Она все ясно сознает, она не забыла, что ей по сценарию придется умереть в фильме, сгореть в аэроплане и потом, после смерти, бежать по облакам «в виде души». Это «в виде души» все время беспокоило ее, она никак не могла представить себя душой после смерти. Но теперь она знает, теперь ей нечего беспокоиться.

Она поворачивает голову к Тьерри: «Как хорошо, что мы приехали сюда». И все согласны, все очень рады, что приехали. Она пьет шампанское, она улыбается.

Красная накидка соскальзывает с ее голых плеч. Защита накидки больше не нужна. Она чувствует себя защищенной счастьем, музыкой, шампанским. Они говорят о фильмах, об актерах и успехах.

— Я хотела бы, чтобы сейчас был сад и ветер, — говорит она, немного закидывая голову, — чтобы все цвело — розы, жасминовые кусты, сирень, чтобы была вот эта самая музыка и еще звезды. А нас не было, нас совсем не было бы. Или нет, чтобы мы были этим садом, этой музыкой. Ах, я не знаю, как объяснить. Но вы понимаете?

И все кивают и улыбаются. Итальянец льстиво говорит: «Конечно, я тоже мечтаю стать садом». Но Люка не слушает.

Музыка волнами сходится и расходится вокруг белой скатерти стола. Скатерть, как лед. Люка отламывает гвоздику и кладет ее на

скатерть, на лед. И гвоздика плавно и грациозно скользит по льду, как конькобежец. Люка показывает ее рукой: «Видите?» Но Тьери говорит очень нежно: «Вам больше не надо пить». Она послушно, не dokonчив даже глотка, ставит стакан обратно на скользкий лед, и стакан кружится вместе с гвоздикой вокруг плоской лампы и серебряного ведра с шампанским.

Они говорят о ясновидении, о предсказаниях.

— Я умею читать по руке, — почти поет сладостный, заманчивый голос итальянца и обрывается, ожидая, чтобы Люка протянула ему руку.

Но Люка счастлива. Впереди только счастье. Судьбой интересуются неудачники, ждущие, надеющиеся. Ей ничего не надо, она и сама все знает. Итальянец просит:

— У вас такое лицо, у вас должна быть замечательная судьба.

Она качает головой: «Не хочу». Но он настаивает, и голос его утомительно привязчив. Она высоко поднимает руку, будто взмахивает крылом, и протягивает ее через стол. Рука почти касается лампы, тонкая, белая, пальцы розовато просвечивают. Итальянец склоняется над ней. Все молчат и ждут. «Какая у вас красивая рука». Он останавливается и смотрит ей в глаза. У него черные, совсем матовые глаза, странные, как из сукна, а она и не заметила. «Какая у вас страшная рука». Она хочет отдернуть руку, ей становится неприятно, тяжело, будто ей грозит опасность, но он крепко держит ее пальцы в своих.

— У вас прекрасная линия судьбы, вы будете знаменитой, — он делает паузу, — знаменитой... Потом...

К чему относится это «потом»? Ей все равно. Она слушает сквозь кружение, звон и шампанское. Смутно и боязливо. Скорей бы это кончилось. Скорей бы сжать руку в кулак, спрятать ее.

— Сколько вокруг вас было страданий. Сколько смертей, — снова пауза. Черные, широкие брови поднимаются углами над черными глазами из сукна. — Вы, — голос сразу теряет всю сладость и льстивость, становится обличительным, свистящим, — на вашей руке кровь, родственная кровь. Из-за вас...

Люка с силой вырывает руку и, оттолкнув стол, встает: «Откуда вы знаете?» Ведро с шампанским с грохотом летит вниз, шампанское льется темным, медленным ручейком по ковру, куски льда скачут во все стороны, как испуганные лягушки. Даже музыка останавливается, будто отделяя этой паузой, этим мгновением тишины будущее от прошлого, подчеркивая важность происходящего. Но лакеи уже бегут, вытирая пятна, подбирая куски льда, но музы-

ка уже звенит, и за соседними столиками смеются и разговаривают так, как будто никто ничего не заметил.

— Не устраивайте скандала, — Тьери властно берет Люку за руку. — Садитесь.

Она не слышит. Она стоит, прижавшись к стене, с ужасом глядя на черные, матовые глаза.

— Откуда вы знаете? Я не убивала. Я не виновата! Вера... — повторяет она имя, которое годами не произносила, и закрывает лицо.

— Это ничего, это сейчас пройдет, — успокаивает Тьери.

Ей дают воды.

— Выпейте, выпейте.

Она с отвращением глотает тяжелую холодную воду. Сейчас пройдет. Да, уже легче, уже прошло. Она смотрит на Тьери. Какой он бледный. Герэн возмущается.

— Ваши итальянские развлечения нам не подходят.

Итальянец униженно извиняется, голос его еще льстивей и слаще. Да, он пьян, он хотел произвести впечатление. Он просит прощения у Люки, у Тьери. Она молчит. Она сознает, что ей следует рассмеяться, обратить все в шутку. Но она молчит. Страх сдавливает ее горло. Она не находит ни слов, ни нужной улыбки. Слова выются вокруг ее головы, но она никак не может поймать их. Они сами по себе, она сама по себе. Ей страшно. Тьери натянуто смеется. Заказывают еще шампанского. Это для зрителей, чтобы замять скандал. Итальянец виновато объясняет что-то.

— Я устала, — говорит Люка.

Это, конечно, не то, что нужно. Но это все-таки подходит. И, выбиваясь из сил, добавляет: «Домой». И все сейчас же согласны.

— Да, пора домой, — Тьери и Герэн берут ее с двух сторон под руки. — Осторожно, не падайте.

Но она сама легко встает и быстро идет к выходу. Она совсем трезва.

— Спокойной ночи.

Она садится в автомобиль, прижимается лбом к холодному окну.

— Тебе дурно? — спрашивает Тьерри. Но ответить слишком трудно — она молчит.

— Не простудись, закутайся хорошенько.

Она крепче запахивает накидку. Из послушания, не для защиты. Какая уж тут защита? Ей страшно. Страшно оттого, что Тьери понял, догадался. Она выдала себя. Она и сейчас продолжает выдавать себя.

— Почему ты так испугалась? — спрашивает он.

Она сжимает руки под накидкой и молча смотрит в окно.

— Я была пьяна, я и сейчас пьяна, — говорит она наконец тихим, трезвым голосом.

Они выходят из автомобиля, они поднимаются в лифте, они дома. Он зажигает все люстры и лампы, будто для того, чтобы лучше видеть Люку. Он берет ее за плечо.

— Скажи мне, что это значит? Ты крикнула: «Откуда вы знаете? Я не виновата...» Что это значит?

Он заглядывает ей в глаза. Она опускает веки. Нет, она ничего не скажет, она будет молчать, она должна молчать.

— Скажи, Люка.

Она устало вздыхает.

— Я была пьяна. Я испугалась, у него сумасшедшие глаза.

Да, она действительно испугалась. Она давно забыла, она никогда не вспоминала, и вдруг так, среди музыки и шампанского...

— Я хочу спать, — она жалобно вздыхает, — я так устала.

— Ты должна сказать, — настаивает он. — Что это значит: «у вас на руке кровь»?

— Оставь меня, — просит она. — Я не знаю, я хочу спать.

Она снимает через голову шумящее, надушенное платье. На минуту от настойчивости Тьери, от страха и запаха духов она задыхается. Но платье уже ложится белым кругом на ковер.

— Спать, — вздыхает Люка. — Сон...

В сон можно спрятаться, как в крепость. Она ничего не скажет, он ничего не узнает. Она вытягивается под одеялом, крепко сжимает руки и колени. Она ничего не скажет. Она борется за свое счастье, за их счастье. Тьери сейчас — враг, их общий враг.

— Ложись спать, — тихо шепчет она и закрывает глаза, чтобы не видеть, как Тьери шагает из угла в угол, не видеть его черного фрака, его белого лица, не слышать его требовательного голоса, спрятаться в сон, как в крепость. Сон — союзник, сон не выдаст. Завтра она все обдумает, все объяснит. Но до завтра еще далеко. Тьери трясет ее за плечо:

— Не спи, не спи. Ты должна сказать, должна.

Она испуганно открывает глаза. Тьери стоит перед ней все еще во фраке, и, как всегда, когда он очень взволнован или устал, выражение его лица не совпадает с его словами. Оно почти весело, это бледное, упрямое, жестокое лицо, оно улыбается. Люка жмурится. Нет, это только снится ей. Но он берет ее за плечо, он наклоняется над ней.

— Я не успокоюсь, пока не узнаю. Я все равно узнаю.

В сочетании сияющей улыбки с жестокими, упрямыми глазами что-то нереальное, ненормальное и очень страшное. Он садится на постель.

— Ты должна сказать.

Она тоже садится, прислоняется спиной к холодной стене. От короткого, смутного сна, от света, от холода она совсем обессилена. Сон отнял ее последние силы, она больше не может бороться. Сон оказался не союзником, а предателем, он выдал ее Тьери. Выдал связанную по рукам и по ногам, слабую, безвольную. Светлые, острые глаза Тьери смотрят прямо в ее глаза. Она узнает знакомое, тоскливое чувство собаки на цепи. Да, так он смотрит на нее в студии, заставляя ее слушаться. Но сейчас он требует ответа, он приказывает: «Говори». Она плачет, но слезы не помогают, не действуют на него. Она хочет закрыть глаза и не может, она трогает подушку, мнет простыню, натягивает на себя одеяло, она ищет помощи, защиты. Но защиты нет, помощи ждать неоткуда. И она перестает бороться, голова становится звонкой, пустой. Стержень «ничего не скажу», за который цеплялись все мысли, исчезает куда-то, и мысли разлетаются, притягиваемые, как комары огнем свечи, светлыми, злыми глазами Тьери. Люка в изнеможении складывает руки и вдруг слышит, как ее собственный голос на вопрос «Кто умер из-за тебя?» тихо отвечает: «Вера, моя сестра». Она хочет крикнуть: «Нет, нет, это неправда, я лгу, не верь...» Но ее рот не может выговорить этих слов. Только о смерти Веры, только для рассказа о ее смерти она находит слова. Она рассказывает все, застыв, оцепенев, с ужасом, с чувством гибели, катастрофы слушая свой голос. Все. Как они жили летом в Мондоре и познакомились с Арсением. Как она влюбилась в него и Вера тоже, как после Рождества Вера вышла замуж. Нет, не за Арсения. Арсений даже не бывал у них. Люка встретила его два раза за всю зиму. Один раз, когда Вера была в свадебном путешествии, второй — под дождем, когда Вера заболела, когда Вера забеременела. А потом они жили на даче, и Арсений опять, тогда ей казалось — случайно, был их соседом по даче. Она не знала, что Вера — любовница Арсения, что она беременна от него. Она была влюблена в Арсения, ей казалось, что он тоже влюблен в нее, только не смеет ей признаться. Однажды ночью она потихоньку пришла к Арсению.

Лампы широко и ярко освещают комнату. Люка сидит на смятых простынях. Она дрожит. Она смутно сознает, что она сидит здесь, на диване Тьери, она смутно видит лампы и Тьери, его злые

глаза, его фрак. Все это как будто очень далеко, в каком-то другом плане, за гранью понимания, за гранью настоящего, нереально, расплывчато. Все это только воспоминание. Настоящее — Арсений, Вера и она, пятнадцатилетняя Люка, — то, о чем она сейчас рассказывает.

...Люка бежит по пустой улице. Вот дача Арсения. Она стучит в ставню.

— Кто тут? — Арсений стоит в освещенном четырехугольнике двери. — Люка? Что случилось?

— Ничего не случилось, — говорит Люка. — Я уже была у вас днем, я прочла письмо, то в ящике. Я знаю, вы тоже любите меня. Он внимательно и удивленно смотрит на нее.

— Вот оно что, — говорит он задумчиво. — Вы поняли из письма, что я люблю вас?

Луна освещает балкон, лунный свет падает прямо в лицо Люки.

— Да, да, — кричит она чуть не плача. — Вы любите меня. Зачем вы притворяетесь? Ведь я тоже люблю вас.

Арсений берет ее за руку.

— Я пришла, — объясняет она, — я думала, когда любят, всегда хотят быть вместе ночью.

Арсений смеется. Он подводит ее к дивану, он наклоняется к ней. Его черные волосы, его черные глаза так близко. Этой минуты она ждала всю жизнь.

— Так вы любите меня, маленькая Люка?

Он целует ее губы, ее голые дрожащие колени:

— Любите меня?..

Утро. Калитка скрипит. Арсений входит в их сад. Люка бежит к нему навстречу. Арсений прижимает ее к себе.

— Нет, нет, — испуганно шепчет Люка, — не здесь. Я приду к тебе ночью.

— Я не могу дождаться ночи, — говорит он и тяжело и властно кладет руку на ее плечо.

Она хочет вырваться, но она так слаба, так влюблена. Он ведет ее в беседку, и она покорно и влюбленно поднимается по ступенькам, переступает порог. Полутьма, запах сырости и пыли. Горячие руки, горячие губы Арсения.

— Люка, — зовет голос Веры.

Дверь распахивается. И сразу свет и крик. От света и крика ничего нельзя понять. Люка выбегает из беседки. Вера лежит на земле около обвалившихся перил. Неужели это Вера так страшно кричит?..

Веру переносят в дом. Арсений побежал за доктором. Мать и горничная суетятся над ней.

— Как это случилось, Люка?

— Я не знаю, — отвечает Люка растерянно, — она, кажется, хотела войти в беседу и оступилась.

Вера поворачивает к ней белое искаженное лицо, уставляется на нее бессмысленными пустыми глазами.

— Будь ты проклята, проклята, проклята, — ясно и громко говорит она. — Проклята, проклята...

— Она умерла ночью, — Люка проводит рукой по лицу. И сразу прошлое и настоящее снова меняются местами. Теперь все. Она все рассказала. Но ей хочется еще сказать самое главное, объяснить, что она не виновата.

— Мне было только пятнадцать лет, я ничего не понимала...

Но Тъери не слушает, он узнал все, что хотел, он больше ни о чем не спрашивает. Он закуривает папиросу, щелкает портсигаром.

«Виновата? Конечно она была не виновата, но Вера все-таки прокляла ее».

— Прокляла, — повторяет он медленно, — прокляла перед смертью. А теперь давай спать.

Она только что была райской птицей счастья и сама своим рассказом ощипала себя, каждым словом вырывая из себя перо за пером, и теперь сидит перед Тъери, как общипанная, посиневшая, голая курица с длинной, голой, отвратительной шеей. Она чувствует, что он так и смотрит на нее, как на общипанную курицу. От райской птицы остались только сломанные перья, и он отворачивается к окну.

— Тъери, ведь я не была виновата.

— Да, конечно, конечно, — он и не обвиняет ее, но разве дело в ее вине?

Он снимает фрак, тушит лампы — они больше не нужны, они больше не должны освещать лицо, прошлое, тайну Люки. Он подходит к окну и задергивает шторы на окнах. Он никогда не задергивал прежде штор, он терпеть не может темноты. Но сейчас он задернул шторы сам. Должно быть, чтобы было темно, чтобы не видеть ее.

— Спи, — говорит он коротко.

Она вздыхает в темноте. Его башмаки падают на ковер, он ложится. Он не обнимает Люку, как всегда. Он ложится как можно дальше от нее, стараясь не коснуться ее ног. Она тихо вздыхает, она беззвучно плачет в темноте. Она измучена, уничтожена, искалечена. Неужели можно жить дальше?

«Тъери», — хочет она позвать, но не смеет и молча протягивает к нему руку под одеялом. Он не спит, он тоже протягивает к ней руку и крепко, молча берет ее руку в свою теплую руку. Молча, в тишине, в темноте. Она вздрагивает от благодарности, от надежды. Но он, пожав ее руку, сейчас же снова выпускает ее. Это рукопожатие не похоже ни на примирение, ни на начало новой жизни. Оно похоже на прощание. Да, это прощание. Ее рука одиноко и беспомощно лежит на холодной простыне.

— Тут тебе будет хорошо, — сказал Тъери вчера, прощаясь с ней. — Очень уютная комната и зеленая — цвета лавров, цвета славы. Да, тебе здесь будет хорошо.

Она сидит в зеленом кресле и смотрит на телефон. Она ждет, чтобы телефон зазвонил. Но телефон молчит.

Как это случилось? Как это могло случиться? Почему она здесь, в этой зеленой комнате, одна? Как могло случиться, что она стала бездомной, одинокой, несчастной? Она снова вспоминает все с самого начала, желая понять, выяснить, размотать весь клубок с начала, размотать его до кончика, до хвостика, завернутого, как на кусочек картона, на то, с чего все началось, на ту ночь или, вернее, на то утро, когда она рассказала Тъери про смерть Веры. Размотать, чтобы потом снова аккуратно сматывать его, пересмотреть, пережить опять по порядку, час за часом, день за днем.

В то утро Тъери проснулся поздно и сейчас же уехал в студию. Он так торопился, что даже не поцеловал ее. Впрочем, он с тех пор вообще не целовал ее. Он не взял ее с собой, но ведь она еще и не была одета и ей в тот день нечего было делать в студии. Ожидая его, она почти совсем успокоилась. Он вернулся с режиссером Давиз, и они вместе провели вечер. А ночью он опять лег на самый край дивана, и тогда она поняла, что она одна, что его нет, что это — одиночество. Одиночество вдвоем. Вежливое, молчаливое, ледяное. Ей целую неделю нечего было делать в студии, и он ездил один. Вечера по-прежнему проводили с Герэном и Давиз и возвращались очень поздно. Теперь он чаще всего молчал или читал газету, будто боялся, что она начнет объясняться. Но она тоже боялась объяснений. О чем объясняться? Что объяснять? Она знала: если надо объяснять, то не надо объяснять. Она садилась в угол на низкую скамейку и пристально смотрела в него. Он читал газету, страницы успокоительно шуршали и матово блестели под лампой, она не видела его лица, только круглый затылок и кусок шеи над воротником. Так было лучше. Она могла представить себе, что у

него усталое, доброе лицо. В чтении газеты было что-то будничное, домашнее. Но он откладывал газету и поворачивал к ней свое напряженное, механически улыбающееся лицо, и она выбегала из комнаты, чтобы не расплакаться.

Как-то, от нечего делать, она решила заняться хозяйством и все утро пришивала недостающие пуговицы к его рубашкам — их было так много, целый комод, набитый ими, она даже не успела пересмотреть их все. Она никогда не шила для Павлика. Даже себе ничего никогда не шила. Необычайное ощущение иголки, которой можно уколоться, длинной путающейся нитки, пуговицы, в конце концов все-таки прирастающей к рубашке, и гордости... Да, она чувствовала смешную гордость. В шитье было какое-то утешение, какая-то надежда, будто она чинит не рубашку, а свое собственное счастье. Вернувшись, Тьери так и застал ее с иголкой в руке и рубашкой на коленях. И тогда он не только не похвалил ее, но почти рассердился впервые. Очень вежливо и очень холодно он попросил ее: «Больше никогда не занимайся этим. На это существуют белошвейки». Он взял рубашку с ее колен и бросил ее в ванную на пол. «В стирку», — приказал он лакею. Она поняла, что ему неприятно, что она трогает его вещи. Рубашка была чистая, но она, Люка, держала ее в руках — значит, ее надо отдать в стирку.

Но внешне все шло по-прежнему. Они по-прежнему проводили вечера и ночи вместе, а днем Люка бегала по парикмахерским, по шляпочницам и портникам, стараясь как можно больше украсить себя. Что, если переменить прическу? С пробором посередине и локонами на висках? И она меняла, но он не замечал.

Она взволнованно рылась в грудe скрипящего, разноцветного шелка. Надо только суметь выбрать, найти. Вот голубой шелк как обещание высовывается из-под навалившейся на него тяжелой зеленой парчи. Люка ловит голубой шелк, крепко держит его в руке: «Этого четыре метра». Но когда материя отрезана, наступает сомнение, та ли это? И снова надо рыться, высматривать. Да, конечно, она хотела украсить себя как можно больше. Все новые шляпы и платья должны были помочь в этом. Но она ждала от них еще и другой помощи: помимо украшения, они сами по себе должны были вернуть Тьери. Та вечно женская надежда на шляпу, на платье, на прическу, которые вдруг вернут счастье. Она чувствовала, что потеряла счастье, но еще не знала, что счастье уже навсегда потеряно. Счастья уже не было, но несчастья тоже еще не было. Было какое-то промежуточное состояние, междуцарствие, «смут-

ное время» грусти и надежды. Несчастья еще не было — ведь Тьерри жил рядом с ней, в одном доме, в одной комнате. Он был здесь, а в любви, она знала твердо, главное — присутствие, физическое присутствие — видеть, слышать, трогать. Впрочем, трогать его она не смела и сам он как будто старался не дотрагиваться до нее. Но она не была несчастна, хотя прежней полноты жизни уже не было. Жизнь стала скудной, замирающей, ускользающей, какая-то пустая, полая, бесполовая. Природа уже не служила фоном. Воздуху, воде, свету, огню теперь не было никакого дела до Люки, и она сама перестала их замечать. Связь между ней и ними была порвана, они уже не составляли с ней вместе одного гармонического целого полной, счастливой жизни. Она как будто потеряла свое место в мире, временно выпала из него, не участвовала в нем. Ей казалось, что ее чувства — зрение, слух, вдруг ослабели, что она уже не видит, не слышит, не замечает окружающего так ясно, как прежде.

Но в этот день (узел на нитке воспоминаний) было почти весеннее солнце, и такого солнца она не могла не заметить. Они возвращались домой из студии. Через десять дней они уезжали в Венецию, фильм был почти окончен.

— Я очень доволен, — говорил Тьерри.

Она так давно не слышала от него «я доволен», что горло ее сжалось от надежды и благодарности. Он рассказывал ей о Венеции. Она знала давно все его рассказы, она слушала не слова, а его голос, и этот холодный прозрачный голос заливал ее радостью и надеждой. Ничего еще не потеряно, все опять будет хорошо. Жизнь возвращается, счастье возвращается. И Тьерри возвращается. Из молчания, одиночества, отчужденности. Слово за слово, взгляд за взглядом, Тьерри становился нежнее, обрастал близостью, оттаивал. И вот уже они сидели, как прежде, в одном кресле обнявшись и вместе смотрели в огонь камина. И уже нельзя было не замечать восхитительного вспыхивания и треска дров и блаженного изнеможения от жары.

Они ни о чем не говорили или, вернее, не говорили о главном. Ни о той ночи, ни о себе. Только о фильме, о путешествии, об Италии.

— Какое у тебя красивое платье. Новое?

— Да, новое.

Даже платье не подвело, она не напрасно так долго выбирала его, платье оправдало себя — новое платье, новая жизнь. Тьерри возвращался. Все начиналось сначала. Но не завтра, не «жизнь начинается завтра»... Нет, сейчас. Сейчас и здесь.

— Когда мы совсем кончим фильм, я подарю тебе брошку. У тебя нет никаких драгоценностей.

Она поднялась, чувствуя слабость и головокружение. «Это от радости», — смутно подумала она.

— Спасибо, Тъери.

Он рассмеялся:

— Как торжественно. И не благодари заранее, ведь я еще ничего не подарил тебе, успеешь.

Она хотела объяснить, что само обещание дорого ей — если бы он обещал ей канарейку, она так же обрадовалась бы, объяснить, как она рада, как благодарна. Но ее вдруг замутило, и она, зажимая рот рукой, выбежала в ванную. Постояв у умывальника, переведя дыхание, она выполоскала рот холодной водой, чтобы избавиться от сладковатого, мутящего вкуса, но она продолжала чувствовать еле ощутимый вкус небытия, светильного газа, меди на языке, на нёбе, в горле. Она вытерла пот со лба и растерянно посмотрела в зеркало на свое вдруг снова ставшее совсем детским подурневшее лицо. Что с ней? Она читала, что иногда становится дурно от волнения, от радости, но ведь это в книгах...

— Куда ты убежала? — крикнул Тъери.

— Сейчас, сейчас.

Она подкрасила щеки, стараясь вернуть себе веселость и взрослость.

Вот все уже прошло, конечно это от волнения. Она вернулась к Тъери.

— Мне надо было сказать лакею...

Что надо было сказать, — она еще не придумала, но нельзя же было признаться Тъерри, что ей сделалось дурно оттого, что она обрадовалась. Она снова уселась в кресло рядом с ним. «Еще неделя, и мы будем в Венеции».

Так прошел этот вечер, почти счастливо. «Почти» — они оба были слишком осторожны, слишком пугливы, чтобы отбросить «почти», боясь задеть прошлое, не доверяя будущему, говоря только о поездке, о Венеции, о фильме. Было уже поздно, но они все оттягивали ложиться, боялись чего-то. Иногда он останавливался, замолкал, ожидая, что она скажет. И она говорила, она спрашивала, она помогала продлить, протянуть вечер, оттянуть, отогнать сон. Но когда часы пробили три, нельзя было больше оттягивать, и они пошли в спальню.

— Я страшно устал, — голос Тъери звучал обиженно и жалобно.

— И я страшно устала, — жалобно ответила она.

Они легли, и в первый раз за этот месяц он не только не отодвинулся от нее, но крепко, как прежде, обнял ее, и она с торжественной, жертвенной нежностью обвила его шею руками. «Теперь навек, — подумала она, прижимаясь губами к его холодному голому плечу, унесенная, покорная, раздавленная. — Навек». Но вечности не было. Вечность сейчас же оборвалась и, обрываясь, разорвала крепкий круг, в который ее руки заключили счастье.

Она открыла глаза. Тъери лежал рядом с ней бледный, с подергивающимися скулами, губы его странно и страшно улыбались сияющей, электрической улыбкой.

— Я, я не могу, — с трудом выговорил он, и она услышала, как зубы его стучат. — Я так хотел забыть, но я не могу.

Он трясущейся рукой взял стакан воды со столика. Он медленно пил, она молча смотрела на него. Руки его уже не тряслись и скулы не дергались, он справился даже с улыбкой, он совсем справился с собой.

— У меня, должно быть, начинается грипп, — голос его звучал совсем спокойно. — Знаешь, я лучше лягу в кабинете, я боюсь заразить тебя. Нет, нет, не спорь. Если бы ты теперь захворала, мы не кончили бы картины, мы бы не могли уехать в Италию. У меня лихорадка, завтра я буду здоров.

Она хотела объяснить ему, что она не боится заразы, но она знала, что все напрасно.

— Я постелю тебе в кабинете, — сказала она только.

Но он отказал ей и в этом.

— Нет, лежи, спи. Я сам. Лежи.

И она осталась лежать. Но спать она больше не могла. Она лежала и думала о том, что это уже не только отсутствие счастья, что это уже горе. Если это еще не горе, так какое же оно, горе?

На следующий день Тъери, здоровый, деятельный, оживленный, будто не помнящий того, что было ночью, улыбаясь, предупредил ее в студии, что ему надо ехать на деловой обед, что он вернется поздно и она не должна его ждать.

— Ты непременно должна лечь, у тебя сейчас столько работы.

Она действительно легла, как только вернулась. Она так устала, что сейчас же уснула. Ее разбудило легкое щелканье ключа.

— Тъери, — позвала она. Ответа не было, все было совсем тихо — ни шороха, ни движения. Значит, она ошиблась. — Тъери, — позвала она еще раз и прислушалась к тишине. Часы показывали пять. Неужели он еще не вернулся? Она встала с постели и на носках пошла в кабинет. Окно стояло открытым, она ясно уви-

дела в полутьме голову Тъери на подушке. Лицо было неподвижно и напряженно, веки закрыты. Она подошла совсем близко. И тогда она услышала, что он громко и размеренно дышит, дышит так, как обыкновенно дышат спящие. Это было так необычайно, что она остановилась: «Что с ним?» И вдруг поняла: он не спит, он притворяется. Ведь он не знает, что во сне он дышит неслышно. Он прячется от нее в сон, он боится ее. Она стояла, не решаясь двинуться, боясь показать ему, что она понимает его притворство. Поправить одеяло или подушку, как делают любящие женщины в фильмах? Нет, нет, ничего не надо. Она осторожно повернулась, осторожно, на носках вернулась к себе.

А на следующий день он сказал ей, что в Париж приехала его мать, что она всегда останавливается у него и что Люке лучше всего на несколько дней переехать в отель. И, хотя это звучало невероятно, Люка поверила. Тогда-то, в тот вечер, устраивая ее в зеленой отельной комнате, он и сказал: «Тебе здесь будет хорошо».

И вот теперь в который раз она все силится понять, как это «хорошо» произошло? Как?

Она ждет, чтобы Тъери позвонил ей, он обещал позвонить, чтобы встретиться ночью. И телефон наконец действительно звонит. Холодный, ясный, восхитительный голос Тъери из неизвестности бежит к ней по проводам.

— Я очень жалею, я не могу, я должен быть с матерью. Выспись хорошенько. Ложись сейчас, спокойной ночи. Ты сегодня плохо выглядела. До завтра.

Холодный, восхитительный голос Тъери снова убежал по проводам в неизвестность. Она слышит гул прерванного контакта. Кончено. Откуда он звонил? Ни за что, никак нельзя услышать его голос снова. Хотя бы на одну минуту. Она все еще держит трубку в руке, она громко зовет: «Тъери, Тъери». Стучат. Лакей вносит большую корзину белых цветов. От Тъери на новоселье. Она смотрит на цветы, она совсем не рада им. Они похожи на могильный веночек, такие неживые, белые. Она отворачивается, чтобы не видеть их. И все-таки это первые цветы, которые он послал ей, первый подарок от него. «Если бы я умерла, он, наверно, послал бы точь-в-точь такие же». Она вздыхает. Но ведь я не умру, я буду жить еще очень, бесконечно долго, до самой старости. Да, она всегда чувствовала — по меньшей мере, до восьмидесяти лет, а сейчас ей двадцать один, и предстоящая ей длинная жизнь пугает ее, как когда-то пугала мысль о смерти. Но страх смерти был туманным, смутным. В смерть она по-настоящему все же не верила, это была

скорее какая-то поэтическая тревога, чем страх. Но страх жизни — страх всех огорчений, слез, обид, которых нельзя избежать, всех этих лет, которые будут, как камни, падать на нее, пока не собьют ее с ног, не вобьют в землю, под землю... Нет, это реальный страх, берущий за горло, мешающий дышать. Через три дня они уезжают в Венецию, через шестьдесят четыре часа. Вдвоем, в автомобиле, через Швейцарию. Это будет, это решено, этого не может не быть. Ни о чем другом не надо думать. Венеция. Она раздевается, ложится в постель, чтобы проспать побольше этих ни на что не нужных часов. Она кладет голову на подушку. Она вздыхает: «Венеция». Но что-то мешает уснуть, вьется холодом по простыне. Люка чувствует слабый укол в висок: «А после Венеции?» Она поднимает голову, ударяет ладонью по подушке.

— После Венеции, — говорит она громко, — все что угодно. Но я хочу быть счастлива в Венеции. Счастлива в Венеции. Счастлива в Венеции, — повторяет она трижды, как заклинание.

Люка стоит на плато в белом длинном «ангельском одеянии», в светлом, длинноволосом парике, жалкая и растерянная. И как она устала. Уже девять раз крутят все ту же сцену, уже девять раз она пробежала по облакам, боясь споткнуться о них и упасть, уже девять раз она спела свою небесную песню. И все опять сначала. Она напрасно старается вспомнить ощущение легкости, блаженства, бессмертности и холода в груди, которое она испытала в ту последнюю, счастливую ночь в ресторане, услышать тонкий, резкий, высокий звук, увидеть прозрачный лист, дрожащий на солнце. Она чувствует себя земной, неуклюжей, тяжелой и смешной в этом нелепом кудрявом парике, в этом длинном, развевающимся балахоне. Тяжесть переполняет ее, она будто распухла, растолстела. Ангельская голубая лента слишком крепко стягивает талию, ангельские сандалии натирают ноги, ангельский парик жмет голову. Она робко смотрит на Тъери. Как она бездарна, как он терпелив.

— Попробуем еще раз, уже почти хорошо.

Она снова бежит, облака поддаются под ногами, она поет. И опять: «И уже почти хорошо». Скорее бы это кончилось. И вот наконец кончается. Люка сходит с плато, и вдруг ей снова становится дурно. Она бежит к себе в уборную и, не добрав, останавливается в коридоре, нагибается над грудой старых декораций. К ней подходит ангел-хранитель, берет ее нежно за лоб, поддерживает ее. Ласковый голос говорит: «Это ничего, это бывает. От усталости, от жары». Ангел вытирает ей лоб широким рукавом, снимает с

ее головы парик. «Сейчас легче станет. Вот, уже прошло». Люка хлопает длинными приклеенными ресницами и шумно вздыхает.

— Прошло? — участливо говорит ангел. — Это бывает. Это ничего, — и вдруг вопрос: — Вы замужем?

Неожиданно для себя Люка отвечает:

— Нет.

— Все-таки сходите к доктору.

— Да, пойду, спасибо, ангел, никому не рассказывайте.

Люка храбро идет к себе, держа парик в руке, подметая его длинными волосами пол. Хорошо, что Тъери не видел. Какой стыд. Этот ангел — простая статистка. Она, наверно, будет хвастаться, что держала Люку за голову, что Люку тошнило, что Люка назвала ее ангелом-хранителем. Но до Тъери это вряд ли дойдет, а до остальных ей нет дела.

Она переодевается, ей надо разыскать Тъери. Но он сам приходит за ней.

— Я жду тебя, — говорит он, — мы поедем домой.

Пуховка падает на ее колени.

— Как, твоя мать уже уехала?..

— Я объясню тебе, — говорит он коротко. — Я подожду тебя в коридоре.

И он выходит. Если бы он сказал ей это до съемки, она стала бы настоящим ангелом, она спела бы по-ангельски небесную песню, ему не пришлось бы бесконечно возиться с ней. Сам виноват, почему не сказал сразу? Она надевает шляпу, надвигает ее на лоб. И этот жест вдруг поднимает в ней смятение. «Я объясню тебе», — сказал Тъери. Объясню. В объяснении всегда скрывается неясное, то, что надо выяснять, в неясности всегда опасность. Она берет перчатки, она выходит.

Тъери идет ей навстречу с другого конца коридора. Не глядя на него, по биению своего сердца она чувствует, как расстояние между ними уменьшается. Еще шаг, и он подойдет вплотную к ней, и сердце ее оборвется. Но он не делает этого последнего шага, он останавливается на расстоянии этого шага. Между ними можно пройти, не задев их, они рядом и далеки друг от друга, он не берет ее тесно под руку, как прежде.

— Идем, — говорит он. И они идут к выходу, они садятся в автомобиль.

Какая знакомая дорога. Сколько раз они вместе ехали по ней. Он чувствует ее встревоженный взгляд и поворачивает к ней свое сияющее, напряженное лицо.

— Твоя мать уехала? — спрашивает Люка.

— Нет, — улыбка его становится еще ярче, почти нестерпимо яркой. — Нет, не уехала. И она просила меня, — он останавливается, — ты должна понять, ты не огорчишься? Она просила меня, она едет в Швейцарию, — он снова останавливается. — Я повезу ее на автомобиле, — быстро добавляет он. — Мы выезжаем с ней завтра утром.

— А я? — это не вопрос, это крик забытого в горящем доме, из которого других уже вынесли пожарные. — А я?

— Ты поедешь поездом вместе с Давиэ и артистами. Поездом даже лучше, не так утомительно. И быстрее. Вы отправитесь через четыре дня, к этому времени я уже буду в Венеции. Там встретимся. Мне самому досадно. Но что же я могу? Моя мать... она просила, — быстро и несвязно объясняет он.

Люка слушает. «Это будет, это решено, этого не может не быть». А вот оказывается... Они поднимаются в лифте, и лифт, как всегда, приветливо гудит: «домой, домой», но теперь это звучит насмешкой.

Лакей открывает дверь и кланяется. Люка краснеет — он не может не знать, что ее выгнали отсюда.

— Собери свои вещи, — говорит Тьери, — все, что тебе понадобится для Италии. Я тоже буду укладываться.

Лакей приносит чемоданы, кладет на диван вперемешку его костюмы и ее платья. Будто они едут вместе. Тьери становится на колени перед ее чемоданом (перед ней он никогда не становился на колени): «Подожди, Люка, я уложу тебя сам». Это очень большая, это невероятная услуга, каким виноватым он чувствует себя, если готов даже на это. Она не мешает, ей все равно. Ничто уже не может ни обрадовать, ни огорчить ее. Она даже не в состоянии оценить его любезность. Он быстро, со всей своей точностью и аккуратностью, укладывает ее чемодан, будто всю жизнь был упаковщиком. Все ее вещи, до последней пары чулок, до последней зубной щетки и губки, чтобы и духа не осталось, чтобы ничего не напоминало о ней в его доме. Она видит, она понимает. Из Венеции она уже не вернется сюда. Здесь ни ей, ни ее вещам места больше нет. Шкафы слишком тесны для его костюмов и ее платьев, диван слишком узок, чтобы спать на нем вдвоем. Она смотрит на диван. Как странно, что он все такой же — мягкий, серый, шелковый. Не покрылся ржавчиной, не покособился после той последней ночи, когда Тьери ушел спать в кабинет. Тогда она думала, что она несчастна, что нельзя быть несчастнее, теперь она знает, что это

еще не было несчастье. Ведь Тъери спал за стеной, дышал одним воздухом с ней, она могла видеть его, говорить с ним. Он был тут, он присутствовал — это было почти счастье. Вот оно, настоящее несчастье, настоящее горе, не одиночество вдвоем, а просто одиночество. Он уезжает, она остается. Кончено.

— Кончено, — весело говорит Тъери и встает. — А мои вещи уложит слуга.

Ей хочется уложить их самой, потрогать, погладить в последний раз его галстуки, рубашки, пиджаки. Но она не смеет попросить об этом. Она тоже встает, она подходит к нему, она еще не знает, что скажет. Лучше ничего не говорить. И вдруг, будто ее толкнули в спину, тяжело падает ему на грудь, обхватывает его шею руками, повисает на нем, как пальто на вешалке. Сейчас он оттолкнет ее. Но он стоит прямо и неподвижно, точно не решаясь ни обнять, ни оттолкнуть ее.

— Тъери, — громко кричит она и уже не может удержать крика. — Не уезжай, не уезжай, Тъери, — она прижимается, прилипает к нему крепче, еще крепче, чтобы он не мог отодрать ее от себя, чтобы она приклеилась, срослась с ним своим платьем, своей кожей... — Не уезжай.

Но он осторожно и твердо отстраняет ее от себя, ей кажется, что куски ее кожи, куски ее платья остались приклеенными к нему. Ей больно, она кричит. Он усаживает ее в кресло.

— Я сейчас дам тебе брому. Какая ты нервная, ты переутомилась.

Он ходит по комнате своей легкой, быстрой походкой, он взволнован, испуган. Он дает ей бром, и она послушно пьет. Соленый, как слезы. Ей кажется, что она глотает слезы, запасы реки слез, которые все придется выплакать потом, капля за каплей, когда она останется одна. Она прижимает руку к груди, к месту, с которого сорваны платье и кожа, которое болит. Тъери гладит ее по голове.

— Успокойся. А потом мы поедем обедать.

И они едут обедать. Незнакомый нормандский ресторан. В большом кирпичном полукруглом камине жарятся на вертеле цыплята и утки. Она смотрит на огонь, на уток и цыплят на вертеле, ей почему-то становится неприятно. Эти жарящиеся утки и цыплята чем-то напоминают ей о собственной судьбе. Это ощущение смутно, она не может разобраться, ей некогда. Но на уток смотреть неприятно. Скатерти клетчатые, и почти темно. Тъери нарочно привез ее сюда. Здесь не видно, какое у нее несчастное, заплаканное лицо, и ему не стыдно за нее. Они обедают, может быть, в последний раз.

— Мы обедаем в последний раз, — говорит она медленно.

Он удивленно смотрит на нее, и она добавляет: «До твоего отъезда». Он кивает: понятно, раз он едет завтра. Об этом не надо говорить. Зачем? Разве что-нибудь поправишь? Она на минуту вспоминает свой последний обед с Павликом. Вот и она на месте Павлика. Но как это больно и страшно.

Тъери заказывает ей ее любимые блюда, старается занять ее: «Когда мы вернемся из Венеции...» Вернемся из Венеции? Венеция, бывшая для них мечтою, блаженством, становится обыкновенным, будничным городом. Приехали, уехали... «Когда мы вернемся, я подарю тебе брошку». Ах, эта брошка! Она совсем не нужна больше Люке — чтобы подсластить разрыв — разрывной подарок.

Она поднимает голову, смотрит в его светлые глаза. Пламя камина бросает теплый отсвет на его лицо, и от этого оно кажется человечнее, мягче. Может быть, не все еще потеряно, может быть, он поймет.

— Тъери, — говорит она совсем тихо, — я так люблю тебя, я не могу жить без тебя.

Он улыбается своей электрической, невыносимой улыбкой. Он не понял, напрасно. Он ответит: «Кто же тебя заставляет жить без меня?» — или: «Тебе и не придется жить без меня» — вежливо, уклончиво, лживо. Но нет, он не хочет лгать, она ошиблась. Он отвечает: «Как ты нервна. Ты страшно переутомилась. Тебе надо хорошенько отдохнуть». И ни слова о том, что она не может жить без него, — не слышал, не принял. Недолет или перелет. Ответа не будет. Она на минуту закрывает лицо руками жалким потерянном движением. Он старательно режет мясо, нагнувшись над тарелкой, и ничего не желает замечать.

— Тебе надо пораньше лечь сегодня. И мне тоже. Мы выезжаем в шесть часов.

Какое жестокое «мы», прежде «мы» значило всегда Люка и Тъери.

— Значит, я завтра не увижу тебя?

— Ну конечно нет. Но через пять дней мы снова встретимся. Ты не должна так огорчаться.

Он провожает ее домой. Последняя, совсем слабая надежда.

— Ты не зайдешь ко мне, на минуту? Проститься?

— Нет, уже поздно.

Он должен еще заехать к матери. Он целует ее белую перчатку.

— До свидания, до Венеции.

Он поднимает руку фашистским жестом в знак приветствия — *viva Italia* и, не дождавшись даже, пока она войдет в отель, отъезжает. Швейцар толкает перед ней вертящуюся стеклянную дверь, но Люка поворачивается, выбегает на улицу. Его автомобиль еще виден, черный лакированный, тускло поблескивающий в свете фонарей. Вот он резко заворачивает за угол, на мгновение в окне мелькает вытянутая рука Тьери. И вот его уже нет. И вот ни от автомобиля, ни от Тьери ничего не осталось, кроме воспоминания.

Телефон тихо звонит мягким отельным, благовоспитанным звоном, скорее шипом, и все-таки Люка просыпается и открывает глаза. Тьери уехал, это не Тьерри. Она медленно вынимает руку из-под одеяла, медленно снимает трубку. Кто, зачем, почему? Ей хочется спать. Отстаньте, пожалуйста. Ей так тяжело возвращаться в действительность, в одиночество, в горе.

Это Герэн. Он случайно узнал ее адрес. Он просит ее покататься с ним — «сегодня такая чудная погода».

— Оттого что хорошая погода? А если бы шел дождь?

Герэн смеется:

— Я вас очень прошу.

Она еще не одета. Ничего, он подождет. Он настаивает, он умоляет, и она соглашается. Хуже не может стать. Пусть заедет за ней через час. Ей все равно. Хуже от этого не станет. Она одевается, Тьери уже в Швейцарии. Он прислал ей телеграмму.

— *Excellent voyage. Salutations*, — говорит она, входя в ванную и насмешливо кивая себе в зеркале.

Все, что он нашел для нее. И это уже много. «*Salutations*», — говорит она своим туфлям, надевая их на ноги. Лучше бы уже ничего, чем такая телеграмма. Ей не хочется кататься с Герэном, ей ничего не хочется. «Тьери, Тьери!» Герэн увидит, что у нее красные веки, а он и так, должно быть, уже знает, что Тьери бросил ее. Снова шипит телефон. Герэн ждет внизу. Она надевает пальто из белого жеребенка, белую замшевую шапочку. Тьери научил ее одеваться, как полагается кинематографической звезде — очень просто и очень заметно, в ложно-спортивном стиле. Но к этому пальто и этой шапочке совсем не идет ее грустное лицо. Можно улыбаться, когда хочется плакать, можно смеяться, когда хочется кричать. Это совсем не трудно. Надо только приподнимать верхнюю губу и опускать веки, прикрывая несчастные глаза. Выходит очень хорошо, она пробовала перед зеркалом. И она, улыбаясь, выходит к

Герэну. «Salutations, — говорит она. — Какое безвкусное, глупое слово, неправда ли?» Он не отвечает, он целует ее руку, смотрит на нее.

Они впервые вдвоем, и он взволнован. Знакомым ей движением он касается сердца или бумажника.

— Как я счастлив, что вы согласились.

«Счастлив» кажется ей неуместным. «Рад», — поправляет она. Если бы вы не позвонили, я не встала бы сегодня совсем» — этого говорить не следовало. Она выдает себя, свое горе. «Мне было лень вставать, я так устала». В усталость он не поверит. Только бы он не спросил о Тъери. Но о Тъери он не спрашивает, точно вообще нет никакого Тъери. Он говорит о ней, о том, как давно он хотел вот так сидеть с ней вдвоем... Неужели? С такой несчастной, убитой, потерянной Люкой? Она смеется. Она сама удивляется, как легко ей смеяться. И все ей кажется смешным. Даже она сама. Этот Герэн очень милый, и какие у него молодые глаза. Он, кажется, даже родеет. Несмотря на свои миллионы. Но ведь он мог бы для своего развлечения отлить такую, как она, из золота, в настоящую величину, чтобы покататься в ее обществе один раз. Такой богатый. Странно, что на нем обыкновенный костюм и галстук. Он похож на банковского служащего за конторкой, на кассира или бухгалтера. Никакого величия.

— Вы, должно быть, замечательный человек, — она убеждена в этом, иначе как бы он заработал столько денег. — Расскажите мне о себе.

И он охотно рассказывает. Все с самого детства. Детство как детство, его можно было бы пропустить. Но ему хочется быть откровенным. Ей все равно. Она слушает. Все-таки это мешает думать о Тъери. Она слушает, она почти не думает о Тъери. По рассказам Герэна, он очень легкомысленный и обыкновенный, но ему везло. Только удача и риск. Но разве этого достаточно, чтобы создать золотые горы, золотой дождь, чтобы превращать в золото все, к чему он прикоснется? Он все рассказывает, но она больше не следит. Мысли уносят ее за Тъери, по следам его шин, в Швейцарию. Довольно уже, она верит и так. Удача, риск... она поняла. Герэн делает паузу и вдруг говорит:

— Я влюбился в вас с первого взгляда, и вот наконец... — он сбивается, он снова касается сердца или бумажника. — Да, я влюблен...

Это доходит до ее сознания — «влюблен», «любовь»... Все, что касается любви и горя. Она слушает. Какой он романтичный.

— Я теряю голову...

— Нет, не надо терять эту лысую, умную голову.

Она улыбается. Ведь это не так уже неожиданно: Тъери часто смеялся, что Герэн влюблен в нее. Он даже говорил, что ревнует. Но она не ждала влюбленности. Она думала, что Герэн практичнее, реальнее. Он, кажется, действительно влюблен. Тъери ревнив. Ревность может вернуть любовь. Риск, удача. Терять ей нечего. Тъери уже потерял. Но удача и риск.

— Я хочу только немного нравиться вам.

— Вы мне очень нравитесь.

Он краснеет. Такой, как он, и краснеет.

— Что же вам нравится во мне?

Он берет ее за руку. Она не отнимает руки.

— Ваши глаза (это правда), то, что в вас столько молодости, несмотря на годы. И главное — что вы такой богатый.

— Богатый? — переспрашивает он.

Она кивает. Кажется, этого говорить нельзя, не принято. Богатство — это власть, и сила, и знаменитость. Все сразу.

— Вы обиделись?

Нет, он совсем не обиделся. Но он становится менее разговорчивым, менее восторженным, еще более влюбленным, немного грустным. С ним очень приятно. Они катаются по Булонскому лесу, потом пьют чай в Сен-Клу. Объяснения в любви, обещания верности. Немного смешно, немного трогательно, совсем не противно. Она сама расскажет Тъери, покажет ему брошку, огромную брошку.

Герэн робко обнимает ее, и она не отталкивает его. Он целует ее в щеку.

— Я вам не очень противен?

Они проезжают мимо цветочного магазина.

— Позвольте мне купить вам роз.

Но она качает головой.

— Нет, не надо цветов.

Пусть он лучше купит ей брошку. Ему ведь безразлично, что купить. А ей давно хочется большую бриллиантовую брошку, у нее нет никаких драгоценностей. Она говорит это просто, безо всякого стеснения — не все ли равно, раз он так богат и хочет сделать ей удовольствие.

И он принимает ее желание так же просто.

— Хорошо, — говорит он. — Завтра поедем покупать. Но розы вы должны взять.

И он покупает ей целый ворох красных роз.

Он довозит ее до отеля.

— До завтра. Я утром позвоню.

Он стоит на тротуаре, лысина его поблескивает.

— Спасибо, это самый счастливый день, — он задумывается, подсчитывает, — за десять лет, — он целует ее руку. — Да, безусловно, за десять лет.

Ночью ей снится брошка. Она в Италии, она в поезде. Сколько птиц и деревьев. Но Тьери не снится ей. Тьери никогда не снится ей. Будто он не хочет войти даже в ее сны.

Она просыпается поздно. Сейчас позвонит Герэн. Она одевается, стараясь думать только о брошке: «У тебя нет никаких драгоценностей» — а вот будут. И не от Тьери. Она представляет себе, как она распахнет пальто и Тьери впервые увидит брошку.

— С фальшивыми драгоценностями не надо преувеличивать, — скажет он насмешливо.

Она кивнет.

— Я никогда бы не надела такую большую фальшивую брошку.

Это будет минута ее торжества. Потом она вернет брошку Герэну. Брошка нужна ей, только чтобы поймать Тьери. Рыбу ловят на червяка, Тьери — на ревность, на брошку. Брошка только приманка, но не для нее, для Тьери. Он рассердится, он заставит ее вернуть брошку Герэну. Нет, о Тьери лучше не думать. Покупать брошку с заплаканными глазами неприлично. Ах, ей совсем не нужна брошка. Только чтобы показать Тьери. Только чтобы вернуть Тьери, Тьери, Тьери, Тьери.

— Я в отчаянии, — говорит глухой голос Герэна. — У меня грипп. Я не смогу выйти из дома. Простите меня, ради Бога. У меня жар.

— Мне очень жаль, — отвечает она.

Ей действительно очень жаль. И как же брошка? Но о брошке она молчит. Она желает ему скорее поправиться.

— Я уезжаю послезавтра в Италию.

— Я так надеялся...

Он, этот Герэн, тоже надеется. Все надеются, каждый на свое. Она вздыхает. С брошкой было бы легче ждать, легче надеяться. Но зато теперь можно плакать — ни Герэн, ни ювелир не увидят.

Герэн обещал позвонить завтра. Но назавтра он не звонит. Не звонит ни утром, ни в полдень. Люка ждет. Она сидит в зеленом кресле и ждет. Почему ей всегда приходится ждать? Почему не другие ждут, а она? Даже этого влюбленного Герэна, и того ждать? Уже пять часов. Может быть, он очень болен и действительно не может по-

звонить? Он такой аккуратный, вежливый, влюбленный. Да, должно быть, он очень болен. Она сама позвонит ему. Она поедет навеситить его. Как он обрадуется. И ей необходимо увидеть его, поговорить с ним. Она не может больше оставаться одна со своим горем. Ей надо, чтобы кто-нибудь был с ней, говорил, улыбался, смотрел на нее, чтобы он дышал, чтобы у него были теплые руки.

Она звонит Герэну.

— Говорит Людмила Дэль. Как здоровье директора Герэна?

— Людмила Дэль? — переспрашивает молодой, срывающийся голос. В трубке легкое щелканье, будто кто-то вздохнул, и сейчас же быстрый ответ: — Спасибо, мой отец здоров.

— Но разве он не был болен?

— Нет, отец здоров. Он дома, я его сейчас...

— Не был болен?

Люка не успевает понять, она уже слышит голос Герэна.

— Вы меня простите, я был очень занят, не успел вам позвонить.

— Но вы ведь больны?

— Нет, это была ложная тревога. Прошло. Но я так страшно занят, ни минуты времени.

Она все-таки предлагает.

— Хотите обедать вместе?

— К сожалению, не могу, — голос его звучит вежливо, но решительно.

Но она настаивает.

— Ведь я уезжаю завтра, и мне очень скучно. Устройтесь как-нибудь.

Она вдруг чувствует, что совсем не может пережить этот одинокий, страшный вечер. Она цепляется за Герэна.

— Пожалуйста, я очень прошу.

Но он отказывается.

— Мне бесконечно жаль, но я занят.

Она чувствует, что ковер начинает колыхаться под ее ногами, что у нее больше нет ни гордости, ни сдержанности, что она уже не владеет собой.

— Послушайте, — слезы текут из ее глаз, мешают ей говорить, — вы не знаете, я очень несчастна, Тъери бросил меня. Я не могу быть одна. Приезжайте, ради Бога.

Но его голос еще холоднее, еще вежливее.

— Мне очень жаль. Я не знал. Надеюсь, это только короткая размолвка.

— Нет, нет, — перебивает она. — Совсем бросил.

И вдруг с ужасом понимает, что это правда, что Тьери действительно бросил ее совсем, и никакая брошка, никакая ревность уже не помогут.

— Пожалейте меня, приезжайте ко мне, умоляю вас.

Так униженно она не просила даже Тьери.

— Вам надо успокоиться, лечь, принять валериановых капель. Уверю вас, что я не могу приехать.

Она молчит, она не может говорить, она только всхлипывает. Оттого, что она наконец ясно поняла, что Тьери совсем, навсегда бросил ее, оттого, что она, поняв это, не может остаться одна. Герэн молчит с минуту.

— Вы слушаете? Желаю вам счастливого пути. В Венеции вы, конечно, помиритесь. Венеция — рай для примирений. Желаю вам удачи и очень жалею.

Она слышит гул в ухе, значит он повесил трубку. Он не придет, и никто не придет. Ей некуда пойти в этом огромном Париже. Она одна. Она наконец вешает трубку.

— Какой стыд, — говорит она себе, — какой позор — так унижаться. Просить о жалости, а жалости нет ни у кого.

Она не чувствует ни стыда, ни позора. Только горе и странный вкус во рту. Она встает. Надо поехать в магазин купить чемодан. У нее еще Павликовский дешевый, потрепанный. Она открывает шкаф, достает пальто — как сильно оно надушено. От запаха духов ей становится дурно — пот выступает на лбу, колени становятся мягкими, будто они из ваты. Она мягко, как подушка, падает на пол вместе с надушенным пальто. Остальное — тишина, остальное — темнота. Все исчезает — свет, и шум, и боль. Ничего нет.

— Умираю, — смутно соображает она и, собрав остатки сил, тихо зовет: — Тьери. Тьери.

Дрожащий голос Люки всхлипывает:

— Ради Бога, умоляю вас. Приезжайте. Пожалейте меня.

— Мне очень жаль. Я не могу. Вы, наверное, помиритесь в Венеции. Венеция — рай для примирений.

Он ждет ее ответа, но она только всхлипывает. Он говорит холодно и жестоко, назло себе.

— Счастливого пути, — говорит он, отрезая себя этим пожеланием счастливого пути все пути к встрече с Люкой. — До свидания.

Она молчит, и он решительным резким движением вешает трубку, будто всаживает себе нож в сердце. Кончено. Навсегда

кончено. Он стоит у стола. Ничего нельзя сделать, игра проиграна раз навсегда. Он не может приехать к ней без брошки. Если бы он вчера не обещал. Если бы он сказал — я подожду к вашему возвращению. Но теперь, после этого разговора... Быть полгода влюбленным и в день, когда услышишь «умоляю вас, приезжайте», ответить отказом.

Еще вчера все казалось простым. Чтобы ему, Герэну, отказали в сорокатысячном кредите, чтобы не взяли его вексель... Он давно знал, что он разорен, но до разговора с ювелиром это было какое-то абстрактное знание, не входящее в жизнь, знание на бумаге, на словах. В жизни все шло по-старому. Он все еще жил в собственном особняке, пусть перезаложенном, с собственными слугами, пусть неплаченными, с автомобилем, с дочерью, будто ничего не случилось. Жил в долг, но жил по-прежнему. И его лошади по-прежнему скакали в Лоншан и Отей. Конечно, он был разорен, но свое разорение он почувствовал только вчера после разговора с ювелиром. Очень вежливого, очень решительного, очень унижительного разговора.

Он сидит у своего письменного стола, в своем кабинете, прямой, подтянутой, в белом крахмальном воротнике, в черном костюме, похожий на кассира, на кассира, которого судят за растрату. Он смотрит в окно на голые ветки своего дерева. Это все еще принадлежит ему. Нет, ничто уже не принадлежит ему. Ни здесь и нигде. Это только декорация, как в студии, он только актер, разыгрывающий роль банкира. Актер? Нет, он даже не актер, он лишь изображение актера, проходящее на экране. Его вовсе нет больше, он уже не существует. Он бывший человек, благодаря какой-то неправильности механизма еще случайно удержавшийся на земле, в Париже, в этом особняке. Бывший, конченный человек. Легкомыслие, удача, риск, которые всю жизнь работали на него, вдруг объявили забастовку, модную забастовку на месте — *Grève sur le tas*. Они еще здесь, в его доме, хоть и не работают больше на него. Но от их присутствия все как-то еще движется, вернее делает вид, что движется.

С тех пор как двадцать два года тому назад он занялся поставками на войну, поняв «некоторые экономические причины и следствия», как он насмешливо говорил, деньги его все увеличивались и увеличивались. Они так быстро, так стремительно умножались... Легкомыслие, риск и удача, как музы, летали над ним, голубями вились вокруг него, мягким ковром ложились ему под ноги. Двадцать два года. А теперь вот они спят в углу кабинета, нежно обнявшись и прижавшись друг к другу. Спят или, может быть, умерли.

Это началось приблизительно со знакомства с Людмилой Дэль, с влюбленности в нее. Когда он понял, что даже стараться не стоит, что она просто не замечает его, как не замечает никого, кроме Тьери. Если бы он тогда вступил в борьбу с Ривуаром из-за нее... Но его легкомыслие впервые изменило ему, он впервые поступил благоразумно — он отступил без боя. Он не хотел ни легкомыслия, ни риска, и удача отступила от него, обиделась за своих сестер, они все втроем обиделись.

Он вдруг стал терять деньги легко, так же легко, как зарабатывал, только еще быстрее. Так быстро, что даже не мог уследить, как будто это были не золотые, а ледяные горы и они таяли на солнце. И теперь вот растаяли совсем, превратились в большую лужу. Как раз в тот день, когда Людмила Дэль умоляла его прийти. Если даже нырнуть на дно лужи, там не найдешь брошки. А без брошки, без брошки, которую он обещал ей, прийти нельзя. Такой пустяк — брошка за сорок тысяч, и все рухнуло.

Он сидит у окна. Он чувствует свой череп, свои ребра, свой позвоночник. Будто у него уже нет тела, остался один скелет, и только в груди, под ребрами еще висит, зацепившись за ребра, сердце, и бьется, и болит. Катастрофа, крах всей жизни, всех надежд, последней надежды — надежды на Людмилу Дэль.

Серый ангорский кот мягко прыгает ему на колени. Это его единственный друг, его одного он любит. Он один понимает его, сочувствует ему. Он прижимается лысой головой к его пышной, мягкой шерсти.

— Гаргантюа, друг мой, тебе жаль меня?

Кот мурлычет, выгибая спину.

— Все погибло, Гаргантюа.

У него нет никого на свете, кроме этого кота. Его он унесет отсюда, его никто не отберет от него. Всё продадут с торгов, и лошадей тоже. Но кота оставят ему. И это справедливо — кот ему дороже всего на свете. Дочь? Нет, дочь совсем чужая, он никогда не любил ее. И она, наверно, станет врагом, когда узнает, что она нищая, что у нее нет приданого, нет возможности выйти замуж за какого-нибудь герцога. А с котом они не расстанутся никогда. Даже если придется ночевать под мостом.

— Гаргантюа, бедный, бедный, — Герэн плачет.

Конечно, ему жаль себя, но он не стал бы плакать над собою. Но Гаргантюа... слезы бегут по его щекам, по его накрахмаленному, блестящему воротничку, падают на усатую морду кота. Кот фыркает и вытирает лапкой нос.

— Гаргантюа, прости меня, — и вдруг громко говорит: — Прости меня. Простите меня, — это относится к Людмиле Дэль, хотя, конечно, она никогда не простит. Не сможет понять, не сможет простить.

В комнате совсем темно. Он сидит, не зажигая света, держа кота на коленях. Он плачет так, как плачут только старики и маленькие дети. Плачет впервые за свою удачную, бессмысленную жизнь. Лакей докладывает, что обед подан.

— У меня болит голова. Потушите люстру, — приказывает Герэн лакею.

В большой столовой почти темно. Торжественно и церковно-пышно горят свечи в высоких серебряных канделябрах, отражаясь в хрустальной вазе с красными розами. Совсем такие розы он купил позавчера Люке. Они, должно быть, еще не увяли. В этих свечах и розах какая-то обманная праздничность. Но это будничный обед. Самый скучный, самый несчастный обед.

Напротив Герэна, на стуле с высокой спинкой, держась очень прямо, сидит его дочь Лоранс. Лакей наливает суп. От миски идет пар. Но это только декорация. Только декорация последнего акта разорения и катастрофы. Герэн видит, как суп, зачерпнутый разливательной ложкой, наполняет тарелку. Совсем как настоящий, но это только кажется. Второй лакей ставит перед ним тарелку. Герэн подносит ложку ко рту. Суп горячий, соленый, и это удивляет Герэна. Ведь теперь, когда все как во сне, еда не должна иметь вкуса. Нет, такой реальный, горячий, трудноглотаемый суп он не станет есть. Ему неприятно все. Ему неприятен суп и лакей, неприятна Лоранс, неприятно, что она сидит здесь и внимательно смотрит своими серьезными детскими глазами, неприятно, что она похожа на свою мать. На свою мать и его жену, которая тоже была ему всегда неприятна, несмотря на то что была хорошенькая и с деньгами. Из-за этих денег (не очень больших) он и женился на ней. Из-за этих денег он и не мог ее полюбить. По его понятиям, любить можно было только женщину, которой даешь деньги, женщину, от которой берешь деньги, любить нельзя. Но она, его жена, любила его. И она требовала от него любви и верности. Он ясно помнит, как пятнадцать лет тому назад, узнав об его измене, она широко открыла рот и как этот круглый открытый рот, черная дыра на совсем белом лице, был ему противен и страшен. И самое противное и страшное было то, что из этого черного открытого рта не вылетело ни одного звука. Она высоко подняла обе руки над головой, она постояла так с минуту в странной, почти танцующей позе и

вдруг, закачавшись, грохнулась на пол. И только после того, как он поднял и уложил ее на диван, она заплакала и сказала: «Ты погубил мою жизнь, я тебя ненавижу». С этого дня она стала его врагом. Близкие человека всегда его враги. И теперь настает день, когда врагом станет и Лоранс. Она, наверно, так же, как мать, беззвучно откроет черный рот, так же упадет, так же обвинит его в том, что он погубил ее жизнь, и ему будет так же противно и страшно.

Ее мать хотела верности и любви. Лоранс хочет денег и замужества с каким-нибудь графом или герцогом, как все. Чего же ей еще хотеть? Это естественно. И она станет его врагом. Он смотрит на нее, он не любит ее, он совсем не знает ее, и все-таки ему неприятно, что она скоро возненавидит его, он уже сам почти ненавидит ее за ее будущую ненависть к нему, за свое будущее унижение перед ней. Она скажет: «Ты испортил мою жизнь. Я тебя ненавижу». Хорошо еще, что она молчит сейчас.

Лоранс чувствует на себе взгляд отца. Она робко улыбается ему, улыбкой прося у него прощения за то, что она не знает, что сказать ему, за то, что она не любит его. Не любить отца — это кажется ей безнравственным, преступным, это мучает ее. Но как полюбить такого чужого, самодовольного, удачливого отца? У нее еще нет ясных мыслей и взглядов на жизнь, у нее только ощущения жизни и зла мира, смутное чувство ответственности. Ответственности за все — за нищего на углу, за крушение поезда, за раздавленную чужим автомобилем собаку, даже за дождь. Вечное чувство вины перед всем. И недовольство своей судьбой и богатством своего отца. Главное, недовольство богатством, ненависть к богатству, полное отталкивание от всего, что дорого стоит. В детстве не исполнившаяся мечта о заплатанных локтях, о заштопанных чулках, о дешевом волчке. Игрушки сыпались на нее с механической точностью, очень дорогие, очень сложные и нелюбимые. Главное, куклы, дюжины кукол. Платья, и шубки, и башмаки были постоянно новые, к ним даже нельзя было привыкнуть, сжиться с ними. Едва только какая-нибудь шляпа или перчатки теряли безличность, как их уже выкидывали, заменяли новыми. Богатство казалось стеной, отделяло ее от настоящей жизни. Там, по ту сторону стены, люди трудятся, борются за существование, — но она выросла в богатстве. Тень этого богатства легла черным пятном на ее детскую душу. У нее было целых две враждовавшие между собой гувернантки. Лоранс казалось, что они только притворялись, что враждуют. Что на самом деле гувернантки были союзницами против нее, Лоранс, их

общего врага. Но так как Лоранс была не только врагом, но и средством для существования гувернанток, то вступить с ней в открытую войну нельзя было и понадобилось изобрести тактику взаимной вражды, прикрывая ею общую ненависть к Лоранс.

Потом, когда она поступила в лицей, богатство еще тяжелее стало давить ее. «Зачем ты зубришь? — спрашивали подруги. — Тебя и так не посмеют провалить на экзамене. И на что тебе диплом? Ведь ты богата, тебе не придется работать. Ты могла бы не быть такой хорошенькой и все-таки прекрасно устроить свою жизнь. При твоём богатстве ничто не имеет значения». Да, ничто не имело значения, только деньги ее отца. Она была дочерью, наследницей Герэна. Больше ничем. Сама по себе — ничем. Ее не замечали. Богатство прятало ее, как чадра турчанку, от чужих глаз. Никому не было дела, умна она или глупа, добра или зла. Ей льстили, ей угождали из-за денег ее отца. Она стала скрытной и застенчивой. Подруги смеялись над ней: «У тебя от богатства развился комплекс малоценности». Она стыдилась богатства, как стыдятся бедности — стыдилась своих дорогих платьев, автомобилей, скаковых конюшен отца и этого дома. В шестнадцать лет у нее не было ни кокетства, ни желания нравиться. Только желание остаться по-прежнему незамеченной, не обращать на себя внимания.

Она ненавидела свою внешность. Хорошенькая. Отвратительное, пошлое слово, которым ее часто награждают на улице прохожие. Если бы она была уродом или красавицей. Богатые могут быть только или красавицами или уродами. А такие, как она, теряют последнее от богатства, становятся смешными. Она чувствовала это, и боязнь стать смешной делала ее еще более робкой и растерянной.

Весной она кончила лицей. С тех пор она живет, ничем не занимаясь, ничего не желая, никого не любя. Учиться дальше она не захотела. К чему? У нее нет никаких особых способностей. Она не музыкальна, она посредственно рисует. Из всего этого не может выйти толк. Настоящих подруг у нее нет. Единственное, что нравится ей, — это плавание. Но нельзя же целый день проводить в бассейне. День длинный, одинокий, пустой. Ей хочется работать, но чтобы работа действительно приносила пользу, а не так, зря. Быть бедной. По ночам она мечтает о счастливой бедной жизни. Они живут с отцом в маленькой квартирке. Она служит дактило. Вечером, возвращаясь домой со службы, она покупает отцу папиросы и шоколад. Он сам отворяет ей дверь... он ждет ее... он целует ее. Он больной, он старый, он уже не может работать. Как он бла-

годарен ей. Что бы он стал без нее делать? Она вынимает из кармана папиросы, шоколад. Она бежит на кухню, надевает передник, жарит яичницу, ставит на покрытый пестрой клеенкой стол литр красного вина, и они весело обедают. Весело, а не так, как сейчас, в этой огромной мрачной, торжественно-сучной столовой.

— Тебе звонила Людмила Дэль? — спрашивает Лоранс.

Людмила Дэль — самая восхитительная женщина на свете. Лоранс видела ее на скачках. Она стояла рядом с Ривуаром в горностаевой шубке. У нее был такой нежный и гордый вид, она была похожа на Снегурочку. Лоранс ничего не видела в тот день — ни скачек, ни публики. Только ее — Людмилу Дэль.

— Да, — отвечает Герэн, — Людмила Дэль звонила мне. Она завтра едет в Венецию и хотела проститься.

— В Венецию?

Лоранс старается представить себе эту прелестную Людмилу на венецианской площади, среди голубей.

— Это правда, что она бросила мужа для Ривуара?

Герэн морщится.

— Что за вздор. Глупые сплетни. Да, она разошлась с мужем, совместная жизнь мешала ее карьере. Ривуар, конечно, влюблен в нее, но она не обращает на него внимания, — по его словам выходит даже, что если Люка кем-нибудь интересуется, так это им, Герэном.

Лоранс слушает.

— Ах, она так нравится мне. Нельзя ли когда-нибудь пригласить ее к нам?

Герэн кивает.

— Конечно, можно, когда она вернется из Венеции.

— И ты думаешь, она действительно придет?

Лоранс краснеет. Неужели Людмила Дэль может прийти к ним? Она, окруженная влюбленностью, поклонением, у которой каждая минута на счету, найдет время для них? И она будет сидеть здесь?

От одной этой мысли эта ненавистная столовая как-то вся преобразается, уродство скуки, лежащее на стенах и на предметах, превращается в прозрачную тень, будто сияние прелести Людмилы Дэль уже осветило все кругом. Она войдет в этот дом, она будет сидеть здесь. На минуту это кажется Герэну совсем возможным. Она войдет в этот дом навсегда. «Вы очень нравитесь мне», — сказала она.

Герэн смотрит на Лоранс улыбаясь.

— Конечно, придет, — говорит он ей и себе. Мысль о Люке связывает их. Они взволнованы, на минуту они почти близки друг другу. Сейчас Лоранс могла бы подойти к отцу, поцеловать его, и он нежно ответил бы на ее поцелуй.

Дверь отворяется, входит лакей.

— Госпожа Дэль у телефона.

Герэн быстро отодвигает стул и встает. Но перед глазами, как большой сверкающий паук, перебирая бриллиантовыми лапками, пробегает брошка. Брошка, которой нет, которую нельзя достать.

— Скажите, что я вышел, — говорит Герэн и снова садится.

— Папа, — вскрикивает Лоранс, но, взглянув на его побледневшее лицо, прикусывает губу. Больше до конца обеда они не говорят ни слова.

Герэн снова возвращается в кабинет. Слуга докладывает, что на чердаке поймалась мышь. Прикажете принести?

— Да, принесите, — вот сейчас поохотится Гаргантюа, сейчас повеселится.

Слуга возвращается с мышеловкой. Маленькая дрожащая мышь испуганно жметя к проволочной стенке. Она смотрит на Герэна затравленными круглыми, звериными глазами, уже сознавая, что спасенья нет. И вдруг он снова вспоминает Люку. Так, совсем такими же затравленными глазами, она посмотрела на него, садясь в автомобиль. Это длилось только мгновение, она сейчас же улыбнулась и закрыла глаза, и он сейчас же забыл ее взгляд, но это был совсем такой же взгляд — затравленный, ожидающий гибели. Он быстро открывает дверцу, выбрасывает мышь на ковер. Серая черточка, как серая молния, мелькает на ковре, и мыши нет.

Второй лакей приносит кота.

— Опоздали к угощению, — насмешливо говорит Герэн коту. Он со злостью смотрит на кота, с той же злостью, которую он весь день испытывает к себе, будто он и кот чем-то связаны, в чем-то виноваты. Кот нервно обегает кабинет, обнюхивает мышеловку, и вдруг случается то, чего никто: ни лакей, ни кот, ни Герэн — ждать не мог.

— Прочь, — кричит Герэн и отбрасывает ногой его, Гаргантюа, единственного, дорогого.

И кот, оцетинившись, летит в угол, как огромная белая пуховка, и ударяется о кресло.

— Уберите его, — приказывает Герэн лакею, даже не взглянув на кота.

Люка открывает глаза и тихо зовет: «Тъери». Но Тъери нет. Она лежит на плоту, на доске, она плывет по зеленым волнам, и ветер дует ей в лицо. Как она очутилась здесь, на плоту? Кораблекрушение? Но о кораблекрушении она ничего не помнит. И где Тъери? Она вспоминает свой разговор с Герэном, и зеленые волны становятся ковром на полу. Ни ветра, ни плота больше нет. Но почему она упала в обморок? От боли, от обиды на Герэна? Она перенесла столько горя от Тъери, а вот обида от чужого человека и обморок. Она медленно встает. Нет, это не обида, это болезнь. Но ей нельзя болеть перед Венецией. Она сейчас же поедет к доктору. И она едет.

Через час она возвращается к себе. Она широко отворяет дверь, осторожно переступает порог, садится на диван, кладет подушку за спину. И улыбается. Как легко, как чудно все устроилось, а она уже начинала отчаиваться. Теперь надо только дождаться встречи с Тъери. Теперь он вернется к ней. И навсегда.

Она осторожно встает и подходит к зеркалу. Как жаль, что еще не видно, что надо будет сказать Тъери, что не он сам догадается. Нет, она не боится уродства, она не боится боли — раз эта боль, это уродство вернут ей Тъери. Вернут? Уже вернули. Тъери только не знает еще. Но они уже снова связаны так, как еще никогда не были связаны. Связаны их сыном.

— У нас будет сын, Тъери, — говорит она вполголоса и тихо смеется. — Подумай, твой и мой сын.

А она хотела поймать Тъери на ревность, как рыбу на приманку. О, какая глупая. Это тебе не брошка, не приманка. Это твой сын. И Герэн с его брошкой больше совсем не нужен. Она позвонит ему, она скажет ему. Она не хочет его видеть, но она хочет, чтобы он знал. Конечно, ей немного стыдно за истерику по телефону, стыдно и смешно. Она вызывает его номер. И ждет. Лакей отвечает, что Герэн вышел.

Она вздыхает. Ей так хотелось сказать: «Вы знаете, у меня будет ребенок». Впервые кому-то сказать про своего ребенка и этим как бы приблизить срок его рождения, утвердить его жизнь. Но так, может быть, еще лучше, она впервые скажет Тъери. Тъери первый узнает. Хоть и трудно, она будет молчать пока. Только с собой она будет говорить о своем сыне. Теперь ей больше не скучно одной. Да она уже и не одна теперь. Их уже двое, она и ее сын. Он тут, с ней, в ней.

Телефон звонит. Это, должно быть, Герэн. Но это не Герэн. Это Давиз. Люка не забыла, что они завтра едут в Венецию? Конечно,

нет. А не хочет ли Люка присоединиться к ним? Они все, путешественники, решили провести сегодняшний вечер вместе. Но Люка благодарит, Люка отказывается. Она ляжет пораньше, чтобы хорошенько выспаться перед дорогой. Тогда до завтра. Спокойной ночи.

Люка вешает трубку. Если бы Давиэ позвонил днем, когда она была несчастна и одинока. Так всегда бывает — богатым дают, от бедных отнимают. Все, даже лысого Герэна. Теперь Люка сама богатая, оттого ее и приглашают. Но ей не нужны теперь эти чужие лица и чужие голоса. Ей хочется побыть одной, чтобы хорошенько понять, свыкнуться, сродниться с радостью и ожиданием.

Она сидит в кресле, сложив руки на коленях, сосредоточенная, серьезная, улыбающаяся, переполненная ощущением чужой жизни в себе. Она долго сидит, глядя на зеленые складки оконной занавески, на полуувядшие розы, подаренные Герэном. Она думает о Тъери, о встрече с ним. Она раскачивается из стороны в сторону, убаюкивая себя и своего сына, прижимает руки к груди и вдруг тихо, нежно и жалобно начинает напевать детскую песню:

Был у Христа Младенца сад...

Когда Люка на следующий день приезжает на вокзал, Давиэ уже ждет ее на перроне.

— Я беспокоился, что вы опоздаете, что вам трудно будет уложиться. Я хотел заехать за вами.

Они входят в вагон. Все уже в сборе. Люка знает их всех. Они вместе с нею играют в фильме. Арлетт Арвиль, ее соперница и предательница. Клод Гар, ее любовник. Жермена Жиль, ее сестра по фильму. Они все такие молодые, веселые. И как они много смеются — по всякому пустяку, без всякого пустяка смеются. Они как школьники, отправляющиеся в экскурсию. Без взрослых. Взрослый — Тъери. И Арлетт говорит:

— Хорошо, что Ривуар уехал вперед.

— Почему хорошо? — недоумевает Люка.

Арлетт краснеет и не отвечает. Да, они очень веселы. И Люке тоже становится весело. Она смеется вместе с ними. Они очень нравятся ей. Она работала с ними целую зиму и совсем не знала их. Они казались ей шумными, вульгарными, а они просто веселые, милые, молодые. И совсем не злые, не завистливые, как говорил Тъери.

Давиэ смотрит на нее.

— Вот вы какая. Вы казались мне такой сдержанной и гордой.

— И противной, — быстро добавляет Арлетт. — Да, Дэль, не сердитесь. Мы все вас терпеть не могли. А вы премилая. Хотите, будем друзьями?

Наивное «хотите, будем друзьями», протянутая рука, совсем как когда-то в школе. И Люка, пожимая протянутую руку, говорит совсем как когда-то в школе:

— Ужасно хочу. Со всеми вами хочу.

На ночь переходят в спальный вагон. Место Люки в одном купе с Арлетт, и это очень приятно. Так хорошо, что не надо расставаться с этим новым милым другом.

Арлетт долго возится возле умывальника, потом поворачивается к Люке.

— Как эта штука открывается?

Но Люка тоже не знает.

— Я никогда не путешествовала так роскошно, — сознается она. — Надо спросить у проводника.

— Нет, только не у проводника. Он сейчас же поймет, что мы за птицы и в каком классе привыкли ездить. Я позову Жермену.

Жермена, уже успевшая надеть китайский, расшитый драконами халат, открывает умывальник, гордясь своей опытностью.

— Вот, дети, учитесь жить. Видите, как просто. Я была еще гораздо наивнее вас три года тому назад. Даже войти в вертящуюся дверь не умела — совершенный увалень, — и она, смеясь, уходит к себе.

Люка уже лежит, но Арлетт еще вертится перед зеркалом, ощущает все, проводит рукой по полированному дереву.

— Как красиво. Я так ждала этой поездки. А вы?

Люка кивает.

— И я...

Конечно, она ждала не этого. Нет — вдвоем с Тъери. Горы, солнце, коровы, снег, шоколад и Тъери, Тъери, Тъери сквозь солнце, горы, шоколад, Тъери плечом к плечу, молчаливый, веселый, усталый. Днем и ночью вдвоем, в Венецию, к крылатому льву.

Но стоит ли объяснять Арлетт? Арлетт довольна всем: «Восхитительное путешествие». Она садится на диван к Люке и, хотя Люка ни о чем не спрашивает ее, рассказывает сразу всю свою жизнь. Все. С самого начала, откровенно, доверчиво, бесстыдно. Как она прежде была манекеном, и с каким трудом стала статисткой, и как наконец ей дали «хвостик роли». Все. И все свои любовные ошибки. «Оттого что любовь всегда ошибка, когда пройдет». Теперь она влюблена в Давиэ. Но она не обманывается — и Давиэ

станет ошибкою когда-нибудь. Но сейчас с ним очень хорошо. Она наклоняется и целует Люку.

— А вы, маленькая Дэль, вы счастливы?

— Да, — отвечает Люка серьезно, — я счастлива, — и закрывает глаза. — Спокойной ночи, Арлетт.

Свет гаснет. Спать спокойно, лежать удобно. И какие прелестные сны снятся в путешествии пассажирам спального вагона. Утром, выспавшиеся, в новых дорожных костюмах, они снова перебираются в свое купе. Жермена, Клод и Давиэ стоят у окна. Клод уже бывал в Швейцарии, он дает объяснения и как дирижер управляет восторгами остальных: «Вот сейчас изумительный вид...» Но Люка не хочет смотреть на Швейцарию одна, без Тъери. С Тъери, когда поедут домой.

— Отчего вы не смотрите в окно? — спрашивает Давиэ.

— У меня кружится голова от мельканья, — объясняет она и поворачивается к стене.

— Хотите, — предлагает Клод, — я, как спикер в радио, буду вам рассказывать все, что вижу?

Нет, Люка не хочет.

— Спасибо, но я боюсь, что меня даже от этого укачает.

Она закрывает глаза. Швейцарию она увидит с Тъери. После того, как она встретится с Тъери, после того, как она скажет ему. Ей вдруг становится страшно. А что, если доктор ошибся и у нее не будет сына? Но в эту же минуту, как успокоение, как обещание, ее начинает мутить, и она выбегает в коридор с побледневшим от тошноты и радости лицом.

Когда она возвращается к купе — полутьма, все шторы опущены.

— Ничего, мы лучше постоим в коридоре, — говорит Давиэ, — только бы вам не было дурно.

— Нет, нет, откройте, — просит Люка, — мне совсем не мешает. Я лягу, я усну.

Ее покрывают теплым пледом, ей подкладывают подушку под голову.

— Спите, спите, вы такая слабенькая. Вас замучил этот Ривуар. «Конечно, замучил. Но все теперь в прошлом. Теперь он будет нежным и добрым».

Она улыбается.

— Вы не любите Ривуара?

— Терпеть не могу, — отвечает Арлетт. — Как и все.

Люка краснеет.

— Исключая меня.

Неловкость, молчание. Арлетт наклоняется над лежащей на диване Люкой и целует ее в щеку.

— Простите меня.

И все опять смеются. В окне горы, солнце, водопад. Все это она должна была видеть с Тъери в четыре глаза, но своими двумя глазами она отказывается смотреть.

Она не хочет спать, она хочет только помолчать, помечтать о Тъери и о своем сыне. Она притворяется спящей. Они говорят шепотом, они не мешают ей мечтать. «Ривуар», — вдруг, как камешек, падает в озерную гладь ее мечтаний, и вот уже большие круги расходятся от этого шепотом произнесенного «Ривуар». Она боится услышать что-нибудь, чего уже нельзя будет забыть, чего она не сможет простить, что навсегда нарушит их дружбу с нею. Она потягивается, она трет кулаком глаза.

— Мы скоро приедем?

— Теперь уже скоро. Сейчас итальянская граница.

Италия... Венеция. На вокзале никто не ждет их. Гондола, каналы, крылатый лев. Все это не имеет никакого значения. В отеле Люке и Давиэ подают телеграммы: «Приеду четверг. Неожиданная задержка. Продолжай работу с Давиэ». В четверг, а сегодня понедельник. Три дня, еще три дня надо ждать. Лакей вносит багаж, Давиэ, как флагом, размахивает телеграммой.

— Поздравляю. Ривуара ждать не надо. Крутить будем без него. Поздравляю вас всех.

Он поздравляет всех, значит и ее, Люку. С тем, что Тъери не приехал.

Это Венеция. Это площадь св. Марка. Это венецианские голуби. Это крылатый лев. Все, о чем она так много мечтала, копя, складывая мечту на мечту, как рубашки в бельевом шкафу — стопками, перевязанными ленточками. И вот венецианские булжники под ее ногами, венецианские голуби на ее плечах, золотые крылья венецианского льва в голубом небе над ней. Все, как рассказывал Тъери. Венеция... Конечно, это Венеция, как на картинках и в рассказах. Но без Тъери жизнь не жизнь и Венеция не Венеция. Нет, она не пойдет с остальными пить кьянти и есть фрутти-ди-маре, она устала, она ляжет. Она не посмотрит даже в окно. Ей немного стыдно своего равнодушия, своего нелюбопытства. Ей кажется, что Венеция всем своим прошлым, всей своей славой и великолепием, дворцами, картинными галереями, всеми своими гидами и туристами упрекает ее. Даже тенями Жорж Занд и Мюссэ.

— А мне неинтересно, — признается она. — Мне неинтересно все, что не Тьери.

Надежда на то, что сын вернет ей Тьери, нет, уже не надежда, а уверенность. Нет, не уверенность, а он сам, ее сын, ведет ее за руку по площадям, по садам Венеции навстречу Тьери. Навстречу Тьери, в гондоле, по черным ночным поющим каналам, по тревожным снам, навстречу Тьери.

«Кончайте фильм без меня», — телеграфировал Тьери. И начинают работать.

— Мы ему покажем, когда он не мешает, — говорит Давиэ десять, двадцать, сто раз подряд. — Мы ему покажем.

Люка впервые работает без Тьери, без его указаний, без его холодных глаз, без знакомого чувства послушания, покорности, полного отсутствия себя. Без ощущения собаки на цепи. Нет, она не может работать без него, она даже не может двигаться — она упадет, она как калека, у которого отняли костыль. С Тьери она ни о чем не думает, ничего не чувствует. Он думает, он чувствует за нее, и она только старается как можно точнее передать то, что он желает. Но с Давиэ она совсем свободна, она захлебывается в свободе, в неумении быть самой собой. Она смотрит на Давиэ, но Давиэ не замечает ее растерянности, не протягивает ей руки, не бросает ей спасительного пояса. Тони как хочешь. И она тонет, она идет ко дну.

Она говорит слова, которые должна говорить по роли, она делает жесты, которым ее обучили, так, как при Тьери, только хуже еще, гораздо хуже. И Давиэ не помогает ей, не обращает внимания, как плохо, как невозможно плохо она играет. Она говорит: «Я умираю оттого, что слишком люблю тебя, Жак». И вдруг чувствует, что это действительно правда, что она умирает от любви, что все слова, которые она говорит, ей сейчас действительно необходимо сказать, что она говорит их сознательно. Она умирает оттого, что больше не может жить, оттого, что ей ничего не останется, как умереть.

«Жак... — она поднимает руки, чтобы сложить их заученно-уловно-умоляюще, но руки вдруг сами вцепляются в рукав Клода с безнадежным желанием удержать его. А Люка уже убеждает, унижается и грозит всеми словами своей роли, не оглядываясь на Давиэ, не слыша своего голоса, не чувствуя ничего, кроме страха разлуки. — Если ты уйдешь...» Она встает, она бежит за ним, она становится на колени перед ним. Нет, она уже не боится упасть, ее движения смелы и легки, она все может сейчас. Ей стоит только

поднять руку, чтобы достать с неба звезду. Но ей не нужна звезда с неба, ей нужна любовь этого Жака, ей нужно умереть из-за этой любви. Она падает на диван, она сбрасывает подушки на пол, она плачет. Да, она действительно плачет. Настоящие слезы текут по ее лицу. Она впервые испытывает желание умереть. Но ведь ей никогда не приходила в голову мысль о самоубийстве. Никогда. Несмотря на всю любовь, на все горе. И вдруг от фальшивых слов роли, которые она говорит на плато такому же актеру, как она, она чувствует, что действительно может, действительно хочет умереть. И, увлекаемая, захлестнутая неожиданным вдохновением, заставляющим ее чувствовать и переживать то, что она с предельной правдивостью говорит сейчас, она все-таки смутно, краем сознания думает о Тъери, о своей любви к нему. Почему она никогда не хотела умереть за него? Неужели она недостаточно любит его? Любит меньше и хуже, чем эта женщина, которую она сейчас изображает? Среди декораций и бутафорских слов от этих слов и этих декораций она вдруг понимает, что можно любить еще больше, еще тяжелее. Как будто вывернутая наизнанку перчатка. Не жизнь помогает играть роль в фильме, а игра в фильме проясняет ее жизнь. Она еще научится по-настоящему любить Тьерри. Но обо всем этом она думает смутно, не мыслями, а разлетающимися складками своего широкого платья, декорациями, режущим светом ламп, сквозь безошибочную точность вдохновения.

Это действительно вдохновение, все, что она говорит, все, что делает. Слова сейчас же вызывают нужные чувства, жесты, выражение лица. Ошибиться нельзя. Слова сейчас же воплощаются в жизнь. Вот она поет на сцене и чувствует всю головоломную путаницу страха, провала, сомнений, жажды славы, уверенности в себе, победы. Все, чего она желала когда-то, когда еще была женой Павлика, когда еще не знала Тъери и только неясно мечтала о блестящей судьбе. И вот свершилось — она стоит на сцене, она поет, и букет роз падает к ее ногам как знак восхищения ею и ее судьбой. Все, чего она ждала, о чем мечтала. Все, что не нужно ей теперь. Все, что нужно теперь этой изображаемой ею женщине. Нет, не все. Не только розы у ее ног и аплодисменты. Ведь эта женщина поет в последний раз в жизни.

И вот уже Люке действительно кажется, что она поет в последний раз, что она прощается с жизнью. Она плачет от жалости к себе, от страха смерти, оттого, что другого выхода нет. Она поет отчаянно и страстно, так, как петь нельзя.

Она поет. Но разве пение этот стон, этот крик, это захлебывание в слезах? Она прислушивается к своему голосу. Значит, так поют перед смертью? Так прощаются с жизнью? Ей бы никогда в голову не пришло, что именно так. Но в том мире правды и вдохновения, в котором она сейчас поет, движется и живет, невозможны ни ошибка, ни фальшь.

Они крутят весь день почти без перерыва. Это чудо, этого нельзя пропустить, Давиэ смотрит на Люку усталыми восхищенными глазами. И Люка устала, как устали все. И все-таки работа продолжается до ночи. Наконец, кончают, возвращаются в отель. Восторги Давиэ совершенно необычайные, какие-то воинственные.

— Я всегда догадывался, что вы талантливы, что Ривуар губит, связывает, обезличивает вас, но чтобы вы были до того, до того... Они все еще увидят, кто вы. Вызов Тъери, вызов всем остальным «звездам».

Арлетт самозабвенно целует Люку, будто на свете не существует актерской зависти и соперничества. Слишком много восторгов. У Люки болит голова, но как она довольна, как горда. И Тъери тоже будет гордиться ею. И когда-нибудь ее сын тоже будет гордиться.

Вечер, теплый, настоящий венецианский вечер проводят все вместе на площади св. Марка за столиком с пестрым фонарем. Золотые крылья льва в черном небе, пение гондолеров.

Они все как будто влюблены в Люку. Они ревнуют ее друг к другу, стараются развлечь ее, заставить ее улыбнуться.

— Это жестоко, бесчеловечно так мучить, утомлять вас. Но вы еще постарайтесь из последних сил. Я боюсь, что завтра...

— Да, да, — соглашается Люка, — я тоже боюсь. Вдруг я завтра буду опять бездарна, как всегда. Пожалуйста, будем продолжать.

И они продолжают. Два дня с утра до ночи. Но вот наступает конец. Люка снимает грим в своей уборной и ошалевшими глазами смотрит на себя. За эти три дня она прожила еще целую жизнь. Целую чужую жизнь параллельно со своей жизнью. И это, пожалуй, было слишком много для нее, она чувствует себя опустошенной, выпотрошенной, слабой, легкой. Одной оболочкой, как проткнутый воздушный шар. Если бы ее на руках отнесли в гондолу, в отель. Но надо самой встать со стула, самой идти. Арлетт и Давиэ ведут ее под руки, как больную. У Арлетт красные веки — она плакала, глядя на игру Люки в последней сцене. Но ведь все устроилось, остались только красные веки и усталость. Все чудесно устроилось для той женщины. И для Люки.

Они плывут в гондоле втроем. Такого восхитительного покоя Люка уже давно не испытывала. Как будто с концом фильма кончилось все ее волнение. Конец. Пустота и восхитительный покой. Огни фонарей отражаются в канале. Песнь гондольера смешивается с разговорами. О ней. О Люке. Да, гондольер поет о ней и «вы будете мировой знаменитостью, лучше Бергнер, лучше Гарбо» — это тоже о ней. Слушать это очень приятно. Слушать и ждать приезда Тъери. Завтра он вернется.

— Я хотела бы, — медленно говорит Люка, — я хотела бы поехать сейчас в какой-нибудь замечательный сад. В отеле слишком шумно и нарядно.

Но Давиэ не согласен.

— Вы сейчас же должны лечь. А сады успеете осмотреть. Ведь вы кончили, а мы еще будем крутить здесь целую неделю.

Люка не спорит, но ей не хочется возвращаться в отель. Ей хочется еще продлить это скольжение по каналу, этот покой.

Гондола останавливается. Они неумело и неловко высаживаются, они входят в отель. Посреди холла под яркой хрустальной люстрой стоит Тъери. Совсем такой, каким она увидела его в первый раз — во всем величии и славе. Похожий на архангела, окруженный сияньем. С огненным мечом в руке. Люка хочет крикнуть, хочет броситься к нему. Но он делает шаг к ним, и она останавливается, она пропускает остальных вперед. Он здоровается с нею последней.

— Добрый вечер, — говорит он просто, — я приехал на день раньше, чем думал.

И она отвечает ему.

— Добрый вечер.

Сразу, перебивая друг друга, все начинают рассказ о чуде, о Люке, об ее игре. Преувеличенно, почти в библейских тонах, будто о воскрешении Лазаря или Кане Галилейской.

— Лучше Дузэ. Вы ее не узнаете, это чудо.

Тъери слушает, покачиваясь на каблуках.

— Удивительно, — говорит он и закуривает папиросу. — Лучше Дузэ? Кто бы мог думать?

Его блестящие глаза насмешливо щурятся.

— Поздравляю вас, — и он кланяется Люке.

Из лифта выходит высокая женщина в черном вечернем платье. Где-то, когда-то, может быть на экране, но Люка уже видела это белое лицо, эти черные узкие глаза, эти черные гладкие волосы. Люка вспоминает белую борзую на берегу пруда, белого лебе-

дя на воде и ее, Терезу Кассони, одновременно похожую на борзую и на лебедя, ее, с которой они обедали в первый вечер жизни Люки. Она подходит, она кланяется, сгибая высокую шею, она протягивает Люке белую тонкую нежную руку. Она становится рядом с Тъери, совсем близко, плечо к плечу, так уверенно, будто это ее место. Она стоит с ним рядом и с улыбкой смотрит на остальных. Будто два лагеря — она с Тъери и другой, в котором Давиэ, Арлетт, Люка. Два враждебных лагеря.

Тереза Кассони объясняет.

— Я случайно приехала сюда, и какая удача. Первый, на кого я наткнулась, был Тъери.

Пауза, маленькая неловкость. Никто не спрашивает — откуда она приехала, куда едет.

Пора обедать. И все идут в ресторан. За столом Люка все-таки сидит рядом с Тъери, как всегда прежде. Она смотрит на него. Он загорел, у него усталое лицо. Ей кажется, что он совсем не рад ее видеть. Но ведь он еще не знает. Она пододвигает свое колено к нему, и ее колено начинает дрожать. Она не может есть. Она спрашивает: «Хорошо было в Швейцарии?» Самый банальный вежливый вопрос. Но этого, по-видимому, говорить не следовало. «Очень», — коротко отвечает Тъери нахмурившись. И Тереза Кассони кивает, будто и ее спрашивала Люка о Швейцарии: «Очень».

Давиэ пьет за карьеру Люки, за ее талант, и все чокаются. Люке приятно, что ее хвалят при Тъери, хотя он почти не слушает. «Мы, путешественники, — говорит он, — устали». «Мы» — это Тъери и Тереза, но сегодня же «мы» опять станет Тъери и Люка. Когда он узнает.

Тъери улыбается своей электрической улыбкой, Тъери говорит. Люка слушает. Это совсем обыкновенные, простые слова, но они рассыпаются, как зерна, они катятся по столу, она не понимает их, не может составить из них фразу. Золотое крыло льва, осколки тоски по Тъери, уже непригодной тоски, раз Тъери здесь, зеленый обрывок надежды, как лист салата и коралловый клубок макарон на тарелке. Все вместе полная неразбериха. Больно? Нет, не больно. И не грустно. Но и не весело. Или, может быть, и больно, и грустно, и весело, все сразу. Неразбериха. Голос Тъери раскалывает мир как землетрясение, превращает все в первобытный хаос, тишину и мрак. И над этим хаосом и разрушением сияет его улыбка, его бессмертная улыбка. Только его улыбка. Ничего кроме его улыбки. Его улыбка сияет во мраке и тоске.

Теперь говорит Давиэ. О чем? Все о том же, о том, как она, Люка, удивительно играла, как удивительно пела. Он говорит, и Люка понемногу из щепок и разрушения восстанавливает мир вокруг себя, как в детстве строила дома из кубиков. Из груди чувств, мыслей, рук, лиц, стульев все возвращается на свои места, все правильно, все в порядке. Красный ковер покрывает пол, как ему и полагается. От встряски, от разрушения не осталось следа. Разве только все вокруг стало немного яснее, гармоничнее, свежее, как сад после дождя. Люка ест макароны, пьет вино. Говорить она еще не может, но никто не замечает этого.

После обеда выходят на площадь, садятся в гондолу и слушают пение гондольеров. Люка, Тьери и Тереза — в одной гондоле. Пение смешивается со светом фонарей, с водой канала. Гондолу тихо покачивает. Волна надежды, волна тревоги, волна тошноты. Нет, нет, только бы не тошнило. Пение, тяжелое и сладкое, как масло, ложится на волны, и волны успокаиваются — ни надежды, ни тревоги, ни тошноты. Холодно. Люка дрожит. Холодно, тяжело. И когда же это все кончится, когда она сможет, наконец, сказать Тьери: «У меня — у тебя будет сын»? Неожиданно Тереза становится на минуту союзником.

— Я устала, — вздыхает она. — Ах, как устала.

Гондола причаливает. Они втроем входят в отель. Лифт сначала останавливается для Люки, она живет в первом этаже.

— Доброй ночи, — говорит Тереза.

— Доброй ночи.

Люка кивает Тьери и бежит по коридору в свою комнату.

Она переодевается в костюм юнги, надевает фуфайку с вышитым на груди якорем. «Якорь надежды символ». Сим-вол. Вол надежды. Да, терпеливый вол... Сколько терпения! «Счастье — это долгое терпение»... Где, когда читала она это? Какой вздор. Сейчас кончится горе, кончится, не может не кончиться, сейчас она перешагнет порог, отделяющий горе от счастья. Но почему она так волнуется? Она снова выходит в коридор, она поднимается по лестнице — поднимается вверх, в рай, к Тьери. Как правильно, что его комната выше, что она должна подняться, а не спуститься к нему. Его дверь. Она на минуту останавливается, прислушиваясь, потом стучит и открывает дверь. Тьери стоит перед ней в длинном сером шелковом халате. На ночном столике горит розовая лампа.

— Это ты?

В голосе Тьери ни радости, ни досады — одно удивление.

— Разве ты не ждал меня?

Он не отвечает. Она подходит к нему совсем близко. Она наконец одна с ним. Он стоит перед ней прямой и неподвижный, чопорный, неестественно элегантный. Сияющая улыбка — как щит. Что за ней? Он улыбается, он молчит.

Розовый свет наполняет комнату, розовый отсвет ложится на его сведенное улыбкой бледное лицо. От этого оно кажется жестоким и веселым. Только кажется. Нет, она знает — он не весел, он не жесток. Она поднимает руку, она гладит шелковый рукав его халата, не решаясь поцеловать его руку.

— Я так ждала тебя.

И он объясняет, что не мог раньше, что его задержала мать. Неужели он думает, что она упрекает его?

— Теперь все хорошо, ты со мной, Тъери. Мне было тяжело, мне было страшно без тебя, Тъери.

Она говорит «страшно» и чувствует, что ей действительно было страшно, что ей и сейчас страшно. Она снимает руку с его рукава, она отступает на шаг.

— Мне надо что-то сказать тебе. Сядем на кровать.

— Нет, на диван, — говорит он.

Они сидят рядом на диване. Почему он не захотел, чтобы она села на кровать? Но она не спрашивает. Она отворачивается к открытому окну и, не глядя на Тъери, быстро говорит:

— У меня, у нас скоро будет ребенок.

И, помолчав, добавляет:

— Вот.

«Вот» — это начало несказанной фразы: «Вот ты теперь знаешь, и все хорошо». Теперь он будет радоваться, благодарить ее. В окно видна площадь, собор св. Марка и венецианская ночь. Она смотрит в окно, она ждет. Но ничего хорошего нет. На радость и благодарность тоже не похоже.

— Ребенок? Ты хочешь сказать, что ты беременна? — спрашивает он осторожно.

— Да.

Громкое, торжественное, непреложное «да», из категории тех «да», что произносят перед аналоем, под присягой.

— Ты уверена? — все-таки переспрашивает он.

— Я была у доктора.

Наступает молчание. Все совсем не так, как она ожидала. Молчание. Розовый теплый свет лампы. В окне голубой, холодный свет луны. Будто лампа живая, а луна искусственная. Слишком много света. Протянуть руку в окно, в небо, потушить луну. Но нет даже

сил потушить лампу. В темноте было бы легче ждать ответа Тьеры. И вот он наконец ответ Тьеры:

— Конечно, это очень неприятно. Но не отчаивайся.

Из всех возможных ответов, нет, даже из всех невозможных самый невозможный ответ. Только теперь она поворачивается к нему.

— Ведь это твой ребенок, Тьеры.

— Мой? — он встает, он отходит в темный угол комнаты, где нет ни света луны, ни света лампы. — Мой? Я совсем не уверен, что это именно мой ребенок. Но это не имеет значения, — ясно, тихо и очень вежливо объясняет он из темноты.

Да, он давно замечал, что Герэн... и теперь ему уже успели донести. Он ничего не имеет против — она свободна, так даже лучше. Но зачем приписывать ему чужого ребенка? Она смотрит на его черные туфли, мелькающие на розовом ковре. Так, совсем так он шагал в ту ночь, когда она рассказала ему про Веру. И опять: «Не отчаивайся. Терять голову нечего, я дам тебе адрес врача». Она открывает рот, как рыба на льду. Может быть, рыба тоже хочет кричать, только у нее тоже нет голоса. Она поднимает руку, будто отталкивая его слова.

— Я с удовольствием дам тебе денег на аборт.

Она шевелит губами быстро и беззвучно и вдруг хрипло кричит:

— Это твой ребенок, я никогда не изменяла тебе, Тьеры, это твой ребенок.

Теперь, когда вернулся голос, она уже не может молчать. Ее голос, как прорвавшая плотину вода, затопляет ее горло, ее разум, ее уши, всю комнату.

— Твой ребенок, никогда не изменяла...

Она зажимает рот рукой, она глотает крик. Снова тишина. Тьеры стоит около окна. За спиной его, в лунном небе, золотые крылья льва. Это Венеция. Тьеры говорит:

— Даже если правда, что ты не изменяла мне и это действительно мой ребенок, ты должна сделать аборт. Я не хочу иметь от тебя ребенка.

Розовый отсвет лампы на его лице. Нет, оно больше не кажется веселым, Подбородок дрожит, губы по-прежнему раздернуты в улыбку над сверкающими зубами.

— Ты все еще не понимаешь? Когда же ты поймешь? Ты мне противна, как жаба.

Он подходит к ней, он стоит перед ней, глядя на нее сверху вниз блестящими, оскаленными, стеклянными глазами.

— Я думал, что ты приносишь счастье, я верил в тебя. Ты обманула меня. Ты проклята, тебя прокляла умирающая. Ты приносишь несчастье, позор, разорение. Ты играла в моей картине, и она провалится. Я разорюсь. Я боюсь тебя...

Он наклоняется к ней. Сейчас он схватит ее за горло, сейчас он задушит ее. Но он кричит высоким истерическим криком:

— Я тебя ненавижу, отцепись от меня, наконец.

Дверь без стука открывается — Тереза Кассони в облаке духов и перьев с длинным треном входит, останавливается, оглядывается — совсем как на сцене.

— Тъери, что же ты? Я жду тебя, — и поворачивается к Люке. — Ах, простите, я кажется... — и не заканчивает фразы, совсем как на сцене.

Тъери хватается за галстук, поправляет его. Галстук идеально повязан, и это, должно быть, немного успокаивает Тъери.

— Ты напрасно не подождала у себя, Тереза.

Замешательство. Тъери говорит:

— Тебе, Люка, лучше всего уехать завтра. Прости меня, я, кажется, погорячился.

Люка молчит, Тереза Кассони смотрит на них.

— Объяснение? — произносит она нараспев и пожимает плечами. — Неприятно, но иногда необходимо.

Она поднимает руку, проводит ладонью по губам Тъери. Облако духов, шелка и перьев приходит в движение.

— Не улыбайся так отвратительно, Тъери. Перестань, слышишь? Как мертвец в гробу.

— Разве я улыбаюсь?

Тъери отстраняет ее руку, мускулы на его скулах сокращаются, улыбка вспыхивает еще ярче, почти нестерпимым сиянием, он двигает шеей, будто с трудом глотая что-то, и лицо его гаснет, веки закрываются, нижняя губа отвисает.

— Я сейчас запишу тебе адрес доктора.

Он достает перо, он записывает что-то на бумаге, и Люка берет эту бумагу из его руки.

— Конечно, я заплачу за аборт, ты не беспокойся.

— Вот оно что. Аборт? — перья, духи, шелк Терезы снова приходят в трепет и движение. — Ты зверь, Тъери, а вы, дорогая, слишком наивны. О таких несчастьях не рассказывают любовникам. Они этого не любят. Но Тъери все-таки зверь. Хуже зверя.

Люка встает, у нее достаточно сил, чтобы встать, чтобы пройти мимо Тъери и Терезы. Даже достаточно сил, чтобы сказать: «Я уеду»

завтра утром». Тьерри открывает перед ней дверь: «Прости меня, Люка», и он низко кланяется ей. Глаза Терезы вспыхивают победой. Она обнимает Люку широким торжествующим жестом: «Бедная, какая вы бедная», — почти поет она в дыхании духов и шелесте перьев. И нельзя понять, торжествует она победу или сочувствует побежденной. Люка, отстранив ее, выходит в коридор. Сил больше, чем она предполагала. Гораздо больше. Сил хватает даже на то, чтобы спуститься в свою комнату, чтобы дожидаться утра.

Утром, когда уже уложены чемоданы, приносят букет белых роз и письмо от Тьерри. Люка разрывает конверт — в нем пять тысяч и записка. «Прости меня. Непременно ложись в клинику сейчас же. Когда я вернусь...» Она рвет записку, так и не узнав, когда он вернется. Но деньги? От привычки к бедности осталось уважение к деньгам.

— Отнесите это сейчас в комнату Ривуара, — говорит она, передавая деньги лакею.

Лакей выносит чемоданы. Надо присесть перед отъездом. В добрый час... Она насмешливо качает головой. Добрый час. Все часы злые. Но она все-таки садится на стул, все-таки крестится. Цветы остаются лежать на столе. В холле пусто и пахнет мастикой, Швейцар кланяется: «Счастливого пути».

Утро. Венеция. В последний раз. Райски розовый дворец, райски голубая вода канала, узкая углая гондола и высоко занесенное над ее плечом длинное черное весло. О таком ли отъезде?.. Одна в черной, как гроб, гондоле, одна на вокзал. Венеция... Голубь пролетает над ее головой, почти задев ее голубым крылом. Венеция. Венеция. Венеция.

Она одна в купе. Это пассажирский поезд, остановка на каждой станции. Экспресс идет днем. Днем — значило встреча с Тьерри, с Терезой, с Арлетт. Днем — значило проводы, разговоры, нет, на это даже у нее не хватило бы сил. Она слушает. Она слушает стук колес и рычагов, слушает, сознательно напрягая внимание. Вот она уловила главный мотив, поймала его, и он петлями чертит узор в воздухе. Аккомпанемент — эти визги, лязги и вздохи.

Она не смотрит в окно, она смотрит прямо перед собой на залитую солнцем стену. Глухая стена, залитая солнцем, так она почему-то с детства представляла себе тоску. Но это не глухая стена. На ней тисненные обои, и зеркало, и два вида Рима, и сетка для багажа. Но, должно быть, поэтому все это нужно, что это уже не тоска, это отчаяние. Она не думает ни о стене, ни об отчаянии, она только чувствует отчаяние. Но чувство это так смутно, так далеко

от нее, оно не в ней, оно лежит в душном, темном пыльном углу под диваном купе, оглушенное, заглушенное лязгом колес.

Как медленно тянется время. За столом с жидкой пальмой в пустом буфете. Носильщик приходит за ней. Теперь уже до самого Парижа. Носильщик укладывает ее вещи в сетку и уходит. Так. Она опять одна, теперь уже никто не придет. Но дверь открывается. Путешественник в верблюжьем пушистом пальто садится у окна напротив. Он вытягивает ноги, поправляет черепаховые очки и вынимает серебряный портсигар.

— Вас не беспокоит? — спрашивает он, старательно, по-французски, с решительным желанием завязать разговор. Путешественник совсем как на плакатах «Посетите летом Шварцвальд». Такой же дорого-дорожно-одетый. Путешественник — тип. Люка кивает и отворачивается к окну. Поезд идет, колеса стучат, в окне — горы и озера, та Швейцария, на которую она не хотела смотреть без Тьерри. Теперь все равно, можно смотреть. Она смотрит в окно и все-таки не видит Швейцарии. Она видит только расплывающиеся в тумане обрывки, детали, подробности. Цветущий куст у дороги, ручей, отвесный склон горы и рекламу. Это не составляет пейзажа, картины в рамке дорожного окна, не доходит до сознания.

— Вам нехорошо? — неожиданно спрашивает сосед. — Не могу ли я помочь вам?

Помочь? Чужой человек предлагает ей помощь. Это так удивительно, что она оборачивается и смотрит на него. Чем помочь? В чем?

— Но вы плачете, — говорит он.

Она поднимает руку, проводит ею по лицу.

— Я не заметила, я не знала, что плачу. Это от усталости, — объясняет она. Она краснеет, ей стыдно.

— Я не спала всю прошлую ночь и перед этим много работала.

Зачем объяснять, какое ему дело? Но ему, по-видимому, есть дело.

— Нельзя так переутомляться, — у него серьезный, почтительный тон, он произносит слова твердо, с иностранным акцентом. — Какая у вас работа?

Она опять объясняет, что она кинематографическая актриса, что она кончила фильм в Венеции.

— Должно быть, забегались, осматривая все?

Она качает головой.

— Я ничего не видела, кроме студии и отеля. Ну и, конечно, площади св. Марка перед отелем.

— Вы француженка?

— Нет, я русская, но я выросла в Париже.

Ей хочется говорить и говорить, она так добросовестно отвечает, как на допросе, как на исповеди. И она говорит о поездке, о Швейцарии, которой она не знает. О Париже, которого не знает он. Это правдивые, спокойные, нейтральные темы, им можно довериться. И все же, просто от звука собственного голоса, составляя даже пустые фразы из самых безобидных слов, надо думать, а когда думаешь, нельзя не вспомнить того, что случилось ночью. И уже нельзя не чувствовать горе в голове, в сердце, в крови, а не бессознательно — где-то там, в пыльном углу купе, под диваном, под грохотом колес. У нее перехватывает горло, слезы опять текут по щекам, и глаза снова полны тумана. Но теперь она сознает, что плачет.

— Это от усталости, — всхлипывает она и вдруг поддается сверлящей жажде откровенности, — это от горя...

Но он, ее сосед, не слышит. Он встает, он хлопчет.

— Вам надо лечь. Сейчас все пройдет.

Он достает из чемодана шелковую подушку и, раздув щеки, наполняет ее воздухом. Очень старательно и очень забавно. Но Люка плачет и не может смеяться. Он кладет подушку ей под голову, покрывает Люку своим клетчатым пледом.

— Лежите, лежите. Я сейчас дам вам валериановых капель.

— Спасибо.

Он достает дорожную аптечку, отсчитывает капли в стаканчик. Из открытого чемодана падает русская газета. Он быстро наклоняется и прячет газету в чемодан, но Люка уже видела.

— Вы русский?

Она сбрасывает плед и садится на диван. Он молчит с минуту, потом будто нехотя соглашается.

— Ну да, конечно, русский.

— Отчего же вы сразу не сказали? — упрекает она.

— Оттого, что я боялся, что вы со мной разговаривать не станете. Выпейте раньше, о политических убеждениях потом.

Он протягивает ей стакан, и она послушно пьет.

— Спасибо. Почему вы думали, что я не захочу разговаривать?

Он лукаво прищуривается.

— Оттого, что вы — эмигрантка, а я из Москвы и возвращаюсь туда.

— Как я рада, — Люка протягивает ему руку. — И как я сразу не догадалась. Такой милый может быть только русский.

Он уютно садится, уютно разводит руками.

— За все путешествие ни с одним эмигрантом не столкнулся и очень жалел. Вот и послала судьба в последний день.

— Расскажите мне о Москве. Вы не уйдете?

— Куда же мне уйти? Я в Париж еду. Спите, а я вам почитаю, чтобы вы заснули. О Москве потом.

— Я очень несчастна, — признается она тихо.

И на этот раз он участливо принимает ее признание.

— Что так? Новой работы нет или денег?

— Нет, — вздыхает она, — из-за любви.

— Пустяки любовь, — поучает он. — Потом расскажете, если сном не пройдет.

Он достает из чемодана книгу.

— А теперь я читать вам буду.

Она вытягивается, кладет ладонь под щеку. Так когда-то ей читал Павлик перед сном. Это рассказ Зоценко, и это, должно быть, смешно. Но Люке совсем не смешно. Дело идет о несчастном человеке, его обманывают, его мучают. Люка снова начинает всхлипывать. Ей жаль героя рассказа, ей жаль себя.

— Я не могу, не читайте дальше. Слишком грустно. Какие все люди несчастные.

Он захлопывает книгу, он разводит руками.

— Ну и разнервничались же вы. Глупо у вас в Европе живут, — у него огорченное, добродушное лицо. — Что мне с вами делать прикажете?

Она вытирает глаза, она улыбается ему.

— Ничего не надо. Хорошо, что вы здесь. Как вас зовут?

— Михаил Николаевич, — отвечает он.

— Спокойной ночи, Михаил Николаевич. Я сейчас засну.

И она действительно сейчас же засыпает.

Когда она просыпается, он все так же, в той же позе, сидит на своем месте. Страх, пока она открывала глаза, что он только снился, напрасен. Он тут.

— Еле дождался, вставайте скорее, идем обедать.

Она поправляет костюм.

— Отчего вы меня не разбудили или не пошли одни?

Он пожимает плечами.

— Выдумали тоже. Куда же я теперь без вас? Теперь уже вместе.

Она смотрится в зеркало.

— Как я пойду, такая заплаканная?

— Вы можете себе позволить, вам все украшение, вы такая красивая, — он убежденно кивает, — такая красивая, даже неестествен-

но. У нас таких не делают, не научились еще. У нас проще, зато практичнее и крепче. Таких, как вы, у нас не найдешь. Европа.

Они идут по вагонам в ресторан. Коридор узкий. «Пардон, пардон», — говорит он, но это «пардон», как оклик «сторонись», и пассажиры, хотя никто из них никогда не слышал оклика «сторонись», инстинктивно прижимаются к стене, пропуская Люку. Между двумя вагонами, в гармонике, на трясущемся мостике, он крепко держит ее за локоть. Они на площадке, и дверь открыта. Ветер, пространство, грохот и скорость, как волны с палубы, готовы слизнуть их. Что, если поддаться им, если немного наклониться в этот грохот и ветер и дать себя слизнуть с площадки? Желание не касается ее, не задевает ее, оно, как дым паровоза, пролетает за стеклами окон. И все-таки если наклониться? Но она уже сидит за столиком и обсуждает меню. Он хотел бы заказать омара, фазана. Но фазана нет и омара тоже. Зато имеется страсбургский паштет.

— А нет ли у вас цветов, чтобы поставить на стол?

Лакей приносит полуувядшие гвоздики, забытые какой-то пассажиркой в купе. Все-таки цветы, нарядная жизнь. Он доволен всем: и «как-на-открыточном» видом в окне («Всегда думал — фантазия»), и европейским — «такого-у-нас-не-получишным» обедом, и, главное, своей соседкой, Люкой. Он называет гарсона «monsieur», распоряжается с важной барственностью, ест с аппетитом безработного. И рассказывает о России. Люка слушает и смотрит на него благодарными глазами. Он, этот русский, Михаил Николаевич, — подарок, посланный ей судьбой. Такой говорливый, веселый, добродушный. Конечно, она несчастна, очень несчастна. Горе, как снег, кружится перед ее глазами, падает на ее голову пушинками, снежинками, кусочками воспоминаний и страдания. Парчевый халат, который она видела у Тъери перед его отъездом, принадлежал Терезе. Она тогда еще удивилась, что мать Тъери носит такие театральные халаты. Мать Тъери. Никакой матери не было и нет. Он ездил в Швейцарию с Терезой. Если бы Люка была сейчас одна, горе, как снег, покрыло бы ее белой тяжелой шапкой, большой горой, она легла бы под ним и больше не могла бы встать. Но вот он говорит, и горе, как снег, тает от его слов, от его голоса, от его русского смеха.

— Ешьте, ешьте, — уговаривает он.

Она ест, она улыбается сквозь горе, как снег кружащееся вокруг нее.

Обратный путь по вагонам гораздо длиннее и труднее. Боязливо, как через пропасть, по лязгающему переходу из вагона в вагон.

Туда, вниз, на полотно, под колеса? Нет, она не хочет, она крепко держит Михаила Николаевича за руку — он выведет, он доведет. И он действительно доводит. В купе горит свет, и это удивляет ее. Неужели уже ночь? Как она не заметила? Она поднимает штору. Да, ночь, со звездами, с искрами, с убегающими черными деревьями, обыкновенная железнодорожная ночь. И можно уже спать. Но спать она не хочет, она уже выпалась. Входит проводник и говорит что-то насчет спальных мест. Она качает головой. Нет, нет, она останется здесь. Здесь ей было хорошо. Но Михаил Николаевич держит желтую квитанцию в руке, и проводник уже снимает его чемодан.

— Не уходите, останьтесь, пожалуйста. Если вы уйдете...

Но Люке незачем кончать угрозу: «Я опять заплачу» — он и так уже отсылает проводника, уже снова устраивается напротив нее. Хорошо, но тогда мы еще выпьем шампанского. Она согласна, только бы он не уходил.

Теперь рассказывает не он, а она. И он слушает очень внимательно, так же внимательно, как слушала его она. О ее жизни, о ее любви, о ее горе. И даже о ее детстве и смерти Веры. Все, чтобы он мог понять, чтобы он мог посоветовать. Что ей теперь делать? Она держит апельсин в руке, она прижимает его к щеке — какой холодный. Она смотрит на апельсин — какой красивый. Никогда прежде она не замечала, как красивы апельсины, такие круглые, законченные, самостоятельные, защищенные. Толстая апельсиновая кожа, через такую кожу не почувствуешь ни боли, ни тоски, ни одиночества. И какое одиночество, когда целая семья, целое общество — коллектив, как говорит Михаил Николаевич. Она напрягает память, она спрашивала что-то сейчас. О чем? Ах да. «Что же мне делать?» — снова повторяет она, не помня уже, к чему это относится. К путешествию, к апельсину, к жизни? Но он, ее спутник, зорко смотрит на нее. Он широко взмахивает рукой, он вдохновенно встает.

Что? Да ведь ясно. Ехать в Москву. Другого решения быть не может — ехать. В Москве она как кинематографическая актриса...

Как просто. Она не была даже знакома с ним сегодня утром, а вот он взял ее за руку и уже ведет ее по родным, снежным улицам Москвы, вот он уже устраивает ее жизнь, полезную, разумную, веселую жизнь. И все горе осталось в Париже. Она не взяла его с собой. В Москву, домой. Как ей самой не пришло в голову? И много там милых людей, как вы? Да, да, она хочет домой, в Россию, в Москву.

Он наливает ей шампанское. Она пьет за возвращение домой. Ей приятно пить шампанское, точно вместе с ним она глотает вкус к жизни. Вкус к жизни дает вкус и шампанскому.

Они долго говорят, они строят планы криво, косо, с планетарным размахом. Вот уже Люка — звезда русского экрана.

— А петь вы умеете?

Она смеется.

— Еще бы.

Под лягз, шум и стон колес она поет «Бублички». Во весь голос, с той необычайной страстностью, с тем восторгом, с той болью, с которой она пела в Венеции. Он слушает ее. Она закрывает глаза, она скрещивает руки на коленях, она кончила.

— Да, голос у вас превосходный. И как выразительно, — он морщится. — Даже слишком. Так, должно быть, поют на Соловках, если только поют, — он вдруг осторожно проводит ладонью по ее волосам.

— Бедная. Я, только когда вы пели, понял, как вы несчастны. Потому что для меня любовные истории — пустяки.

Ей хочется заплакать. Слова «бедная», «несчастливая» — их не надо было произносить. Она сейчас заплачет. Но он говорит: «В Москве...» И она, улыбаясь, слушает, что будет в Москве. «В Москву, в Москву, в Москву», как чеховские сестры.

— Но я не читала, — она смеется. — Я вообще так мало читала, я только знаю, что они хотели в Москву, — на минуту она становится грустной. — И ведь им, кажется, не удалось?

Он не отвечает, ссылая на Чехова ни к чему, он говорит о реальной, разумной, действительной жизни. Она засыпает. Сквозь сон она чувствует, что он накрывает ее пледом.

— Спасибо, — губы ее почти не двигаются, но поблагодарить необходимо. — За все.

Она просыпается. Он уже сидит вымытый, выбритый, в свежей рубашке.

— Через час будем в Париже.

— Через час?

Неужели она через час уже расстанется с ним? Нет, он останется с ней до вечернего поезда. Ничего, в Москве подождут. Зато они вместе проведут день.

— Как хорошо, — говорит она, — как чудно.

И от забытых слов «хорошо, чудно», которыми начинается это фантастическое утро, жизнь на несколько часов приходит в обманчивую гармонию, и горе, не находя себе места, прячется в этом

праздничном порядке. Оно, конечно, здесь, но его не видно, его не чувствуешь, о нем не надо думать беспрерывно.

Из вагона они выходят вместе, под руку, будто вообще нет одиночества. В отель они тоже едут вместе. Можно не слушать, что он берет комнату только на один день, можно представить себе, что он поселяется здесь «всерьез и надолго», как он говорит. Она входит в свою зеленую комнату, она берет ванну, она переодевается. Она спешит — он, этот русский, Михаил Николаевич, уже ждет ее в холле. Они вместе идут в гараж за ее автомобилем. И начинается туристический, фантастический день, один из тех дней, которые описывают в сказочном путеводителе, где реальность переплетается с нереальностью, где все двери открыты в мир надежды и гиду платят обещаньем спасенья. День, начинающийся французской фразой: «Я приехал в Париж с целью осмотреть его. Предоставьте мне, пожалуйста, гида». Обязанность гида исполняет Люка. Гробница Наполеона, Пантеон, Париж с высоты Эйфелевой башни и Лувр. Лувр — тяжелый этап. От усталости, от мельканья картин Люку мутит и голова кружится. Но он должен все увидеть, и Люка почти бежит за ним. Она не смотрит на картины, она внимательно рассматривает свои и его ноги.

— Это какой художник? Какая школа? — спрашивает он. — Когда жил?

Люка, не глядя, отвечает:

— Не знаю.

Это правда, даже если бы она видела картину, она могла бы только ответить «не знаю». Но он вполне удовлетворяется ее ответом. Его начищенные туфли шагают широко и решительно. «И кто с песней по жизни шагает... — он не поет, но все-таки Люке кажется, что это про него, — тот нигде, никогда не пропадет».

— Осматривать с вами музей одно наслаждение, — говорит он, снова усаживаясь в ее автомобиль. Он шутит, должно быть. Нет, он серьезен и очень доволен. Она добросовестный гид, она везет его на Монмартр, на Монпарнас. Они сидят в кафе на Елисейских Полях. Она даже везет его в Версаль, показывает ему парк и дворец. Она так внимательна к нему, она так внимательна к автомобилю, к дороге, все ее внимание натянуто, занято. Горю не за что зацепиться, некуда пролезть. Оно соскальзывает, оно отскакивает от ее мыслей, от ее чувств. Конечно, оно здесь, но она почти не чувствует его. Он говорит о Москве. Все, что было сказано вчера ночью, стало почти реальностью. Она поедет в Москву, она станет русской актрисой — с ее внешностью, с ее голосом. Это решено, и она не спорит.

— Я не понимаю, как можно здесь жить.

— Разве вам не нравится?

— Очень нравится посмотреть. Но жить здесь... Как вы могли так долго?

— Но ведь я не знала другой жизни.

— Нет, не другой жизни, вы вообще не знали жизнь. Вы еще не жили.

Она не спорит. Может быть, это и так, она не знает. Может быть, все эти часы, дни и годы и не были жизнью.

— Если бы вы могли не уезжать сегодня.

Но этого он не может.

Она смотрит на часы.

— Осталось четыре часа, три с половиной... — она не добавляет — до вашего отъезда.

Будто с его отъездом все кончится.

Они обедают у «Максима». Он всегда мечтал побывать у «Максима». «Иду к “Максиму” я», — напевает он.

— Знаете, все в Париже похоже на оперетку. И вот вы говорите о своем горе. Я сочувствую всей душой и все-таки не совсем верю ему. Опереточное какое-то горе. Не настоящее. На ненастоящих основаниях.

— Ненастоящее? — переспрашивает она. — Может быть, но все-таки очень больно.

Он кивает.

— Да, очень больно, Люкушка, — Люкушка, так Люку никто еще не звал. Это звучит по-московски, родственно, уютно. — Один день с вами, Люкушка, лучше всего моего путешествия.

После обеда они едут в «Табарен» смотреть на канкан. Она тут тоже впервые. Как некрасиво — черные чулки, оборки. Как вульгарно. Но ему нравится, это подходит к его представлению о парижском веселье, о парижском шике. Вот это, по крайней мере, настоящие парижанки. Он тоже хочет танцевать. И они танцуют танго. Он делает какие-то своеобразные, сложные шаги, раскачивается, скользит, кружится.

— Ну как? — спрашивает он.

Люке жаль огорчить его.

— Очень хорошо.

— Если бы я мог остаться еще хоть на день, вы научили бы меня. Да, если б он мог остаться.

Она везет его на вокзал. Носильщик, багаж, оставленный на хранение. Они стоят перед вагоном, он крепко держит ее под руку.

— Будьте храброй, не откладывайте. Обещаете?

Она кивает.

— Мне очень грустно расставаться с вами, Люкушка. Настоящая разлука, настоящее прощанье на вокзале.

— Вы — мой лучший друг, — говорит она. — Вы — мой единственный друг.

— Неужели единственный? Как вы можете жить одна-одинешенька?

— Я не могу, — сознается она.

— Завтра поедете в полпредство. Обещаете?

— Обещаю.

Осталось десять минут. Такие огромные, зловещие часы. И еще одна минута прошла.

— Вы не дали мне своего адреса и как ваша фамилия, — вдруг вспоминает она. — Куда же вам писать?

Он качает головой:

— Писать нельзя. Никаких сношений с границей. Не такое теперь время, чтобы перепиской заниматься. Как приедете в Москву, звоните сейчас же по телефону 375-90. Запомните: 375-90. А фамилия моя, — он задумывается, будто не решается назвать свою фамилию, — Кириянов, — говорит он быстро. — В книжке есть. Ну, дайте я запишу вам номер.

Она поднимает голову, она смотрит на огромные часы. Осталось только две минуты.

— Счастливого пути. Спасибо.

Он крепко пожимает ее руку.

— Не мне, а вам спасибо. Приезжайте, я буду вас ждать.

Столько слов, и все это ничего не значит. Он входит в вагон, он высовывается в открытое окно и что-то быстро говорит ей. Теперь это уже не имеет значения. Одна минута, последняя. Очень длинная, но вот и она прошла, и поезд уходит. Белый платок вьется в окне. И вот уже даже его не видно. Конец. Одиночество.

Люка возвращается в отель. Как она устала. Руки дрожат, и вода расплескивается на ночном столике. Она, морщась, глотает большую облатку веронала. Веронал ей купил Кириянов. Комок сна и покоя с трудом проходит сквозь сузившееся от горя горло. «Вам важнее всего выспаться». Да, это важнее всего. И она сейчас же засыпает.

Но так ли важно было выспаться? Она сидит в постели с туманной от сна головой. От сна как от кутежа. О да, она выспалась совсем, даже слишком. Это был дремучий, липкий, непроходимый

сон. Она едва выбралась из него, едва оторвала его от себя. Ей казалось, что она уже никогда не проснется, что она так и будет спать, спать и спать. Мучительно спать, сознавая свое горе, чудовищно расцветшее, разукрашенное всеми обидами, страхами и слезами, вдруг вынырнувшими из наглухо запертых в памяти воспоминаний детства.

Во сне она снова была маленькой Люкой, Тъери был Арсением, но звали его все-таки Тъери, и Вера, ее сестра, была влюблена в него. И все ненавидели, все мучали Люку. И отвратительнее, злее, страшнее всех была ее мать.

... Люка хочет убежать, спрятаться от них. Она, боязливо оглядываясь, на носках выходит из незнакомого темного деревенского дома. Тише, тише, осторожней, осторожней, чтобы они не услышали, не увидели, не вернули бы ее. Она одна на темной проселочной дороге. Луна ярко светит. Она видит свою детскую черную тень с неимоверно вытянувшимися ногами, прыгающую по дороге. Ей страшно, она отворачивается, чтобы не видеть свою тень, она бежит все быстрее. Она слышит стук своих ног в тишине. Как громко, как разнобойно стучат ее ноги. Нет, это не только стук ее ног, это стук еще чьих-то чужих ног позади. Она оглядывается на свою тень. Но от ее тени ничего не осталось, она вся поглощена огромной скачущей тенью старухи. И Люка узнает ее. Это мать, это ее мать гонится за ней. Луна светит. Нигде ни куста, ни дерева. Спрятаться нигде...

Нет, нет, конечно, все это не снилось ей. Она придумала это сейчас. И надо скорее забыть. Но какая гадость веронал. Лучше уж бессонница, чем такие сны.

В окне дождь. Как отвратительно — дождь. Но если бы светило солнце, было бы так же или еще отвратительнее.

Надо встать. Надо ехать в консульство. Она обещала Михаилу Николаевичу. Но зачем ехать в консульство? Она прекрасно знает, что ей там ответят: «Подайте прошение. Мы вас известим». Ответ придет не раньше Рождества. Не раньше Рождества, а она не знает, как дожить до завтра, как прожить сегодняшний день. Вернуться в Москву. Вчера это казалось легко и просто. Теперь она видит, что это невозможно. И почему же в Москву, а не на луну? Это так же невозможно. А на луне, может быть, еще лучше или еще хуже, чем в Москве.

Она достает из сумочки записку и рвет ее. Она не хочет помнить ни номера телефона, ни имени человека, давшего ей ее. Он в Москве или на луне, ему нельзя даже писать, и она никогда больше не

увидит его. Зачем же ей помнить его номер телефона? Вчерашний день был только случайной, короткой передышкой, антрактом, давшим ей возможность набраться сил. Игра продолжается.

Нет, она не поедет в консульство. Она зевает. Ей некуда спешить. Никто не ждет ее. Она может полежать еще. Она может пролежать до вечера. Но тоска уже гонит ее в ванную. Вода с торжественным ниагарским грохотом льется из кранов, объявляя о начале церемониала этого нового ужасного дня.

Неужели ей когда-то доставляла удовольствие теплая душистая вода, белые хлопья мыльной пены, губка, нежно скользящая по колену? Неужели она могла сосредоточить свое внимание настолько, чтобы сознательно чувствовать все это и так уяснить ощущение, чтобы испытывать разнообразные удовольствия, качественно отличавшиеся друг от друга легчайшими, но несмешиваемыми оттенками. Она сидит в ванне, она сыплет душистую соль в воду, она намыливает плечи. Она делает все очень точно, очень аккуратно, по раз установленному церемониалу, заменяя привычкой сознание, всецело занятая своим горем, просто не замечая всех этих мелочей и подробностей. Она выходит из ванны, она одевается. Тоска, как уголек, залетевший из ада, жжет ее сердце. Она уже сожгла надежды на Москву и теперь вместе с ее сердцем сжигает остатки устойчивости и равновесия, бежит по нервам, сжигая и их; Люка прислушивается. Как тихо в ней. Как тихо. Той особенной послепожарной тишиной, когда все сторело дотла, когда огонь, покончив со всем, умирает под пеплом и душа его тонкой, умильной полоской уносится в небо.

Но это длится только минуту. Тоска, покончив с будущим и настоящим, бросается на прошлое. Но оно железобетонное, огнеупорное, это прошлое. Оно не сгорает. В свете огня еще виднее изуродованное ненавистью лицо Тъери, еще слышнее: «Ты мне противна, как жаба». Еще слышнее, так ясно слышно, будто это говорится здесь, сейчас, в этой комнате. «Противна, как жаба. Противна, как жаба», — с отвращением и страхом, совсем как Тъери в ту венецианскую ночь, громко повторяет голос. Не может быть, чтобы это только казалось, — голос слишком отчетлив, слишком ясен. Она обводит комнату глазами, заглядывает в углы, под диван, даже в зеркало и в зеркале видит свое бледное лицо, свои шевелящиеся губы, с усилием повторяющие (теперь она понимает, она слышит, что это она сама говорит): «Ты мне противна, как жаба». Она зажимает рот рукой так плотно, что голос уже не может вырваться, но в голове ритмично и отчетливо продолжает сту-

чать: как жаба, как жаба... Она снова оглядывается, ища помощи, но ни один из этих безличных отельных предметов не хочет помочь ей. На столе телефон. Если бы можно было снять трубку, составить первый попавшийся номер, и крикнуть слушающему на том конце провода: «Спасите меня. Я погибаю. Спасите. Приезжайте сейчас же», и дать адрес.

Но этого нельзя. Никто не поймет, не спасет. Если в доме пожар или воров, помощь явится немедленно, но ни полиции, ни пожарным, ни благотворительным учреждениям, ни просто всем телефонным абонентам нет дела, что кто-то — еще кто-то — погибает от тоски и одиночества.

Люка берет шляпу, мех, сумку. Надо скорее уйти отсюда, на улице, на людях станет легче. Она не успела даже напудриться, накрасить губы. Все равно, потом, в автомобиле. Только уйти отсюда, не оставаться одной.

И вот она в автомобиле. Она въезжает в Булонский лес. На деревьях большие зеленые листья. Когда они успели так вырасти? Весна, а она и не заметила. Деревья шумят. Мокрые листья дрожат и блестят на ветру. И хотя идет дождь, от дрожи и блеска листьев кажется, что деревья освещены солнцем, что солнце прячется в них.

Весна. Еще одна новая весна. И это почему-то очень тяжело, очень неприятно. Лучше уж в суতোлке улиц, среди толпы и открытых зонтиков. Она входит в большое кафе на Елисейских Полях, она садится у широкого окна и заказывает кофе. И сейчас же меняет: «Нет не кофе, а яичницу». Она ждет, она смотрит на спешащих мимо по мокрому тротуару. Неужели у каждого из этих людей своя собственная тоска, своя собственная судьба? Но долго сидеть она не может. Беспокойство душит, гонит ее. Она пересаживается за другой столик в глубине, берет газету, просматривает ее. На первой странице портрет двух молодых любовников, покончивших с собой от любви и жизненных неудач. Неужели они действительно жили, вот эти двое? Плакали, целовались, боялись разлуки и бедности, пока наконец не решились улечься рядом, крепко обнявшись, чтобы уже никогда не расставаться, не бояться ничего? Ей хочется представить себе их живыми. Ей хочется на минуту почувствовать то, что чувствовали они перед смертью. Но это не удастся. Может быть, оттого именно, что они чувствовали ту же растерянность и тоску и невозможность сосредоточиться. Лакей приносит яичницу. Как могла она думать, что съест ее? Ведь есть совсем не хочется. Она платит, она снова в автомобиле. От воздуха, от движения, оттого, что надо быть внимательной, все-таки немного лег-

че. Она едет мимо Галери Лафайет. Зайти, купить что-нибудь, все равно что. Нет, совсем не все равно. Надо купить перчатки, она забыла перчатки в отеле. В магазине движение и спешка. Тревога чувствуется здесь еще сильнее. Страсть и жадность всех этих женщин, желающих купить получше, подешевле, побольше, роющихся в грудах остатков материй и лент, душным облаком стоит в горячем воздухе, механически передаваясь каждой вновь вошедшей. И Люка не составляет исключения, и вот она уже покупательница среди других покупательниц, нетерпеливая, требовательная. «Зеленые перчатки в цвет моей сумочки». Продавщица открывает и закрывает коробки. Люка прикладывает сумочку, выбирает, сомневается: «Эти, нет, подождите, лучше те». Она забывает взять сдачу. Продавщица догоняет ее: «К счастью, мадам не успела далеко уйти». К счастью, действительно к счастью. Как правильно сказано. Отчего даже те немногие слова, которые говорят ей, звучат насмешкой? Но раздумывать некогда. Здесь она покупательница — покупательница должна покупать. Да, зеленый кушак в цвет сумки и перчаток. Она суетится, ходит по магазину. Кушак, перчатки вдруг вырастают до фантастических размеров, отодвигают горе, закрывают собой прошлое. Пока она выбирает, пока покупает их. Но вот она заплатила, надела кушак. Кушак крепко обхватывает ее талию, поддерживает, нет, просто сдавливает ее измученные ребра. Оттого, что он новый и зеленый, ничего не изменилось, тревога не улеглась, и волнение не прошло. И перчатки ничуть не помогают. Зеленые, как лягушки: «Ты мне противна, как...» — нет, жаба коричневая и ничего общего не имеет с этой милой зеленью. Но зачем все-таки она купила их?

Она выходит на улицу, машет такси и тогда вспоминает, что она оставила где-то здесь свой автомобиль. Она стоит на тротуаре, стараясь собраться с мыслями. Прохожие толкают ее. Какие грубые. Толкают вместо того, чтобы пожалеть. Где автомобиль? Надо отыскать его, не сесть по ошибке в чужой. Но он находится быстро, он белый, спутать нельзя, и номер тот же. Это ее автомобиль. И она снова едет.

Мысли ломаются, куски их отскакивают друг от друга, их нельзя сложить, склеить в слитное, логичное целое. Только куски, только обрывки. И время тоже ломается. Оно распадается на осколки, как разбитое зеркало. В разбросанных осколках отражаются глаза Гьери, его электрическая улыбка, тут его голос, а там его рука, держащая папиросу. Но как из всех этих осколков составить его живое лицо, живое воспоминание о нем? Это вчера или только что она

купила перчатки «как жаба»? Нет, Тъери сказал «коричневые». Нет, не «коричневые», а «жаба». Это жаба коричневая. Люка все путает. Жаба не имеет никакого отношения к перчаткам. Но все-таки их лучше снять и выбросить в окно. Вот так, на тротуар. Кто-нибудь найдет и обрадуется: совсем новые, дорогие. Но маленькие — пять три четверти — редко кому впору. Ах, это уже касается не ее, а той, которая найдет перчатки. И не все ли равно, когда Люка купила их? Вспомнить так трудно. Да, так трудно вспомнить, разобраться, понять что-нибудь в обрывках и лохмотьях тоски, боли, оскорбления и одиночества, без всякой последовательности, как попало низанных на отчаяние как на стальной стержень. На отчаяние, не дающее всем этим словам, часам и слезам разлететься по ветру, рассыпаться пылью, а крепко связывающее их в единое, неделимое, непобедимое горе.

Люка смотрит на поднятую руку останавливающего движение полицейского, и эта поднятая рука вдруг заставляет ее понять, что так нельзя, так дальше нельзя, что надо успокоиться. Но как? Но где? Не здесь на улице, в толпе, не в отеле — этой одиночной камере. Нет, где-нибудь, где она была счастлива, действительно совсем счастлива. Посидеть там в тишине, ни о чем не думая, пока не вернется равновесие, пока мысли не станут снова превращаться в простые понятные фразы, пока минуты, складываясь друг с другом, не начнут снова образовывать бесконечной линии, не станут снова непрерывным движением, текучим переходом от прошлого в будущее. Пока время не перестанет быть тем, что оно теперь — остановкой, провалом, где каждый час сам по себе, ни с чем не связанный, превращается в страдание, в статическое «как больно», без надежды на «это пройдет, завтра будет легче».

Там, где она была счастлива — нет, не в доме Тъери, не в ресторанах, театрах и студии, где потом было столько горя. Нет, где она была счастлива с ним, и только счастлива. Ведь должно существовать такое место. Надо вспомнить, хорошенько вспомнить. И она вспоминает. Фекан. Да, в Фекане она была совершенно счастлива. Это было еще в самом начале, осенью. Павлик уехал на завод, и они с Тъери провели сутки у океана. Очень большая комната в три окна, номер шесть. «Запомни, — сказал Тъери, — номер шесть. Мы еще вернемся сюда. Здесь было слишком хорошо». Но не «мы», а она одна вернется туда. И не за воспоминаниями, а за успокоением. Успокоиться. Да, там можно успокоиться. Лечь в широкую постель, ни о чем не думать, отдохнуть. И все придет в порядок в ней самой и вокруг нее.

Ведь ничего не пропадает на свете, и в этом «там, где она была счастлива» счастье, как пыль, должно быть, еще прячется в складках занавесок, в абажуре лампы, в лепных узорах потолка. Надо ехать в Фекан, сейчас же ехать. К ночи она уже будет там.

Она достает дорожную карту, рассматривает ее. Ехать просто, спутать нельзя. Она не заезжает даже за чемоданом, за теплым пальто. В Фекан, за успокоением, за завтрашним днем.

Дождь, автомобиль скользит. Надо быть очень осторожной, не забывать ни на минуту, что она правит, следить за своими руками, за своими ногами, за своими рефlekсами, помнить о них. Тьери, ребенок — об этом потом.

Это ее первое большое путешествие — никогда еще она одна не ездил дальше студии. Если случится что-нибудь с автомобилем, она совершенно беспомощна, она ничего не понимает в механике, этому ее не обучили, она не умеет даже переменить шину.

Но ничего не случится. Она отлично доберется до Фекана. Но как это далеко и как она устала! Дождь, мокрая дорога скользит, автомобиль заносит на поворотах. Надо быть очень осторожной, не прибавлять скорости. Хочется спать. Должно быть, веронал снова вступает в свои права. Хочется остановить автомобиль, пощечинячи свернуться теплым клубочком и уснуть... Нельзя, надо ехать. Километр за километром, под дождем. Сколько их еще, этих километров? Какие они длинные, мокрые, трудные. Она въезжает в лес. В лесу уже почти темно, она зажигает фонари. Желтый свет широко освещает дорогу, оставляя деревья в тени. Она не видит деревьев. Она видит только их тени, лежащие на дороге. Большая птица тяжело пролетает в желтом свете фонарей. Это, должно быть, ворона, но Люке кажется, что это сова. «Сова», — шепчет она, вздрагивая. И лес сразу становится зловещим и враждебным. Ей холодно, она дрожит. Скорей бы выбраться отсюда. Тени деревьев бесшумно скользят мимо. Она боится оглянуться на них. Ей кажется, что они бегут рядом. Нет, это не тени деревьев, это старухи, уродливые, горбатые, хромые, они скачут по обе стороны автомобиля, липнут к автомобильным стеклам. Она оглядывается на окно. И вдруг узнает одну из старух, узнает этот черный беззубый рот, эти растрепанные белые волосы, эти косящие от ненависти, мертвые глаза...

Люка крестится и, зажмурившись, крестит окна и углы автомобиля, как когда-то в детстве крестила свою комнату ночью. «Да воскреснет Бог». Это веронал, не надо бояться, не надо поддаваться сну и страху. Лес сейчас кончится. Сейчас. Но он тянется, тянет-

ся, тянется. Он бесконечен, этот лес. Ей страшно. Ей страшно, как бывало только в детстве, когда она просыпалась с криком: «Мама!» Ей и сейчас хочется крикнуть, позвать на помощь: «Мама!» Но звать не надо. Звать нельзя. Она тут, ее мать. Она вышла из гроба, она привела с собой на помощь толпу мертвых старух, чтобы преследовать Люку. Нет, эта ужасная старуха не ее мать, ее мать была красивая, молодая, нежная. Она никогда не обижала Люку. Даже после смерти Веры. Она только отослала Люку к своей сестре. В день отъезда, уже на вокзале, в последнюю минуту, она вдруг крепко обняла Люку, прижала ее к груди, к черному креповому вуалю и, плача, стала целовать ее. Так Люка навсегда запомнила ее. Люка ясно понимает — это не ее мать. Это веронал, это страх, это усталость. Не надо смотреть в окно. Надо ехать, надо править автомобилем.

Лес наконец кончается. На дороге опять светло. И дождь прошел. Теперь уже скоро Фекан. Люка отряхивается, стряхивая с себя остатки страха и сна. Это был сон. Никакого леса здесь не было. Солнце пышно и празднично опускается за вспаханymi полями, за розовым рядом цветущих яблонь. Больше не страшно, совсем не страшно. Это солнце и эти яблони как обещание спасения. Да, спастись, выбраться, выкарабкаться. Не погибнуть, не пропасть. Еще не поздно, еще возможно. Она спасется, раз хочет спастись. Она знает, горе лечится, как болезнь. Нет неизлечимого горя. Все возможно, пока человек жив. Она, Люка, еще жива. Она жива и, наверно, будет жить еще долго, до самой глубокой, восьмидесятилетней старости. Через десять лет она будет с улыбкой вспоминать: «Какая я была бедная, глупая. И молодая, ах, слишком молодая для такого горя». Да, и горе, и Тъери, и она, и любовь — все станет прошлым. Ничего необычайного, трагического, единственного нет ни в ее любви, ни в ее горе. Все это банально. Сотни женщин переживают то же самое. Гордиться нечем. Да, она погибает из-за Тъери. Но это банальная, недостойная, низкая любовь. Она ведь знает, что он пустой, бездушный, жестокий. Что он никогда не любил ее, что она была для него только фетишем, *porte-bonheur*'ом, чем-то вроде слона с поднятым хоботом или четырехлистного клевера. Что он суеверный трус. Что он бесчеловечен. Она влюбилась в него за блеск, за власть, не стараясь даже узнать, понять его. И когда она стала принадлежать ему, как его пиджак, его галстук, ей уже было все равно, что он бесчеловечен. Он занял собою все ее мысли, все чувства, весь ее горизонт. Она продолжала его любить от слабости, от подлости, от одиночества. Да, даже от одиночества.

Если бы она не была так непонятно одинока. В Венеции, ожидая Тъери, с милыми венецианскими путешественниками ей было почти хорошо. Они ходили держась крепко под руку, они ездили в одной гондоле. Они были всегда вместе. Вечером веселая хорошенькая Арлетта прибегала к Люке в своем пестром халатике, похожем на клетку с экзотическими птицами и, сидя на краю постели, птичьим щебетом рассказывала о своей любви, о своей карьере, о Давиэ. И, смеясь, прерывала себя: «А Давиэ ждет меня». — «Он не будет сердиться?» — сонно спрашивала Люка. «Нет, нет, он вас очень любит. Я не уйду, пока вы не уснете. Но вы все-таки постарайтесь уснуть, маленькая Дэль, чтобы он не очень долго ждал». И Люка старалась. И Люка засыпала.

Если бы в ту последнюю ночь Арлетта пришла к ней, все сложилось бы иначе. Она была бы сейчас с ней где-нибудь в Италии, в горах. Она все рассказала бы Арлетте в ту ночь. Но Арлетта побоялась придти из-за Тъери. Но Люка была горда и скрытна. О, глупая гордость, когда гордиться нечем. Ни своей любовью, ни своим горем, ни собой. Это все банально, о, до чего банально! И все-таки это больно. О, до чего больно!

Цветущие яблони, ручей и за поворотом дороги низкий холм. Мимо, мимо. Скорей, скорей. К морю.

И вот Фекан. Она въезжает в город. Тяжелый, мрачный собор на площади. Кафе, банк, магазины. В тот день на площади был базар, и пестрые палатки придавали ей какой-то средневековый вид. Но сейчас она пуста и скучна. С моря запах, острый и соленый. Нет, не с моря — из складов трески. Люка на минуту закрывает глаза, вдыхая его. Тогда запах трески казался противным, но сейчас он нужен ей так же, как море, как отель, как комната номер шесть. Он один из элементов, из которых она построит успокоение.

Она едет по узким улицам мимо бенедиктинского монастыря, где бенедиктинские монахи готовят бенедиктин. Впрочем, может быть, здесь только цветники и парад, а бенедиктин варят где-нибудь в другом, более будничном месте. Она не знает, они не осматривали, как это делают туристы, ни монастыря, ни достопримечательностей. В то утро, после ночи, проведенной в счастливой комнате, они отправились на скалу к маяку.

Они взобрались на самый верх горы. Оттуда было видно все море, и все небо, и белые скалы, с двух сторон охватывающие голубые волны. Там внизу налево был Фекан с пестрыми палатками, музыкой и домами, направо скалы были дикие, трагически-

бледные и нелюдимые. По узкой тропинке они подошли к обрыву. Она поскользнулась, ей стало страшно, она схватила Тъери за руку. «Не бойся», — голос Тъери звучал непривычно нежно, здесь, на высоте, на ветру, под широким небом. Она прислонилась к его плечу. Она чувствовала себя совсем по-новому от этих скал, обрывающихся у ее ног, от этих волн, шумевших внизу. Совсем по-новому, робко и смущенно, с острой полнотой ощущая глубоко скрытую в ней таинственную женственность. «Я совсем счастлива сейчас». Она вздохнула. «Если бы сейчас оступиться, сорваться вниз...» Но этого она не сказала. Этого она даже не подумала, она только смутно поняла это по извилистому полету чайки. Около маяка стояла старинная рыбацья церковь, похожая на сарай. Они вошли в нее.

Церковь была очень светлая, длинная, со стенами, сплошь увешанными мраморными досками с благодарностью за спасение. Между этими благодарственными досками висели картины. Старые, не очень искусные картины в золоченых рамах. И все они изображали море, и корабли, и лодки, вернее гибель этих кораблей и лодок в море. Все виды, все сорта, все разнородности гибели в море. Корабль, затертый льдами, тонущая в бурю лодка, шхуна, охваченная огнем. Только гибель в море. Еще и еще. Изображение той гибели, от которой чудом спасся благодарящий. Чудом или героизмом.

Они, держась под руку, обошли церковь, останавливаясь перед каждой картиной. Но оттого, что Тъери был здесь рядом, оттого, что рука его нежно сжимала ее локоть, Люка никак не могла представить себе тоску и страх этих гибнущих моряков. Она ясно видела себя и Тъери моряками на этой горящей палубе с развевающимися по ветру пылающими парусами или тут, на другой картине, — затертыми льдами, слышала треск корабля, ломающегося о льдины, которые сейчас вместе с кораблем переломают их кости, чувствовала холод приближения огромной волны, которая вот сейчас рухнет, слизнет их с Тъери с палубы, проглотит, похоронит их...

Да, она обостренными счастьем и влюбленностью глазами видела приближение гибели, но страха, но тоски не умела почувствовать в то утро. Ведь Тъери был всюду рядом, они гибли вместе, навсегда. Все было так просто, героично и прекрасно.

— Ты плачешь, Люка?

Она улыбнулась, моргая влажными ресницами. Ей хотелось объяснить ему все — свою страсть к морю, свое восхищение ро-

мантической судьбой моряков, и жалость к ним, и желание уехать вместе с Тъери в кругосветное плавание. Но она только молча поставила свечу перед статуей Св. Девы, ни о чем не прося Ее. Они вышли из церкви взволнованные, тесно связанные морем и смертью. Навсегда, на всю жизнь связанные, как ей казалось тогда, морским, неразвязывающимся узлом.

А теперь она гибнет, тонет одна. Как она будет молиться завтра в рыбацкой церкви за всех гибнущих, тонущих! За всех спасенных, за всех погибших и за себя.

Люка выезжает на набережную. Солнце только что зашло, и море еще светится его теплым светом. Люка бессознательно смотрит на волны, на небо, на парус на горизонте, и губы ее бессознательно вздрагивают. Это еще не улыбка, это только бессознательная попытка улыбки. Там, по ту сторону автомобильного стекла, в той нежной прелестной жизни, в которой Люка не участвует, настал счастливый вечер, и Люка, как бы на минуту выйдя за пределы своего тела, своего автомобиля, очутившись по ту сторону всего этого, растворяется в блеске и покое счастливого вечера. Но это только кажется. Она тут, в автомобиле. Вся — со своим горем и своей судьбой, из которой нельзя вырваться. Автомобиль катится по набережной, перелетает через перила, врежется в волны. «Гибну, тону одна, — вспыхивает в ее мозгу. — На самое дно океана». Но это тоже только кажется. Она осторожно и медленно подъезжает к отелю.

Она останавливает автомобиль. Ноги плохо слушаются и дрожат. От усталости, от волнения. А вдруг комната номер шесть занята и она приехала напрасно? В холле пусто, но Люка не может ждать, она стучит в закрытую дверь. Дверь открывается, и выходит маленький старик.

— Комната номер шесть свободна? — спрашивает Люка.

И он кивает:

— Все комнаты свободны, весь дом.

Люка вздыхает — значит, она не напрасно приехала. Багаж? Нет, у нее нет багажа. Заплатить вперед? Она раскрывает сумочку. Она уехала, не посмотрев даже, достаточно ли у нее денег. Если бы денег не хватило... Но денег, оказывается, достаточно. И это вторая удача. Поворот судьбы. Дальше все будет хорошо.

— Шестой номер очень велик для одного человека. Две постели. Может быть, мадам возьмет комнату поменьше и в сад? Там не так шумит море.

— Нет, нет. Я знаю. Мне не мешает.

Да, в ту ночь им тоже не мешали ни море, ни вторая постель — они спали вместе в одной.

Она входит в комнату. Какая огромная, как зал. Тогда она казалась меньше, более жилой, от присутствия Тьеры.

Вот здесь, вот сейчас. И все совсем как было. Обои с птицами и цветами, и та же лампа с шелковым абажуром на ночном столике, и та же хрустальная люстра.

Обои в цветах и птицах... В то утро, торопясь одеться, прислушиваясь к всплескам воды в ванной, она нечаянно тронула одну из множества красногрудых птиц, застывших в неподвижном полете над желтой хризантемой. И птица сразу ожила, встрепенулась, подобрала крылья, нахохлилась, клюнула Люку в палец и зачирикала. Но Люка торопилась, сейчас выйдет Тьеры, а она еще не причесалась. Она рукой отмахнулась от чирикающей птицы — не до тебя, — и птица покорно снова вошла в узор обоев. И сейчас, вспомнив о ней, Люка обводит всех птиц пальцем. Это было здесь, на этой стене, но которая из них? Нет, все они обычные напечатанные птицы, они не хотят, не могут ожить. Их напрасно трогать, они не клюнут ее, они не зачирикают.

Она запирает дверь на ключ. Завтра утром она будет спокойной, почти веселой. Она раздевается, она ложится, гасит свет. Сквозь задернутые шторы на среднем окне слабо светит луна. Как шумит море. В ту ночь море тоже шумело. Но никаких воспоминаний о той ночи не возникает, и это хорошо. Она сейчас заснет, а когда проснется, все уже будет в порядке — утро, мысли, время. Только скорее заснуть. Она ложится на спину, стараясь распустить все мускулы, стать как можно тяжелее. «Я тяжелая, как свинец. Я засыпаю, я уже сплю». Да, она действительно спит. Она слышит сквозь сон гул моря и свой собственный голос над самым ухом: «Не спи, не спи, не спи. Поздно спать, некогда спать». Толчок под ребра, изнутри. Будто сердце толкнуло, разбудило ее. Сна больше нет, никакого сна — такая ясная, сухая голова, и в ней, как мотор, щелкают обрывки мыслей, отдельные слова. Она открывает глаза. Гул моря. Лунный свет на ковре. Бессонница, бессонница, бессонница. Люка садится. Лампа тускло вспыхивает под красным абажуром. Тревога, волнение, бессонница. Ей страшно в этой огромной бессонной комнате. Пустые бессонные зеркала, бессонный гул моря. Она прижимает холодную руку к груди. Чего она боится? Это море, это Фекан.

Страх сейчас пройдет. Она встает, она зажигает люстру. Люстра хрустальная и очень яркая. Но страх не проходит, напротив —

от этого яркого, хрустального, льдистого света в пустой комнате становится еще страшнее. Ей хочется убежать, спрятаться, забиться куда-нибудь в угол. Она снова ложится, натягивает одеяло на голову, подбирает колени к подбородку. Так, комком, вся тут, и бояться нечего. Но она не может лежать неподвижно. Она сбрасывает одеяло, она садится. Чего ей бояться? Что может еще случиться? Брошенная, беременная, одинокая. «Как жаба», — говорит она громко. Какая жаба? Зачем, почему жаба? Она забыла. «Жаба, жаба, жаба», — стучит в голове, но объяснения нет, только очень больно от этого слова. Нет, это не воспоминание, это предчувствие. Это Тъери скажет ей в Венеции, когда они наконец после такой разлуки, такого горя, встретятся в Венеции. «Ты противна мне, как жаба». Неужели скажет? Неужели он совсем без сердца? Камень, хуже камня? Но она уже знает, это не предчувствие, это уверенность. Да, ей придется услышать собственными ушами, увидеть собственными глазами, как его губы скажут и повторяют: «Ты мне противна, как жаба». «Как жаба» — она не сможет перенести это. Она умрет тут же перед ним, упадет у его ног и не встанет больше. Да, после этого нельзя жить. И все-таки она поедет в Венецию, она встретится с Тъери. Ей страшно. Это страх, ни с чем не связанный, ни с болью, ни с горем, абстрактный страх, существующий сам по себе, как воздух, как свет. «Мне страшно», — тихо стонет она. Но это сон, это только дурной сон. «Спи, Люка, спи», — уговаривает она себя. А вдруг ей снова приснится мать? И почему, почему мать? Если бы еще Вера. Вера прокляла ее перед смертью. Пускай бы уже Вера. Только бы не мать. Нет, она не хочет, она боится уснуть. Так плохо ей еще нигде, никогда не было. Три часа, все спят, в коридоре темно. Надо ждать утра. Ждать возможности уехать. Вот оно, это «там, где я была счастлива». Она сидит на постели. Ей холодно, ее голые ноги, ее голые плечи зябнут. Море шумит, люстра освещает пустую комнату, раскрытую постель и ее, Люку, такую потерянную, такую одинокую, ее — крепко затянутый узел боли — комок боли и горя на белых ледяных простынях. «Если сейчас хлопнет дверь, стукнут ставни... Я не выдержу», — громко говорит она. И сейчас же так же громко обрывает себя: «Выдержишь, еще и не то выдержишь».

Рассвет. Люстра сворачивается, уменьшается. Сияющие хрустали тухнут, как свечи на рождественской елке, тают, как ледяные сосульки, один за другим. И вот уже люстра — только оскорбительное жирное желтое пятно в голубом холоде морского утра.

Еще очень рано. Обрывки ночной сырости еще толпятся на дороге, обнимаются, прощаются, возвращаются снова, решаясь расстаться друг с другом. «Прощай, прощай на вечную разлуку». Разлука, грусть, прощание омрачают солнце. Совсем скромное, не оскорбительное, притушенное утро.

Должно быть, красиво. Будто она не сама видит, а читает описание. И должно быть, холодно. Да, должно быть, очень холодно. Она слышит, как стучат ее зубы. Она едет. Мысли рассыпаются перед глазами маленькими радужными дисками. Не надо смотреть на солнце.

Впереди, далеко в поле, на розовом стеклянном горизонте стоит дерево. Совсем одиноко, в диком, первородном одиночестве раскинув ветви молитвой о помощи, о дружбе, о сочувствии. Люке хочется остановить автомобиль, побежать через вспаханное поле к дереву, обнять его, прижаться к нему, почувствовать, как из его коры в горьком одиночестве капает смола. Нет, не только обнять, утешить его, а остаться с ним, стать самой деревом, сплестись с ним ветвями в высокой небесной дружбе, сплестись с ним корнями в теплой земной любви. Но она так слаба, так устала. До последнего предела, за последним пределом усталости. Она едет дальше. Одинокое дерево на горизонте, исчезая из зрения, переносится в память болью одиночества. Одиночество, одиночество. Она вздрагивает. Страшнее всего одиночество. Не быть одной, только не быть одной. Выйти из одиночного заключения своей комнаты, своего сознания. Найти дружбу, сочувствие, протянутую теплую руку, протянутую для приветствия, не для прощания. Горе лечится, как болезнь. На свете столько людей. Она перебирает имена как фишки картотеки. Не то, не то. Арлетт, Давиэ, Тъери и Тереза, Герэн и опять Тъери. Лермонтов, Маша... Нет, Лермонтов — книга, а Маша — горничная, служившая у них с Павликом. Удар между глаз — Павлик. Чувство самосохранения, без участия сознания, целиком занятого находкой Павлика, уже останавливает автомобиль. Люка беспомощно мигает. Слезы текут из ее глаз. «Павлик», — всхлипывает она, будто только что услышала о смерти Павлика. И вдруг улыбка сквозь слезы, как радуга, освещает ее лицо. Нет, не о смерти Павлика, о жизни с Павликом, о возможности жизни.

В Париж. За Павликом. Скорей, скорей. Только вряд ли он остался жить в их прежней квартире. А если он не оставил адреса? А если он уехал из Парижа? Она все равно найдет его. Она будет искать его дни, недели, месяцы, пока не найдет. Сил у нее хватит.

Конечно, хватит. На поиски, и на встречу, и на все новые огорчения. Это в самом начале, в прошлом году ей казалось, что у нее нет сил, что она вся проносилась до дыр, изорвалась в лохмотья, что она слабая, больная, усталая. Но теперь она чувствует, что у нее, брошенной, беременной, несчастной, сил хватит и на сегодня, и на завтра, и на всю бесконечную жизнь. Сил хватит на все, что еще ждет ее впереди.

Булонский лес. Мюэтт. Пасси. Здесь каждый камень исхожен ногами Павлика. Вот их булочная, вот на углу кафе, где он покупал папиросы, и вот, наконец, их дом.

Она останавливает автомобиль. Сколько раз она входила в этот подъезд, сколько раз смотрела из тех окон в третьем этаже на улицу. Нет, это прошлое не кажется ей прекрасным. Даже и теперь не кажется.

Она стучит в ложу консьержки. Консьержка щурится и притворяется, что не сразу узнает ее.

— Ах, это вы, мадам. (Прежде она звала Люку мадам Дэль, но теперь, по мнению консьержки, ее, должно быть, не следует звать честным именем мужа.) Вы так изменились (изменились — это значит изменили порядочности, изменили мужу, стали авантюристкой в мехах).

Люка так и понимает. Люка краснеет. Нет, Люка не получит адреса мужа. Консьержка не знает его. Она мстит Люке. Люка — порок. Порок должен быть наказан.

Дэль уехал из Парижа совсем. Кажется, даже за границу. Но Люке непременно нужен адрес. Она широко открывает сумку, показывая лежащие в ней стофранковые бумажки. Может быть, консьержка все-таки напряжет память, вспомнит? И, глядя в глубину сумки, консьержка вспоминает:

— У меня где-то записано.

И Люка получает адрес Павлика, написанный его собственной рукой. Конечно, можно было бы теперь захлопнуть сумку и уйти, даже не поблагодарив, но Люка кладет сто франков на стол. Как быстро, как дешево ей достался Павлик.

Она едет на почту, посылает ему телеграмму. Может быть, было бы проще самой поехать к нему в Лион? Нет, надо отдохнуть, подготовиться к встрече.

«Приезжай немедленно». Подпись. Адрес. И еще: «Привези Троля». Так. Без объяснений. Объяснение потом, когда он будет с ней. Главное, чтобы он был с ней.

Конец путешествия. Отель. Зеленая комната. Она сейчас же ложится. Зеленые стены, как деревья, зеленый ковер, как луг. Нет, путешествие еще не кончено. Она все еще едет. По зеленой траве, в зеленом сне. Ее будит стук. Не надо просыпаться — это дятел стучит в лесу. Нет, это стучат в дверь. Она открывает глаза. Окно матово-серое, комната полна холодными, дымными сумерками. На зеленом полу, как остатки недоеденного обеда, обрывки недосмотренного сна: мост, перекинутый от окна к креслу, коза, щиплющая ковер, и в углу большой белый парус, треплющийся на ветру. Стук повторяется, громкий, грозный, предупреждающий об опасности.

— Войдите, — решительно говорит Люка еще спящим голосом.

Да, пусть это, что там стучит в дверь, войдет и покажется. Что бы, кто бы, откуда бы оно ни было, пусть оно войдет. Она ждет, она готова принять новую боль, новое оскорбление, новую горе.

Дверь вежливо отворяется. Серебряный поднос, лакей, телеграмма. Люка раскрывает телеграмму, и буквы, как мухи, трепещая крыльями и лапками, разлетаются во все стороны. Люка прижимает их ладонью к дрожащему листку: «Дайте свету». И свет сразу зажигается, и буквы, уже непохожие на мух, сами складываются в «Приеду завтра 9 утра. Целую. Павлик». Люка поднимает голову. «Приеду завтра», теперь только одна задача — дожить до завтра. Завтра Павлик будет с ней. Павлик, Павлик, Павлик. Она плачет. Она, жалуясь, рассказывает ему все с бесстыдной, жестокой, слезливой откровенностью: «Тъери бросил меня, бросил. Если бы не ты, не оттого, что это ты, а оттого, что у меня, кроме тебя, никого нет, и я не могу быть одна... Павлик, Павлик». Лгать, объяснять так, чтобы было лестно ему и не слишком обидно ей, она будет завтра. Завтра она скажет: «Павлик, я не могла забыть тебя. И ты мой муж. И ты такой добрый, милый». Это завтра, а сейчас она только повторяет, всхлипывая: «Бросил, бросил. У меня будет ребенок. И я так несчастна, Павлик».

Но плакать долго она не может, слез больше нет. Она вытирает сухие глаза. Какая скупость, скудность, скардность. На все — даже на слезы. Ни щедрости, ни размаха, ни растраты себя. Плакать так, чтобы вся вылиться горем, болью, кровью, чтобы от нее осталась только пустая сморщенная кожа, как брошенная старая перчатка. Но нет, бездарность во всем — даже в слезах. Да, бездарность — как позорно она играла в фильме, что бы

там ни говорил Давиэ. Это было горе, любовь, истерика — все что угодно, только не талант. Она бездарна, осторожна, рассудительна. Если бы хоть шалая вера в возвращение Тьерри, раскаивающегося, влюбленного. Но даже и этого нет. Совершенно ясно — Тьерри никогда не вернется. О, бездарная ясность головы, не допускающая чудес. И эта бездарная практичность — она выписала мужа, она поступила правильно, разумно — она позвала Павлика.

«Бездарность», — громко говорит она и сжимает челюсти от ненависти к себе. Так тебе и надо. Злая издевательская радость трясет ее. Она отрывисто смеется. Смех, как глухой, голодный лай. Она трясется от смеха: «Так тебе и надо, бездарность». Никакой жалости к себе. И к нему, к Павлику, который спасет ее, тоже нет ни жалости, ни благодарности. Жалость, благодарность, любовь, восхищение — все это только для Тьерри. Да, даже благодарность. Несмотря ни на что. И он прав, он тысячу раз прав. Разве можно такую любить? Такую бездарную, оплеванную, отвратительную «жабу»? Она вскакивает с постели, она подбегает к зеркалу, ища в нем подтверждения своей отвратительности. И останавливается. Там из глубины зеркала к ней бежит прелестное длинноногое существо, невинным жестом запахивая рубашку на груди. Такое до смешного романтическое, с измученными глазами и светлыми локонами, такое, будто нарочно выдуманное, умильное. Но она не позволяет умилить себя. Да, она прелестна. Но она все-таки противна Тьерри, как жаба. И он прав. Она и себе противна. Ей хочется ножом изрезать, изуродовать свое лицо, чтобы раз навсегда покончить с этой прелестью. Эта прелесть не имеет к ней никакого отношения, она не имеет на нее права. Эта прелесть — обман, ложь, как обманом, ложью было все — даже та первая слеза в зале «Плейель», из-за которой началось ее несчастье. Ножом изрезать, обезобразить, искромсать, чтобы на нее нельзя было смотреть без отвращения, чтобы она действительно для всех стала противна, как жаба. Для всех, как для Тьерри.

Найти нож. Она подходит к комоду, открывает ящик, роется в нем. Ножницы. Можно и ножницами. Она берет их. Какие холодные! Пальцы вздрагивают, и ножницы падают на ковер.

— Я схожу с ума, — сознательно и грустно говорит она. — Мне нельзя оставаться одной. Ни минуты.

Она звонит. Входит горничная.

— Поднимите это, — Люка показывает горничной на поблескивающие на ковре ножницы. Взять их снова в руку она не реша-

ется. — И постойте здесь, пожалуйста, пока я оденусь. Нет, помогать не надо, только постойте.

Она одета. Она спускается в холл.

— Завтра приезжает мой муж. Приготовьте ему комнату.

Вот она подвела фундамент под ожидание. Теперь это уже не надежда, это реальность.

Она идет через улицу к своему автомобилю. Около автомобиля, под фонарем, стоит кто-то и ждет. Стоит и ждет, как когда-то стоял и ждал ее Тъери. Нет, не Тъери, а Арсений. Она все путает. Но сейчас это Тъери. И он ждет ее, как когда-то ждал Арсений.

— Тъери, — кричит Люка, — Тъери!

Человек под фонарем поворачивается к ней и поднимает шляпу.

— Я схожу с ума, — объясняет ему она. — Но это вас не касается, — и она садится в автомобиль, громко хлопнув дверцей.

Она едет обедать. Да, теперь правильнее всего пообедать. Тем более что она не завтракала еще. И вчера тоже не завтракала и не обедала. Или нет, она опять путает, вчера в поезде с русским путешественником. Но это было не вчера, а неделю, две недели тому назад, безразлично когда.

Важно то, что она едет обедать в ресторан, где они часто бывали с Тъери.

Лакей приносит рыбу. Она жадно ест, она глотает не жуя, ей хочется хватать прямо с блюда рукой. В ней все дрожит от голода и жадности. Она кладет в рот большой кусок и вдруг выплевывает его на тарелку. Она сыта. Сыта до отвращения, до пресыщения. Зачем она заказала еще куропатку и спаржу? Оттого, что это любил Тъери. Но ведь не Тъери, а ей придется съесть или если не съесть, то просидеть здесь, пока будут подавать все это.

Она наливает себе вина. Пить приятно. Отвращения к вину нет. Она наливает еще стакан. И куда торопиться? До утра, до Павлика слишком много часов, слишком много одиночества.

Она поворачивает голову и видит человека во фраке посреди зала. Она не сразу понимает, что значит высоко, по-лебединому изогнутая рука и прижатая к плечу скрипка. Тъери? Нет, к Тъери он не имеет никакого отношения. Тогда зачем же он стоит, так решительно навязываясь ее вниманию? И вдруг она слышит мелодию с полутона, слышит оттого, что видит скользящий по струнам смычок. И вот уже целый оркестр поддерживает скрипку, и все кругом полно музыки, и уже нельзя ее не слышать. Люка закрыва-

ет глаза, но музыка не замолкает. Напротив, она вступает в свои права. Становится совсем спокойно, совсем легко. Музыка вытесняет мысли, вытесняет горе, занимает их место, подменяет их собой. Вот так сидеть — ни прошлого, ни будущего. Ни даже настоящего. Только музыка и покой.

Но одинокий, резкий, высокий, чистый звук вырывается из общей толпы звуков, и узкий зеленый блестящий лист бьется, как бабочка по ветру. И этот звук, и этот зеленый лист — одно и то же. Этот звук начало, этот лист его продолжение, и вместе они то же, что эта дрожь в сердце. Этот лист, этот высокий звук. Она поднимает руку, она опрокидывает стакан. Вино течет на скатерть, на платье, на ее колени.

Этот высокий резкий звук, этот узкий лист и эта дрожь. Она узнает их. Но когда это было? Когда? Она смотрит на расплывающееся по скатерти вино. В ту ночь. В ту последнюю счастливую ночь.

В ту ночь этот лист и этот звук означали счастье. Но сейчас? Сейчас, когда ей так плохо, зачем они ей? И вдруг она понимает — неужели же я так несчастна? Так несчастна, как была счастлива в ту последнюю ночь? И этот лист, этот звук не означают счастья, как не означают и горя. Они только высшая точка, такое напряжение души, когда уже безразлично: счастье или горе. Предел волнения и чувств. Не все ли равно, каких волнений и чувств. На такой высоте, в таком плавящем огне, в таком разреженном воздухе счастье, как и горе, освобождается от земного тяготения. Горе равно счастью и счастье равно горю. Полет над жизнью, над судьбой. Полет из этого винного пятна на скатерти, за границы памяти, за границы чувств, за границы жизни в ледяное равнодушие чистым звуком, узким зеленым листом. Тъери? С высоты такого равнодушия даже и его не видно, даже о нем не помнишь. Губы еще повторяют «Тъери», но это лишено всякого смысла, это похоже на птичий крик, тьи-тьи, бессмысленный, жалобный крик. Тьи-тьи...

Лакей вытирает салфеткой скатерть, платье, приносит еще вина. Она пьет. В сущности, жизнь совсем не то, что она думала. Она ошиблась. Она очень ошиблась. Она начнет все сначала. Ведь еще не поздно. Ей только двадцать один год. Музыка. Она любит музыку. Она совсем не знает музыки. Она будет учиться петь. У нее хороший голос. Она станет певицей. И сколько книг надо прочесть, она такая невежественная. Она ничего не знает, ничему не училась. Но еще не поздно. Следующий фильм она будет кру-

тить с Давиэ. Может быть, она и не совсем бездарна. Но, даже если она бездарна, она всегда найдет работу. Оттого что ее уже пустила по кругу опытная рука. Нет, знаменитости она не хочет. Блестящая судьба, какой вздор. Павлик, Тролль. С ними она никогда не расстанется. Ребенок? Это будет их общий с Павликом ребенок. Нет, Павлик никогда не упрекнет ее. Ведь Люка для него то же, что Тъери для нее, Люки. Разве она посмела бы в чем-нибудь упрекнуть Тъери? Сына она назовет Миша, в честь Тролля. Медведи обыкновенно Мишки, это только у Тролля такое глупое имя. Приносят мороженое. Она ест его. Она пьет кофе с коньяком. «Я, кажется, пьяна, — и насмешливо отвечает себе, по-птичьим склонив голову набок: — Тьи-тьи, пьяна, тьи-тьи». Не думать о Тъери. Павлик, дом, сын. Она полюбит сына больше себя. Это будет нетрудно. Она совсем разлюбила себя. А Павлик такой милый, с ним будет хорошо.

Она платит, она встает. Полоски ковра скручиваются и убегают из-под ног. Она идет осторожно к выходу, стараясь перешагнуть через них, как через хворост на лесной тропинке. Лакей догоняет ее у самой двери.

— Мадам, вы забыли ваших лисиц.

Она поворачивает к нему голову, она, не понимая, смотрит ему в лицо. Лакей вдруг горбится и отступает, и она понимает — это оттого, что он увидел ее глаза. Чтобы даже лакей почувствовал, этого она не ожидала. Она опускает веки.

— Спасибо, — говорит она почти весело и накидывает лисиц себе на плечи.

И чувствует, как вместе с этими лисицами ей на плечи легло все прежнее отчаяние, вся прежняя любовь к Тъери. Любовь, отчаяние. Нет, так легко от них не отделаться, их не забыть на стуле. Куда теперь? В отель рано. Еще только десять. Целых двенадцать часов до Павлика и сколько километров! Она поедет в Версаль, она проглотит немного пространства, немного времени. Так легче ждать. Она не могла бы дожидаться утра без автомобиля, прожить все эти часы на одном месте, без движения. Так легче, так утро скорее наступит.

В открытое окно влетает ночной ветер и сухой лунный свет, засыпающий ей глаза сверкающей пылью. Сквозь черные ветки блестит она сама, эта луна. Луна сквозь ветки напоминает детство. Люка смотрит на луну. Годы, как листья с дерева, шурша, спадают с нее: три, пять, восемь. Люка смотрит на круглую, голу-

бую детскую луну с таинственным радостным предчувствием жизни. Все еще впереди и сколько всего — горя, волнений, радости — лицей, Арсений, Павлик, студия, Тъери и еще много, много, о чем даже догадаться нельзя. Жить! Подольше бы только жить. Осторожней, осторожней. Машину занесло на повороте. Я пьяна. Я совсем пьяна. Но как хорошо жить! Как хорошо. Дорога блестит, деревья чернеют. Луна уже не сбоку. Луна выплыла в самую середину черного неба. Она стоит высоко над дорогой, она светит прямо в лицо Люке. Люка смотрит на луну, ей трудно отвести глаза от луны.

Дорога вдруг заворачивает направо, белая, обсаженная цветущими яблонями. Но ведь здесь не было поворота, не было яблонь. Белая дорога поднимается вверх, прямо к небу, прямо к луне. Люка круто заворачивает на белую дорогу, и автомобиль несется между белыми яблонями, все выше и выше. И вот уже Люка стоит на мосту и Тъери бежит ей навстречу: «Это Венеция, Люка. Неужели ты не узнаешь?» Они стоят на мосту, крепко обнявшись.

Нет, она не узнала бы. Так вот она какая, Венеция.

В облаках, под черным горбатым мостом, проплывает голубая венецианская луна. И еще ниже где-то, совсем далеко, в детской Люки, между рядами игрушечных деревьев, сверкая желтыми, круглыми фонарями, катится белый игрушечный автомобиль. Очень прямо, очень быстро. Но вот он сворачивает, налетает на дерево и останавливается. И в окно автомобиля, как птица из клетки, вылетает светловолосая голова куклы и ударяется о ствол.

Но Люке некогда смотреть на то, что происходит там, внизу, в ее детской, с ее игрушками. Она вспоминает, что она стоит с Тъери на новом мосту, что надо пожелать, и желание исполнится. Пожелать здесь, на новом мосту, в Венеции. Она смотрит в освещенные снизу луной глаза Тъери и громко говорит.

— Никогда не расставаться. Вечно быть с тобой, Тъери.

Так волшебно, поэтично, неправдоподобно. Все: и горы белых лилий, и белый гроб, освещенный солнцем, и свечи, и слезы, и горе, как ветер, клонящее головы провожающих. Будто сцена из фильма, а не настоящие похороны.

И во всей этой неправдоподобности правдоподобна, реальна только мертвая Люка. Мертвая Люка в гробу. Кроваподтек на лбу покрыт тюлем, как фатой. Длинное белое платье. Она не похожа

на невесту. Нет, скорей на девочку в день первого причастия, на одну из тех девочек в фате и с цветами, которыми сейчас полны улицы Парижа.

Мертвое лицо Люки. Не девическое, даже не детское — кукольное лицо. Когда кукла еще в работе и ей еще не придали никакого выражения. Решительно никакого. Отсутствие всякого выражения, невозможное, пока человек жив. Но Люка мертва, и это сразу видно. Она не кажется спящей, она мертва. Смерть не дала ее лицу ни мраморной прекрасности, ни гордого покоя. Смерть не дала ему ни того знаменитого упрека: «Ах, что вы со мной сделали?», ни просветленной кротости, ни строгости, ни святости. Нет, смерть, ничего не дав ему, сразу, не дожидаясь тления, покончила с этим лицом, уничтожила, стерла его. Эта белая девочка-кукла совсем не похожа на живую Люку. Как будто Люка состояла только из оживления, прелести и движения. Она даже не красива, эта кукла. Это не Люка, это труп Люки. Отвратительное слово «труп» совершенно точно определяет это мертвое лицо, это мертвое тело.

Люка мертва навсегда, нельзя себе представить, что эти мертвые веки могут открыться, эти мертвые губы — вздохнуть, и даже чудо воскресения, обещанное всем, кажется здесь невозможным. Мертва навсегда. Но страсть, которая еще так недавно жила в Люке, не успела еще улететь, найти себе новое место в мире, она еще тут, она сиянием свечей, запахом лилий, церковным пением входит в кровь провожающих, заставляя их так страстно плакать. Так страстно, будто сама Люка оплакивает себя их слезами. Мертвое лицо Люки, лицо куклы. Но, если взглядеться, от него, сквозь свечи, пение и цветы, как сквозняк, как струйка ладана тянет еле уловимым страхом. И все сквозь горе и слезы смутно чувствуют этот страх. Да, чуть-чуть страшно. Чуть-чуть страшно всем — Герэну, и статистам, и Лоранс, и даже Павлу Дэль.

Тъери стоит далеко от гроба, у самого входа в свадебно-похоронном официальном рединготе, с свадебно-похоронным официальным выражением лица. Он один во всей церкви кажется равнодушным. Но и ему страшно.

И вот уже надо идти прощаться. Нет, ему страшно. Он не пойдет. И вот уже гроб выносят из церкви.

Лоранс стоит на паперти сгорбленная от горя рядом со старухой-нищенкой, сама как старуха нищенка. «Это, наверно, подруга Люки», — думает Павел Дэль. Она плачет, она всхлипывает, затыкая рот платком. Павел Дэль подходит к ней ближе. Она роняет

платок будто нарочно, чтобы дать ему возможность заговорить с ней. Он поднимает платок. Но она плачет, она не замечает его.

— Простите.

Ему непременно надо поговорить с ней. Она, наверно, знает, она подруга Люки. Она поворачивает к нему плачущие, отсутствующее газа.

— Вы уронили, — он протягивает ей платок.

Но она не берет платка. Платок не доходит до ее сознания.

— Спасибо, — все-таки говорит она и отворачивается.

Но он не может оставить ее в покое.

— Вы очень любили Люку?

Она хочет ответить, но только всхлипывает.

— Вы были ее подругой? — она трясет головой, слезы текут по ее щекам. — Она была моей женой, — объясняет он свою настойчивость, — и я хотел бы у вас...

Но она прерывает его.

— Вашей женой? — она протягивает ему руку, она крепко жмет его руку своей маленькой рукой. — Какой вы несчастный. Господи, какой несчастный, — все человеческое сочувствие, вся готовность разделить его горе смотрит на него из ее глаз. Ей хочется обнять его, утешить, прижаться лицом к его черному пальто. — О, какой вы несчастный, — она находит в толпе своего отца, подзывает его, знакомит их. — Подумай только — ее муж.

— Поедьте с нами на кладбище, — просит Лоранс, и Павел Дэль соглашается.

Катафалк и повозка с цветами медленно трогаются.

Павел Дэль садится в автомобиль Герэна. На минуту он забывает, куда и зачем едет. Возможность расспросить Лоранс о живой Люке становится важнее последних проводов мертвой Люки.

— Вы были дружны? — спрашивает он.

Лоранс качает головой.

— О, нет, — она только восхищалась Людмилой Дэль. Как все, кто ее хоть раз видел. — Я даже не была с ней знакома. Но мой отец хорошо знал ее.

Герэн кивает: да, он хорошо знал ее. Да, он тоже восхищался ею.

— Она говорила мне о вас, — вспоминает Павел Дэль. — Но отчего?..

Губы его дрожат, он не может кончить фразы. Но Герэн и так понимает. О чем может спрашивать этот несчастный, как не о смерти Люки?

— Безрассудная смелость, вера в удачу. И она всегда неосторожно правила. И она была переутомлена. Только что кончила картину, накануне вернулась из Венеции.

Все это Павел Дэль знал по газетам, по рассказам. Не это ему нужно.

— Вы знаете, она вызвала меня телеграммой в день... — он останавливается. — Я приехал утром, она была уже... — он снова останавливается. — «Приезжай немедленно». Больше ничего. Я не могу найти объяснения, почему именно в тот день...

Но Лоранс сейчас же находит объяснение.

— Ведь это совсем понятно. Она кончила фильм, она вернулась из Венеции. Оттого она и позвала вас, — говорит Лоранс логично, ясно, неоспоримо.

Да, объяснение найдено. Ложь, как молния, прорезает мрак правды. И правда бледнеет, тает, исчезает. Ложь, как молния, нет, как солнце утешительно сияет в пустом небе. И Герэн не спорит. Значит, это действительно было так. Павел все-таки спрашивает:

— Разве она была одна? Разве никакой любви?

Заплаканные ресницы Лоранс тяжело взлетают. Это не муж Людмилы Дэль. Это враг. Как он смеет? Людмила Дэль жила совсем одна. Ничего, кроме работы, карьеры. У Лоранс от возмущения не хватает голоса, она поворачивается к отцу.

— Расскажи ему.

И Герэн рассказывает — то, что ждет от него Лоранс. Он сам говорил ей, что слухи о связи Люки с Ривуаром только клевета и зависть, он сам создал аскетически-героический облик Люки, которым так пленилась Лоранс. Теперь поздно его разрушать. И зачем еще больше огорчать этого бледного, обманутого вдовца? Так благороднее, человечнее, лучше. Перед памятью Люки, перед Лоранс, даже перед собой. Чистота Люки восстановлена.

— Конечно, она позвала вас оттого, что кончила работу.

— Она в телеграмме просила привезти плюшевого медведя. Она была еще совсем... — но договорить Павел не может, он плачет. И Герэн тоже вытирает глаза, — совсем девочка... Плюшевого медведя.

Гроб Люки опустили в могилу. Тъери вслед за другими бросает горсть земли на крышку гроба. Резкий звук, как удар — будто он ударил мертвую Люку. Он поворачивается. Теперь все. Теперь можно идти. Он молча проходит сквозь толпу. Нет, он не вино-

ват. Это несчастный случай. Но лучше все-таки уйти отсюда поскорее.

На боковой аллее стоит Тереза. В черном, под черной вуалью. Он хочет пройти мимо нее, но она берет его под руку.

— Оставь, — говорит он коротко и отнимает руку, — я просил тебя не являться. И эти вдовьи крепы смешны.

Она мелодраматично спрашивает:

— Тъери, она простит нас?

«Нас» — объединяющее их как сообщников преступления. Но он не чувствует себя преступником. Пусть только Тереза оставит его в покое.

— Никто не виноват. Несчастный случай.

Черные глаза под черной вуалью суживаются.

— А ты уверен, что несчастный случай? Что не она сама?

— Вздор.

Он ускоряет шаг. Она почти бежит за ним.

— Ты довезешь меня, Тъери?

— Нет, — говорит он, не поворачивая головы.

Она останавливается. Она приехала сюда из чувства вины перед этой прелестной, несчастной девочкой и еще из тайной гордости победы. Ей, Терезе, сорок лет, а Люке было только двадцать. Но победила Тереза. И окончательно. Навсегда. Бедная, прелестная девочка, она привезла ей цветы. Но она не успела даже положить их на могилу Люки. Она бросает цветы на первую встречную могилу. Она прижимает платок к глазам — ничего нет удивительного, что она плачет на кладбище. Они только утром вернулись из Швейцарии. Тъери был весел, никаких предчувствий. Они не читали газет в пути. Они узнали сейчас же. Еще в прихожей. От лакея. Тъери сказал только: «Тебе лучше поехать к себе из-за репортеров. Они уже приходили сюда». Это было правильно, и она, не споря, уехала домой. Нет, Тъери не казался огорченным. Даже меньше, чем она.

День прошел. Похороны заняли в нем немного места.

Тъери лежит на своем широком диване. Он думает о фильме. Он знает, что фильм провалится, не может не провалиться. А что потом? Разорение, крах. Все до последнего галстука, до последнего франка, до этой аллегорической последней нитки, которой шито благополучие, дернув за которую все сразу расплывется по швам. Еще две недели до появления фильма — отсрочка. Две недели на все про все. Потом опять как семь лет назад. Она принес-

ла ему несчастье. Да, он знал, он даже ждал несчастья. Иначе и быть не могло, ее смерть окончательно прикончила все. Провал, крах, разорение, ничего другого ждать нельзя, ничего другого не будет.

Он просыпается ночью. Что ему снилось? Он смотрит на низкую лампу на столе, стараясь вспомнить. Ах да. О ней. Нет, не она снилась, он просто думал о ней во сне — во сне он не мог заставить себя не думать ней. И во сне он вспомнил. Они в ту ночь, перед самым разрывом, вернулись поздно, было очень холодно. Она дрожала, лежа в постели. Она никогда ни о чем не просила, но тут попросила чашку чая. И он сказал, что не умеет. Он лег и в тишине, в темноте чувствовал, как она дрожала от холода. Она лежала около самой стены. Ей, наверно, было бы теплее, если бы она прижалась к нему. Но она не смела. Чашку чая — это, пожалуй, единственное, что она попросила за все время. Почему он отказал ей? Он встает. Он идет на кухню. Он ищет спички, зажигает газ. Разве это так трудно? Вода кипит. Он заваривает чай. Он нарочно проливает кипящую воду на руку. Даже если бы он тогда обварился, разве уж это так больно и нельзя было вытерпеть? Он кладет в чашку полтора куска сахару, она всегда отламывала и оставляла кусочек на блюдечке, несет чай в спальню, ставит его на столик возле дивана. Вот и все. Больше она ни о чем не просила. Почему он отказал ей? Он, может быть, даже не обжег бы тогда руку, как сейчас. Но и ожог почти совсем не болит. А она дрожала от холода, и окно было открыто. Он ложится. Он тушит свет. Он засыпает снова.

Люку похоронили, и Павел Дэль остался на свете один. Смутная надежда, которую, как милостьню, подала ему Люка при их единственном свидании в кафе, куда она приезжала взволнованная, виноватая, счастливая. «Не умирай, Павлик, пожалуйста. Ты еще можешь мне понадобиться», надежда «еще понадобиться» Люке, дававшая ему силу жить, теперь исчезла вместе с Люкой. Теперь его жизнь не была основана ни на смысле, ни на надежде, ни на необходимости. Ни даже на привычке. С тех пор, как Люка ушла от него, каждый день, каждый час превратился в страдание. Всегда новое страдание, по-новому терзавшее его — любовью, ревностью, обидой, даже жадной мести, страдание, к которому нельзя было привыкнуть. Надежда еще пригодится Люке. Он мечтал о ней под шум машин на заводе. Хор рычагов и колес, как хор греческой трагедии, пел о роке, о судьбе, поддерживал веру в неиз-

бежность встречи, утешал, обещал. И Павел ждал. Вечером, сидя один в своей лионской комнате — он перевелся в Лион, не было никакой возможности выжить в Париже, — сидя под лампой без газеты, без книги, перед молчащим радиоаппаратом, он прислушивался к шагам прохожих. Ему казалось, что он сейчас услышит шаги Люки, что она уже взбегаёт по лестнице, что сейчас откроется дверь, войдет она, войдет, станет на пороге и скажет: «Павлик, ты нужен мне». И хотя она была в Париже и приезд ее был совершенно невозможен, он каждый вечер ждал ее.

Но теперь она умерла. И жить, ждать, надеяться уже было нельзя. И все-таки после похорон он еще вернулся домой, он даже, будто устраиваясь уютнее в еще долгой жизни, снова стал хлопотать о переезде в Париж, чтобы напоследок посидеть на могиле Люки, чтобы проще было хоронить его на одном кладбище с Люкой. Он не спешил. Торопиться теперь было некуда. Было даже еще что-то, что удерживало его на земле, чего он ждал, чего он непременно хотел дожидаться, без чего он не хотел уходить, — фильм Люки. Увидеть ее еще раз. Попрощаться с ней. Нет, ожидание еще не совсем кончилось. А пока можно ждать — можно жить.

Май проходил дождливый и холодный, полный тумана и в конце его, прячась в самом туманном углу, ждал день первого представления фильма. И вот он настал, этот холодный, дождливый день.

Павел Дэль входит в кинематограф, билетерша провожает его на место. Он видит издали Лоранс Герэн. Она тоже в черном, будто и она носит траур по Люке. Она кивает ему, делает знак рукой в черной перчатке, чтобы он пришел в ее ложу. Нет, он не может. Он должен смотреть на Люку один. Свет гаснет. Но это еще не Люка — это экспедиция к полюсу. Сияющие прозрачные льды... Ему кажется, что это не льды, а материализовавшееся, нашедшее свою форму страдание. Уже отработанное, уже отслужившее страдание, откочавшее, отплакавшее и теперь сияющее холодом и чистотой. Но зачем? Кому оно нужно? Он так долго ждал, он не может больше ждать. Он встает, он готов уйти. Он наступает на ногу соседу, он снова садится в кресло, закуривает папиросу. И вот наконец название фильма. Бесконечные имена и среди них Людмила Дэль. Имя Люки настоящее, паспортное, без прикрас, имя, которым ее при нем никто никогда не называл. Она, как обещала ему, сохранила его фамилию — Дэль. И это радует его как подтверждение, что связь между ними не разорвана даже смертью.

Он смотрит на экран. Где же она? Ее нет. Какая-то брюнетка, какой-то молодой человек. От волнения он не понимает, о чем они говорят. И какое ему дело до всего, что не Люка. Ее нет, ее все еще нет. Магазин, сад, какая-то зала и столько разных лиц и голосов. Но Люки нет, ни ее лица, ни ее голоса. Он больше не может ждать. Это обман, ее вовсе нет в фильме, это ложь, он уйдет, он не позволит издеваться над собой. Его нарочно заманили сюда именем Люки. Он не знает, зачем, для чего, но ясно, что это обман. От волнения он на минуту закрывает глаза. И вдруг треск, грохот, крики. И уже нельзя не смотреть, не видеть того, что происходит на экране. Горящий аэроплан падает с неба огненным столбом, вот уже грудой дымящихся щепок лежит на земле. Но Люки нет, Люки все еще нет. Только какие-то плачущие люди и обгорелые мертвые тела. На полотне теперь небо, луна и туманные облака, они ясно видны. И ясно виден белый ангел, бегущий по облакам. Он приближается, он останавливается, он растет. Это не ангел, это Люка. За ее плечами крылья. Она протягивает руки, она смотрит прямо на Павла светлыми мертвыми, пустыми глазами, ее губы шевелятся, она открывает рот — загробный глухой нежный голос несется по залу. Это она, Люка. Мертвая Люка. Это она, мертвая, пришла попрощаться с ним. Он хочет броситься к ней, схватить ее за руку, удержать. Он вскакивает, толкает соседей. Загробный голос Люки зовет его.

В зале зажигают свет. Кто это кричит таким звериным затравленным криком? Отчего его голова, как мяч, ударяется об пол и подскакивает?

Сквозь звериный крик другие человеческие крики: «Доктора! Неужели нет ни одного доктора?» Над ним наклоняются, по частям поднимают его, его руки, его ноги и уносят все куда-то. Только голова осталась рядом со шляпой и продолжает прыгать и кататься по полу. Но вот и ее уносят. И все вместе — ноги, руки, шляпу, голову — все, что составляет его, Павла Дэля — кладут на диван. И все это — шляпу, руки, голову, ноги, всего его, Павла Дэля, покрывают, как тяжелым ватным одеялом тишиной и темнотой.

Наконец человека, бывшего на полу, унесли. Его несли через всю залу, и он все еще продолжал кричать, он все еще дергался, и от этого казалось, что он борется, что он вырывается, что его тащат на казнь. Его уже унесли, но крик еще доносится через двери. Но вот снова тушат свет. Наступает тишина. Сеанс продолжается. Тьери сидит один в ложе. Он, когда раздался крик, не вскочил, не

побежал вместе с другими, никого ни о чем не спросил. Этот крик даже не явился для него неожиданными. Он ждал скандала, он только не знал, какой это будет скандал. Но что-то должно было случиться, что-то обеспечивающее полный, неоспоримый провал. После крика этого эпилептика почти невозможно смотреть, почти невозможно слушать фильм. Крик живого звериного страдания, крик горя, крик смерти все еще стоит в воздухе. И оттого, что он такой безобразно настоящий, все голоса, все слова, все происходящее на экране кажется балаганом.

Нет, Тьери все-таки не думал, что это так оскорбительно, так глупо. И как фальшиво все играют. Даже Люка. Конечно, у нее не было таланта, но все-таки чтобы так бездарно — провал, провал, провал. Он смотрит на экран, кривя губы от злорадства, будто это провал конкурента, будто не он вложил столько времени, столько страсти, все свои деньги, все свое будущее в это бесславно крахнувшее дело. Этот вздор казался ему передовым, современным. Этот вздор, этот балаган — новым словом? Какое идиотство. Трудно досмотреть, досидеть до конца... Венеция. Сцены, которые они крутили без него. Люка в белом платье в гондоле, бледная, почти призрачная, почти прозрачная, такая, что странно, почему сквозь нее не просвечивают каналы, дворцы и гондолы. И вот она в театре, на сцене, с огромным веером из черных перьев, как щит загораживающим ее, такую слабую, от слишком бурных восторгов зрителей, готовых, кажется, унести, смести ее со сцены. Она поет. Сквозь злорадство, сквозь ненависть, сквозь презрение ко всему, что делается там, на экране, Тьери вдруг чувствует слабый укол. Как хорошо поет Люка, как безнадежно. Букет роз падает к ее ногам, и это вполне справедливо, заслуженно. Первое не фальшивое место в фильме — цветы после такого пения.

И опять Люка. Она ждет любовника в зале у окна, и в окно видна Венеция. На Люке широкое вечернее платье. Светлые локоны спускаются на ее голые плечи. Она ждет, она волнуется. У нее действительно измученное ожиданием и любовью лицо. Она ломает руки, и даже этот театрально-фальшивый жест кажется необходимым. «Жак», — зовет она таким голосом, что, если этот Жак только услышит ее голос, он не сможет не прийти. И он слышит, он входит. Разрыв. Да, это разрыв. Люка плачет. Она действительно плачет. Это настоящие, не глицериновые слезы. Она плачет, всхлипывая по-детски, так, что трудно разобрать ее слова. Плачет, как плакала при нем, Тьери. Она бросается на диван, ее широкое пла-

тье разлетается, она кидает подушки на пол. Она плачет все сильнее, все беспомощней. Слова, слова... Не все ли равно, что она говорит? Она снимает с шеи брильянтовую цепь и возвращает ему. Без этого брильянтового блеска она становится еще воздушнее, будто брильянтовая цепь привязывала ее к земле и теперь уже ее ничего не удерживает. Она протягивает ему брильянтовую цепь таким умоляющим жестом, будто эта цепь может связать их. Но он, ее любовник, не берет цепи. Она целует его с мучительно-мученической нежностью, и он уходит. Тъери чувствует, что ему трудно дышать от жалости. Такая прелестная, такая обреченная на гибель. Нет, это не Люка, не та Люка, которая так же вот плакала перед ним, так же, с таким же лицом просила его. Нет, он не помнит о Люке, он забыл Люку. Но судьба женщины на экране, хотя он знает каждое ее слово, каждое ее движение, хотя он десятки раз просматривал, прослушивал их, волнует его.

Теперь она сидит на постели в наглухо застегнутой длинной ночной рубашке. Она читает какую-то книгу, ее наклоненное лицо совершенно ясно, совершенно спокойно, и это непонятно — ведь он, ее любовник, бросил ее.

По комнате ходит сестра милосердия. На столе у постели бутылки лекарств. Люка читает. Она поворачивает страницу книги, она поднимает голову и смотрит прямо перед собой на зрителей, на Тъери. Ее глаза, как два пятна горя на спокойном, молодом лице. Сестра милосердия поправляет подушку. И вдруг Люка захлопывает книгу, руки быстро пробегают по простыне, плечи двигаются, голова поворачивается то влево, то вправо, наклоняется, прислушиваясь к чему-то, и лицо меняется — тяжелое беспокойство затемняет его ясность. Она откидывает одеяло, она встает, такая тонкая, высокая, в длинной рубашке. Она поднимает локти, она даже немного подпрыгивает, как птица, готовая сняться с места и полететь. И только тогда за дверью раздаются шаги и входит он, ее любовник. Он протягивает к ней руки, он что-то говорит. Но она уже падает всей тяжестью, будто ее толкнули в спину, и он, подбежав, успевает подхватить ее. Они стоят обнявшись, ее лицо спрятано на его плече. Она произносит только одно слово — «навсегда».

Тъери встает. Он больше не может оставаться здесь. Сейчас конец. Пожимать руки, принимать поздравления, звучащие как соблезнования. Провал, и никто не может сомневаться в этом. И эти последние сцены ничего не спасли, они скорее еще увеличили ощущение провала тем, что совершенно выпадают, тем, что еще

сильнее подчеркивают всю балаганность, отсутствие ритма и цельности. Фильм от них стал только еще отвратительнее, оскорбительнее. Провал. Он, Тьери, теперь конченный человек, и все знают, что он конченный человек.

Тьери возвращается домой. Он отпускает лакея: «Завтра вы мне тоже не нужны». Он закрывает окно, задергивает шторы, чтобы все было спокойно, тихо, мертво, чтобы воздух не врвался сюда из враждебного мира, чтобы воздух стал неподвижным, чтобы в нем уплотнилось отчаяние. Потому что это действительно отчаяние. Тьери ложится, закуривает папиросу. О чем думать? Думать не о чем. И разве он не ждал этого? Начинать сначала «борьбу за существование»? Но ему не так уже хочется существовать, чтобы снова пускаться в борьбу. Он лежит на спине, он смотрит на белый блестящий потолок. Если бы можно было просто уснуть. Но стреляться, вешаться, отравляться — на это у него нет сил. Он, такой энергичный... Но энергия вся съедена до последней крошки, а взять новой неоткуда, как неоткуда взять денег, успеха, надежды. Он тушит папиросу о стену, бросает ее на ковер. Он, такой аккуратный... Но аккуратность исчезла вместе со всем остальным, с энергией, с успехом. Она, как и все остальное, была только выдумкой, только ложным представлением о самом себе — я энергичный, работоспособный, я всего добьюсь, мне все удастся.

И вот он лежит в накуренной комнате с окурками, рассыпанными по ковру, с зажженной лампой, хотя ночь уже прошла, хотя уже день и телефон уже несколько раз бессмысленно надрывался в кабинете. За ночь ничего не изменилось. И что вообще может измениться теперь? У него болит голова, он перекурил, но курить все-таки занятие. Доставать из портсигара папиросу, щелкать зажигалкой, стараться пустить дым кольцом.

— Это не был несчастный случай, это было самоубийство, — в буре от табачного дыма воздухе голос Тьери звучит хрипло, и сразу становится ясно, что это о Люке, о ней, а не о себе он думал всю ночь. Это было самоубийство. Да это было самоубийство — он это понял вчера, глядя на экран. Как она просила, как пела, как плакала. В Венеции Давид кричал о таланте и все вместе с ним. Талант? У нее не было никакого таланта. Это было горе, это было отчаяние, а не талант. Она играла самое себя, она плакала о себе, она уже знала, что умрет, если... Тогда еще оставалось «если» — если, как в фильме, он не вернется к ней. Нет, это не была игра, это была ее жизнь. Оттого, когда любовник вернулся к ней и она так

потрясающе упала, она не подняла, не показала своего лица. Лицо должно было быть счастливым, но изобразить счастье она уже не могла. «Навсегда» — сдавленным тихим голосом, спрятав лицо, спрятав горе. Да, он понял тогда, что она нарочно налетела на дерево. Она была горда, она не хотела, чтобы догадались. Она нарочно телеграфировала мужу, чтобы и подозрения не было. И никто действительно не узнал. Несчастный случай. Тъери бросает папиросу. Он больше не может лежать. Он знал, что она принесет ему несчастье. И себе тоже. Но об этом теперь не стоит думать. Он встает, он смотрит на часы — пять часов. Уже пять часов дня, а он еще ничего не ел. Он стоит босой на ковре, покрытом окурками, он надевает пиджак поверх измятой пижамы, хотя рядом лежит приготовленный лакеем халат. Но халат такой шелковый, богатый — его надеть было бы мучительно. Тъери поднимает воротник пиджака и, переступая через лакированные утренние туфли, босиком подходит к зеркалу и почти с удовольствием смотрит на себя. Да, это почти то, что надо. Небритое, опухшее, серое лицо, растрепанные волосы, поднятый воротник пиджака. И главное, эти бесцветные, тусклые, трусливые глаза. Это он, Тъери.

Он выходит в кабинет, на свет, на солнце. Чистота и отвратительная красота кабинета неприятно действуют на него. В кухне лучше. Он открывает буфет, ему хочется есть. Он находит колбасу, варенье и масло. Хлеба нет. Он жадно съедает все, что нашел, стоя тут же, перед буфетом. Вкус? По всей вероятности, вкус у всего этого был, но он не почувствовал его. Теперь, вытирая руки о пиджак, ему кажется, что вкус был отвратительный. Он выпивает стакан воды из-под крана, он возвращается к себе, закрывает дверь в кабинет. Лампа, горящая в табачном дыму, простыня, свисающая с дивана, окурки, разбросанное платье... Он просидит до завтра так, без книги, без газет, без мыслей.

Завтра. Завтра видно будет, как покончить со всем этим и с собой. Только не как она. У него не хватит смелости. Он трус. А раньше он не знал, не догадывался, что он трус. Раньше он о многом не догадывался. Но газ открыть — на это у него должно хватить смелости. Ведь совсем не больно, уснешь. Если бы он не встретил ее тогда у Плейеля, если бы он не увидел, как она плакала, она не играла бы в его фильме. И он мог бы остаться жить. Если бы она не принесла ему несчастья. Опять звонок. На этот раз у входной двери. Пусть звонят, он не откроет. Как настойчиво, как упорно, длительным, пугающим звоном... Так звонит полиция у дверей преступника. Сейчас начнут стучать, выломают

дверь. Ему действительно страшно — но что страшного может теперь случиться? Сейчас начнут стучать, выломают дверь. И в эту минуту из прихожей действительно слышится стук. Тьерри встает. Нет, он не откроет. Но он идет на носках в прихожую и, будто его могут увидеть через дверь, прижавшись к стене, слушает стук. Кто? Зачем? И вдруг он понимает — пожар. Должно быть, горит дом — иначе кто бы посмел так стучать? И, уже понимая, что как раз этого делать не надо, что это выход, что лучше всего выбросить ключ в окно и все будет кончено, — он дрожащими руками отпирает дверь.

И видит постаревшее, поглупевшее от радости лицо Герэна.

С тех пор, как Павел Дэль выписался из лечебницы и перебрался в маленькую квартирку в Париже, время для него как будто вернулось туда, где оно было четыре года тому назад, к его холостой, одинокой жизни, когда в ней еще не было ни «Люки—моей—невесты», ни «Люки—моей—жены», ни «Люки—бросившей—меня», а только предчувствие жизни с ней. Предчувствие началось с первой же минуты. Он влюбился в нее «с первого взгляда». До первого взгляда, как ему потом казалось, просто от ощущения совсем особенного воздуха, который всегда и всюду окружал ее, от ее еще не видимого присутствия, теплом и светом наполнявшего весь угол комнаты, где она сидела в кресле с высокой спинкой, лицом к камину так, что он, подходя к ней, не мог увидеть даже ни завитка ее светлых волос, ни кончика ее черного платья. До первого слова. Слов еще не было — был смех. Она, когда он вошел в гостиную своих друзей, смеялась чему-то. Она протянула ему руку, продолжая смеяться, будто ей казалось совершенно естественным знакомиться, здороваться смехом. И этот ее немного воркующий голубиный смех с отчетливо выговариваемым «гу-у» был первое, что он слышал от нее.

Тогда было предчувствие жизни с Люкой, теперь было воспоминание о жизни с ней. Такое же нежное, поэтическое, влюбленное. Такое же совершенно не похожее на действительность.

Люка умерла, он остался жить. Вопрос о том, что он не останется жить, даже не поднимался после его болезни, будто она, эта болезнь, освободила его от излишка горя, с которым он не мог справиться, будто после его выздоровления у него осталось как раз столько горя, сколько он мог вынести. Он, который, пока Люка была жива, так часто прикидывал в уме способ уйти из жизни, которому казалось, что, если Люка не с ним, ему нет места на земле,

оттого, что Люка ушла из жизни, легла под землю, вдруг расположилась на этой земле как дома, спокойно и уютно со своими воспоминаниями о ней. Эти воспоминания теперь, когда они откристаллизовались, заострились в окончательной редакции, не боясь коррективов будущего (какое же у мертвой будущее?), почти заменяли ему Люку. И даже, хотя в этом он никогда бы не признался себе, на них можно было опереться, положиться, на них можно было построить начало новой жизни.

В них была та добротная фундаментальность, которой, может быть, и не было в живой Люке. От них, от воспоминаний о Люке, уже нельзя было ждать подвоха, они не могли ни обмануть, ни предать его.

Она была совершенна, эта Люка из воспоминаний. Она была прекрасна. Она была чиста. На ее белом платье не было ни одного пятнышка. Даже ее бегство не было пятном. Даже и тогда она была права. Он, Павел, мешал ее работе, ее карьере, ее свободе. Она должна была быть свободной, этого требовал ее талант. Она не разлюбила его, она только на время ушла. Ведь она, закончив работу, позвала его к себе. Она была абсолютно чиста, абсолютно бела. Настолько бела и чиста, что он даже не решался вспомнить, что она была его женой, будто это пачкало, оскорбляло ее. Будто смерть снова вернула ей девственность — она снова была его невеста... Нет, даже в невесте было что-то грязное, какое-то ожидание, согласие, обещание — она была девочкой в белом платье с белым вуалем, такая, как она лежала в гробу. Только живая, бессмертная.

Так воспоминание о Люке превращалось в легенду. Не совсем без оснований, не совсем без пищи. Огромный успех фильма, ее портреты и биографии в газетах и журналах, ее несомненный талант, о котором настойчиво повторяли критики, — все это было пищей, особенной пищей, от которой воспоминания крепились, прибавлялись в весе, росли. Росли, перерастая, подменяя собой горе. Но их нельзя держать про себя, ими надо делиться, они требуют слушателя. И слушатель легко находится. Это Лоранс Герэн. Лоранс, влюбленная в память Люки, Лоранс, всегда готовая говорить, слушать, спрашивать с детской жадностью: «А еще? А потом? А раньше?» Десятки раз одно и то же, с тем же волнением и восторгом. Мнения Лоранс умирительно банальные, вместе с кружевами и гранатовыми серьгами перешедшие к ней от бабушек и старых теток: «Она была слишком хороша, она не могла жить. Мы были недостойны ее».

Лоранс, которая постоянно приезжала к нему в лечебницу, которая ухаживала за ним, чтобы в обмен, в награду, получить обрывок воспоминания.

Она расспрашивает о детстве Люки. Детство Люки. Павел сам почти ничего не знает о детстве Люки, о ее матери и сестре. Люка никогда не рассказывала. Но Лоранс спрашивает, и вот слово за словом, как камень за камнем, строится счастливое русское, с морозами, тройками и снегами, поэтическое детство. Детство, достойное новой Люки из воспоминаний. Такое длинное, обширное, многотомное, трех жизней не хватило бы, чтобы прожить его. Но Лоранс всего мало.

Лоранс краснеет — ей очень хочется узнать о любви Люки, но она не смеет. Она глотает кофе, она вертит ложку, она отворачивается.

Он ведет Лоранс в Люксембургский сад.

— Здесь Люка девочкой бегала с подружками, пускала кораблики в бассейне, покупала шоколад в ларьке.

— Она любила шоколад?

— Да. Не молочный, а черный с орехами.

Про шоколад правда. И про игры тоже. Люка действительно говорила, что ходила сюда каждый четверг.

— А она любила природу?

И потому, как Лоранс нюхает воздух, как проводит ладонью по воде, как наклоняется над цветами, он понимает, что ей очень хочется, чтобы Люка любила природу.

Но любила ли Люка природу, он не знает. Люка часто смотрела вверх на небо над крышами. Глядя на розовый закат, она говорила: «Завтра будет ветер». Как-то осенью они гуляли по Булонскому лесу. Дорожки были засыпаны желтыми сухими листьями. Люка шла, шурша ими, широко разбрасывая их ногами. Она подобрала каштан и долго потом носила его в кармане пальто. Но значило ли это, что она любила природу? И все-таки он отвечает: «Да, очень. Она любила каштаны, осенние листья, закат. Она любила запах земли, травы, дождя. Она говорила: “Как хорошо пахнет гроза”». Разве говорила? Он смутно припоминает что-то. Но, может быть, она сказала просто «пахнет грозой» вместо «гроза будет»?

— Как хорошо пахнет грозой, — повторяет Лоранс нараспев, как строчку стихов. — Скажите, а она скучала когда-нибудь?

— Нет, никогда. При ней даже нельзя было себе представить, что такое скука. Даже когда она сидела одна, ничего не делая, у нее было такое оживленное, внимательное лицо, будто она слуша-

ет что-то очень увлекательное. Она ходила по улицам своей быстрой, легкой походкой, как спешат навстречу радости. Продавщицы цветов всегда приставали к ней. Они, должно быть, чувствовали, что ей естественно ходить с цветами, как другим женщинам с кошелкой с рынка. Она превращала каждый день в праздник, самые жалкие платья казались на ней нарядными. Мы жили бедно, я мало зарабатывал, но, пока она была со мной, я не замечал этого, так все преображалось от ее присутствия.

— Каким чудным она, должно быть, видела мир своими чудными глазами. Как бы я хотела хоть один раз видеть, слышать, чувствовать, как она, — Лоранс поворачивает к нему взволнованное лицо. — Но и так, оттого что вы рассказываете мне о ней, я стала все гораздо яснее видеть, чувствовать, понимать. И любить. Любить все, что любила Людмила Дэль.

— Почему вы не называете ее Люкой? — спрашивает Павел.

Лоранс краснеет.

— Разве я смею? Так фамильярно.

Павел настаивает:

— Зовите ее Люкой.

И Лоранс благодарит его, будто он возвел ее в сан рыцаря.

Воспоминания о Люке. Конечно, он сознает, что они разукрашены. И все-таки он старается быть правдивым. Он не меняет ни событий, ни слов Люки, он только старается прояснить их, подчеркнуть в них главное, показать Лоранс живую Люку. Ему не приходит в голову, что он обманывает Лоранс, что он обманывает себя. Он дарит Люке все то, о чем она так мечтала. Мечтала и наконец получила. После смерти.

То время, когда Герэн, по собственному, тысячи раз до него употребленному выражению и потому особенно убедительному, «плясал на лезвии бритвы», когда эта бритва в любую минуту могла разрезать его на две одинаково несчастные, никчемные половины, давно прошло. От этого «бритвенного времени» не осталось ни пореза, ни царапины. Фильм третий месяц идет на Елисейских Полях.

Успех фильма, вернее успех Люки, спас Герэна и Тьерри. Теперь Тьерри уезжает. Его пригласили в Голливуд после успеха фильма. Это награда за все. Голливуд.

Тьерри весел. Он постоянно смеется, не улыбается, а смеется, настойчиво и протяжно, широко показывая все свои сверкающие зубы. Он чувствует себя победителем. Мысль «а мог бы уже лежать в земле» поднимается из черного атласного отворота с треском

отрываемого портным от примеряемого фрака как птица вылетает навстречу его автомобилю из-за поворота улицы. «А мог бы умереть давно» — мысль, придающая самым банальным, мелким жестам острую радость и значительность. Вот он завязывает галстук, а могли уже в последний раз чужие пальцы завязать на его мертвой шее этот самый галстук, слишком туго затянув узел, и теперь и он и галстук уже давно лежали бы под землей. И «Нормандия», каюта на которой уже заказана для него, не повезла бы его через океан в Америку, в новый мир, к новой жизни.

Последний день перед отъездом. Магазины, проводы. И самое последнее — хорошенько выспаться перед путешествием в последний раз в парижской квартире. Все удается, на все хватает времени. Покупки закончены, проводы, речи, даже слезы Терезы, которая все-таки умудряется поймать его у входа в ресторан и тут же на улице разыграть мелодраму: «Я ищу тебя повсюду». В ней ничего не осталось от суховатой подтянутости, от «черного лебедя». Даже мех, и тот дрябло, по-старушечьи, свисает с сутулящихся плеч. Ему кажется, что она плачет, хотя ее глаза сухи. Он с любопытством присматривается. Морщинки под глазами идут длинными стрелами ко рту и создают иллюзию плача. Но сейчас же, будто не нуждаясь в иллюзии, желая играть честно, слезы выступают на ресницах и уже текут по щекам.

— Так расстаться? Так?

— Но почему иначе, а не так?

Вопрос на вопрос. Она впервые плачет при нем.

— Я не знал, что ты так некрасиво плачешь.

Острая радость от доставляемой ей боли та же, как от примерки фрака, и та же мысль: «А мог уже умереть, и этого не было бы». И никогда не испытанное прежде желание мести, но за что? И Тереза понимает

— За что ты мстишь мне? Неужели?..

Он перебивает ее.

— В твоём возрасте нельзя себе позволять плакать.

— Ты зверь, Тъери, ты хуже зверя, — те же слова, что в ту ночь в Венеции, но тон совсем не похож, не победительный, побежденный. — Неужели ты так ничего и не скажешь мне на прощание?

Он поднимает шляпу. Он низко кланяется ей.

— До свидания, — говорит он. — До очень нескорого свидания.

Она еще хочет сказать что-то, она комкает в руках платок. Он, улыбаясь, смотрит на нее. Она стоит на тротуаре у входа в ресторан, по улице проезжают автомобили, идут прохожие, швейцар с

поклоном открывает дверь ресторана перед посетителями. А она стоит и плачет, будто она одна в собственной спальне. Это совсем как в фильме. И тот же привкус фальши, в котором нельзя разобраться, что, собственно, фальшиво. Удивительно правильно изображают иногда страдание в фильмах. Она что-то говорит, но он не слушает. Он останавливает такси, помогает ей сесть в него.

— Будь счастлива.

Это звучит насмешкой, но он действительно желает ей счастья, тем более что от его пожелания ничего не изменится. Несчастлива она и так будет.

Последняя ночь в Париже, последний до-океанский сон.

Тьерри просыпается от грохота грузовика, собирающего мусор. Обыкновенно он не слышит, он крепко спит. Но сегодня сон такой неплотный, непрочный, незащищающий, как вдребезги сношенное, дырявое пальто. В дыры врывается грохот, и сон трещит и рвется. Теперь он совсем проснулся. Какой это был томительный сон. Надо было вспомнить, отыскать что-то, неизвестно что. На поиски ушла вся ночь, и все-таки ничего не найдено. И теперь, прислушиваясь к громоуханью цинковых ведер, к пулеметному стуку мотора там, на улице, за окном, Тьерри напряженно вспоминает, не забыл ли он действительно чего-нибудь важного, необходимого? Нет, все в наилучшем, наичистейшем порядке — визы, покупки, распоряжения, даже прощания.

И все-таки по гулкому беспокойству крови он чувствует, что осталось еще что-то необходимое. Он уедет, и тогда будет поздно. Надо непременно вспомнить, пока не поздно. От волнения трудно лежать, он встает, надевает свой хрустящий халат, причесывается твердой щеткой так настойчиво и долго, будто надеется вычесать из памяти название того, что ему нужно и что никак не удастся вспомнить. Он роется в своей памяти, как в цинковом мусорном ведре. Роется по-обезьяньи руками и ногами, пробует на вкус, на нюх всю эту ненужную дрянь, эту картофельную шелуху, эти обглоданные кости, пустые консервные банки, просаленные газеты... Но как найти, когда не знаешь, что ищешь? Он идет в кабинет. На столе лежат журналы и письма. Он вскрывает письма. Та же картофельная шелуха, те же пустые банки — мусор, совсем не то, совсем ненужное. Он берет кинематографический журнал. На обложке во всю страницу портрет Люки в белом платье, в широкополой черной шляпе, улыбающейся, счастливой, живой. Да, именно живой. Ощущение жизни, которое он так отчетливо чувствовал в ее присутствии, не просто жизни, а какой-то удачной, победительной,

непобедимой жизни... И она все-таки умерла. Тьерри пожимает плечами. Он хорошо знает эту фотографию, вырезанную из фильма, он смотрит на нее, как когда-то смотрел на портреты царей и полководцев в учебнике истории, с равнодушным любопытством. Он раскрывает журнал. Снова Люка, Люка в пятнадцать лет, в школе, в черном переднике, с идеально детским невинным лицом. Северная девочка со светлыми глазами, светлыми волосами на преувеличенно длинных, преувеличенно стройных ногах. Ноги Люки, они и потом остались почти такими же. Рабочие в студии называли ее «барышня с ногами серны». Обыкновенно говорят «глаза серны». Принято, что серна служит для сравнения глаз, а не ног. Но глаза Люки совершенно непохожи на глаза серны — сонные, нежные, травоядные. Глаза Люки похожи... Не все ли равно теперь, на что они были похожи, раз их больше нет. В голову лезет всякий вздор о сернах, о ногах, а уже без пяти восемь и надо торопиться, надо вспомнить. Он кладет раскрытый журнал на стол, он встает, он шагает по комнате. Надо сосчитать до ста, не напрягаясь, — то, что он ищет и чего не может вспомнить, само выскочит, выпадет из памяти между двумя числами. Он считает громко, шагая в такт. «Сто двадцать пять». И останавливается. Перед глазами скачут цифры, красные, круглые, на желтом фоне, с легким треском сменяя друг друга. Он садится за стол. Может быть, то, что он ищет, скорее найдет контакт с бумагой. Он берет стило, он кладет чистый лист бумаги перед собой. Он поднимает стило, готовый проколоть им нужную мысль, как бабочку приколоть ее к бумаге, чтобы внимательно рассмотреть ее, определить ее имя. Он смотрит на матовую белизну бумаги. Рядом лежит раскрытый горбящийся журнал, детское лицо Люки, преображенное волнообразным ниспадением страницы, расплывается в глянцевом отблеске. Оно тут, но Тьерри не видит его. Он ждет, он крепко держит стило наготове. Пальцы затекли, он поднимает локоть, двигает рукой, стараясь освободиться от судороги. И вдруг, будто его локоть — рычаг, приводящий в движение механизм, рука его сама пишет большими отчетливыми буквами «...рядом с Людмилой Дэль».

— Люка, — говорит он.

И в ответ вся комната наполняется словами, криком, шепотом, плачем, голосами Люки.

— Это твой ребенок, это твой ребенок, Тьерри! Не уезжай. Я не могу жить без тебя. Тьерри, Тьерри! — с отчаянием, захлебываясь от слез, мешаясь, перебивая друг друга, с последней надеждой, совсем безнадежно, — Тьерри, Тьерри!..

День рождения Лоранс. Первый день своего рождения, который она действительно празднует. Прежде этот день только тяготил ее, притягивая к ней внимание домашних и знакомых, почти не замечавших Лоранс в обыкновенное время. Но тут все вдруг вспоминали о ней, пристально разглядывали, целовали, дарили несносные подарки. Она должна была благодарить, приседать в реверансе, повторять заученную фразу: «Спасибо, как раз о такой кукле я мечтала». Нет, она никогда не мечтала о куклах, она их терпеть не могла. Ими уже был набит весь шкаф для игрушек, а ей дарили все новых и новых.

Лоранс всегда надеялась, что забудут. Но утром входила англичанка, и, пожелав «*many happy returns of the day*», объявляла, что сегодня занятий не будет и Лоранс может делать все что хочет. Но Лоранс хотела только, чтобы этот день скорее прошел. Она бродила по дому в нелепом платье из настоящих кружев с пышными голубыми бантами, стыдясь платья, бантов, дня рождения, себя. Бессознательно стыдясь даже того, что вообще родилась. Потом, когда она подросла, ей вместо кукол стали дарить книги и день рождения стал обыкновенным, скучным, будничным днем, только немного более скучным и будничным, чем остальные.

Но Люка любила праздники. Люка праздновала все, что только можно было праздновать. В особенности свои именины и день рождения. Значит, так и надо. Значит, нельзя иначе. И Лоранс просыпается празднично и радостно. Она надевает новое белое гладкое платье, такое, как у Люки в фильме, укладывает волосы локонами так, как Люка. Она идет в столовую. В этом платье, с этой прической гораздо веселее и спокойнее спускаться по лестнице, проходить по залу. Она улыбается себе в каждом встречном зеркале. Это действительно праздник. И отец помнит. А она немного боялась, что именно сегодня, когда ей так хочется поздравлений и подарков, он забудет. Но она уже на пороге встречает его.

— Поздравляю. Давай скорей решим, что тебе подарим.

Она садится напротив него и пьет кофе. Она уже припасла желание, но еще не смеет сказать.

— Что-нибудь очень хорошее, дорогое. Хочешь бриллиантовое кольцо или верховую лошадь?

Она трясет головой.

— Нет, нет, — и улыбается, чтобы скрыть смущение.

Герэн смотрит на нее. Не тем привычным безразлично-отцовским взглядом, который скользил по ней, почти не видя ее, а зорко, оценивая и взвешивая, как на чужую.

— Ты очень выросла. И очень переменялась. Совсем взрослая, — слова еще привычно отцовские, те, которые он уже часто говорил ей. Новое мнение о дочери еще не нашло себе выражения. Герэн быстро касается не то бумажника, не то сердца. Лоранс краснеет под его тяжелым взглядом и опускает глаза. — Ты кого-то напоминаешь мне, не могу только вспомнить кого. Ну а насчет подарка?

И Лоранс решается.

— Я хочу тебя просить, — она поднимает голову, — очень просить. Поставь памятник на могилу Людмилы Дэль.

Самое трудное сказано, и теперь она, спеша, доказывает, что это необходимо, справедливо, ведь отец сам говорил, что многим обязан Людмиле Дэль, что она спасла его.

— Пожалуйста, пожалуйста. Настоящий памятник. Статую. Как на площади. Закажи знаменитому скульптору.

Герэн удивлен.

— В виде ангела. Как в фильме.

— Но зачем ангел? Лучше просто ее статуя.

— Нет, непременно ангелом. Она была больше ангелом, чем женщиной. Я уже давно решила.

— Ты очень странная, — говорит Герэн. — Я тебя совсем не знаю. Ты забавнее, чем я думал. Могильный памятник ко дню рождения, — он снова смотрит на нее. — И знаешь, на кого ты похожа? Я догадался теперь. На эту самую Людмилу Дэль. Да, да, в ней было то же, что и в тебе. Что-то птичье, будто она только присела на стул, вспугнуть ее — и она улетит. И тот же какой-то внутренний переполох от слишком большой молодости. Она была такой в самом начале, когда я познакомился с ней. Потом это скоро прошло...

Он задумывается. Лоранс молчит, она не благодарит. Но это подарок, это второй подарок. Не менее чудесный, чем первый, — сходство с Люкой.

Герэн проводит рукой по гладкому черепу.

— Ну хорошо. Пусть памятник. Завтра же закажем. Но не кажется ли тебе, что надо спросить Дэля, захочет ли он ангела на могиле жены?

Лоранс кивает.

— Я спрошу его. Он придет сегодня. Ах, только бы он согласился.

Только бы согласился Павел Дэль. Лоранс ждет его, она волнуется. В этот сентябрьский день так жарко, так трудно волноваться.

Лакей ставит на стол крендель и семнадцать свечек, по числу лет Лоранс. Сейчас придет Павел Дэль, и они будут вместе пить шоколад с сбитыми сливками. И шоколад, и крендель, и свечи, и гирлянда вокруг стула — все как бывало у Люки.

Отец занят, он придет только к обеду. Будут гости. В спальне на постели уже лежит длинное тюлевое платье, купленное в любимом модном доме Люки, и парчовые туфельки на головокружительных каблуках, заказанные у сапожника Люки. Она встречается с Павлом Дэлем каждый день в кафе или в Люксембургском саду, но он редко бывает у нее. Дома, среди великолепия и пышности, Лоранс робеет и смущается, будто боится всех этих бронзовых грифонов, этих когтей и крыльев, и своего отражения в бесконечных зеркалах, и слишком ярких люстр, и скользких паркетов. Дома ей как-то еще труднее справиться со своими руками и ногами, даже со своим голосом, слишком тихим для этих больших гулких комнат.

Она ждет его в своей белой светлой комнате с лампой, глобусом, с книжными шкафами и старыми географическими картами по стенам. Она когда-то мечтала быть путешественником, исследователем полярных стран. С географическими картами и портретами Люки из журналов и увеличенными неумелыми любительскими снимками, которые принес ей Павел Дэль. Вот здесь Люка ест яблоко. Солнце освещает только ее открытый рот и белые зубы. Здесь Люка на теннисе. Здесь она читает книгу, как девочка, прилежно готовящая урок.

Лоранс стоит перед окном. Вот по этой улице, под этими каштанами пройдет Павел Дэль. Уже четыре часа. Неужели он опоздает, он, такой аккуратный? Как трудно ждать. Но он не опаздывает. Он уже идет. Она видит его издали. Она давно не смотрела на него издали, всегда вблизи, рядом, за столиком кафе. Она очень привыкла к нему, она не задумывалась о выражении его лица. Она помнила его лицо измученным и бледным, таким, как оно было, когда она ездила к нему в лечебницу. Таким оно осталось у нее в памяти. Ей казалось, что оно навсегда останется таким. Но вот она видит его, большого, широкоплечего, уверенно шагающего. Его загорелое лицо совершенно спокойно. Он держит в руках пакет, обернутый в голубую бумагу, и это веселое голубое пятно на его черном траурном пиджаке кажется Лоранс оскорбительным. И когда он успел стать таким спокойным? Она встречалась с ним каждый день, а вот не заметила. Спокойным, почти веселым, как будто Люка не лежит в могиле. Голубой пакет — подарок ей, Ло-

ранс. Но она не думает о нем, она думает о Павле Дэле. Как случилось, что он выкарабкался из такого горя? Значит, и после такого горя можно улыбаться, и это только выдумка, что умирают от любви? Но ей некогда думать, он уже здесь, перед ней, этот переживший такую любовь и такое горе Павел Дэль. Он, улыбаясь, поздравляет ее, желает ей счастья. И она благодарит его за поздравление.

— Я хотела с вами поговорить, спросить у вас...

— Я принес вам подарок.

Она не протягивает руки за пакетом, не спрашивает, что это. Она садится на стул посреди комнаты, робея, как всегда, дома, даже больше, чем всегда, ее ресницы начинают быстро моргать, будто она готова заплакать или обидеться. Она предлагает ему папиросы, встает, пересаживается на другой стул.

— Я хотела вас просить согласиться... — и переводит дыхание.

Он снова улыбается.

— Я, конечно, согласен.

— Ах нет, не так.

Она мучительно чувствует свои уши. Ей кажется, что каждое ее слово камнем падает в море, птицей улетает в небо, строит глухую стену между Павлом и ею, отделяет их на тысячу километров друг от друга и с яростной быстротой снова сталкивает их лбами, так что искры летят из глаз. Но внешне все просто и обыкновенно. Она рассказывает ему о своем желании поставить памятник: «Ангел, как в фильме». И, погибая, воскресая, исходя стыдом и робостью, она объясняет, что отец ей уже подарил деньги, и если только Павел согласится... И он соглашается. Он даже благодарит ее. За что? «Ведь Люка была скорее ангелом, — старается она дообъяснить. — Как жаль, что ей нельзя поставить памятник где-нибудь на площади Парижа. Она была достойна настоящего памятника. Такая необыкновенная. Такая, что почти нельзя поверить. Если бы не вы рассказывали мне про нее, вы, который так хорошо ее знали...»

Он качает головой.

— Нет. Я ее не знал. Я ее любил. Это не совсем одно и то же, — он закуривает папиросу.

— И все-таки мне кажется, что она была действительно такая, как я говорю, — Лоранс убежденно кивает. — Конечно, такая, совсем такая. Я знаю. Но трудно поверить. Слишком много света, прелести, доброты. Слишком необычайная судьба. Чтобы все сразу — и любовь, и удача, и слава. И чтобы каждый день, каждый час были только весельем, счастьем, исполнением желаний. Знаете, — брови Лоранс высоко поднимаются, — то, что она жила, то, что она

была именно такая, мирит меня с уродством, с нищетой, со злом. Да, да, со всеми бродягами, мерзнущими под мостами, с горбатыми стариками, со слепыми, с умирающими от голода детьми и с котятками, которых топят в ведре, со всей несправедливостью, всем ужасом и грубостью жизни. Люка — как доказательство, что бывает счастье, полное, ничем не ущемленное совершенство и щедрость судьбы. Люка была как утешение, — Лоранс встает. — Ах, я не умею объяснить. И вам должно быть смешно. — Она прижимает руки к груди, она приподнимается на носках от желания быть понятой им. — Вы не знаете еще. Но оттого, что Люка существовала, мне самой стало легче жить. А прежде все мучило, оскорбляло меня. Мне было очень плохо. И я так благодарна ей. Ах, вы не понимаете. Я не умею объяснить.

Она смущается. Она отворачивается от него. Нет, он прекрасно понимает. Он даже сам смутно чувствовал это. И как правильно она сказала — утешение. Да, Люка действительно была утешением.

— Я принес вам подарок, — говорит он снова, и на этот раз она берет пакет и благодарит, еще не зная, за что.

Бумага с хрустом разворачивается и падает на пол, Лоранс держит в руках бурого, потертого, плюшевого медведя.

— Троль? — спрашивает она тихо, почти испуганно, и руки ее начинают дрожать.

— Я решил подарить его вам.

Лоранс смотрит на медведя и жмурится, будто на него, как на солнце, трудно смотреть.

— Троль!

Это крик радости, но радость слишком остра, и крик похож на крик боли. Она прижимает медведя к груди, она целует его потертую морду так жадно, как могла бы целовать ее Люка.

Она поворачивает к Павлу Дэлю опустошенное радостью лицо:

— Вы действительно дарите мне его? Совсем?

Он кивает.

— Да, совсем дарю.

Но как? Подарить Тролля ей? Тролля, о котором Люка думала в последний день?

— И вам не жаль? — спрашивает она тихо, так тихо, что он не слышит.

Она не понимает, ей надо подумать, привыкнуть к радости. Она осторожно сажает Тролля на стол и отходит к окну, к деревьям, к тишине неба. Она в смятении смотрит на осенние листья, кружа-

щиеся в вечернем воздухе, как золотые рыбки в воде. Она чувствует, как что-то тяжелое оборвалось, передвинулось в ней и там, глубоко внутри, где было так темно и душно, теперь сквозняк и солнце. Еще ничего нельзя понять, нельзя разобраться, нельзя рассмотреть — слишком светло, слишком ветрено.

Она впервые чувствует, как прекрасен этот вечер, этот Париж и этот мир. И что этот вечер, этот Париж и этот мир не были бы так прекрасны, если бы она, Лоранс, не стояла бы здесь у окна, не смотрела бы на них. Она впервые смутно сознает свое участие в мире, свое место в нем, свою единственность, свою неповторимость. Она совсем по-новому чувствует ветер, деревья и камни мостовой, будто проникая в их суть, в их душу. Деревья, ветер и свою комнату, казавшуюся ей прежде клеткой, книги в шкафах, каждую отдельно, письменный стол, ковер.

Вот она обернется и впервые по-настоящему увидит их, увидит, поймет, полюбит. Они там, за ее спиной, она чувствует их присутствие. И присутствие спокойного сероглазого человека, так безрассудно подарившего ей Троля.

Она боится, чтобы ветер не закружил ее в воздухе, не оторвал ее от земли. И чтобы удержаться на земле, чтобы немного успокоить волнение в противовес ошеломляющему ощущению жизни, она вспоминает о смерти, о чужой безразличной смерти.

— Сегодня ровно месяц, как застрелился Тъери Ривуар, — говорит она, прежде чем обернуться.

Приложение

Из откликов английской и американской прессы на английский перевод романа «Ангел смерти»

«Трудно сказать, что прекрасней в этой на редкость прекрасной книге. “Ангел смерти” так нежно и тонко написан, что его можно сравнить только с самыми воздушными рассказами Катерины Мансфильд».

Manchester Guardian

«Роман слегка напоминает “Пробуждение Весны” Ведекинда, но немецкая драма тяжела и нарочита, тогда как эта трагедия юности рассказана чрезвычайно тонко. Она написана с очень большой скупостью средств, и все-таки все ее характеры живут. Письмо Одоевцевой — чудесно: то, что могло стать оскорбительным, превращено в нечто прекрасное и изысканное. В книге разлита трагическая красота...»

Evening Post (Chicago)

«Это роман юности, полный снов, ужаса, очарования, редкой прелести. Он легок и в то же время чрезвычайно содержателен... Одоевцева создала вещь незабываемой красоты».

New Statesman

«Книга Одоевцевой — одно из выдающихся событий книжного сезона Америки. Она будет иметь успех, привлекать к себе внимание, заставит много о себе говорить. Это одна из лучших книг, переведенных с русского за последнее десятилетие».

Canonsbourg Notes

«Изысканный и очаровательный аромат романа нельзя передать словами. Книга очень умна и очень интересно построена. Каждая фраза полна трагикомического смысла...»

Times

«Книга полна тяжелого трагизма. Удивительное психологическое исследование нездоровой юности, написанное легко, как рисунок пером...»

Winston-Salem Journal

«Читатель разрывается от симпатии к обеим героиням романа. Их трагедия оставляет горький осадок после того, как прочитана последняя волнующая страница... Эту книгу нелегко забыть».

Sat-Right

«Очаровательная, единственная, высокохудожественная книга. Документ мрачный и в то же время полный надолго запоминаемой прелести. Одно из немногих настоящих событий в книжном мире...»

B. Monical

«Опасная тема разработана с удивительной нежностью и тонкостью. В этом залог долговечности этой книги...»

Birmingham Post

«...На книге Одоевцевой лежит безошибочная печать очень большого таланта (Genius). Мы даже осмеливаемся поставить ее на один уровень с Чеховым. Никакая похвала не кажется нам чрезмерной в отношении ее книги...»

Gastonia Gazette

Г. Адамович

<Из статьи
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ.
ШМЕЛЕВ — ИРИНА ОДОЕВЦЕВА — ДОВИД КНУТ» >

<...> Ирина Одоевцева вносит с собой в нашу литературу что-то новое. Говоря, конечно, о новизне не столько литературной, сколько личной и человеческой. Одоевцеву сразу можно узнать, ее писания ни с какими другими не спутаешь. Очень странный человек, с душой причудливой, легкой и насмешливо-печальной.

Одоевцева начала со стихов. Она пишет их теперь все реже и реже — и это очень жаль, потому что именно в стихах ее своеобразие было особенно заметно. Многие помнят ее появление в нашей поэзии. Это было, кажется, в двадцатом году — во время расцвета гумилевских поэтических студий. Учеников у Гумилева было без счета, все они писали недурно, по акмеистической выучке, умели сочинить правильный сонет и сразу отличить пятистопную стопу от шестистопной. Но талантов среди них заметно не было. И вот пошел слух, что появилась у Гумилева ученица необыкновенная, пишущая стихи «совсем особенные». Гумилев улыбался, уклончиво твердил: «Да... да... вот, сами видите!» — и наконец представил свою юную ученицу публике. Это и была Одоевцева, принявшаяся на всех литературных вечерах читать свою «Балладу о толченом стекле». Баллада неизменно вызывала восторги. Вместо роз и облаков в ней говорилось про советский быт, вместо вялой певучести или певучей вялости был ритм колкий и отчетливый. И была прихотливейшая фантастика в каждом слове.

Восхитился Горький, восхитился Чуковский и даже Лев Троцкий, в одном из своих «обозрений» брезгливо брюзжавший что-то о пережитках буржуазного искусства, на минуту повеселел, заговорив об Ирине Одоевцевой. Балладный жанр быстро привился: его подхватил Тихонов и удачно продолжил.

Стихи Одоевцевой в следующие годы сделались лиричнее. Но остался в них надолго их щебечущий, полуптичий звук, то грустный, то шаловливый, — всегда холодноватый, удивляющий и далекий.

Одоевцева теперь почти оставила стихи. Она написала в последнее время несколько новелл — и, наконец, роман, который появился в «Днях».

«Ангел смерти» прелестно задуман и очень искусно написан. Как большею частью бывает у Одоевцевой, это история о девочке-подростке, еще не все знающей, но обо всем догадывающейся, история души, которая еще оглядывается на прошлые, детские сны, но уже рвется к жизни. Одоевцева не анализирует того, что переживает ее Люка. Она только короткими вспышками освещает ее существование. Она в коротких, обрывающихся словах передает ее разговоры, ее противоречивые желания, ее мысли, в которых еще много «физиологического», дремлюще-неясного. Ни в каком случае нельзя назвать роман Одоевцевой романом бытовым или психологическим. Его трудно было бы определить каким-либо словом того же рода, столь же привычным. Как и в стихах, Одоевцева ускользает от определений, и даже слово «роман» к «Ангелу смерти» не совсем подходит. Роман ведь, как всем известно, «отражает жизнь». Конечно, у Одоевцевой жизнь отражена, но не в этом прелесть «Ангела»: не знаю, правильно ли поймет меня читатель, но скажу все-таки, что, по-моему, сущность «Ангела смерти» в какой-то неопределенной «иррациональности», его насквозь проникающей. Наш мир, наша земля, наши люди — и все-таки «не совсем то». Не наше дыхание. Умение Одоевцевой ей никогда не изменяет. Но ее отталкивает жизнь, не дает ей окончательно к себе приблизиться. Как будто слишком плотен для нее земной воздух и ей суждено только витать и летать над ним.

Повторяю, мне кажется, в этом главная прелесть романа. Но и, если быть к этой стороне его малочувствительным, надо было бы признать в нем большие достоинства: вкус, простоту, которую только самый неопытный глаз примет за небрежность, свободу, точность... Можно было бы указать, что такие лукаво-беспечные, наивно-жесткие, невинно-порочные подростки еще не знакомы нашей литературе и что это новая в ней тема, достойная пристального внимания...

Я не останавливаюсь на всем этом лишь потому, что, по-моему, в «Ангеле смерти» есть особенности, более редкие и острее радующие.

Сирин [В. Набоков]

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. ИЗОЛЬДА

Изд. «Москва»

Главные действующие лица этого романа: Лиза, брат ее Николай, их мать, двое материнских любовников (еврей Рохлин, по прозвищу Кролик, и Борис) и двое Лизиных поклонников (англичанин Кром-

эль и Андрей). Лизе четырнадцать лет, Андрею шестнадцать, Николаю, по-видимому, столько же, да и Кромуэлю не больше, так как он еще учится в среднеучебном заведении Итоне.

Знаменитый надлом нашей эпохи. Знаменитые дансинги, коктейли, косметика. Прибавьте к этому знаменитый эмигрантский надрыв, и фон готов.

На пляже в Биаррице молодой Кромуэль читает книгу «Тристан и Изольда». Вдруг... «Прямо на него шла Изольда... Большие, светлые, прозрачные глаза внимательно смотрели на море, будто ожидая чего-то» (знакомое, увы, читателю ожидание). Автор топит какую-то девочку и в общей суматохе очень ловко знакомит Кромуэля с «Изольдой», которую на самом деле зовут Лизой. Кромуэль знакомится и с братом Лизы, причем с бухты-барахты спрашивает его, играет ли он в поло, теннис, футбол, крикет. Такой англичанин пахнет клюквой. К тому же он итонец, а у итонцев спортивный наскок считается моветонном. Далее фабула развивается так: все возвращается в Париж — Кромуэль, Лиза, Николай, мать, ее толстенный и несчастный Кролик, которого она разоряет и не любит. В Париже Кролик продает женины серьги, и на эти деньги Лизина мать уезжает с Борисом в Ниццу. Аналогичная история происходит и в детском мире. За счет Кромуэля кушают Лиза, Николай и Андрей, и в конце концов итонец остается без сантима. Но у него есть мать, у матери же есть драгоценности. Николай и Андрей, которым нужны деньги для «современного» разгула, убеждают Кромуэля мать ограбить: деньги, дескать, нужны для конспиративной поездки в Россию. Влюбленный в Лизу Кромуэль крадет драгоценности, после чего Николай и Андрей его убивают. Николая с жемчужным ожерельем ловят в Брюсселе, а Андрей и Лиза в течение первой ночи любви кончают самоубийством.

Все это написано, как говорится, «сухо», — что почему-то считается большим достоинством, — и «короткими фразами» — тоже, говорят, достоинство. Да, я еще забыл сказать, что Лиза учится в парижском лицее, где у нее есть подруга Жаклин, которая наивно рассказывает о лунных ночах и лесбийских ласках. Этот легкий налет стилизованного любострастия (очень много о Лизиних коленках) и некоторая «мистика» (сны об ангелах и пр.) усугубляют общее неприятное впечатление от книги. И как странно героини говорят: «Лиза, ведь у тебя может родиться ребенок. Подумай, Лиза, ребенок, твой и мой. Ты обещаешь мне, обещаешь ничего не делать. Пусть он родится. Ты будешь смотреть ему в глаза и вспоминать меня. Наш ребенок».

И. ОДОЕВЦЕВА. ИЗОЛЬДА. Роман

Изд-во Москва. Париж, 1930

Принято смеяться над традиционным хорошим концом американских фильм. Я же всегда смотрел эти концы с чувством тайной благодарности. Все-таки в их «мещанской пошлости» — какое-то дальнее выражение веры в существование доброго Бога в русской литературе, «Война и мир» чуть ли не единственный роман с хорошим концом. Многие русские сознания как будто бы навсегда поразились тютчевским видением мира, настигаемого неотразимым роком. Падающие из «бездны безымянной» слепые удары, разрушающие обыкновенную и понятную жизнь,двигающуюся вокруг человека, безликая, не знающая человеческой жалости необходимость, судьба, от которой нельзя уйти, — вот то главное, о чем рассказывается в романе «Изоolda». Уже в самом начале повествования герои движутся в душном воздухе предчувствий непонятной и страшной гибели. «Изоolda» начинается рассказом о встрече на пляже в Биаррице английского мальчика Крома, для которого уже пришла «пора надежд и грусти нежной», с русской девочкой Лизой. Они знакомятся над трупом утонувшей девочки. Бессмысленная и неотвратимая смерть этой девочки как бы угроза, напоминание, предвозвестие гибели самой Лизы. В вагоне идущего в Париж поезда, среди мыслей о Кrome, Лиза вдруг вспоминает свои собственные слова: «Всегда чем дальше, тем хуже. Да, правда, чем дальше, тем хуже. И вдруг сердце ее сжалось от предчувствия чего-то неизбежного, ужасного, ноги похолодели, и стало трудно дышать».

На первый взгляд, Лиза кажется каким-то птичьим существом. В той странной семейной обстановке, в которой она выросла, и в том, что она эмигрантская девочка, какое-то экзотическое растение, не принимающееся на твердой чужой земле, легко найти объяснение тому, что в ее душе нет ни систем идей, ни твердых представлений о мире, ни тех моральных «коллективных» воззрений, которые обычно внушаются ребенку нормальной социальной средой и которые в сознании ребенка образуют как бы плотины, сдерживающие напор темной и иррациональной стихии жизни человека. Люди, в сознании которых огромность и непостижимость мира не заставлены непроницаемыми декорациями таких условных и традиционных представлений, если их не спасает какое-нибудь «маленькое безумие», обыкновенно бывают плохо приспособлены к жизни. Таким неотгороженным, незащищенным от тьмы мира существом является Лиза. Ее сознание почти совсем лишено способности «проявлять» впечатления жизни. Она влечется каким-то темным и анархическим потоком, все время страшно освещаемым предчувствием приближения

чего-то неизвестного и ужасного. Мир, в котором она живет, — небольшое светлое пространство, в котором весело, в котором танцуют, пьют, ездят на автомобилях, кутят; за чертой же этого пространства мрак и непонятная, неизбежная гибель. Встреча с Лизой оказывается роковой для Крома. Кром прямая противоположность Лизе. Традиционное английское воспитание, воззрения той среды богатых английских джентльменов, в которой он вырос, создали в его душе такие незыблемые укрепления, что, казалось бы, он не должен был бы и подозревать о существовании судьбы, иррационального и страшного. В его мире все ясно, прочно и комфортабельно. Это его делает похожим на его мать, кузена Лесли, делает одним из тех классических англичан, о которых Жозеф Конрад писал, что они всегда возвращаются в свою страну для отдачи счетов, для встречи с душой страны, «разлитой в ее воздухе, в ее небе, над ее холмами и долинами, над ее полями, над ее водами и лесами, как молчаливый друг, как судья, как вдохновительница». В Биаррице Кром еще вспоминает «зеленые луга Шотландии, замок с большими, квадратными, торжественными комнатами», но с момента встречи с Лизой для него начинается что-то непобедимо притягивающее, зовущее, но бесформенное, «неприличное», разрушающее в его благородной и слегка картонной душе тот светлый мир, в котором он жил раньше, то есть разрушающее самую основу его жизненной силы. Когда он понял, что в Лизином мире он существует только до тех пор, пока он может развлекать ее и ее друзей, он плачет: «Что же это? — с отчаянием подумал он. — Плачу. Скоро мышей пугаться буду». В этой еще такой английской фразе первое выражение начавшегося в его душе разрушения Англии. Когда он крадет драгоценности матери, для него навсегда закрывается возможность возвращения назад, возможность опять стать настоящим англичанином, и он погибает.

Брат Лизы, Николай, и его друг Андрей, настоящий Тристан этой печальной повести, убивают Крома. Наказание уже настигает Андрея. Судьба, закон, «враждебный, страшный, чужой мир» в образе «усатого человека в черном пальто и котелке» уже встали у ворот розового дома, в котором прячется Андрей и в котором происходит его последнее свидание с Лизой. Бессильная, без веры любовь к Андрею не может спасти Лизу. Еще в самом начале, в первый раз после Биаррица встретившись с Андреем, Лиза говорит: «Знаешь, Тристан умирал. Он звал Изольду, она не успела приехать. Она плыла на корабле. А он уже лежал мертвый. И она легла рядом с ним, и обняла его, и умерла тоже. Закрой глаза. Прижми ко мне. Молчи. Вот так. Вот так они лежали мертвые». Эта сцена — как бы пророческая репетиция их последнего свидания, на котором Лиза открывает газовый кран и, потушив свет, возвращается к спящему Андрею: «Она положила голову к нему на плечо и с наслаждением закрыла глаза. Где-то совсем близко под ок-

ном протрубил автомобиль. Но теперь уже ничто из этого враждебно-го, страшного, чужого мира не могло причинить им зла». Конечно, это не побеждающая страсть, а беззащитная, сиротская нежность, братская близость в сознании отверженности, слабости и обреченности. Конечно, Лиза не любовница Андрея, а «сестра его печали и позора». И все-таки в этой бессильной любви есть какой-то ответ, какая-то победа над судьбой, так как она приносит в темный и жестокий мир свет жалости и милости.

Лиза, Кром, Андрей окружены множеством человеческих фигур, изображенных с необыкновенной живостью и убедительностью, двигающихся как бы по дневной, светлой стороне. Один из них, жизнерадостный и предприимчивый Кролик, на некоторое время попадает в отравленный воздух, окружающий главных героев. Только благодаря своей необыкновенной живучести он может выстоять на текущих в этом воздухе гибельных сквозняках и выкарабкаться из этой жизни, ужаснувшей его, когда он почувствовал, что его нога занесена «над отчаяньем и смертью, над страшными безднами и хлябями». Возможно, что Кролик самый большой изобразительный, живописный успех в романе. Но и он, и другие второстепенные персонажи образуют только тот фон дневной «обыкновенной» жизни, которая двигается вокруг Лизы, не ограждая ее все-таки от «бездн и хлябей», и, конечно, в Лизе, в ее открытых, смотрящих на мир глазах 14-летней девочки — главная тема книги и то новое, что роман «Изольда» приносит в литературу.

Несмотря на незаконность полового признака в области литературной критики, хочется все-таки сказать: до сих пор была в литературе только женщина, увиденная глазами мужчины, и не было жизни и мира, увиденных таинственными глазами женщины. Были, конечно, женщины-писатели, но почти все те из них, кого мне пришлось читать, никогда не писали о том, что же они видели своими глазами, когда вблизи, в упор смотрели на жизнь. Они всегда смотрели на жизнь. Они всегда пользовались для изображения мира интеллектуальными представлениями, общими с мужчинами, в большинстве случаев придуманными мужчинами, то есть как бы играли свои пьесы в каком-то общеобязательном, построенном мужчинами театре. Своими романами «Изольда» и «Ангел смерти» Ирина Одоевцева открывает какое-то новое направление в женской литературе. Рассказ о непосредственном ощущении жизни в сознании 14-летней девочки и выступающее из этого рассказа какое-то неизвестное раньше начертание женского образа открывает нам что-то действительно новое.

При наличии всего вышесказанного мне кажется излишним распространяться о чисто «физических» достоинствах романов Одоевцевой, о том, «как они написаны». Разделение на форму и содержание в сущности оправдывает себя только там, где это разделение можно

произвести, т. е. там, где замысел писателя не воплотился или не до-
воплотился. В «Изольде» (как и в «Ангеле смерти») материя букв и слов
забывается, как бы совсем исчезает, растворяясь в мире, увиденном
писательницей. И в этом лучшее свидетельство художественного да-
рования Одоевцевой.

В. Мирный [В. Яновский]

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. ЗЕРКАЛО. Роман

Изд. Petropolis (Bruxelles)

Новый роман И. Одоевцевой представляет собою безусловно шаг
вперед на ее творческом пути. После «Ангела смерти», произведения удач-
ного для начинающего писателя, И. Одоевцева во второй своей книге
(«Изольда») несколько померкла; сейчас своим третьим романом «Зер-
кало» она выходит на первые места молодой эмигрантской литературы.

Основная тема «Зеркала» — любовь. Люка уходит от своего мужа
к знаменитому кинорежиссеру Ривуару, который «сияет своей элект-
рической улыбкой». Эта «электрическая улыбка», в разных формах
проходящая через каждую главу романа, могла бы очень раздражать,
если бы не вся атмосфера книги — синема, студия, рестораны, салон-
вагоны, дансинги и пр., — оправдывающая такие образы и эффекты.
В этом, собственно, вся необычность книги. Все, что происходит в
романе, происходит как в зеркале; мы, читатели, смотрим в ровно
отполированный кусок зеркала и видим: край неба, вокзал, людей,
гостиную, Люку в ванне, в постели, в студии.

Обычный путь искусства: нашу аперцепцию, то, что преломляет
наш «кристаллик», повторить, воспроизвести в книге, полотне, музы-
ке, перенести туда жизнь (или один из ее аспектов). И. Одоевцева
продельывает как раз обратное; она выкачивает весь жизненный воз-
дух, истребляет всякое наследие реальности из своего произведения,
она строит «Зеркало», где в одном плане, вдвойне удаленные от нас,
движутся, скользят, страдают силуэты, залитые «электрическим сия-
нием». Подчас эти искусственные, стеклянные улыбки, цвета и запа-
хи даже удручают, но это сделано искусно, автор сам назвал свое про-
изведение «Зеркалом»: он именно этого хотел. И надо признать: то,
что было им задумано, выполнено отлично.

Ривуар смотрит, как играет Люка, и решает: бездарна. Он ее про-
гоняет от себя. Люка умирает трогательно, как в Травиате; тут планы
перепутаны, ибо в том фильме, что они «крутили», Люка тоже умира-
ет: крылатым, хрупким ангелом возносится на небо. После самоубий-
ства Люки Ривуар смотрит этот фильм, видит крылатую Люку, пони-
мает вдруг, что он ее любил и любит; в результате — второе само-

убийство: Ривуара. Мелодрама? Может быть. Но сделано это так, что к концу испытываешь подлинное волнение, и это несмотря на всю раздражающую искусственность изобразительных средств.

Г. Газданов

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. ЗЕРКАЛО. Роман

Брюссель. 1939

Читая роман Одоевцевой, трудно отделаться от впечатления, что он написан как сценарий, и возникает вопрос: можно ли это в таком случае рассматривать как беллетристику? Это впечатление создается, главным образом, оттого, что все глаголы в романе поставлены в настоящем времени. Трудно предполагать, что автор сделал это не умышленно; слишком очевидно, что эта форма повествования способна погубить любой шедевр, и никакой роман не выдержал бы такого испытания. «Люка встает, Люка думает, Люке кажется, Люка выходит, Люка садится» — и так на протяжении двухсот тридцати страниц.

Употребление настоящего времени в повествовании вообще есть прием чрезвычайно спорный и чаще всего не оправдывающий себя; но если он еще в какой-то мере возможен на одной странице, то на протяжении многих он становится убийственен. Убежден, что Одоевцева это прекрасно знает, не может этого не знать и не видеть; стало быть, это объясняется какими-то повелительными причинами, которые читателю неизвестны, но последствия которых ему приходится все-таки испытывать на себе. И нужно сделать большое усилие, чтобы, прочтя роман, забыть об этом досадном обстоятельстве.

«Зеркало» может нравиться или не нравиться; внешне, повторяю, из романа искусственно вынута главная возможность беллетристической убедительности. Нельзя, однако, отрицать того, что талант Одоевцевой создает ее собственный, особенный мир — черта достаточно редкая, чтобы ей не обрадоваться. Искусство Одоевцевой отдаленно, пожалуй, напоминает то, о котором некогда мечтал лорд Генри в ныне почти забытом — хотя по-своему замечательном — «Портрете Дориана Грея». Среди всех героев «Зеркала» есть только один человек, кстати прекрасно описанный и совершенно живой, — советский путешественник, в котором мы точно узнаем старого знакомого. Все остальные живут и двигаются в абсолютно условном мире, не существующем нигде, кроме этой книги, но законченном и по-своему гармоничном. Чтобы быть справедливым, следует отметить, что ничего общего с типом наших обычных представлений он не имеет.

Героиня романа Люка (которую мы помним по предыдущей книге Одоевцевой) становится любовницей французского кинематографического режиссера и оставляет мужа, которого, в сущности, продолжает любить. Затем любовник ее бросает, и она умирает в автомобильной катастрофе. Через некоторое время он стреляется. Вот, собственно, содержание романа. Но о переживаниях Люки мы читаем как о чем-то совершенно новом, настолько они не похожи на то, что мы привыкли читать о таких же примерно переживаниях. Тот могучий этический фактор — в каком угодно его аспекте, — без которого нам трудно себе представить какое-либо литературное произведение, здесь отсутствует в идеальной степени. Героиня романа не подозревает об его существовании, и автор производит над ней этот психологический опыт, надо сказать, не без некоторой жестокости. Так же лишен нормальных человеческих чувств герой, Тьерри; единственно, на чем, так сказать, отдыхает читатель в его облике, это его несомненная глупость, которой Одоевцева тоже не щадит. Даже чисто физические ощущения героев не похожи на ощущения людей реального мира. «Она видит, как отражение Ривуара наклоняется к ней, поднимает ее, кладет в отражение постели... Она закрывает глаза, чтобы спрятаться в темноту».

Когда читаешь Одоевцеву, всегда кажется, что она способна на большее. Есть многое в ее книгах, с чем почти невозможно согласиться; но отрицать ее талант нельзя, оставаясь сколько-нибудь объективным.

К. Элита-Вильчковский

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. «ЗЕРКАЛО»

Новый роман Ирины Одоевцевой таит немало неожиданностей. Все внешнее в нем обманчиво: обманчива фабула, обманчив стиль, обманчив облик героев. «Зеркало» начинаешь читать почти как книгу «для легкого чтения» и закрываешь почти с тяжелым чувством. Для людей, любящих определять книги одним словом, этот роман неопределим. Романтическая книга? Конечно. Чего же романтичнее, чем проклятие мертвой сестры или самоубийство жестокого героя, вдруг, почти чудодейственным образом, повинившегося в своем окаянстве? Но как далека от романтического ангелоподобия героиня Одоевцевой — эгоцентрическая и трогательная Люка — безответственная и искренняя.

*Вам хочется любить?
Вам хочется пожить
На маленькой земле
В печали и тепле?..*

Вспоминая стихи Одоевцевой, лучше понимаешь «тему» Люки. Это она «такая странная, прелестная и пьяная». Это она «не слушает, а плачет, по-детски открывая рот». Эту Люку мы уже давно знаем. И сколько таких Люк мы уже встречали в жизни...

Но звать «Зеркало» реалистической книгой можно только в особом, почти метафизическом смысле. «Зеркало» вовсе не книга о жизни. «Зеркало» — книга о тщете, о бренности, о пустоте. Блестящий, ультрасовременный, так сказать «аэродинамический», мир, в котором живет Люка, лишь по первому взгляду кажется реальным. В самом деле — он призрачен: ухватиться в нем не за что. Все ускользает, растворяется, исчезает. Иллюзия — эта видимость блеска. Иллюзия — эта видимость «беззакатной» любви. Иллюзия — эта парикмахерская самоуверенность режиссера Тьери с его «электрической» улыбкой. Иллюзия даже жизненность Люки. Смерть, прерывающая кинематографический ритм действия, — не развязка, а объяснение. В гробу нет никакой Люки, а только кукла без «всякого выражения». «Даже чудо воскресения, обещанного всем, кажется тут невозможным». Люки нет и как бы никогда и не было. Ее посмертная слава и посмертная легенда воспевают вымышленное существо. Те, кто ее любили, не вспоминают о ней, а ее выдумывают. Даже память о Люке — иллюзия.

Хотела ли Ирина Одоевцева сказать именно это? Или ее художественный инстинкт расширил и углубил первоначально скромный замысел? Как бы то ни было, книга получилась не только талантливая, но и страшная.

Комментарии

РАССКАЗЫ

Сердце Марии

Первая публикация: Звено. 1926. 31 янв. № 157. С. 9–10.

С. 29. *Мария-Антуанетта* (1755–1793) — королева Франции (1774–1789). Дочь австрийского императора Франца I и императрицы Марии-Терезии. В пятнадцатилетнем возрасте помолвлена с наследником французского престола Людовиком (будущим Людовиком XVI). В 1770 г. переехала в Париж.

...ведя дофина за руку... — Дофин (фр. dauphin) — наследник престола.

Принцесса де Ламбаль (1749–1792) — придворная дама и близкая подруга королевы Марии-Антуанетты. Зверски убита в ночь со 2 на 3 сентября 1792 г., после чего тело ее было растерзано чернью.

...какое визоновое манто на этой даме... — Визоновое манто — манто из норки.

С. 31. ...*Et je verrai comment / Quand je dormais ma main sur ton ventre / Tu changeais d'amants* — «Во сне, обняв тебя, как неверна ты мне, увижу я» (фр.).

С. 32. «Ротонда», «Дом» — кафе на бульваре Монпарнас, излюбленные места парижской богемы.

...смотрел на нахального жерана... — Жеран (фр. géral) — управляющий.

С. 33. *Вирофлэ* — улица в 15-м округе Парижа.

Эпилог

Первая публикация: Звено. 1926. 14 марта. № 163. С. 5–8.

С. 35. *Променад дез'Англе* (фр. Promenade des Anglais) — Английская набережная в Ницце, получила свое название оттого, что была построена на деньги английской общины, проводившей зимний сезон в Ницце.

С. 39. «*La ruée vers l'or*» — «Золотая лихорадка» (фр.), фильм с участием Чарли Чаплина (1925).

С. 45. *Poste privée* — частная (курьерская) почта (фр.).

Морган Пирпонт (1837–1913) — американский миллионер, финансовый магнат, владелец многочисленных компаний, которому принад-

лежал «Титаник». Морган также был крупнейшим коллекционером произведений искусства.

Дом на песке

Первая публикация: Звено. 1926. 23 мая. № 173. С. 7–9; 30 мая. № 174. С. 6–7.

С. 46. *Веронал* — разновидность снотворного.

С. 50. *Опять улица, закрытый отель, желтый фонарь...* — аллюзия на стихотворение А. Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (1912).

..*плас Пигаль* — площадь Пигаль на севере Парижа, недалеко от Монмартра. Названа в честь скульптора Жан-Батиста Пигаля (1714–1785). В конце XIX в., когда поблизости были открыты кабаре «Ле Ша Нуар» и «Мулен Руж», район Пигаль получил репутацию богемного. Кроме того, в районе Пигаль находились многочисленные бордели, низкопробные заведения и т.п.

Давайте говорить о нашем Парадизе... — строчка из стихотворения Михаила Струве, посвященного Ольге Глебовой-Судейкиной:

*А здесь у нас тепличный душный воздух,
И в газовых волнах французские духи.
Здесь электричество нам заменяют звезды
И черный саксофон преобразил стихи.*

*Но вот, в Лютецию, где от лиловой краски
Измученным глазам уже раскрыться лень.
Вы белым Ангелом слетели, Ярославским,
Золотокудрый и голубоглазый день.*

*Напор зеленых льдов и светлых облак ризы,
Все сразу вспомнилось в бесснежной толкотне.
Давайте говорить о нашем Парадизе,
Где было сладко вам, где было сладко мне.
(Декабрь 1925)*

Жасминовый остров

Первая публикация: Звено. 1926. 10 окт. № 193. С. 7–10.

С. 66. *Ile de Jasmin* — Жасминовый остров (фр.).

С. 67. *...камьонетка пересекла им дорогу...* — Камьонетка (фр. camionette) — грузовичок.

Румынка

Первая публикация: Звено. 1926. 28 дек. № 200. С. 7–9.

С. 70. «Рено» — завод автомобильной компании «Рено», расположенный в пригороде Парижа Булонь–Биянкур. В 1920-х гг. на заводах «Рено» и «Ситроен» работали, наряду с другими иностранцами, тысячи российских беженцев.

С. 71. *Пасси* — жилой район в 16-м округе Парижа, где поселились многие русские эмигранты.

С. 72. *Михновский и Орлов смотрели ревю*. — Ревю (фр. *revue*) — популярное в 1920-х гг. театральное представление, состоящее из элементов оперетты, балета, варьете и кабаре. Обычно исполнялось на сцене мюзик-холлов.

С. 79. *Этуаль* — знаменитая парижская площадь, завершающая перспективу Елисейских полей, на которой расположена Триумфальная арка.

Пуганица

Первая публикация: Звено. 1927. 9 янв. № 206. С. 7–11.

С. 80. «Аквариум» — увеселительный театр-сад в Петербурге, созданный предпринимателем Г.А. Александровым, который в 1886 г. арендовал участок на Каменноостровском проспекте, разбил на нем сад и построил аквариум. Через два года в саду было открыто кафе-шантан, в котором начали выступать знаменитые французские «шантаные» артисты. В 1908 г. был построен театр-варьете на 300 столиков. В саду устраивались балы-маскарады, гуляния, фейерверки. Во время Первой мировой войны на территории сада был размещен лазарет. В период нэпа театром владели наследники Александрова, но уже в 1923 г. на месте «Аквариума» началось строительство кинофабрики «Севзапкино» (с 1934 г. «Ленфильм»).

«*Les Pommes vertes*» — «Зеленые яблоки» (фр.).

С. 81. *...бросил на стол карт-д-идантите...* — Карт-д-идантите (фр. *carte d'identité*) — удостоверение личности.

С. 82. «*M-me Joséphine, F-rg St. Honoré*» — «Мадам Жозефин, ул. Фобург Сент-Оноре» (фр.).

С. 85. «*Joséphine. Haute couture*» — «Жозефин. Высокая мода» (фр.).

С. 87. *Я онэт*. — Онэт (фр. *honnête*) — честная.

Вы темуэн. — Темуэн (фр. *témoin*) — свидетель.

С. 88. *Клебер* — один из проспектов, радиально расходящихся от площади Этуаль.

Елисейские поля

Первая публикация: Звено. 1927. 20 февр. № 212. С. 6–9; 27 февр. № 213. С. 8–11.

С. 95. «*En voiture!*» — «По местам!» (фр.).

С. 101. *Мэри Пикфорд* — псевдоним канадской киноактрисы Глэдис Луиз Смит (1892–1979).

С. 102. *Уайт Перл* (1889–1938) — американская киноактриса.

Мурэй Мэй (1889–1965) — американская актриса, танцовщица, сценаристка.

Валентино Рудольфо (1895–1926) — итальянский киноактер, сделавший карьеру в Голливуде.

С. 103. ...*фильдекосовые чулочки...* — Фильдекосовые чулки (фр. *fil d'Ecosse* — шотландская нить) — чулки из гладкой, крученой хлопчатобумажной пряжи, имеющей вид шелковой.

С. 104. *Они садятся на кретоновый диван...* — Кретоновый — из кртона, бумажной ткани с набитыми узорами.

С. 109. ...*rue Royale* — улица в центре Парижа, ведущая от площади Согласия к площади Мадлен (фр.). *Конкорд* — площадь Согласия в центре Парижа.

С. 110. *Это вы в опере видели. «Тристан и Изольда» называется.* — Упоминается опера Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» (1865). См. также примеч. к с. 327.

Жизнь мадам Дюкло

Первая публикация: Звено. 1927. № 6. С. 336–360.

С. 115. ... *ma tante* — моя тетья (фр.).

С. 116. «*Comédie Française*» — «Комеди Франсез» (фр.) — один из старейших и известнейших драматических театров Франции; создан указом Людовика XIV в 1680 г. С 1799 г. занимает помещение в «Пале-Рояль», в самом центре Парижа.

...*картье Europe* — *quartier Europe* — Европейский квартал, один из центральных районов Парижа (фр.).

Жиго (фр. *Gigot*) — запеченная баранья ножка.

Сухая солома

Первая публикация: Новый дом. 1927. № 3.

Счастье Улиты

Первая публикация: Иллюстрированная Россия. 1932. 26 марта. № 13 (359). С. 1–3; 2 апр. № 14 (360). С. 10–11.

С. 152. *Pour être belle <il faut souffrir>* — красота требует жертв (букв.: чтобы быть красивой, <надо страдать>) (фр.).

У моря

Первая публикация (анонимно): Иллюстрированная Россия. 1928. № 21. С. 1–9.

С. 161. *Пуаре* Поль (1879–1944) — знаменитый французский дизайнер одежды.

Праздник

Первая публикация: Иллюстрированная Россия. 1929. № 20.

Valentine

Первая публикация: Иллюстрированная Россия. 1929. № 30.

С. 182. *...песню Шевалье...* — песня «Valentine» (1924) французского шансонье и актера Мориса Шевалье (1888–1972).

Elle avait de tout petits petons // Valentine, Valentine... — У нее были совсем маленькие ножки, // Валентина, Валентина... (фр.)

С. 187. *Elle était frisée comme un mouton // Valentine...* — Она была кудрявой, как барашек, // Валентина... (фр.)

Жасминовый остров. Из романа

Первая публикация: Числа. 1930. № 1. С. 64–94.

С. 193. *Ледяной поход* — 2000-километровый поход армии адмирала Колчака, отступавшей на восток, от Барнаула и Новониколаевска до Читы, зимой 1920 г.

...после отречения в Ставке. — Манифест об отречении Николая II от престола был передан им А. Гучкову и В. Шульгину в 23 часа 40 минут 2 (15) марта 1917 г. в Пскове, куда императорский эшелон прибыл 1 (14) марта после неудачной попытки проехать по направлению к Петрограду. Его связь со Ставкой в эти дни была утрачена.

С. 194. «*Epicerie Parisienne mademoiselle Mariage*» — «Парижская бакалейная лавочка мадемуазель Марьяж» (фр.).

С. 196. «*Жизнь начинается завтра*» — популярный в начале XX в. в России роман итальянской писательницы Матильды Серао (1856–1927). Название этого романа цитируется и в «Распаде атома» Г. Иванова.

С. 198. *У mademoiselle Марьяж не было ни детей, ни мужа.* — Ирония заключается в том, что французское слово «mariage» означает «свадьба, брак».

РОМАНЫ

Ангел смерти

Первое издание: Париж: Montparnasse, 1928.

В тексте указана дата окончания романа — «1 марта 1928».

С. 238. *Ah! Que c'est bon!* — Ах! Как вкусно! (фр.).

С. 245. *Есть такие стихи у Лермонтова* — «Ангел смерти». — Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел смерти» (4 сентября 1831) посвящено Александре Михайловне Верещагиной (1810–1873), родственнице и приятельнице поэта. Сюжет этой романтической поэмы восходит к новелле Ж.-П. Рихтера «Смерть ангела», но Лермонтов вносит существенные изменения. В его поэме ангел влетает в тело умершей девы, Ады, но из сожаления к ее возлюбленному, Зораиму, возвращает ей жизнь. Однако вместо того, чтобы наслаждаться счастьем с Адой, Зораим решает принять участие в битве, чтобы или героически погибнуть, или достичь славы. Он гибнет на поле боя, и поцелуи последовавшей за ним Ады бессильны воскресить его. Ангел смерти на сей раз не проявляет милосердия, и душа Зораима покидает тело:

*Но ангел смерти молодой
Простился с прежней добротой;
Людей узнал он: «Состраданья
Они не могут заслужить;
Не награждение — наказание
Последний миг их должен быть...»*

С тех пор ангел смерти внушает людям ужас, а встреча с ним всегда оказывается роковой:

*Его неизбежной встречи
Боятся каждый с этих пор;
Как меч — его пронзает взор;
Его приветственные речи
Тревожат нас, как злой укор,
И льда хладней его объятье,
И поцелуй его — проклятье!..*

Мотивы этой юношеской поэмы связаны с проблематикой поэмы «Демон».

С. 249. *Елисейские поля* — самый известный проспект Парижа, протянувшийся от площади Согласия до площади Этуаль (в настоящее время площадь Шарль де Голль), длиной 1910 м и шириной 70 м. Проспект обрамляют ряды деревьев. До начала XVII в. на территории Елисейских полей находилась болотистая необитаемая часть Парижа. В 1616 г. Мария де Медичи приказывает разбить здесь аллею, параллельную Сене. Про-

спект был впоследствии переустроен по планам пейзажного архитектора Людовика XIV Андре Ленотра, который оборудует вдоль него газоны и сажает вязы. К концу XIX – началу XX в. Елисейские поля приобретают репутацию самого элегантного парижского проспекта.

Галери Лафайет — один из наиболее известных парижских универмагов.

С. 260. *В какую-нибудь французскую буат.* — Буат (фр. *boîte (de nuit)*) — ночное кафе, кабаре (разг.).

С. 274. *Шафер* (нем. *Schäfer* — пастух) — свадебный чин, дружка, знаток свадебных обрядов, распорядитель на свадебной церемонии. В обязанности шафера, в частности, входило держать венец над свадебной четой. Видимо, происхождение слова связано с древним обычаем, когда пастух обходил свадебный поезд и щелкал кнутом, чтобы отогнать злых духов.

С. 276. *«Fol Arôme»* — «Сумасшедший аромат» (фр.), духи фирмы «Герлен» («Guerlain») (1912).

С. 284. *...как Чаплин в «Ла рюе вэр л-ор»...* — см. примеч. к с. 39 («*La ruée vers l'or*»).

С. 286. *Ринальдо Ринальдини* — имя героя романа немецкого автора Христиана Августа Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» («*Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann*», 1787–1789). В 1927 г. по роману был снят одноименный фильм немецким режиссером Максом Обалом.

С. 298. *«Л-Этерналь амур»* (фр. *L'éternel amour*) — «Вечная любовь».

С. 303. *Марди-Гра* (фр. *mardi gras* — букв. «жирный вторник») — вторник на Масленной неделе, перед началом Великого поста по католической традиции; аналог русской Масленицы.

С. 308. *Вам жаль Мейчика?* — Так в тексте. Речь идет об одном из героев романа А. Фадеева «Разгром» (1926) Павле Мечике.

С. 325. *Votre sœur est morte* — Ваша сестра умерла (фр.).

Изольда

Первое издание: Париж; Берлин: Издание книжного магазина «Москва», 1929.

В тексте указана дата окончания романа — «15 марта 1929».

С. 327. *Кромгуэль* — один из главных героев романа «Изольда» назван так в честь Оливера Кромвеля (1599–1658) — лидера английской революции, упразднившего монархию и управлявшего государством в качестве лорда-протектора. После смерти Кромвеля в стране начинается хаос и к власти вновь призывают короля — сына казненного Карла I, Карла II. Вскоре тело Кромвеля было извлечено из могилы, повешено и четверговано.

Вот по такому морю плыла Изольда навстречу Тристану... — Древнее кельтское сказание о трагической любви Тристана к Изольде послу-

жило основанием для многочисленных литературных обработок, самой известной из которых является роман Кретьена де Труа «Тристан и Изольда», написанный около 1230 г. По получившей наибольшее распространение версии мифа, бретонский принц Тристан, оставшийся сиротой, воспитывается при дворе своего дяди, корнуэльского короля Марка, который назначает его своим наследником. Мужественный рыцарь Тристан убивает жестокого великана Мархольта и, тяжело раненый, садится в челн и плывет в поисках исцеления. Челн прибывает к берегам Ирландии, где ему помогает белокурая Изольда, владеющая секретом исцеления от тяжелых недугов. Когда король Марк решает жениться, Тристан дает ему совет взять в жены Изольду и сам отправляется за ней. Однако, находясь в пути, они по ошибке выпивают любовное зелье, которое Изольда получила от своей матери. Между ними вспыхивает страсть, не ослабевающая и после женитьбы Марка на Изольде. Узнав о тайных свиданиях Тристана и Изольды, Марк изгоняет своего племянника. Тяжко раненый на очередном поединке, Тристан призывает Изольду, которая спешит к нему на корабле. По договоренности, белый флаг должен возвестить ждущему на берегу Тристану о ее прибытии, однако в результате интриг на корабле поднят черный флаг. Не в силах вынести боль и страдание, Тристан умирает. Сойдя на берег и обнаружив бездыханного возлюбленного, Изольда ложится рядом и умирает вместе с ним. Возрождению интереса к этой легенде способствовал Р. Вагнер, создавший оперу «Тристан и Изольда», премьера которой состоялась в 1865 г.

С. 332. *«По небу полуночи ангел летел»* — первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1831):

*По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.*

*Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.*

*Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.*

*И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

...автор их по происхождению был шотландец... — По отцовской линии М.Ю. Лермонтов происходил из древнего шотландского рода Лермонтов (Learmonth). Один из представителей этой династии, Георг Лермонт, поступил в 1613 г. на службу к царю Михаилу Федоровичу, положив тем самым начало русской ветви Лермонтов, фамилия которых была преобразована в Лермонтовы. По легенде, которую культивировал Михаил Лермонтов, родоначальником шотландского рода Лермонтов был бард Томас Лермонт, живший в XIII в.

С. 345. *Баккара* — популярная карточная игра.

С. 352. *Et <alors,> parce qu'il était toujours triste on l'appela Tristan* — И <тогда,> потому что он всегда был грустен, его называли Тристаном (фр.) (от лат. tristis — грустный, печальный).

«Клэридж» (фр. «Claridge») — парижский отель.

С. 353. *Витте* Сергей Юльевич (1849–1915) — граф, крупный российский государственный деятель, занимавший, в частности, посты министра финансов (1892–1903) и председателя Совета министров (1905–1906). По его инициативе был составлен Манифест 17 октября 1905 г., который гарантировал основные гражданские права.

С. 354. *Я шестидесятник*. — Рохлин употребляет термин «шестидесятник», видимо, для указания на свой возраст (т.е. он родился в 1860-х гг.). В историческом контексте «шестидесятниками» называли поколение 1860-х гг., отличавшееся либеральными, демократическими или нигилистическими взглядами.

С. 355. *Иматра* — город на юге Финляндии, одной из достопримечательностей которого является водопад, образовавшийся на протекающей через город реке Вуоксе.

С. 397. *Pour rire* — смеха ради (фр.).

С. 415. «*Ecoutez ma chanson, dames et demoiselles. Si vous mangez mon cœur, il vous pousseront des ailes*» — «Слушайте мою песенку, дамы и барышни. Если вы скушаете мое сердце, у вас вырастут крылья» (фр.).

С. 430. ...*когда же чулки и шандаи покупать?* — Шандай (фр. chandail) — свитер.

С. 432. *Reisefieber* — чемоданное настроение, волнение перед дорогой (нем.).

С. 435. *Грог* (англ. grog) — горячий алкогольный напиток, обычно на базе рома, разбавленного или горячей водой, или чаем. Получил свое название от прозвища английского адмирала Эдварда Вернена (1684–1757). Чтобы ограничить потребление алкоголя моряками, которым полагалась определенная порция рома в день, Вернен приказал разбавлять ром водой.

С. 442. ...*заказал бок...* — Бок (фр. bock) — бокал, в который помещается около четверти литра пива

С. 449. «*All men river*» (англ., правильное написание — «Ol'Man River») — название самой популярной песни из бродвейского мюзикла

«Show Boat» («Плавучий театр», 1927, композитор — Джером Керн, автор текста — Оскар Хаммерштейн). Либретто мюзикла заимствовано из одноименного романа Эдны Фербер (1926) и описывает жизнь на пароходе-театре, курсирующем по реке Миссисипи. В данной песне создается контраст между трудной долей работающих на пароходе негров и безразличием вечно текущей реки.

С. 454. *Отей* (фр. Auteil) — район в 16-м округе Парижа, расположенный между Сеной и Булонским лесом.

С. 457. *Vieux Rouen* — Старый Руан (фр.).

С. 458. *...Линдберг прилетел...* — Линдберг Чарльз (1902–1974) — американский летчик, совершивший первый в истории трансатлантический перелет и приземлившийся в аэропорту Ле Бурже под Парижем 21 мая 1927 г.

Зеркало

Первое издание: Брюссель: Petropolis, 1939.

В тексте указана дата окончания романа — 23 июля 1938 г.

С. 468. *...фейерверк над ночными скачками в Лонгшане...* — Лонгшан (фр. Longchamps) — известный ипподром в пригороде Парижа, на окраине Булонского леса, построенный в 1857 г.

С. 469. *Дактило* (фр. dactylo) — секретарша.

С. 478. *Когда вы будете крутить...* — Слово «крутить» широко употреблялось эмигрантами в значении «снимать фильм», это семантическая калька с французского, в котором слово «tourner», означающее «крутить(ся)», с появлением кинематографа приобрело дополнительное значение — «снимать».

С. 485. *Бриан Аристид* (1862–1917) — французский юрист, журналист, министр иностранных дел в 1925–1932 гг.

Бриа Саварен — французский сыр, созданный около 1890 г. семейством Дюбек и названный в 1930 г. в честь известного судьи и гастронома Жана Антельма Бриа Саварена (1755–1826).

...английскую сказку про улыбающегося кота. — Имеется в виду Чеширский кот из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

С. 486. *Шамони* — популярный горнолыжный курорт в восточной Франции недалеко от французской границы.

С. 496. *Фацет* (фр. facette) — грань.

С. 505. *Трен* (фр. traîne) — шлейф.

С. 528. *Marché aux puces* — блошинный рынок (фр.).

С. 537. *...если надо объяснять, то не надо объяснять* — излюбленный афоризм Зинаиды Гиппиус.

С. 543. *Люка стоит на плато...* — Здесь: плато — съемочная площадка.

- С. 548. *Viva Italia* — Да здравствует Италия (фр.).
Excellent voyage. Salutations — Прекрасное путешествие. С приветом (фр.).
- С. 554. *Grève sur le tas* — забастовка на рабочем месте (фр.).
- С. 563. ...в Венецию, к крылатому льву. — Крылатый лев — символ Венеции. Крылатый лев считается символом евангелиста Марка. В средние века, когда в Венецианскую республику были перевезены из Египта останки евангелиста, св. Марк стал покровителем Венецианской республики, а его символ — крылатый лев — ее эмблемой. Самая известная статуя крылатого льва установлена на вершине колонны у лагуны, рядом с Дворцом дождей и неподалеку от базилики св. Марка.
- С. 565. *Фрутти-ди-маре* (ит. frutti di mare) — морепродукты.
- С. 569. *Бернер* Элизабет (1897–1986) — известная театральная и киноактриса, снявшаяся во многих австрийских и немецких фильмах до эмиграции в Англию в 1933 г. Продолжила карьеру в английском кинематографе и в Голливуде.
- Гарбо* Грета (1905–1990) — популярнейшая киноактриса шведского происхождения; ее головокружительная карьера началась после переезда в США в середине 1920-х гг.
- Дузэ* Элеонора (1858–1924) — итальянская актриса театра и кино.
- С. 575. ...в черной, как гроб, гондоле... — Ср.: «гондол безмолвные гроба» (строка из стихотворения А. Блока «Холодный ветер из лагуны», 1909).
- С. 583. *Они обедают у «Максима»*. — «Максим» — известный ресторан в центре Парижа, был открыт в 1893 г. Максимом Гайяром.
- «*Табарен*» (фр. Tabarin) — ресторан в 11-м парижском округе, названный в честь Антуана Жерара Табарена (1586–1633), уличного актера и автора фарсов.
- С. 591. *Porte-bonheur* — амулет, талисман (фр.).
- С. 592. ...бенедиктинские монахи готовят бенедиктин. — Бенедиктин (фр. bénédictine) — алкогольный напиток, изобретенный в 1860-х гг. Александром Леграном на базе 27 специй и трав. Бенедиктин производят в Фекане (Нормандия).
- С. 598. *Мюэтт* — одни из бывших ворот на границе Парижа.
- С. 600. «*Плейель*» — парижский концертный зал, открытый в 1927 г.
- С. 622. *Стило* (фр. stylo) — перо, ручка.
- С. 623. «*Many happy returns of the day*» — «С днем рождения!» (англ.).

Приложение

В приложении представлены избранные критические отзывы современников на произведения Ирины Одоевцевой. При публикации сохранены употребляемые в источниках транскрипции имен, отличающиеся от общепринятых.

Из откликов английской и американской прессы на английский перевод романа «Ангел смерти»

Первая публикация: «Ангел смерти» в переводах // Числа. 1931. № 4. С. 283.

В подборке журнала «Числа» собраны выдержки из рецензий на издания: *Odoevtseva I. Out of Childhood / Transl. and ill. by D. Nachshen. London: Constable & Co, 1930; Idem. N.Y.: Richard R. Smith, 1930.*

Г. Адамович

<Из статьи «Литературные беседы. Шмелев — Ирина Одоевцева — Довид Кнут»>

Первая публикация: Звено. 1928. № 6. С. 292–294.

Сирин [В. Набоков]

Ирина Одоевцева. Изольда. Изд. «Москва»

Первая публикация: Руль. 1929. 30 окт.

Издевательский тон набоковской рецензии во многом объясняется тем, что она стала очередным выпадом против Георгия Иванова, с которым Набоков вел в 1930-х гг. затяжную «литературную войну», первоначально спровоцированную отрицательными оценками Г. Ивановым романов самого Сирина (см. об этом: *Мельников Н. До последней капли чернил... Владимир Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73–82*). Как писал В. Набоков в письме к Г.П. Струве от 3 июля 1959 г.: «Мадам Одоевцева прислала мне свою книгу (не помню, как называлась — “Крылатая любовь”? “Крыло любви”? “Любовь Крыла”?) с надписью “Спасибо за Король, Дама, Валет” (т.е. спасибо, дескать, за то, что я написал К., Д., В., ничего ей, конечно, я не посылая). Этот ее роман я разобрал в “Руле”. Этот разнос повлек за собой месть Иванова» (*Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 2. С. 779*). Сама же Одоевцева, по воспоминаниям Анны Колоницкой, отзывалась о Набокове и об этой истории следующим образом: «Набоков?! Я его терпеть не могу. <...> Он был наш враг. Все это произошло из-за меня. А именно: когда я написала свой первый роман “Изольда”¹, имевший большой успех, я на одном из литературных вечеров подошла к Набокову и преподнесла ему экземпляр своей книги с надписью “автору Машеньки”. Он принял подарок с надменным видом — он вообще был страшный сноб. Вскоре после этого он очень плохо и грубо написал обо мне в рецензии на мой роман. Ну и Георгий Иванов не мог ему этого простить. Он его “уничтожил”. Ирина Владимировна помолчала, а потом уже с улыбкой:

— А вообще он был очень красивый господин и картавил, точно как я» (*Колоницкая А. «Все чисто для чистого взора...»: (Беседы с Ириной Одоевцевой). М.: Воскресение, 2001. С. 128–129*).

¹ Неточность или оговорка: первый роман Одоевцевой — «Ангел смерти», второй — «Изольда».

В.В. [Вл. Варшавский]

И. Одоевцева. Изольда. Роман. Изд-во Москва. Париж, 1930

Первая публикация: Числа. 1930. Кн. 2/3. С. 248–251.

В. Мирный [В. Яновский]

Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Изд. Petropolis (Bruxelles)

Первая публикация: Современные записки. 1939. № 69. С. 390–391.

Г. Газданов

Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Брюссель. 1939

Первая публикация: Русские записки. 1939. № 15. С. 196–197.

К. Элита-Вильчковский

Ирина Одоевцева. «Зеркало»

Первая публикация: Бодрость! 1939. 18 июня. № 230. С. 3.

Содержание

<i>Мария Рубинс</i>	
Парижская проза Ирины Одоевцевой	5

РАССКАЗЫ

Сердце Марии	29
Эпилог	35
Дом на песке	46
Жасминовый остров	57
Румынка	70
Путаница	80
Елисейские поля	93
Жизнь мадам Дюкло	115
Сухая солома	137
Счастье Улиты	146
У моря	156
Праздник	167
Valentine	178
Жасминовый остров. <i>Из романа</i>	189

РОМАНЫ

Ангел смерти	215
Изольда	327
Зеркало	465

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из откликов английской и американской прессы на английский перевод романа «Ангел смерти»	629
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<i>Г. Адамович.</i> <Из статьи «Литературные беседы. Шмелев — Ирина Одоевцева — Довид Кнут»>	631
<i>Сирин [В. Набоков].</i> Ирина Одоевцева. Изольда. Изд. «Москва»	632
<i>В.В. [Вл. Варшавский].</i> И. Одоевцева. Изольда. Роман. Изд-во Москва. Париж, 1930	634
<i>В. Мирный [В. Яновский].</i> Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Изд. Petropolis (Bruxelles)	637
<i>Г. Газданов.</i> Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Брюссель. 1939	638
<i>К. Элита-Вильчковский.</i> Ирина Одоевцева. «Зеркало» . . .	639

КОММЕНТАРИИ	641
-----------------------	-----

Одоевцева, И.В.
О 442 Зеркало: Избранная проза / Ирина Одоевцева (И.Г. Гейнике) ; [вступ. ст., сост. и коммент. М.О. Рубинс]. — М. : Русский путь, 2011. — 656 с.

ISBN 978-5-85887-376-1

Сборник художественной прозы Ирины Одоевцевой включает ранее не издававшиеся в России и не переиздававшиеся за рубежом романы и рассказы, написанные в 1920–30-е гг. в парижской эмиграции, вступительную статью о жизни и творчестве писательницы и комментарии. В приложении публикуются критические отзывы современников (Г. Газданова, В. Набокова, В. Яновского и др.) о романах Одоевцевой. Предлагаемые произведения, пользовавшиеся успехом у русских и иностранных читателей, внесли особую интонацию в литературу русской эмиграции. В них содержится отклики на самые разнообразные явления французской культуры, воспроизводится эстетика, стиль и быт межвоенных десятилетий.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, а также специалистов по литературе русской эмиграции, преподавателей, студентов и аспирантов, изучающих культуру русского зарубежья.

УДК 882
ББК 84(2Рос)6

Литературно-художественное издание

**Одоевцева Ирина Владимировна
(Гейнике Ираида Густавовна)**

**ЗЕРКАЛО
Избранная проза**

Составитель: **Рубинс Мария Олеговна**

Редакторы *О.Б. Василевская, Т.И. Киреева*
Корректор *Е.З. Абоева*
Верстка *Л.А. Фирсовой*

Подписано в печать 18.11.2010. Формат 60х90/16. Тираж 2000 экз. Заказ N 2781

ЗАО «Издательство «Русский путь»
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Тел.: (495) 915-10-47
E-mail: info@rp-net.ru. Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www.kmrz.ru

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»».
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

Ирина Одоевцева (1895–1990) — поэт, прозаик, мемуарист. Большую популярность в России получили ее воспоминания «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Между тем в эмиграции в 1920–30-е гг. Одоевцева снискала известность как автор романов и рассказов. «У прозаика Одоевцевой редкий дар: если вы раскрыли ее книгу, вы от нее не оторветесь, пока не дочитаете до конца, — писал Роман Гуль. — Проза Одоевцевой всегда заразительна, увлекательна, легка».

В сборник вошла практически не переиздававшаяся художественная проза парижского довоенного периода. В приложении даны отзывы современников о романах писательницы (Гайто Газданова, Владимира Набокова, Василия Яновского и др.). Проза Одоевцевой представляет несомненный интерес для читателей, знакомых с ее творчеством, а также с историей ее удивительного возвращения на родину в 1987 году, после 65 лет изгнания.

ISBN 978-5-85887-376-1



9 785858 873761